

Савва
Толовацки

ТОЛОЦЬ
НА
ТОМ
БЕРЕГУ





Сабва
Толоватубецкий

ТОПОЛЬ
НА
ТОМ
БЕРЕГУ
Роман
в двух книгах

АВТОРИЗОВАННЫЙ
ПЕРЕВОД
С УКРАИНСКОГО

Роман-дилогия «Тополь на том берегу» украинского прозаика и поэта Саввы Голованивского воскрешает события, происходившие зимой 1943—1944 годов на Днестре.

В первой книге — «Дорога над бездной» — рассказывается о том, как в сложнейших боевых условиях советские воины спасли от разрушения заминированную фашистами плотину Днепроградской ГЭС. В этой операции ярко проявились сильные черты характера главного героя романа — Олега Харкевича, который до войны работал инженером-энергетиком на гидроэлектростанции и на долю которого выпало возглавить группу по ее спасению, а также водолазов и верхолазов Хохла, Амирадзе, Ковальчука и других.

Вторая книга — «Корсунь» — посвящена героям одной из величайших битв Великой Отечественной войны — Корсунь-Шевченковской операции.

Я не знал, что для того, кто воевал,
война никогда не кончается.

Курцио Малапарте

ДОРОГА
НА
БЕЗДНОМ
Книга
первая





острый запах жженой серы еще не выветрился, хотя с очередной порцией спичек

давно было покончено, и Кузьма Иванович уже с полчаса как унес свою продукцию на базар. Этот запах держал в постоянном напряжении Любовь Степановну, особенно когда, вернувшись с базара, предельно усталый муж оставлял свое спичечное производство неоконченным до утра. В таких случаях запах стойко держался чуть ли не целый день. А днем было еще страшнее — кто-нибудь мог войти. Правда, с тех пор как советские войска приблизились к Днепру, немцы в домах не квартировали — перебрались в блиндажи и траншеи, надеясь превратить ДнепрогЭС в крепость. И все-таки их немало еще слонялось по улицам.

Если бы можно было за один заход приготовить спичек побольше и продавать их частями по мере надобности, не приходилось бы дрожать каждый день. Но Мироненко приносил всякий раз лишь горсточку серы — больше вынести из мастерской не мог. Как он доставал ее, неизвестно, одно ясно — не покупал. Так что спасибо и за горсточку — старый слесарь и так рисковал головой.

Когда послышался стук внизу, Любовь Степановна сидела у стола, закутанная в плохонький шерстяной платок, будто защищалась не от холода, а от едкого серного смрада. Сжалась от страха в своей камерке и Соломия — она долго не решалась подойти к двери.

Постучались опять, теперь уже сильнее. Казалось, весь дом настоужился, прислушиваясь. Мертвая тишина стояла долго. Наконец из своей комнаты — наверху в мансарде — на площадку вышла Клавдия Харитоновна и, шлепая стоптанными тапочками, начала медленно спускаться по деревянной лестнице. Она уже была почти возле двери, когда постучали в третий раз и Любовь Степановна услышала: «Да не бухайте, иду!» Клавдия Харитоновна умела взять себя в руки, голос ее звучал спокойно.

Ступени вновь закрипели — стоптанные шлепанцы Клавдии Харитоновны не трудно было узнать. Она остановилась на площадке, мед-

ленно отвела со лба седую прядь — так она делала, когда трудное оставалось позади, — и сказала:

— Это до вас.

Любовь Степановна сидела ни жива ни мертва. Ей послышалось не «до вас», а «по вас». Ну и слава богу, хоть не всех троих берут, а только ее одну.

В комнату вошел пожилой человек в потертом ватнике. Завязки серой ушанки запутались в темной бороде. Через плечо торба; в руке посох, как у чабана. На ногах кирзовые сапоги, — наверно, еще солдатские.

— Мне к киевскому профессору Стороженко, — послышался глухой голос.

Любовь Степановна молчала — перехватило горло. Где он узнал адрес? Ведь они давно переехали со старой квартиры возле плотины. И откуда он знает, что муж — киевский профессор, ведь об этом никому в Новом Запорожье не известно. Это тоже тайна, как и производство спичек!

Человек слабо улыбнулся в темную бороду.

— Может, я ошибся?

Клавдия Харитоновна подошла к Любови Степановне и легко тронула ее за плечо:

— Слышите, это к вам.

Незнакомец одеревеневшими от мороза пальцами расстегнул ватник, достал сложенную вчетверо бумажку и протянул Любови Степановне:

— Я от Ксени, от вашей дочки.

Любовь Степановна раскрыла рот, чтобы ахнуть, но не ахнула, только резко поднялась. От Ксени — так он сказал. Это была радость, способная убить. В глазах вдруг потемнело, сердце будто провалилось, и она прижала руку к груди.

Когда опомнилась — увидела, что лежит на постели. Клавдия Харитоновна выжимала полотенце. Соломия стояла в дверях, тревожно смотрела на нее суровыми серыми глазами. Любовь Степановна метнулась с постели.

— Где он?

— Не волнуйтесь, — сказала Клавдия Харитоновна, удерживая ее. — Завтра в двенадцать зайдет за ответом. — Она взяла со стола записку. — Вот прочитайте, все в порядке. Ксюша жива.

Руки, державшие записку, дрожали, и буквы прыгали. Всего лишь две строчки, наскоро написанные синим карандашом: «У меня все хорошо. Человек, который принесет записку, расскажет вам, где и как я живу». Рука Ксюши, ее короткая, энергичная фраза... Но почему так мало, даже без подписи, даже без обращения к родителям!.

— Почему он ушел?!

— Ни минуты не мог ждать. Вы не беспокойтесь — он зайдет. Лучше садитесь писать письмо.

Только теперь Любовь Степановна почувствовала всю глубину своей беспомощности. Она горько заплакала, будто только в эту ми-

нута потеряла Ксеню. Не осенью сорок первого, когда дочь ушла вместе с нашими отступающими войсками, и даже не на другой день, когда стало известно о внезапном немецком прорыве и окружении, в котором не могла не оказаться и Ксюша,— нет, не тогда, а именно теперь, когда стало ясно, что дочь жива. На душу навалились два бесконечно долгих года мучительных тревог и безнадёжного ожидания. Она понимала: сейчас вспоминать было бессмысленно. Но перед глазами возникли и Ксюша в своем голубом платье, что сшила перед самой войной, и Петя Славчук, который так неожиданно выстрелил себе в висок, и Олег, вдруг появившийся на пороге, будто воскресший из небытия...



1

Самолет приземлился прямо в поле, возле огромной скирды соломы. Олег Ива-

нович Харкевич взял свой чемоданчик и спрыгнул на стерню.

После нескольких часов бреющего полета приятно было сойти на твердую землю. Свежий декабрьский воздух проникал в легкие глубоко. Харкевич будто даже чувствовал, как кровь разносит по жилам целительный холодок.

По ту сторону самолета уже открыли капот и, стоя на крыле, кто-то копался в правом моторе. Харкевич обошел самолет, чтобы поблагодарить пилота, который изобразил его от тяжелой необходимости трястись несколько дней в теплушках.

Оказалось, что на крыле хозяйничает совсем не пилот, а какой-то здешний сержант из батальона аэродромного обслуживания. Из-под его замасленной ушанки выбивался ярко-желтый чуб, а из карманов лоснящегося комбинезона торчали гаечные ключи, отвертки и плоскогубцы.

— Что, укачало? — небрежно спросил сержант, не оглядываясь, и сразу же добавил: — В скирде наше капе, там можно отлежаться.

— Особенной нужды нет, — улыбнулся Харкевич. — Да и некогда: до места надо добираться.

Сержант обернулся и недоверчиво посмотрел на серое драповое пальто с поясом, на такую же, как и пальто, серую кепку Харкевича. Его, видно, удивил бодрый вид этого штатского. Здесь, в прифронтовой полосе, фигура Харкевича действительно могла удивить. Он не был похож ни на столичного начальника, из тех, что по делам иногда прилетали на фронт, ни на низового партрубочника, спешащего в только что освобожденный район. Высокий, широкий в плечах, с не-

большой осанистой головой и благородным лицом, он доброжелательно улыбался. Светлые брови, что почти срослись над небольшим тонким носом с чуть заметной горбинкой, придавали его лицу выражение постоянного и острого внимания. Похоже, что самолет и впрямь не укачал его. Под мягким, но пристальным взглядом этого человека сержант смущенно отвернулся.

— Вам в какой район? — спросил он наконец.

— В штаб семьдесят восьмой.

— А-а-а... — пробасил сержант и опять полез под капот мотора.

— Не знаете, штаб дивизии еще в Моргунах?

— Это не мое дело, — пробормотал сержант.

Олег Иванович постоял, раздумывая, не пойти ли и правда на КП. Сержант соскочил с крыла самолета и заковылял к скирде, не спеша переставляя свои кривые ноги. Он подбрасывал вверх плоскогубцы и ловил их одной рукой на лету. Вдруг он остановился, словно что-то вспомнив, и крикнул Харкевичу:

— Вот так идите напрямик через летное поле и выйдете на шоссе.

Кто-нибудь будет ехать, подбросит.

— Спасибо. Доберусь.

Не паханное два года поле стало похожим на выбитый скотом выгон, где никогда ничего не росло, кроме травы. После оглушительного рева моторов и сумасшедшего мелькания земли, которая во время бреющего полета рвалась из-под крыльев, как ураган, тихая предвечерняя степь казалась безлюдным простором далекой планеты, на которой только что высадился первый гость с Земли.

Когда-нибудь об этом надо будет написать... Стихи были слабостью Харкевича, о которой долгое время никто не знал, кроме Пети Славчука и Ксени. Правда, потом узнали и другие и, как сам он по этому поводу шутил, отметили его тайную музу при всем народе «громом барабанов и медных труб». Но об этом сейчас думать не хотелось. Славчука уже нет в живых, а Ксения где-то за Днепром. Удивительно — так близко и вместе с тем далеко...

До шоссе и правда было метров триста. Олег Иванович остановился на дороге у почерневшего столба с погнутой жестяной стрелой. Когда-то на ней, наверно, значилось название ближнего села. Только теперь, привалившись плечом к столбу, он почувствовал усталость. События минувшего дня, беготня и заботы, связанные с неожиданным и срочным отлетом, дали о себе знать только сейчас, в этой немой степной пустыне.

В поле еще не начало темнеть, до сумерек оставался целый час, а может, и полтора, но в красках неба уже чувствовалось приближение вечера. Воздух постепенно серел, будто густел и, казалось, опускался вниз, медленно наливаясь теменью. В точности как в Вишенках за Ворсклой, куда вместе с покойным отцом Харкевич ездил в отпуск к деду и где каждый день перед сумерками они сидели над темной рекой с удочками в руках.

Отец — сивашский рубака с усами, как у Буденного, — мог часами глядеть на поплавок. За Ворсклой была такая же степь и стояла

точно такая же тишь, а воздух густел, трогал холодком, хоть было это в апреле, а не в декабре, как сейчас.

Вдали что-то задребезжало, и Харкевич отошел от столба. Приближалась машина. Харкевич выбежал на дорогу и замахал большой деревянной грушей, на которой болтался ключ,— он забыл сдать его администратору московской гостиницы. Скрипнули тормоза, и, тяжело осев, машина остановилась.

— Ну чего? — не очень вежливо спросил лейтенант, приоткрыв дверцу кабины. Его красное лицо в густых оспинах не предвещало ничего доброго.

— Мне в штаб семьдесят восьмой...

Лейтенант смерил Харкевича недоброжелательным взглядом.

— А я здесь при чем?

— Вы же едете в том направлении...

— В кузове военное имущество,— лейтенант уже был готов закрыть дверцу. — Сами видите.

Харкевича рассердил тон лейтенанта, его самоуверенность, пренебрежительный взгляд, скользнувший по гражданскому пальто. Куда-то вдруг исчезла свойственная ему вежливость, и он крикнул:

— Черт побери, что ж я здесь — ночевать должен?

— Ну и что такого? — недовольно протянул лейтенант снова. — Я же продовольствие везу, не видите?

— Да не съем я вашего продовольствия! — Харкевич держался за дверцу, боясь, как бы лейтенант ее не закрыл.

Лейтенант помолчал.

— А к кому вы в штабе? — спросил через мгновение. Настойчивость Олега Ивановича, кажется, подействовала.

— К полковнику Шумакову... — Харкевич был уверен, что фамилия командира дивизии заставит лейтенанта сдаться.

Она и правда подействовала, но совсем не так, как ожидал Харкевич.

— Ну вот... к полковнику... Увидит, что с продовольствием людей везу,— шкуру сдерет.

Вдруг из кузова свесилась голова в черной фуражке морского офицера с большой золотой «капустой» над козырьком.

— А ну, покажите вашу канцелярию,— он протянул руку.

— То есть как? — не понял Харкевич.

— Командировочное удостоверение есть?

— Конечно. Пожалуйста...

Моряк взглянул на удостоверение с красным штампом генерального штаба и сказал:

— Давайте в кузов. — И, обращаясь к лейтенанту, добавил: — Ты за свою шкуру не переживай, она у тебя крепкая.

Лейтенант оскорбленно смолчал и хлопнул дверцей. Может, он не отважился перечить старшему? Харкевич плохо разбирался в флотских нашивках.

Машина быстро катила по подмороженной степи, погромыхивая на укатанном грейдере. В кузове стояли ящики с консервами, между

ннии была навалена мороженая скользкая рыба. Рядом с кабиной желтели мешки,— наверно, с сахаром: каждый мешок весь в мелких острых бугорках.

Моряк лежал и жевал печенье. Он равнодушно отламывал от квадратного сухого брикета небольшие кусочки и бросал в рот, как деревенский парень семечки. Удивительно: он только что сочувственно вмещался в стычку Харкевича с военоторговским лейтенантом и, можно сказать, решил судьбу незнакомого попутчика, а теперь равнодушно грызет печенье и настолько поглощен этим, что даже не предложил Харкевичу сесть рядом, ближе к кабине, где ветер не так свирепствовал.

Харкевич сидел на ящике с консервами и придерживал кепку — ветер так и рвал ее с головы. Иногда он отводил взгляд от ровного, как асфальт, грейдера и искоса поглядывал на соседа; лицо у моряка было такое же круглое, как и у лейтенанта, сидевшего в кабине. На щеках — пятна румянца, как у мальчика, который только что прибежал с мороза.

Небо быстро темнело. На горизонте появились странные очертания построек. Через минуту приблизились обгорелые двухэтажные дома с темными проемами вместо окон и дверей. За ними возникли фантастические, таинственно молчащие развалины поселка, от которого остались только трубы да печи. Вокруг не было видно ни души. Все явственнее подступало беспокойство. Приближался фронт, и хотя стрельбы еще не было слышно, перед глазами стояли уже следы войны, ее молчаливые и неподвижные свидетели.

Моряк поднялся и наклонился к Харкевичу.

— Может, заночуем? — крикнул он над самым ухом, стараясь пересилить гул ветра и шум колес.

— Что, приехали? — спросил Харкевич.

Моряк заглянул в свою планшетку.

— Нет, до Моргунов еще километров двадцать пять. Но там, наверно, все забито, места свободного не найдешь, лучше заночевать где-нибудь здесь.

— Ну что ж...

Впереди мигнул огонек.

Моряк молча наклонился, взял две мороженые рыбины и бросил за борт. Потом так же деловито достал из ящика две жестянки консервов и затолкал в карманы своей черной шинели. Харкевич с улыбкой следил за каждым его движением. Покончив с консервами, моряк шагнул к кабине и забарабанил кулаком по железу. Машина остановилась.

— Ну что? — недовольно спросил лейтенант, выглянув из кабины.

— Приехали. Будем устраиваться на ночь.

— Прямо в поле? — удивился лейтенант.

— Нет, вернемся немного. Там что-то мигает в окнах. — Затем обратился к Харкевичу: — Бросьте мое барахлишко. — И моряк тяжело соскочил на дорогу.

Харкевич подал ему чемоданчик и тоже спрыгнул.

— Не поминай лихом, лейтенант! — попрощался моряк со своим и Харкевича благодетелем. — На том свете встретимся!

Лейтенант не услышал, а может, опять обиделся. Хлопнул дверцей — и машина рванулась в синюю пустыню.

А через час оба они сидели в полуразрушенной хибаре и с аппетитом ели рыбу, которую хозяйка поджарила для них в печи.

— Не пора ли нам познакомиться? — обратился моряк к Харкевичу. — Я человек подводный, морской краб, как называют нас некомпетентные люди. Сиречь — водолаз. А фамилия моя Хохол. Лейтенант Хохол.

— Очень приятно, — улыбнулся и Харкевич.

— Ну, а вы?

— Харкевич, инженер-энергетик. Работаю в Москве, в Наркомате электростанций.

— Ах, вот оно что! — воскликнул Хохол. — Значит, к полковнику Шумакову?

— А вы откуда знаете? — удивился Олег Иванович.

— Да вы же лейтенанту сами сказали, — засмеялся тот, обсыпая рыбы ребра. — Я человек военный, все мотаю на ус.

«И верно, — подумал Харкевич. — Я в самом деле говорил. Сказал, но сразу и забыл, а вот этот не забыл, помнит».

— Если я не ошибаюсь, мы с вами плывем на одной посудине? — Хохол вытер клочком газеты губы. — Немного высокопарно, правда? И все же на одной, это факт! — Он громко засмеялся. Громко и загадочно.

Харкевич не ответил. Дело, по которому он «плыл», было военной тайной, и обсуждать его, даже с офицером, он не хотел.

Но морячок на ответе и не настаивал. Он поднялся, крикнул, довольный жизнью и вкусным ужином, и ушел в угол, где за печью притаилась хозяйка с малышом.

— А вы почему не ужинаете с нами?

— Ешьте на здоровье сами, — пропела женщина, не появляясь. — Хлебец у нас еще есть, поедем позднее.

— Э, нет! — воскликнул Хохол. Он вернулся к сундуку, который был для них столом, взял с тарелки вторую — целую — рыбку, оставшуюся после их ужина, и подал хозяйке.

— Сам поймал, — торжественно заявил Хохол и, как заговорщик, подмигнул Харкевичу.

— Ох, господи! — снова пропела женщина тягуче и растроганно. — Позавтракаете, вам же утром ехать дальше, а у нас хлебец еще есть...

— Мы люди военные: даст бог день, даст бог и рыбку! — засмеялся моряк.

Позднее, лежа под своим пальто в углу на соломе, Олег Иванович долго не мог заснуть и все думал о другом, неведомом для него мире войны и военных людей, к которому ему придется привыкать. На финской он не узнал этот мир — просто не успел. Три дня пробыл в саперном батальоне, а потом — плен, и так до конца войны. Прав-

да, позднее, в лагере под Мурманском, его окружали военные, но это уже были не солдаты, а стража.

Моряк примостился на лавке, почему-то спать на соломе не захотел. Все ухмылялся, приговаривая, что солома — это роскошь и, как человек военный, он отказывается от нее в пользу своего гражданского друга. Харкевич долго не мог заснуть и, почувствовав, как зудит тело, по которому сновали блохи, раскусил предательский смысл героического самоотречения этого хитреца. На лавке было спокойнее, чем на соломе. Хохол спал на лавке, словно плыл на спине, подложив руки под мощный затылок, наполняя избу богатырским храпом.

Храп иногда прерывался, и тогда Харкевич слышал глухой далекий гул — это напоминал о себе фронт — и, бессонно глядя во тьму, чувствовал легкое дрожание земли, которую там, над Днепром, терзали немецкие снаряды.

Когда под утро Харкевич раскрыл глаза, в комнате никого не было. Сквозь слепое оконце сеялся слабый свет, скупо обрисовывая сундук и большую печь, что заполнила полутемное пространство хибарки.

Лавка, на которой спал моряк, была пуста — Хохла не было. Олег Иванович быстро вскочил на ноги.

Взгляд упал на бумажку, прикрытую банкой консервов. Чувствуя недоброе, Харкевич взял эту бумажку и прочитал: «До встречи у Шумакова!» В сердцах смял записку и швырнул на пол, схватил свое пальто, чемоданчик и выбежал во двор. С разгона чуть не наскочил на хозяйку. Она с охапкой хвороста уже подходила к сеним.

— Ой, боже, куда же это вы?.. — пропела она. — Хоть бы позавтракали...

— Некогда. Поем где-нибудь позднее.

— Да хоть пальто отряхните. Все в соломе!

Харкевич растерянно улыбнулся, принялся отряхивать пальто.

— Разоспался я, — виновато сказал он, словно оправдываясь, и, уже выйдя на дорогу, оглянулся и помахал женщине:

— Спасибо за ночлеги!

2

Накануне, когда Харкевич пришел на работу, его вызвал заместитель наркома Одинцов. Услышав об этом от секретарши, Олег Иванович удивился. Два с половиной года, почти с самого начала войны, он служил в аппарате Наркомата электростанций, но Одинцов ни разу его к себе не вызывал.

Теперь, когда значительная часть предприятий оказалась в руках врага, наркомат имел меньший объем работы. Но заботы возросли: из оставшихся станций нужно было выжимать электроэнергию значительно больше, чем они давали когда-то. Это требовало от сотрудников управления, в частности от Харкевича, особенных усилий — приходи-

лось часто ездить или летать на места, вести переговоры, требовать. Возвращаясь в полутемный номер старенькой гостиницы за Московским мостом, он падал на постель, опасаясь, что утром не сможет подняться. Каждый раз он привозил много наблюдений, из которых рождались новые предложения и идеи, спешил доложить о них, чтобы руководство сразу же предпринимало энергичные меры.

Разумеется, лучше было бы самому разговаривать с теми, кто решал. Но его всегда вызывал только непосредственный начальник, заведующий сектором Козлов. И уже этот заведующий поднимался на пятый этаж и докладывал начальству. Харкевич никогда не знал, как истолковывает Козлов его мысли, какой смысл придает его идеям, и это беспокоило, а иногда и оскорбляло.

И вдруг — вызвал заместитель наркома! Впервые в жизни!

Харкевич ломал голову: зачем, что случилось?

В последние два месяца Олег Иванович жил напряженной внутренней жизнью. Шло наступление наших войск в районе Днепропетровска и Запорожья, передовые части приближались вплотную к гигантской гидроэлектростанции, где осталась Ксения со своими родителями, приехавшими к ней перед началом войны. Они так и не успели вернуться к себе в Киев.

Ксению он любил. Не было и дня, чтобы он не думал о ней. Все, что между ними произошло, не имело теперь никакого значения, все растаяло в вихре событий, казалось мелким по сравнению с ними. Наша армия стояла на левом берегу Днепра — на пороге дома Ксении, и он с болью и нетерпением ждал, когда дверь откроется и сам он ступит на этот порог.

Может быть, ему собираются сообщить что-нибудь о ней, о ее матери — Любови Степановне — или об отце — профессоре Стороженко.

Волнуясь, он вошел в кабинет Одинцова. Харкевич не раз видел его на заседаниях, знал, что зовут его Федором Степановичем и что это требовательный и даже суровый человек. Не поднимаясь из-за стола, Одинцов кивнул в ответ на приветствие, снял трубку и набрал номер.

— Харкевич сейчас у меня, — сказал он кому-то. — Может, вы с ним тоже поговорите? Приезжайте, жду. — Одинцов положил трубку, пристально посмотрел на Харкевича и сделал рукой чуть заметное движение, приглашая сесть. — Вы долго работали на Днепрогэсе? — спросил он низким и чуть хрипловатым голосом — голосом человека, который много курит. Его массивная фигура казалась слишком большой, даже для его стола.

— Три года, — ответил Олег Иванович. Он начинал понимать, зачем его вызвали.

— Три года, — повторил Одинцов. — Значит, тридцать девятый, сороковой и сорок первый...

— Нет, три года до финской войны.

— Да, да, я забыл! — Одинцов подвинул к себе бумагу, лежавшую на краю стола, посмотрел ее и снова отодвинул. — Что же, ничего

не поделаешь,— сказал он, словно отвечая на что-то свое, и стал сжато, но очень ясно излагать существо дела.

Кровь бросилась в лицо Харкевичу, когда он услышал, что должен сегодня же вылететь на Днепр. Выходит, не ошибся. Как только Одинцов спросил, долго ли он там работал, у Харкевича мелькнула мысль: это возможно! Наша армия подошла к плотине, и немцы могут взорвать ее. Плотины надо спасти любой ценой. Нужны люди, которые там работали или строили ее и знают все ходы и выходы, как свои пять пальцев. В наркомате есть работники, знающие ДнепрогЭС, но непосредственно на плотине работал только он, Харкевич.

Одинцов заметил перемену в лице своего собеседника, от него не скрылось и то, что взволновала Харкевича именно радость.

— Приятно, что мы выбиваем понемногу фашистскую сволочь с нашей земли. Но, когда речь идет о твоих родных местах, это, знаете, что-то совсем особенное.

Слова Одинцова звучали несколько общо, но Олег Иванович почувствовал в них особенную интонацию. И может, даже немного расстроженный тем, что Одинцов понял его состояние, одобрительно покачал головой:

— У меня с этими местами многое связано.

— Вот и хорошо,— бросил Одинцов коротко, и на лице его снова появилась характерная сосредоточенность, выражение суровой и деловой целеустремленности.

Помолчал, потом поднялся из-за стола и подошел к большой карте, висевшей на стене за его креслом. Вытянулся во весь огромный рост и стал в своем полувоенном кителе похож на Котовского, каким Харкевич помнил того по портретам. Это сходство проступило еще разительнее, когда Одинцов повел по карте тупым концом карандаша, отмечая линию фронта на участке Днепровской плотины.

Олег Иванович слушал, стараясь ничего не пропустить, но не мог избавиться от одной беспокойной мысли. Знал ли заместитель наркома, что связывает инженера Харкевича с этим клочком земли на Днепре, кроме глубокого, но свойственного многим людям чувства? Разве знает Одинцов о Ксене, о Кузьме Ивановиче Стороженко? Не обманывает ли Харкевич ответственных людей, которые, не считаясь с его прошлым, вынуждены доверить ему такое важное дело, не обманывает ли, утаивая, что в его радости есть много личного, скрытого?

Может, ему не доверились бы так безоговорочно, если бы знали, что на правом берегу осталась Ксения? Может быть, его молчаливую готовность сегодня же лететь на фронт истолковали бы как желание хоть таким способом быстрее добраться до человека, которого он любит? Разумеется, Харкевич не сомневался в своей гражданской честности. Но что, если заместитель наркома узнает обо всем этом от постороннего? Не подумает ли, что Харкевич сознательно промолчал, чтобы скрыть главное?

Настойчивая мысль не уходила: лучше сказать Одинцову, обязательно сказать, лишь бы не осталось ничего неясного. Останавливало

только одно — Одинцов все время говорил, и Олег Иванович не отваживался его перебить.

Вошла секретарша и что-то шепнула на ухо Одинцову.

— Мы его ждем, просите.

Секретарша кивнула и направилась к двери, и Харкевич понял сейчас наступит последняя возможность сказать о том, что его волновало.

Но секретарша не вышла из кабинета, а лишь приоткрыла дверь. Вошел генерал. На полевых погонах его кителя желтело по одной звезде. Одинцов, немного перегнувшись над столом, подал руку генералу:

— Пожалуйста, садитесь.

— Простите, некогда, — протянул руку и генерал. — Все в порядке?

— Вот! — Одинцов кивнул в сторону Харкевича. — Вручаю вам товарища Харкевича. Все, что мне известно, я ему уже рассказал.

— Ну мы еще поговорим у нас, — генерал подал руку Олегу Ивановичу и, не выпуская ее, взглянул на него колючими глазами. — Поехали, товарищ Харкевич. На полчаса в Генштаб и — на аэродром. Вам надо забежать домой?

— Нет, у меня в Москве никого нет.

— Ну что же, тем лучше.

3

Харкевич подошел к хате, в которой помещался командир дивизии. Часовой взглянул на его документ с печатью Генштаба и пропустил в скрипучую калитку, не удивившись, что гражданский человек предъявил военное удостоверение. Сам часовой, с полной выкладкой, не был похож на неприступную статую, какие Харкевич не раз встречал возле тыловых военных учреждений и даже возле фронтовых штабов на финской. Потертый тулупчик, на груди автомат, ушанка, которую этот солдат, наверно, носил уже не первым... Часовой не щелкнул каблуками, не козырнул, и это успокоило Харкевича. Хорошо понимая, что здесь идет долгая, изнурительная война, а не блестящие гарнизонные маневры, он все-таки лишь приблизительно представлял себе людей, которые эту войну вели. Беспокойство исчезло совсем, когда он вошел в хату и увидел лейтенанта, который, поздоровавшись, назвал себя Голобородько. Это был адъютант Шумакова. Олег Иванович был почему-то уверен, что встретит сразу самого Шумакова, и увидев, что перед ним адъютант, обрадовался: будет хоть какой-нибудь переходный этап перед встречей с командиром дивизии. К тому же и сам Голобородько, и атмосфера уюта и хозяйского порядка в крестьянской кухне, где помещался адъютант, окончательно развеяли недавнее беспокойство. Это была обыкновенная хата, от печи веяло мирным и ласковым теплом, от чисто подметенного пола пахло глиной и кизяком: сюда бы хорошенькую хо-

зайку с рогачом в руке — и можно забыть, что в нескольких километрах притих ошестиненный фронт.

Пока Голобородько просматривал документы, Олег Иванович изучал адъютанта. Это был тоже не тот ухватистый, вымуштрованный молодец, каким он представлял себе военнослужащих подобного рода. Выгоревшая, ставшая бесцветной от многих стирок гимнастерка, ремень без портупей, кирзовые сапоги... Лицо добродушное, немного лукавое, нос вздернут, губы полные, почти толстые. И это тоже успокаивало, придавало уверенности, потому что делало конкретной и без того ясную истину, что на войне, где участвуют десятки миллионов людей, большинство состоит именно из таких, как этот симпатичный парень.

Адъютант дочитал командировочное удостоверение и поднял на Харкевича круглые, немного насмешливые глаза.

— Понимаете, полковника сейчас нет, уехал на передовую.

— Что же, придется подождать.

— А может, вы пока поговорите с его заместителем по политической подполковником Штукаренко? — Голобородько, словно на шарнире, повернулся на стуле и выглянул в окошко. — Он, кажется, у себя.

— Ну что же... — Харкевич поднялся, довольный тем, что будет еще один переходный этап перед встречей с комдивом.

— А тем временем комендант штаба найдет вам пристанище, — добавил Голобородько, вставая. — С квартирами в Моргунах трудно, но куда-нибудь приткнет.

Адъютант, не надевая ни шинели, ни шапки, вышел во двор. Харкевич последовал за ним. Оказалось, что надо пройти всего лишь в соседнюю хату. Голобородько постучал в дверь, кто-то ответил басом, и он вошел в светелку.

— Здесь товарищ из Москвы приехал — из Наркомата электростанций, — услышал Харкевич, входя в сени.

— Ага! Давай его, давай! — глухо прогудел тот же самый бас.

Голобородько пропустил Харкевича в светелку, вышел и прикрыл за собой дверь. И слышно было, как он рысцой побежал по влажной земле в свою хату.

— Ждем, ждем! — Штукаренко стоял почти у самого порога, протянув руку Харкевичу. — Здравствуйте, товарищ Харкевич! Со счастливым прибытием!

Олег Иванович перекинул чемоданчик в левую руку и почувствовал крепкое пожатие костлявой руки подполковника. Он был высок ростом, сутуловат, погоны сползли с покатых плеч и наклонились, словно для того, чтобы легче было увидеть на них желтые звезды. Тонкие губы его приветливо улыбались. Темные, чуть прищуренные глаза смотрели на Харкевича пристально, но тоже с доброжелательной улыбкой. Взгляд, казалось, стремился сразу проникнуть в самую суть нового человека и будто говорил: «Ты, человек, не таишь, выкладывай душу сразу».

— Раздевайтесь,— сказал он и выпустил руку Харкевича. — Садитесь.

Олег Иванович наклонился, чтобы поставить свой чемоданчик в уголок, и замер. У стола сидел его вчерашний знакомый в черной флотской шинели — лейтенант Хохол. Сидел и тоже улыбался.

— Ну, как спалось? — он поднялся и подал руку Харкевичу. — Блохи не кусали?

Харкевич улыбнулся.

— Давние знакомые? — спросил Штукаренко.

— Не очень, но достаточно близкие,— засмеялся громко Хохол. И подмигнул Харкевичу: — Значит, плывем все-таки на одной посудине?

— Не знаю, возможно... — улыбнулся и Харкевич. Но избежал прямого ответа, теперь уже не потому, что таился: присутствовал третий человек, который мог их не понять.

Оказалось, что Хохол и Харкевич действительно будут работать в полном взаимодействии, только один под водой, а другой — на поверхности.

Пока Шумакова не было, Штукаренко ввел их в курс дела. В первых числах сентября немцы подвезли к плотине двенадцать вагонов взрывчатки и пятьсот авиабомб. Все это замуровано в специальных камерах, вырубленных в теле плотины. Но где именно, неизвестно. Скорее всего, не в одном месте, а во многих. Одним зарядом, даже и очень сильным, можно разрушить только часть плотины, а немцы, надо думать, хотят уничтожить ее всю целиком. Задача — любой ценой обезвредить заряды.

Стало быть, надо найти и перерезать кабель, ведущий к взрывчатке. И не в случайном месте перерезать, а на территории врага: там, где кабель входит в тело плотины.

Ни Штукаренко, ни Хохол не могли полностью представить себе всех трудностей.

Штукаренко понимал — дело это нелегкое, ведь враг наблюдает не только с правого берега, но и с острова Хортица, расположенного как раз против плотины. Это означает, что действовать придется на глазах у бдительных наблюдателей.

Хохол тоже знал, что дело ему предстоит не простое. Во-первых, здесь не море с неограниченным простором для действий под водой. Во-вторых, наверно, еще со времени строительства да и первых разрушений на дне реки осталось немало всякого хлама, который будет мешать продвижению водолаза. Но все эти препятствия можно одолеть.

И только Харкевич ясно понимал, что их ждет.

Еще осенью сорок первого года он читал докладную записку подрывников, которым было поручено вывести плотину из строя. Дело свое они делали осторожно, взрывали только то, что после победы легко будет восстановить. И все-таки... Мосты и мощные краны, железнодорожные колен и огромные стальные щиты — все это рухнуло в воду и осталось на дне. Водолаз или отступит, или запутается и

погибнет. И на самой плотине не легче: надо одолеть тридцать уцелевших бетонных быков. Тот, кто их никогда не видел, не может представить себе, что это такое. Харкевич видел.

Но вслух Олег Иванович не высказывал своих опасений. Профессиональная привычка инженера не позволяла ему решать вопросы как попало. Он должен побывать возле плотины, хоть издали осмотреть, а уж после этого делать выводы.

И, словно угадав его мысли, Штукаренко сказал:

— Хотелось бы расспросить о Москве — что там и как. Но сейчас не до того. Надо вам взглянуть на плотину. Так ведь?

— Надо, — согласился Харкевич.

— Передовая проходит по берегу, так что с нашей стороны можно подползти близко, — пояснил Штукаренко. — Почти до шлюза.

— Вот как! Значит, нас разделяет только река... — тихо проговорил Харкевич, ни к кому не обращаясь.

— К сожалению, не только, — улыбнулся в ответ Штукаренко. Он понял его буквально, имея в виду враждебные силы, что притаились на берегах великой реки. Две силы, готовые залить одна другую огнем и раскаленной сталью, стоит лишь какой-нибудь из них неосторожно шевельнуться, выдать себя.

А Олег Иванович вложил в свой вопрос еще и другой смысл, понятный только ему. Ксения и не подозревает, что между ними хоть и кипучая, хоть и полная опасностей, но всего лишь одна синяя полоса днепровской воды...

4

В сопровождении лейтенанта Голобородько они доехали на машине почти до окраины Нового Запорожья. Дальше ехать было опасно, пришлось пешком отправиться в первый батальон, который занимал позиции возле самого шлюза.

Хохол рассказывал разные истории. Кончал одну и сразу же начинал другую. Олегу Ивановичу было не до разговоров. С каждым шагом он приближался к черте, которая должна была изменить все направление его будущей жизни, если, конечно, он останется в живых. Он никогда еще не чувствовал это так остро. Ни в ту минуту, когда два здоровенных финских лыжника выскочили из засады и навалились на него своими тяжелыми телами, скрутили ему руки, взяли в плен. Ни тогда, когда начался обмен военнопленными и пограничники торжественно поздравив с возвращением на Родину, передали его сотрудникам НКВД, а те отправили под Архангельск, а не домой... Тогда направление жизни Олега Ивановича тоже резко менялось, но без его участия, без его воли. Теперь он чувствовал, что сам определяет свое будущее и оно во многом зависит от того, найдет ли он в себе силы справиться с заданием. Впервые в жизни его будущее оказалось по-настоящему в его собственных руках. И он сознавал всю меру ответственности перед самим собой и перед другими людьми.

Вперед все чаще постреливали. Через головы с неровным и мелодичным свистом перелетали снаряды и мины. Чувствовалось, однако, что стреляют вслепую, что война на этом участке огромного фронта как бы устала и отдыхает, набирая силы. Шорох снарядов казался противоестественным, трудно было представить, что над головой пролетает раскаленный металл. Скорее, думалось, что где-то ветер сорвал с дома ржавый железный лист и он летит, неловко переворачиваясь в воздухе.

Голобородько побежал вперед, к домам, маячившим неподалеку. В ожидании адъютанта Хохол и Харкевич присели на камне. Моряк примолк. Почувствовал, наверно, что мысли Харкевича заняты другим. Несколько минут они молчали, потом моряк спросил:

— Значит, вы здешний?

— Нет, я из Харькова. Здесь только работал.

— Выходит — жили?

— Жил, выходит...

— А семья ваша где?

— Не знаю.

Хохол нахмурился.

— Все мы теперь ничего не знаем про свою семью.

Харкевич искоса взглянул на спутника. В его словах чувствовался какой-то особенный смысл, какая-то неожиданная горечь, а может быть, и тоска.

— Была и у меня семья, а теперь нет...

Олег Иванович молча смотрел вперед — на дорогу. Он не отважился спросить, но Хохол заговорил сам:

— Как-то еще в Архангельске я получил письмо. Сосед у меня по квартире был, профессор зоологии или что-то в этом роде. Хороший человек. Сообщил, что жена уехала из Ленинграда, эвакуировали в Уфу.

Он помолчал, словно колеблясь, потом вздохнул.

— У нас с нею еще до войны ниточка порвалась. Так, знаете, обстоятельства...

Эта откровенность Хохла была такой неожиданной и искренней, что Олег Иванович сразу проникся сочувствием и доверием к нему. «Вот что значит эта болтливость, — подумал он. — Ширма».

— Теперь она в Уфе?..

— В Уфе. С госпиталем.

— Врач? — Харкевич почувствовал внезапную потребность утешить его. — Война кончится — встретитесь опять.

— Да нет, дело не в том. — Хохол швырнул на землю окурки, искры разлетелись в разные стороны, ветерок подхватил их и погасил. — Сложно все это. Может, после войны разберемся. Только доживем ли?..

Из-за дома выбежал Голобородько, махнул им рукой:

— Давайте сюда!

Хохол и Харкевич двинулись следом за адъютантом. Уже заметно стемнело. Тучи громоздились над головой, казалось, вот-вот заморо-

сит дождь. Из полумрака, словно из бездонной пустоты, вырисовывались контуры стен. Значит, дошли до Шестого поселка — так раньше называли Новое Запорожье. Когда-то Харкевич никак не мог привыкнуть к новому названию, может, потому, что город вырос на его глазах из рабочего поселка.

Он знал здесь каждую улицу и каждый дом. Лучше пойти через центр, но Голобородько почему-то свернул в боковую улицу. Только теперь Харкевич заметил, что адъютант не один, с ним шел еще кто-то, показывая дорогу.

Здесь уже во всем чувствовался фронт. В переулках, которыми они шли к плотине, кроме них, не было видно никого, но по каким-то неуловимым признакам угадывалось присутствие многих людей. Возле Днепра изредка переговаривались пулеметы. Дома стояли почти вплотную один к другому и защищали людей своими истерзанными спинами. Но изредка хитрой пуле удавалось пролететь сквозь плотный фронт домов и сюда. Где-то вверху болезненно звякало чудом уцелевшее стекло, и на тротуар сыпались мелкие осколки.

Теперь они вышли на самый конец центральной улицы, которая упиралась прямо в плотину, словно была ее прямым продолжением. Здесь уже приходилось продвигаться осторожно — улица была совсем открыта перед пулеметами, бившими с правого берега. Харкевич увидел, как проводник, что шел впереди Голобородько, пригнулся и перебежал улицу. Голобородько тоже побежал, но тут вдоль улицы хлестнула пулеметная очередь. Он упал на мостовую и замер. Хохол и Харкевич прижались к стене. С минуту они стояли, затаив дыхание. Трудно было сказать, жив ли Голобородько. Но вот он вскочил и перебежал на другую сторону.

Теперь побежал и Хохол. Оказавшись на другой стороне, он крикнул Харкевичу, который еще стоял на углу:

— Быстрее! Давайте!

Харкевич побежал, но над головой опять засвистело, и он упал посередине улицы, как упал перед этим адъютант. Сердце колотилось, словно собиралось вырваться из груди через горло. Наконец он вскочил на ноги и одним духом перелетел на другую сторону.

— Ну, все в порядке, — констатировал Голобородько. — Вы здесь подождите, а мы пройдем немного вперед.

Они опять сидели вдвоем на каменном приступке и молчали. Постепенно дыхание успокоилось, и сердце стало биться почти ровно.

— Что, знакомые места? — спросил Хохол.

— Знакомые... только трудно узнать.

— Это что за дом? — Хохол оглянулся на темную стену, нависшую над ним.

— Райком.

— Можно стать на учет! — Хохол тихо засмеялся. — Партбилет с вами?

— Нет.

— Ах, так! — сказал Хохол, и неясно было, как он понял ответ Харкевича: нет при себе или нет вообще?

Олег Иванович удивленно прислушался. Среди звуков, доносившихся сюда, не хватало еще какого-то, и он силился припомнить, какого именно. Хотя он сидел возле самой передовой, грохота боя не было слышно — такого непрерывного, как на финской. Но беспокоило не отсутствие этого грохота — недоставало другого звука, без которого неполной была картина вообще — и этот пейзаж, и эта улица, хоть и пустынная и изувеченная, но знакомая до мельчайших подробностей. Он прислушивался к тому, что говорил Хохол, боялся ответить невпопад: водолаз мог еще подумать, что Харкевич просто перепугался на передовой и чувствует себя не в своей тарелке. И все-таки ничего не мог поделаться, волновался и силился понять, чего же все-таки не хватает здесь сейчас, какого звука недостает?

Наконец догадался: не слышно тяжелого шума воды. В эту пору она всегда переливалась через бетонный гребень плотины из верхнего бьефа. «Конечно же, как я сразу не додумался?!» Харкевич успокоился, как человек, который искал что-то и вдруг нашел. Но сама находка не радовала, она наполнила сердце новой тревогой.

Слева свистнул Голобородько. Они поднялись и увидели его недалеко внизу. Он опять махал им рукой, звал к себе. Пригибаясь и перебегая с места на место, они приблизились к лейтенанту. Тот ждал их в глубокой яме.

— Идите с ним,— указал он Харкевичу на бойца, что сидел на дне ямы,— а вам,— обернулся он к Хохлу,— наверно, интересно пройти на озеро Ленина, посмотреть, что там?

— Рыбе интересно, где глубже,— ответил Хохол.

— Значит, вы со мной,— сказал Голобородько, и оба исчезли во тьме.

Вскоре Харкевич уже стоял за огромной каменной глыбой ниже плотины. Внизу чернел бетонный провал шлюза. Уже стемнело, и его трудно было увидеть весь, но Харкевич знал: шлюз там. Сквозь густой мрак изредка вспыхивали ракеты, освещая все вокруг дрожащим неестественным светом. Плотина высилась впереди, выгибалась темной стеной, почти сливалась с ночью. Трудно было даже понять, видит Харкевич ее очертания или они только представляются ему,— слишком глубоко они врезались в его сознание.

Он уже начинал думать, что все это ночное путешествие ничего не даст. Ему надо было точно знать, что представляет собой плотина теперь, чтобы решить, с какой стороны подойти к выполнению задания. Но ясно увидеть Харкевич почти ничего не мог, и это его беспокоило.

Вдруг тонкий луч прожектора прорезал мрак и выхватил из темноты кусок водосливного гребня и два бетонных быка. Харкевич тут же понял, откуда ударил луч: с Хортицы. Немцы время от времени освещают плотину прожектором — не проник ли кто-нибудь сюда. Луч пополз, ощупывая каждый бык, то задерживаясь на миг, то медленно передвигаясь дальше. Казалось, немцы показывают плотину, чтобы убедить Харкевича в бесплодности его предстоящих усилий, показывают подробно, со всех сторон, чтобы он успел хорошенько все

рассмотреть и понял: по ней на правый берег никому не пройти. В белом пятне света ясно вырисовывались, уставясь в темное осеннее небо, остатки металлических конструкций. Чернели два огромных пролома — результаты взрывов сорок первого года. Потом луч скользнул вниз, к самой воде, и Харкевич увидел, что она под плотиной почти спокойна. Как это было непохоже на обычную картину нижнего бьефа, где всегда клубились гигантские обвалы вспененной воды: сначала медленными потоками она сползала с бетонного гребня, а потом, перекатившись через него, срывалась вниз, пенилась и ревела, разлетаясь в пыль. Вокруг стояла тишь. Внезапные очереди и одинокие выстрелы отдавались долгим эхом, словно вокруг был дремучий лес.

Прожектор опять остановился где-то на середине плотины и замер. Некоторое время он освещал только одну точку, словно тот, кто направлял луч, устал. Вдруг докатился выстрел из пушки — оттуда, из недр темного острова, — и через мгновение разорвался снаряд — в той точке, которую указывал прожектор. Там не было никого. Харкевич видел ясно — стреляли наобум, не имея никакой определенной цели. Снаряд отковырнул небольшую глыбу от бетонного быка, и она с глухим грохотом полетела вниз, бултыхнулась в спокойный плес.

Еще миг светил прожектор и вдруг погас. Луч исчез так же неожиданно, как перед этим возник. Казалось, таинственный кинемеханик выключил свой аппарат, приостановил странный фильм, который лишь начал было разворачиваться перед изумленными глазами Харкевича. Может, фильм закончился, а может быть, только порвалась лента и надо минуту подождать, пока ее склеят и аппарат заработает снова. Харкевич подождал. Вокруг стояла тишь и непроглядная темень. Он ждал минуту и еще минуту, но прожектор не оживал.

5

Вернувшись в Моргуны, Харкевич застал Хохла уже там. Водолаз давно ждал, чтобы немедленно идти к Штукаренко на срочное совещание.

Был первый час ночи. На дворе подмерзло. Ветер теперь дул с севера — налетевшая было водяная пыль превратилась в колючую ледяную крупу.

Часовой, что стоял возле ворот, оказался более требовательным, чем тот, с которым Олег Иванович встретился днем возле хаты комдива. Он вынырнул из густой тьмы неожиданно, как привидение, и голос его прозвучал настороженно и сурово:

— Стой! Пропуск!

Хохол что-то шепнул ему на ухо, и они прошли.

В светелке собралось много людей. Возле стола кроме Штукаренко сидел круглолицый полковник, и Харкевич догадался, что это и есть Шумаков — командир дивизии.

— Наконец-то, — бросил Штукаренко навстречу прибывшим, когда они появились на пороге. — Садитесь. Ждем.

Штукаренко показался теперь более напряженным и суровым, чем днем, когда Харкевич его увидел впервые. Может, устал, а может, сам дух совещания требовал четкости, собранности. Шумаков, наоборот, был свежим и приветливым, его мужественное, чисто выбритое лицо дышало здоровьем. Ему можно было дать лет тридцать пять, хотя минуло уже сорок.

Пока Штукаренко выяснял, почему не явился кто-то из вызванных на совещание, Харкевич тайком посматривал на Шумакова. Полковник не был похож на армейского кадровика, хотя Харкевич понимал, что командир дивизии должен быть кадровым офицером. Шумаков держался свободно, просто, и потому другие его подчиненные чувствовали себя с ним легко и непринужденно. Харкевич заметил: почти непрерывно Шумаков двигал правой ногой. Он упирался носком левого сапога в задник правого и ловко стаскивал его, освобождая пятку, а потом снова заталкивал ее в сапог, словно стараясь отогреть. Полковник тихо переговаривался с сидевшим рядом лейтенантом, и, хоть это мешало Штукаренко сосредоточиться, он только иногда искоса посматривал на них.

— Ну, что вы увидели на месте? — обратился Штукаренко к Харкевичу. — Докладывайте.

Обращение было неожиданным. Олег Иванович оторвал взгляд от Шумакова и быстро овладел собой.

— Печальная картина, — сказал он.

— Веселого, конечно, мало. Но мы сюда не веселиться приехали, а воевать.

Это прозвучало как вызов, как намерение поставить человека на место.

Харкевич поднялся.

— Можете сидеть.

Но он не сел. Ясно, выразился неудачно. Просто от неожиданности сорвалось с языка. Неприятно, конечно, что так начал.

— Ночью трудно что-либо определить наверняка, — сказал он, стараясь взвешивать слова и высказываться как можно точнее. — Но мне ясно, что перебраться через плотину нелегко, особенно если это надо делать тайно, то есть ночью.

— Это главное условие, — отрубил Штукаренко.

— Пешеходного моста не существует, надо перелезть через тридцать быков, а высота каждого двадцать метров.

— Вы что, пришли убеждать нас, что это невозможно?

— Нет, почему же... — Харкевич смутился. — Этого я не сказал. Нужны опытные верхолазы. — Харкевич понял, что от него ждут не колебаний, не опаски, а четких предложений.

— Верхолазов мы вам дадим. Даже цирковых акробатов, — сказал вдруг Шумаков доброжелательно, хотя и не без иронии. — Амирадзе, как ты думаешь, дадим?

— Есть, товарищ полковник, дадим! — вскочил и отпрапортовал тот, к кому Шумаков обратился. — На Запорожстали лазили, полезем и здесь.

Только теперь Харкевич заметил чернявого, маленького, как жучок, Амирадзе, который сидел рядом с ним.

— Нужны не просто верхолазы, но люди, которые умели бы взбираться по стенам,— заметил Харкевич, не совсем понимая иронии полковника.

— А ты, Ковальчук, как насчет стен? — обратился Шумаков к ефрейтору, что сидел рядом с Амирадзе.

Могучий ефрейтор вскочил, словно его подбросила тугая пружина. Щелкнув каблуками, он быстро проговорил:

— Служу Советскому Союзу!

— Все мы служим,— усмехнулся Шумаков.— Только не умеем по стенам лазить.

— В вашем распоряжении будут Ковальчук и Амирадзе,— заговорил опять Штукаренко, обращаясь к Харкевичу.— Оба отсюда родом, хорошо знают местность. И по стенам лазить — тоже для них не новость.

— Отдаем вам двух лучших разведчиков, отрываем, можно сказать, с мясом,— добавил Шумаков.

Харкевич не знал, как ответить на такую любезность, и только кивнул головой: мол, благодарю.

— А вы садитесь, садитесь,— сказал подполковник.

— Кстати,— вмешался снова Шумаков, обращаясь к Харкевичу,— вы с ними раньше не встречались?

Харкевич взглянул на Амирадзе и на крепкого, широкого в плечах Ковальчука.

— Кажется, нет.

— Все, кроме водолазов, люди здешние. Мы их собирали по всей армии, как золотой песок. Может, раньше и не встречались, но земляки — люди родные.

Это было для Харкевича новостью. Только теперь он подумал, что так и следовало поступать: для дела, которое ждало их, нужны, в первую очередь, люди, знающие плотину.

Теперь он стал присматриваться к тем, кто сидел поодаль. Двоих он уже знал, а те двое, что рядом с Хохлом, наверно, и есть водолазы. Взгляд Харкевича остановился на фигуре лейтенанта, что сидел в углу, возле командира дивизии, и его вдруг больно толкнула догадка: Сергей Рудь! Да, это был он, единственный среди всех присутствующих, кого Олег Иванович знал с давних пор и кого меньше всего хотел бы здесь встретить.

Но ни для воспоминаний, ни для переживаний времени не было. Опять заговорил Штукаренко:

— Свое задание вы знаете, товарищ Харкевич. Любой ценой перебраться через плотину и найти провод. Параллельно будет действовать группа водолазов, которая тоже попытается выйти на правый берег. Докладывайте, товарищ Хохол, что там у вас?

Хохол поднялся. Он держал перед собой план плотины — ему дал Харкевич еще при встрече у Штукаренко. Могучая бетонная стена выгибалась, словно огромная полуподкова, и, начерченная острым

карандашом, даже на бумаге производила внушительное впечатление. Тридцать быков — подпор — поддерживали ее изнутри гигантского полукруга. Тело плотины пронизывали два сплошных внутренних тоннеля, они шли сквозз бетонную толщу от берега до берега. Верхний — большой, по нему мог свободно пройти даже железнодорожный вагон; второй под ним — уже не такой высокий. Оба, как видно было из чертежа, помещались ниже уровня воды в водохранилище, и Хохол понимал, что после разрушений сорок первого года они должны быть затоплены.

Хохол помолчал, глядя на чертеж, и наконец сказал:

— Через озеро Ленина не удастся, товарищ подполковник, место совсем открытое.

— Вы, кажется, тоже настроены, как Харкевич? — засмеялся Штукаренко.

Хохол взглянул на Олега Ивановича, который начинал розоветь, и уже готов был встать и ответить на эту резковатую шутку.

— Харкевич не говорил, что задание выполнить нельзя, — ответил Хохол вместо него.

— Какие же ваши предложения? — примирительно спросил Штукаренко.

— В теле плотины есть два тоннеля... кажется, они называются потернами? — Хохол смотрел на Харкевича, ожидая подтверждения, и тот кивнул. — Ну вот. Они затоплены, и водолазам, я думаю, надо попробовать пробраться по потерне.

— А это возможно? — Штукаренко взглянул на Харкевича.

— Если входы завалены, есть несколько окон в быках. Через них можно проникнуть в потерны, хотя в водолазном снаряжении, пожалуй, трудновато...

— Это уж дело самих водолазов, что и как, — бросил опять резко Штукаренко. — Есть окна, — значит, пролезут.

Мысль Хохла о том, чтобы попытаться счастья в потернах, порадовала Харкевича. Хотя под нажимом Штукаренко он вынужден был согласиться, что и по плотине можно пройти, но уверенности не было. Теперь начинал верить, что выполнить задание все же можно — если не справятся верхолазы, то это сделает водолаз.

Он заставлял себя думать только о деле, но это не удавалось. Невольно поглядывая в угол, где сидел Рудь, Харкевич чувствовал, что неожиданная встреча с лейтенантом все больше его беспокоит. Их связывали сложные отношения, о которых не хотелось вспоминать сейчас. Все забыто, давно, давно уже мохом поросло, а все-таки...

Неприятно было и то, что Рудь ни разу не посмотрел на Харкевича, будто совсем его не заметил. А ведь сидел лицом к присутствующим и не мог не обратить на него внимания. Когда Олег Иванович вернулся из финского плена — перед самой войной, — Сергей ему ни разу не попался на глаза, а сам Харкевич о нем не вспомнил, потому что сразу угодил в такой переплет, в такую неожиданную беду, что ему было не до Сергея Рудя...

А лейтенант Рудь все еще говорил о чем-то вполголоса с Шумаковым. На лице его блуждала благодушная улыбка. Будто между прочим, он заметил комдиву, что с Харкевичем знаком давно — работал почти рядом и вообще знает хорошо.

— Что он за человек? — тихо спросил Шумаков.

— Не плохой, — ответил Рудь. — Инженер хороший. Вот только с биографией у него... Был он и в финском плену, да и кроме плена тоже...

Лицо Шумакова вдруг нахмурилось, на щеках выразительно заходили желваки. Он почему-то отодвинулся от Рудя и достал из кармана пачку папирос. Чиркнул спичкой, другой... Спички ломались, и он никак не мог прикурить. Рудь достал зажигалку и поднес огонек. «Ох, парень, — подумал комдив, прикуривая, — что-то ты темнишь, не лежит у меня к таким сердце!» Не поблагодарив за огонь, он отвернулся... Он вспомнил о своем собственном Руде, оставшемся где-то в Чите. Тот считал, что с биографией не все в порядке — у Шумакова.

Наконец совещание кончилось и все поднялись. Только Олег Иванович еще сидел в каком-то оцепенении. Он не знал, надо ли ему подойти к Рудю, и вместе с тем боялся, что тот к нему подойдет сам.

И Рудь подошел.

— Здравствуй, товарищ Харкевич, — протянул руку. — Встретились! Земля — круглая.

Харкевич пожал ему руку, но не ответил.

— Что же, вместе будем воевать? Я рад. — Сергей снова пожал холодную руку Олега Ивановича и хотел еще что-то сказать, но услышал голос Штукаренко:

— Товарищ Харкевич, задержитесь на минутку.

Все вышли, и инженер остался наедине с подполковником.

— У нас с вами приблизительно одинаковая комплекция, — сказал Штукаренко, выходя из-за стола. — Я вам одолжу пока свою шинель. У меня две, а вам в гражданском будет неудобно. Еще за шпиона примут, чего доброго, — усмехнулся он и, сняв с гвоздя шинель, подал Олегу Ивановичу.

— Благодарю, — Харкевич растерялся. После суровых вопросов, которые только что задавал ему Штукаренко, это внимание было неожиданным.

— На днях привезут обмундирование, получите все, что следует, а шинель вернете мне.

— Хорошо...

Харкевич вышел на улицу и побрел в холодном мраке декабрьской ночи к своей хате. Долгий день, полный событий и беспокойства, утомил его основательно, но неожиданная встреча с Рудем породила новую тревогу. Она ворошила прошлое, вызывала воспоминания, которым лучше бы вообще не оживать.

Любовь Степановна твердо решила не говорить мужу о записке Ксюши сразу, как только он придет. Если сама она от счастья потеряла сознание, то как встретит весть он, с его больным сердцем! Как врач, Любовь Степановна хорошо это понимала. Лучше подготовить его, приучить к мысли, что Ксюша жива, заставить поверить в чудо. А уже потом показать записку и сказать о посланце. Свою сумку с медикаментами она положила на стол, чтобы на всякий случай иметь под рукой,—лекарств у нее осталось мало, но валерьянка еще была.

Письмо разрасталось, на столе уже лежало двенадцать страниц, написанных мелкими буквами, но, перечитав их, Любовь Степановна поняла: еще ничего не рассказала. Одни излияния чувств. Времени оставалось немного. Кузьма Иванович должен был скоро прийти,— надо закончить письмо, пока он на базаре...

Но получилось совсем не так, как она предполагала. Едва Любовь Степановна сосредоточилась на главных событиях минувших двух лет, как над домом пронзительно завизжало и где-то совсем рядом раздался взрыв. Любовь Степановна вскочила и побежала вниз. И как раз в это время открылась дверь, на пороге появился Кузьма Иванович. Он совсем не был испуган взрывом,— наоборот, лицо сияло.

— Наши войска с той стороны, у плотины! — крикнул он и бросился обнимать жену.

Больше не стреляли, и Кузьма Иванович кинулся наверх. И конечно же сразу увидел на столе исписанные страницы и записку Ксюши.

Выхода не было, пришлось все рассказать.

Кузьма Иванович застыл, бледный, ошеломленный.

— Я торговал на базаре вонючими спичками, а другие боролись,— тихо, но четко проговорил он.

Любовь Степановна не успела возразить, как он выбежал на лестничную площадку, проворно полез на чердак. Оттуда послышались глухие удары, звон стекла — это в приступе гнева он громял свою лабораторию.

Стороженко спустился с чердака и, обессиленный, сел в свое старое кресло. Слезы катились по щекам — он плакал, совсем беззвучно. Любовь Степановна никогда не видела, чтобы так плакали.

Наконец Кузьма Иванович успокоился и заговорил. Он понял из Ксюшиной записки то, чего не поняла Любовь Степановна. И само содержание, казавшееся ему таинственным и многозначительным, и то, как Ксения передала свою записку родителям,— все убеждало Кузьму Ивановича, что дочь эти два года была занята более важным делом, чем ее отец.

— А я только и думал о том, чтобы как-нибудь продержаться... Профессор Киевского университета... — голос его дрожал и срывался.

Любовь Степановна старалась припомнить, каким был с виду, как вел себя незвестный посыльный, сопоставляла с тем, что говорил

Кузьма Иванович, и ей начинало казаться, что с запиской действительно приходил не простой человек. Не мог подождать, пока она опомнится... Значит, прибыл по срочному делу... А какие такие дела, если рядом фронт? И почему он не пришел с запиской, когда здесь было по-тыловому тихо, а появился только сегодня, накануне прихода наших войск? Теперь уже и ей все это казалось таинственным.

Вывод, к которому она пришла в связи с Ксюшиной запиской, волновал и вместе с тем радовал ее. Но она совсем не собиралась проклинать себя, как клял Кузьма Иванович. Если у родителей достойное дитя, рассуждала она, значит, достойны и сами родители. Ведь воспитали ее они, и прежде всего отец.

— Если бы Ксения оказалась негодницей,— воскликнул он,— я бы не взял ее позора на себя. Почему же я должен прикрываться ее совестью?!

Все это было тяжело, но справедливо, и Любови Степановне нечего было возразить. Но где выход? Раскаяние, к тому же запоздалое,— разве могло оно чем-нибудь помочь?

Она села дописывать письмо, но теперь уже не знала, о чем писать. Кузьма Иванович забился в угол, лицо его стало сосредоточенным, хмурым. Украдкой поглядывая на него, Любовь Степановна проникалась жалостью и к нему и к себе и не могла уже писать Ксене о том, что так недавно казалось ей важным. Теперь уже стыдно было вспоминать о производстве спичек, рассказывать о переживаниях, связанных с торговлей на базаре... Впервые за два года Любовь Степановна подумала, что, наверно, лучше было бы, если бы они в сорок первом не остались на Днепрогэсе, а вернулись в Киев,— тогда не было бы ни базара, ни спичек, ни этого стыда. Но писать об этом — значит жаловаться. Дочь поймет все как укор лично ей! Ведь остались они тогда ради Ксени. Не могли ее бросить одну, когда жизнь обошлась с нею так круто, так жестоко!

Любовь Степановна сидела над чистым листом и не знала, с чего начать. Вдруг над домом снова зашуршало, послышался протяжный свист, и где-то далеко, в противоположном конце города, ударил взрыв. Она спокойно отложила карандаш и поднялась:

— Пойдем вниз.

7

В начале сентября 1943 года Гитлер оставил растенбургскую штаб-квартиру и вылетел на Восточный фронт. Его самолет приземлился на окраине украинского города Запорожья, где помещался штаб и сам командующий армейской группой «Юг» фельдмаршал Манштейн.

Невысокий, но стройный и не по возрасту подтянутый фельдмаршал встретил своего фюрера у самолета. Пожимая влажную руку высокого гостя, он удерживал на своем бледном худощавом лице почти-тельную улыбку, но по-стариковски внимательные и острые глаза

схватывали все, и фельдмаршал про себя отметил, что в лице Гитлера нет обычной для него самоуверенности.

Фельдмаршал не был тонким психологом, хотя прожил на свете уже больше шестидесяти лет. Но, как человек, который большую часть своей жизни провел на армейской службе, он научился быстро и безошибочно определять настроение начальства. Знал, что люди, которые ходят голым и всегда чувствуют себя твердо на обеих ногах, легко впадают в бешенство, когда перед ними появляется прямая опасность, и предаются меланхолии, если прямой угрозы еще нет, но она уже нависает и ее замечают подчиненные. Сейчас было как раз такое время — крах еще не наступил, но время побед уже миновало. И Гитлер, растерянно улыбаясь, казалось, искал во взгляде фельдмаршала молчаливого сочувствия.

Через полчаса оба уже стояли, склонившись над огромным столом с картой Восточного фронта. Четыре набрякшие руки со склеротическими венами и чуть растопыренными пальцами опирались на нее, словно те, кому руки принадлежали, собирались прыгнуть. Однако позы обоих не выражали никакого порыва: земля, изображенная на карте, горела. Не сговариваясь, они молча искали выход из огня.

Несколько часов назад, перед вылетом из Растенбурга, Гитлер имел неприятную беседу с начальником штаба своей ставки Кейтелем. Кейтель настаивал, чтобы фюрер — если уж он решил оставить на два дня ставку и вылететь к своим войскам — посетил не киевское направление, где советские войска основательно вмяли немецкий фронт и вклинились далеко на запад, а побывал именно в Запорожье. На этом направлении русские были еще километрах в трехстах восточнее. Сначала Гитлер воспринял этот совет как заботу о безопасности рейхсканцлера и с возмущением отбросил его: вождь должен быть там, где враг угрожает больше всего. Потом ему пришло в голову, что Кейтель считает его трусом, потому и советует податься в тихое Запорожье. Однако старый вояка знал не только географию, но и то, что кроется за нею, и понимал: нависая из-под Киева, советские войска угрожают именно южной части фронта. Всем известное вдохновение фюрера нужнее всего там, где еще есть что спасти. Вместе с другими он продолжал настаивать, и Гитлер наконец уступил.

Сейчас, влившись глазами в разостланную на столе карту, он понимал, что Кейтель был прав: и гибель и спасение здесь. Жирная красная линия фронта вилась с севера, почти совпадая с Днпром на огромном расстоянии: от белорусских лесов до Днепропетровска. Лишь здесь она приостанавливалась, и фронт чуть заметно, словно нехотя, поворачивал на восток, чтобы сразу же отвесно спуститься к югу и резко упереться в узкий перешеек, соединяющий Крым с материком.

Он видел такую карту не раз — и позавчера, и вчера, и даже сегодня утром, но страшно ему стало только сейчас. Огромный язык, занятый группой армий Манштейна, глубоко врезался в большие пространства, занятые Красной Армией, и дом, в котором Гитлер стоял, склонившись над картой, был чуть ли не на самом кончике этого языка. Нет, Кейтель не считал его трусом, требуя, чтобы он ле-

тел именно в этот дом! Если красные займут Киев и переправятся через Днепр на правый берег, то ад из мест своего вечного пребывания переселится как раз сюда.

Он стоял и молчал, но мозг уже охватывала волна возбуждения. Воображение подхлестывало, погоняло ее, как дикого коня, которому наездник дал полную волю, и конь мчался в бешеном аллюре и нес его самого неизвестно куда.

— Здесь! — хрипло крикнул он, ткнув пальцем в точку Днепропетровска. — Сюда! — прохрипел он еще раз и метнул пальцем в сторону Харькова, который остался уже далеко в тылу советских войск.

Фельдмаршал понял его. Но то, что предлагал Гитлер, он считал безумием. Ударить на Харьков — означало еще больше удлинить клин, врезавшийся в простор уже потерянных областей, оголеть фланги своих армий на протяжении нескольких сот километров. Таким тонким язычком не слизнешь всего правобережья, его немедленно отрезут под самый корень — это Манштейн понимал.

— Мой фюрер, — начал он, — позвольте мне возразить...

— Нет! — крикнул Гитлер и ударил изо всей силы кулаком по столу. Боль обожгла руку, словно он коснулся раскаленного железа. Но боль не затуманила мозг, а, наоборот, пришло отрезвление. Гитлер отошел от стола, с минуту постоял у окна, глядя на пустынную улицу, потом повернулся и тихо сказал: — Говорите.

Это было то самое, что ему все говорили в Берлине. Укрепиться по всему фронту на западном берегу Днепра, удерживать на восточном лишь отдельные выгодные плацдармы и так перезимовать. До весны готовиться и потом с этих плацдармов начать новый наступательный год.

— А что подумает мой народ? — тихо спросил он, словно обращаясь к самому себе. — А что скажет мир?

Только на миг в мешковатых глазах мелькнула тень сентиментальной меланхолии, потом они снова засветились болезненным блеском, и он крикнул:

— Нет!

Черный френч Гитлера, застегнутый на все четыре пуговицы, был похож одновременно на сюртук торговца и на китель эссовца, ноги, быстро мерившие пол, казались слишком короткими для плотного корпуса. Фельдмаршал стоял, вытянувшись, и молчал.

Да, то, чего требовал Гитлер, было бредом безумца. Но и то, что предлагали фельдмаршал и все, от кого Гитлер слышал об этом раньше, могло оказаться разумным лишь в случае, если бы враг не мыслил самостоятельно, не вырабатывал собственных планов и не навязывал своих действий. Советское командование вырабатывало свои планы и навязывало их врагу с помощью огня и железа, и этому не могли помешать ни болезненная экзальтация фюрера, ни предусмотрительная осторожность Манштейна, потому что сорок третий год уже не был похож на сорок первый.

В середине сентября, когда Гитлер сначала перед фельдмаршалом Манштейном, а потом и перед ставкой в Берлине с бессмысленным

упрямством выкрикивал свое «нет», усилилось наступление правого крыла советского Воронежского фронта. Двадцать второго сентября передовые его части уже вышли близ Переяслава к Днепру. Под ударами советских полков немецкие войска катились на юго-запад. К концу месяца вышли к Днепру армии Воронежского, Центрального и Степного фронтов и заняли все левобережье от Лоева до Днепрпетровска. В то же время армии Юго-Западного и Южного фронтов вышли с боями на линию Новомосковск — Запорожье и достигли своим левым крылом реки Молочной, на которой немцы укрепились, чтобы заслонить Крым.

Выйдя к берегу Днепра на фронте в сотни километров, советские войска совсем не собирались останавливаться, как об этом мечтал фельдмаршал Манштейн. Еще в начале сентября Ставка Верховного Главнокомандования указала, что необходимо форсировать Днепр с ходу, создавая на правом берегу плацдармы, на которых позднее можно будет развернуть силы для наступления. И уже двадцать второго сентября возник Букринский плацдарм, а за ним начали чуть ли не каждый день появляться другие: до конца месяца их создали на правом берегу двадцать три. Все они были невелики, их приходилось расширять с боями. Но ни один из них не удалось врагу ликвидировать, хоть атаковали их отчаянно, по нескольку раз в сутки.

К началу октября немецкие войска занимали левобережье только на юге. Дивизии, переброшенные сюда из Европы, отбиваясь, медленно отступали. И все-таки их плацдарм на левом берегу был еще велик. Десятого октября перед рассветом советские войска и здесь перешли в решительное наступление и начали штурмовать вражеский плацдарм. Через три дня было освобождено Запорожье. Остатки разбитых немецких дивизий отступали на юг, рассчитывая ниже Хортицы переправиться через Днепр. Но танки вязли и останавливались в левобережных плавнях. Артиллерию немцы пытались вытаскивать на руках. Выхода не было — пришлось закопать танки в трясины болот и превратить их в неподвижные доты.

Так им удалось задержаться, и это было единственное место на левом берегу Днепра. Но, как стало ясно позднее, и эта удача оказалась сомнительной.

Советская армия подошла и к Новому Запорожью. На горизонте маячил остров Хортица, а за рекой — здание Днепрогэса. Дивизии занимали передовую над самым берегом великой реки. Среди них была и семьдесят восьмая, которой командовал полковник Шумаков и которую в разговорах называли просто шумаковской.

Полковник Шумаков не был военным сухарем, но в деле ведения войны придерживался взглядов, характерных для человека, воспитанного в тиши военных штабов и оперативных отделов. Невысокий, но крепко сбитый, с добрыми серыми глазами, ясно смотревшими на

окружающий мир, он был похож скорее на переодетого в военную форму служителя муз, чем на командира тысяч вооруженных людей. Садясь за стол обедать, он любил, чтобы рядом сидел еще кто-нибудь, с кем он мог бы перекинуться дружеским веселым словом, опрокинуть маленькую хрустальную рюмку, которую привез еще из Испании и с тех пор всегда имел при себе. В дивизии его любили и знали, что он не терпит несправедливости и, если его даже выведут чем-нибудь из равновесия, не разжалует и не отправит в штрафной батальон сгоряча. Нет, он сначала убежит в свою хату, пройдет несколько раз из угла в угол, пока немного не остынет, потом прикажет лейтенанту Голобородько вызвать виновного, и чтобы тот явился не сразу, а через час, когда кровь уже успокоится.

Привычка сдерживаться не была его природным качеством. Многолетняя служба в армии может кого угодно приучить к суровой требовательности — законы военной дисциплины подчас ставят ее выше справедливости, особенно во время войны. Но один раз в жизни он поступил несправедливо, и после этого дал себе слово никогда не делать ничего подобного с подчиненными ему людьми. Со временем это вошло в его плоть и кровь и постепенно превратилось в черту характера. Люди, окружавшие Шумакова, считали его покладистым и мягким.

Тем более удивляли его взгляды на ведение войны. Шумаков, например, считал, что все материальные ценности необходимо в случае нужды без колебаний приносить в жертву непосредственным задачам военной обстановки. Ведь главное — победить врага, а не спасти дом или, скажем, даже завод. И это в его устах никогда не звучало урапатриотической демагогией. Нет, Шумаков был глубоко и твердо убежден, что, воюя, надо думать только о победе. «Сначала сделай главное,— говаривал он,— а убытков в войне не минуешь, и нечего жалеть какой-нибудь трухлявый ветряк, вместо него можно будет построить по-настоящему современную мельницу, которая будет молоть муку значительно лучше, чем эта крылатая дура!»

Бывший комиссар дивизии Штукаренко, который после упразднения этой должности стал заместителем комдива по политчасти, называл Шумакова идеалистом и употреблял при этом всякие ученые слова, доказывая, что надо думать о будущем конкретно. Шумаков не обижался. Он считал свою позицию именно конкретной. Идеализмом были, на его взгляд, как раз заботы Штукаренко о будущем, которое прежде всего надо обеспечить, то есть завоевать.

В спорах на такие темы проходило все свободное время.

Комдив и его бывший комиссар нередко селились в одной хате или в одном блиндаже; когда настало время гнать врага на запад, на пути осталось мало домов, а продвижение иногда было быстрым, и отдельных блиндажей для каждого из них саперы строить не успевали. Во время коротких минут затишья на фронте дивизии или в дни, когда она по той или иной причине оказывалась во втором эшелоне, находились паузы и для бесед. На войне люди вообще любят и поразмыслить и потолковать,— ведь горячая пора боев редко длится

долго и с минутами отчаянных битв чередуются минуты, когда все молчит.

Штукаренко был прямой противоположностью Шумакова. Длинный, почти на голову выше комдива, он был к тому же очень костлявым и тонким. Шумаков в шутку замечал, что их назначили в одну дивизию для «равновесия в комплекциях». Стандартные размеры армейской одежды не очень подходили его заместителю. Если удавалось получить гимнастерку подходящей длины, то она всегда была слишком широкой и висела мешком на сухощавых, покатых плечах Штукаренко. Его продолговатое лицо казалось суровым, но в действительности он был, как и Шумаков, склонен к шуткам, и поэтому их постоянные споры почти всегда звучали доброжелательно и мирно.

Но вот их теоретические стычки стали на реальную основу. Это случилось под Медведевкой, недалеко от высоты 449, которую надо было во что бы то ни стало занять. Высота господствовала над всей местностью, и несколько немецких пулеметов не давали поднять головы всей дивизии. Основные силы врага отходили за Днепр. И эта рота, оставленная на высоте, мешала Шумакову преследовать их. Прямо на глазах у всех враг ускользал из рук почти невредимым.

Медведевка, собственно, существовала только на карте у Шумакова, немцы сожгли ее всю. Жалкие остатки села, из которого все население разбежалось по окружающим селам и глубоким оврагам, вдребезги разбила артиллерия Шумакова, выгоняя вражеские арьергарды, цеплявшиеся за каждый камешек.

Когда к Медведевке подошли передовые отряды семьдесят восьмой дивизии, там уже не за что было зацепиться. С высоты 449 немцы насквозь простреливали разрушенное село. Единственным местом, откуда артиллерия могла более или менее безопасно обстреливать высоту, был полуразрушенный сахарный завод, стоявший километра за полтора в стороне от Медведевки.

Шумаков приказал командиру артиллерийского дивизиона капитану Голубовичу ночью занять сахарный завод и расположить там свои орудия. Узнав об этом, Штукаренко запротестовал.

Собственно говоря, протестовать он не имел формального права. С тех пор как Шумаков получил всю полноту единоначальной власти, Штукаренко, как и все прочие подчиненные Шумакова, должен был беспрекословно подчиняться его командирской воле. Но этого комдив от своего бывшего комиссара никогда не требовал и по причине ли обычного такта или просто из личного уважения к Штукаренко продолжал называть его комиссаром, терпеливо и доброжелательно принимая его вмешательство во все дела.

Уже смеркалось, когда над ходом сообщения появилась худощавая фигура. Шумаков как раз смотрел в стереотрубу, изучая злощастную высоту, на которой сидели немецкие пулеметчики. Услышав шаги, он оторвался от окуляров стереотрубы. Шумаков хорошо знал своего бывшего комиссара, беглого взгляда было достаточно, чтобы увидеть: тот чем-то недоволен и пришел неспроста.

Штукаренко спустился по глиняным ступенькам в окоп и молча остановился за спиной комдива.

С минуту он ждал, пока тот отойдет от стереотрубы, и, как только Шумаков это сделал, повернул ее в сторону сахарного завода и сам припал к окулярам. Ему пришлось сильно наклониться, тонкая фигура перегнулась, как складной нож. Шумаков улыбнулся, увидев его широко расставленные ноги в хромовых сапогах и низко наклоненную голову. Но рассмешило его не только это. Решимость, с которой Штукаренко повернул стереотрубу в сторону сахарного завода, говорила сама за себя, и Шумаков сразу понял, зачем он явился.

Штукаренко смотрел в окуляры стереотрубы недолго, потом распрямился во весь рост, отчего еще больше напомнил Шумакову складной нож, вот-вот готовый резануть, и процедил сквозь тонкие губы:

— Я поеду в штаб армии.

— Что это вдруг?

— Завод почти цел,— опять процедил Штукаренко.

— Что из этого?

— Как это — что? — повернул он к комдиву свое суровое лицо. — А то, что немцы его утром размолят вдребезги.

— Война, ничего не поделаешь.

— Ну, знаете! — возмутился Штукаренко. Обычно он обращался к Шумакову на «ты», особенно если не было посторонних, и только в случаях решительных несогласий переходил на «вы».

Шумаков улыбнулся и проговорил, не обращаясь ни к кому:

— Старая песня...

— Именно старая.

Это был намек на все их предыдущие споры, и Шумаков вспыхнул:

— Черт побери, да что я — командир дивизии или бухгалтер статистического управления?

— Я думаю, вы прежде всего коммунист.

— И что же я — должен подставлять под огонь людей и материальную часть, чтобы сберечь какую-то кучу кирпича?

— Не кучу, а завод, который завтра должен дать сахар!

— Кому? Бойцам, которых немцы перестреляют, как курчат, с этой проклятой высоты?

— Вы командир дивизии. Позаботьтесь, чтоб не перестреляли.

Шумаков остановил на нем долгий взгляд и еле удержался, чтобы не сказать того, что уже готово было сорваться: «Я командир дивизии, и я решаю, что делать». Но он победил в себе эту мгновенную вспышку.

— Ничего, Степан,— примирительно сказал Шумаков, берясь опять за окуляры стереотрубы. — Кутузов Москвы не пожалел, а тут какой-то заводик...

— Неуместная шутка,— огрызнулся Штукаренко.

— Почему неуместная? Если уж приносить жертвы, то лучше камнями.

— Не понимаю я ни подобных дилемм, ни подобных аналогий,— решительно отрезал Штукаренко и стал поправлять гимнастерку, собираясь уйти.

— Ну и поезжай в штаб армии. Хоть к черту в зубы! А мое дело воевать и взять высоту. — Шумаков резко повернул трубу.

Он слышал, как Штукаренко поднялся по глиняным ступенькам в ход сообщения, и шаги его, удаляясь, постепенно стихли вдаль.

9

Подполковник Штукаренко был по специальности экономист и до войны преподавал политическую экономию на областных курсах партийных работников. Он привык иметь дело со статистическими выкладками, обзорами экономики государств и о фактах из жизни людей и общества всегда судил, исходя главным образом из их материального значения.

Днепрогэс в его жизни занимал особенное место.

Он хорошо знал историю Украины, ее поэтов и философов минувших времен и оценивал их культурно-историческое значение очень высоко. Но ни один философ, писатель или общественный деятель, по его мнению, не сумел так резко и заметно изменить ход мыслей и представлений целого народа, как эта колоссальная бетонная глыба, перегородившая Днепр и давшая мыслям миллионов иное, новое направление.

Это было первое могучее сооружение в бескрайних украинских степях, где на протяжении тысячелетий гуляли вольные ветры. Штукаренко знал, что недалек тот час, когда на этом самом Днепре появятся значительно большие сооружения, знал, что они оставят далеко позади эту плотину и по своей красоте, и по количеству электричества, которое будут производить. Но так же, как огромные и совершенные современные электровозы не могут заставить людей забыть о маленьком самоваре Джеймса Уатта, который впервые открыл людям силу и возможности парового котла, так эти будущие великаны, что поднимутся вслед за Днепрогэсом, никогда не затмят ее, потому что она по-новому открыла глаза людям на самих себя и указала новые пути великому народу.

Когда началось строительство, Штукаренко пошел восемнадцатый год. Это был смешной парень, очень худой и долговязый. Когда он появлялся во дворе, мать выглядывала в окно и громко смеялась:

— Слышу, слышу, что звонит ребрами! Степанчик!

Руки у него были длинные и очень сильные. Он слыл хорошим косарем, но коса отцовская ему не годилась. Осенью старик срубил подходящий сук вербы, всю зиму сушил на чердаке, а весной сделал из него для сына специальное косовище и приладил к нему свою косу: выкосить луг — было дело сына, так уж велось.

В то лето в Олешки прибыли из Кичкаса артельщики вербовать грабарей: все люди в том конце села, где стояла хата старого Штукаренко, работали грабарями — копали землю каждую осень и зиму. Пока Степан учился в четырехлетке, отец не трогал его, а как закон-

чил школу, стал брать с собой на заработки. Почти каждую осень Степан ездил с отцом — присматривал за лошадьми и помогал кидать землю в телегу — грабарку.

Степану навеки запомнились ночи в Херсонских степях, когда после тяжелой работы землекопы-грабари собирались у костра и варили кашу. Старшие, поужинав, еще какое-то время гутарили о хозяйских делах, вспоминали старину, а молодежь пела песни, мечтала о будущем. Их мечты далеко не улетали, а все-таки приятно было заглянуть в неведомое. Потом все расходились к своим грабаркам, подбрасывали коням на ночь и ложились спать под телегами.

Еще дома, в Олешках, Степан читал в газете о том, что где-то выше, под Кичкасом, начали строить плотину, которая должна перегородить Днепр. Но Степан не мог ни поверить в это, ни представить себе такой плотины: здесь, под Херсоном, Днепр не переплыть, а плавни разлились вокруг на много верст, и никакой плотиной их не перегородишь!

Когда он на маленьком местном пароходике плыл по своей родной Конке и, миновав ее неширокое гирло, входил в Днепр, перед глазами раскрывалась такая ширь, такой необъятный простор, залитый солнцем и серебром, что газетная писанина казалась неуместной выдумкой. «Глупости! — думал он. — Не может этого быть».

То, что он увидел на месте, ошеломило его. Здесь Днепр был уже, чем у них под Херсоном, но высокие скалистые берега придавали ему еще больше величия. И несмотря на это величие и мощь, треть русла была перегорожена и закрыта со всех сторон деревьями и камнями, в загородке уже не было воды, она неизвестно куда делась, открыв глубокую прорву с гранитным дном, на котором, словно мошкара, сутились, сновали люди. С высоты левого берега казалось, будто река с разгона ударилась о что-то и вяла бок, потом отшатнулась, но бок не выправился, а остался вогнутым и теперь зиял своей темной глубиной.

Степан не понимал, как это получилось и почему люди не боятся и не бегут из-под деревянных стен, за которыми высоко, угрожая им повалить, стоит вода.

На следующее утро и они с отцом уже спускались рядом со своей грабаркой по накатанной дороге в эту огромную прорву, а за ними и впереди них спускались сотни таких же грабарок, понаехавших сюда из десятков и сотен сел. Кони оступались на неровном крутом склоне, люди сдерживали их веревочными вожжами. На лицах было немое удивление, похожее на испуг. Даже отец — на что уж бывалый человек — и тот восторженно приговаривал:

— Ну разве не черти? Землю до самисенького пупа расковыряли! — Он нервно усмехался в свою темную бороду, и в его словах слышалось восхищение: — Вот тебе и желторотые! Такие достукаются и в рай...

Первые дни Степан больше молчал. Конечно, он не в силах был понять, а тем более оценить то, что происходило на его глазах. Только со временем, через несколько лет, учась на рабфаке, он понемногу

стал постигать, какие серьезные перемены внесла эта стройка в души людей уже тем только, что она существовала. В этом огромном котловане, что поражал своими размерами и смелостью замысла, происходила чудесная переплавка представлений и понятий. Значит, не пустые слова были в газете! Выходит, нет ничего невозможного для человека, его ума и силы...

Он стал замечать не только в самом себе, но даже и в отце, и в других людях из Олешек новые черты. На их лицах появились выражение человеческого достоинства, серьезная мысль, деловая озабоченность. Присматриваясь к этим людям, можно было подумать, что они прибыли сюда не на короткое время, а поселились здесь навсегда. Словно все, что здесь создавалось, было их собственным добром. И потому их касалось не только то, что происходило на участке, где они сами работали и получали свой заработок. Их начали интересовать люди, сумевшие выйти вперед. Они знали, какая бригада выполняет норму, какая нет. Это было удивительно: ведь все они, их деды и прадеды жили в огороженных плетнями дворах, думали только о своем клочке земли, о своих собственных конях.

И дивно — со своими степными лошаденками, с помощью простых лопат они делали удивительное, неслыханное дело. Казалось, будто их грабарки въехали в просторы иных времен, где для деревянных колес нет и не может быть места. Приобщаясь внутренне к величию общественных задач, эти люди постепенно уже готовились пересест в кабины грузовиков, за баранку, и бросить навсегда свои кнуты и веревочные вожжи.

Их артель проработала на Днепрострое осень и зиму, а к весне вернулась в село. На стройку начали прибывать экскаваторы с большими железными ковшами, они хищно вгрызались в каменное ложе реки, где лопата грабаря уже ничего не могла поделывать. Да и мать все время беспокоилась — на носу весна, не справиться одной с полосой в поле, а ведь есть еще и садик, и огород. Грабари поднялись наверх из глубинного котлована, в последний раз оглядели с высокого берега дивное дело своих рук и подались на юг, везя в родные степи что-то новое и неосознанное, но уже властно вошедшее в их жизнь.

А парни не поехали. Кто остался на стройке, кто махнул в Екатеринослав на рабфак. Степан тоже оказался в Екатеринославе, получил в губкоме комсомола путевку на рабфак. Так пришла новая жизнь. Может, и не стал бы он ни ученым человеком, ни заместителем командира дивизии, если бы в молодые годы не попал сюда, на Днепрострой, если бы в его сознание не вломилось то великое и новое, что изменило в корне не только его жизнь, но и жизнь тысяч таких, как он.

10

Пока дивизия продвигалась от Медведевки к Днепру, ни Шумаков, ни Штукаренко больше ни разу не вспоминали о случае с сахарным заводом. Вокруг раскинулась безбрежная степь, разбросанные по

ней хутора и небольшие села были выжжены дотла и уже не давали повода для продолжения спора. Но в отношениях между командиром дивизии и его заместителем по политчасти чувствовался едва уловимый холодок. Так бывает, когда несогласие загнано вглубь и о нем вслух не говорят, но думают непрестанно.

А не думать было нельзя — ведь впереди ждал Днепр. И хотя ни Шумаков, ни Штукаренко не знали в точности, в какое именно место на Днепре выйдет дивизия, оба понимали: куда бы ни вывела их дорога боев, спор вспыхнет снова, как только войска приблизятся к любому из промышленных гигантов, которых до войны здесь строили немало. Ведь отступающий немец непременно их разрушит или серьезно повредит, и, чтобы помешать этому, придется внести решительные изменения в тактические планы. Встречаясь ежедневно по многу раз, Шумаков и Штукаренко настороженно приглядывались друг к другу, каждый словно старался проникнуть в мысли другого.

Чем ближе подходила дивизия к Днепру, тем сильнее возрастало напряжение. Наивысшей точки оно достигло, когда стало ясно, что дивизия движется именно на Днепрогэс. В приказе командующего прямо так и было сказано: направление главного удара — Днепровская плотина.

Это известие вызвало ликование среди бойцов. Те, кому посчастливилось когда-то побывать на Днепрогэсе, с восхищением рассказывали однополчанам о его красоте. Героем многих политбесед в полках и батальонах на время стал Сергей Рудь — он охотно рассказывал и о самой электростанции, и о своей работе на плотине.

Немцы отступали быстро, временами они отрывались от передовых частей дивизии настолько, что приходилось их догонять. Намерения врагов были ясны: немцы спешили перейти Днепр — опасались, что их настигнут и сбросят в реку.

И Штукаренко тревожился. Ведь Шумаков обязательно попытается переправиться на правый берег с ходу, на спинах немецких войск, и те тогда взорвут плотину.

Как-то, еще перед взятием Моргунов, Штукаренко заговорил об этом с комдивом. Они сидели на подножке старенькой эмки возле сожженного ветряка и ели пшеничную кашу.

— Взорвут, подлецы, плотину...— проворчал Штукаренко, словно подводя итог каким-то своим мыслям.

— С какой радости? — Шумаков продолжал есть, он был абсолютно спокоен. — Ни черта они не взорвут.

Штукаренко даже ложку опустил.

— Ты так говоришь, будто играешь в шахматы с Голобородько и знаешь все его ходы наперед.

— А война и есть игра в шахматы,— равнодушно ответил Шумаков. — Ты ешь, ешь, не успеешь за мной.

Штукаренко зачерпнул в миске, но даже до рта ложку не донес.

— Ну и характер у тебя, Иван Семенович! Иногда посмотрю — завидки берут.

— Характер здесь ни при чем. Хоть я, правда, не жалуюсь.— Шумаков передал Штукаренко миску и поднялся.— Не взорвут они плотину,— повторил он убежденно.

— Пожалуют? Или, может, в подарок нам преподнесут?

— Ни то, ни другое.

Штукаренко доел кашу и поставил миску на подножку автомашины.

— Это тебе не медведевская сахароварня! — бросил он возмущенно.— Это ДнепрогЭС, гордость всего народа.

— Ах, вот ты куда!..— вздохнул Шумаков.

— Я не корю тебя, Иван Семенович, а предупреждаю. На карте миллиарды.

Шумаков взял на сиденье эмки свою планшетку и раскрыл ее.

— Да ты посмотри, божий человек, на линию фронта! — воскликнул он.— Взорвут плотину, значит, затопят свои войска вниз. Что они — идиоты, чтобы такое сделать?

Штукаренко взял карту, расстелил ее на капоте машины и начал молча изучать извилистую линию, жирно нанесенную красным карандашом. Голубая лента Днепра изгибалась в нижней части русла, оставляя на левом берегу широкое пятно плавней, хорошо известных Штукаренко еще с юных лет. В этом месте карта была почти синяя от многочисленных пометок: рука Шумакова нанесла здесь номера вражеских частей. Линия немецких войск выходила на левый берег, они занимали позиции в камышах, в болотистой части приднепровских плавней. Если бы немцы взорвали плотину до самого основания, то вода, которую плотина еще держала на своей спине, ринулась бы вниз и затопила эти войска.

— Ну что, ясно? — спросил Шумаков не без иронии.

— Нет,— Штукаренко расправил свою худощавую спину. Он резко рванул карту с капота машины, и она весело затрепетала под ветром, сиюсь вырваться из рук.

Шумаков подхватил карту и стал ее складывать, стараясь сгибать по старым пожелтевшим складкам, чтобы не испортить новыми.

— Что же тебе не ясно? — Гнев уже начал подступать к нему, но комдив еще сдерживался.

— Неясно одно: что для немцев важнее — несколько обшарпанных дивизий или несколько наших миллиардов, которые могут вернуться в наши руки, если пощадят плотину.

— А, глупости...— Шумаков чувствовал, что его терпение кончается, но ссориться не хотел.— Давай, Покатило, поехали! — крикнул он шоферу.

Комдив сидел на переднем сиденье, а Штукаренко сзади, рядом с Голобородько. Машина быстро катила по твердой осенней дороге, оба молчали, и каждый думал о своем.

Штукаренко тогда же принял решение и сразу начал его осуществлять: на другой день Шумаков получил приказ командующего

армией остановиться, как только передовые подразделения подойдут к плотине. А из армейского узла связи в Наркомат электростанций пошла телеграмма, в результате чего на фронт вылетел инженер Харкевич, хорошо знающий Днепровскую плотину.

11

После совещания у Штукаренко спать пошли только Харкевич да Хохол. Все, кто должен был с ними работать, и личный состав специального взвода боевого обеспечения, командиром которого Шумаков назначил лейтенанта Рудя, отправились на плотину.

Еще во время совещания Сергей Рудь получил все указания. Взвод боевого обеспечения надо было расположить как можно ближе к месту будущих событий: на дно шлюза, а может, и в незатопленную часть потерны.

Разведчики передовых рот докладывали, что потерна затоплена не вся. Оказалось, что она перегорожена бетонной стенкой, которой ни на одном плане нет, немцы построили ее, чтобы вода, затопившая потерну, не ушла, если вдруг упадет уровень в Днепре. Перед этой стенкой осталась достаточно вместительная бетонная камера. Здесь и могли разместиться бойцы боевого обеспечения.

До рассвета еще оставалось несколько часов, и Сергей Рудь приступил к делу. Надо было перенести на новое место все имущество взвода, начиная с ящиков с патронами и гранатами и кончая котлом для варки пищи.

По поводу этого котла возникла целая дискуссия. Рудь считал, что лучше подносить еду с берега в термосах: если варить в потерне, дым выест людям глаза, а главное — будет выходить вверх через отверстие, и с Хортицы его заметят. Но и подносить в термосах означало создавать возле плотины лишнюю суету. Взвесив обстоятельства, Штукаренко приказал взять с собой котел и несколько примусов или паяльных ламп и варить пищу с помощью этих нехитрых приспособлений. Такое сугубо гражданское имущество трудно было найти в Моргунах, и его привезли из Запорожья.

Шумаков назначил Рудя командиром взвода боевого обеспечения не без некоторых колебаний. В последнее время лейтенант занимал должность начальника разведки дивизии — кому бы, казалось, и командовать боевым обеспечением на плотине, как не ему! Тем более, что сам он родом из этих мест, да и на плотине в свое время работал довольно долго. Но с некоторых пор Шумаков изменил свое прежнее отношение к Рудю, хотя причина была скорее личной, чем деловой. Как-то он даже сказал Штукаренко, что считает лейтенанта не очень серьезным человеком. Подполковник объяснений не потребовал. Однако это случайное замечание комдива он запомнил и удержался от искушения использовать Рудя в качестве руководителя поисковой группы на плотине, хотя тот и был под рукой. Дал телеграмму в Москву и попросил прислать другого человека.

43

Мнение свое о Руде Шумаков изменил месяц тому назад. Однажды, когда уже было ясно, что войска дивизии движутся точно в направлении Днепрогэса, лейтенант при случае высказал Шумакову мысль, что выше плотины, хоть Днепр там и очень широк, можно с ходу переправиться на тот берег. Он хорошо знал эти места и был уверен: сделать это не так уж трудно.

Но почему-то командир дивизии не обрадовался, выслушав лейтенанта. Рудь предлагал, собственно, то же самое, что намеревался сделать и сам Шумаков, но мысль свою излагал так путано и примитивно, что ошибка сразу стала явственной: нет лучшего способа убедиться в том, что ты не прав, как выслушать свою точку зрения в пересказе неопытных людей. Примитивное изложение обнажает слабые места, доводя их подчас до полного абсурда, и ошибка, которой ты не замечал, становится и самому тебе совершенно очевидной.

Шумаков молчал, лицо его становилось все более суровым и хмурым. Конечно, Рудь не мог знать, что идею переправы с ходу вынашивал и сам комдив, хоть и представлял эту операцию не такой простой. Лейтенанту казалось, что он не так выразился, а может, неправильно держался, и это могло рассердить комдива. Он смущался, робел, и мысли его путались все больше.

В тот день Шумаков отказался от своих планов, и натолкнул его на это решение Рудь. Сознать это было неприятно. Шумаков стал избегать лейтенанта, даже подумывал о замене его на посту командира разведки. Старался быть справедливым с людьми, а тут не заметил, недовольство собой сорвал на незадачливом лейтенанте!

Сегодня, когда он невзначай спросил о Харкевиче и Рудь, не сказав ничего плохого, как бы стал на что-то намекать, к прежней неприязни примешалось еще и чувство брезгливости. Ведь у Шумакова были свои основания именно так относиться к людям, которые намекают, внушая подозрение... Но мысль эта лишь вспыхнула, кровь только один раз толкнулась в виски, и Шумаков тотчас же постарался взять себя в руки. «Что это я все мерю собственным аршином?» — упрекнул сам себя. И когда Штукаренко наклонился к нему и спросил, не назначить ли Рудя командиром взвода боевого обеспечения, Шумаков бросил почти безразлично: «Давай...»

В незатопленной части потерны, куда спустились Рудь и солдаты его взвода, было холоднее, чем снаружи. Из бетонной стены, построенной немцами, торчала толстая труба, и сквозь нее с гулом вырывалась вода, тяжело падая вниз. В помещении она не задерживалась — стекала через какое-то невидимое отверстие. Но в потерне стоял такой оглушительный грохот, что его нельзя было перекрычать и приходилось объясняться жестами. Стены потемнели от влаги, пахло застарелой цвелью, трудно было найти сухое место, чтобы сложить боеприпасы. Надо было что-то придумать. Но что?

Пока лейтенант Рудь приказал вытащить несколько бревен на место посуше, и люди сели отдохнуть, уставшие за день. Бойцы выкручивали мокрые портянки, выливали воду из сапог. Через некоторое время все затихли, прижавшись друг к другу.

Рудь сидел в углу, он понемногу согревался, но заснуть не мог. Неожиданная встреча с Харкевичем не давала ему покоя. На совещании у Штукаренко он старался держаться независимо, даже подошел к Харкевичу и улыбнулся, словно ничего не случилось и он этой встрече рад... Но и независимость, с которой он держался, и его невинная улыбка были неестественными — это он хорошо понимал.

Рудь не жалел о своем давнем поступке, за который Харкевич так дорого заплатил. Наоборот, он и сейчас считал себя правым. Но то, что они с Харкевичем оказались в одном строю, внесло какой-то тревожный разлад в его мысли.

Иногда Рудю казалось, что он заснул и продолжает думать во сне, с трудом прорываясь сквозь туман угасшего сознания. Он пробовал шевельнуться на твердом бревне, при этом нечаянно толкал бойцов, что сидя спали рядом с ним. Они что-то бормотали, резко привскакивали спросонок, потом устранивались поудобнее, и головы их снова склонялись в беспокойном забытии. Рудь слышал эти невыразительные звуки сонного недовольства и убеждался, что тревожная мысль о Харкевиче не слабеет, хоть он и старался ее отогнать.

Почти перед самым рассветом он наконец уснул.

12

Рудь проснулся и не сразу понял, где он. Вокруг стоял грохот воды. Ничего не было видно, лишь через отверстие сверху пробивался неприветливый холодный свет.

С обеих сторон его сжали бойцы, которые, как и он, спали, сидя на бревне. Надо было подниматься, но вставать не хотелось. Да и зачем? Заняться этой водой, чтобы унять грохот? Но как? Связать щит из досок и закрыть трубу щитом? Но и ребенку ясно, что вода легко оттолкнет это сооружение. Что же сделать? В голову не приходила ни одна толковая мысль. А сердце почему-то тревожно сжималось от непонятного, все более ошутимого смятения: Харкевич!

Неприятно встретить на войне человека, перед которым ты когда-то провинился. Дух товарищества, единство цели, что связывают и роняют бойцов, в таких случаях только сбивают с толку. Как же, в самом деле, понять: когда-то были врагами, а дело, оказывается, делают одно?!

Рудь не боялся Харкевича. Олег не станет мстить, не будет помнить зла. А если бы и попробовал, его легко можно обезвредить. Разве выступать на комсомольском собрании — противозаконное дело? Или, может, запрещена критика ошибок?

И все-таки это были только формальные соображения, и, хотя Рудь в случае нужды мог бы ими воспользоваться, он знал: Харкевич не заставит его прибегнуть к защите. Именно это и усугубляло его тягостное состояние. Неясность их отношений Рудь почувствовал еще тогда, на другой день после комсомольского собрания. Какой-то внутренний толчок заставил его сразу же пойти к Харкевичу, чтобы объ-

ясниться. Сейчас лейтенант очень жалел, что не застал тогда Харкевича дома. Если бы застал, сложность в их отношениях, возможно бы, исчезла.

Но Харкевича уже не было на старой квартире, и, когда через день Олега перевели с пульта на плотину, а Рудь занял его место на пульте, получилось так, что, выступая на собрании, он будто бы добивался именно такого перемещения. Конечно, никто это не одобрил. Но что поделаешь, если все так получилось!

Отверстие, светившееся, будто пробитый над головой маленький киноэкран, понемногу светлело, из грязно-серого становилось темно-синим. По нему быстро пролетали клочья черных облаков, налитых сыростью и холодом. Приближалось утро, оно не предвещало ни тепла, ни солнца.

Вдруг в отверстии появилась чья-то голова, и Рудь сразу понял: Харкевич. Олег Иванович достал из кармана электрический фонарик, тонкий лучик упал на мокрую стену потерны. Потом медленно пополз по стене, скользнул по лицам солдат, спавших сидя, и уперся в угол, где притаился лейтенант Рудь. Лейтенант зажмурился и притворился спящим.

Фонарик погас. Харкевич спустил вниз одну ногу и стал ею нащупывать железный крюк, вделанный в стену вместо ступеньки, затем второй, третий... Теперь Харкевич уже увереннее нащупывал эти крюки, не искал вслепую. В свое время не раз приходилось спускаться в потерну через это отверстие.

Он спрыгнул на пол. Из-под сапог брызнула во все стороны вода, но плеск ее потонул в грохоте бьющей из трубы струи.

Харкевич опять нажал кнопку фонарика и повел острым лучиком вдоль стены. Перед ним проплыли опущенные на грудь или откиннутые в сторону неподвижные головы спящих солдат. Наконец лучик упал на лицо Рудя и остановился.

Рудь вскочил, сонно замигал и крикнул, пересиливая грохот воды:

— Стой! Кто здесь?

— Это я, Харкевич.

— Тьфу! — Рудь усмехнулся и заглянул ему в лицо, будто хотел убедиться, что это действительно он. — А я, понимаешь, испугался...

Потягиваясь, поднялись спавшие рядом солдаты — Богатырев и Ковальчук.

— Ну, как вы тут? — крикнул Харкевич. Но Рудь не услышал.

— Что? — подставил он ухо.

— Перегородили, проклятые? — крикнул Харкевич в самое ухо лейтенанта, показывая на стену, из которой торчала труба. — Значит, по ту сторону затоплено?

— Под самый потолок! — крикнул в ответ Рудь. — Надо как-то заткнуть...

— Поднимай своих хлопцев! — Харкевич кричал в ухо лейтенанту. — Что-нибудь придумаем.

— Подъем! — скомандовал Рудь, но слов его никто не услышал. Он подошел к ближайшему солдату и взял его за плечо.

Ковальчук и Богатырев принялись расталкивать других. Бойцы поднялись и, сонно потягиваясь, окружили Харкевича и лейтенанта.

Приземистый санинструктор Бойко зажег большой фонарь, и потеряна наполнилась тусклым светом. Фонарь был четырехугольный и высокий, как те, что носят с собой железнодорожники. Харкевич взял его за проволочную дужку и поднял над головой, стараясь разглядеть, что делается вокруг. Он хорошо помнил это место потерны, но стена, построенная немцами, изменила его вид, сделала похожим на хмурый каземат. Он приблизился к трубе — насколько позволяла струя, бившая из нее. Измерил взглядом ее сечение, потом перешел к стене, возле которой плавали бревна. Расталкивая их ногой, он выбрал подходящее, толщиной с телеграфный столб, и крикнул:

— Топор есть?

Рудь молча следил за Харкевичем.

— Топор! — крикнул он бойцам.

Харкевич взял из рук Богатырева топор и отдал ему фонарь. Склонившись над столбом, он сильным ударом вогнал в насквозь промокшее дерево стальное лезвие. Потом подтащил его, схватившись за топориче, на сухое место.

Теперь уже все понимали, что придумал Харкевич. Понял это и Рудь и удивился, почему сам он не додумался раньше. Жаль. Неприятно.

А Олег Иванович снял шинель, поплевал на ладони, как делают деревенские плотники, перед тем как начать тесать. Высоко подбрасывая топор, он начал стесывать конец промокшего столба, словно очинивал огромный карандаш. Сырые рыжие щепки полетели во все стороны, закружились в струе, которая затягивала их в воронку.

Бревно оказалось длинным, и за него могли ухватиться несколько рук. Сначала попробовали просто заткнуть трубу острым концом, но вода с силой вышибла бревно. Пришлось действовать иначе, и Харкевич решил: если ударить бревном в трубу с разгона, то удастся пересилить давление воды.

— Р-р-раз!

Бойцы послали бревно вперед, стараясь попасть в жерло.

Но попасть не удалось. Затычка ударила острым концом в стену, и бойцов обдало холодной струей.

— Еще раз! — скомандовал Харкевич снова, и бойцы повторили маневр, посылая заостренный столб в трубу, как длинный снаряд в ствол пушки.

Так они били и били в стену, пока наконец не угодили в жерло. Удар напряженных рук оказался сильным: бревно чуть ли не на треть вошло в трубу.

Наступила тишина. Послышалось тяжелое дыхание уставших людей.

— Не отпускать! — крикнул Харкевич. В непривычной тишине крик показался оглушительным, и это всех развеселило.

Несколько человек взяли другую колоду и начали ею забивать затычку еще глубже. Она продвигалась медленно, видно, сидела в

трубе крепко. Только в щель, что осталась между деревом и трубой, тоненькой струйкой еще била вода.

Харкевич вымок, как и все. Он сбросил пиджак, выжал его и разостлал на бревнах. Потом надел сухую шинель Штукаренко и вытер платком лицо и руки.

Рудь отстегнул флягу, висевшую на поясе, налил трофейного рому и подал Харкевичу.

— Выпей. Простудишься.

Харкевич молча опорожнил стаканчик.

13

Ночью за Днепром шел бой, немецкие батареи били из садов на окраинах города. Соломия с Ивасиком спустилась в подвал. Клавдия Харитоновна пристроилась около них. Только Кузьма Иванович отказался сойти вниз, не обращал внимания на грохот и сидел, как и раньше, забившись в угол. Разумеется, Любовь Степановна не могла его оставить, хоть и очень было страшно.

Перед рассветом все стихло. Наверно, немцев отбросили с левого берега. Мимо дома шли остатки немецких частей — измученные черные солдаты, которым удалось спастись. Они еле волочили ноги, молча брели из города в осеннюю степь.

Письмо лежало на столе. Любовь Степановна закончила его наскоро, в перерывах между стрельбой, когда штукатурка переставала сыпаться с потолка и начинало казаться, что опасность миновала.

В двенадцать посланец не пришел. Теперь уже было пять, на улице смеркалось. Любовь Степановна не находила себе места, шла к столу, брала письмо и опять клала на стол, словно бумага жгла руки. Она понимала: хоть и условлено, ждать нет смысла. В городе творилось такое, что прийти этот человек, конечно, не мог. И все же волновалась, не могла справиться с собой, все время тайком посматривала на мужа, ища у него сочувствия.

На лестнице послышались шаги. Любовь Степановна узнала: Мироненко. Карпо Сидорович вошел, снял замусоленную кожаную ушанку, молча присел возле двери и расстегнул свой промасленный до металлического блеска ватник.

— Надо уходить из города, — глухо сказал он. — Утром начнется принудительная эвакуация населения. Эшелоны уже стоят на станции.

Не хватало только этого. Посланец придет за письмом, а дверь на замке, дома никого нет.

— Как это уходить? — проговорила Любовь Степановна, и в коленях у нее что-то вдруг ослабло. Нашупала рукой стул. — Куда уходить?

— Надежное место есть. Пропуска, чтобы из дому уйти, тоже готовы. — Мироненко вытащил из кармана небольшой пакетик, тща-

тельно завернутый в газету. — Вот: для вас обоих и для моей Соломин с Ивасиком.

Любовь Степановна развернула газету и внимательно осмотрела зеленоватые бумажки с черными поперечными полосками, будто старалась убедиться, что пропуска настоящие. На каждой круглая печать со свастикой и подпись коменданта. Сверху напечатано: действительно в любое время суток.

Она не спросила, где Мироненко их достал, как никогда не спрашивала, где он доставал для них серу. Еще с октября сорок первого, когда Клавдия Харитоновна попросила его наладить на кухне кран в своей прежней квартире возле плотины, а он отказался чинить и заставил их немедленно уйти из опасного места и перебраться в дом, где они жили теперь,— еще с того времени она считала его своим спасителем и верила ему беспрекословно. На второй же день произошел на станции взрыв, и обломок огромной фермы провалил крышу над их квартирой, из которой они еле успели выбраться. Что было бы, если бы они не послушались Мироненко!

И все-таки она возразила:

— Как же мы уйдем из дому... Я ведь жду...

Любовь Степановна сидела, схватившись рукой за грудь. Хотела еще что-то сказать, но сил не было.

— Не уйдете со мной — немцы погонят силком. — Мироненко поднялся. — А место надежное. До ночи есть еще время. Подумайте.

Он вышел на площадку, осторожно заскрипел впотьмах ступеньками.

Кузьма Иванович не отозвался и теперь. Любовь Степановна тоже молчала. Хотела спросить мужа, как быть, но боялась его ответа.

Вошла Клавдия Харитоновна, положила руку ей на плечо.

— Идите с Мироненко. Другого выхода нет. А за письмо не беспокойтесь: если этот человек придет, передам.

Лишь теперь Любовь Степановна подняла на нее округленные глаза.

— Значит, вы остаетесь?!

— Я — другое дело. А вы идите. — И, обращаясь к Кузьме Ивановичу, добавила: — Я работаю у них, меня не тронут. А вам надо уходить...

Клавдия Харитоновна сказала это тихо, но в голосе ее вдруг послышалась такая уверенность, что Кузьма Иванович встрепенулся.

— Погонят куда-то теперь,— проговорил, словно размышляя вслух. — А потом фронт придет и туда, и снова погонят... — Он поднялся и крикнул, словно бросая свой вопль в лицо всему миру: — Где же мы в конце концов окажемся?!

Любовь Степановна долго молчала, а слова мужа гудели в голове, словно их повторяла пустота, раздавались снова и снова, чтобы лучше запомниться. Она тоже поднялась, медленно взяла со стола письмо и обняла Клавдию Харитоновну:

— Вот. Возьмите.

Был уже десятый час, но день по-настоящему еще не наступил. Он будто и не торопился наступать — шел нудный, холодный дождик, который, падая на землю, превращался в снежную крупу. Над плотной гроздились беспокойные свинцовые тучи, их быстро нес северный ветер, и Харкевичу казалось, что они вырываются прямо отсюда, из бетонного каземата, и через квадратное отверстие выходят на простор, как дым через трубу.

Харкевич уже немного отдохнул и согрелся. Хорошо, что он догадался сбросить шинель перед тем, как забивать эту чертову дыру, — вымок только пиджак и немного сапоги. Хромовые они, старенькие — здесь нужны не такие.

— У тебя есть бинокль? — спросил он у Рудя.

— Есть.

— Дай, пожалуйста. Поднимусь наверх, может, что-нибудь увижу.

— Не стоит. С Хортицы могут заметить.

Харкевич нерешительно постоял с биноклем в руках, опять засунул его в кожаный футляр и вернул Рудю.

— Может, стереотрубу выставить? — предложил Рудь. — Солнца нет, стекло блестеть не будет.

— Давай попробуем.

Рудь приказал приладить стереотрубу на железных крюках, по которым они спускались в потерну. Деревянную треногу прикрутили проволокой, а объективы выставили на свет божий, как рожки улитки.

Харкевич полез вверх по стене и припал к окулярам.

Дождь скучно сеялся над землей и застилал все вокруг жиденькой мглой. На окулярах дрожали звездочки капель и мешали различать предметы, чуть видные издалека. Впереди темнел остров, там все будто вымерло — ни души. Харкевич медленно поворачивал стереотрубу, перед его глазами плыли очертания пустынного острова. Потом — черный провал и над ним беспомощно повисшие остатки ферм железнодорожного моста; его взорвали давно, при отступлении. Вот в окулярах возникли контуры правого берега, затянутого синеватой дымкой дождя. Поплыли подземные железнодорожные колени, нагромождения каменных глыб и обломков железных конструкций. Наконец выросла серая стена, и Харкевич понял — это помещение турбинного зала.

Остро заняло в груди. С этим зданием, которое стояло почти целое — или казалось целым с такого расстояния и в такой непроглядной мгле, — с этим серым стеклянным зданием в жизни Харкевича было связано очень многое.

Внизу стоял, запрокинув вверх голову, Рудь, свидетель всего, что Олег Иванович здесь когда-то пережил — радостного и грустного. Но Харкевича взволновало не то, что знал и о чем мог подумать сейчас Рудь. Там, за стеклянной стеной этого чудесного здания, был другой дом — совсем маленький, а в нем — квартира Клавдии Харитоновны,

где осталась Ксения со своими родителями. Что с ними? Неужели они и сейчас там, за этим осенним туманом, за притихшей рекой?!

Надо немедленно взять себя в руки. Лучше прервать наблюдение и спуститься вниз. Но этого делать нельзя: Рудь заметит, в каком он состоянии, чего доброго, начнет расспрашивать, что он увидел наверху. Придется отвечать, а это сейчас делать очень трудно. Левая рука, которой он держался, совсем онемела. Он переменил руку, но теперь пришлось стать боком к окулярам стереотрубы и заглядывать в них, круто повернув шею.

Висеть было неудобно, но физическое напряжение отвлекло, и Харкевич мог наблюдать. Лево́й, дрожавшей от перенапряжения рукой он повернул стереотрубу и стал смотреть на полуразрушенную стену аванкамеры, подступавшую вплотную к плотине.

Дальше все закрыла гигантская дуга плотины.

За ее выгнутой спиной таился весь правобережный город, будто она сознательно отгораживала его своим каменным телом. Отсюда можно было увидеть плотину только до середины: по мере приближения к стереотрубе она разрасталась, не вмещалась в окуляры. Перед глазами Харкевича ползла, дрожала приблизившаяся вплотную серая бетонная поверхность.

Харкевича беспокоило, что он не может увидеть той части плотины, которая прилегает непосредственно к мосту. Ведь именно отсюда им придется начинать штурм ее руин и завалов. Дальний конец казался ему почти целым. Там даже сохранился большой пролет подкранового моста, который, возможно, и не охраняется: ведь выхода на него нет. Но ближе — до самой середины — двадцатиметровые быки торчали, как выкрошенные зубы в деснах гигантского животного. Харкевич знал: обойти их невозможно, придется лезть через каждый. Ни лестниц, ни ступенек — строили не для того, чтобы на них воевать.

Он оторвался от окуляров и стал спускаться.

— Ну что там? — спросил Рудь, когда Харкевич соскочил с последнего крюка.

— Трудно нам будет — вот что, — сказал Харкевич.

— А ты что, легкого ждал? — Рудь взглянул на него своими колющими глазами.

— Нет, легкого я не ждал никогда, — холодно и сдержанно ответил Харкевич.

15

Когда отец вернулся с империалистической войны, Олегу уже пошел седьмой год. Мальчик увидел его с шашкой на боку и с карабином за плечом. Отец пробыл дома только два дня, и мать все время плакала. Олег слышал этот плач, понимал, что отец должен опять уехать куда-то, а мать просит его остаться.

Но все-таки уехал, и, как понял Олег, опять на войну.

Вернулся он насовсем только в двадцатом. Теперь на его лице красовались роскошные русые усы, а вместо солдатской шинели высокий стан облежала блестящая кожаная куртка. Карабина не было, но шашка осталась. Он повесил ее на стену над никелированной кроватью, потом отошел на несколько шагов, ласково посмотрел и, растроганный, обратился к ней, словно она могла понять:

— Что же, будем отдыхать.

Вечером, сидя за праздничным столом вместе со взрослыми, Олег услышал много интересного. Отец рассказывал своим старым друзьям, с которыми когда-то работал на электромеханическом, о том, как вместе с Фрунзе брел по сивашской рапе, как на своем коне ворвался в Джанкой и Симферополь.

Рассказ был яркий — отец не жалел красок. Слушая, можно было ясно представить себе и те места, и все, что происходило в тех краях, и даже людей, воевавших рядом с отцом.

Мальчик слушал с тихим восторгом и все время поглядывал на стену, где висела шашка в темных ножнах с позолоченными украшениями и кожаной кистью у эфеса. Это была спутница отца в походах, и мальчик завидовал ему.

Шашка стала поводом для бесконечных воспоминаний, сивашский воин любил поговорить о боевом прошлом долгими зимними вечерами, когда возвращался из жилищного отдела горсовета, где теперь работал.

Такие вечера выпадали не часто — Иван Иванович после работы учился на вечернем рабфаке, а это требовало от недавнего кавалериста не только великого упорства, но и отбирало все свободное время.

Постепенно шашка превращалась для Ивана Ивановича из спутницы в походах в священную реликвию, о которой вспоминали все реже и реже — главным образом тогда, когда мать убирала в хате и шашку надо было снять со стены, чтобы протереть тряпкой или сдуть пыль. Снимал ее всегда сам Иван Иванович. На миг останавливался посреди комнаты, до половины вынимал из ножен клинок, уже начавший покрываться желтизной забвения, и, задумавшись на минутку, с глухим стуком толкал его назад, в ножны.

— Да, было дело! — вздыхал, таинственно улыбался сам себе и вешал опять шашку на стену.

Через несколько лет Иван Иванович окончил институт, который со временем окончил и сын.

Путь будущего энергетика Олег избрал не без влияния Ивана Ивановича. Еще учась в семилетке, он увлекся будущей специальностью своего отца и с интересом рассматривал белые листы ватмана, на которых Иван Иванович ночами чертил таинственные узоры с помощью лекала и рейсфедера.

Удивительные отношения установились между отцом и сыном. Иван Иванович никогда не обращался к нему, как к маленькому, — правду говоря, он нередко чувствовал потребность в его помощи. Олег не разбирался в математических выкладках и всех тонкостях студенческих чертежей, но он, например, знал лучше отца правила право-

писания — в семилетке их преподавали основательнее, чем на рабфаке, и притом молодая голова усваивала их лучше, чем мог усвоить бывший кавалерист.

— Олег! — звал отец, оторвавшись от своей общей тетради. — Как пишется слово «разбирать» — через «о» или через «а»?

— Через «а»! — отвечал сын из своей комнаты и тут же появлялся на пороге, чтобы объяснить — почему.

— Тьфу, черт! — добродушно ругался Иван Иванович. — Ну конечно же!

У него никогда не возникало чувства неловкости оттого, что сын знает то, чего не знает он. И парень тоже привык к этим вопросам и никогда не подшучивал над отцом, хотя то, о чем спрашивал, знал каждый школьник в Олеговом классе.

Так возникла и утвердилась атмосфера равенства между двумя людьми разного возраста, и она превратила взаимоотношения отца и сына в дружбу двух мужчин.

Когда Олег учился в институте, Иван Иванович, собственно, тоже повторно проходил уже пройденный курс. Он часто помогал сыну усваивать книжные истины с помощью своего заводского опыта, а иногда и разбираться в самих книгах. Но каждый раз Иван Иванович с удивлением отмечал, насколько выросли требования к будущему инженеру, если сравнить с недавним временем, когда студентом был он сам, как расширился круг представлений о вещах, которые он тоже изучал, но в гораздо меньшем объеме. Поневоле приходилось опять заглядывать в учебники и овладевать темой с такой глубиной, какой требовали в институте теперь. Так он учился второй раз и чувствовал, что эта наука делает его сильнее. Но никогда его самолюбие не страдало оттого, что поводом для этой новой учебы опять стал его сын, который, казалось бы, учился теперь у отца.

В тысяча девятьсот тридцать шестом году Олегу стукнуло двадцать пять. Это выдающееся событие в его жизни произошло как раз тогда, когда он защищал свой диплом и готовился начать самостоятельную жизнь молодого инженера-энергетика.

Олег позвонил отцу:

— Знаешь, куда меня назначили? На Днепроргэс!

Иван Иванович растрогался. Возвращаясь с работы, он купил поллитра водки. Вошел в столовую и поставил бутылку на стол.

— Выпьем, сын! Повод подходящий.

— Да вы же пьяными напьетесь! — всплеснула руками мать. Но в голосе Ольги Петровны слышалось больше тайной радости, чем беспоконья.

— На двоих инженеров одна бутылка! Ты, сынок, как думаешь — напьемся?

— Не страшно: ляжем спать, — обрадовался и Олег. Это был первый случай, когда отец ему такое предлагал.

Они выпили по рюмке и закусили домашней колбасой. Потом Ольга Петровна внесла из кухни две тарелки борща. Она радостно суетилась, но сама обедать не села. Ей ясно было: двое взрослых

мужчин хотят потолковать о своих делах, и она, сделав вид, будто занята на кухне, оставила их наедине. Притаившись за дверью, она не раз утерла слезу своим ситцевым фартуком, но когда появлялась в столовой, глаза ее были сухими, ласково и многозначительно улыбались.

— Завидую я тебе, парень! — сказал Иван Иванович после второй рюмки. — Завидую и открыто в этом признаюсь.

— Завидуешь? — удивился Олег. — А почему?

— Ну, а как же! Едешь работать на Днепрогэс — в храм современной энергетики.

— В храме бывают и попы и служки, — лукаво посмотрел на него сын.

— Вон чего захотел! Поработаешь служкой, может, и в попы выйдешь, — засмеялся Иван Иванович, но вдруг лицо его стало серьезным. — Я бы в такое место и пол подметать пошел. Там люди приобщаются не только к вершинам современной энергетики, но и вообще к вершинам современности.

— Понимаю.

И вдруг отец громко рассмеялся.

— Попы и служки... И откуда у тебя этот божественный лексикон?! — Иван Иванович хлопнул сына по плечу своей тяжелой рукой.

— Ты первый сказал — храм, а где храм, там и служка! — рассмеялся и Олег. Вторая рюмка ударила ему в голову, и язык быстро развязывался и выходил из-под контроля.

— Это правда, говорил, — вынужден был признать Иван Иванович. — Я имел в виду Храм с большой буквы. Ну, да я думаю, ты понял.

Они выпили по третьей. Иван Иванович молча поднялся, подошел к стене, снял шашку и протянул сыну

— Подарить?

— Что ты! — обнял его Олег. — Что я с нею буду делать на Днепрогэсе? — Он понимал, что в душе отца шевельнулось что-то потаенное, глубокое; взял из рук его шашку, повесил на место и тихо проговорил: — Она твоя.

В эту минуту вошла Ольга Петровна и внесла котлеты и жареную картошку. Это выручило обоих, минутная слабость, которую почувствовал в душе старый кавалерист, уже и самому ему показалась неуместной. Он даже застыдился и с преувеличенной веселостью набросился на жену.

— А ты, Ольга, не саботируй. Сын — инженер, за это выпить надо.

Олег налил матери, а потом отцу и себе. Ольга Петровна подняла рюмку, взглянула на сына; глаза наполнились слезами. Она быстро поставила рюмку на стол и, рыдая, выбежала в кухню.

Мужчины бросились вслед. Они понимали, что ничего не случилось, что мать просто не выдержала того, что ее радовало и печалило.

Утром Олег выехал из Харькова на Днепрогэс вместе со своим институтским товарищем и другом Петей Славчуком, который тоже получил туда назначение и должен был работать вместе с Олегом.

В институте Петра Славчука и Олега Харкевича называли Пат и Паташон. Олег был чуть ли не на целую голову выше своего друга, а тот рядом с худощавым Харкевичем казался чуть ли не толстяком. Славчук отличался от молчаливого и сосредоточенного Олега своим веселым, компанейским характером. Он сам в шутку определял их дружбу как «диалектическое единство противоположностей двух современных существ».

— Мы, энергетики, знаем, что такое плюсовый и минусовый полюсы! — говорил он. — Один без другого ничто. Сила — в контакте!

— Кто же из нас плюсовый? — допытывался Олег.

— В переменном токе полюса, как известно, чередуются, — выходил из положения Петро.

— Ну, если так... — улыбался Олег. Он знал, что его друг выйдет из любого положения.

Все это были шутки. Но вскоре стало не до шуток. Случилось так, что они оба влюбились в одну девушку — Ксению Стороженко, дочь киевского профессора романских литератур. Окончив планово-экономический институт, она работала теперь в плановом отделе управления Днепрогэса.

Ксения была тоненькая, с очень светлой, почти белой толстой косой. Когда она шла по улице, казалось, что коса оттягивает назад ее красивую голову.

Мать Ксении, Любовь Степановна, всегда мечтала, что ее единственная дочь после окончания института останется в Киеве и будет жить с нею.

Профессор Стороженко мог легко это устроить. Но, когда распределяли студентов на работу, он отказался от какого бы то ни было вмешательства, и Ксения получила путевку на Днепрогэс. Профессор вовсе не хотел прослыть беспристрастным человеком и не боялся возможных упреков и обвинений. Нет, он просто придерживался собственных взглядов на то, что полезно молодому человеку и что вредно. «Птицы вылетают из гнезд, — твердил он, — это закон природы».

С молодыми инженерами Ксения познакомилась случайно.

Был день выдачи зарплаты, инженеры пришли в общую бухгалтерию. У кассы стояла большая очередь, и они заняли очередь за девушкой со светлой косой. Когда она подошла к окошку и повела пальцем по ведомости, ища свою графу, чтобы расписаться, Славчук прочитал ее фамилию.

— А сколько получает у нас инженер Стороженко? — спросил Славчук Олега и лукаво подмигнул. — Кажется, полторы тысячи?

Ксения оглянулась. Сразу поняла, в чем дело, опять отвернулась к окошку и расписалась в ведомости.

— Это не ваш муж? — обратился Славчук уже прямо к ней.

Ксения не ответила. Взяла из рук кассира то, что ей причиталось, и отошла в сторону.

Теперь была очередь Славчука, но он пропустил вперед Харкевича, а сам оказался возле Ксени.

— Хорошо, когда и муж и жена работают! — вздохнул он, ни к кому не обращаясь. — Он — полторы получает, да она тысячу с хвостиком...

Ксения улыбнулась:

— А ваша жена меньше получает?

— Моя — молодчина: каждый день пятьсот приносит!

Ксения рассмеялась и пошла по коридору. Славчук схватил товарища за руку и потащил его вслед за девушкой.

Они догнали Ксению в конце коридора. Спускаясь позади нее по широким ступеням, Славчук уже серьезно сказал:

— Шутки шутками, но если мы уже вместе начали смеяться, то давайте продолжим это и дальше!

Ксения не возражала, хотя именно от таких встреч ее предостерегала мать. Но среди сотен возможных знакомств это оказалось именно тем, которого не миновать, его послала, как говорится, судьба.

И там, у кассы, и здесь, на лестнице, Харкевич все время неловко улыбался и незаметно дергал товарища за рукав. Девушка нравилась ему, он был не прочь и познакомиться с нею, даже с помощью несложных приемов, пущенных в ход Славчуком, но при этом чувствовал себя неловко и все время краснел. Смелость Славчука и пугала его, и вызывала зависть, потому что сам он не решился бы так просто заговорить с незнакомой девушкой.

— Как тебе это удастся? — спросил он Славчука, когда Ксения, махнув им на прощание рукой, исчезла за дверью планового отдела.

— Что именно?

— Ну заговариваешь, знакомишься... и ничего!

— А ты ждал, что она мне пощечину влепит? Удивляешься, почему не влепила?

— Не она удивляет, а ты.

— Вот и бери пример с меня, не будь дикарем.

Но когда они вечером встретились возле летнего кинотеатра, Харкевич уже держался с Ксенией смелее.

И она не чувствовала неловкости — можно было подумать, что два молодых инженера, которых она сегодня впервые увидела, ее старые знакомые.

Они встречались втроем все лето. Вечерами ходили на плотину, останавливались у железных поручней пешеходного моста и смотрели вниз. Вокруг стоял грохот воды, огромные маслянистые струи медленно сползали с гребня и, как горный обвал, разбивались о скалы, превращаясь в пыль. Эта водяная пыль висела в воздухе и, подсвеченная сильными прожекторами, сияла и светилась.

Перед этой картиной немел даже Славчук, который всегда их развлекал и вносил в отношения беззаботную веселость. Они стояли молча не только потому, что грохот воды мешал разговаривать, но и потому, что разговаривать не хотелось.

Потом они втроем возвращались на правый берег, садились на лавочке в скверике возле управления. Здесь уже Славчук давал себе волю. У него всегда было про запас несколько веселых анекдотов и разных интересных историй — где он их подхватывал и как запомнил?

В один из таких вечеров Ксения вдруг спросила:

— Олег, вы пишете стихи?

Это было настолько неожиданно, что Харкевич густо покраснел. Он смутился, будто Ксене стала известна какая-то глубокая тайна. О том, что он тайком пописывает, знал лишь Славчук, и Ксения могла узнать это только от него.

— Значит, все-таки пишете. Прочитайте что-нибудь, — попросила Ксения.

— Я не помню своих стихов, — ответил Харкевич беспомощно.

— Сейчас я прочитаю, — заявил Славчук. — Одно стихотворение я знаю на память.

— Замечательно! — обрадовалась Ксения. — Только не сердитесь, Олег. Ведь мы товарищи?

Они сели на лавку, прижались друг к другу, и Славчук прочитал:

Счастливец тот, кто может другу,
когда сомнения остры,
подать доверчивую руку
и тайники свои открыть.
А если никому не надо
и если ближнему — тоска —
делить твою беду и радость —
к чему нам жить, желать, искать?
Да, наши чувства верят в чудо,
не могут жить в плену одни.
Им нужен выход, взлом запруды,
слиянье с тем, что им сродни,
с такой же болью человеческой,
с таким же чувством, как мое,
что в ком-то заперто навечно
и крыльями в решетку бьет.
Я знаю — в праздник и в ненастье
тот человек — устал, но ждет,
как я, невиданного счастья,
ведя годам тревожный счет.

Ксения внимательно слушала. Тонкие брови переломились в немом напряжении, лицо сосредоточилось и казалось почти суровым. Когда Славчук закончил, она еще некоторое время молчала, глядя себе под ноги. Харкевич очень волновался, словно от того, что она скажет, зависело что-то очень важное. Наконец она тихо проговорила:

— Мне нравится. А как оно называется?

— «Друг», — ответил Славчук.

Он попробовал пошутить: мол, вы еще не знаете нашего Олега, он способен и не на такое. Но Ксения не отозвалась, будто и не слышала. Ей не хотелось сводить к шуткам то, что она почувствовала в человеке, которого и знала ведь уже не первый день, но только теперь раскрыла для себя по-настоящему.

— Можно, я это запишу для себя? — попросила она.

Олег не мог ей отказать. К тому же тайной были не стихи, а его авторство. Теперь она об этом знала, и он не мог и не хотел укрываться. Душа рвалась навстречу ее желанию знать о нем все. Такое с ним происходило впервые в жизни, и он был не в силах бороться.

Ксения записала стихи и молча спрятала бумажку в карман своей синей жакетки.

Они встречались почти все лето втроем, но о стихах девушка больше ни разу не заговаривала. Может быть, не хотела показаться надоедливой, а может, боялась глубже проникнуть в чувства Олега, о которых догадывалась.

Как-то вечером она предложила прогуляться втроем за город. За окраинными домами сразу начиналась степь. Вечерние облака будто остановились, горели в косых желтых лучах.

Степь постепенно растворялась в синих сумерках, готовая затихнуть на ночь. Втроем они медленно шагали по дороге, все дальше уходя от города. Славчук, как всегда, веселил их, но разговор сворачивал к серьезным вещам. Ксения расспрашивала Олега о Харькове, он охотно рассказывал. Иногда они умолкали и долго брели, как бы слившись с немой тишиной и теплом июльского вечера.

Ночь охватила степь совсем незаметно. На горизонте возник и беспокойно запрыгал яркий огонек, — может быть, это пастухи развели костер, а может, загорелась скирда прошлогодней соломы.

Вдруг на фоне далекого огня появилась темная черточка — в поле стояло что-то невысокое, будто живое. Ксения подбежала и радостно воскликнула:

— Тополек!

Они втроем стояли около молодого деревца, которое неизвестно откуда появилось в запорожских степях.

— Давайте пересадим его поближе к нам! — предложила Ксения.

— Среди лета не примется, — усомнился Славчук.

— А мы с землей перенесем!

Отблески далекого пламени чуть заметно освещали ее лицо, и Харкевич видел: оно сияло искренним восторгом.

— Давайте попробуем, — согласился Олег.

В воскресенье они пришли с лопатами и осторожно выкопали деревцо. Потом положили на тачку. Возле дома Клавдии Харитоновны уже была выкопана яма, и тополек поселился в ней. Лицо Ксени горело, глаза сияли; разровняв землю вокруг стволика, она выпрямилась, смахнув загорелой рукой пот со лба, и сказала:

— Видите, нас трое, а он один. Не будем требовать, чтобы он принадлежал только кому-нибудь из нас. — Это было сказано просто, будто Ксения и не вкладывала особого смысла в свои слова. И вместе с тем в них было что-то значительное,стораживающее.

Они ее поняли. Поняли, но не могли и не хотели согласиться. Ксения у них была одна, как этот тополек, и им вдруг стало ясно: дальше она не может принадлежать обоим.

Вечером, вернувшись домой, Славчук отважился заговорить с Олегом открыто.

— Надо нам кое-что выяснить,— будто между прочим сказал он, раздеваясь возле своей постели. — Я думаю — пора.

— Пусть решает она,— тихо ответил Харкевич.

Славчук на миг застыл. Это было сказано человеком, который понимает, о чем идет разговор, и, похоже, не сомневается в ее решении.

17

Неожиданная встреча с Сергеем Рудем оживила в памяти Олега Ивановича неприятный случай. Связанные с ним события, в которых Сергей Рудь сыграл весьма неприглядную роль, оставили в душе Харкевича болезненный след. Он не считал себя злопамятным, и все же ему легче было бы забыть о самом существовании Рудя, чем простить его.

Это произошло через год после того, как Олег Иванович начал работать на пульте управления Днепрогэса. Он уже врос в новую среду, пустил корни в житёйскую почву и быстро мужал на ней, становился самостоятельным человеком.

Он еще жил в одной комнате с Петром Славчуком. Несмотря на то что между ними встала Ксения, отношения их не изменились — они просто больше никогда не заводили разговора на опасную тему. Петро — из чувства собственного достоинства, а Олег — потому что боялся затронуть это чувство, задеть и без того обиженного товарища.

В тот день в восемь часов должно было состояться комсомольское собрание. Славчук работал во второй смене, и Харкевич отправился на собрание один. По пути он остановился возле дома, где жила Ксения, и, не входя в дом, прямо с улицы позвал ее.

— Сейчас иду! Подожди! — откликнулась она.

Олег посидел на лавочке в сквере против окон Ксени. Вокруг уже проступали тени вечера, первые звезды отразились в спокойной воде Днепра. На душе было радостно и тихо. Он подумал вдруг об отпуске — куда же лучше поехать: к маме в Харьков или на море, в Крым. А может, остаться здесь и каждый день ходить на пляж со Славчуком и Ксенией?

Вышла Ксения — в легком голубом платье, на котором даже в вечерних сумерках отчетливо была видна ее светлая коса.

Ксения взяла его под руку, и они быстро пошли на левый берег. На плотине они, как всегда, остановились и посмотрели вниз. Уже близилась осень, вода в Днепре прибывала, с глухим гулом неслась под открытыми щитами, валилась с огромной высоты вниз и разбивалась о скалы.

Малый зал клуба инженерно-технических работников, наполненный молодежью, гудел. Двух свободных мест рядом не нашлось. Устроились в разных концах зала. Ксения махнула ему рукой, даже

что-то крикнула, но шум стоял такой, что Харкевич ничего не слышал.

Через несколько минут произошло событие, наложившее печать на всю его дальнейшую жизнь. Секретарь кустового комитета комсомола Ананий Гаврилюк открыл собрание. Он мог бы предложить присутствующим назвать кандидатуры для избрания президиума, но вместо этого неожиданно сказал:

— Товарищи, не удивляйтесь. Я вам сейчас прочитаю стихотворение.

Зал весело зашумел, но тут же и притих. Харкевич вздрогнул — это было его стихотворение «Друг», которое не знал никто, кроме Славчука и Ксени. Он почувствовал: что-то оборвалось в нем и упало и потом снова поднялось к горлу, словно собираясь задушить. Он еще не понимал, для чего читают его стихотворение и что это вообще означает, но то, что стихотворение читали публично, хотя сам он никогда не отважился бы на это, то, что читали его, не спросив разрешения, которого он ни за что на свете не дал бы,— это оглушило.

Когда чтение окончилось, раздались не очень громкие аплодисменты. Наверно, они были бы громче и единодушнее, если бы собравшиеся прослушали стихотворение в другой обстановке. Сейчас никто не понимал, к чему здесь на собрании стихи, ведь еще не избран президиум и не объявлена повестка дня.

Гаврилюк поднял руку и довольно весело проговорил:

— А знаете, для чего я прочитал вам эти стихи? Для того, чтобы вы знали, что среди нас есть поэт, и к тому же довольно своеобразный.

— Кто? Кто? — послышались выкрики.

— А я и сам не знаю,— развел он руками.— Главное то, что поэт есть и, как ни странно, в нашем коллективе. Правда, на страницах советской прессы мы его не встречали, потому что там печатают стихи о героях пятилетки,— добавил Гаврилюк с недобрим нажимом.

— А разве о дружбе нельзя писать? — спросил кто-то из зала.

— Какая же это дружба! Здесь что-то мудреное и к тому же довольно странное.

Теперь Харкевичу было ясно все. Хотелось только узнать, как попало это стихотворение в руки секретаря комитета. Он взглянул туда, где сидела Ксения,— она смотрела на него широко раскрытыми глазами, полными ужаса.

Олег не знал, что и подумать. Неужели это сделала она?! И чего испугалась — собственного поступка или результатов, которые могут последовать? Все было удивительно и в то же время странно: ничего плохого в стихотворении не было, и вместе с тем у всех на глазах его превращали в повод для подозрений, обвинений и страха... Может, стихотворение попало в комитет от Славчука? Но его деликатный и искренний друг не мог так поступить, особенно теперь, когда между ними встала Ксения.

— Кто автор? — спросил чубатый парень, что сидел неподалеку от Харкевича. Парень почему-то очень волновался, словно автором был он сам.

— Я же сказал: не знаю,— ответил Гаврилюк. Лицо у него было сосредоточенное. В своем юнштурмовском костюме, хоть и без портупей, которая уже выходила из моды, он казался командиром армии, заполнившей этот зал. — Но сейчас мы узнаем все — здесь должен быть популяризатор этого стихотворения. — Он искал кого-то глазами по рядам. — Что-то я не вижу Ксени Стороженко...

Ксения поднялась.

— Я здесь.

— Может, ты ответишь на вопрос, кто автор?

— Я прочитала это стихотворение своим сотрудникам вовсе не для того... — нерешительно начала Ксения. Лицо ее пылало.

Харкевич поднялся.

— Стихотворение написал я.

В зале залегла беспокойная тишина.

— Садись, товарищ Стороженко. С тобой мы поговорим потом,— сказал Гаврилюк. — Ну, вот! Расскажи-ка нам,— обратился он к Харкевичу,— что ты хотел сказать этим стихотворением?

— Не знаю, как объяснить — стихи трудно объяснять,— спокойно ответил Олег. — Я хотел сказать, что дружба — это взаимообогащение, без нее жизнь бледна и неполна.

— Интересно,— усмехнулся Гаврилюк. — А я совсем иначе представлял себе боевую дружбу комсомольцев.

Харкевич разозлился:

— Вот и напиши другие стихи, расскажи о своих представлениях.

Зал захохотал. Гаврилюк смутился и не сразу овладел собой. Наконец он поднял руку и, когда зал умолк, недовольно заметил:

— Болезненно ты относишься к критике, товарищ Харкевич! Комсомолец должен прислушиваться к замечаниям товарищей, если в них есть хоть пять процентов рационального зерна.

— Пять процентов... — буркнул Харкевич. — Маловато. Это что же, с поганой овцы хоть шерсти клок? — усмехнулся он.

— Кто же это поганая овца? — испуганно спросил Гаврилюк. — Кого ты имеешь в виду?

— Того, кто осмеливается критиковать, имея в запасе лишь пять процентов правды,— взорвался Олег. — Выходит, остальные девяносто пять процентов — ложь?

Над залом нависла гнетущая тишина, Гаврилюк тоже молчал.

— Ну хорошо, поговорим на бюро,— сказал он тихо. — И о твоих стихах, и о твоём отношении к критике.

Харкевич сел. Хорошо, поговорим. И о стихах, и о процентных нормах правды и лжи.

Гаврилюк уже собирался перейти к повестке дня, как вдруг попросил слова Сергей Рудь. На взгляд Гаврилюка, сейчас это было лишнее. Бюро обсудит, тогда — другое дело. Но отказать Рудю он не решился: чего доброго, истолкует еще как зажим с его стороны.

То, что сказал Рудь, было чудовищно. Содержание стихотворения, по мнению Рудя, состояло совсем не в том, в чем его видел Гаврилюк. У Харкевича есть нечто такое, чего он не может никому доверить... То есть существует тайна, и он бережет ее ото всех. Что это за тайна, которую нельзя доверить всем им, комсомольцам? Кто ему поручил скрывать ее?

Невысокий ростом, со скуластым лицом и острыми глазами, Рудь уверенно держался на трибуне и ловко жонглировал громкими словами. Он говорил об опасности утраты бдительности, о суровой беспощадности к людям, которые посягают на наши дела. То, что стихи не напечатаны, он тоже истолковывал как намерение автора скрыть свои истинные мысли. Но стихотворение оказалось для Рудя лишь запевкой, песня была впереди. Помнит ли Харкевич свои разговоры о том, что все турбины работают бесперебойно, а десятая почему-то барахлит? Ведь именно эта турбина изготовлена на советском заводе! Что этим хотел сказать Харкевич: заграничные, мол, сделаны как следует, а отечественная барахло? Нечего сказать, патристично! Рудь подчеркнул, что между стремлением скрыть свои тайные мысли в стихотворении и пренебрежительным отношением к отечественной индустрии существует непосредственная связь. И поэтому предложил не ждать, пока бюро рассмотрит вопрос, а исключить Харкевича из комсомола немедленно.

То, что говорил Рудь, было не просто несправедливо. Да, десятая турбина действительно некоторое время работала с перебоями, и как-то на совещании у главного инженера Харкевич высказал недовольство по этому поводу. Разве его выступление не было деловым и не имело под собой оснований? Но обобщать так, как это делает Рудь!.. Усматривать в нем желание противопоставить зарубежное производство отечественному!..

Нет уж, извините! Он, Харкевич, сумеет доказать свою правоту.

А между тем речь Рудя произвела неожиданно сильное впечатление и повернула весь ход собрания. И Харкевич собственными глазами видел, как те, кто только что аплодировал ему, прослушав стихотворение, теперь поднимали руки, чтобы исключить его из комсомола. И страшное было не в том, что его несправедливо исключают,— вот это внезапное перевоплощение людей казалось ему самым страшным.

Когда голосование закончилось, Харкевич поднялся и вышел. С минуту он постоял у входа, потом медленно побрел улицей. Он вспомнил свои соображения, высказанные когда-то у главного инженера, вспомнил свое стихотворение... Страшила неумолимая логика того, что сейчас стряслось. «Я себе представляю дружбу иначе...» Таким образом, всякое иное представление — ошибочно. Почему? Только потому, что ты — секретарь? А если бы я был секретарем, верно было бы мое представление? И тогда я исключил бы из комсомола тебя?

Сзади плеснуло на миг ярким светом, и Харкевич оглянулся. Хлопнула тяжелая дубовая дверь клуба, и на ступени выбежала Ксения. Олег сразу узнал ее. Девушка напряженно всматривалась в темноту. Харкевич застыл возле дерева.

Еще мгновение Ксения постояла в нерешительности, потом сбегала вниз по ступеням и бросилась за угол. В тишине слышались ее быстрые шаги: она побежала.

Куда она спешила? От чего бежала? Назвала бы его имя, не подумавшись он сам и не скажи, что он автор? Харкевич задавал себе вопросы, на которые не мог ответить. И вдруг понял: он не смеет сомневаться в Ксении. Ведь он ее любит, и страшен теперь не ее поступок, а то, что он вдруг встал между ними. Сейчас, когда ему тяжело, ее нет рядом...

Он медленно пошел дальше, раздавленный своим одиночеством. Впервые в жизни лег ему на душу тяжелый груз отчаяния, безысходности. Да, на бюро он докажет свою правоту — это так, он никому не позволит истолковывать как попало свои мысли, пачкать их недостойными догадками, подозрениями в том, чего нет. Но Славчук... Ксения... Друзья, самые близкие ему люди... Что-то встало между ними и Олегом. Что же именно? Сейчас он этого понять не мог.

Славчук уже давно вернулся со смены и крепко спал, когда Олег вошел в комнату. Не раздеваясь, он лег на свою постель, укрылся с головой и сразу же заснул.

18

Харкевич проснулся и увидел, что Славчук, уже одетый, стоит перед зеркалом и поправляет воротничок своей голубой сорочки, собираясь уйти. Олег отбросил одеяло, чтобы тоже встать, но заметил, что лежит в постели одетый, и сразу вспомнил все.

Конечно, Петро еще ничего не знает. Выйдет сейчас на улицу, и кто-нибудь ему расскажет. И хорошо — не придется рассказывать самому, объяснять, как все произошло, и снова переживать вчерашнее.

Олег притворился спящим. Так лучше.

Как только Славчук вышел, он вскочил с постели. Внезапное возбуждение охватило его. Сейчас он побежит к Гаврилюку и выложит все, что у него на сердце. Пусть немедленно, сейчас же собирает бюро.

Олег сорвал с гвоздя полотенце и побежал умываться. И вдруг вспомнил, что сегодня воскресенье и, стало быть, ничего не поделаешь, в райкоме никого нет. Разочарованный, он вернулся в комнату и беспомощно опустился на незастланную постель, не зная, как быть.

Наверное, он долго так просидел. Когда в дверь постучали, Олег попробовал подняться. Он почувствовал, что ноги одеревенели, не двигаются. Постучали опять. Он еще не успел ответить, как дверь открылась.

На пороге стояла Ксения.

Появление ее не удивило Олега — оглушило. Не потому, что это было невероятно, — наоборот: он все время ждал, все время внутренне прислушивался, верил, что в конце концов откроется дверь и он увидит ее. Только не думал, что это произойдет в восемь утра, когда еще и Славчук мог быть дома. Ведь это лишь случайность, что Петро так рано ушел!

Или, может быть, Ксения хотела объясниться как раз при Славчуке? Харкевич все еще сидел с полотенцем в одной руке и тюбиком зубной пасты — в другой. Он даже не пробовал подняться — сидел, словно все в нем оцепенело.

Ксения один лишь миг задержалась на пороге, медленно прикрыла дверь, подошла ближе и, даже не поздоровавшись, тихо спросила: — Олег, ты очень ненавидишь меня?

Только теперь он поднялся и беспомощно проговорил:

— Что ты...

— Я не хотела тебе зла.

Это Олег знал. Верил с самого начала. Значит, он не один. Вчерашнее отчаяние — глупость. Он ждал, что она придет. И она пришла. А это главное.

— Я и не думал... Да разве это зло?

— Зло, Олег. Не обманывай себя,— Ксения сказала это шепотом, но Олег услышал: голос ее дрогнул. Вдруг что-то словно толкнуло ее, она бросилась к Олегу, обняла обеими руками, припала всем телом. Плечи ее задрожали от плача.

— Ну что ты, что ты... — Он хотел сказать «милая», но удержался. Только гладил ее светлую, почти белую голову — растроганный, растерянный, притихший.

Наконец она успокоилась и посмотрела на него. Большие голубые глаза еще были полны слез.

— Это несправедливо,— всхлипывая, тихо, но убежденно сказала она. — В стихотворении твоём ничего плохого нет. И ты это докажешь им, я верю. И я решила, конечно, если ты меня любишь...

Олег взял ее голову обеими руками и тихо сказал:

— Я тебя люблю.

— Переходи ко мне. Сейчас же. Немедленно.

Олег смотрел на нее, словно не понимал.

— Я решила сразу,— горячо шептала она, будто в беспмятстве,— решила, как только проголосовали. Выбежала следом за тобой, но найти не смогла. Искала по городу почти до самого утра. И сюда приходила тоже. В окнах было темно, и я ждала на улице, думала — дождусь. И сейчас сидела в сквере, ждала, пока уйдет Петро из дому или выйдешь ты! — Ксения вдруг улыбнулась. — Когда он ушел, я подождала еще минут двадцать, боялась, вдруг он вернется...

Теперь чуть было не заплакал Олег. Припал к ней, стал целовать. Он не понимал и не хотел понимать, что делает, что происходит с ним,— знал только, что Ксения решила и сама сказала об этом.

— Где твои вещи? Пошли,— повторяла она все время, словно боялась, что кто-нибудь войдет и все кончится, пропадет. — Пошли... пошли...

Наконец Олег пришел в себя, снова присел на кровать. Ксения смотрела на него и молчала — видела, что он чуть заметно нахмурился. Потом опять прошептала:

— Пошли.

Харкевич подбежал к шкафу, раскрыл его, стал бросать свои вещи в чемодан. Ксения в это время хлопотала возле стола, выбирая книги: она хорошо знала, которые Олеговы, а которые — Славчука. Оба спешили, словно готовились к бегству, словно боялись что-то потерять, если промедлить лишнюю минуту.

Олег швырял в чемодан сорочки, носки, галстуки...

Сейчас некогда было медлить. Не было ни времени, ни сил холодно взвешивать обстоятельства. Ксения пришла, она здесь. Она решила! Все прочее не имело никакого значения.

А через день на квартиру, где Славчук жил теперь, один, явился Сергей Рудь. Славчук был дома, появление Сергея удивило его.

— А Харкевича нет? — спросил Рудь.

— Сейчас его смена, — ответил Петро. — Он на пульте.

— Вот как... — неуверенно протянул Сергей и присел на незастланную железную койку Харкевича.

— К тому же он здесь теперь не живет, — добавил Славчук.

— Не живет? — Это известие настолько поразило Сергея, что он даже поднялся.

— Да ты не пугайся, — Славчук иронически усмехнулся, он понял, как тот мог истолковать подобную новость. — Он переехал на новую квартиру.

— Благородно!

— То есть?

— Не захотел бросать пятно на своего дружка?

Славчук вспыхнул:

— Ну, ты, полегче!

Сергей снова присел на койку Олега. Он достал из кармана коробку «Казбека», постучал по ней мундштуком папиросы и закурил. С минуту оба молчали.

— Это хорошо, что ты его защищаешь, — начал Сергей Рудь и выпустил изо рта облачко белого дыма, которое тут же свернулось в кольцо и поплыло. — Ты думаешь, если я так выступил на собрании, то мне его не жаль? Но ведь это не означает... — Он поднялся. — Вот что, Славчук. Харкевича у вас на пульте управления, я думаю, не оставят. Пульт, как тебе известно, — сердце всей станции. А время такое...

— Откуда ты знаешь, что не оставят?

— А ты оставил бы?

Славчук не ответил.

— И все-таки парень он не плохой, — продолжал Рудь, — и как инженер тоже... Деловые показатели и все прочее у него налицо.

— Не понимаю, куда ты гнешь? — спросил Славчук не очень доброжелательно. Но Рудь словно и не заметил этого.

— Я думаю, лучше забрать Харкевича к нам, на плотину.

Славчук резко повернулся в сторону Рудя:

— То есть как это — забрать?

— Я же говорю — жаль парня, — помедлив, сказал Рудь. — На пульте его не оставят. А на плотине не та ответственность...

— Ну ясно не та! — усмехнулся Славчук. — Берешь пробы на фильтрацию, а в основном бьешь баклуши!

Рудь не обратил внимания и на это.

— Вот я и говорю: лучше перевести его туда.

— Как будто это от нас с тобой зависит!

— Если инициативу проявим, будет зависеть и от нас, — заметил Рудь, надеясь на догадливость Славчука. Ему не хотелось рассказывать, что его уже вызывали в райком, предлагали подыскать на свое место кого-нибудь, а самому перейти в отдел капитального строительства управления. Да и после вчерашней речи на собрании... Хорошо бы теперь проявить о человеке заботу. — Жаль, самого его нет, — вздохнул Рудь. — Но если мы с тобой сходим в райком, думаю, Харкевича возьмут на плотину...

— А ты не боишься, что он подложит бомбу? — спросил Славчук.

Рудь метнул недобрый взгляд, но смолчал. Он посидел еще с минуту, стараясь унять вспыхнувшую злость. Напрасно затеял разговор с Петром, надо было разыскать Харкевича. Олег не глуп — поймет, что лучше перейти по собственному желанию на плотину, чем ждать, пока выгонят с пульты.

Он пододвинул пепельницу, стоявшую на подоконнике, погасил окурок и поднялся.

— Куда Олег переехал?

— К жене.

Рудь широко раскрыл глаза.

— К жене? Когда же он успел?!

— Нынче переехал.

— Да не о том же я! Жениться когда успел?

— Вчера.

— Вчера? — Рудя эта весть потрясла. — Пир во время чумы?

— Какой такой чумы? Это ты о вчерашнем собрании?

Славчук начал переодеваться, давая понять гостю, что пора бы ему идти.

— И кого же он подхватил? — тихо спросил Рудь.

— Да иди ты ко всем чертям! — Славчук замахнулся. Он был готов ударить Рудя.

Теперь засмеялся Рудь: понял, в чем дело.

— Вот как! Переживаешь?

Славчук не ответил. Скрылся за дверцей шкафа, стал надевать чистую сорочку. Мелькнуло загорелое плечо, сильные руки, рукав рубашки.

— Ты извини, — примирительно сказал Рудь у двери. — Это с моей стороны и правда бестактно... До свиданья! — Он осторожно прикрыл за собой дверь.

Славчук оделся и вышел из-за шкафа. Очень хотелось пойти к Харкевичу и предупредить его. Но сейчас он этого сделать не мог:

знал, что на пульте Харкевича нет. Слышал, как тот звонил к начальнику смены и просил вместо него сегодня поставить на дежурство другого. А идти домой... Там Ксения... Нет, на это не хватит сил.

Через день на пульте управления появился новый инженер в сопровождении начальника смены. Оказалось, Харкевича перевели на плотину, а Рудя — на пульт.

Теперь Славчук понял, что Рудь не зря приходил к Харкевичу. Встретились ли они — неизвестно, но цели своей Рудь все же достиг.

19

Ночь, которая началась совещанием у полковника Шумакова, а закончилась сложным и опасным переходом через темный город на плотину и наблюдениями в стереотрубу, была трудным испытанием физических сил для Харкевича. Сейчас в потерне, докладывая комдиву по телефону о своих наблюдениях, он почувствовал, что очень устал.

Он был достаточно закален. Когда-то увлекался волейболом, вместе с Ксенией они ходили на площадку и всегда занимали места по разные стороны от сетки, превращаясь в непримиримых врагов. Олегу нравилось, что они не в одной команде: со стороны он мог тайком любоваться Ксенией, а перепалки по поводу неправильных подач или неверно забитого мяча только веселили их.

Позднее, в финском плену, Харкевич не раз с благодарностью вспоминал свое увлечение спортом и эти игры. Они хорошо закалили его, подготовили к тяжелому труду в финской деревне.

Физический труд не утомлял его. Настоящую усталость он узнал позднее, когда пришлось просиживать долгие ночи в Наркомате электростанций, склонившись над таблицами и схемами, готовя их, чтобы обязательно к утру подать на стол начальнику. Те долгие бессонные ночи оказались тяжелее физического труда.

В эту ночь Харкевичу удалось заснуть лишь на час или полтора. Это утомило его предельно. Доложив комдиву о своих наблюдениях на плотине, он почувствовал, что свалится, если не отдохнет.

Первую вылазку можно было начать только ночью, времени для отдыха оставалось мало. Но хотелось сначала познакомиться с теми, кто под его руководством будет искать вражеский кабель, — успех операции зависел не только от него, но и, главным образом, от них. Он знал, где и как можно лучше пройти или, вернее, пролезть, но идти должны будут прежде всего они.

Он позвал Амирадзе и Ковальчука в угол потерны, где пол почти просох. Подтащили толстое сосновое бревно и сели.

Будущие товарищи казались значительно моложе его. Ковальчук был довольно плотным и, наверно, очень сильным. Его удивительно тонкое, как бы точеное, смуглое и красивое лицо, никак не подходило к могучей фигуре с мощными плечами. Тонкий с горбинкой нос,

выразительно очерченные, почти девичьи губы, чуть заметный румянец на темных щеках — все это останавливало внимание, привлекало к нему.

Амирадзе рядом с Ковальчуком казался слабым, неокрепшим мальчиком. Невысокий, жилистый и вертлявый, с худым носатым лицом, он напоминал птицу — Харкевич не мог вспомнить какую.

Амирадзе его беспокоил: свое сложное и ответственное задание они должны были выполнять лишь вдвоем, а если третий слабоват...

Но Харкевич немного успокоился, когда узнал, что Амирадзе хороший спортсмен. Вернее, танцор-солист в самодельном ансамбле песни и пляски. Похоже, что парень он ловкий и в их деле будет полезным.

— Вы из одной части? — спросил Харкевич.

— Нет, из разных, — ответил Ковальчук. — Я из десантной дивизии, а Сандро — цыганковский. Про старшину Цыганкова слышали? Амирадзе у него воевал.

Нет, о Цыганкове Харкевич не слышал. Должно быть, знаменитый разведчик. Говорит о нем Ковальчук с восторгом.

— В штабе армии нас собрали всех здешних, — продолжал Ковальчук. — Набралось человек пятнадцать — кто из Нового Запорожья, кто из ближних сел. А подполковник только нас двоих выбрал.

Вот как! Может, они подобрались здесь вот такие не случайно? Ловкость Амирадзе и физическая сила Ковальчука будут друг друга хорошо дополнять. Неужели Штукаренко позаботился и об этом?

— А раньше вы встречались?

— Ого, еще как! — снова воскликнул Ковальчук. — Жил в одном общежитии в поселке Запорожсталь. Шрам этот видите? — Он потрогал щеку. — Сандро приварил. — Ковальчук сказал это без злобы и даже виновато усмехнулся.

Не хватало еще только застарелой вражды между этими двумя. Придется, чего доброго, учитывать еще и личные взаимоотношения своих помощников, а ведь хлопот достаточно и без того. Впрочем, если все это учитывать, то и его, Харкевича, сюда не следовало бы посылать — здесь Рудь. Глупости: тут фронт и война, и сейчас не до психологических тонкостей и сантиментов. Да и можно ли избежать таких вещей, если выбираешь людей, что жили в одном городе и могли быть связаны тысячами нитей?

— Вот что, хлопцы, — сказал Харкевич. — То, что было когда-то, сейчас надо забыть.

Он сказал это своим новым товарищам, но по существу — себе.

Да, все надо забыть. Но как это сделать, если есть память? Можно заставить себя простить, но разве прикажешь памяти: забудь! Он смотрел на Амирадзе и Ковальчука: а они забыли?

— А что нам помнить? — проговорил Амирадзе. — Девушка, за которую я его ударил, сорвалась с крана, мы с Ковальчуком и хоронили ее вместе. Так что прошлое травой поросло, — в словах Амирадзе звучала удивительная для него тоска.

Такая же история. И у него с Ксней все в прошлом и тоже травой поросло.

То, что Харкевича вначале беспокоило, вдруг породнило его с Амирадзе и Ковальчуком. Так же, как и несчастье, разлучившее его когда-то с Ксней, со временем еще больше приблизило к ней.

— Вы знакомы с заданием? — тихо спросил он.

— Знакомы, — снова ответил Ковальчук.

— Ну и как? — Харкевич взглянул на него с интересом.

— Надо выполнять, — улыбнулся тот.

Харкевича развеселила эта безоговорочная готовность. Правда, она больше была похожа на проявление солдатской безотказности, чем на убежденность человека, понимающего все тонкости задания. Но и такая безотказность успокаивала: ведь, собственно, она-то сейчас и была нужна.

— Что ж, отдохните как следует, а стемнеет — двинемся на плотину, — сказал Харкевич, и оба поднялись.

Он подложил под голову свой пиджак и лег на бревно. Укрылся шинелью Штукаренко и попробовал заснуть. Теперь в потерне стояла мертвая тишина. Даже разрывы снарядов — немцы все еще посылали их с Хортицы на ощупь — звучали не очень-то угрожающе. Они ударялись о бетонный массив плотины, лопались, как сухие орехи, а здесь чувствовалось лишь легкое дрожание бетона.

20

Профессор Стороженко почувствовал себя бодрее лишь после того, как вышел со всеми на темную улицу. Даже за несколько минут перед этим он был еще беспомощным, сбитым с толку, ошеломленным, хотя и сам уже решил, и жене заявил, что уйдет с Мироненко из дому и не позволит себя угнать в Германию. Как видно, одного решения мало, чтобы человек обрел внутреннее равновесие, — для этого надо сделать еще и первый шаг.

Мужчины шагали вдвоем впереди. Любовь Степановна с Соломней и Ивасиком шли следом. Торопились. Вокруг было совсем тихо, не верилось, что фронт так близко. Сырая ночь шелестела дождем. В голых кустах торчали зенитки, нацеленные в темное осеннее небо.

Мироненко понимал: часовые вряд ли станут стрелять по ним без особой нужды. Фронт близко, каждый выстрел может вызвать огонь из-за Днепра. И все-таки лучше не искушать судьбу. Мужчины громко разговаривали, чтобы дать знать часовым: идут люди не крадучись, имеют пропуски и никого не боятся.

Зеленые бумажки, перечеркнутые черной полосой, действовали безотказно. Чуть ли не на каждом углу из-за забора появлялся солдат, тихо командовал: «Хальт!» — и направлял на них оружие. Потом светил фонариком на зеленоватую бумажку и спрашивал, куда идут. Мироненко отвечал, что эвакуируются к родственникам в село. Этого

было достаточно. Только один раз, уже при выходе из города, немцы обыскали их мешки и отняли кусок сала, который нашли у Соломин.

За городом было спокойно. Мироненко вел их куда-то на север, вдоль Днепра. Любовь Степановна молча ступала своими резиновыми сапожками, которые заставил ее надеть Мироненко. Она не прислушивалась ни к живой беседе мужчин, ни к отрывистым ответам Соломин на сонные вопросы десятилетнего мальчика. События двух минувших дней, принесшие ей столько тревог, остались позади, но не давали покоя.

После догадки, которую высказал муж, увидев записку от Ксюши, Любовь Степановна не сомневалась: дочь ее нашла свое место в борьбе. Но теперь она понимала — и Мироненко, и даже Клавдия Харитоновна были не только теми, за кого она их принимала. Не только обычным слесарем, терпеливо работавшим в немецких мастерских, не только послушной канцеляристкой, которая покорно зарабатывала свой оккупационный хлеб. «Получить пять пропусков, да еще в одни руки! Может, они подделаны? Но в таком случае Мироненко в городе не один! Кто-то должен был напечатать эти бумажки, сфабриковать печать и подпись. А почему осталась дома Клавдия Харитоновна? Нет, не потому, что напечатали лишь пять пропусков, а не шесть! Выходит, только я,— рассуждала Любовь Степановна,— я да мой муж были во всем доме слепыми... За два долгих года плавания по темному морю беды и нужды, которое заливало и топило всех, лишь мы с ним по-настоящему не задумывались над происходившим... Мироненко откуда-то приносил серу, Клавдия Харитоновна — дополнительные карточки на хлеб... А мы брали и благодарили и ни о чем никого не спрашивали...»

Любовь Степановна слышала веселый голос мужа и радовалась: наконец он успокоился. Но теперь сама она чувствовала жгучий стыд. Прав был муж: вот как засасывает будничное, вот как ослепляет, если думаешь только о себе!

Утешилась она тем, что хоть и поздно, а все же поняла, что жила вслепую. И то, что она шла сейчас рядом с Мироненко и его женой этой опасной дорогой,— тоже утешало. Чувство внутреннего единства с этими людьми поднимало ее в собственных глазах, а тревожная неизвестность, ожидавшая впереди, несла с собой заслуженное искупление.

Они прошли километров десять и свернули вправо, в сторону Днепра. Идти было тяжело, особенно с непривычки. В полночь подморозило, лужи на дороге прихватило льдом, и резиновые сапоги казались лишними — можно было бы обойтись и без них. Но когда спустились в глубокий степной овраг, ледок стал проваливаться. Любовь Степановна опять мысленно поблагодарила Мироненко за то, что заставил надеть эти сапоги.

Овраг сбегал круто вниз. Идти приходилось цепочкой, след в след. Впереди шел Мироненко, последней — Соломиня. Похоже, что супруги заранее распределили между собой места, чтобы впотьмах никто не отстал. Наконец по сторонам зашуршали сухие камыши. Они стано-

вились все гуще, выше, сквозь них уже приходилось продираться. Ноги стали вязнуть, и вот перед глазами блеснул стальной простор залива.

Любовь Степановна удивилась, когда увидела, что здесь их ждут. Из чащи камышей вышли двое мужчин и стали тихо о чем-то говорить с Мироненко. Втроем они вытащили на чистую воду плот, потом принялись грузить на него связки осоки. Значит, придется куда-то плыть,— поняла Любовь Степановна. Смертельно усталая, она стояла в сторонке около своего мужа, держа в руках только свою медицинскую сумку.

Поплыли впятером. Те, кто их встретил, остались в камышах. Плот, высоко нагруженный осокой, похож на копну, подхваченную водой. Если кто-нибудь и заметит с берега, вряд ли подумает, что в копне люди. По Днепру теперь все время что-нибудь плывет. Однажды Любовь Степановна видела, как несло водой целый деревянный барак.

Плыли по течению без весел. Мироненко правил рулевым веслом.

— Все в порядке.— шепнул он Любове Степановне. — До рассвета еще далеко, доплывем.

Любовь Степановна не ответила. Только коснулась благодарно его руки.

Течение несло их медленно, вокруг чернела вода, сливаясь с пустотой низкого неба. Стояла тишина, лишь изредка вдалеке взлетала одинокая ракета. Где-то внизу, наверно возле плотины.

Восток еще не начал светлеть, когда плот вдруг развернуло, бросило назад. Мироненко выхватил из воды правило и принялся грести. Соломня взялась за весло, наваливаясь изо всей силы, борясь с течением. Но вот плот опять тряхнуло, он ткнулся во что-то твердое.

— Ты, Ярошенко? — тихо спросил Мироненко.

— Я,— ответил кто-то из темноты.

— Привязывай.

Мироненко взял на руки сонного Ивасика и, медленно переступая, перенес на край плота. Подождал, пока Ярошенко управится, и подал ему наверх мальчика. Потом по одному, осторожно перевел с плота остальных.

Любовь Степановна стояла на чем-то твердом, каменистом, похожем на стену старинной крепости. И только утром она поняла, что это за крепость...

21

Перед рассветом в хату, где разместились Харкевич и Хохол, постучал Голобородько. За год адъютантства у Шумакова вежливая осторожность стала его привычкой. Он подождал у дверей, никто не отвечал. Постучал еще раз и, скрипнув дверью, заглянул в светелку.

Утро с трудом пробивалось сквозь маленькие окна, заклеенные крест-накрест полосками газетной бумаги. Около стены еле угадывались две железные койки.

Голобородько пришел, чтобы разбудить Харкевича, но ступал на цыпочках, словно боясь потревожить его сон.

— Вас вызывает комдив,— тихо сказал он, коснувшись плеча Харкевича. Тот резко повернул голову.

— Ага... Сейчас...

Харкевич спустил ноги на глиняный пол. Он еще не совсем проснулся, глаза словно забило песком.

— Я сегодня лечу в Москву. Зайти к вашим?

Харкевич помолчал, потом тихо ответил:

— У меня в Москве никого нет.

Теперь он поднялся, стал надевать сорочку.

— Вы в Москву надолго?

— Нет, на несколько часов. Буду в Уфу пробираться.

На другой постели заскрипела железная сетка. Хохол быстро повернул к ним лицо.

— В Уфу? — спросил он. — Может, опустите письмо?

— А зачем опускать? Могу и вручить.

— Нет, заходить не нужно, а в ящик, если не трудно...

— Ну ясно, не трудно. Почему же!

Харкевич вышел в сени, было слышно, как он зачерпнул кружкой из ведра, хлопнул наружной дверью.

— А у вас в Уфе кто — семья?

— Да так... — неуверенно буркнул Хохол и тоже стал одеваться.

— Пишите письмо, передам.

Голобородько ушел, а Хохол поднялся, нащупал в кармане коробку «Казбека», закурил. Некоторое время он стоял посредине комнаты, глубоко затягиваясь пахучим дымом, словно не знал, что делать, потом снова вернулся к своей постели и сел.

Просьба к Голобородько вырвалась у него совсем неожиданно. Он уже давно не писал Ане и от нее тоже не получал вестей. Знал только, что Аня в Уфе — из неожиданного письма от соседа профессора в Ленинграде.

С тех пор как погиб Андрийко, Хохол виделся с женой два раза, а может, три. Смерть единственного сына, гибель маленького остроглазого и смышленного мальчишка погубила его счастье. Нить оборвалась. Маленькое тельце лежало на постели, кровь еще медленно стекла по бледной щеке. Когда машина ударилась о телеграфный столб и ветровое стекло, выстрелив, разлетелось на мелкие брызги, один из осколков угодил мальчику в висок. Авария была бы не так уж и страшной, если бы не этот случайный осколок... Отца ведь даже не задело, даже сняжка не заполучил.

И главное — Аня предупреждала: ребенка брать с собой не стоит. Ну что будет делать мальчик на рыбалке? Эта страсть ее счастливо миновала. Да к тому же целый день жариться на солнце — такое может придумать только мужчина!

Но Хохол настоял. И вот — несчастье. Он рыдал, как малое дитя, хотя до этого не плакал никогда. Он ползал на коленях перед женой;

заливаясь слезами, убитый горем, раздавленный своей страшной виной перед Аней и своим единственным ребенком.

Со временем горе улеглось. Аня пришла в себя, начала ходить на работу. Только тише стала. И сам он теперь все чаще уходил в себя, в свои думы.

И постепенно возник, тенью стал между ними холодок отчуждения. Внешне все было как раньше, но Хохол с ужасом чувствовал, что Аня отдаляется. Попытался приблизить ее, старался быть веселым, внимательным. Но с каждым днем все больше убеждался: жена его стала другим человеком, совсем другим, чужим...

Однажды, будучи в командировке — в Архангельске, он получил от жены короткое письмо. В нем не было ничего особенного. Но почему-то Хохол вдруг понял: это — конец.

Он остался в Архангельском порту, работал в группе водолазов. Писал Ане длинные письма, но она не отвечала...

Потом, уже во время войны, он как-то оказался в Ленинграде, пошел в больницу, где когда-то работала Аня. Теперь это был военный госпиталь.

Она вышла к нему, вскрикнула и обняла. Но это не были объятия любящей жены. Аня вытерла слезы, набежавшие на глаза, они поговорили несколько минут — дольше не могла, ее ждали больные. Эта встреча не прибавила им желания начать все сначала, поселиться в своем доме и попробовать забыть все, что было.

Потом он как-то зашел еще раз и опять не застал ее дома. А уже в дни блокады встретил на улице с каким-то военным врачом. На углу они попрощались, и Хохол проводил ее почти до самого дома. Но в дом Аня не пригласила Хохла. Она показалась ему какой-то возбужденной, раздражительной: не удивительно — война. Будто случайному знакомому, она быстро подала мужу руку, слабо пожалала и ушла в подъезд.

...Хохол снял с гвоздя планшет, достал тетрадь, вырвал несколько страниц и начал писать. Он и сам не мог бы объяснить, зачем это делал. Но так же, как тогда, когда он приехал из Архангельска и не мог пропустить случая увидеть Аню, так и теперь почему-то не мог не воспользоваться поездкой Голобородько в Уфу.

22

С той минуты, как у Хохла возникло решение — передать письмо через Голобородько, жизнь его стала сложнее. Собственно, он ничего не решал — просьба нечаянно сорвалась с языка. И вдруг взволновала...

Александр Никитич ничего не знал об Ане. Может, ее давно уже нет в Уфе? А если она еще там — не вышла ли замуж?

Да, все могло быть. Но об этом он подумал уже позднее, когда Голобородько улетел. И все же Александр Никитич не жалел, что послал письмо. Нет, нет, он не ошибся, поддавшись живому порыву. Если Аня даже не ответит, он все-таки сделал то, что должен был

сделать. Захочет она его понять или нет, отвернется ли от него еще раз или примет его искренние чувства, он не жалеет и никогда не пожалеет о своем поступке.

День, когда Голобородько улетел в Уфу, оказался для Хохла тяжелым и ответственным. Вместе с двумя своими помощниками — Вариводой и Богатыревым — он должен был наладить водолазное снаряжение и обеспечить безотказную работу всех его частей. Надо было проверить давление запасных баллонов, подтянуть прокладки шлангов, а где нужно — вырезать и подогнать новые. Он понимал: эта работа отличается от той, которую ему приходилось выполнять прежде, — ни маневрировать, ни связаться с людьми, которые раньше всегда ждали наверху, ни всплыть на поверхность, если что-нибудь приключится, ни быстро вернуться назад — ни одной из этих спасительных возможностей в узкой и длинной потерне у водолаза не будет.

Старшина первой статьи Богатырев и сержант Варивода давно уже стали его помощниками. С Богатыревым он работал еще в Мурманском порту, и этот человек никогда не подводил. Невысокий ростом, но широкий в плечах, старшина в свои тридцать два года отличался крепким здоровьем. Нещедрый на слова и даже вялый внешне, он вместе с тем не раз удивлял водолазов твердостью и волей. Светловолосый, почти безбровый, он слушал внимательно и, если ему что-нибудь приказывали, пристально смотрел, будто старался вобрать каждое слово с помощью своего острого зрения, которое не слабело и на морском дне.

С Вариводой Хохол стал работать позднее, уже перед отступлением из Риги, когда им пришлось на рейде ремонтировать подводную часть подбитого эсминца. Сержант оказался толковым и тоже надежным помощником. Черный, со спутанным, будто проволочным, чубом, он скорее напоминал задиру студента. Он хорошо играл на гитаре, знал множество частушек, а если в доме моряков был вечер танцев, такого события нельзя было представить без тонкого, немного вертлявого, неугомонного Вариводы, который за вечер обязательно перетанцует со всеми девушками и каждую насмешит.

Хохол любил Вариводу — у него самого был такой характер. Но сегодня ему было не до шуток и не до песенок.

Сегодня и Варивода не узнавал Александра Никитича. Он с первого слова почувствовал, что контакта нет, и это поразило его. Но расспрашивать все-таки не решился и только искоса поглядывал на лейтенанта. Он даже несколько раз подмигнул Богатыреву, обращая внимание старшины на то, что с Александром Никитичем как будто не все в порядке.

Когда с водолазным имуществом покончили, ко двору, где они работали, подъехала полуторка.

— Дуйте, хлопцы, вдвоем, у меня еще есть дела в штабе, — сказал Хохол. — Я доберусь позднее.

Это удивило его помощников еще больше. Они понимали, как опасно ехать в машине среди бела дня на самую передовую, и то,

что Хохол посылал их одних, было необычно. Им приходилось не раз работать в опасных местах, под обстрелом, на глазах у вражеских наблюдателей, но в таких случаях Хохол никогда их не оставлял одних, да еще с водолазным имуществом, от которого зависела жизнь всех.

— Богатырев, ты — старший. В кузове баллоны с кислородом. Под пули не лезьте,— сказал им Хохол, но в его предупреждении слышалось беспокойство о чем-то другом.

Не ожидая, пока машина тронется, он повернулся и ушел в хату.

Харкевич уже был на плотине, и Хохол с удовольствием остался в светелке один. Не раздеваясь, лег на постель, укрылся с головой своей черной шинелью и закрыл глаза.

Да, жизнь сложилась плохо. С самого детства, с тех пор, как он помнит себя. Конечно, когда отец не вернулся с империалистической, а мать осталась с четырьмя малышами на руках, понимать еще трудно было, что к чему. Со временем, когда он пас отару Саливона Куца, узнал он, почем соль, но в том возрасте шкура зарастала скоро, даже когда Саливон, бывало, так отшмыгает кнутом, что кровь брызнет. Зато и радости перепали — особенно на пруду, где ребятишки и окрестили его «водолазом». За эти купели от Саливона влетало больше всего, черт бы его побрал.

Ну да детство как детство. У многих было не лучше. По-настоящему плохо стало значительно позднее, в то проклятое воскресенье, когда ушла Аня...

Хохол снова и снова перебирал в памяти подробности тех тяжелых дней, думал об Ане. Она его никогда не любила. Любящее сердце не может слепо обвинять и долго помнить зло. Ах, Аня, Аня! Можно быть жестокой, но о справедливости забывать не стоит. Жизнь и так не очень-то милует людей, нужно ли еще самим терзать и себя, и тех, кто нас любит?

В хате уже почти совсем стемнело, на маленькие окошки налегла ночь, в стекла сыпало дождем. Было тихо. Только изредка, далеко на западе, глухо рокотало, и глиняный пол чуть заметно вздрагивал, а потом ухало ближе, километров за пять. Наверно, Богатырев уже давно позвонил в штаб дивизии и сообщил, что они доехали благополучно. Если бы что случилось, кто-нибудь прибежал бы, сообщил. Надо сходить в оперативный отдел, узнать, но нет сил подняться. Странное, непривычное ощущение окаменелости всего тела, как будто в нем накопилась усталость за всю жизнь...

23

Если бы полковник Шумаков знал, что делал и как вел себя его адъютант в Уфе, то наверняка вышел бы из себя и прописал ему что полагается.

Он не терпел мальчишеского фанфаронства и с отвращением относился к людям, которые любят иногда попетушиться и сыграть не свойственную им роль.

Особая нетерпимость к душевной пустоте, к стремлению прикрыть свое ничтожество внешней мишурой появилась у Шумакова после возвращения из Испании и особенно после выхода из окружения в сорок первом году. Именно там он узнал истинную цену всему, что составляет существо человека. В дни, когда и сам он, и те, кто его окружал, попадали в отчаянное положение, вдруг выяснилось, что недавним героям не хватает мужества, а тихони и молчаливники прозядали беспримерный героизм.

Шумаков понимал, что война не кончится быстро. А чтобы хорошо командовать дивизией, надо все же по-человечески жить — хотя бы в узких и суровых границах, диктуемых войной. Понадобился человек, который принял бы на себя все второстепенное, все, что не связано непосредственно с потребностями военного хозяйства.

Таким человеком и стал для него Голобородько.

В безбровых улыбающихся глазах лейтенанта Шумаков сразу подметил скрытую хитринку, указывающую на незаурядную способность ориентироваться в житейских делах. Этого как раз и не хватало Шумакову.

Голобородько ни разу не подвел комдива. Распоряжения и приказы он передавал четко и вовремя. Но если дело касалось быта и личных удобств командира дивизии — здесь нередко приходилось его сдерживать. Особенно когда появилось много трофеев и адъютант начал слишком старательно заботиться о том, чтобы все лучшее и вкусное прежде всего появилось на столе его начальника. Здесь Шумакову не раз приходилось прибегать не только к мягким упрекам, но и к суровым угрозам.

Прилетев на Центральный аэропорт Москвы, Голобородько и тут не растерялся. Через четверть часа он уже знал, куда какой самолет полетит в ближайшее время, а среди них нашел один устаревший и смешной бомбардировщик, который отправляется на Уфу через полчаса.

...В Уфе Голобородько поразили хотя и слабо, но все же освещенные улицы. Он уже давно не видел незамаскированного электрического света ночью, а тут свет мерцал на столбах и казался ему куда более ярким, чем был в действительности.

Он переночевал в старенькой гостинице в центре города и, проснувшись утром, приступил к исполнению порученных ему дел. Прежде всего надо было навестить лежавшую в больнице жену Штукаренко Евдокию Львовну. Штукаренко говорил, что главное — выхлопотать жене хоть маленькую отдельную комнатку: она жила с сыном вместе с двумя другими семьями. И первым делом Голобородько отправился в горсовет.

В приемной председателя этого перенаселенного, забитого беженцами города толпилось много людей. Но полевые погоны Голобородько, его выбеленная солнцем гимнастерка и кирзовые сапоги сделали свое дело: его приняли вне очереди.

Председатель горсовета, молодой энергичный башкир с широким скуластым лицом, в такой же, как и у Голобородько, только совсем

новой гимнастерке, подпоясанной широким новым ремнем, встретил его не как обычного посетителя.

Люди, работавшие в тылу и выполнявшие важную, а иногда и очень тяжелую работу, почти всегда чувствовали что-то похожее на вину перед теми, кто воевал. Нечто подобное испытывал и председатель горсовета. Здесь, в Уфе, его военная гимнастерка и офицерский пояс были не только наиболее практичной одеждой военного времени, но и своеобразным оправданием того, что он не на фронте. Одежда как бы говорила посетителям вместо него самого: «Да, я в тылу, но тоже нахожусь на военном посту, работаю для общего дела».

Когда же приходил фронтовик, председателю казалось, что новенькая военная одежда его в чем-то уличает, выглядит неуместной декорацией. Он смущался, и из-за этого вежливая любезность была преувеличенной.

А Голобородько воспринимал все это как должное. Он понимал, что и во время войны в тыловом горсовете нужен председатель, и не винил его в том, что он не на фронте. Но то, что его принимали вне очереди, казалось понятным и вполне нормальным.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте, что там на фронтах? — прежде всего спросил председатель, ведя Голобородько под руку от самой двери к своему столу.

— Дела продвигаются. Теперь уже фрнцам капут! — уверенно ответил Голобородько, словно судьбу войны решал лично он и будто знал наперед, какой дорогой пойдет она к победоносному завершению.

— Да, погнали их здорово... — согласился председатель. — Ну а дальше?

— А что же дальше? — Похоже было, что проникновение в тайны будущего и умение угадывать ход событий — врожденная особенность Голобородько, которую он может без особого труда применить и на практике. — Дальше, я думаю, дела пойдут так... — Он поднялся с мягкого кресла и подошел к большой карте Европы и Азии, висевшей на стене. — Дальше, я полагаю, они попадут в такую ситуацию...

Здесь Голобородько осекся. С картами такого масштаба он не имел дела со школьных лет, на фронте ему приходилось орудовать лишь километровкой, которая вмещала небольшие клочки земли, занятые полком или даже батальоном. А сейчас перед ним расстилалась вся Европа, вся Азия с кусками других материков. Перед ним развернулся весь нескончаемый фронт от Белого моря до Черного.

Но Голобородько не растерялся. То, что годами вынашивали и разрабатывали огромные генеральные штабы, он решил вмиг.

— Дальше наши непременно ударят через Скандинавию и нависнут над врагом с правого фланга. На юге в это время наши фронты двинут через Одессу на Балканы. Враг, охваченный такими клещами, окажется в огромном котле. Ну, а оттуда выхода не будет, это ясно.

Он говорил без запинки, будто докладывал окончательно принятый и утвержденный план. В кабинете сидел уже не только председа-

тель, но и несколько его сотрудников, которые могли свободно войти к нему по неотложным делам. Они обступили Голобородько плотным полукольцом, ловили и запоминали каждое его слово. А он укодил все дальше и дальше в стратегические планы победоносного завершения войны.

Никто из присутствующих не сомневался в его словах. Всем хотелось, чтобы дело сложилось так, как говорил он, и потому люди легко принимали желаемое за действительность. Ведь говорил это человек, который только вчера вышел из самого горнила войны, а что на фронте известно все — в этом никто не сомневался.

План разгрома врага Голобородько сложил здесь и, удивительное дело, сам твердо поверил, что этот план — единственно возможный. Разумеется, он не решился бы выступить со своим докладом, окажись здесь Штукаренко или Шумаков. Он отлично понимал, что для них это было бы лишь веселым представлением. Но сейчас он — единственный и главный участник этого спектакля — все больше входил в роль, веря каждому своему слову.

О деле, ради которого он пришел в горсовет, Голобородько сказал между прочим, когда благодарные слушатели разошлись и остался лишь председатель. Выделить отдельную комнату было трудно, но фронтовик получил ордер. Заодно выхлопотал и рабочие карточки для семьи Штукаренко.

Прежде чем зайти к Евдокии Львовне, Голобородько разыскал врача, тот сказал, что опасность уже миновала. Больной надо еще полежать с неделю, и она выйдет совсем здоровой.

Евдокия Львовна ездила в лес, чтобы заготовить себе на зиму дров, и вдвоем с Вовой пилила деревья. Одно дерево падая задело ее комлем. Сначала опасались, что травма, которую она получила, серьезнее. Но рентген ничего плохого не показал, больной надо полежать еще с недельку, и она будет совсем здорова.

Возле постели Евдокии Львовны сидела какая-то женщина. Он передал больной письмо от мужа и небольшой пакет — несколько жестянок консервов, килограмм сахару и немного дешевых конфет для Вовы. Увидев все это, посетительница всплеснула руками.

— Боже, зачем вы это тащили?! — воскликнула она и расстегнула свою чернубурку, словно ей вдруг стало жарко. — До чего же люди не умеют устраиваться! Сказали бы, я прислала бы вам дров сколько надо, немного сахару, крупы. — Она весело и почти с восторгом начала рассказывать, что у нее на номерном заводе есть «кум» и, как только прибывают в заводскую столовую продукты, он ей сейчас же звонит, чтобы быстрее приезжала. И всего у нее в достатке, даже кое-что остается.

Голобородько все время смотрел на Евдокию Львовну. Она старалась скрыть свое возмущение.

Он тоже чувствовал, что краснеет. Ему было стыдно не только за эту женщину, но и за свое собственное поведение в горсовете.

Когда посетительница наконец ушла, Евдокия Львовна прочитала письмо мужа.

— Не говорите ему о моих приключениях в лесу. Не надо его беспокоить. — И, взяв из рук Голобородько карточки, вздохнула:

— Это рабочие, а я ведь учительница...

— Ничего, они действительно только на месяц,— виновато сказал Голобородько. — После болезни вам надо поддержать себя.

— Ну что же... — опять вздохнула она. — Пусть будет так.

24

Аня работала в госпитале, который помещался временно в одной из средних школ города. Точного адреса Александр Никитич не знал и потому указал на конверте лишь номер, под которым значился этот госпиталь в Ленинграде.

Голобородько пришлось зайти в военную комендатуру, чтобы узнать адрес госпиталя. Заместитель коменданта, рыжий усатый майор, спросил:

— А кто вам в госпитале нужен?

— Врач Хохол,— ответил лейтенант.

— Хохол... — начал припоминать майор. — Худенькая такая, черная?

— Не знаю. Никогда не видел. Я ей письмо привез.

— От кого?

— А почему это вас интересует? — спросил Голобородько.

— Да нет, я так... — смутился майор. — Просто она уже дважды ко мне заходила.

— Письмо от мужа.

— Гм... так, так... — размышлял о чем-то вслух майор, теребя кончик своего огненно-рыжего уса.

Голобородько это показалось странным, но майор больше ни о чем не спросил. Он полистал журнал, в котором были адреса военных учреждений города. Оказалось, что госпиталь помещается почти рядом с комендатурой.

Когда лейтенант подошел к зданию, где теперь разместился госпиталь, Аня уже ждала его на крыльце. Голобородько удивился: незнакомая женщина в белом халате сбегала к нему, будто дожидалась его давно, и, остановившись на последней ступени, спросила:

— Вы лейтенант Голобородько? Пожалуйста, письмо... Скорее!!

— Как вы узнали?

— Мне позвонили из комендатуры.

Она чуть ли не вырвала письмо из его рук, разодрала конверт и тут же стала читать. Голобородько видел: глаза ее жадно ловили смысл, перескакивая через слова и даже строки, лишь бы скорей дочитать до конца, понять, в чем дело.

Наконец Аня опустила руку с письмом, возбуждение ее потухло, и она тихо заплакала.

— Что с вами? Успокойтесь... — растерянно утешал ее лейтенант.

Женщина присела на ступеньку, посидела с минуту, вытирая слезы краешком халата. Потом поднялась.

— Извините... Я очень устала... — И тихо прошептала: — Значит жив...

— Как же! — обрадовался Голобородько возможности сказать ей хоть что-нибудь приятное. — Жив и здоров! Разве вы от него не получали писем?

Аня не ответила.

— Я сейчас вас ни о чем расспрашивать не буду, — сказала она, помолчав. — Меня ждет больной. Я должна идти. Может, вы забежите вечером? Я живу здесь, в госпитале: комната сорок один.

Встреча эта очень смутила Голобородько. Об отношениях Ани с мужем он ничего не знал и истолковал ее поведение как обычное беспокойство о любимом человеке, который живет в постоянной опасности и долго не пишет. Он и сам долго ждал писем из дому, пока не узнал, что село его оккупировано и письма оттуда ждать нет смысла.

Ну, вот он и сделал святое и благородное дело, установил между женой и мужем нарушенную обстоятельствами связь! Ему стало приятно, и теперь он считал своей обязанностью довести дело до конца.

Вечером он вторично появился возле школьного подъезда. Аня опять ждала его. Она и теперь была так же возбуждена и взволнована. Почему? Ведь письмо она уже не раз перечитала, муж ее жив, можно бы и успокоиться...

Ее беспокойство передалось и Голобородько. Он испугался: Аня, наверно, будет требовать от него рассказов и подробностей, а он почти ничего не знает о ее муже. Голобородько понимал, что водолазы обследуют морские глубины, но не имел никакого представления о том, что они делают на войне. Выслеживают вражеские подводные лодки? Ремонтируют подбитые корабли в приморских доках?

Аня схватила лейтенанта за руку и бегом потащила по лестнице.

Они вошли в маленькую квадратную комнатку, где когда-то жил школьный сторож. Над железным, покрашенным белой эмалью столиком висела тусклая электрическая лампочка. Аня посадила Голобородько на единственную табуретку, а сама несколько раз нервно прошлась по комнате.

Ему стало не по себе.

— Что же это, я сижу, а вы... неудобно как-то, — засуетился он под ее пристальным и тревожным взглядом.

Она не ответила и на это и вдруг спросила:

— Вы когда возвращаетесь?

— Когда? — Вопрос был неожиданным, и Голобородько не сразу его понял. — Ах, когда возвращаюсь? Завтра. Завтра попробую вылететь, если самолет будет:

— Я полечу с вами.

Этот внезапный переход от нервного возбуждения к твердой решимости так подействовал на лейтенанта, что он снова опустился на стул в полной растерянности.

— То есть куда вы полетите?

— На фронт,— ответила она уже совсем спокойно, но все так же твердо.

— Ну, а ваша работа в госпитале? — попробовал он возразить.

— Это я уже устроила. Я уже давно решила. Два раза обращалась — к коменданту и в военкомат. Не хочу здесь оставаться, не могу! Разве майор вам ничего не говорил?

Голобородько вспомнил усатого майора из комендатуры и понял, что, добиваясь отправки на фронт, она, наверно, не утаила от него истинных причин, заставивших ее об этом просить. Среди тысяч посетительниц заместитель коменданта города запомнил ее, — стало быть, причины были важными.

— Вы говорите, устроили... Значит, начальник госпиталя вас отпустил? Но ведь нужно назначение, а не отпуск...

— Вот, пожалуйста,— Анна Семеновна подала ему бумажку, подписанную заместителем коменданта города, тем самым майором.

Голобородько понимал, что ее решение серьезно и окончательно. Но ясно было и то, что муж ее не вызывал и что он, наверно, представления не имеет об этом решении. Ведь Хохол сам всего лишь несколько дней назад прибыл в их дивизию и вызывать ее не мог. А поскольку она давно не получала писем от мужа, то, наверно, просилась на фронт вообще, а не специально в их дивизию. Да и в удостоверении ничего не было и не могло быть сказано о назначении именно в семьдесят восьмую. Конечно, муж не ждал ее, и Голобородько не знал, как тот отнесется к ее неожиданному приезду.

Он попробовал возразить.

— Не знаю... может, в нашем санбате и места нет... Откуда вы знаете, что вас туда примут?

— Я врач, товарищ лейтенант. Там, где стреляют, врачи всегда нужны. — Аня улыбнулась, и Голобородько понял, что его возражение слабо и что ей ясно, насколько ее ответ сильнее.

— Ну что же, если хотите... — вынужденно согласился он. — Ваше дело.

Аня вдруг успокоилась и повеселела. Она подбежала к маленькому белому шкафчику и достала оттуда бутылочку спирта. Потом выбежала из комнаты и через мгновение вернулась с двумя тарелками и кружкой воды. Она быстро хлопотала вокруг железного столика, разводила спирт, резала сухую колбасу и хлеб. Голобородько удивленно следил за ее ловкими точными движениями. Она хлопотала возле стола и о чем-то, не умолкая, щебетала — это был совсем другой человек.

25

Любовь Степановна проснулась неожиданно и почему-то очень испугалась. Сердце стучало. Перед глазами стояла каменная стена, покрытая водорослями и мхом. Оглянувшись, Любовь Степановна поняла, что находится в руинах какого-то старого здания, — крыши над нею не было, вверху клубилось холодное осеннее небо.

Наверно, это испугало бы еще больше, если бы она не увидела мужа и Мироненко. Они сидели под серой полуразрушенной стеной и беседовали.

— Где мы? — заволновалась Любовь Степановна.

— Вы у меня в гостях, — отозвался Мироненко. — Вон там, — он показал рукой на пролом, в котором синела река, — там стояла хата, в которой я родился. А мы с вами в паровой мельнице Гната Трохименко, бывшего богатея.

Руины эти действительно напоминали остатки промышленного помещения. Наверно, это второй этаж. Перекрытие на каменных опорах — из них и до сих пор торчали толстые ржавые болты от каких-то машин.

— Ты лучше садись возле нас, да послушай, что Карпо Сидорович рассказывает, — сказал Кузьма Иванович.

Оказалось, что мельница эта стоит на окраине бывшего села. Когда построили плотину, оно было затоплено водой Днепра. Здание могли бы взорвать, но русло, где ходили пароходы, далеко, мельница не мешала. Верхнюю часть разобрали, а то, что осталось, — затопило. Руины простояли под водой почти десять лет. Теперь, когда немцы сделали в плотине пробойны и часть воды спустили, остатки мельницы показались опять на свет божий.

Карпо Сидорович провел в этом селе свои юные годы и ушел отсюда, когда начали переселять людей в новые дома, на Хортицу.

Любовь Степановна слушала Мироненко и думала о том, что в этом воскрешении затопленного села есть что-то неестественное, но символическое. Не так ли пытались сейчас враги воскресить давно омертвевшее прошлое, чтобы отбросить людей на десятилетие, а может, и на столетие назад?

В этих руинах скрывались восемнадцать человек — большей частью матери и дети коммунистов и государственных служащих. Были среди них и шесть мужчин. Им угрожала смерть, и Мироненко постепенно переправлял их сюда.

Карпо Сидорович почти до полудня рассказывал о себе и о своей жизни, рассказывал о том дне, когда настала очередь всем его землякам переезжать на Хортицу... Люди сошлись на площади возле мельницы, чтобы торжественно со знаменами и песнями двинуться навстречу новой жизни. Все выстроились в праздничные шеренги и, в последний раз оглянувшись на родное село, которое должно было исчезнуть под водой, начали подниматься вверх, на высокий берег Днепра.

И вдруг Карпо Сидорович заметил: нет его отца. Опять оглянулся и увидел его вот здесь, возле мельницы. Побежал назад, но старик наотрез отказался идти с людьми.

— Здесь мой батько помер, и дед, и прадед. Тут и мне помирать.

Карпо Сидорович понял — старика уговорами не взять. Ухмыльнулся и быстро пошел прочь. Пошел, не оглядываясь, на самую гору.

А когда сверху посмотрел, увидел: сдался старик! Постоял, подумал и зашагал, заковылял вслед за сыном...

Они просидели втроем почти до вечера, слушая рассказы Мироненко о давних временах. Днем здесь делать было нечего, даже ходить не разрешали. Приходилось вести себя осторожно, хоть до вражьего берега и далеко.

Когда начало смеркаться, подошел Ярошенко.

— Пора,— напомнил он Мироненко.

— Куда? — спросила Любовь Степановна.

— Дело есть. К рассвету вернусь,— сказал Карпо Сидорович.

Она подумала, что он поплывет назад, в Новое Запорожье, и хотела попросить, чтоб передал привет Клавдии Харитоновне.

— Вы домой зайдете? — спросила она.

— Другая у меня дорога. Домой нам пока ходу нет.

И ушел вместе с Ярошенко куда-то вниз.

26

Олег Иванович проснулся в шесть. Он хорошо выспался и чувствовал, что отдохнул как следует.

Вверху под самым потолком, округлым и высоким, как своды старинного подземелья, висела большая керосиновая лампа, тускло освещающая хмурое помещение. «Интересно,— подумал Харкевич,— как они подвесили ее так высоко?»

От мягкого рассеянного света было уютнее. Будто, подвесив лампу под самый потолок, кто-то заботился именно об уюте, устраивался надолго.

Чтобы немцы не увидели свет, отверстие закрыли плащ-палаткой. Бревна откатали под стены. Будто койки в казарме: поставить еще в головах тумбочки — и прощай война.

Ковальчук и Амирадзе вязали веревочные лестницы. Рядом лежала уже целая горка — все тщательно свернуты, чтобы удобнее было их нести. Верхолазам помогали еще человек пять — ребята лейтенанта Рудя, которым сейчас нечего было делать.

— Не так вяжешь, чудило,— послышался высокий голос Мухитдинова. — Ступеньки закрепляй морским узлом. Иначе сорвется.

— Смотри, пожалуйста, дамский закройщик знает и это! — бросил Амирадзе.

Кто-то тихо засмеялся.

— А он что — портной?

— Какой там портной,— приглушенно ответил Амирадзе. — Дочек настрогал целых три штуки. Только о них и говорит. Цыганков его так прозвал.

— А ты глупостей не повторяй,— обиделся Мухитдинов. Он был чуть ли не вдвое старше Амирадзе и служил с ним вместе в полковой разведке. — И человека разбудишь,— он кивнул в сторону Харкевича.

83

Все смолкли. Олег Иванович лежал с закрытыми глазами. Мухитинов показывал Амирадзе, как надо завязывать морской узел. Как он научился этому в Узбекистане? И моря ведь нет поблизости, и сам ничем на моряка не похож — маленький, ловкий, с жиденькими усиками.

— А цеплять за что будете? — спросил кто-то. — Есть там к какому черту привязывать?

— Привяжем... — буркнул Ковальчук.

— Может, обломки ферм и остались, — проговорил Рудь, — не знаю. Вы, на всякий случай, концы оставляйте подлиннее, может, пригодятся.

Конечно, Рудь знал плотину не хуже Харкевича. Года два ползал по ней когда-то тоже. Довольно скучная была работа — присматривать за тем, что и без присмотра могло простоять тысячу лет. Строили, слава богу, так, что не выкрошится, перестоят всех.

Харкевич поднялся, незаметно подошел сзади и взглянул через плечо Рудя.

— Пospали? — спросил Ковальчук.

— А вы? — вместо ответа спросил Харкевич.

— Мы что! Я как огурчик! — ответил Амирадзе.

— Петренко, подай человеку обед, — приказал Рудь, не оглядываясь на Харкевича. — Подогрей, если остыло.

— Есть! — долговязый рыжий повар засуетился возле котла.

— Не надо греть, — сказал Харкевич. отошел к бревну, на котором спал, набросил шинель на плечи.

Петренко подал ему котелок. Каша была холодная, но Харкевич ел с аппетитом.

— Ну, пора, — протянув котелок Петренко, сказал он Ковальчуку и Амирадзе. — Шесть часов, — наверно, совсем стемнело.

Ковальчук поднялся.

— Все будем брать с собой? — он кивнул на горку лесенок.

— А зачем все? Хоть бы за один бычок зацепиться! — ответил Амирадзе.

— Значит, по одной?

— Хватит и по одной, — тихо отозвался Харкевич.

— А вдруг повезет? Придется возвращаться, еще брать, — сказал Рудь, обращаясь к Харкевичу. — Идешь на день, харчей бери на неделю.

Что это — ирония? Или он не знает, что карабкаться придется по голой двадцатиметровой стене? Ох, товарищ Рудь, как мы с тобой будем здесь работать?

— Хватит по одной, — хмуро отрезал Харкевич. — Давай, полезли.

Он стал ногой на нижний крюк, потом подтянулся на руках и полез вверх.

— Пригасите лампу! — крикнул через плечо, уже вися на стене.

— Петренко, становись! — скомандовал Рудь.

Ага, вот как они ее подвесили к потолку! Петренко становится на плечи Ковальчуку, Амирадзе лезет еще выше и становится на плечи Петренко... Цирковой аттракцион!

Свет почти совсем погас. Харкевич уже навверху. Он отстранил плащ-палатку, открыл проход. Следом полезли Амирадзе и Ковальчук.

На дворе было совсем темно. Осенняя ночь сыпала мелкой крупой. Еще день-два — и ляжет снег. А это плохо: на белом фоне с Хортицы все будет видно.

Первый бык высился чуть ли не над самой головой. Достаточно вскарабкаться по пологому склону водосливного гребня — и стена возникает перед тобой, как неприступная гора. Харкевич полез первым. Здесь можно и на ноги стать, он знает — склон не крутой, но ползти все-таки безопаснее: не ровен час, поскользнешься и полетишь в пропасть.

Ребята ползли сзади — он слышал их дыхание. Вдруг вспыхнул прожектор, луч чиркнул по плотине где-то внизу. Все трое замерли и влипли в холодный бетон. На Хортице грохнуло, снаряд ударил с левой стороны и лопнул, как орех.

Наверное, это не по ним. Прожектор их не осветил. Теперь придется полежать, пока немцам не надоест светить.

Прожектор погас так же неожиданно, как и вспыхнул. Лучше переждать. Темень после мертвого света прожектора была еще чернее. Они полежали минуты две, потом Харкевич пополз. Ковальчук и Амирадзе ползли следом — он снова услышал дыхание Ковальчука близко, почти над самым ухом.

Наконец склон кончился, началась ровная площадка. Глаза понемногу привыкли к темноте, уже выступила из мрака серая стена быка и даже блеснул тихий плес Днепра в верхнем бьефе. Как низко стоит там вода! Не таким ли был Днепр в давние времена, когда еще плотины не было и он мирно бежал между двумя гранитными скалами, мимо древнего Кичкаса?..

Харкевич потрогал рукой холодный бетон быка, словно приласкал старого знакомого. Ребята тоже ощупывали поверхность, но как-то деловито, не так, как он. Они просто изучали очередное препятствие, которое должны одолеть. У них не было связано с плотиной ничего такого... Ни двух лет работы, ни родных на том берегу... Хорошо, если ты ничем подобным не связан — знай делай свое дело. На финской он чувствовал себя проще... Хотя воспоминания беспокоили и тогда. Правда, не так...

— Что это за трос? — тихо спрашивает Амирадзе.

И правда, с вершины быка свисает стальной трос. Странно, Харкевич помнит, здесь не было никакого троса.

— Черт его знает... — отвечает он сам себе.

— Может, это немец спустил, чтобы я по нему влез навверх? — пробует шутить Ковальчук.

— А сам навверху сидит и ждет тебя, — отвечает в тон ему Амирадзе, но в голосе его нотка тревоги.

— А ну, пустите. — Харкевич нащупывает стальной трос и водит по нему пальцами, как слепой. Откуда он здесь?

— Давайте попробую, — предлагает Ковальчук.

— Лучше я — я легче, — возражает Амирадзе.

— Он и тяжелого выдержит.

— Разве я об этом. Мне легче лезть.

— А почему легче? — Ковальчук будто обиделся.

— Амирадзе, давай! — приказывает Харкевич. — Пробуй.

Ковальчук подчиняется. Он берется своими большими, сильными руками за конец троса, натягивает его, старается отдалить от стены. Амирадзе обхватывает трос ногами и повисает на руках, потом ноги подталкивают его, и вот он уже над головой Харкевича. Еще одно энергичное движение, еще...

Похоже, с этим тросом им повезло. И конечно, никого там наверху быть не может, никто их не ждет. Немец не дурак — сидеть там на тычке и ждать, когда сыщется такая обезьяна, как Амирадзе!

Амирадзе двигается, порывисто бросает вверх свое щуплое, но жилистое тело. Чувствуется, что он неспокоен. Почему? Вдруг он вскрикнул и повис на одной руке — другая почему-то сорвалась.

— Ты что? — пугается внизу Ковальчук. — Держись.

— Черт... — ругается Амирадзе сквозь зубы. — Трос гадостью какой-то намазан. Скользкий... — Его высокий голос прорывается сквозь глухой гул воды, долетающий снизу.

— А ты не спеши! — Харкевич, запрокинув голову, следит за Амирадзе. — Крепче берись, а потом лезь.

Амирадзе снова обвивает трос тонкими ногами, берется выше и пробует подтянуться, но рука его скользит по стальным извилам.

— Намазано чем-то!.. — кричит он вниз. — Рука соскальзывает!

— А ты ногами, ногами в стену упрись, — кричит Ковальчук, — а руками — за трос! Мы его дальше от стены оттянем, слышишь? — И обращаясь к Харкевичу: — А ну, давайте вдвоем!

Они повисают на тросе и натягивают его, как струну. Амирадзе, упиравшись в стену ногами, пробует сделать шаг, другой, но руки уже вымазаны какой-то гадостью, не держат. Еще миг — и Амирадзе срывается вниз. Почти у самого подножия быка ему удается схватиться за трос, и он задерживается.

Амирадзе медленно спускается на гребень, он испуган и обессилен, еле стоит на ногах.

— Что за черт? Покажи руки, — говорит Харкевич.

Амирадзе тяжело дышит. Ладонь вся в крови. Кровь выбивается из-под толстого слоя какого-то густого масла. Харкевич нюхает: солидол.

— Вот как он нас бьет, сука: солидолом! — Не разберешь, Ковальчук иронизирует или правда верит, что немцы догадались специально намазать трос.

— Возьми шапку у Амирадзе и попробуй ты, — говорит Харкевич Ковальчуку. — До солидола долезешь, протирай шапкой трос и лезь дальше.

— У него своя шапка есть,— недовольно огрызается Амирадзе.

— С открытой головой наверху простудится,— замечает Харкевич. Ковальчук сбрасывает шинель и снимает шапку с головы Амирадзе. Тот еще не совсем опомнился, дышит так, будто взял дистанцию по марафонскому бегу.

— Только вы вдвоем натягивайте ту же,— говорит Ковальчук. — Ну как ты, Сандро, оклемался?

Амирадзе молча поднимается, отходит от стены, возле которой отдышал, и берется за трос. Бедняга измучён, пользы от него мало. Вдвоем с Харкевичем они повисают на стальной струне и изо всех сил тянут ее подальше от стены. Ковальчук лезет по-своему — как муха: ногами упирается в стену. Но чем выше, тем труднее: наверху трос подходит к стене, и массивному Ковальчуку тесно. Приходится лезть по способу Амирадзе: обвивать трос ногами.

Наконец Ковальчук останавливается — солидол! Отдувается, вытирает трос и пробует продвинуться выше.

Амирадзе тревожно следит за Ковальчуком.

— Я тебе выпрошу на складе новую шапку,— утешает его Харкевич.

— Чихать мне на нее. На той стороне с немца сдеру.

Вдруг трос вздрагивает. Оба высоко запрокидывают головы, изо всей силы налегают на него. Ковальчук медленно ползет вниз. Руки крепкие, а все же ползет. Наконец задерживается и замирает, опять зацепившись за сухое.

Харкевич отпускает трос, отходит от стены и смотрит вверх.

— Ну что?

Ковальчук машет: мол, скользко, отдохну — попробую еще.

— Слезай,— решительно командует Харкевич.

Ковальчук, видно, понял приказ, но колеблется.

— Слазь, ни черта не выйдет!

— Как это не выйдет? — спрашивает Амирадзе, и Харкевичу становится не по себе.

— Надо подумать, надо перехитрить солидол,— говорит он, словно оправдываясь перед Амирадзе, и машет вверх: — Слезай!

Ковальчук медленно спускается на гребень.

— Только шапку вымазал,— ворчит Амирадзе. Шапка вся в масле. Амирадзе замахивается, чтобы швырнуть ее вниз.

Ковальчук хватается его за руку:

— Вот дурило! В бензине пополощешь, и будет как новая.

Втроем они садятся под стеной, чтобы отдохнуть. «В бензине,— соображает Харкевич. — Бензин! Трос тоже можно вытирать тряпками, намоченными в бензине...»

На Хортице вспыхивает прожектор, теперь уже луч достает почти до них. Все трое влипают в стену и — ни звука: как будто прожектор имеет не только глаза, но и уши. Луч перебирает быки, будто клавиши гигантского рояля. Харкевичу кажется даже, что он слышит монотонную гамму, которую огненный палец выстукивает на бетонных быках.

Прожектор уже ощупывает середину плотины, он приближается к басовым клавишам, на которых играют левой рукой. И правда — что-то бамкнуло басом, потом еще раз, еще... Это немцы снова влепую ударили из пушки. Похоже, они боятся заснуть и подбадривают себя. Трижды бамкнуло, и трижды где-то на левой стороне треснули гигантские орехи. Потом прожектор погас, и басовитый голос оборвался. Что-то посыпалось вниз, будто с высокой горы катились в долину мелкие камешки...

— Будем возвращаться, — Харкевич поднялся.

— Значит, ни с чем, — голос Ковальчука звучал разочарованно и немного смущенно.

— Ни с чем и без шапки... — процедил сквозь зубы Амирадзе.

— Да я тебе сам ее выстираю в бензине, чудило!

Харкевич пополз вниз по пологому склону. Бензин... Правда. Ковальчук здорово это придумал: бензин! И побольше тряпья, чтобы чаще менять. Тогда можно будет протирать насухо.

Они спускались вниз медленно, как лошади по ступенькам. Окачивается, вверх легче, чем вниз.

— Как там твои руки, Амирадзе?

— До свадьбы заживут! — пошутил Ковальчук и вдруг почувствовал, что шутка его неуместна. — Кровь еще идет? — сочувственно спросил он.

— Давай, давай, — огрызнулся Амирадзе.

Дальше было легче: они сползли с наклонной поверхности и осторожно пошли по бетонному карнизу до самого входа в их укрытие. Там еще никто не спал.

— Ну что, не говорил я, что лесенок не хватит? — с издевкой воскликнул лейтенант Рудь, увидев, что взятые ими с собой веревки болтаются за плечами у Амирадзе. — Вот и пришлось возвращаться за новыми.

Никто не ответил. Все трое были угнетены, хмурились.

Харкевич молча шагнул к телефону.

— Соедини с подполковником Штукаренко, — тихо сказал он телефонисту, и тот поспешно стал крутить индуктор, вызывая штаб.

27

Звонок Харкевича из потерны, а главное, его глухой, упавший голос обеспокоили Штукаренко, и он решил сейчас же отправиться на плотину. Он мог вызвать Харкевича к себе, но хотелось самому побывать на месте.

Штукаренко послал шофера за Хохлом. Через десять минут Александр Никитич явился и можно было отправляться.

Первая неудача группы Харкевича убедила Штукаренко, что волазы, которых собирались пустить в нижнюю потерну позднее, должны немедленно начать свои действия — параллельно с группой Харкевича. Время шло, рубильник держали в руках враги, когда они

вздумают включить его — угадать трудно. Выходит, надо спешить, надо выиграть время.

Небо сеяло мелким дождем попеременно с недотаявшим снегом. Зубчатые скаты газика вырывали серые комья мерзлой земли и швыряли далеко назад, на мокрую дорогу, словно отбиваясь от черной тьмы, что бежала следом за машиной. Далеко впереди, над верхним бьефом Днепра, изредка вспыхивали немецкие ракеты, и ночь на минуту полнилась зеленоватой мглой. Когда ракета, достигнув воды, гасла, вокруг становилось еще темнее и ехать приходилось сквозь смоляную стену ночи почти на ощупь.

Штукаренко сидел рядом с шофером. Хохол — сзади. Оба молчали, и каждый из них не ведал о том, что мысли другого прикованы к одному и тому же городу на востоке, куда улетел Голобородько. Лейтенант уже знал то, чего они еще не знали и что тревожило их обоих. Утром он двинется назад. Что привезет — неизвестно.

Наконец машина выскочила с моргуновского грейдера на мостовую, что вела к Новому Запорожью. Газик затрясся, словно стращивая с себя налипшую грязь.

Штукаренко не удивлялся, что сам он молчит. Если человек поглощен мыслью, не хочется разговаривать. Но Хохол, как он успел подметить раньше, человек открытый и даже веселый; может, он стесняется первым заговорить? Или волнуется перед началом опасного путешествия под водой на вражеский берег?..

— Закурите? — Штукаренко протянул назад коробку «Казбека».

— Благодарю. — Хохол взял папиросу.

— Наверно, водолазы в основном некурящие?

— Вообще — да.

— А в частности?

— У меня легкие крепкие, выдержат, — сказал Хохол, избегая прямого ответа.

— Интересная работа, хоть и...

— Что?

— Да все-таки для существа, лишённого жабер, непривычно.

— Работа безопаснее многих — особенно на войне. На глубину нырнул, и ищи ветра в поле.

Штукаренко не понял, что имел в виду Хохол: нырнул — и в безопасности или нырнул и не вынырнул? Но уточнять не хотелось, да и газик дребезжал и подпрыгивал — мешал разговаривать.

На востоке блеснуло и бухнуло. Сразу послышался низкий свист, потом между днепровскими скалами прокатился стон, гулко, как весенний гром. Снаряд разорвался недалеко, на пустыре, близ крайнего дома, на миг осветив мертвую окрестность. Следом ударило трижды, и звуки повторились в той же последовательности, только громче, грознее.

— Придется оставить наш кабриолет и пересесть на одиннадцатый номер, — крикнул Хохол, стараясь перекрыть грохот.

— Придется, — согласился Штукаренко и выскочил на мостовую.

Возле шлюза их ждал лейтенант Рудь, чтобы, как условились по телефону, провести в потерну. Рудь все время мялся, он думал, что подполковник придет один и можно будет говорить о деле, которое его беспокоило. Но мешал Хохол, разговор приходилось откладывать. Это его раздражало, он подавленно молчал.

Возле самого Днепра почти не стреляли. Изредка доносилась с правого берега очередь какого-то одинокого пулемета. Штукаренко и Хохол пригибались к земле, зная, что слепая пуля — дура и опасна именно своей слепотой. Рудь шел не пригибаясь, и, заметив это, Штукаренко сердито крикнул:

— Лейтенант, не учи меня храбрости!

И Рудю пришлось тоже пригнуться, но он сделал это неохотно, будто пересиливая себя.

В потерне было совсем тихо. Даже шум воды, что неторопливо переливалась через выщербленный верх плотины, не долетал сюда. Журчали только струйки, кое-где прорываясь из трубы мимо плотной затычки.

Бойцы спали — одни на бревнах, другие прямо на полу. Лампа тускло освещала их, и казалось, что это луна светит в каменное ущелье, на дне которого остались убитые воины после недавнего побоища. Харкевич сидел в углу. Он не поднялся, когда в потерну спустился подполковник, а за ним Хохол с лейтенантом Рудем.

Штукаренко постоял на середине, почти под самой лампой, обвел помещение внимательным взглядом и подошел к Харкевичу.

— Ну, как?

Только теперь Харкевич поднялся.

— Плохо.

Штукаренко положил ему руку на плечо, заставил сесть и опустился рядом на колоду.

— Безнадёжно?

— Не знаю. Но что плохо — то факт.

— Что же будем делать?

— Попробуем еще раз.

— А что, если дальше тросов не будет?

— Это меня и беспокоит... Но, чтобы увидеть, как там дальше, надо все-таки первый бык одолеть.

— Логично.

Штукаренко согласился, но логика его не успокоила. Дальше, наверно, будут новые препятствия, и если на каждый из тридцати быков тратить целую ночь...

— Давайте поговорим откровенно, товарищ Харкевич, — начал Штукаренко. — Вы верите в то, что перейдете на правый берег?

— Я должен верить.

— Вера не обязанность. Она — зов души.

— Обманывать себя не могу.

— Это — ответ?

— И все-таки надо перейти! — Харкевич сказал это чуть шепотом, но в словах его слышалась какая-то удивительная сила,

Штукаренко внимательно посмотрел на него. Он не ожидал такой страсти, не думал, что этот неразговорчивый человек с такой болью вдруг откроет свои чувства.

— Вот что, друже,— сказал Штукаренко, помолчав. Он положил руку на колено Харкевича, словно собираясь высказать ему свое сочувствие в том, чего не знал и о чем даже догадаться не мог. — Если нет уверенности... Если известно только, что надо, то, может, лучше мне доложить, что дело не совсем верное?

— И что тогда?! — быстро взглянул на него Харкевич.

— Командование решит. Война есть война. Может, оно найдет оперативные средства избежать катастрофы на плотине. Ведь потеряем время, а потом все равно придется...

Харкевич его понял. Время пройдет в напрасных попытках тайно форсировать неодолимое препятствие, а потом все равно придется пустить в дело стрелковые полки. А плотину взорвут, и кровь прольется напрасно...

Он так взглянул на Штукаренко, будто лишь сейчас понял до конца, какая ответственность на нем лежит. И правда, в этот миг простая мысль о долге переросла во что-то более глубокое и значительное. Сейчас он не думал ни о Ксене, ни обо всем, что связано с нею, ни даже о том, что когда будет идти к ней через плотину, то может вообще не дойти живым. Горячая волна толкнулась в грудь, забила в висках с такой силой, что Харкевич испугался — сейчас Штукаренко услышит этот стук!

— Нет, нет,— ответил он, и голос его звучал отчужденно, но спокойно. — Прошла только одна, первая ночь. И то — не вся.

«Жаль и первой, если напрасно», — хотел сказать Штукаренко, но смолчал: он понимал, что эта первая ночь дорого обошлась Харкевичу и такое замечание обидит его.

Штукаренко снял руку с его колена и резко поднялся. Он прошелся до другого конца бетонного каземата, где стояли Хохол и Рудь. Хохол о чем-то спрашивал. Рудь отвечал рассеянно — его больше интересовала беседа между Штукаренко и Харкевичем, но подойти он не решался.

— Вызвали своих орлов? — обратился Штукаренко к Хохлу.

— Вызвал. Скоро будут.

Крепко сцепив пальцы обеих рук за спиной, Штукаренко снова шагнул к Харкевичу:

— Я хочу вас спросить, извините, прямо в лоб. Вы на советскую власть не гневаетесь?

Харкевич посмотрел в глаза Штукаренко и ответил коротко и твердо, словно давно ждал этого вопроса:

— Нет.

Если бы Харкевич удивился или возмутился тем, что его спрашивают о таких вещах, Штукаренко, наверно, извинился бы и сказал, что имел в виду не то. Но Харкевич ответил так же напрямик, как был поставлен вопрос, и это порадовало Штукаренко.

И уже совсем по-деловому, почти без всякого перехода, Штукаренко продолжал:

— Надо использовать время до рассвета. Пройдите с водолазами в нижнюю потерну, пусть попробуют побултыхаться. Днем отдохните, а стемнеет — снова наверх.

— Хорошо,— ответил Харкевич и спохватился: — Слушаюсь!

Штукаренко заметил, как смутился он после этого гражданского «хорошо», и улыбнулся. Подошел еще ближе и положил обе руки на плечи Харкевичу, словно ятел обнять.

— Трудно, товарищ Харкевич, понимаю. Но такому человеку, как вы, не надо объяснять, что именно зависит сейчас лично от вас.

Это было сказано проникновенно и искренне, и сердце Харкевича переполнилось благодарностью к человеку, который не только понимал, но и чувствовал, что у него на душе.

28

Первого декабря 1939 года, за три дня до того, как Харкевича вызвали в военкомат, у Ксени был день рождения — ей минуло двадцать пять.

В этот день Олег не поздравил Ксению — просто забыл. При других обстоятельствах она, пожалуй, слегка обиделась бы, но сейчас ее беспокоило другое.

В последнее время Олег был, что называется, не в своей тарелке. Что-то с ним происходило, но что именно, трудно было понять. Присматриваясь, Ксения не раз замечала, что он чем-то подавлен или, может быть, озабочен.

У нее не было оснований искать причину в себе. И Ксения удивлялась: неужели ему не стало бы легче, если бы он открыл душу близкому человеку? Неужели то, что мучит Олега, касается только его? Да и что может его мучить? Неприятности со стихотворением миновали, о них уже можно было забыть... Сам он за целый год, кажется, и не вспоминал о них ни разу — ни дома, ни в отпуске, когда они вдвоем ездили в Гурзуф... Что же случилось, почему он так переменялся?

В те дни в газетах писали о финской войне. Шла она далеко на севере, и слабые отзвуки ее сюда почти не доходили.

Но какой малой ни была бы война и как бы далеко ни гремела, все, что она с собой несет, касается каждого. И поневоле начинаешь искать свое место в борьбе, даже если уверен, что лично тебе воевать и не придется.

Харкевич не придавал большого значения этой войне. Но именно в связи с нею и ожила в его душе недавняя боль, которая почти заглохла. Он ходил на работу, вечером возвращался домой, иногда шел в кино или садился за книгу, ел, пил, спал, то есть делал все то, что делал и прежде, но сейчас какая-то частица его души жила самостоятельно, независимо от его поступков, жила напряженно и встревожен-

но, словно предчувствуя недоброе и томясь этим предчувствием. Он спрашивал себя: что, если бы по собственной воле вызвался поехать на фронт,— доверили бы ему оружие? Или припомнили бы то стихотворение и все, что было с ним связано?

Он стал с болезненной чуткостью прислушиваться к разговорам, пристальнее присматривался к людям, которые его окружали, и с досадой отмечал, что кое-кто сторонится его. Как-то ему показалось, что в лаборатории, куда он зашел по делам, девушки-лаборантки вдруг таинственно умолкли, а когда он направился к выходу, стали перешептываться. То же самое заметил он, когда встретил на крыльце управления Рудя с двумя сотрудниками, работавшими на пульте. Они, как ему показалось, тоже примолкли, увидев его, и многозначительно переглянулись. Оскорбленный, Олег стал шарaxаться от людей, еще упорнее отмалчивался. Он не замечал, что своим поведением сам себя загоняет в темный угол, а кое-кому даже дает повод поглядывать искоса.

Ксению беспокоило это состояние. Она видела, что с Олегом неладно, но заговаривать с ним об этом боялась. Молчит,— значит, не хочет говорить, а допытываться — только причинить лишнюю боль. Этого Ксения не могла и не хотела делать.

Но как-то она все-таки отважилась. Вечером, вернувшись с работы, подсадила к мужу и положила ему руку на плечо.

— Что с тобой? Ты чем-то опечален.

Олег помолчал, потом осторожно снял ее руку с плеча, медленно поднялся, сделал несколько шагов по комнате.

— Опечалишься,— вздохнул он,— если на тебя посматривают, будто у тебя камень за пазухой и ты собираешься его запустить в своего ближнего...

— Что-нибудь новое произошло? — встревоженно спросила Ксения.

— Да нет... — буркнул Олег.

Ксения помолчала.

— Ничего не поделаешь, такое время,— сказала она. Ей хотелось спросить: «А ты не преувеличиваешь?», но она решила лучше не подвергать сомнению то, что его волнует. Ксения даже втайне обрадовалась: тревожит Олега лишь прошлое, нового ничего не произошло.

Но почему-то ее объяснение возмутило Олега. Он резко повернулся, крикнул раздраженно:

— Нечего сваливать на время! Не виновато оно! Это мы его определяем — люди!

Ксения сжалась. Зачем он говорит это ей? «Сваливать на время». Неужели думает, что ей неясно, в какое время они живут?! И кого он имеет в виду, говоря: «Мы»?

Тихо поднялась и вышла в кухню. Поставила чайник на примус: пора ужинать. Лучше виду не подавать — еще подумает, что обиделась. Ксения не терпела обидчивых людей, себя унижают и других ставят в неловкое положение. Да и о какой обиде может идти речь? Когда нехорошо на душе, человек может и вспылить, и обронить лишнее слово. Она стояла возле примуса и смотрела на синий ого-

нек, облизывавший чайник. «Время не виновато, это мы, люди, определяем его...» Почему ей вдруг показалось, что это камешек в его огороде? Верка Чубасова — вот кого это касается! Послушала тогда стихотворение Олега, умилилась, попросила разрешения переписать, а потом понесла в комитет со своими комментариями!.. Вот кто время поганит. Ну и такие, как Рудь. Этому только сюжет подавай, ораторствовать умеет.

Чайник вскипел, крышка задрезжала. Ксения погасила примус, и в кухне вдруг стало совсем тихо. Вот бы так же прикрыть какой-нибудь клапан и у себя в душе...

Утром в коридоре планового отдела зазвонил телефон. Ксения, проходя мимо, сняла трубку. Послышался голос Олега:

— Я звоню из военкомата.

Ксения удивилась:

— Почему ты оказался там?

— Чудак ты, Ксюша! Вызвали, вот и оказался. Берут в армию.

— Что это вдруг! — она заволновалась.

— Читай газеты.

Ксения молчала. Олег слышал в трубку ее дыхание.

— Я сейчас на плотину. Надо оформить документы, рассчитаться. Ну и попрощаться тоже. В пять приказано явиться с вещами.

— Сегодня?

— Да. Вечером отправляемся.

Ксения опять умолкла. Потом сказала:

— Подожди меня в военкомате, я сейчас прибегу.

Вечером она провожала его на вокзал. Было очень холодно. Олег в военном казался непривычно высоким и худощавым, светлые волосы смешно выбивались из-под новенькой ушанки, а солдатская шинелька отдувалась сзади, перехваченная кожаным поясом с медной бляхой, как у гимназиста со старой книжной картинки. Ксения мерзла в своей серой шубке кроличьего меха и тревожно посматривала на куцую шинельку Олега. Он едет на север, там наверняка еще холоднее... И все-таки Ксения была скорее растерянной, чем испуганной. На перроне собралось много призывников, их тоже провожали родные и знакомые, некоторые женщины плакали, но большинство не придавало особого значения отъезду мужей и сыновей. Многие из тех, кто сейчас уезжал, участвовали в недавнем освободительном походе в Западную Белоруссию и в Закарпатскую Украину и ничего — вернулись живыми! Разговоры эти слышны были везде. Ксения прислушивалась к ним, и растерянность ее была вызвана не важностью этой минуты, а вообще всем, что навалилось на нее за последние дни.

А Олег заметно ожил и повеселел. Здесь, на перроне, в вокзальной суете, он вдруг опять стал таким, каким был когда-то. Казалось, он даже рад был, что уезжает наконец. Но радовался он другому — просто почувствовал облегчение, убедился, что опасения, мучившие его все время, оказались неосновательными. Вызов в военкомат и внезапный отъезд на фронт снимали камень с его души и возвращали веру,

в людей и самого себя. Олег понимал, что едет не на прогулку, но чувство равенства со всеми было сильнее страха перед будущим. И он искренне улыбался и шутил и при всех обнимал Ксению, никого не стыдясь.

Ксения медленно шла с вокзала и чем ближе к дому, тем острее чувствовала тяжесть на душе. Вот сейчас войдет в свою комнату, а Слега не будет... И завтра, и через неделю, а может быть, даже и через месяц она все будет одна в комнате, а Олег не придет... И вдруг остановилась, пораженная неожиданной мыслью: ведь он уехал на войну! Слезы хлынули из глаз, Ксения побежала к дому. Не снимая шубы, бросилась на постель и горько заплакала.

И все же самое страшное в голову не приходило. Ни в этот вечер, ни позже она так и не подумала о том, что недели тоскливого ожидания растянутся больше чем на целый год и решат все по-своему — так, как не предвидели и не могли предвидеть ни он, ни она.

29

Ксения получила от Олега только две открытки — из Москвы и Ленинграда. В первой он писал, что побывал в Пушкинском музее и проехал несколько станций в метро, а в другой — короткой и взволнованной — сообщал, что через полчаса едет «дальше», но куда именно — не написал.

Больше Ксения ни одного письма не получила.

Сначала она удивлялась, но потом ею овладело отчаяние. По ночам невозможно было уснуть, в голову лезли страшные мысли. Ксения старалась отогнать их, убеждала себя, что все будет хорошо, и немного успокаивалась. Она перебирала в уме счастливые дни прошлого года, когда вдвоем с Олегом ездила отдыхать в Гурзуф. Вспоминала вечера, когда, вернувшись с работы, они оставались наедине, тихо сидели на диване, и каждый читал свою книгу, украдкой поглядывая на другого... И в душе снова подымалась тревога.

Отчаяние одолевало. Она внимательно вчитывалась в сообщения газет, прислушивалась к тому, что говорили по радио. Нет, не события на линии Маннергейма вызывали беспокойство, не с ними связывалось отсутствие писем: сообщения, как и раньше, были спокойными, голоса дикторов твердыми и уверенными. Но что-то неосознанное, что-то совсем неумовимое не давало спокойно заснуть.

Однажды она проснулась ночью перепуганная, ей приснилось, что на снегу лежит человеческое сердце, а какой-то солдат, весь в черном, стреляет в него из пистолета.

Ксения поднялась с постели и в одной сорочке, с незаплетенной косой села к столу и написала письмо матери Олега, в Харьков. Через несколько дней пришел ответ. Мать писала, что и она не получила от Олега ни одного слова и очень волнуется — ведь люди начали получать с Карельского перешейка извещения о смерти своих родных, ей известен уже не один случай.

Ксения встревожилась еще больше. Ночью не могла уснуть, а когда на миг забывалась, тотчас вскакивала и снова перечитывала письмо. Утром побежала в военкомат, и ей пообещали выяснить, где Харкевич и что с ним.

Через несколько дней пришел работник военкомата — майор. Когда он постучал в дверь, Ксения сидела на кровати и зябко куталась в шерстяной платок. Увидев майора, она сразу почувствовала недоброе — по его грустному лицу, осторожным движениям и робкому голосу поняла, что случилось несчастье. Ведь если бы с Олегом все обстояло благополучно, ее просто вызвали бы и сообщили!

— Что с ним? — еле слышно спросила она одними губами, не в силах подняться.

— Наберитесь мужества, — сказал майор.

— Говорите же! — воскликнула Ксения. — Говорите!

— Как ни тяжело, но я обязан вам сказать правду... — продолжал майор, и голос его дрогнул. — Ваш муж пропал без вести.

Ксения закрыла лицо руками и застыла в неподвижности. Майор говорил еще что-то, но она уже ничего не слыхала, оглушенная страшным ударом. Погиб. Олег погиб. Только это твердил ее мозг, будто в нем все время колыхалось эхо, повторяя слова, которые даже не были произнесены.

А потом прибыло письмо из саперного батальона, в котором Олег служил.

После страшного известия Ксения жила почти в беспамятстве. Сидела словно окаменевшая, устремив взгляд в одну точку. Хозяйка квартиры Клавдия Харитоновна дала телеграмму в Киев и вызвала мать, сбегала в управление и добилась для Ксени отпуска на две недели. В ожидании приезда Любови Степановны перенесла свою раскладушку в комнату Ксени, чтобы не оставлять ее одну. Ксения осунулась, лицо мертвенно побледнело, в глазах застыла темная пустота. Клавдия Харитоновна не утешала, не уговаривала, она молча ставила на стол еду и скорбно гладила светлую голову Ксени.

Опомнилась Ксения лишь через три дня, когда приехала мама. В первую же минуту горько заплакала. Клавдия Харитоновна даже обрадовалась: заплакала, — значит, станет легче. И в самом деле, выплакавшись, Ксения пришла в себя, засутилась, побежала в кухню за тарелками, чтобы покормить мать.

Любовь Степановна жила у дочери недолго: в киевской клинике ждали своего врача больные, надо было ехать. За это время она кое-как успокоила дочь, внушила ей, что жизнь продолжается и, как ни тяжелы жертвы, человек обязан жить. Настояла на том, чтобы Ксения поскорее выходила на работу.

Слух о том, что инженер Харкевич пропал без вести, быстро распространился по городу. Люди отнеслись к этому по-разному: мужчины, которым довелось воевать во время первой мировой, знали, что пропасть без вести — это еще не означает погибнуть. Среди них встречались и такие, что во время мировой войны побывали у врага в плену, и такие, что долго скитались и прятались по селам и лесам,

а потом возвращались к своим и продолжали воевать. О них до какого-то времени говорили, что они «пропали без вести». Так что возможно всякое — ведь никто не видел собственными глазами, что человек упал мертвым на поле боя, и никто этого человека не похоронил.

Но немало было и таких, кто всякое исчезновение бойца из своей части, и прежде всего пребывание в плену у врага, считал гибелью, к тому же более верной, чем настоящая смерть. Если человек просто погиб, да еще на поле боя, — здесь все ясно, никаких сомнений не возникает. Но если пропал без вести, — появляется бесчисленное множество вопросов, на которые никто не в силах ответить. А там, где существует неясность относительно человека, должна возникнуть и осторожность — так они считали.

И хоть Ксения не встретила никого, кто не сочувствовал бы ей лично, в беседах нередко возникала какая-то неуловимая неловкость, когда доходило до Олега Харкевича и всего, что случилось с ним. Фразы почему-то неловко обрывались на полуслове, каждая недомолвка звучала как таинственный намек.... Почти никого не удивляло то, что памяти рабочего железнодорожного депо Ивана Костюка, который погиб под Выборгом, посвятили специальный вечер, а Харкевича даже не вспоминали, словно стыдились или боялись чего-то...

Через несколько месяцев после известия об Олеге Ксению остановил на улице Петро Славчук. Она возвращалась с работы, медленно брела по тротуару почти под самыми стенами домов, глядя себе под ноги.

Славчук догнал, чуть коснулся ее руки. Ксения вздрогнула.

— Здравствуй, — сказал он тихо. — Прости, что я тебя оставил.

— А, это ты... Здравствуй.

— Можно мне проводить тебя до дому?

— Конечно.

Они шли рядом и молчали. На протяжении последних двух лет Ксения часто встречала Славчука то на улице, то в управлении. То, что произошло когда-то между ними, осталось далеко позади, и оба, казалось, о нем забыли. Но Славчук ни разу не был у них дома с тех пор, как неожиданное решение Ксени разлучило товарищей.

Ксения все же знала: хоть и нанесла она Славчуку когда-то сильный удар, он относился и к ней и к Олегу так же, как и раньше. Олега он не мог винить в том, что Ксения избрала именно его, да и она не была виновна в своей любви. Но и Славчук любил ее. Любит и сейчас.

Они сидели в комнате вдвоем и тихо говорили о разных мелочах. У Славчука хватило такта не вспоминать о главном, и Ксения оценила это, была ему благодарна. Он не так давно вернулся из командировки, побывал в Киеве и Москве. Ему было о чем рассказать, и беседа их, простая и непосредственная, отвлекала Ксению от тяжелых дум.

В дверь постучали.

— Пожалуйста,— сказала Ксения удивленно. Клавдия Харитоновны дома не было, а из посторонних она не ждала никого.

На пороге появился Сергей Рудь.

Его приход был для Ксении полной неожиданностью. Она растерялась и не знала, что сказать. Растерялся и Рудь: он не ожидал встретить здесь Славчука и на минуту задержался в дверях, тоже не зная, как поступить.

— Извините... Я вам не помешал? — пробормотал он.

— Что ты! Пожалуйста,— наконец опомнилась Ксения.

Но Славчуку в вопросе Рудя послышалась какая-то рассчитанная двусмысленность, и он с чуть заметным вызовом спросил:

— Ты считаешь, что мог помешать?

Рудь ничего не имел в виду и поэтому опять растерялся. Стараясь не обнаружить своей растерянности, он шагнул от двери и, не отвечая на вызов Славчука, обратился к Ксении:

— Можно присесть?

— Пожалуйста... Разумеется... — Ксения подала ему стул.

Неловкость, вызванная его появлением, становилась гнетущей, и все трое это чувствовали. И Рудь, и Славчук помнили давний разговор, состоявшийся когда-то в комнате Славчука и связанный именно с выбором, сделанным Ксенией. Сейчас между ними чувствовалась скрытая враждебность. Не знала об этом ничего только Ксения, и потому она заговорила о чем-то незначительном, лишь бы не молчать, развеять напряженность. Рудь обрадовался и стал рассказывать о новом секретаре комсомольского комитета управления, о том, что Анания Гаврилюка перевели на работу в райком, там у него хорошие перспективы продвинуться еще выше: парень замечательно держится на трибуне, имеет политическое образование и вообще хороший организатор.

Но карьера Гаврилюка сейчас не интересовала ни Славчука, ни Ксению, и Рудь это быстро понял. Опять залегло молчание, и он снова почувствовал себя неловко.

Наконец он сказал:

— Да, все это тяжело и больно... и главное — проклятая неизвестность,— он беспокойно поерзал на стуле.

Ксения подняла на него удивленный взгляд, а Славчук со злостью спросил:

— Что тебе еще не ясно?

— Если человек погибает на войне, хочется быть уверенным, что погиб он с честью,— ответил Рудь.

— А Олег, по-твоему, бесчестно погиб? — В голосе Славчука прозвучала угроза.

— Я этого не сказал,— огрызнулся Рудь. — Но неясность есть, она-то меня и беспокоит.

Рудь посмотрел на Славчука, наклонившегося вперед, будто готового броситься на него с кулаками, и поднялся.

— Ты Ивана Костюка знаешь? Ну того, что в турбинном зале слесарем работал... Он с Олегом в одном полку служил. Так вот Костюк рассказывал... — Рудь на мгновение умолк. — Погибнуть-то погиб, а вот как именно — не ясно.

Славчук не выдержал:

— Подлец...

— Ты считаешь человека подлецом, если он хочет знать, как вел себя человек на фронте?

Славчук не ответил и, хлопнув дверью, выбежал вон из комнаты. Ксения дрожала от стыда и возмущения.

А Рудь хотел бы, но не мог остановиться.

— Ты, Ксюша, извини, это тебе тяжело слышать. Но сама ведь понимаешь...

Ксения тихо заплакала. То, что Олег погиб, было для нее ясно. Неужели не все равно — как?

— Зря Славчук бесится, — сказал, помолчав, Рудь. — Если человека нет, хочется о нем думать хорошо. Но и с фактами надо считаться — все-таки мы комсомольцы.

Ксения молча вытирала глаза платочком. Ей неприятно было, что она выказала свою слабость именно при этом человеке, и старалась взять себя в руки.

— Извини, Ксюша, — тихо продолжал Рудь, помолчав. — Я не хотел тебя тревожить... Виноват Славчук. — Рудь еще с минуту постоял среди комнаты, нервно помял в руке свою кепку, и, не дождав-шись от Ксении ни слова, неслышно вышел.

Так и осталось неясным, почему он вдруг пришел, что ему, собственно, было нужно...

После этого вечера Славчук долго не заходил к ней. Не раз порывался — знал, как ей тяжело, и хотел поддержать своей дружбой и искренним словом. И все-таки не заходил, понимал, как могут истолковать его визиты такие, как Рудь.

Встречая Ксению на улице, он всегда спрашивал:

— Ничего не слышно нового?

— Ничего.

— Ты духом не падай, — убежденно говорил он. — Может, Олег в плену. Война кончится — вернется со всеми. А до того времени надежды терять нельзя.

Ксения грустно кивала, будто соглашалась, и, вяло улыбнувшись, прощалась.

Наконец война закончилась, фронтовики начали возвращаться по домам. Радуюсь победе вместе со всеми, Ксения и сама прониклась верой и стала ждать. Но прошел месяц, потом второй — Олега не было. Исчез, как видение, расстаял, как марево в степных даях... Пропал без вести...

А еще через год — в апреле сорок первого — Ксения вышла замуж за Славчука. Не могла жить на свете одна, не могла медленно тонуть в своем смятении. Ей нужна была поддержка — рука друга. Да и жизнь шла своей дорогой, а Ксения — жила.

Ступеньки в нижнюю потерну круто сбегали по узкому наклонному коридору, похожему на каменный колодец. Сверху казалось, что это ход в хмурое подземелье старого забытого замка, где когда-то в ожидании смерти изнемогали пленные рыцари, прикованные к стенам.

Перед тем как проникнуть сюда, Варивода и Богатырев проделали посуху долгий, тяжелый путь в своих водолазных костюмах. Чтобы снаряжение надежно работало под водой, надо было, по крайней мере перед первым выходом, приладить все как следует. Пришлось надеть резиновые костюмы еще на берегу — не спеша и при свете — и, стало быть, включить кислород, а потом вот так, во всей амуниции, и идти.

Но сложное и надежное снаряжение, рассчитанное на путешествие под водой, оказалось очень тяжелым и неудобным на суше, особенно здесь. Надо было осторожно подползти к шлюзу, потом по стене спуститься в самый шлюз, пройти по его широченному днищу и вскарабкаться наверх. Приходилось продвигаться ползком, когда вражеский прожектор вдруг оживал, лезть сквозь узкие окна во внутренние каналы плотины... Пот заливал глаза, водолазы дышали, как рыбы, выброшенные на песок, и, добравшись наконец до места, были измучены до предела, еле переставляли ноги.

Харкевич спускался впереди с электрическим фонариком в руке. Следом за ним шел Хохол, а Варивода и Богатырев тяжело ступали сзади. Крутая, почти отвесная лестница спускалась все ниже и ниже, чувствовалось, что вода Днепра стоит уже высоко наверху. Стены дышали холодом и темнотой речного дна, полного тайны и неожиданностей.

Тем не менее водолазы не испытывали особого волнения, которое наверняка охватило бы каждого, кому пришлось бы спуститься в это таинственное царство впервые. Они давно привыкли к своим подводным странствиям, и сейчас их могло беспокоить лишь то, что в баллонах, наверно, осталось уже мало кислорода. Что касается Харкевича, то он знал здесь каждый выступ, каждый поворот — в свое время не раз спускался в этот темный колодец — и теперь смело нащупывал ногами дорогу, будто ходил здесь лишь вчера.

Вдруг лучик фонарика блеснул на темной маслянистой воде, словно уперся в шаткий подвижный пол. Конец пути — лестница была затоплена.

Это уже обеспокоило водолазов: оказывается, надо сперва пройти под водой часть лестницы и только потом свернуть за угол, чтобы попасть в потерну. Значит, дорога не прямая, как они предполагали, и сигнальный провод по мере их продвижения будет тереться об угол стены. Это осложняло положение водолазов под водой — на сигнализацию рассчитывать едва ли придется.

Взвесив все, Хохол решил: спускаться должны не оба водолаза вместе, как он думал раньше, а лишь один, и притом Варивода —

он слабее. Богатырев должен остаться наверху, чтобы немедленно прийти ему на помощь, если порвется связь.

Варивода надел брезентовый пояс со свинцовыми грузилами и медленно пошел, осторожно ступая со ступеньки на ступеньку. Лучик фонарика в последний раз скользнул по его маске-шлему, и водолаз исчез. Только крупные пузыри воздуха с гулким клекотом вырывались на поверхность. Через несколько минут все стихло — Варивода вошел в потерну и свернул за угол.

Сигнальный провод держал в руках Хохол. И все больше и больше отдавал его, чувствуя, как дрожит провод от трения о бетонный угол потерны — словно леска, когда на крючке замирает, упираясь, крупная рыбина.

Все, онемев, следили за движениями Хохла, который медленно перебирал провод, по мере того как Варивода продвигался все дальше. Теперь в колодце светил уже не карманный фонарик Харкевича, а керосиновая лампа, которую они предусмотрительно прихватили с собой. Хохол отпускал провод осторожно, не давал ему свободно провисать, чтобы не запутался. И если случайно вырывалось из рук больше, чем надо, сейчас же его натягивал.

Проволока содрогалась, дергалась. И вдруг замерла. Похоже было, что Варивода остановился. Хохол подождал, надеясь, что сейчас водолаз потянет дальше, но провод не двигался, мертво застыл, как струна.

Хохол еще с минуту подождал, потом попробовал слегка потянуть на себя. Провод не поддавался. Если бы водолаз просто стоял на месте, он не мог бы не заметить сигнала и сам подал бы знак: мол, все в порядке. Видно, проволока намертво за что-то зацепилась, как Хохол и предвидел.

Харкевич и Богатырев следили за каждым его движением. Они ни о чем не спрашивали, все было и так понятно. Богатырев шагнул вперед в ожидании приказа. Хохол помолчал еще с минуту и коротко сказал:

— Давай!

Богатырев бросил Харкевичу свой сигнальный провод и быстро стал спускаться. Сразу же взялся за провод Вариводы — только он мог указать верный путь.

Оказалось, что потерна загромождена всяким хламом — обломками досок, разбитыми ящиками и бочками из-под цемента, всплывшими под потолок. На дне валялись погнутые рельсы, мотки железной проволоки, набросанные в воду нарочно, чтобы труднее было идти. Сигнальный провод Вариводы привел к железным козлам. За них он и зацепился. Дальше провод обрывался: или перетерся о железные козлы, или, может быть, Варивода вынужден был его оборвать — не сумел быстро распутать, а задерживаться не мог.

Богатырев ощупывал все вокруг, но Вариводы не находил. Борясь с плавающими препятствиями и спотыкаясь о железо, лежавшее на дне потерны, он двинулся дальше. Но сразу же и его провод запутался. Пришлось его оборвать и скорее идти вперед, искать това-

рища. Он понимал, что остается теперь без путеуказчика: возвращаясь в непроглядной тьме без сигнального провода, можно легко миновать коридор и не попасть на лестницу.

И тут Богатырев понял: именно так могло получиться с Вариводой! Возвращаясь назад без путеуказчика, Варивода мог миновать поворот, забраться слишком далеко в другую сторону и остаться без кислорода.

Богатырев не знал — идти дальше или возвращаться и искать Вариводу в противоположной стороне. Кислорода в баллоне осталось минут на десять. Вернуться и искать товарища у выхода — это все, что он мог сделать.

Всегда спокойный и уравновешенный, Богатырев сейчас нервничал. Минуту назад холод днепровской воды пробирал его насквозь, а теперь он вспотел и сразу как будто ослабел. Богатырев сделал несколько шагов назад и зацепился за что-то. Пришлось присесть и отодвинуть длинный рельс. Поднявшись, Богатырев стал расталкивать доски и ящики. Они цеплялись друг за друга, соединялись в сплошную плавучую массу, от которой приходилось отрывать отдельные части, чтобы продвигнуться.

Когда Богатырев наконец дошел до угла, где начинались ступеньки вверх, сил уже не было. В голове стучало, сердце куда-то провалилось — он терял сознание. Все время ему приходилось удерживать дыхание — экономить кислород, который мог пригодиться, если придется выносить на себе товарища. В глазах потемнело, мозг затуманился, и Богатырев безвольно всплыл под потолок.

Это продолжалось недолго, возможно только один миг. Глубоко вздохнув, он пришел в себя. Сделал отчаянное усилие, чтобы снова опуститься и стать на ноги, резко взмахнул рукой и уперся во что-то мягкое. Это был Варивода — он тоже плавал под потолком, почти у самого выхода. Пояса со свинцовыми грузилами на нем не было.

Богатырев схватил товарища за руку и потащил на дно. Сразу же нога скользнула по первой ступеньке лестницы, и он пошел на подъем.

Когда он наконец оказался наверху и свет лампы ударил в лицо, все перед глазами опять поплыло и растаяло. Богатырев опрокинулся навзничь, упустив и Вариводу. Хохол и Харкевич жинулись к ним. Чтобы вытащить их на сухое место, пришлось войти в воду почти по шею.

Уже светало, когда все четверо вернулись в верхнюю потерну. Вернулись, как и Харкевич с плотины, ни с чем.

В ту ночь Шумаков остался в одном из полков. Поздно вечером ему доложили, что на участке этого полка с правого берега приплыл человек, которого нельзя доставить в штаб дивизии: он сильно простужен и у него высокая температура.

С правым берегом связи не было, сведения оттуда не поступало никаких, разведка сообщала только то, что ей удавалось узнать из визуальных наблюдений или по снимкам авиации. Выше плотины Днепр широк, пробраться на правый берег разведчики не могли, а ниже еще труднее — с Хортицы немцы контролировали все русло.

Перебежчик заинтересовал командира дивизии, и он сразу же выехал на место, чтобы поговорить с ним.

Сидя в своей многострадальной эмке, он старался представить себе: кем может быть этот перебежчик? Привычка Шумакова относиться к людям справедливо не исключала осторожности и требовательности, продиктованных условиями войны, даже когда это касалось его подчиненных.

Перебежчиком мог оказаться немец, бежавший от своих. В Испании Шумаков встречал многих немцев, бежавших от фашистов. Но человек этот мог быть и крысой, покинувшей обреченный корабль, или бывшим советским гражданином, подосланным, чтобы дезинформировать советское командование. Попадались Шумакову и такие «землячки»... И сейчас он думал и вспоминал все это не для того, чтобы подготовиться или предупредить себя, — его просто тревожила эта история.

Беспокоило то, что человек переплыл Днепр. Переплыл не в первом попавшемся месте, а выше плотины, где не только простреливается каждый метр, но и сама ширь реки такова, что одолеть ее трудно. Не мог же он сесть в лодку и пуститься в это плавание у врага на глазах! Кто же он такой? Как это могло произойти?

Перебежчик оказался пожилым, лет под шестьдесят, мужичиной. Он лежал в блиндаже медпункта, и его трясло как в лихорадке, бросало то в жар, то в холод. Взглянув на него, Шумаков понял, что переплыл он реку не на плоту и не в лодке, а, наверно, долго мок в холодной днепровской воде, прежде чем вышел на левый берег. Под серым солдатским одеялом подскакивало и содрогалось длинное, худое тело. Кончики поседевших усов дрожали и дергались, как живые.

Его фамилия была Мироненко. В потертом и почти разорванном крест-накрест удостоверении, выданном еще перед войной управлением Днепрогэса, говорилось, что Мироненко работал слесарем турбинного зала. Сам он сказал, что остался там работать при немцах, исполняя приказ райкома. Проверить было трудно. Но, когда Шумаков посмотрел на него, ничего проверять не захотелось. Выслушав первые слова, он уже ясно понял, с кем имеет дело. Мироненко рассказывал о руинах старой мельницы, что опять появилась из-под воды, о женщинах и детях, которых он тайком перевез туда, чтобы спасти от верной смерти... Слушая его, Шумаков даже не заметил, как сама собой исчезла настороженность и появилось полное доверие ко всему, что тот ему рассказывал.

Мироненко не открыл Шумакову нового. С большой тревогой, волнуясь, он сообщил, что плотина заминирована, но это Шумаков знал давно; старик подсчитал довольно точно, сколько авиабомб и вагонов со взрывчаткой подвезли немцы к плотине, это тоже было давно

известно. Мироненко не знал главного — где именно заложены мины и в каком месте проходит взрывной провод: когда немцы строили свою разрушительную систему, они расстреливали каждого, кто мог заметить что-нибудь. Так что главная тайна оставалась в руках немцев.

Шумаков молча слушал и благодарно кивал головой, не желая его разочаровывать. Он смотрел на сморщенное лицо, на лоб, навсегда потемневший от машинного масла, смешанного с металлической пылью, и ему было жаль старого слесаря. Жаль, что не смог старик сообщить ничего такого, что оправдало бы его поступок, который Шумаков назвал бы подвигом, особенно если принять во внимание возраст этого пловца. Шумаков охотно бы отказался от того, что знал из донесений разведки и собственных сопоставлений и догадок, лишь бы только этот человек первым сообщил ему все, о чем говорил. И это была не сентиментальность, не интеллигентская жалость к человеку, поставившему на карту свою жизнь, чтобы сделать то, чего, как оказалось, можно было не делать. Нет, Шумакову просто хотелось, чтобы подвиг этого человека был оправдан действительным весом сделанного им добра, которое имеет подлинную ценность только тогда, когда оно по-настоящему полезно.

— Взорвут, ироды... — все время повторял Мироненко, словно в горячке. — Разрушат, развалят до самого дна...

— Теперь, когда вы нам рассказали, не взорвут... — успокаивал его Шумаков. — Теперь мы знаем все, и все будет хорошо.

Мироненко бросал недоверчивый взгляд на Шумакова и снова отворачивался к земляной стенке блиндажа.

— Взорвут, ироды. Осатанели...

— Все будет в порядке. Уверяю вас.

Шумаков слегка коснулся его плеча, пожал заскорузлую, шершавую руку и вышел из блиндажа наверх. Жаль ему было Мироненко. Жаль еще и потому, что сам он тоже не мог сказать старику самого важного — того, что могло бы по-настоящему успокоить. Его заверения, что все будет в порядке, звучали не очень убедительно — не были подкреплены ничем, а сказать о том, что провод на плотине уже ищут, он не имел права. Как, наверно, обрадовался бы этот старый человек, если бы узнал о группе Хохла и Харкевича!

Но постепенно эта жалость отступила, и мысли Шумакова повернули в новое русло. Правда ли, что имеет цену лишь то, что человеку удалось совершить? Разве нет никакой ценности в высоком намерении, в самой попытке совершить что-то хорошее? Можно ли судить о человеке, не ведая его чувств и цели, судить только по тому, насколько удалось ему довести дело до конца? Если так, то сам по себе человек с его намерениями, чувствами и мыслями ничего не значит... Неужели важно только его дело, только то, что человек претворил в практическую и общественно полезную плоть?

Нет близости Штукаренко! Он бы, наверно, обозвал подобные мысли идеалистическими бреднями и, чего доброго, прицепил бы какой-нибудь ярлык. Сказал бы, например, что коммунизм надо строить

не добрыми намерениями, а полезными делами... Но коммунизм будет таким, какими будем мы! Наши чувства и мысли, наши внутренние побуждения тоже что-то весят...

Из блиндажа, в котором лежал Мироненко, выбежала коротышка санитарка Фрося и догнала его.

— Он еще что-то вам хочет сказать, товарищ комдив.

— Кто?

— Да старик же этот.

Санитарка была курноса. Голенища кирзовых сапог ей пришлось почти до половины разрезать — крепкие короткие ноги не помещались в них.

— Сейчас приду, Фрося.

Санитарка быстро затопала к выходу своими куцыми ногами, и, хоть в темноте трудно было разглядеть, Шумакову показалось, что она покраснела. Недавно командир полка намекнул, что между нею и старшиной Цыганковым завязался роман...

Шумаков постоял еще несколько минут перед блиндажом, вдыхая холодный, сырой воздух. Не хотелось прерывать интересную мысль, он понимал, что всего до конца не додумал. Но надо было идти — старик ждал.

Мироненко сидел на постели и старался надеть свой засаленный ватник. Он спешил, суетился, совал сухую руку за спину, но в рукав не попадал.

— Вы куда собираетесь? — Шумаков присел возле него на ящик от гранат, служивший стулом.

— Повертаться надо. Там ждут.

— Как же вы в таком состоянии!

— А я плавом, плавом. По течению... Вы только подвезите машиной вверх километров за пять.

— Ну, ну, ну... — Шумаков осторожно, но властно отобрал у него ватник и положил на постель. — Куда же вы с такой температурой...

— Так взорвут же, ироды! — чуть ли не крикнул старик, возмущенный тем, что Шумаков его не понимает. — Взорвут, а я здесь...

— Я же вам сказал: не взорвут, — повторил Шумаков тверже.

Мироненко взглянул на него недоверчиво и сердито, словно упрекал в чем-то.

— Да и что вы можете сделать? Один не помешаете.

— Помешаем. — Мироненко опять взял свой ватник, задубевший, будто сделанный из древесного луба. Решительно забросил за спину и сразу попал обеими руками в замасленные рукава. — Автоматов дадите?

— Ну, а если дам?

— Перестреляем их, как крыс. Нападем и перестреляем.

Мироненко опустил ноги на земляной пол, быстро намотал одну портянку и надел сапог.

— Сколько вас? — спросил Шумаков, подумав.

— Восемнадцать.

— Что за люди?

— Одно слово — люди, — буркнул Мироненко. Он не сказал, что большинство из них — женщины и дети. — Всех бы немец перевешал, если бы я их не спрятал.

— Вам кто-нибудь поручал их спасать?

— Кто же поручал? У меня один начальник: совесть.

Шумакову стало неловко. И без такого вопроса ясно, что могло руководить стариком.

— И все-таки на станцию вы не вздумайте нападать.

Мироненко выпрямился.

— Так, значит, пусть взрывают? — в голосе его опять звучало раздраженное удивление.

— Вы нам сорвете все планы, если попробуете напасть. Нападать запрещаю.

Мироненко так и замер.

— Запрещаете... — протянул он, стараясь уловить скрытый смысл в словах Шумакова, и опять засуетился. — Ну, а как автоматы — дадите?

— А на что они вам?

— Человек без оружия не воин.

— Вам и не надо воевать. Вы спасите людей.

— На нашем острове они в безопасности.

— Нет. Надо их переправить сюда. А оружие... Если только для того, чтобы чувствовать себя увереннее. — Шумаков помолчал, потом позвал: — Цыганков!

Санитарка засуетилась и выбежала из блиндажа наверх. Снаружи послышался ее беспокойный детский голосок:

— Цыганков — к полковнику! Цыганков!

Через минуту вошел бравый старшина с тонкими черными усами. Он и правда был похож на цыгана — большие маслянистые глаза темнели на его молодецком смуглом лице. Цыганков щелкнул каблуками и заученным жестом приложил руку к фуражке. Шумаков заметил, как при этом кровь бросилась в лицо санитарки, но отвел взгляд, чтобы не смущать ее.

— Выдайте пять автоматов. Диски хорошенько заверните, чтобы не подмокли.

— Слушаю! А только пять многовато.

— Ну и жмот же вы, Цыганков, — засмеялся комдив. — Говорю — пять. Ясно?

— Есть, товарищ комдив!

Шумаков еще раз взглянул на Цыганкова и усмехнулся. Санитарка тоже улыбнулась, видно, ей нравилась самостоятельность и хозяйственная твердость старшины, как нравилось в нем и многое другое, вообще все.

— Значит, пять, — обратился Шумаков к Мироненко.

— Ну, если больше нельзя...

— Можно, но не надо, — мягко возразил комдив. — И ни одного выстрела, пока мы сами не ударим. Обещаете?

— Обещаю.

Шумаков снова пожал заскорузлую руку старика и вышел.

Чистое ночное небо дышало декабрьским холодком и светилося тысячами больших ярких звезд. Вокруг стояла тишь, только издалека, из-за Днепра, слышалось негромкое татаканье одинокого пулемета.

Шумаков прошел несколько шагов, ступая легко, будто не касаясь земли сапогами. За капониром, на дне которого стояла зенитная батарея, тихо посменвались артиллеристы. Шумаков остановился и прислушался — говорили о нем, он это сразу понял.

Хриплый, будто надтреснутый голос какого-то, наверно немолодого, солдата рассказывал грубоватую и, главное, выдуманную историю, свидетелем которой он будто бы сам лично был. Как-то, мол, Шумаков приехал в полк и пошел в кусты, а когда вышел — держал в руках штаны: пуговица оторвалась. Стал останавливать бойцов, чтобы кто-нибудь дал иголку, но оказалось, что ни у кого иголки нет, и комдив выстроил возле себя всех, к кому обращался. Когда же собралось «человек двадцать пять», он достал собственную иголку из околыша фуражки, пришел пуговицу и спросил: «Ясно?»

Все это была неправда, ничего подобного в действительности не было, но Шумаков с удовольствием послушал и наивную выдумку о себе, и доброжелательный, добродушный смех, вызванный солдатской побасenkой. Он неслышно отошел, опасаясь, как бы его не заметили... И невольно подумалось: «А не знаете ведь вы, ребята, не всем я нравлюсь так, как вам». В воображении на миг возник полковник Лемешко — начальник штаба дивизии, которого Шумаков с трудом переносил, затем мелькнули еще чьи-то расплывчатые лица, напоминавшие его довоенных читинских сослуживцев.

— Ну и черт с ними... — произнес он почти что вслух. — Вот кто мои судьи! — он посмотрел в сторону артиллеристов, хохот которых до сих пор еще был слышен, и медленно зашагал прочь.

32

Как только Шумаков вышел из блиндажа, Цыганков наклонился к санитарке и — так, чтобы не заметил Мироненко, — слегка ущипнул ее за щеку.

— Привет, пампушечка!

Фрося покраснела, с опаской оглянулась на Мироненко и шепнула:

— Подожди...

— Не могу ждать! — ответил старшина. — Надо исполнять приказ. Разве не слышала? — Цыганков снова наклонился, быстро чмокнул ее в затылок и выбежал.

Фрося заволновалась. Она знала, что командир полка Терещенко недоволен ее отношениями с Цыганковым. Уж не знает ли о них и комдив Шумаков? Он холостяк, и, как все говорят, никто никогда не замечал за ним ничего такого. Не нагорит ли старшине за нее, не разозлится ли командир дивизии? Еще откомандирует куда-нибудь...

У Фроси было мягкое и доброе сердце, она жалела солдат, хоть отслужила в саироте уже почти два года, насмотрелась на раненых и могла бы привыкнуть к солдатским мукам. В последние дни на участке полка было тихо, раненых привозили мало — за все это время под Фросину опеку попал один Мироненко. Поэтому она всю свою доброту посвятила сегодня ему и очень встревожилась, когда он с температурой вдруг засуетился и стал одеваться.

Но сейчас ее волнение разделилось между ним и старшиной Цыганковым. Она трепетала и разрывалась между больным перебежчиком — уже одетый, он опять опустился на постель, наверно, устал, надевая ватник и сапоги, — и старшиной, которого любила без памяти и над которым, как ей почему-то казалось, нависла беда.

Ее круглые детские глаза испуганно метались между Мироненко и дверью блиндажа, ей хотелось, чтобы старик скорее поднялся, тогда, сопровождая его, она смогла бы догнать Цыганкова.

Мироненко посидел еще мгновение и поднялся. Фрося накинула на плечи коротенькую шинельку и взяла его под руку, собираясь вести.

— Я сам, — сказал Мироненко. — Теперь мне легче.

— Нет, нет, что вы! Я вас провожу.

— Зачем? И так спасибо.

— Нет, нет, пойдем.

На дворе было совсем темно, но Фрося увидела вдали комдива и старшину — они стояли возле блиндажа майора Терещенко.

Поддерживая Мироненко, Фрося приблизилась и услышала слова Шумакова.

— Завтра в семь явитесь.

Сердце Фроси похолодело и оборвалось. Конечно, они говорили о ней. Не зря ведь умолкли, как только заметили ее.

Увидев Мироненко, Шумаков приказал Цыганкову:

— Проводите товарища и смотрите, чтобы все было хорошо.

— Слушаю! — Цыганков щелкнул каблуками.

— Ну, желаю успеха! — Шумаков в третий раз пожал руку старого слесаря и спустился в блиндаж командира полка.

— Имей в виду, старый, эти пять автоматов я с кровью отрываю, — шутил старшина, шагая впереди.

— Кровью не хвастай, есть она и в наших жилах, — отрезал Мироненко. — Лить ее нам в одну сулею.

— Да нет, это я так. Чего-чего, а автоматов теперь хватает.

— Тогда нечего и языком трепать, — сурово бросил Мироненко.

Цыганков смолчал. Нечего так нечего.

Фрося забежала вперед и незаметно дернула Цыганкова за рукав. Когда они отстали от слесаря на несколько шагов, зашептала:

— Ругал?

— Еще бы! На то и начальство. — Цыганков шутил и улыбался, но голос не выдавал улыбки, а лица его Фрося не видела.

— А на семь зачем вызывал? — испуганно спросила она.

— Известно зачем — вливать!

— Ох, горе, Степанчик! — чуть не вскрикнула Фрося. — А что, если переведут в другой полк?

— Письма буду писать, — продолжал Цыганков, не то в шутку, не то всерьез. — А может, и переводить будет некого.

— Как это некого?

— Может, меня еще и убьют. Сейчас мы с дедом пойдем по Днепру плавом. Слышала? Автоматы переправлять будем.

Фрося припала щекой к его рукаву, и Цыганков почувствовал: голова ее затряслась. Ему стало жаль девушку, он освободил руку, в которую она вцепилась, словно боясь, чтобы не убежал, и обнял ее за шею — Фрося была значительно ниже Цыганкова, доставала головой ему лишь до плеча.

— Ну, ну, я пошутил! Не веришь?

— Какой же ты, Степанчик! — покорно упрекнула она, а голос так и дрожал от плача, которого она не в силах была сдержать.

— Выпровожу старика и приду, — сказал Цыганков, наклонившись к ее уху. — Иди, иди назад, здесь и подстрелить могут. — Теперь его слова звучали нежно и доходили до самого сердца.

Фрося остановилась на тропке, а они пошли вверх, вдоль Днепра. Она еще долго стояла и слушала, как глухо бухают их шаги по подмороженной тропе, потом повернулась и, вытирая лицо жестким рукавом шинели, медленно пошла назад, к своему блиндажу.

На воздухе Мироненко стало легче, и он почувствовал себя почти здоровым. Ящик с автоматами и дисками оказался тяжелым, и Цыганков не позволил старику нести его на себе до машины. Кроме этого ящика надо было прихватить еще один, с консервами, и мешок печеного хлеба. Старшина взял с собой трех бойцов, и впятером они полезли в кузов.

Пришлось подниматься далеко, чтобы течение вынесло старика в нужное место. Сюда за скалы правого берега они приволокли несколько стволов, срезанных когда-то снарядами, связали их веревками, которые Мироненко имел при себе, и примостили на них ящики. Плот оказался надежным, но сесть на него Мироненко не согласился: если заметят с вражьего берега и начнут обстреливать, в воде будет безопаснее.

— Мы вас прикроем, если что... — шепнул ему на ухо Цыганков. — Будем идти берегом назад, последим.

Мироненко вошел по шею в воду и оттолкнул плот. На всякий случай привязал себя к бревну: течение он знал с детства, если что и случится, привязанного вода вынесет вместе с плотом куда следует. Старик отплыл и через минуту исчез из виду, темнота словно поглотила его.

Вода была ледяная, но Мироненко, захваченный своими мыслями, почти не чувствовал холода.

Теперь можно не опасаться за свою жизнь — главное сделано: командование предупредило. И о минах, и сколько взрывчатки в плотину заложили, окаянные, — все рассказал. Правда, этот молодой полковник не строил ее, как в молодости строили мы, да ведь она всем

дорога! Сделают хлопцы, не дадут взорвать. Такие, как этот полковник, не бросают слов на ветер.

Глухие стены тьмы обступили его со всех сторон. Спереди ничего не видно, но видеть ничего и не надо. Каждый клочок земли, что в тридцать втором стал дном Днепра, Мироненко знал, как самого себя. Истоптал когда-то босыми ногами, вдоль и поперек исходил. Здесь под ним был хутор Выселок... Чуть правее — стояла лесопилка. Малышом еще не раз бегал с ребяташками сюда, к своему дядьке, который работал на лесопилке машинистом. Вон там, ближе к правому берегу, где теперь немец засел, высилась скала — ее когда-то взорвали, чтобы, чего доброго, пароход не наскочил, не пробил днища... С вершины этой скалы они прыгали в воду. Бывало, загорелые, словно воблы, высушенные солнцем, с разгона как шуганут один за другим, брызги так и летят... Все помнится, ничего не забыто... Полстолетия с тех пор прожил, а все как перед глазами...

Где-то далеко, в стороне Хортицы, время от времени вспыхивал прожектор, и небо делалось белым, как молоко. Вспыхнет — и на горизонте выступают гигантские очертания великой плотины, стоит неколбимо, перегородила путь прожектору и защищает Мироненко от вражьих глаз.

Вдали трижды ударило орудие — тоже с Хортицы. И опять же плотина приняла эти удары на себя и прикрыла его. Ничего, он примет на свою стариковскую грудь другие удары и выручит плотину. Как это называется: выручка в бою? Бывало, он выручал, и его тоже выручали. «Георгия» получил в Карпатах как раз за это. Товарища раненого из боя вынес. Генерал Брусилев лично перед строем вручал. Вот и теперь — плотина защищает его от снарядов; интересно — ей за это дадут орден? Хотя доброе дело не ради наград делается. Он ее выручает, она его...

Ему стало жарко, захотелось сорвать ватник и бросить в воду. Только силы нет: если бы не поддерживал плот, захлебнулся бы и — на дно. Плот тащит его на себе, как на буксире... Пот заливал ему глаза... Потом в голове начало темнеть, закружилось все и поплыло. Он ухватился крепче руками за бревно, из последних сил подтянулся к нему вплотную, ту же намотал веревку, которой был прикручен к суку. «Теперь не потону, даже если немец хорошо прицелится и стрельнет, дай бог ему сдохнуть!»

...На рассвете плот прибил к стене, возле которой его ждали. Мироненко был мертв. Крепко привязанный к бревну, он поник на него головой и застыл. Крови не было видно нигде — на войне умирают не только от пули...

Часть
вторая

Полковника Шумакова свел со Штукаренко случай. Это произошло в июне 1942 го-

да, когда немцы начали свое наступление на Южном фронте, которое остановилось только в правобережных волжских степях.

На севере они еще минувшей осенью подошли почти к самому Дону. Борисоглебск и Воронеж уже считались прифронтовыми городами, а на юге война еще не переползла через Донец.

Дивизия, которой должен был командовать Шумаков, стояла на переформировании под Ростовом. С назначением в кармане он прилетел из Москвы в Ворошиловград, а оттуда на стареньком газике выехал к месту ее расположения, чтобы занять должность предыдущего командира, убитого в бою.

Газик легко катил по пыльному степному большаку, оставляя позади себя огромный хвост поднятой колесами пыли. Она долго не оседала в этот тихий, безветренный день и висела в воздухе, окрашивая его в темный, зловещий цвет.

Накануне началось немецкое наступление. Танковая лавина ударила на позиции девятой армии и прорвала ее боевые порядки. В одиночку и группами по обе стороны дороги брели уцелевшие бойцы разбитых частей. Иногда на полном газу в сторону Дона пронеслись набитые людьми и вещами гражданские машины — они не останавливались, если кто-нибудь просил подвезти, и ошалело катили на восток.

Газик Шумакова вез на себе все фронтовое имущество будущего комдива. Километров за десять от станции Вешенской его остановил пехотинец, старший батальонный комиссар, у которого через плечо почему-то висела планшетка летчика. Высокий, с худощавым длинным лицом, покрытым потом и пылью, он напоминал Дон-Кихота, блуждающего в поисках вечной истины по выгоревшим полям Кастилии.

Шумаков видел эти поля совсем недавно, и были они такими же пустынными, выжженными солнцем.

— Подвезите до Калача! — крикнул пешеход, приложив ко рту большую черную ладонь.

— Я — на Вешенскую! — ответил Шумаков.

Шофер затормозил.

— Вряд ли переправитесь, — сказал пешеход, подойдя ближе.

— Думаете, разбомбили? — спросил Шумаков.

— Разбомбили или нет — не знаю, но недавно в ту сторону летели.

Шумаков поехал дальше, а старший батальонный комиссар сошел с грейдера на вытопанную обочину и зашагал своей дорогой.

Это был Штукаренко. Он служил в политотделе фронта и теперь возвращался из командировки, в которой пробыл две недели. Вчера, когда началось немецкое наступление, он уже был в дороге и о событиях минувшей ночи узнал случайно от политрука, ехавшего за боеприпасами куда-то на Дон. С этим политруком он условился, что на рассвете тот его прихватит на свою машину. Но, когда в пять утра Штукаренко проснулся, оказалось, что политрук уже уехал, забыв о своем обещании. Пришлось двинуться пешком.

Солнце неистово жгло. Оно замерло в зените, и высокое, выцветшее небо дышало жаром, словно собиралось сжечь все вокруг. Дойдя до перекрестка двух широких грейдеров, Штукаренко решил отдохнуть. Под высокой стеной чудом уцелевшей ржи темнела полоса, похожая на тень, он тяжело опустился на землю и облегченно вздохнул.

Через несколько минут появились две грузовые машины с северного грейдера и помчались на запад — в том направлении, откуда он только что пришел. Это его удивило, туда уже никто не ехал.

Минут через пять на дороге, по которой проехал полковник на газике, появилась еще одна машина. Она остановилась на перекрестке.

Из кабины вышел молоденький, на диво подтянутый и чисто одетый лейтенант и направился к Штукаренко. Еще издали козырнул.

— Нет ли у вас карты, товарищ старший батальонный комиссар? Дальше Морозовской карт не напечатали, наверно, за Доном воевать не собирались, — он слабо усмехнулся, будто прося извинения за то, что не напечатали карт.

— А вы куда едете? — спросил Штукаренко.

— Переправы ищем. В Вешенской уже разбомбили, черти. И в Серафимовиче разбомбили. А штабная карта до Морозовской. Дальше нет.

Значит, он не ошибся, сказав проезжему полковнику, что поблизости не найти переправы...

Штукаренко потянул ремешок, на котором висела планшетка, и достал из нее сложенную в восемь школьную двадцатипятикилометровку, которую ему подарил Вова, провожая отца на фронт. Эта карта большого масштаба вмещала всю европейскую часть Советского

Союза и на войне практически пригодиться не могла. Но Штукаренко берег ее и носил с собой просто так, как память о сыне.

Он расстелил карту на пожелтевшей траве и вместе с лейтенантом принялся изучать. По ней трудно было точно определить что-нибудь, но города и большие станицы на карте значились, и можно было отыскать Старобельск, Кантемировку и станицу Морозовскую, расположенные поблизости. Занятый изучением своей школьной карты, Штукаренко даже не заметил, что на перекрестке остановилась еще одна машина. Потом подъехало еще несколько. Когда он оторвал взгляд от карты, вокруг уже стояла целая толпа бойцов и офицеров разного ранга. «У батальонного комиссара есть карта», — услышал он полный доверия и надежды шепот. Штукаренко понял: наверно, лейтенант прав — дальше Морозовской Генштаб не напечатал полевых карт!

Все молчали и ждали решения Штукаренко.

— Только на Калач, — сказал он. — Есть переправы и ближе, но, пока доедете, немцы могут уничтожить и их, лучше брать на крайний юг.

Он сложил свою карту и стал засовывать ее под целлулоидную стенку планшетки. В этот миг послышался голос:

— Позвольте взглянуть.

Штукаренко оглянулся на этот голос и увидел полковника, который только что проехал в газике на Вешенскую и уже успел убедиться, что переправы там нет.

— Не могу, товарищ полковник, — улыбнулся Штукаренко.

— Как это — не можете? — вспыхнул тот.

— А так. В руки дать не могу.

— Я вам приказываю! — он схватил Штукаренко за руку.

— Это не армейская карта. Она принадлежит лично мне.

Вокруг загудели, поддерживая Штукаренко. Все опасались, что полковник, как старший среди присутствующих, еще, чего доброго, возьмет карту и уедет прочь. И хотя он не собирался этого делать, никто рисковать не хотел — от карты зависело теперь очень многое.

— Какое нахальство! — крикнул Шумаков, но не стал спорить и с видом оскорбленного достоинства зашагал к своей машине. Он сел рядом с шофером, но никуда не поехал, решил ждать.

— Может, поедете с нами? — обратился к Штукаренко лейтенант, который подошел первым. — У меня в машине рация, свяжемся со штабом фронта, узнаем обстановку, что и как...

Связаться со штабом фронта было нельзя: никто не знал позывных. И все-таки Штукаренко принял предложение лейтенанта.

Он решил съехать с главной дороги и пробираться оврагами, где проходили местные проселки. В оврагах можно было не опасаться немецких самолетов. Вражеская авиация занята главными дорогами — основная масса войсковых частей и подразделений отступала по ним. Там «мессеры» свирепствовали, обстреливая каждую отдельную машину, пикировали даже на одиноких пешеходов.

Но, как выбраться к этим оврагам, на карте определить было трудно.

Им повезло: подошел пожилой колхозник из местных. Он объяснил: если проехать километра три по главной дороге, слева будет только что прорезанный грейдер — совсем новенький, по нему еще никто не ездил. Грейдер, правда, еще свежий, но в такую сушь по нему проехать можно. Зато он выведет к самой Семеновской, с которой и начинаются эти проселки, идущие через овраги.

— Кто с нами, давай! — решительно крикнул Штукаренко и сел в кабину. Лейтенант приказал шоферу лезть в кузов, а сам сел за руль.

Машина тронулась, за нею потянулись и остальные.

Солнце с самого утра жарило не зря. В раскаленном добела высоком придонском небе появились одинокие тучки, небольшие, но тяжелые и темные. Люди, увлеченные изучением своего маршрута, не заметили, как эти тучки, слетаясь на жадный зов раскаленной земли, сбивались в одну и тяжело клубились над обеспамятевшей от зноя степью.

Когда передняя машина, в которой ехал Штукаренко, подошла к шлагбауму, закрывавшему въезд на нужный им грейдер, в воздухе уже пахло грозой, а над землей нависла тяжкая темная тень. Лейтенант остановил машину, выскочил из кабины и оттащил в сторону длинный брус. Машины снова тронулись, оставив позади главную магистраль, — вступили на путь, избранный Штукаренко.

Теперь это была уже целая колонна. Штукаренко даже не заметил, как она выросла до нескольких десятков машин. Когда он, высунувшись из кабины, оглянулся, то увидел позади длинный хвост. Следом за ним ехали уже не только машины с бойцами, но и несколько пушек, цистерны с горючим и какие-то крытые гиганты неизвестного ему назначения.

Он приказал лейтенанту ехать медленно, чтобы не поднимать пыли на дороге. Машины могли привлечь внимание вражеской авиации, которая сновала над степью.

Грейдер оказался совсем свежим. На нем еще не было видно ни одного следа. Пухлая поверхность мягко прогибалась под скатами машин, словно колонна ползла по дороге, устланной глубоким снегом.

Вдруг черную тучу расхватила надвое ослепительная полоса, будто раскрывая нутро неба. И сразу же следом за молнией ринулись вниз тяжелые плети воды, затянув все вокруг темной пеленой. Вода заливала лобовые стекла машин, по ним заматались, забегали «дворники», но справиться с дождем не могли.

Пришлось остановиться — в этих внезапно нависших сумерках можно было угодить в кювет или на пашню, а оттуда уже назад не выберешься.

Ливень продолжался недолго — не больше пяти минут. Он оборвался так же неожиданно, как и начался. Вдруг блеснуло солнце, вокруг на высоких бурьянах заискрились дождевые капли, и в каби-

ну пахло душистой свежестью мокрой земли и медовыми ароматами степных цветов.

Лейтенант включил скорость, колеса забуксовали, машина с места не сошла. Попробовал сдать назад, но и это не удалось. Из кабины выскочил Штукаренко, а из кузова шофер, они стали толкать машину. Колеса пронзительно завизжали протекторами, облили людей жирной грязью и закопались в промокший грунт до самых ступиц.

Штукаренко оглянулся. Над колонной висела туча синего бензинового дыма: тронуться с места не могли не только они. Из машин выскакивали солдаты, скользя по размокшему грейдеру, пытались помочь моторам своих машин; колеса облепляли их мокрой землей и закапывались все глубже и глубже в липкий чернозем. Некоторым удалось тронуться с места, но двигаться было некуда — впереди буксовали другие, загораживали дорогу. Они сворачивали с грейдера, боясь остановиться, тяжело воя, перелезали через кюветы, выползли на поле. Но там было еще хуже — моторы глохли, машины останавливались.

Вот умолк последний мотор, наступила тишина, и Штукаренко услышал позади отчетливое:

— Завел, сволочь!

Это могло касаться только его.

— А ну давай его сюда, дрянь такую! — крикнул еще кто-то. — Где он со своей паршивой картой?

Лейтенант понял раньше, чем Штукаренко, чем это пахнет.

— Прячьтесь в кузов. Быстро!

Штукаренко не успел даже опомниться — лейтенант открыл дверцу и втолкнул его в радиорубку.

Когда дверца закрылась и шелкнул английский замок, лейтенант увидел: к его машине шел, держа в руке пистолет, знакомый полковник.

— Где он?

— Кто? — словно не понимая, переспросил лейтенант.

— Как это кто? — крикнул полковник, и в голосе его прозвучала решимость, не предвещавшая ничего приятного.

— Если вы о старшем батальонном комиссаре, — прикинулся дурачком лейтенант, — то он сошел еще там, перед тем как мы свернули на этот грейдер.

— Сошел?! — оторопел полковник.

— Сказал, что ему в другую сторону. Двинул пешака, когда мы остановились перед шлагбаумом.

— Вот как!.. — Шумаков оглянулся на главную дорогу, которой уже не было видно. Теперь он не сомневался, что на этот новый, неаезженный грейдер их сознательно завел передетый диверсант, натянувший на себя форму старшего батальонного комиссара. — А вы тоже... шут гороховый... Карта у него есть!.. Первого попавшегося негодяя встретили и раскисли, как тряпка. Наверно, и документов не спросили?

Лейтенант стоял, вытянувшись как струна, и бормотал:

— Да откуда же было... ведь он в форме...

— Я еще с вами поговорю потом... подождите... — Шумаков засунул пистолет в кобуру.

Ехать дальше было нельзя, назад развернуться — тоже. Оставалось ждать, пока дорога немного провянет. Небо опять сияло и пылало, облака растаяли, словно вылились на землю до самого дна, степь вокруг парила, и можно было надеяться, что грейдер просохнет быстро.

Штукаренко сидел в радиорубке в полной темноте. В такое иднотское положение он еще не попадал ни разу. «Как сатана в бочке, — подумал он и чуть было не расхохотался. — Это же бессмыслица — сидеть в ящике и от кого-то прятаться!» Поднял руку, чтобы постучать в фанерную стенку, но сквозь щель в дверце увидел чисто выбритое лицо Шумакова и злые желваки, игравшие на его щеках. По боевым сводкам Штукаренко знал, что бывают трагические случаи расправы на основании одних лишь подозрений, притом ошибочных. Во время массовых отступлений встречались иногда на фронтовых дорогах такие вот полковники с пистолетом в руке, уверенные, что лучше расстрелять невинного, чем оставить в своих рядах изменника или шпиона.

Положение Штукаренко было унижительным, но лезть под горячую руку неизвестного полковника не имело смысла.

Машины простояли около часа. Дорога немного подсохла. В голову колонны опять прошел Шумаков и приказал заводить моторы. За ним пришла большая группа бойцов. Все вместе навалились на первую машину, она набрала скорость и двинулась дальше сама. Потом принялись за другую. Так давали разгон каждой машине, и вот вся колонна тронулась наконец, поползла вперед.

Вскоре они спустились в придонские овраги. Здесь совсем не было дождя, и узкий торный проселок вился, металлически поблескивая. Дон сплел неподалеку — ехали на юг вдоль реки, она то появлялась, то исчезала за ближними горбами. Всем были видны вражеские самолеты: группами и поодиночке они пикировали на станичные переправы, доносились громовые взрывы сброшенных бомб. Но колонну, что катилась в низинах степных оврагов, самолеты так и не обнаружили.

Вечером на первом привале, когда всем уже стало ясно, что проскочили удачно только благодаря остроумно избранному маршруту, Штукаренко выбрался из своего укрытия и отправился прямо к Шумакову.

— Не кажется ли вам, что вы погорячились, товарищ полковник? — усмехнулся он.

Шумаков озадаченно смотрел на него, не понимая, кто это.

Тогда Штукаренко растегнул свою летную планшетку и достал Вовину карту.

— Теперь, если хотите, возьмите.

Шумаков карты не взял, только крикнул:

— Где вы были, черт бы вас побрал?!

— От вашего справедливого гнева скрывался,— громко рассмеялся старший батальонный комиссар. — Ведь пристрелили бы, чего доброго...

— Ну и хитрец!.. — хохотал и Шумаков. — Перехитрил! — Он в искреннем восторге хлопал Штукаренко по плечу.

Позднее, когда Шумаков уже командовал дивизией, он не раз встречался со Штукаренко в политотделе фронта. А когда погиб комиссар и понадобился надежный человек вместо погибшего, Шумаков добился, чтобы это был Штукаренко.

С тех пор они не разлучались и прошли вместе долгий путь.

2

В Испанию Шумаков попал из Читы. Незадолго перед отъездом его оставила жена — актриса местного театра Лариса Любарская. Он прожил с нею всего лишь восемь месяцев. В театре, где она работала, об этом браке говорили: «Все-таки окрутила парня, женила на себе». Невысокая, остроносенькая, с рыжими высоко взбитыми волосами, она отличалась довольно своеобразным складом ума, позволяла себе в обществе рискованные выходки, и город знал об этих ее свойствах задолго до того, как в Чите появился Шумаков.

Лариса заметила молодого смуглого лейтенанта и сейчас же закинула удочку. Опытная в делах жизни, она сумела здесь сыграть свою роль значительно лучше, чем в театре. Вскоре командир роты Иван Шумаков получил квартиру и молодые супруги поселились в ней.

Если бы Любарская просто ушла от него, Шумаков вряд ли бы долго печалился. Прожив с нею лишь первый месяц, он понял: с женьтибой поспешил. Оказалось, что общего в характерах и во взглядах на жизнь у них с Ларисой мало. Закулисные сплетни, которые жена приносила из театра, его не интересовали, да и сам театр не очень нравился.

Однажды в воскресенье, ожидая Ларису после дневного спектакля, чтобы отправиться с нею на обед к какой-то актрисе, Шумаков услышал, как через щель для писем, прорезанную в двери, просунулся конверт. Не спеша вышел в коридор, надорвал конверт, вытащил письмо.

С первых же слов понял: почтальон ошибся и бросил письмо не туда, куда следовало. Это было письмо к некоему Илье Саввичу, и говорилось в нем о вещах, не имевших к Шумакову никакого отношения. Взглянув на конверт, он убедился, что письмо адресовано Шмакову, тому Шмакову, что жил этажом ниже, прямо под ним.

Шумаков, сам того не желая, прочитал чужое письмо и чувствовал себя не очень хорошо. Правда, если бы он даже сразу взглянул на конверт, все равно мог бы ошибиться: И. С. Шмаков — почти то же, что и И. С. Шумаков!

Ларисе все это очень понравилось.

— Боже, какой недотепа! — всплеснула руками, словно все еще играла свой дневной спектакль. — Ну что же тут неудобного — не нарочно же прочитал! Прекрасный повод познакомиться с соседом!

И тут же выпорхнула из квартиры. Ее туфельки быстро-быстро застучали по лестнице вниз.

Она долго не возвращалась, а когда забарабанила в дверь и Шумаков открыл, оказалось, что она не одна. Рядом с нею стоял молодой капитан, которого она дружески держала под руку. Высокий, черноволосый и розовощекий, он виновато кланялся и улыбался, будто просил прощения неизвестно за какие грехи.

— Вот он. Приволокла! — с театральной торжественностью объявила Лариса. — Илюша Шмаков. Наш замечательный сосед!

Так они познакомились. Лариса считала, что такое знакомство надо немедленно «обмыть», и это можно сделать у подружки, к которой они пойдут сейчас обедать не вдвоем, а втроем. Шумаков стал отказываться, но Лариса настаивала. За обедом мужчины как следует выпили и, вернувшись в свой подъезд, на прощанье крепко обнялись — словно дружили с детства.

Капитан Шумаков служил в комендатуре города. Он не был женат, в квартире его царил беспорядок холостяка. Вечерами он иногда заходил к Шумакову — просто так, чтобы, как он сказал, «не закостенеть в холостяцком болоте». Он оказался человеком покладистым, не очень начитанным и не остроумным. Но в общем парень был неплохой, и, ожидая Ларису из театра, с ним можно было поиграть в шахматы, побалагурить.

В те дни газеты были полны тревожных сообщений об испанских событиях. Вечерами, сидя в своей комнате вдвоем со Шмаковым, Шумаков горячо доказывал ему, что на мир надвигается военная гроза. Шумаков не соглашался: а что, собственно, особенного происходит? С тех пор как существует мир, не было еще дня, чтобы где-нибудь на земле не воевали. Сегодня дерутся в Испании, завтра сцепятся еще где-нибудь.

Но какое-то «шестое» чувство подсказывало Шумакову, что именно в Испании началось что-то непоправимое, грозное. И втайне от Ларисы и своего нового друга он стал все чаще задумываться и спрашивать себя — не должен ли и сам искать в **Испании** свое место? И чем яснее становилось ему окончательное решение, тем больше раздражала его Лариса — ее мелочность, ограниченность, нежелание задумываться над тем, что происходит вокруг. Легко было представить, какой крик она поднимет, услышав, что муж хочет отправиться бог знает куда, воевать неизвестно за что и за кого!

Но вдруг — именно в тот день, когда Шумаков окончательно все решил и собрался сказать об этом ей, — Лариса весело и будто между прочим объявила, что оставляет его и переходит к Шмакову.

Шумакова не так поразило вероломство и это игривое веселье Ларисы, как то, что бросает его она, хотя справедливее было бы, если бы именно он ее оставил. Какая редкостная предусмотрительность! Какой лисий нюх! Какой отточенный инстинкт самосохранения!

Шумаков ни о чем не спросил, хоть видел, что Лариса очень ждала вопросов, и заранее обдуманнные ответы висели у нее на языке. Не попрощался и ушел из дому, а когда через два дня вернулся, не застал уже в квартире ни Ларисы, ни ее вещей. Он подал рапорт о вступлении в ряды добровольцев, которые поедут в революционную Испанию, и получил разрешение. Оформив документы, взял дома самый маленький чемодан, запер квартиру и отправился на вокзал.

Так бы и закончилось его неудачное супружество, и он, наверно, никогда не пожалел бы, что все так сложилось, если бы по дороге не попутал его черт. Казалось бы, знал, что расставанье с Ларисой — дело решенное, к тому все шло, как знал и то, что ее неожиданная измена была для него благом. Но вдруг, откуда ни возьмись, в виски толкнулась ярость, Шумаков почувствовал себя обиженным и обманутым — нет, не Ларисой, а Шмаковым, который притворялся искренним другом, а сам метил в одну точку: отвести глаза, замарать его мужское достоинство, выставить перед всеми на смех.

Знал ведь, что Лариса опутала и Шмакова — так же, как окрутила когда-то его самого. Но подлый черт так и подзуживал, и Шумаков дал ему волю, позволил подняться в душе темной волне...

До отхода поезда еще было время, и Шумаков бросился в почтовое отделение при вокзале. Сгоряча настроичил жалобу коменданту города, раскрыл всю аморальность поведения капитана Шмакова, который грубо вмешался в семейную жизнь младшего по званию офицера. Да к тому же накануне отъезда этого офицера в Испанию — на фронт...

Шумаков помнит: рука его дрожала, когда бросал конверт в почтовый ящик. Эта неуверенность уже в поезде перешла в чувство растерянности, а позднее — в твердое убеждение, что совершена подлость. Но поправить дело уже было нельзя — сам он ехал на запад, а его жалоба осталась в Чите, и если бы он вздумал послать вдогонку новое письмо, опровергнуть можно было бы только свое отношение к фактам, но не сами факты. Да и не мог еще тогда Шумаков предвидеть того, что жанр жалоб и заявлений вскоре приобретет зловещую силу, станет чуть ли не главной основой, определяющей человеческую судьбу...

3

Дважды жизнь пыталась сломить душу Ивана Шумакова, но в обоих случаях прибегала к таким жестоким и претельским средствам, что это лишь порождало в нем отчаянный протест, бешенство сопротивления. И он становился в результате еще сильнее.

Впервые произошло это в Барселонском порту, когда к причалу пришвартовалась пробитая осколками ржавая посудина, на которой он надеялся спасти остатки своего батальона.

Если бы Сабина согласилась уехать с ним, может быть, военное поражение и не казалось таким ужасным, как в те минуты. Шумаков

понимал: война на испанской земле — это только проба сил, провал кровавой репетиции еще не предрешает результат будущего решающего боя. Но Сабина не могла с ним уехать и оставить свою родину в тяжкую минуту. Да он и не требовал — знал по себе, что может чувствовать в такое время честный человек.

Она прижимала к груди свою фотокарточку, которую, по народному обычаю, собиралась бросить в море, когда транспорт поднимет якорь и отойдет от испанских берегов. Образ той, что навеки расстанется с любимым, должен плыть вслед за его кораблем, а ее любовь — навеки и для всех — растаять в морском тумане... Узнав, что она хочет сделать и что ее поступок должен означать, Шумаков вырвал из рук девушки фотокарточку и чуть было не расплакался от возмущения: он не хотел, чтобы их любовь растаяла и умерла навсегда! И он вдруг поверил не только в недалекую встречу, но и в неминуемую победу над всем, что сегодня их разлучало.

Вторично жизнь замахнулась на силу его души при иных обстоятельствах и совсем в иное время — поздней осенью 1941 года. Он выходил из вражеского окружения после тяжелых боев под Смоленском, совсем близко от родных мест — километрах в тридцати от села, где родители его жили и сейчас. С ним выходило немногим больше сотни бойцов — все, что осталось от дивизии, где он служил начальником штаба.

Как-то перед рассветом, когда после тяжелого ночного перехода группа забила в глубь леса, чтобы немного отдохнуть, дозорные услышали подозрительный треск веток и обнаружили, что почти рядом расположилась другая группа бойцов — они, наверно, тоже пробились к своим. Оказалось, что это остатки полка, воевавшего на их левом фланге, когда они еще держали фронт. Разведчики, высланные для связи в этот отряд, вернулись с его командиром — подполковником. Шумаков взглянул и не поверил глазам: это был Коломиец.

Подполковника трудно было узнать. Они не виделись только пять лет, но постарел Коломиец лет на двадцать пять. Большие, глубоко посаженные черные глаза казались теперь еще большими, лицо было почти неестественно костлявым, а вся фигура сгорбилась, исхудала. Шумакова он сразу узнал и приветливо, но немного виновато улыбнулся своими тонкими, очень подвижными губами. Только эта улыбка — все, что осталось в человеке от тех времен, когда они встречались, — заставила Шумакова воскликнуть:

— Коломиец!

— Я...

— Откуда вы взялись?

— Думаю, азимут у нас один, товарищ полковник, — все еще улыбался Коломиец, но уже не виновато, а радостно, будто встретил не просто знакомого, а близкого друга, которого давно искал.

До тридцать шестого года они вместе служили в Чите — Шумаков в регулярной части, а Коломиец — в комендатуре города. Оба были тогда лейтенантами и не раз встречались в гарнизонном Доме Красной Армии.

Они решили объединиться и вместе выходить к своим.

Следующей ночью двинулись дальше на восток. Немцы еще не добрались в эту глушь.

Шумаков и Коломиец шли впереди общей колонны. Сапоги глубоко погружались в желтые сморщенные листья: искалеченный снарядами лес раздевался раньше времени и не по своей воле.

— Вы Шмакова помните?

Что-то толкнуло Шумакова изнутри, когда он услышал эту фамилию. Шаг сам собой замедлился, он даже немного отстал, и Коломиец остановился, чтобы товарищ мог его догнать.

— А как же... Разумеется, помню,— пробормотал.

— Бедняга... Погорел ни за что,— вздохнул Коломиец.

— Погорел? Как это так? — искренне удивился Шумаков.

— Уж будто не знаете,— выразительно посмотрел на него Коломиец. Он шел некоторое время молча, потом усмехнулся недобро: — Смогри-ка, можно загубить человека и даже не догадываться об этом!..

Оказалось, что он знал и об измене Ларисы, и об ее уходе к Шмакову, и о жалобе, посланной Шумаковым. Эта-то жалоба и потащила за собой все печальное для Шмакова последствие: пришлось ему навсегда распрощаться с командирскими знаками различия, да и вообще с армией. Коломиец встречался с ним и позднее, когда тот уже работал в жилотделе Читинского горсовета. Потом стало известно, что Лариса тайком от мужа широко использовала возможности его должности и даже принимала щедрые подарки от людей, которым от его имени давала не менее щедрые обещания. Шмаков узнал об этом уже в прокуратуре. А кончилось все вынужденным путешествием на Север, куда, впрочем, отправилась не она, а он..

Слушая Коломийца, Шумаков все больше проникался презрением к самому себе. Он отчетливо представил себе пожилого полковника — коменданта города Читы, который неустанно опекал комсостав гарнизона и не раз выступал на собраниях и конференциях, требуя от них честности и моральной чистоты. Конечно же, попав в его руки, жалоба Шумакова должна была повлечь суровое наказание для легкомысленного капитана. Да, перед отъездом в Испанию надо было сходить к Шмакову и предупредить неверного товарища, что Лариса — опасный человек, что она и второго мужа бросит, когда на горизонте появится более выгодный или просто старший по званию..

Шумаков медленно шел, механически перешагивал поваленный сушняк и свежеобломанные ветки, проридился сквозь заросли, которые становились все гуще и темнее, но думал лишь о Шмакове, словно каялся в грехах, предчувствуя близкую гибель. Но вот чаща кончилась, густой невысокий подлесок отступил в сторону, впереди стало светлее и можно было опять идти рядом с Коломийцем.

— Что же делать? — спросил.

Коломиец быстро повернул к нему сосредоточенное лицо. Он, как видно, уже думал об ином.

— Я имею в виду Шмакова,— пояснил Шумаков.

— Ах, вы об этом! — буркнул Коломиец. — А что делать? Все зависит от того, для чего вы написали тогда свой... — Он хотел сказать «донос», но удержался.

— Сдуру, конечно. Для чего же еще?

— Э, нет, сдуру такого не делают, — хихикнул Коломиец. — Сдуру можно проглядеть что-нибудь, свое, потерять, собственное. А чтобы чужое отобрать — для этого нужно что-то другое, сразу и не назовешь...

— Неужели вы думаете... — Шумаков осекся, не договорил.

— Ничего я не думаю! — сердито огрызнулся Коломиец. — Если бы вы были подлецом, то шли бы теперь на запад, а не на восток. В ту сторону сегодня идти безопаснее. — Он помолчал, унимая внезапно вспыхнувшую злость, и опять заговорил — уже другим, почти дружеским тоном: — Есть это в нас... В общем, можно сказать, подлость. Притаилась где-то в темном закутке, молчит... Трудность, понимаете ли, в том, чтобы не дать ей всплыть, взять над нами верх...

Шумаков жадно прислушивался к словам Коломийца, а тот выговаривал их медленно, будто подбирал одно к другому. И то, что Шумаков слушал, было очень похоже на его собственные мысли, не дававшие ему покоя еще тогда, в поезде. Да, да, сидит оно в нас, сидит... Сегодня, пожалуй, раз десять взвесил бы, прежде чем решить. Взвесил бы на весах собственного опыта. Успел все-таки кое-что повидать... И невольно Шумаков проникался все большим уважением к этому подполковнику, что тяжело шагал рядом.

— Выйдем из окружения, я попробую...

— Надо сначала выйти, — вздохнул Коломиец.

Спросить бы его еще, не знает ли, где этот Шмаков сейчас.

Не пришло тогда в голову, а когда спохватился, было поздно. Коломиец погиб уже на том берегу Днепра, был убит наповал осколком немецкой мины. Шумаков лежал рядом на прибрежном песке, раненный в ногу и в живот той же миной, что убила Коломийца. Надо было скорее отползать. Но он лежал, не в силах оторваться от земли, словно вместе с Коломийцем оставлял на этом мокром приднепровском песке частицу самого себя, словно не знал — как теперь жить без этой частицы...

4

Часто, оставаясь наедине с самим собой, Шумаков вспоминал Коломийца. Сколько товарищей погибло, когда выходили из окружения, но всего ярче врезался в память этот подполковник с хрипловатым голосом и пронизывающим насквозь взглядом, болезненно сияющим из глубоких глазниц. И всякий раз накатывалось чувство вины, словно невыполненное обещание позаботиться о судьбе Шмакова было в то же время и неуважением к памяти о самом Коломийце...

Но то, что казалось ясным и простым там, в Смоленских лесах, на деле оказалось куда более сложным. Еще в госпитале, когда рана

начала заживать, Шумаков решил: как только выздоровеет, обратится в ЦК и попробует спасти Шмакова. Но вскоре он получил телеграмму с приказом ехать под Ростов и принять командование дивизией, которая там комплектовалась, а прибыв на место, окунувшись в такую бездну неотложных хлопот — не могло быть и речи, чтобы хоть на минуту оторваться для другого дела.

А кроме того, была и еще одна причина, наверно самая важная, она пошатнула уверенность Шумакова в себе, породила опасения: не повредит ли он Шмакову своим вмешательством.

Причина эта возникла неожиданно. Как-то, когда Шумаков еще даже не мог подняться с постели, в его палате появился военюрист второго ранга — высокий молодой человек в тяжелых роговых очках. Извинился за то, что беспокоит больного, вежливо пояснил: он должен выполнить некоторые формальности, хоть и неприятные, но необходимые. Мол, служба обязывает. Сев у постели, он начал расспрашивать об обстоятельствах, при которых полк Шумакова снялся с позиций и стал отступать на восток: кто дал приказ об отступлении, как себя при этом вел покойный командир, почему с Шумаковым вышло так мало бойцов и почему не спасли боевую технику? В вопросах военюриста не было, собственно, ничего удивительного — если командование собирает такие сведения, чтобы обобщить их и сделать выводы во избежание досадных ошибок в будущем, это не только понятно, но и необходимо. И Шумаков охотно отвечал, обрисовывая тяжелую картину отступления во всех подробностях, тем более что полк отступал с боями, а бойцы и командиры проявляли подлинный героизм. Технику — это верно — приходилось оставлять... Но что поделаешь, если выпустил по врагу последний снаряд и сжег горячее до капли, а идти надо лесом да болотами, в которых не только техника — ноги увязают так, что не вытащить.

Военюрист записывал что-то в блокнот и все время кивал, — как видно, соглашался с аргументацией Шумакова. И когда уже был готов попрощаться, неожиданно спросил:

— Простите, товарищ полковник, а не было у вас такого же эпизода в Испании?

Вопрос захватил Шумакова врасплох. Он чуть не выпалил: «А при чем здесь это?»; но вовремя спохватился и удивленно спросил:

— Вы меня в чем-то обвиняете?

— Что вы, товарищ полковник, я и в мыслях такого не держал! — воскликнул военюрист. — Просто поинтересовался, и все. Ведь в Испании вы воевали?

— Воевал... — проговорил Шумаков, не понимая, что все это означает.

— Вот я и задал вам естественный вопрос. Простите, пожалуйста. Выздоровляйте — это главное. — Военюрист поклонился, щелкнул каблучками и вышел.

Сначала Шумаков опасался, что этим визитом дело не кончится. Но когда предложили командовать дивизией, вместо того чтобы опять

назначить начальником штаба, успокоился, только этот удивительный визит военюриста все же никак не выходил из головы, и Шумаков в конце концов пришел к выводу, что про Испанию спрощено неспроста. Ведь в госпитале не заводили анкет, личных дел или каких-нибудь других документов о прошлом раненых или больных, а юрист все-таки знал, что Шумаков был в Испании. Так что спросил не случайно!

Он перебирал в памяти весь короткий «испанский» отрезок своей жизни, устраивал себе «допросы с пристрастием», как предубежденный следователь... Немало отметил такого, чего не позволил бы себе сейчас... Но как ни пытал себя, а преступлений в своем поведении на далеком полуострове не находил.

Может, речь идет о том случае в Каталонии во время боев под Теруэлем? В его батальоне было несколько десятков анархистов — они очень любили громкие слова, но храбрость их лишь этими словами и ограничивалась. И никак им нельзя было вдолбить, что сейчас не шестнадцатое столетие и воевать так, как воевали средневековые рыцари, в наше время глупо. У них был свой вожак, который повел их на вражеские окопы в полный рост, но, как только одного из них задела пуля, все бросились наутек, как зайцы. Своей позорной трусостью они повлияли на других бойцов, и батальон начал отходить, хотя для этого не было серьезной причины. Но разве он, Шумаков, не поступил тогда как настоящий командир? Разве не выскочил вперед и не повел бойцов за собой? И разве, в конце концов, не он оказался единственным тяжело раненным в том бою, который повернул весь ход военной операции?

Нет, нельзя его судить за тот случай. Даже вожак анархистов пришел к нему в госпиталь просить прощения. Заплакал у его койки и сказал, что теперь видит: коммунисты не такие уж плохие ребята, и хоть он не отказывается от своих убеждений, но в бою всегда будет брать пример с таких, как Шумаков.

Не этот ли эпизод имел в виду военюрист? И если этот, то знал ли, чем тогда все кончилось? А если бы конец был иным, разве был бы в этом виновен Шумаков? Ведь на войне подчас дела складываются так, что ошибочным оказывается даже шаг, казавшийся перед боем самым верным...

Вообще он считал, что тот, кто берется судить кого-нибудь, должен хоть на миг представить себя на месте подсудимого. Только разобравшись в побуждениях, двигавших действиями человека, можно установить — была ли возможность при данных обстоятельствах поступить иначе. Плохие судьи могут натворить дел потяжелее, чем ошибки подсудимых.

В эти дни его постоянно беспокоило и другое. Здесь, у Днепра, на его глазах и с его участием на карту ставились огромные ценности и выигрыш или проигрыш зависел от того, какая сторона изобретательнее, упорнее и бдительнее. И Шумакову казалось: чем бы это ни кончилось, в том, что здесь делали, было что-то — в лучшем случае — ошибочное.

Плотина, когда он впервые ее увидел, произвела на него большое впечатление. Шумаков понимал, как много она стоит, если ценность ее исчислять в труде людей, а не только в деньгах, которым он особенного значения не придавал. Он был согласен, что и смысл, который она воплощает в себе, как поэтический образ в сознании целого народа,— значителен и велик, и это тоже обязывает к чему-то, прежде всего его, командира дивизии. Но он был уверен, что слепое служение идее, к тому же поэтической, неминуемо превращается в предрассудок, а практический расчет становится святотатством, если с другой стороны на чашке весов — человеческая кровь.

Те восемь немецких дивизий, что закопались ниже по Днепру, в непролазных плавнях, он считал куда более важными, чем эта хоть и бесценная, но мертвая бетонная глыба. Если бы удалось ее спасти — кто бы не радовался! Но если увязшие в болоте вражеские дивизии придется из плавней выбивать? А чтобы уничтожить пятьдесят тысяч солдат, которые закопали свои танки и прячутся за их броню, надо положить вдвое больше своих людей, если не втрое...

Нет, надо открыто вступить на плотину, пусть враг взрывает ее. Этим самым он затопит те проклятые восемь дивизий. А если немцы не отважатся на это, то поневоле дадут возможность полкам Шумакова перейти на правый берег, где они вместе с другими дивизиями повиснут на вражеском фланге и принудят немцев бросить свои закопанные танки и бежать или окружают их, захватят в котел, из которого есть только два выхода — смерть или плен.

Шумаков был уверен, что десятки тысяч людей, которых это спасло бы, построят вместо разрушенного не один ДнепрогЭС. А главное — останутся живыми людьми, они дороже, чем вещи.

Особенно раздражало его то, что он не мог никому высказать свои мысли. С командирами полков или офицерами своего штаба он не мог об этом говорить. Обсуждать с подчиненными решения, исходившие от тех, кому он сам подчинялся,— это противоречило его пониманию военной дисциплины. Оставался только Штукаренко, с ним Шумаков мог беседовать как с равным. Но и с ним об этом говорить не хотелось: Штукаренко украинец, и такие рассуждения Шумакова о Днепровской ГЭС могли его оскорбить.

Поневоле Шумаков начинал чувствовать себя отгороженным незримой стеной от того, что происходило вокруг. Это тоже выводило из равновесия — больше всего он любил общество людей, дух товарищества, умел его поддерживать и уважал. Теперь же он сам избегал своих привычных собеседников, чтобы случайно не заговорить о том, что его волновало. Да и они в такие минуты сторонились, замечая, что командир дивизии не в духе.

Дел было мало. Начальник боевого обеспечения не приходил со своими постоянными жалобами на нехватку снарядов определенного калибра и не просил вмешаться и звонить в штаб армейского тыла: на фронте дивизии стреляли редко, снаряды были почти не нужны. Дивизионные врачи не требовали принять меры к расширению санитарных подразделений — если вокруг почти не стреляют, откуда быть

раненым? Даже начальник оперативного отдела не приходил — никаких боевых операций дивизия не вела, больше занималась политучебой, слушала доклады политруков.

Да, здесь, на Днепре, шла удивительная война. Враг стоял напротив, но ни одна из сторон не предпринимала попыток продвинуться вперед, не боялась проникновения врага в свои тылы, почти не выказывала признаков своего существования. За два с половиной года войны у Шумакова не было такого случая. Приблизившись к плотине, война внезапно будто устала и заснула.

В тот день, когда Шумаков вернулся в Моргуны после своей поездки в полк для встречи с Мироненко, почти никто не приходил и не звонил. Штукаренко не было — он вернулся с плотины и сразу же уехал на правый фланг, где должен был провести совещание с политработниками. Шумаков достал из чемодана томик Толстого и, лежа на койке, рассеянно перелистывал. Он почти не понимал прочитанного — все время откладывал книгу и возвращался к мыслям, которые не переставали его беспокоить.

Вдруг послышался зуммер полевого телефона, стоявшего на столе, и Шумаков резко поднялся, уронив книгу. Когда он вернулся и поднял ее, из книги выпала фотография — портрет Сабины.

Шумаков опустился на постель и долго сидел, держа карточку в руке. Он не смотрел на нее — это лицо было ему знакомо до мелочей, а чтобы ясно увидеть его, как живое, достаточно только вспомнить, подумать о ней.

Лучше бы эта карточка сейчас не выпадала. Лучше бы тихо лежала там, как постоянно лежит где-то в глубочайших недрах памяти притихшее воспоминание о Сабине. Эта карточка всегда с ним, в третьем томе Толстого, в кожаном чемодане, на самом дне. Он знает, где она, но старается в руки не брать. Шесть лет, три тысячи километров, неодолимая железная стена, построенная из жестокости, крови и предрассудков, которыми почему-то так гордится современный мир, вместо того чтобы краснеть от стыда, отделяют его от этого лица.

Лучше бы карточка не выпадала из книги и не будила чувств, которые лишь причиняют боль и отвлекают от дел текущего дня. Он там, где должен быть сейчас, — на войне, это поддерживает надежду на встречу. Значит, не надо отвлекаться. Ни к чему это. Ни к чему.

В дверь постучали. Шумаков поскорее раскрыл книгу — чтобы спрятать карточку между страницами. На пороге появился Штукаренко и, уже войдя, спросил:

— Можно?

— А, привет! — Шумаков поднялся. Карточка опять выпала из книги и, медленно переворачиваясь в воздухе, легла у ног Штукаренко.

Ну вот, сейчас, он поднимет ее и спросит — кто это? Хотя зачем спрашивать — Штукаренко знает, что у Шумакова в Испании было что-то такое... Как-то в минуту благодушной откровенности он сам проговорился, и тот не мог не понять. Да и достаточно было лишь взглянуть на продолговатое тонкое лицо с большими открытыми гла-

зами, на пышные волосы, развеянные ветром, и все становилось ясным без слов.

Штукаренко медленно наклонился, поднял фотографию и, не взглянув на нее, протянул Шумакову. Спасибо. Очень тяжело было бы что-нибудь объяснять, оправдываться или неловко улыбаться. Шумаков взял карточку из рук Штукаренко, спрятал в книжку.

— Ну, Иван Семенович, поздравь! — воскликнул Штукаренко и улыбнулся, будто и не заметил растерянности Шумакова.

— С чем?

— Только что звонил генерал Головки — мне присвоено очередное звание.

— Да ну? Поздравляю полковника Штукаренко! — искренне обрадовался Шумаков. Обнял Штукаренко и весело похлопал по костлявым плечам.

— Спасибо, спасибо.

— С тебя магарыч.

— Ну что же, водка у меня есть.

Шумаков молча открыл свой чемодан, достал пузатую бутылку с яркой этикеткой.

— Эта штука будет посерьезнее! Как раз для такого случая.

Штукаренко взял в руки бутылку, похожую на графин.

— «Наполеон»... — прочитал он. — Откуда такое добро?

— Старшину Цыганкова знаешь? Такой черт, достанет из-под земли.

Они выпили по стопке французского коньяку без закуски. Коньяк был старый, душистый и крепкий. Шумаков налил по второй. Молча чокнулись маленькими гранеными стаканчиками.

Сейчас Штукаренко заговорит о событиях на плотине. Расскажет о неудаче группы Харкевича, хоть Шумаков уже знает это — Рудь доложил. Придется спорить о таких вещах, которых не хочется касаться. Плотина, восемь немецких дивизий и прочее. Фетиш вещей, стремление спасти святые руины ценой десятков тысяч человеческих жизней и тому подобное... Неужели он только для того пришел, чтобы напроситься на поздравление?

— Подходящий коньяк! — крикает Штукаренко, отхлебнув из граненого стаканчика.

— Французы понимают толк в этих вещах, — гудит Шумаков, а сам думает: сейчас Штукаренко перейдет от французских вин к испанским... Не то, так другое, наверно, не миновать...

Но Штукаренко начинает рассказывать, как его отец когда-то гнал самогоном и даже не горилкой, а оковитой, как когда-то называли запорожские казаки. Черт, вот крепкая штука! Надо быть здоровым, как бык, и храбрым, как запорожский казак, чтобы выпить чарку этого бесовского зелья!

Молодец Штукаренко. Тактичность и понимание того, что сейчас творится в душе, — за это его можно уважать. Точит лясы, говорит о чем угодно, но о том, что больше всего интересуется, — ни слова.

Молчит, даже если не согласен, уважает мысли и взгляды других. А что касается Сабины... Наверно, понимает, что это у Шумакова большое место... Зачем касаться чужих ран? Молодец Штукаренко!

Шумаков ходит по комнате, вдруг он останавливается сзади своего замполита, теперь уже полковника, и одной рукой обнимает его за плечо.

— Ну, за тебя! — говорит он и подает Штукаренко третью стопку.

— Как говорят грузины, аллаверды!

И они выпили по третьей.

В это время слышен зуммер. Штукаренко протягивает руку и снимает трубку полевого телефона.

— Позвольте доложить: отправляемся, — слышен голос Харкевича.

— Благословляю. Когда вернетесь — позвоните. Разбудите, если буду спать.

Штукаренко кладет трубку. Шумаков понимает, кто звонил. Он знает и то, что Харкевич со своими ребятами собирается делать. Но Штукаренко ничего ему не говорит — Шумакову нравится и это. Как заместитель — должен был сказать, но как человек — считает: лучше помолчать. Не стоит принуждать кого бы то ни было к участию в том, с чем тот не согласен. Добьемся своего — тогда увидим, кто был прав. А пока ложись на меня и отдыхай. Разумеется, если можешь, думая об этом день и ночь, отдыхать.

— Ну что ж, пора на боковую, — поднимается Штукаренко.

— Я еще почитаю.

— Просвещайся, — Штукаренко жмет руку комдиву и медленно выходит.

Шумаков делает несколько шагов по комнате и опускается на койку. Томик Толстого лежит на столе. Между страницами — карточка Сабины. Та самая, которую он когда-то вырвал из ее рук...

5

К одному человеку Шумакова всегда особенно тянуло. Это был майор Терещенко — командир триста сорок четвертого полка, входившего в состав его дивизии.

Лично его Шумаков, собственно, и не знал достаточно близко: майор прибыл из армейского резерва и принял полк всего лишь несколько месяцев назад. Он проявил себя как опытный командир и под Медведевкой, и под Моргунами, но от других командиров полков ничем не отличался и расположение командира дивизии заслужил не этим.

Как-то, еще далеко от Днепра, Шумаков неожиданно приехал на командный пункт Терещенко. Полк уже пять дней вел тяжелые наступательные бои и, как и остальные части дивизии, был изнурен и обескровлен. Наступление фактически захлебнулось, полк уже не мог продвигаться дальше, но и остановиться не имел права — отдых

давал врагу время создать оборонительный рубеж, который потом пришлось бы прорывать ценой крови.

Как раз в этот момент на участке появились вражеские танки. До сих пор на участке дивизии у немцев танков почти не было, и внезапное появление их означало, что враг перебросил сюда какую-то новую часть.

Командарм приказал во что бы то ни стало выяснить номер танковой части и место, откуда она прибыла. Но все старания перехватить какие-нибудь сведения из переговоров по радио или узнать об этом иным каким-нибудь путем ни к чему не приводили. Надо было добыть «языка» и заставить его говорить.

В таких случаях почти всегда выручал старшина Цыганков, рожденный и незаменимый разведчик. Выручил он и теперь. Переодевшись в немецкую форму, он благополучно пробрался во вражеские окопы, подстерег какого-то обер-лейтенанта возле его блиндажа, заколол финкой часового, а самого обер-лейтенанта приволок на спине прямо к Терещенко.

— Ну что, опять ваш Цыганков отколол номер? — спросил Шумаков, входя в полуразрушенный блиндаж, где еще пахло чужим духом: отбили его у немцев только прошлой ночью — и дух этот выветриться еще не успел.

— Гений! — в восторге воскликнул Терещенко.

— Где же его трофей?

— Эй, кто там! — крикнул Терещенко. — Приведите пленного.

— Есть! — ответил кто-то наверху.

Мины перелетали через блиндаж и тяжело бухали за косогором. Там были позиции полковой батареи, но вершина косогора защищала их, и Терещенко особенно не беспокоился. Батарея не отвечала на этот вялый огонь, чтобы не выдать себя и ударить неожиданно, когда опять появятся вражеские танки.

В углу сидел на корточках телефонист и монотонно вызывал «Орхидею», а экзотический цветок не отвечал. Когда «Орхидея» наконец отозвалась, он устало, почти не меняя тона, сказал:

— Ну и свинья же ты, Свирид, я тебя кличу, кличу, аж в горле дерет, а ты припухаешь, как поп после обедни! — И, выслушав ответ, наверное еще более яркий, добродушно огрызнулся: — Да не лайся, будут твои огурчики, Иван уже поехал на грядки, подвезет.

Все были в батальонах — и замполит Костюк, и парторг Вольский, только начальник штаба капитан Суриков склонился над какой-то таблицей и делал пометки красным карандашом.

— Хоть бы газету кто принес, — с досадой сказал Терещенко. — Почтальона нашего вчера снарядом накрыло.

— Пожалуйста, свежая, — Шумаков расстегнул шинель и достал из внутреннего кармана номер «Красной звезды».

— Вот спасибо, товарищ полковник! Пять дней не видел газеты. Пока почтальон был жив, некогда было читать, а теперь затихло — нет почтальона. — Он взял газету, устало развернул и только теперь

вспомнил: — Извините, товарищ комдив, может, чаю выпьете? Вот термос.

— Нет, спасибо. Через полчаса надо ответить, откуда эти танки взялись.

Терещенко сложил газету и взглянул на первую страницу, стараясь охватить ее взглядом всю целиком. Потом еще раз развернул и стал просматривать внутренние страницы. Шумаков подошел к капитану Сурикову. Бывший колхозный бухгалтер, полный, с гладкой красной шеей, поднялся.

— Сидите, сидите. Потери во втором батальоне велики?

— Немалые, товарищ полковник. Там и до появления танков не густо было.

— Тыл перетряхните. У вас там еще кое-кто слоняется без дела.

— Трясли, товарищ полковник. На передовой уже и вершки и корешки.

— Я ничего не подкину, так и знайте. Есть, но не дам.

— Вам виднее, товарищ комдив.

Вдруг позади кто-то вскрикнул. Шумаков и Суриков быстро взглянули на телефониста и сразу же поняли, что крикнул не он, а Терещенко, который стоял позади. Все мгновенно повернулись к командиру полка.

Терещенко стоял, прижав измятую газету к лицу, а плечи его мелко дрожали. Ни Шумаков, ни Суриков не могли ничего понять — еще несколько минут назад Терещенко был спокоен.

— Что случилось? — Шумаков подошел к нему.

Майор Терещенко отнял газету от лица. Оно было бледное, мокрое от слез, глаза широко раскрыты.

— Елена... — простонал он. — Елена...

Терещенко швырнул газету на пол и выбежал из блиндажа. Шумаков поднял газету, взглянул на снимок, напечатанный посередине страницы: большая груда трупов женщин и детей, изувеченных, растерзанных... А на переднем плане лицо, совсем отчетливое, с кровавым пятном на виске. И подпись: «Зверства фашистов в селе Гомоны, освобожденном нашей армией».

— Гомоны... Да ведь майор родом из Гомонов! — догадался вдруг телефонист.

— Елена — его жена, — тихо сказал капитан Суриков.

Теперь все было ясно. Шумаков тщательно сложил газету и положил на стол. Еще мгновение постоял и вышел из блиндажа вслед за Терещенко. Вдали он увидел старшину Цыганкова — вместе с часовым тот вел пленного обер-лейтенанта. Майор Терещенко бежал им навстречу, держа в руке пистолет.

— Застрелит! — услышал Шумаков из-за спины голос Сурикова.

— Стой! Стой! — крикнул Шумаков.

Но Терещенко, не оглядываясь, бежал навстречу пленному.

Шумаков тоже побежал, но не успел сделать и десяти шагов, как услышал несколько выстрелов подряд: Терещенко всадил в пленного всю обойму.

Это было ужасно, не менее ужасно, чем то, свидетелем чего Шумаков был в блиндаже несколько минут назад...

Когда он подошел к Терещенко, тот стоял, опустив голову, и бессмысленно смотрел на убитого немца.

— Что вы сделали? — тихо, но властно спросил Шумаков.

Терещенко молчал.

— Вы понимаете, что наделали? — повторил Шумаков, уже теряя над собой власть.

Терещенко все еще молчал, уставив безумные глаза на убитого.

— Ну хорошо... пойдём, — Шумаков примолк и взял майора Терещенко за рукав. Тот пошел за ним покорно, должно быть еще и теперь не понимая, где он и что с ним. — Так мстят они, а не мы. Это безрассудно, — голос у Шумакова звучал хрипло и после каждого слова срывался.

Они медленно шли к блиндажу. Может быть, в ответ на выстрелы Терещенко или по другой какой-нибудь причине немцы бросили на косогор несколько мин. Когда они просвистели вверху, ни Шумаков, ни Терещенко, ни Цыганков, шедший позади, не пригнулись.

У блиндажа Шумаков остановился:

— Старшина Цыганков!

— Слушаю, — понимая, что случилось непоправимое, тихо отозвался Цыганков.

— Сегодня в восемь доложите мне, откуда у них танки.

— Есть!

— Любой ценой. Ясно?

— Ясно, товарищ комдив. Разрешите выполнять?

— Выполняйте.

Цыганков исчез за деревьями.

Шумаков с тихим укором проговорил:

— Любой ценой... Эх, вы! — Он посмотрел на бледное лицо Терещенко, по которому теперь опять катились крупные слезы, падая в прибитую пылью, приотптанную траву.

6

Цыганков почти никогда не ходил за «языком» ночью. За время войны он изучил привычки и склонности немцев и твердо убедился, что лучше всего действовать в полдень, когда к вражеским окопам подвозят обед. Ровно в двенадцать к ним всегда подъезжала кухня, солдаты оставляли позиции и хватались за котелки. Возле кухни выстраивалась длинная очередь, и в окопах не оставалось никого, кроме одиночных наблюдателей. Но и они следили невнимательно — чувствовали запах жареной свинины. Именно в это время Цыганков и взял большинство своих «языков».

Безошибочно используя немецкую пунктуальность в деле питания, Цыганков разработал и техническую сторону своих операций. В рискованные походы он всегда брал только Разина и Мухитдинова.

Вдвоем с немолодым, но ловким и жилистым узбеком он врвался во вражеский окоп; огромный и необыкновенно сильный Разин выполнял роль носильщика — он ждал неподалеку, пока управятся Цыганков и Мухитдинов, и, как только те появятся с оглушенным «языком», взваливал его на плечи и одним духом летел к своим окопам.

На этот раз Мухитдинова не было. Пришлось прихватить с собой другого разведчика, сержанта Воронцова, но он оказался не таким толковым и проворным, как Мухитдинов. Он погиб сам и чуть было не подвел Цыганкова. Это и было то самое — «любой ценой»: за безрассудный поступок Терещенко заплатил Воронцов.

Когда Цыганков и Разин вернулись из разведки только вдвоем, Терещенко понял, что натворил. Каждая смерть потрясает, даже в бою, а если ты сам виновен в гибели солдата, здесь уже не скажешь, что жертв на войне не миновать, и не сошлешься на неосторожность погибшего.

Терещенко жил на войне, как и все: надеялся, что вернется домой живым, и верил в то, что встретит людей, которых любил. Родители у Терещенко умерли давно, остались сестра Люба да его Елена. Женился он на ней недавно — прожил вместе меньше года, и началась война. И вот ее нет, он знает это наверняка, сам видел мертвой, хотя лишь на газетной странице. Но сомнения быть не могло — ее нет. И погибла, как мученица.

За кого же он теперь будет воевать? За кого положит голову, когда настанет и его время?

Терещенко лежал на сырой соломе в углу глиняного блиндажа и думал. Там, под косогором, он потерял контроль над своими поступками, теперь он терял власть над своими мыслями, и они уводили его в темные углы, из которых не было выхода.

Шумаков вернулся на свой командный пункт, понимая, что в таком состоянии Терещенко командовать полком не сможет. Лучше бы его на время заменить, но этого Шумаков делать не стал, боясь, что Терещенко ошибочно истолкует такую меру. Он решил попросить Штукаренко съездить к Терещенко и побыть с ним.

Штукаренко был на левом фланге и, услышав хрипловатый голос комдива, удивился:

— Мы же договорились, что там будешь ты!

— Съезди, прошу тебя.

— Ничего не понимаю...

— Увидишь — поймешь, — таинственно сказал комдив.

Шумаков не мог и не хотел объяснять Штукаренко того, что сейчас творилось в нем самом в связи с поступком Терещенко. Как командир дивизии, он обязан был наказать командира полка, но вместе с тем никто не понимал его так, как сам Шумаков. Газетный снимок, так потрясший Терещенко, поразил в самое больное место и его. Ведь та, которую он любил, но вынужден был оставить в далеком испанском городе, возможно, тоже разделила судьбу жены Терещенко. Может быть, Сабина погибла еще тогда, когда он отплывал от Барселоны... А если ей и удалось спастись в первые часы катастрофы, то

мучилась в фашистской тюрьме. Может, еще и жива, да разве ее муки не безнадежны? Разве судьба Елены Терещенко чем-нибудь отличается от ее судьбы?

Он понимал Терещенко и не мог его наказать.

Штукаренко не знал, почему Шумаков настаивает, но допытываться не стал. Просит,— значит, есть причина, а если не говорит, какая именно,— это тоже его дело.

Идя ходом сообщения на командный пункт полка, Штукаренко услышал разговор, который насторожил его. Из узкого ответвления от главной траншеи доносился голос Цыганкова, инструктировавшего новых разведчиков, присланных вместо тех, кого забрал на плотину лейтенант Рудь.

— «Языка» надо не брать, а красть,— говорил Цыганков. — Берет только дурак, который себя не жалеет. А умный выкрадет и себя под пулю не подставит. А как лучше выкрасть? Вот, к примеру, вам надо из чьего-нибудь кармана вытащить кошелек. Когда вы в карман полезете? Тогда, когда хозяин зазеваётся! Скажем, разиня садится в вагон, поставил ногу на ступеньку и подталкивает наверх чемодан. Человек думает о чем? Как бы ему поскорей занять место в вагоне. Вот и не зевай, запускай руку в карман и хватай кошелек. Так и с «языком»: немец о чем думает в двенадцать часов? О жареном поросенке и ста граммах шнапса.

Штукаренко слушал и внутренне улыбался. Он знал, что Цыганков попал в полк прямо из тюрьмы. И все-таки что-то в его аналогии возмущало. Как политработник, он не мог пройти мимо такого способа воспитания бойцов.

Он свернул за угол. Разведчики сразу увидели его и вскочили. Цыганков щелкнул каблуками и отрапортовал:

— Товарищ комиссар, взвод разведчиков проводит занятия. Командир взвода — старшина Цыганков.

— Слышал, как вы проводите занятия. Интересно...

На лицах бойцов появились еле уловимые улыбки.

— Значит, по-вашему, армия — это шайка карманных воров, или как?

— Позвольте доложить, товарищ комиссар, по моему способу потеря будет меньше. — Цыганков смотрел на Штукаренко своими красивыми, нагловатыми глазами.

— Занятия прекратить. Вечером явишься ко мне.

— Есть, товарищ комиссар! — И, обращаясь к своему взводу: — Разойдись!

Штукаренко пошел дальше. Случай этот скорее развеселил его, чем обеспокоил. И все-таки он решил намылить шею Цыганкову, чтобы тот забыл о своем прошлом раз и навсегда.

Он раскрыл дверь блиндажа и опять замер от удивления. Возле стола, спиной к нему, стоял майор Терещенко и, запрокинув голову, не отрываясь, пил из глиняного кувшина, а в помещении стоял тяжелый дух самогона, словно здесь был винный подвал.

— Товарищ майор,— проговорил Штукаренко, помолчав.

Терещенко не отозвался и продолжал пить, будто ничего не слышал.

— Товарищ майор! — Штукаренко гаркнул так, что голос его чуть было не сорвался.

Терещенко покачулся, отнял кувшин ото рта и оглянулся ослобвел. Он был совсем пьян, но сумел поставить кувшин на стол и что то пробормотал.

Штукаренко стало ясно: с ним говорить не о чем.

— Отстраняю вас от командования полком, — проговорил он четко, не уверенный, однако, в том, что Терещенко его понял.

Он вышел из блиндажа и чуть было не налетел на Сурикова.

— Примите временное командование, — приказал Штукаренко начальнику штаба и быстро зашагал по ходу сообщения.

Шумакова он застал на его командном пункте и доложил обо всем, что видел в полку. Комдив молча выслушал и сказал, что поедет к Терещенко сам и во всем разберется.

Так и не понял Штукаренко, зачем он его посылал, если сразу же поедет сам...

С тех пор прошло несколько месяцев, Терещенко внешне успокоился и давно уже снова был командиром полка. Но то, что он пережил за несколько дней, пока полком командовал Суриков, оставило след даже на его внешности: соломенные усы опустились ниже, а лицо вытянулось, стало грустным. Приказы и распоряжения, которые он и раньше отдавал коротко и четко, стали еще короче, а голос тверже, фразы отрывистее.

И во взглядах его произошел перелом. Лишившись человека, ради которого жил на свете, Терещенко незаметно для себя самого стал переносить свою любовь на других людей, стал внимательнее к нуждам и требованиям своих подчиненных. Он теперь как будто раздавал всем чувства, которые старательно собирал и копил в сердце, чтобы отдать одному человеку. Самому ему ничего не нужно было, словно личная трагедия, которую он пережил, очистила его и освободила для глубоких раздумий о судьбе людей в военном аду. И хотя сам в себе этой перемены не замечал, ее заметили все, кто был рядом.

Но никто этой перемены не мог понять так глубоко, как Шумаков, который внезапно — на примере Терещенко — убедился, что все эти годы переживал то же самое. Случай с майором лишь обнажил и объяснил ему его собственные чувства, и оттого он полюбил Терещенко и никогда не пропускал случая посидеть с ним в свободную минуту. Терещенко, разумеется, не догадывался, почему комдиву нравится именно он. Да и не знал он, что Шумаков у него бывает чаще, чем у других. Полк его приближался вместе с другими полками к Днепру, наступление требовало постоянного вмешательства командира дивизии в дела каждой части... Вот он и ездит, и бывает каждый день на передовой.

И Шумаков тоже старался если не скрыть, то, по крайней мере, не подчеркивать свое отношение к Терещенко.

Смерть Мироненко сразила всех на крохотном островке не только потому, что семнадцать человек, среди которых большинство — женщины и дети, остались без надежного вожака. Когда человеку шестьдесят и у него разрывается сердце не из-за того, что оно вялое и старое, а потому, что переполнено отвагой, смерть его трагичнее любой другой и может ошеломить.

Все растерялись и примолкли, будто оказались без весел среди большой воды. Но, собственно, так оно и было: Мироненко знал капризы днепровского течения, как опытный мореплаватель, который умеет вести свое судно под парусами даже против ветра. Ему было точно известно, где именно ударяется вода в подводные скалы и бросается назад, на север, чтобы затем опять свернуть и принять свое естественное южное направление. Знал он, где надо спуститься на воду, чтобы течение вынесло в нужное место. Он изучил бесчисленные заливы и плавни Днепра, раньше чем они стали заливами и плавнями, исходил своими босыми ногами землю, которая со временем стала дном.

Почти весь день Соломия просидела у тела мужа. Она не проронила слезы, и лишь глаза ее застыли в немой и безысходной тоске. Моложе Карпа Сидоровича на тринадцать лет, она прожила с ним счастливую жизнь, защищенная от многих превратностей его силой и житейской мудростью. Суровая и молчаливая, она мужественно переносила свою тяжелую утрату.

Когда смеркалось, Соломия подошла к Любви Степановне.

— Где же его похоронить? — спросила почти шепотом.

Это были ее первые слова за весь день.

— Может, что-нибудь изменится, и мы перевезем тело на берег. Надо подождать.

— Тогда будет поздно, — вздохнула она. — Когда бои начнутся, придется хоронить других.

Любовь Степановну поразила ее суровая рассудительность.

— Что же делать?

— Выход всегда есть, — ответила Соломия. — Да и когда еще начнутся бои, неизвестно. Карпо, наверно, знал...

— Он уже нам этого не расскажет, — вздохнула Любовь Степановна. — Это его тайна.

— У него от меня никогда не было тайн, — ответила Соломия опять почти шепотом, но с удивительной решимостью.

Через некоторое время снизу поднялся Кузьма Иванович и подошел к ним.

— Пойдем вниз, — тихо сказал жене. — Ярошенко приказал всем собраться.

Любовь Степановна поднялась.

— А вы посидите здесь, Соломия?

— Нет, нет, я пойду тоже, — резко поднялась и она.

— Может, вам лучше подождать? — посоветовал ей Стороженко. — Мы быстро вернемся.

— Нет, нет.

Они спустились к воде по доске, служившей вместо лестницы. У воды было еще холоднее, чем наверху под стеной. Люди сидели на толстых деревянных балках. Лица чуть виднелись в темноте.

— Все? — спросил Ярошенко, обращаясь к Кузьме Ивановичу.

— Взрослые — все.

Ярошенко с минуту помолчал.

— Наши знают от Карла Сидоровича, что мы здесь, — сказал он. — А какой их приказ нам — неизвестно.

— Этого уже Мироненко не передаст... — вздохнул кто-то.

— Пять автоматов передали, — продолжал Ярошенко, будто размышляя вслух. — И мужчин у нас тоже пятеро... Я думаю, это и есть их приказ. — Последние слова он проговорил громко, с нажимом на каждом слове.

Кузьма Иванович подумал: ведь с Мироненко было бы шесть. Но сомнения своего не высказал.

— Пять человек с автоматами, да еще с такими пропусками, как у нас... — продолжал Ярошенко. — К тому же все местные. А я в охране станции три года служил, знаю, куда кинуться, когда подойдет время.

То, что он говорил, было ясно всем. Впятером перебраться назад в Новое Запорожье, ждать подходящего случая, а когда нужный момент настанет, собрать надежных людей, напасть на немцев с тыла и не дать взорвать станцию.

— А мы как? — спросила Ганна Мельничук. — Мужчины отправятся, а женщины с детьми что делать будут?

Вместо ответа Ярошенко спросил:

— Как Мироненко отсюда на берег возвращался, кто знает?

— Течение здесь крутит, как цыган решетом, — заметил дед Коваль. — Мироненко знал...

— Нет Мироненко! — отрубил Ярошенко.

С минуту все молчали. Вдруг послышался голос Соломии:

— Я знаю. — Соломия вышла вперед. — Здесь вверх тянет до самого Чертова водоворота. А дальше течение двобйтся — в большое русло и в залив, где прятали плот.

Ярошенко не ответил, наверно колебался. Может, потому, что это была именно она — жена погибшего. А может, просто женщине не решался довериться. Но выхода не было, и он подошел к ней.

— Выведете?

— Выведу, — ответила Соломия. — Водоворот начинается как раз против нашей хаты.

Опять наступило молчание. Наконец Ярошенко сказал:

— Можно разойтись. А вы, — обернулся он к Соломии, — оставайтесь.

Любовь Степановна подошла к ней и шепнула:

— Об Ивасике не тревожьтесь, я буду с ним.

Соломия не ответила. Все, кроме нее и Ярошенко, поднялись наверх. В темноте Любовь Степановна нашла Ивасика — он уже спал. Укрыла его своим пальто и опустилась рядом.

Где-то далеко, наверно возле плотины, вспыхнула немецкая ракета — она осветила тихую ширь Днепра, будто нарочно показывая, какой он необъятный. Любовь Степановна прижалась к Ивасику и думала о Соломии и о том, что, возможно, сегодня видела ее в последний раз, как вчера — ее мужа. Думала о судьбе — своей и всех этих людей — и старалась угадать, чей же теперь черед...

8

Как и во время вчерашней вылазки на плотину, Харкевич первым выбрался из бетонного отверстия потерны. Он слышал, как позади тихо позвякивали железные когти на поясе у Ковальчука — вдвоем с Амирадзе они целый день ковали и клепали железные прутья, загибая их, чтобы можно было зацепиться за вершину быка, если удастся до нее долезть. Затем из отверстия вылез Амирадзе. Он что-то спросил у Ковальчука, но вода вырывалась из пробоин плотины с такой силой, что заглушила его слова и ничего нельзя было услышать. Они прошли по карнизу, прижимаясь спинами к стенам, и поползли по гребню.

Заветная точка на земном шаре, куда тянулись все мысли и чувства Харкевича, была рядом — и вместе с тем недостижимо далеко. Когда-то он любил пройтись по пешеходному мосту плотины, особенно после работы. Можно было остановиться на середине и, перегнувшись через железные перила, глянуть вниз — в постоянно действующий кратер бушующего Днепра. Вместе с такой остановкой дорога занимала не больше десяти минут. Он проходил этот путь тысячу раз, иногда по нескольку раз за одну смену, и никогда не считал эти десять минут временем, потраченным зря, — так недолго и так приятен был этот путь.

Плотина за время войны не стала длиннее, но расстояние, отделявшее его от квартиры Клавдии Харитоновны, стало длиннее и тяжелее, чем полет к чужим галактикам.

И что всего удивительнее — в своей жизни Харкевич замечал такие метаморфозы с расстоянием и временем не впервые. Под Териоками, когда он вместе с двумя другими саперами проверял минные поля, до своих окопов тоже было не дальше, чем сейчас до правого берега. Тех двоих вражеские снайперы срезали на месте, сам же он, хоть и тяжело раненный, мог бы доползти до своих. Оставалось метров триста, не больше, но это короткое расстояние, которое нужно было одолеть, казалось опять-таки длиннее космической трассы.

Но под Териоками бушевала настоящая война! Там снайперы не давали поднять голову, а мины рвались вокруг, и тысячи осколков могли пришить человека к земле на каждом шагу. Здесь же почти не стреляли, раз или, может быть, два за час пускали по несколько

снарядов с Хортицы, и все... Наши не отвечали. Одиночные вражеские выстрелы из небольших пушек раздавались над Днестром, как удары котельщика, который клепаёт железный бак или паровой котел. Эти звуки казались Харкевичу мирными и привычными, и они не будили мыслей о войне, а, наоборот, отвлекали от нее внимание. Хотелось выйти из потерны, подняться в полный рост и зашагать через плотину домой. Десять минут — и там. Ему надо поговорить с Ксеной; тогда он не мог ничего выяснить — после всего случившегося она была в таком состоянии, что с нею ни о чем нельзя было разговаривать.

Ночь нависла над плотиной еще темнее, чем вчера. Почти рядом карабкался на пологий склон гребня Амирадзе. От его шапки тянуло низкосортным бензином — смысл все-таки немецкий солидол! Ковальчук продвигался сзади, гремя железными крюками, которые висели у него на поясе, и волок жестяную флягу с керосином, чтобы обмывать тот проклятый трос.

Эта их вторая вылазка была решающей. Если и сегодня не удастся одолеть первый бык и увидеть, что там дальше, то останется одно: положиться на водолазов. Правда, на них тоже мало надежд. Харкевич помнил вчерашний разговор со Штукаренко и понимал: все зависит теперь именно от него.

Но думал он почему-то не об этом. Не выходил из головы Рудь. Он мог бы теперь и меньше интересоваться Харкевича, мог бы и не отвлекать его... Рудь вел себя так любезно, чуть ли не заискивающе. Ох, плохой это знак, если суется к тебе со своей симпатией такой человек, как Рудь!

Часа полтора назад, перед тем как отправиться в эту вторую вылазку, Харкевич проснулся на бревне, но продолжал лежать с закрытыми глазами. Он думал о своих делах, а в дальнем углу потерны Рудь проводил политбеседу — рассказывал бойцам своего взвода о Двенадцатом партийном съезде. Почему именно о Двенадцатом? Рассказал бы лучше о плотине, через которую им придется пробираться на правый берег. Правда, им будет легче, чем Ковальчуку и Амирадзе, — этим двоим придется карабкаться по голым стенам и навешивать веревочные лесенки для всех, кто пойдет следом. И все-таки людям надо знать, что именно они защищают. Двенадцатый съезд — прекрасно, но при чем он здесь?!

— Долго вы будете греметь, черт бы вас задрал! Мешаете проводить беседу! — гаркнул Рудь сердито, вскочив с места.

Ковальчук и Амирадзе превратились в кузнецов: грели паяльной лампой железные прутья и ковали эти самые когти, что звякают теперь на поясе у Ковальчука. Вряд ли они пригодятся. А впрочем — всякое бывает. Железные когти — идея Ковальчука, пусть куют — не стоит связывать инициативу.

— Товарищ лейтенант, нам же через час выходить, — попробовал оправдаться Ковальчук и стал бить молотком потише. Но вскоре он стукнул опять изо всей силы — ведь железо не интересуется политграммой, чтобы оно согнулось, нужен соответствующий удар.

Рудь недовольно пробормотал что-то под нос и заерзал на месте.

Ну неужели он не понимал, что роль его взвода подчиненная, что сам по себе он не будет иметь никакого значения, если Ковальчуку и Амирадзе не удастся влезть на все эти тридцать быков? Подождал съ со своей политбеседой, когти сейчас все-таки важнее, чем все прочее. Станный ты человек, товарищ Рудь. Внешне такой, как все, а сделан из какого-то смешного материала...

Амирадзе подкачал воздуха в паяльную лампу. Пламя сначала зашипело, потом сердито заревело, показывая синий язык. Кому? Не лейтенанту ли Рудю? Он, наверно, и мысли не допускал, что кто-нибудь может смеяться над ним. А лампа все шумела, высовывала синий язык. Хо-хо, товарищ Рудь!

Странно, почему он ни разу не заговорил о том, что оба они стоят почти на пороге родного дома? Ведь здания, которые Харкевич видел в стереотрубу, одинаково близки и Рудю. Может, еще ближе — Харкевич прожил на Днепрогэсе всего несколько лет, а Рудь и родился где-то недалеко, в этих местах. Наверно, стыдится: чего доброго, еще подумают, что родина для него — всего лишь этот маленький клочок земли! Сам-то он наверняка обвиняет Харкевича в такой ограниченности. Знает, что там где-то осталась Сесня, что с нею у него сложные и неясные отношения. Такие, как Сергей Рудь, интересуются всем. Вот и думает, что мир Харкевича ограничен собственным порогом и переступить через этот порог не дает ему обывательская слепота.

Харкевич лежал на своем бревне, повернувшись лицом к Ковальчуку, и с интересом смотрел, как тот, сидя на корточках, неистово колотит молотком. Вдруг опять послышался раздраженный голос Рудя:

— Послушайте, вы! Нельзя ли все-таки потише? — Его колючий взгляд налетел на открытые глаза Харкевича, и язык осекся. — Мы здесь беседу проводим, — стал он чуть ли не оправдываться, — так что... если можно...

— Извини, — сказал Харкевич. — Попробуем тише.

— Да и человек отдыхает! — сверкнул Рудь глазами на Ковальчука.

В том, как Рудь вдруг осекся, встретившись со взглядом Харкевича, как принужденно улыбнулся и изменил тон, чувствовалась лютая злость, он безуспешно старался скрыть ее. Удивительно: почему человек, причинивший кому-нибудь зло, всегда помнит об этом дольше того, кто стал его жертвой? Может, потому, что жертва мечтает лишь об одном — как бы эту беду стряхнуть с себя и поскорее забыть, а причинивший зло всегда настороже — боится мести?

Время приближалось к шести. На дворе, наверно, совсем стемнело: можно было двигаться в путь. Оставалось только поесть.

Харкевич поднялся. Амирадзе, словно угадав его мысль, шепнул:

— Вы еще не пообедали?

— Да, надо перекусить.

— Сейчас! — Амирадзе метнулся в угол, где бойцы взвода обеспечения слушали Рудя, и что-то шепнул на ухо повару Петренко.

— В чем дело? — недовольно остановил свою лекцию Рудь.

— Дело в том, товарищ лейтенант, что надо дать поесть...

— А почему вовремя не поели? — сердито крикнул на него Рудь.

— Дозвольте доложить, — Амирадзе пристукнул своими кирзовыми сапогами и подчеркнуто четко козырнул: — Поесть надо Олегу Ивановичу, а не мне.

— А-а-а... это другое дело! — И Рудь громко провозгласил: — Сейчас, товарищ Харкевич, тебе дадут поесть! — И кивнул повару: — Петренко, обед!

Харкевич сидел на бревне и ел гречневую кашу из концентрата. Он бы охотно выпил и пятьдесят граммов водки, которую вместе с котелком принес ему долговязый повар, но пить нельзя — сейчас он верхолаз и его вестибулярный аппарат должен работать безотказно. Наверно, Петренко с наслаждением потом сам пропустит его пятьдесят граммов. И не удивительно: холод в потерне собачий и главное — сырость пробирает до костей.

В дальнем углу витийствовал Рудь. Эрудиция — можно позавидовать. Цитаты выписал на бумажке, даты помнит назубок... Добрый час вел свою беседу, а может, и больше...

Что у него на уме? О прошлом ведь ни слова не говорит никогда. Да о чем, собственно, говорить, если прошлое миновало? Для меня миновало, а для него?

...Ветер тяжелыми волнами ударяет в лицо, сечет снежной крупой. С Хортицы в плотину целится прожектор, но не страшно — крупа уже заполнила пространство, и луч беспомощно мечется в ней, не в силах пробить дрожащую завесу. Все имеет свою хорошую сторону — даже эта крупа. Тысячами блестящих иголок вонзается в лицо, вихрится как осатанелая, даже голова кругом идет, а вражеский прожектор ослеп и ни черта поделать не в силах!

Все имеет свою хорошую сторону, все...

9

Ковальчук уверен, что лезть должен он, а не Амирадзе. Он вытаскивает затычку из жестяной фляги и вдруг:

— А тряпки забыл...

— Да ну? — испуганно вскрикивает Амирадзе.

— Не бойся, у меня своя шапка есть.

Он действительно забыл взять тряпки, чтобы вытирать трос. Хотя помнить об этом следовало бы Амирадзе — в прошлый раз пострадала его шапка.

— Черт знает что... — ворчит Харкевич.

Ковальчук снимает с головы свою шапку и безжалостно льет на нее керосин. Потом привязывает к ней конец бечевки и бросает шапку на гребень. Другой конец привязан к поясу, там и когти, на которые он возлагает столько надежд.

Ковальчук берется своими большими, сильными руками за трос. Но Харкевич останавливает его:

— Подожди! Без шапки наверху простудишься.

Он снимает свою шапку и протягивает Ковальчуку.

— Нет, что вы! — возражает Амирадзе. Поступок Харкевича он понимает, как намек. Да и неудобно ему — старший останется с непокрытой головой. — Берн мою, — срывает он с головы свою шапку и протягивает Ковальчуку.

Ковальчук иронически усмехается:

— Воробьиный размер мне не подходит.

Амирадзе так и остается стоять с шапкой в руке, а Ковальчук уже подтянулся, уже делает свои первые движения пловца.

— Ну, давай, — говорит Харкевич Амирадзе. Они вдвоем берутся за трос и оттягивают его от стены.

Теперь ясно, что прошлая ночь была репетицией. Они действуют точно, не уговариваясь, словно запомнили первый урок. Ковальчук отталкивается руками от натянутого вдоль стены троса, а ногами переступает по стене, будто идет по ней, стоя перпендикулярно, как муха.

Ковальчук уже высоко, теперь он обвивает трос ногой — словно она резиновая — и повисает, держась только одной рукой. Другой он подтягивает бечевку, к которой привязана шапка, политая керосином. Он достиг того места, где начинается проклятый солидол, и собирается с ним бороться по методу Харкевича. Шапка медленно ползет вверх. Ковальчуку неудобно — двадцатипятиметровую бечевку надо намотать на руку, и он крутит ею, словно разминая сустав. Шапка ползет, покачиваясь, а маслянистые капли керосина падают прямо на голову Харкевича.

— Вытри мне лоб! — кричит Харкевич в ухо Амирадзе, он боится, как бы керосин не попал в глаза.

Трос начинает дрожать, вырываясь из руки Харкевича. Это Ковальчук полез дальше. Значит, керосин все-таки делает свое дело, смывает солидол! Потом трос застывает на месте, и на лицо опять падают керосиновые капли. Через минуту трос опять натягивается...

Так повторяется несколько раз. На сером фоне стены можно различить Ковальчука — он уже высоко, до вершины быка осталось метра два, не больше. Ну и здоровила же этот Ковальчук! Какую силу надо иметь в руках, чтобы так долго держаться наверху, да еще и трос протирать!

Харкевич успевает только подумать об этом, как вдруг грязная шапка падает под ноги. Что это, неужели Ковальчук уронил ее? Или, может, обессилел и собирается спускаться?

— Держи! — приказывает Харкевич, и Амирадзе напрягается изо всех сил, чтобы удержаться за трос.

Харкевич отходит от стены и смотрит вверх. Что там с Ковальчуком? Теперь его можно различить лучше — он маячит темным пятном на фоне почти белого неба. Что он там делает — неясно. Застыл на месте и не двигается, будто решил отдохнуть.

Вдруг трос вздрогнул, вырвался из рук Амирадзе. Харкевич бросается на помощь, но трос уже легко колышется, словно освободился от Ковальчука. Харкевич опять отбегает от стены: что же там случилось?

Он видит: Ковальчук висит уже не на тросе, а на самой стене. Ухватился пальцами за край.

Что он собирается делать? Подтянуться на руках и влезть? С ума сошел! Ведь наверху не за что взяться, да и руки, наверно, так ослабли, что вряд ли выдержат!..

Харкевич застывает, боясь крикнуть, чтобы случайно не испугать Ковальчука. Он чувствует — на лбу тяжелыми каплями выступает холодный пот.

Ковальчук висит долго — по крайней мере так кажется Харкевичу. Наконец он начинает сучить ногами, пытаясь зацепиться сапогами за стену. Стена ровная, как бубен, нет на ней никаких зацепок. Но еще мгновение — и Ковальчук уже на стене.

Харкевич достает платок, вытирает лицо. Фу, черт, как же он умудрился?! Хоть бы своим инструментом воспользовался — этими железными когтями, которые мастерил целый день. Наверно, сгоряча даже забыл об их существовании...

Ковальчук что-то кричит, но внизу шумит вода — ничего не слышно. Сообразив это, он бросает вниз веревочную лесенку и пробует закрепить ее. Потом машет рукой — это означает: можно и остальным лезть на бык.

Харкевич лезет по раскачивающейся веревочной лесенке. При других обстоятельствах он ни за что не отважился бы на это, но пример Ковальчука, который взобрался по голой стене, заставляет его гнать от себя страх.

Вот и он уже наверху. Здесь ветер гуляет еще вольнее, и сухая снежная крупа еще сильнее сечет лицо. Ковальчук лежит на животе и держится руками за противоположное ребро плоской поверхности быка: оказывается, лесенку он привязал к собственному поясу, и Харкевич влез, вися на Ковальчуке. Молодец, не растерялся, додумался, что надо сделать!

Теперь они уже вдвоем держат веревки. Вверх лезет Амирадзе. Через несколько минут все трое сидят на узкой поверхности быка, обессиленные, но счастливые. Ковальчук лежит, как и раньше, наверно, уже и двинуться нет сил...

Так-то, первый бык оседлан. Все-таки это что-нибудь да значит! Впереди их еще много, но если удалось с первым, то ничего невозможного на свете нет.

На Хортице вспыхивает прожектор и заливает мир белым молоком. Хорошо, что сеет густая крупа, врагу ни черта не видно. На всякий случай они припадают к бетону, лежат, затаив дыхание.

И все-таки Харкевич различает контуры соседнего быка, а на нем остатки ферм подкранового моста. Интересно, много ли осталось этих ферм? Может, они есть и на других быках и по ним можно пройти на правый берег? Но тут же Харкевич вспоминает — на другом конце плотины не осталось никаких ферм, правую сторону он хорошо видел в стереотрубу еще вчера. Но часть моста все-таки осталась. Хорошо, что есть это.

Шум воды долетает сюда слабее. Можно почти нормально разговаривать.

— Ну как? — обращается Харкевич к Ковальчуку.

Ковальчук садится, улыбается:

— Жив!

— Руки целы?

-- На двух пальцах ободрал ногти.

— Покажи.

Ковальчук протягивает руку, она вся в крови.

— У меня есть пакет, давай перевяжу,— Амирадзе сует руку за пазуху и достает марлю. Он забинтовывает товарищу один палец, потом другой. Жаль, с такими пальцами Ковальчук уже не верхолаз...

— Молодец ты все-таки, Ковальчук! — не выдерживает Харкевич. — А я было испугался — сорвешься.

— Надо было мне лезть, я легче,— замечает Амирадзе.

— Еще полезешь,— усмехнулся Харкевич. — Быков, слава богу, хватит на всех. — Он поднимается. — Ну что, будем на другую сторону спускаться?

Ковальчук тоже вскакивает, но Харкевич останавливает его:

— Нет, нет, ты держи веревки, а мы с Амирадзе сами полезем.

Ковальчук молча соглашается: все равно лесенку кому-то надо держать.

Теперь Амирадзе спускается первым. На краю фермы, выглядывающей из-за соседнего быка, висит большая бетонная глыба. Страшно становится под нее — вдруг сорвется и полетит! Хотя если не сорвалась, когда взрывали мост, то держится крепко. Он становится на гребень: над головой висят по крайней мере пять тонн.

Амирадзе привязывает лесенку к железному арматурному пруту, вылезшему из бетона, исклеванного снарядами. У него появляется мысль: если связать лесенки наверху, а потом спуститься на ту сторону, откуда они пришли, и закрепить другой конец у подножия быка, то Ковальчуку их не надо будет держать: лесенки будут висеть, словно перекинутые через быка.

Амирадзе говорит об этом Харкевичу. Верно, это выход.

— Давай назад, Амирадзе. Скажи, чтобы Ковальчук спустился на ту сторону и привязал к чему-нибудь. И пусть возвращается в потерну, пальцы полечит и доложит, что дело на мази.

Через несколько минут Амирадзе уже снова здесь. Надо взобраться на ферму. Бетонная глыба, что висит над их головами, угрожает, но другого пути нет. Если бы влезть на нее да ухватиться за погнувшую ферму, на которой она повисла...

Амирадзе поднимается по лесенке, уже висящей на первом быке, и пытается забросить на глыбу железный коготь. Дело опасное — коготь сразу не зацепишь, он скользит по глыбе и падает вниз. Харкевич прижимается к стене, чтобы его не задело ненароком, и смотрит. Амирадзе снова швыряет свою железку, а она срывается — опять и опять.

Наконец ему удается, коготь зацепился за что-то, и крепкий шнур, привязанный к нему, повисает под глыбой. Амирадзе спускается на гребень, несколько раз дергает шнур: держится крепко, можно лезть.

Через десять минут Амирадзе уже наверху. Он привязывает новую лесенку к железной ферме и бросает другой конец вниз.

...Когда Харкевич уже был наверху, с Хортицы несколько раз ударила пушка. Один снаряд разорвался между быками — под ним. Бетонная глыба, по которой они вскарабкались на ферму, оборвалась, с глухим рокотом покатила по пологой поверхности гребня и тяжело бултыхнулась в воду. Она утащила с собой и веревочную лесенку.

Но лесенка уже никого не интересовала: Харкевич и Амирадзе стояли на ферме...

10

Они должны были вернуться в потерну, чтобы доложить Штукаренко о первых успехах и отдохнуть, но уже начинало светать, и с Хортицы могли их заметить. К тому же очень хотелось взглянуть с близкого расстояния на правый берег. Днем, прячась за огромными двутавровыми балками подкранового моста, можно наблюдать без особенного риска. А рассмотреть все очень хотелось, ох как хотелось!

Харкевич решил не возвращаться. Об их успехах скажет Рудю Ковальчук — лейтенант будет бесконечно рад доложить первым. А отдохнуть можно и здесь — хоть и холодно, зато целый день почти на середине плотины. Отсюда видно столько знакомых вещей — памятных и милых сердцу...

Мост маячил впереди. Сейчас еще трудно было сказать, далеко ли по нему пройдешь. Но что бы там ни было, в течение будущей ночи с десятков быков останется позади. Как дальше — неизвестно, наверно, мост разрушен и придется опять верхолазить. Но все-таки ближе к берегу — и то счастье.

Амирадзе спустился на гребень и поднял наверх вещмешок с разными инструментами, которые могли понадобиться для будущих переходов. В вещмешке было с десятков заряженных дисков, несколько жестянок с консервами и буханка хлеба. Позавтракали и расположились отдохнуть.

Лежа на длинном, узком прогоне стальной фермы, закрытый с обеих сторон высокими двутавровыми балками, словно бортами фантастического челна, Харкевич не думал уже о близкой географической точке, к которой недавно летели его мысли. Мешали сорванные ногти и окровавленные пальцы Ковальчука. словно, увидев их, он стал на реальную почву и по-настоящему представил себе все трудности предстоящего дела. Пропасть, над которой он висел, была глубокой и опасной. Чтобы преодолеть ее и выйти на правый берег, надо ободрать и свои ногти, увидеть кровь на своих руках. Но он не жалел рук и не боялся видеть собственную кровь, — никогда не завидовал он тем, кому на роду написано легко достигать цели.

«Написано на роду» — что это такое? Стечение благоприятных обстоятельств? А может, сам такой человек умудряется создать себе благоприятные обстоятельства и сознательно избегает всего, что могло бы осложнить его жизнь?

Там, под Териоками, он мог не пойти на минные поля, мог послать кого-нибудь из своих подчиненных. Не было бы ранения, не попал бы в плен, а затем больше чем на год — в лагерь. Вернулся бы со всеми домой, и все пошло бы иначе... Ксения не терзалась бы, и совесть не заставила бы ее стыдиться своего поступка: она просто не совершила бы его. Даже и сейчас, в эту минуту, он мог бы сидеть в уютном кабинете Наркомата электростанций, ходить каждый день в столовую с теми красными талонами, что остались в пиджаке, и никто не упрекнул бы его ни одним словом, пока Левитан не объявил бы по радио, что правый берег Днепра уже освобожден и Днепрогэс в наших руках. Тогда он мог бы и попроситься в командировку — и не потому, что у него там Ксения. Надо восстанавливать разрушенную станцию, и он объявляет себя добровольцем и энтузиастом, и идет первым, чтобы другие брали с него пример и вынуждены были поехать вслед за ним...

Нет, он так не мог. Под Териоками никто лучше его не знал минного поля. А в Наркомате никто лучше его не знает этой плотины — из всех сотрудников только он, Олег Харкевич, на ней работал, тысячи раз сходил ее вдоль и поперек.

Ветер понемногу утихал, снежная крупа редела и не так сильно колола щеки. Небо на востоке совсем поблекло, тусклый отблеск его медленно переползал на запад, и молоко по нему расплывалось, будто по школьной промокашке, захватывая уже и правобережный горизонт. Начинаясь рассвет. Мир сбрасывал с себя пелену густого тумана, и очертания его постепенно определялись, будто стальной чели, в котором лежал Харкевич, не стоял на месте, а медленно плыл к правобережным пескам.

Харкевич лежал на животе, подпирая голову руками, — так он лежал у моря, когда вдвоем с Ксенией ездил в Гурзуф. Но тогда он смотрел в туманную даль, восхищенный видом предрассветного моря, зачарованный, пораженный. Теперь он лежал, до предела напрягая зрение и мускулы, словно с болью оглядывался на свое прошлое и в то же время старался разглядеть туманные черты таинственного берега, на котором судьба поджидала и его. Ничего не было видно, берег еще полностью не выступил из предрассветной пелены, она висела и колыхалась над ним.

Вдруг что-то глухо зарокотало. Вырвалось тусклое пламя, окрасив бледно-розовым небесное молоко, и донесся тяжелый раскатистый взрыв. В обе стороны покатались металлические волны, взрыв как бы разделился на две части, и одна ринулась вверх по Днепру, а другая вниз к Хортице. Амирадзе лежал сзади, наверно, уже успел задремать. Он приподнялся на локтях, удивленно прислушался.

— Что это?

Харкевич не ответил. Он еще и сам не знал, что произошло. Только по огненному языку, вырывающемуся в молочное небо, он мог приблизительно представить себе, что это было.

— Это на плотине? — услышал он снова голос Амирадзе.

— Нет. Турбинный зал.

Амирадзе больше не спрашивал. Он не совсем понимал, что означает этот взрыв, и только пробормотал с бессильной злостью:

— Вот гады...

Харкевич не отозвался и теперь. Зловещая туча пыли и дыма клубилась над станцией. Отдельные ее части тяжело переваливались, словно укладывались удобнее, и медленно оседали. Наверно, это длилось долго — несколько минут. Наконец туча стала редеть, и дымное пятно постепенно расплылось, стало прозрачным. И по мере того как оно светлело, на нем стал выделяться высокий серый столб. Очертания его темнели, обрисовывались все четче. Харкевич не мог понять, что это такое, и вдруг догадался: тополь! Их тополь, который они когда-то посадили втроем: он, Петя Славчук и Ксения... Да, это он — других поблизости не было.

Неужели Ксения там? Здравый смысл должен был ей подсказать, что близ станции оставаться нельзя. Ведь Ксения не ребенок, Клавдия Харитоновна тоже...

Лишь теперь Харкевич почувствовал: все возможно. Почему он не подумал об этом раньше? На протяжении долгих двух лет он был уверен — Ксения там, и ни разу не приходило ему в голову, что, может быть, ее уже нет не только в этом доме, возле станции, но и вообще нет, как нет миллионов людей, которых поглотила война.

Харкевич жадно всматривался в даль, туда, где молоко рассвета все еще перемешивалось с пылью и дымом. Утро уже почти настало. Да, все могло стать, все... О самом худшем не думалось — сознание не хотело этого допускать. Было бы слишком жестоко, если бы произошло самое худшее. Но все же, если произошло? Он почувствовал в груди тонкий и острый укол.

На горизонте все четче и выразительнее обрисовывались очертания одинокого тополя. Чувство, которое они трое вложили в это деревце, посадив его здесь, теперь стало силой. Незаметно и настойчиво все существо Харкевича приобщалось к чему-то большому и высокому. Темный безлистный ствол на том берегу приковывал к себе всю волю, он что-то говорил, приказывал, и это «что-то» было сильнее любви к отдельному человеку.

Харкевич вскочил на ноги, не думая о том, что с Хортицы его могут заметить, и побежал по узкой полосе фермы. Амирадзе бросил себе на плечи вещмешок и затопал следом. Внизу темнела пропасть, на дне которой вскипала вода Днепра, но Харкевича не пугала высота — он ее не чувствовал и не боялся.

Перед ним лежал один путь — вперед, на ту сторону, где, возможно, еще удастся найти кабель. Перерезать или перегрызть его и предупредить новый взрыв, способный уничтожить все.

Жизнь уже мало значила — ее можно было отдать за большую

или меньшую цену. Другого смысла она не имела, иного назначения для нее не было.

Они добежали до конца, дальше ферма обрывалась, впереди темнела новая пропасть, через которую во что бы то ни стало надо перейти.

Харкевич выхватил веревочную связку из рук Амирадзе, отделил от нее одну лесенку и, привязав к концу фермы, бросил в пропасть. Потом быстро спустился и по пологому склону гребня кинулся к противоположному быку. Амирадзе бежал за ним, неся вещмешок и два автомата.

Уже совсем рассвело. Наступило утро нового дня.

11

Когда глухой гул взрыва докатился до Моргунов, Шумаков решил, что немцы взорвали плотину. Он уже не спал. Поднявшись с постели, подбежал к окну, отвел коврик, которым оно было завешено, взглянул в сторону Днепра. Ничего не было видно. Крутнул ручку телефона и вызвал «тринадцатого» — условный номер майора Терещенко, командира полка, стоявшего на правом фланге дивизии. Передовые части этого полка занимали участок выше плотины, и результаты взрыва прежде всего могли оценить там.

Терещенко взял трубку.

— Что там у вас? — спросил комдив.

— Не знаю. Мне еще не доложили.

— Немедленно выяснить. Через пять минут позвоните.

Шумаков положил трубку и стал быстро одеваться. Оказалось, что сапог нет. Он выглянул в переднюю, но ординарца тоже не было на месте. Вспыхнул мгновенный гнев. Чертов Приходько! Своими заботами о блеске его сапог он когда-нибудь заставит комдива принимать в тапочках командующего армией!

Но сейчас было не до Приходько. Надо немедленно решить, какие принять меры в связи с внезапной переменой обстановки, уяснить, почему немцы взорвали плотину именно сейчас. Ведь на этом участке им ничто не угрожало. Если они даже и заметили на плотине группу Харкевича, ликвидировать ее — дело несложное. Трое разведчиков не могли быть причиной такого важного решения. Тем более что в плавнях держали фронт восемь дивизий, враг не поставил бы их под смертельный удар только потому, что на плотине кто-то появился!

Значит, этих восьми дивизий в плавнях уже нет! Мысль эта родилась неожиданно, сама собой. Она потрясла Шумакова. Конечно же, иначе и быть не могло. Технику бросили в болоте, оставили небольшой заслон, а всю живую силу тайно вывели и натянули нам нос! Теперь немцам ничего не остается, как взорвать плотину на наших глазах и топить наши части в Днестре, если мы попробуем переправиться...

Шумакова бросило в холодный пот. Он возбужденно стал бегать по светелке в своих спортивных тапочках, уже почти не владея собой.

То, что он нарисовал себе в мыслях, казалось ему неоспоримым и ясным, и он уже не сомневался, что враг поставил фронт в тяжелое положение.

Теперь Шумакову казалось, будто он всегда думал, что именно так может получиться, и опасался этого. Хотя в действительности он такого исхода не ждал. Незаметно вывести из плавней такое огромное количество живой силы можно лишь при полной утрате бдительности в наших войсках, а на это трудно рассчитывать. Шумаков хорошо знал, что и там, в плавнях, как и на участке его дивизии, за врагом следят, фиксируют и записывают каждое мало-мальски заметное его движение. А ведь здесь речь шла бы о выводе десятков тысяч людей и о попытке спасти какую-то часть боевой техники...

Но сейчас, встревоженный взрывом, который казался ему прямым признаком именно такого исхода, Шумаков не имел ни возможности, ни времени ставить под вопрос то, что ему казалось несомненным.

Нет, думал он, этого надо было ожидать. Никогда не следует надеяться на то, что враг глуп и не в силах тебя обмануть. Только ограниченные, тупые люди думают, что война — прежде всего винтовка, нацеленная в сердце врага. Военная хитрость и умение обвести врага вокруг пальца — вот главное. Скрытый маневр и тактическая изобретательность — точнейшее оружие. А он ведь предупреждал, что стоять на месте не следует! Не раз говорил — надо переправляться с ходу, не цепляться за мертвый камень. Теперь многим будет ясно, что такое журавль в небе, а что — синица в руках!

На миг его даже обрадовала собственная предусмотрительность. Но он постарался отбросить эту унижительную радость. Надо немедленно дать сигнал к полной готовности дивизии. Разумеется, пока сквозь пролом в плотине, произведенный взрывом, будет лететь бешеная вода, наводить понтоны нельзя: это, наверное, такая лавина, что сможет смыть любую переправу. Но вода сойдет быстро, Днепр перебушует и успокоится. Ночью уже можно будет спустить на воду первый понтон.

Он позвонил начальнику штаба и вызвал его к себе. Пока будет бушевать вода, у него есть время на подготовку. Приказ о переправе поступит из штаба армии, когда он сам получит точные сведения о результатах взрыва на плотине и доложит командующему.

Через несколько минут послышался зуммер — звонил Терещенко. Он доложил, что на участке его полка все, как и раньше, спокойно и что взрыв произошел не на плотине, а чуть ниже. Что именно там взорвали — неизвестно, но плотина стоит на месте.

Шумаков коротко сказал: «Благодарю» — и положил трубку. Гора с плеч... Он сидел возле стола расслабленный, будто сбросил тяжесть, которую держал на себе слишком долго. Вот так штука! Очередная нервная встряска, связанная с ложной тревогой! Вялая улыбка блуждала по его лицу.

Он поднялся из-за стола, подошел к койке и стал ее застилать. Сам он этого никогда не делал, но Приходько, наверно, и до сих пор

нет — он непременно вошел бы, как только услышал, что комдив уже поднялся. Шумаков встряхивал свое довоенное одеяло из верблюжьей шерсти в белую и желтую полоску и с досадой думал о том, что в людях все-таки сидит бес. Если честно признаться, именно этот бес и зашевелился в нем, когда он услышал взрыв. Видно, здорово все-таки засело в нем желание доказать, что надо было переправляться через Днепр с ходу, а не цепляться за плотину, как считали все.

Шумаков наконец кое-как управился с одеялом и начал взбивать подушку. В дверь постучали, и, как всегда, не ожидая ответа, на пороге появился Штукаренко.

— Можно?

— Конечно, заходи.

Штукаренко прошел на середину комнаты, положил на стол фуражку, в которой ходил, несмотря на декабрьские холода, и, придвинув стул, тяжело сел.

— Голова трещит от твоего коньяка, черти бы его побрали! Наверно, французы какого-нибудь зелья в него подмешивают, не иначе.

— Пить не умеешь, потому и трещит,— буркнул Шумаков.

— Пьяница из меня плохой, это верно,— Штукаренко усмехнулся: понял, что Шумаков думает совсем не о том, о чем говорит.

Шумаков положил подушку на постель, но снова взял ее и стал взбивать.

— Что же это ты — сам? Уже и застелить некому? — спросил Штукаренко.

— Приходько куда-то исчез. И сапоги унес, черт проклятый!

— Сидит твой Приходько посреди двора — железки отрывает от носков. Говорит — обдираешь задники.

— Я, кажется, голову ему отдеру...

Штукаренко опять засмеялся, теперь уже громко.

— Голобородько вернется — порядок наведет.

Шумаков пристально посмотрел на Штукаренко. Тот казался утомленным, обеспокоенным, наверно, плохо спал. Длинное, худое лицо стало будто еще длиннее, резкие морщины в уголках рта глубокими бороздами врезались в желтоватые щеки. Даже не побрился, а это с ним бывает редко. Наверно, тоже вскочил, когда услышал взрыв, и пришел так рано из-за этого. Но внешне спокоен. Выходит, знает уже, что на плотине ничего не произошло.

Шумакову стало неудобно за свое раздражение. Он вспомнил, как осторожно Штукаренко разговаривал с ним накануне, и ему стало не по себе.

— Ну, ты не переживай. Особенных оснований волноваться нет,— сказал он примирительно.

Штукаренко не успел ответить: в дверь постучал начальник штаба дивизии подполковник Лемешко. Получив разрешение войти, он появился на пороге и замер.

— По вашему вызову подполковник Лемешко явился!

Шумаков подошел и подал ему руку. Сейчас не хотелось разговаривать с Лемешко, к тому же и причина, по которой он его выз-

вал, отпала. Да и вообще Шумаков его не терпел, особенно с тех пор, как, купаясь однажды в пруду, увидел, из чего состоит искусная прическа начальника штаба. Это было очень смешно — Лемешко погружился в воду с волосами на голове, а вынырнул совсем лысый, с длинными жиденькими косицами на затылке. Вспоминая этот случай, Шумаков всегда представлял себе, как Лемешко вертится перед зеркалом, изобретая свою жалкую прическу. Ему даже досадно было — начальник штаба Лемешко неплохо работает, хотелось бы презирать этого рябого солдафона не только за то, как он пыжится и щелкает каблуками, но и за что-нибудь более существенное.

Но Лемешко все-таки вызван, надо было выходить из положения, подыскивать причину.

— Понтонный батальон подтяните, — сказал Шумаков, не очень уверенный, что это действительно надо сделать. — На всякий случай надо иметь под рукой.

— Слушаюсь, — вытянулся Лемешко.

— А как на ваш взгляд? — повернулся к нему Штукаренко.

— Начальник штаба должен думать так, как думает его командир, — ответил Лемешко.

— Вы считаете, что батальон лучше подтянуть к берегу? — удивленно переспросил Штукаренко.

Ответ Лемешко его раздражал своей почти открытой неискренностью.

— Да, товарищ полковник, я согласен с командиром дивизии.

Штукаренко вопросительно взглянул на Шумакова. Комдив отвернулся, он явно нервничал. Желваки ходили по его смуглым щекам, и Штукаренко понимал, что все это Шумакову неприятно. Конечно же трогать с места понтонный батальон не следовало, немцы пристально следили за ним, как за вернейшим показателем — собирается дивизия переправляться или не собирается.

— Может, не стоит? — осторожно попробовал возразить Штукаренко, обращаясь к Шумакову. — Немцы заметят, чего доброго, спровоцируем их на что-нибудь нежелательное...

Шумаков обернулся к нему. Он не любил, когда при подчиненных обсуждали или ставили под сомнение его приказы. Но теперь он смолчал и согласился.

— Пожалуй... может, и не следует.

Лемешко стоял «смирно» и ждал точного приказа.

— Вы свободны, — сердито буркнул ему комдив.

— Слушаюсь! — Лемешко круто повернулся, еще раз четко поставил ногу и вышел.

— Подведет тебя когда-нибудь твой начальник штаба, — тихо сказал Штукаренко, помолчав.

Шумаков блеснул на него глазами:

— Дело знает. Не подведет.

«Просто чепуха какая-то. Вызвал Лемешко, что-то приказал, тут же отменил приказ и продолжаю разговор со Штукаренко!.. Нет, полковник, бери себя в руки. Так нельзя».

Столб огня, пыли и дыма, взлетевший над зданием электростанции, видели тысячи людей в окопах на обоих берегах Днепра. Необыкновенной силы толчок и долгий гул, прокатившийся по глубокому ущелью речного русла вверх и вниз, слышали даже те жители города, которые попрятались в погребах и подвалах, надеясь переждать и избежать принудительной эвакуации.

Только один человек ничего не слышал и не видел, глубоко погруженный в воду и закованный в бетон чуть ли не у самого фундамента гигантской плотины. Это был Александр Никитич Хохол. Он медленно продвигался в своем костюме легкого водолаза по темной трубе нижней потерны.

Правда, когда раздался взрыв, он почувствовал почти неуловимый толчок, вода как будто вдруг сжала его и сразу же отпустила. Он не забыл, что здесь поблизости, может быть даже рядом, заложены огромные мины. Хохол понимал, что немцы могут включить рубильник когда им заблагорассудится. Но как опытный водолаз он знал: если это произойдет — удар воды в момент взрыва будет таким, что он и подумать ни о чем не успеет, как его раздавит.

После того, что произошло с обоими его помощниками, Хохол решил спуститься в потерну сам. Теперь ему было ясно: в этой захламленной и темной трубе пользоваться сигнальным проводом нельзя. Без него опасно, это верно. Но именно из-за этого провода чуть не погиб Богатырев!

Надо было прежде всего определить, какое расстояние можно пройти при этих необычных обстоятельствах с одним баллоном кислорода. До правого берега примерно полкилометра. Ясно, что пройти туда и обратно с одним баллоном невозможно. Значит, надо создать где-то подальше от входа запас кислорода. Дошел до него, оставил пустой баллон, подключил полный — и иди дальше! Но как включить баллон под водой и как заменить его другим?

Хохол медленно продвигался вперед, отталкивая от себя тяжелые бревна. Сигнального провода не было. Варивода ждал на лестнице — условились, что он спустится в воду на розыски Хохла, если тот не вернется через полчаса. А Александр Никитич будет считать пройденные под водой шаги и, таким образом, хоть приблизительно определит, когда повернуть назад.

Сорок три... сорок четыре... сорок пять... Хохол старается не сбиться со счета. Но все время приходится отгонять посторонние мысли — об Ане, о Голобородько, о своем письме...

Сорок восемь... Сорок девять... пятьдесят... Не сегодня-завтра Голобородько вернется, и все станет ясным, хотя неизвестно, — может, и не все. Если Ани нет в Уфе, дело запутается еще больше. Как ее тогда разыскать, как узнать, что она теперь думает и чем живет, простила ли она его? Может, она в эту минуту задает себе те же вопросы... Пятьдесят шесть... пятьдесят семь...

Он делает отчаянные усилия, гонит от себя все догадки и вопросы, но не может не думать. Его успокаивает только то, что, несмотря на посторонние мысли, со счета он все-таки еще не сбивался. Каждый шаг как-то сам по себе прибавляется к предыдущему, и в мозгу возникает новое число, как будто сознание ведет двойную бухгалтерию: в одной графе записывает посторонние мысли, а в другой подсчитывает пройденные шаги.

Нет, человек не имеет права брать с собой в трудный путь лишний груз! Особенно водолаз, для которого каждый грамм может оказаться губительным. Если солдат, сидя в своем окопе на передовой, думает о том, что дома хата раскрыта и жена без него не в силах ее на зиму покрыть, такие мысли все-таки не могут отвлекать его от вражеского танка, который ползет на него. В танке сидит враг, он стреляет и целится, он ползет и приближается, чтобы раздавить его окоп... Здесь уже не только чувство долга, но и простое чувство самосохранения прогонит посторонние думы, какими бы горькими они ни были, и заставит защищаться, а стало быть, и выполнять долг до конца.

А водолаз не видит врага. Он продвигается шаг за шагом в мертвом царстве тишины, где врага не видно и от мыслей не отвлекает ничто. Его враг — он сам. Если только он не в силах отбросить прочь все постороннее и сосредоточиться. Пятьдесят восемь... пятьдесят девять... шестьдесят...

Зачем он написал это письмо? Без него можно было бы ждать, надеяться. Неизвестность, хотя она и тяжела, все же таит в себе надежду. Ну, подождет бы, попытался бы разыскать Аню, когда кончится война. А до того времени делал бы свое главное дело... Что, если Голобородько вернется и окажется, что Аня даже прочитать письма не пожелала? Сможет ли он после этого быть спокойным и внимательным, если придется вот так считать шаги под водой? Нет, лучше было бы не писать...

Семьдесят два... семьдесят три... семьдесят четыре... Интересно, сколько прошло времени? Конечно, можно сориентироваться по манометру — посмотреть, сколько еще в баллоне кислорода, но разве в такой темноте увидишь что-нибудь? Повернуть? А что, если кислорода осталось больше половины? Запас баллонов надо установить на максимальном удалении, использовать кислород до конца — только так можно добраться до другого берега.

Восемьдесят... восемьдесят один... Надо дотянуть до ста, а потом поворачивать. Сто — круглая цифра, легче запомнить. Да и расстояния все-таки немалое — сто шагов.

Ровно сто. Хохол поворачивает назад. Его немного беспокоит, хватит ли кислорода. Ведь сейчас он для того и отправился, чтобы проверить: хватит или нет? Надо во что бы то ни стало отогнать посторонние мысли и не сбиться со счета. Легкие у него здоровы, если немного не хватит воздуха — не беда. Главное — считать шаги и не пропустить выход наверх.

Пятьдесят шесть... пятьдесят семь... пятьдесят восемь... Хорошо бы иногда останавливаться и ощупывать стену,— может, удалось бы где-нибудь здесь набрести на проклятый кабель. Но задерживаться нельзя — баллон уже почти пуст. К тому же какой смысл? Кабель надо перерезать при входе его в плотину, тогда будешь уверен, что заряд обезврежен. Семьдесят один... семьдесят два... семьдесят три...

На восемьдесят восьмом шагу редуктор словно бы заперло... Хохол попробовал вдохнуть, но захлебнулся — воздух не пошел. Он понял, что не редуктор испортился и не трубка перегнулась — просто кончился кислород, вот и все. Он задержал дыхание и нажал грудью на воду изо всей силы. Осталось десять шагов, и можно свернуть за угол. Главное, не сбиться со счета: минуешь поворот — и поминай как звали!

В голове зашумело. Еще три шага, не больше. Вот он, угол стены, если бы ступени поднимались вертикально, можно было бы вынырнуть наверх, и делу конец. В сердце начались перебои, словно мотор вдруг захлебнулся — заело впускной клапан. Еще последнее усилие, несколько ступеней, и можно сорвать маску...

Мерцает тусклый расплывчатый свет лампы. Не поймешь только — свет пробивается к нему сквозь воду или он уже вышел из воды. Если бы видел Варивода — бросился бы к нему. Значит, он еще под водой и Варивода его не видит. Но теперь дальше нет сил, сознание меркнет, вот-вот готово растаять совсем. Он срывает маску, делает отчаянное усилие — хоть на миг еще задержать дыхание, не глотнуть воды. Но воды нет, он лицом и руками чувствует, что вокруг воздух.словно рыба, выброшенная на берег, широко раскрывает рот, но сдерживается и цедит сквозь зубы. Как голодающий, который понимает: сразу много съешь — смерть.

Через мгновение Хохол уже дышит ровнее и удивленно озирается вокруг. Вариводы нет. Значит, он уже в воде! Ясно: прошло больше чем тридцать минут — и товарищ спустился в потерну спасать своего командира.

Хохол бросается за новым баллоном, отшвыривает пустой и уже готовится примкнуть другой шланг. Он спустился ровно в шесть... Через полчаса спустился Варивода... Сейчас без восемнадцати семь... надо быть наготове, если Варивода вовремя не вынырнет: через восемнадцать минут надо искать его.

Хохол спускается до самой воды и видит: к куску железной арматуры, торчащему из стены, прикручен сигнальный провод Вариводы. Молодец, сообразил, что может разминуться со своим командиром, и пошел с сигналом — на тот случай, если Хохлу придется искать его.

Хохол дергает за провод и замирает, чтобы не пропустить ответа. Провод трижды дергается — Варивода принял сигнал.

Еще несколько минут, и он появляется из-под воды и снимает маску.

Уже семь часов утра. Скоро придет Богатырев с бойцами: они притащат запасные баллоны. В восемь можно будет снова спуститься — теперь уже вдвоем — и начать складывать запас кислорода.

13

Лейтенант Рудь имел достаточно оснований быть недовольным собой. Раздумывая о своей жизни, он не мог понять, почему она сложилась неудачно — почти никогда не давала ему возможности вернуться, сыграть в ней такую роль, какую хотелось бы.

Родился он недалеко от Днепровской ГЭС — на хуторе Триречье, где почти сливаются Каменка, Соленая и Базавлук. Хозяйство у отца было небольшое — корова и пара лошадей, но в январе 1930 года кто-то шепнул ему на ухо, что приближаются серьезные события и люди с таким хозяйством могут пострадать. Старик решил этих событий не ждать: продал на ярмарке в Апостолове лошадемок и корову и вместе с женой и двумя детьми махнул к брату на Урал.

Через год он вернулся, но уже не в свое родное Триречье, а на Днепрострой: решил бросить землю. Стал каменщиком, строил на правом берегу коттеджи. «Раз диктатура пролетариата, нечего ковыряться в земле», — шутил он. Каждый месяц набегал заработок, и общезитие дали неплохое — не то что дрожать за лошадей: отберут или не отберут?

Когда Сергей закончил Екатеринославский строительный, отца уже на Днепрострое не было. Не было и самого Днепростроя, появился Днепрогэс. Отец давно перекочевал на новое строительство — в Саратове закладывали большой завод.

Сергей не был женат. За тридцать лет довоенной жизни ему так и не удалось встретить девушку, которая целиком отвечала бы его требованиям. Почему-то всегда так получалось: если девушка нравилась ему своей внешностью, то не подходила по характеру. Если же она удовлетворяла этому требованию, то отталкивала бесцветной невыразительностью лица или неказистой фигурой. Он не хотел связывать себя, не будучи уверен, что связь — навсегда. Людей, относившихся к таким вопросам, как женщина и семья, легкомысленно, он глубоко презирал.

Поэтому всегда вел себя сдержанно, осторожно. Если двое молодых людей, недостаточно, как казалось Рудю, узнав друг друга, спешили в загс, это вызывало его насмешки. Он считал такую поспешность самой заурядной распушенностью, неумением контролировать себя и очень удивлялся, если этот скорый брак не рушился так же быстро, как возникал, а супруги жили мирно и счастливо.

Рудь не верил порывам чувств, которые, возникнув в людях, бросают их друг к другу с непреодолимой силой, и твердо был убежден, что они в таких случаях просто проявляют слабость, отсутствие воли. Нет, всякое дело, если оно затевается надолго, надо основатель-

но взвесить, трезво обдумать все возможные неожиданности и тогда лишь, если опасаться нечего, браться за него с уверенностью, не рискуя ничем!

Был однажды случай, ему показалось, что он наконец нашел ту самую, которую искал. Это была девушка из рабочей семьи, отец ее был электросварщиком в центральных мастерских. Ему нравилась и ее внешность, и то, что она серьезно относилась к жизни, и то, что была рабочего происхождения. Несколько раз он ходил с нею в кино — она оценивала кинокартины обдуманно и, как ему казалось, верно. Он зачастил к ней домой и подружился с ее отцом. Но совсем неожиданно девушка заявила, что у нее есть жених, служит во флоте на Черном море и она ждет его.

Это был удар не только по его мужскому достоинству, но и по представлениям о людях, особенно о женщинах. Выходит, нет на свете девушки, в которой за внешней скромностью не скрывалось бы лукавство. Молчала, не говорила ни слова, пока он водил ее в кино, а как увидела, что у него появилось к ней что-то серьезное, раскрыла свою предательскую душу!

После этого он стал еще суровее в своих требованиях и уже не смог найти женщины, достойной стать его женой, подругой до гроба.

Не везло ему и по служебной линии — своего настоящего призвания он так и не смог найти. После окончания строительного института его назначили на плотину, где давно уже все построили без него, а он должен был только брать ежедневные пробы бетона и воды. Скучная, неинтересная работа! Он мечтал лишь о том, как бы выбраться наконец из бетонных казематов, по которым ему приходилось лазить целые дни, теряя квалификацию строителя и знания инженера. Потом, когда ему удалось занять место на пульте, где он стал повелителем рубильников и кнопок, владыкой тока в миллионы вольт, оказалось, что у него нет специальных знаний, потому что здесь был нужен не строитель, а энергетик. Он сумел повести себя на пульте так, чтобы не было основания для его увольнения, но чувствовал: настоящим руководителем никогда стать не сможет.

Война тоже не порвала цепи неудач, преследовавших его. Все, с кем он начинал ее, были уже капитанами, один даже вышел в майоры, а он за два с половиной года дослужился только до лейтенанта. Рудь не обвинял никого в несправедливом отношении к себе. Просто все так складывалось, и никто не мог изменить этого обстоятельства. Другие попадали на участки, где можно отличиться, а ему приходилось сначала все время отступать, потом обороняться, а когда дивизия пошла вперед, выполнять задания, где отличиться вообще невозможно. То он долго был в армейском резерве, то, раненный, скитался по госпиталям. Не все родятся в сорочке — что тут поделаешь!

Лишь когда его дивизия подходила к Днепру, стал он наконец начальником дивизионной разведки. Здесь можно было развернуться шире, но произошло это недавно, да и дивизия, подойдя к Днепру, остановилась и активных действий почти не вела.

Рудь понимал: взвод боевого обеспечения — дело серьезное. Ему ясно было, какая на него свалилась ответственность. От его умелых или неумелых действий зависел успех всей операции. Он должен был не только оборонять идущую впереди тройку, но, следуя за группой Харкевича, навесить уже не по одной, а по несколько штурмовых лесенок на каждом взводе, чтобы, в случае нужды, плотину мог оседлать не только его взвод, но и другие, значительно большие подразделения. Правда, приходилось использовать первую лесенку, которую навесил не он, идти по дорожке, проложенной для него Харкевичем, и это не только было неприятно само по себе, но и значительно упрощало задачу его взвода. Все же Рудь старался отогнать такие мысли, поставить себя выше личной неприязни или симпатии к отдельным личностям.

Когда Ковальчук вернулся в потерну и доложил, что удалось форсировать первый бык, Рудь понял: и для него настало наконец время действовать. Обязанности свои каждый боец взвода знал заранее. Связисты взяли на плечи телефонные аппараты и мотки провода, другие бойцы — ящики с патронами, дисками к автоматам и вещмешки. Все собрались у стены в полной готовности.

Надо было доложить, что взвод приступает к выполнению своей основной задачи. Рудь подошел к телефонисту и заколебался. Раньше он докладывал обо всем прямо комдиву, но, после того как Штуркаренко побывал здесь, он, пожалуй, мог бы расценить это плохо. Нет, не следует навлекать на себя гнев, лучше проявить такт, чем рисковать еще и этим. И распорядился, чтобы его соединили с Штуркаренко.

Ковальчук хотел проводить отряд Рудя, но лейтенант приказал ему остаться в потерне, если он Харкевичу не нужен наверху. Достаточно того, что они проложили для его взвода дорогу. К тому же Рудь знает здесь все входы и выходы. А у Ковальчука содраны ногти на руках.

Рудь полез вверх первым. Через несколько минут он уже был на гребне. Небо еще не посветлело, и, хотя уже начинало рассветать, можно было без особого риска встать в полный рост. Пока через квадратную дыру один за другим выбирались бойцы, Рудь стоял на вершине гребня и осматривался вокруг. Он понимал: с быка обзор откроется еще шире, и все-таки не мог удержаться, чтобы не взглянуть жадно на все, с чем в его жизни так много было связано.

То, что он оказался именно возле родного города, было для него обстоятельством далеко не второстепенным. Там, в потерне, другое дело. Там он был занят подготовкой к главному, для глубоких размышлений не оставалось свободного времени, да и присутствие Харкевича давало мыслям особенный ход. Но теперь Рудь стоял лицом к лицу с родным городом, и это не могло не взволновать его.

Сквозь густую белую мглу он увидел немного: слева, вдали, темные очертания Хортицы, с правой стороны — обмелевший, но все же широкий плес верхнего бьефа. Правого берега не было видно, но Рудь знал там все до малейших подробностей. Он различал черты род-

ного города даже сейчас, страшно изуродованные войной. И может быть, впервые после того случая, когда он совсем было собрался жениться, Рудь узнал волнующее чувство, которое можно назвать счастьем.

Он оглянулся. Бойцы уже собрались позади него.

— Все? — спросил он, но шум воды заглушил его голос.

Рудь достал карманный фонарик и, старательно прикрыв стеклышко ладонью, осветил веревочную лесенку, переброшенную через бык.

— По одному... за мной! — скомандовал он уже громче.

И опять первым полез вверх.

14

Бойцы стояли внизу и, подняв головы, следили за лейтенантом. Рудь поднимался быстро, хотя лесенка качалась и он все время ударялся о стену. Надо было спешить, до полного рассвета времени оставалось мало.

Слева от него покачивался стальной трос, и Рудь понял, что группа Харкевича взяла двадцатиметровую высоту с помощью именно этого троса. Лейтенант коснулся рукой его переплетенной стальной поверхности. Как им удалось по нему влезть?!

Следом за лейтенантом поднялись на бык еще двое — Мухитдинов и Головченко. Теперь Рудь приказал втащить наверх пулемет, а затем уже подниматься остальным людям.

Мухитдинов спустил вниз шнур, на гребне привязали пулемет, и вдвоем с Головченко они потащили его наверх.

Опыт подсказал Рудю: прежде всего надо установить оружие, а потом уже двигаться дальше. На вершине быка опасно — если с Хортицы увидят пулемет, собьют его одним снарядом. Он огляделся, увидел нависший над другим быком пролет подкранового моста и решил, что там будет безопаснее. Вдвоем с Головченко они спустились на другую сторону быка, а Мухитдинов на том же шнуре спустил им пулемет и ящик с лентами.

Но оказалось, что на другой бык подняться нельзя — лесенки на подкрановый мост нет. Рудь встревожился, не понимая, что это значит. Он перебежал к другому краю гребня, но лесенки не было и там. Значит, Харкевич и Амирадзе не взяли другой бык? В таком случае где же они сами? Он еще раз пробежал по гребню, оглядел и ощупал стену: лесенки не было. И никаких следов Харкевича и Амирадзе.

Рудь не знал, что и подумать. Он стоял в нерешительности, стараясь понять, что все это может значить.

Вдруг подбежал Мухитдинов:

— Вот она! Лежала вот здесь, под стеной.

Он держал в руке веревочную лесенку.

«Вот как! Влез на мост, а лесенку сбросил, чтоб мы не могли его догнать! — мелькнуло у Рудя в голове. — А я ведь догадывался:

доверять ему нельзя!» Он не знал и не мог знать, что еще час назад снаряд сорвал бетонную глыбу, висевшую под фермой, и сбросил ее на гребень вместе с штурмовой лесенкой.

В первую минуту Рудь решил попытаться форсировать голую стену быка. Но зацепиться было не за что, и, поглощенный подозрением, он не подумал, как же одолел это препятствие Харкевич. Выход был один: надо немедленно доложить Штукаренко об исчезновении Харкевича. Во-первых, не его обязанность — форсировать быки, во-вторых, как старший, доложить обязан он, а не кто-то другой.

Рудь приказал Мухитдинову и Головченко остаться возле пулемета, а сам полез назад через первый бык. Уже совсем развиднелось, его могли заметить вражеские наблюдатели, но поступок Харкевича был подозрительным, медлить Рудь не мог ни минуты.

Когда из потерны он позвонил Штукаренко, полковник обеспокоился:

— Где вы нашли лесенку?

— На гребне, внизу.

— А не сбили их немцы в воду?

— Остались бы какие-нибудь следы, товарищ полковник.

Да, что-то наверняка осталось бы. Не может быть, чтоб в воду полетело все. Осталось бы хоть что-то, Рудь прав.

— Подождите меня — я выезжаю.

Штукаренко забежал к Шумакову и сказал, что едет на плотину. Об исчезновении Харкевича он смолчал, хоть и не имел права этого делать: если подозрения лейтенанта Рудя основательны, то произошло чудовищное ЧП, о котором надо немедленно доложить выше. Но ему все время не давала покоя мысль — почему лесенка оказалась внизу? Если человек решил бежать к врагу, разумнее было бы поднять лесенку вверх, чтобы никого не навести на мысль о бегстве и не указать направления, куда ты удрал. Разве не правильнее в таком случае оставить не лесенку, а какие-нибудь другие следы, которые говорили бы, что ты погиб?

Когда светло, подползать к шлюзу опасно, но это был лишь личный риск, и Штукаренко пополз.

Удивительно: его не обстреляли ни на стенах шлюза, ни на карнизах. Плохо следят. Убеждены, что на плотине никого нет. Правда, снежок затянул все вокруг жиденькой пеленой и затруднял наблюдение.

Спускаться в потерну ему не понадобилось — Рудь уже висел на железных крюках и, отбросив плащ-палатку, закрывавшую отверстие, высматривал Штукаренко. Тот махнул рукой, давая знать Рудю, что бы выбирался наружу. Решил рисковать до конца: если его не заметили до сих пор, не заметят и дальше.

Снежок весело вихрился на гребне, он кружил волнами на ровной поверхности бетона, оставляя отчетливые следы, будто кто-то проводил пятерней. Снег густел и уже почти затянул молочной завесой Хортицу, оставив только расплывчатые, еле видимые издали очертания острова. Снежинки незаметно плавилась на разгоряченном лице,

но, не переставая думать о Харкевиче, Штукаренко не замечал их колючих прикосновений.

Оба направились прямо к быку. Рудь опять полез вверх первым, и, пока он лез, Штукаренко приказал связистам тянуть за ними телефон. Он хотел немедленно же доложить Шумакову, если действительно произошло то, чего опасался Рудь.

Но первым, кого они увидели, когда спускались на другую сторону, был Харкевич. Вместе с Головченко и Мухитдиновым он закреплял концы лесенки, которая теперь уже свисала прямо с фермы подкранового моста, минуя остатки бетонной глыбы, разбитой снарядом. Рудь остановился, растерянный и беспомощный, не зная, что сказать.

— Здравствуйте, товарищ Харкевич,— протянул Штукаренко руку Олегу Ивановичу.

Харкевич оглянулся, отдал конец шнура Мухитдинову и перелез через обломок глыбы, который, падая, зацепился за выступ и остался наверху. Харкевич был утомлен, улыбка, появившаяся на его лице, когда он увидел Штукаренко, была вымученной и вялой.

— Далеко забрались? — спросил полковник и, не выпуская руки Харкевича, повел его к противоположной стене. Он сел на гребень и указал на место рядом: — Садитесь.

Харкевич опустил на холодный бетон и оперся головой о стену.

— Добрались почти до середины... — он еле шевелил языком. — Дальше не смогли.

— Здорово! — старался подбодрить его Штукаренко. — Середина — это половина.

— Да, — вздохнул Харкевич. — К сожалению, только половина.

— А где Амирадзе?

— Остался там. Не знаете, как Ковальчук? Если бы втроем — мы наверняка прошли бы дальше. Там есть вентиляционное окно. Если встать на плечи один другому, дотянулись бы и влезли внутрь. — Харкевич еле справлялся с усталостью.

— Это уже акробатика, — засмеялся Штукаренко. — Вы в такой пирамиде когда-нибудь участвовали?

— Нет. Вот если бы Ковальчук...

Штукаренко хотел спросить у Рудя, как там с Ковальчуком, но решил с ним сейчас не говорить. Лейтенант искоса поглядывал на них издали и жалко ежил, проклиная сам себя.

— А Ковальчук что — ранен?

— Сбодрал ногти.

— Ну, чтобы держать на плечах пирамиду, ногти ему не нужны. Я пришлю его вам.

Штукаренко поднялся, но Харкевич остался на месте.

— Лейтенант Рудь! — крикнул Штукаренко.

И хотя шум воды, долетавший снизу, заглушил голос, Рудь почувствовал, что зовут его.

Он подбежал и, на ходу козырнув, наклонился.

— Переправляйте людей вперед, — крикнул Штукаренко ему почти в самое ухо. — Установите связь с потерной, я буду там. — Штукаренко старался не смотреть на Рудя.

— Слушаю! Разрешите выполнять?

— Идите.

Штукаренко вернулся к противоположной стене и наклонился над Харкевичем. Тот сидел с закрытыми глазами.

— Пойдемте в потерну. Вам надо отдохнуть.

Харкевич открыл глаза и вяло усмехнулся:

— Я, наверно, не дойду...

Харкевич тяжело поднялся и заковылял вслед за Штукаренко. Через двадцать минут он уже лежал на своем бревне и спал мертвым сном.

15

Рудь готов был провалиться сквозь землю, когда увидел, что Харкевич вернулся. Он не жалел, что так получилось, но его самого это поставило в сложное положение. Если бы не Штукаренко, если бы Рудь не успел ему доложить, дело решилось бы просто. Но он уже доложил, а Харкевич вернулся и, как видно, вовсе не собирался удирать. Что мог после этого Штукаренко подумать о Руде? Наверняка считает его паникером или перестраховщиком, а может, и хуже: клеветником, который по каким-то причинам хотел бросить тень на человека. Что Штукаренко так и думал, сомнений не было. Рудь только не знал точно, какой из трех возможных взглядов на него избрал полковник. Недаром ведь так сердечно, дружески подсел к Харкевичу и ни разу даже не посмотрел в сторону Рудя, хоть лейтенант все время был перед глазами.

Рудь чувствовал себя так, будто его уличили в краже. Ему хотелось объясниться, но как это сделать? Подойти к Харкевичу и поздороваться за руку? Штукаренко, чего доброго, подумает, что он не только возвел на Харкевича клевету, но еще и бесовски подлизывается к нему. Стоять в стороне, делая вид, будто, несмотря ни на что, остался при своем мнении? Такое поведение могло вызвать у Штукаренко если не прямое возмущение, то целый залп вопросов, и Рудю пришлось бы объяснять, почему он продолжает относиться к человеку с подозрением, хотя никаких оснований для этого нет.

Он решил не подходить. Лучше пусть считают его перестраховщиком, чем подлизой и ничтожеством. Тем более что осторожность, пусть даже лишняя, на фронте не может быть наказуемой, и нелегко доказать, что она опаснее благодушной доверчивости и обывательской слепоты.

Одиноко стоя в стороне и размышляя над тем, как поступить, Рудь все больше убеждался, что вести себя так у него есть основания. Он не выискивал их специально, чтобы оправдать себя. На взгляд Рудя, такие основания существовали независимо от того, подойдет

он сейчас к Олегу Ивановичу или не подойдет. Перебирая их в уме одно за другим, он все больше поддавал под влияние каждого и наконец пришел к выводу, что не только имеет право, но и обязан относиться к Харкевичу с осторожностью.

Ему припомнилось комсомольское собрание, на котором он выступил против Харкевича. Он хорошо знал себя и помнил, что выступил тогда честно — как требовали его убеждения. И разве не оказался он в конце концов правым? В плен во время финской кампании попал все-таки не кто-нибудь, а именно Харкевич. Разве этот факт не показывает, что тогдашнее его недоверие было обоснованным? Разве можно требовать, чтобы недоверие его испарилось только потому, что сейчас Харкевич вернулся? Нет, Рудь считал себя правым и все больше убеждался, что не должен просить прощения или замалчивать несуществующий грех. Что же касается Штукаренко, то, если он будет требовать объяснений, их можно будет выложить ему без всяких колебаний и с чистой совестью.

Рудь страшно удивился бы, если бы ему сказали, что Харкевич о нем думает почти так же и в какой-то мере не доверяет ему. Нет, конечно, Олег Иванович не считал, что Рудь может предать или совершить заранее обдуманый позорный поступок. Его отношение к Рудю было сложнее, и одним словом или одной краской он не смог бы все передать.

Если бы неделю назад в Москве заместитель наркома Одинцов послал сюда не Харкевича, а кого-нибудь другого — из осторожности, потому что в личном деле его не все в порядке, — Олег Иванович болезненно пережил бы незаслуженное недоверие, но в конце концов нашел бы всему объяснение. Что подделаешь: война! Но сейчас на войне он, а не Одинцов, и, если бы заместитель наркома проявил недоверие сейчас, это Харкевича возмутило бы. Он уже не жалел, что не сказал Одинцову о Ксене и обо всем, что связывает его с правым берегом Днепра: какое, собственно, дело до этого Одинцову? Теперь Харкевич считал себя таким же солдатом, как и все, кто окружал его, и никто не имел права подозревать, что на войне, которую ведет его народ, для него, Олега Ивановича, существуют посторонние интересы.

Что же касается Рудя, то здесь дело было еще яснее. Если бы Харкевичу кто-нибудь предложил понять Рудя, он с возмущением отбросил бы такое предложение, считая недопустимым компромиссом даже попытку разобраться, прав или не прав Рудь. Кто мог знать Харкевича лучше, чем он сам знал себя? Он мог поручиться, что ни сегодня, ни шесть лет назад не имел в мыслях ничего не только плохого, но и такого, о чем неприятно было бы вспомнить... Может быть, в нем говорит излишняя самоуверенность, преувеличенное чувство собственного достоинства? Но ведь, за исключением единиц, люди к нему относились хорошо! И к нему лично, и к тому, что он делал, даже к стихам, которых он немного стыдился и почти никому не показывал. Какое же имел право Рудь истолковывать их по-своему?

А его пребывание в плену? Разве можно обвинять солдата, честно и смело исполнившего свое боевое задание, в том, что его не убили. Если бы Харкевичу сейчас сказали, что это была ошибка, он с негодованием ответил бы, что только мерзавец может такие ошибки допускать.

Харкевич знал одно: тот, кто его в чем-нибудь подозревает, — несправедлив и по собственной или чужой воле творит вредное дело, обвиняя невинного — его. И речь идет не о недоразумениях, а о злой воле отдельных личностей, которые в одном случае действуют в силу своего собственного ничтожества, а в другом — из сознательного желания вносить постоянный разброд в жизнь и сознание общества.

Рудя он относил к тем, кто причиняет вред в силу своих личных эгоистических свойств. Для этого Харкевичу было достаточно вспомнить, как Рудь воспользовался его стихотворением, чтобы занять место на пульте управления Днепрогэса. Если бы кто-нибудь вздумал утверждать, что, выступая на комсомольском собрании, Рудь и в мыслях не имел использовать эту ситуацию, Харкевич все равно осудил бы его. Он не видел никакой разницы между практическим использованием чужого несчастья и прямым подкопом под того, кто тебе мешал. И поэтому он считал Рудя классическим образцом той категории людей, которые больше всего на свете любят выглядеть победителями и поэтому стараются фабриковать побежденных, пользуясь проверенными приемами демагогии.

В последние дни Харкевич реже думал о Руде. Мысли были заняты новым, очень важным делом. Но, встречая Рудя, он втайне злорадствовал. То обстоятельство, что проложить путь через плотину поручили именно ему, Харкевич считал торжеством справедливости и наказанием человеку, который любил красоваться наверху. Он верил, что зло, пусть самое вероломное и хитрое, в конце концов все равно оказывается побежденным. Так получилось, по мнению Харкевича, и с Рудем. Если бы он тогда не выжил его с пульта управления и продолжал работать на плотине, сейчас путь прокладывал бы не Харкевич, а именно он, Рудь. А сделал подлость — вот и получай! Иди теперь с автоматом позади, охраняй меня! Лично Харкевичу не нужна была слава спасителя Днепрогэса, а если она все-таки тешила его, то лишь потому, что не досталась Рудю. «Вот так, — размышлял он, — всегда и бывает: роешь яму невинному и сам рано или поздно попадешь в нее».

Может быть, Харкевич и не уделял бы столько внимания этим раздумьям, если бы своим поведением Рудь не принуждал его к этому и сейчас. Он был с Харкевичем то стыдливым и заискивающим, то обращался к нему с притворной непринужденностью. А иногда делал вид, будто не замечает его. Харкевич был уверен: Рудь потому и не знает, как себя держать, что сознает свою вину, но не имеет мужества признать это. И каждый раз, оказываясь с ним рядом — то на гребне, то в полутемной потерне, — Харкевич чувствовал к Рудю отвращение, презирал его.

Харкевич ничего не знал о том, как жила Ксения после всего, что с ним произошло на финском фронте.

Когда он неожиданно вернулся в квартиру Клавдии Харитоновны, то застал в своей комнате Петра Славчука. В первую минуту он не придавал этому значения. Петро — его друг, что же удивительного в том, что он застал его у себя дома? Харкевич бросился к нему и горячо обнял, но Славчук стоял словно окаменелый. И в этом тоже не было ничего удивительного — ведь Харкевич вернулся домой так неожиданно, не имел даже денег на телеграмму, чтобы предупредить о своем приезде. Так что ясно: никто его не ждал, и Славчук потрясен.

Олег Иванович бросил на стул свою рваную, грязную шинель, оставшуюся у него еще с финской войны, прошедшую с ним все дальнейшие мытарства, и радостно спросил:

— А где Ксения?

— Где же ей быть? На работе,— почти шепотом ответил Славчук.

Харкевич бросился в переднюю к телефону и стал вызывать плановый отдел управления. Славчук так и остался стоять, как стоял. Он ни о чем не думал, даже ничего не видел. В глазах застыли истоптанные солдатские ботинки, обшарпанные серые обмотки с бахромой по краям, выгоревшая, протертая на спине старая гимнастерка... Даже не лицо — исхудалое, небритое, почерневшее,— а вот эти выдававшие виды лохмотья поразили его и сказали больше, чем измученное лицо товарища.

Чувство неискупимой вины оглушило его, стыд прожег насквозь. Славчук стоял, склонив голову, будто раздавленный.

Нет, он не в силах еще раз взглянуть в глаза друга, еще раз увидеть сияние его счастливого неведения, радость возвращения из небытия, которую он вынужден будет убиты!

Славчук подошел к столу, рванул к себе ящик и нащупал под бумагами свой маленький браунинг.

В управлении еще не подошли к телефону. Олег держал трубку у уха и ждал. Вдруг в комнате резко прогремел выстрел...

Славчук лежал на диване, лицо его было спокойно, словно он заснул. Из простреленного виска тоненькой струйкой била кровь.

У Олега подломились ноги. В страшной тишине он услышал слабый дребезжащий шепот из передней и опять бросился к телефону. Трубка лежала на полу, из нее чуть слышно шелестело: «Алло, алло».

— Говорит Харкевич... Со Славчуком несчастье... Скажите Ксене... — проговорил он и положил трубку на место. Только теперь, случайно назвав имя своей жены рядом с фамилией Славчука, он все понял.

Ксения не приходила домой ни в тот день, ни на завтра, когда Петра хоронили. За гробом шли Харкевич, родители Ксени, которых

вызвала из Киева Клавдия Харитоновна, и еще несколько новых товарищей Славчука. Ксени не было.

Похоронив Петра, Харкевич забежал на свою пустую квартиру за чемоданом и уехал на левый берег, к своим знакомым. Ночами, лежа на чужом старом диване, он ломал голову, пытался понять: как это могло случиться? Начался июнь сорок первого года, Харкевичу минуло двадцать девять лет, и он уже способен был понять многое из того, в чем не смог бы разобраться, когда уезжал из дому. Теперь ему стало ясно, это по его вине тогда, перед отъездом на финскую, между ним и женой пробежал холодок. Его замкнутость имела, конечно, свои причины, но это было жестоко — молчать часами, когда рядом, ничего не понимая, страдала жена. Она ведь могла отнести все и на свой счет. Она любила его, а он оскорблял ее своей сдержанностью.

Но неужели это могло стать причиной всего, что случилось позднее? Он знал Ксению, понимал: если она и может совершить необдуманный шаг, то уж подлость — никогда. Значит, что-то здесь произошло? Что именно?

Десятки предположений... И лишь самое естественное, простое не приходило в голову — то, что его чуть ли не два года считали погибшим, что она уже рассталась с последними надеждами и что только Славчук мог стать единственной опорой в ее беде. Лишь поняв это, Харкевич решил пойти к Ксене.

Когда он вошел, Ксения сидела в кресле. На нее страшно было взглянуть, такой у нее был измученный вид. Рядом на постели сидела Любовь Степановна, а профессор Стороженко шагал по комнате из угла в угол. Харкевич переступил порог и остановился, глядя на Ксению. Она тоже оцепенела. Казалось, вот-вот вскочит и убежит. Кузьма Иванович взял под руку Любовь Степановну, она тихо заплакала и вышла вместе с мужем. Ксения еще с минуту тревожно, почти испуганно смотрела на Харкевича, потом плечи ее задрожали от глухих рыданий.

— Что ты, Ксюша... Что ты, милая... — беспомощно шептал он, стараясь ее успокоить.

Наконец Ксения затихла. Оба молчали — не было сил заговорить.

— И все равно, Ксюша, надо жить, — сказал наконец Олег.

— Нет, нет... — быстро ответила она, глотая слезы, будто знала, что он хочет сказать, и заранее приготовила ответ. Трудно было понять, что она имела в виду: их совместная жизнь невозможна или не стоит жить вообще.

— Ты расскажешь... я же все пойму... — он старался пробудить ее.

— Нет, нет... — так же быстро и так же возбужденно ответила она, и опять было неясно — что значит это «нет». Не хочет ничего рассказывать? Не верит, что он способен ее понять?..

— Ну что же... Может, нужно время... Я подожду...

И опять быстро, испуганно:

— Нет, нет!

Что — нет? Почему — нет? Неужели есть поступки, которым нельзя найти объяснений, мысли, которым дано сковать человека навсегда, лишить его выхода в огромный и полный жизни мир? Неужели возможен железный круг, запертый на тысячи замков, которых не в силах отпереть ни здравый человеческий смысл, ни воля, ни сама жизнь? Чепуха, жизнь отпирает все замки, а если нет ключей — ломает! Теперь Олег понимал Ксению, представлял, что именно она должна чувствовать, попав в положение, где судьей является лишь собственная совесть. Только время сможет развеять темноту отчаяния.

Он вышел. Ксения сидела словно каменная. И уже когда он открыл наружную дверь, опять послышались громкие отчаянные рыдания.

Харкевич постоял минуту в нерешительности и ушел. Если бы он и вернулся, все равно ничто не изменилось бы. В природе нет таких лекарств, которые могли бы ослабить эту боль. Ни лекарств, ни слов, ни поступков.

Но он верил: надо жить. И это были не слова самоутешения, а убежденность. После всего, что он изведal, жизнь устраивала ему еще один экзамен — надо было его выдержать.

На другой день он пошел в отдел кадров. При иных обстоятельствах его приход, может быть, и не порадовал бы никого, но в воздухе уже чувствовалось горячее дыхание близких событий, многих мужчин призывали в армию, их надо было заменить. Харкевича назначили на старое место — на эту самую плотину. Как и раньше, ему приходилось целый день лазить по ее внутренним каналам и переходам — брать пробы бетона на фильтрацию воды. Работа не интересовала его — особенно как энергетика, но здесь почти всегда стояла тишь, и он имел возможность обдумывать все в ожидании, пока призовет его голос, который он слышал и во сне.

Голос не звал, милый и знакомый голос Ксении. Высокий, звонкий и вместе с тем властный голос...

Когда грянула война и настало время вывозить на восток оборудование Днепрогэса, ему поручили сопровождать эшелон. Харкевич решил попрощаться с Ксенией, хотя уверен был, что уезжает ненадолго.

Свидание их было коротким — опять Ксения была не одна. В комнате были Любовь Степановна и Кузьма Иванович, они не решались оставить Ксению и вернуться в Киев, хотели еще немного побыть с нею в Новом Запорожье.

Харкевич посидел минут пятнадцать, говорили о мощном и угрожающем наступлении немцев под Львовом. Все другое не имело значения, мысли всех были заняты лишь этим.

Он попрощался с Любовью Степановной и профессором Стороженко, а Ксения вышла с ним в коридор. Как только они закрыли за собой дверь, Ксения обняла его и поцеловала.

— Возвращайся здоровым, — сказала на прощание, и опять неясно было, что она имела в виду — подавала ли надежду или просто желала ему доброго пути.

Харкевич проснулся. Штукаренко в потерне уже не было. Он резко поднялся, почувствовав на себе чей-то взгляд, и чуть не сбил с ног Хохла, склонившегося над ним.

— Я уже сколько раз подходил — спите как убитый! — улыбнулся Хохол.

— А который час?

— Скоро три.

— Неужели? — воскликнул Харкевич. — Надо было разбудить.

— А зачем? Снег прекратился, видимость прекрасная. Сейчас наверх все равно не полезете. У вас два часа в запасе — пока стемнеет.

Харкевич сел на бревно, потер лицо пальцами, стараясь освободиться от сонного оцепенения. Из дальнего угла подошел Ковальчук, держа в руке пару сапог и комплект обмундирования.

— Это для вас. Вчера ночью принесли.

— Ну! — радостно воскликнул Харкевич. — Замечательно!

Он разложил свое обмундирование на бревне, кирзовые сапоги оглядел со всех сторон.

— Кажется, великоваты.

— Зимой в самый раз: сапог не шапка.

Харкевич снял свои хромовые, быстро скинул все гражданское, переселся в новое. Ему приятно было в военном, и он этого не скрывал.

— Теперь совсем другое дело! — в восторге воскликнул он.

Осталось переложить из пиджака бумаги и документы. Карманы в гимнастерке были маловаты: не помещалась Ксюшина фотография и карточка с талонами на обед, которую он увез из Москвы. Талоны были ни к чему — он их сунул обратно в карман пиджака. Фотографию взял в руки, не зная, что с ней делать.

— Она? — спросил Хохол.

— Да, — ответил Харкевич.

— Можно глянуть?

— Пожалуйста.

Хохол взял фотографию. Аниной карточки у него не было. Еще во время эвакуации из Таллина пришлось несколько часов болтаться в Балтийском море, после того как баржу, на которой он плыл, потопил вражеский эсминец. Карточка погибла.

— Красивая женщина, — сказал Хохол и отдал карточку Харкевичу. Он помнил, что она где-то по ту сторону фронта, и, опасаясь, что излишнее любопытство будет Харкевичу неприятно, вдруг сказал: — Я решил устроить склад баллонов в нижней потерне. Без такого запаса на пути мы до правого берега не доберемся.

— А где вы собираетесь устраивать свой склад? — спросил Харкевич.

— На расстоянии перехода с одним баллоном. Только трудно будет их менять в воде. Но все равно другого выхода нет. Надо будет что-то придумать...

— А сколько у вас в одном баллоне кислорода?

— Я думаю, метров двести пройти можно. Больше — трудно.

— А знаете что? — Харкевич умолк, размышляя.

— Ну?

— Нельзя ли пройти чуть-чуть побольше? — Харкевич вытащил из кармана сложенную восьмеро схему плотины, которую привез из Москвы. — Вы ничего не заметили, когда прогуливались под водой? — спросил он.

— Нет, а что?

— Вперед идти труднее, назад — легче.

— Неужели? Не заметил.

— Потерна имеет небольшой подъем к середине. Потом начинается постепенный спуск. — Харкевич развернул схему — на ней ясно было видно, что нижняя потерна до середины медленно поднимается вверх, потом так же опускается вниз.

— Ну и что из этого? — спросил Хохол.

— На середине потерна выше уровня Днепра. Значит, там должен быть незатопленный островок и воздух.

— Черт возьми... здорово! — Хохол уже все понял.

— Вот там и надо устраивать наш склад.

Это было интересное открытие. Если там есть годный для дыхания воздух, можно свободно снять маску и подключить новый баллон. И разумеется, передохнуть на сухом месте, перед тем как двинуться дальше.

— Вы — гений! — воскликнул Хохол.

— Благодарите строителей. — Харкевич сложил схему и спрятал в карман.

Хохол присел рядом.

— На войне важно найти хоть маленькую щель. Один пролезет — откроет дорогу всем. Если на середине потерны в самом деле есть пригорочек с воздухом... Может, тогда вам и лестницы на быки не нужны будут, а?

— Оттуда до немцев все равно еще четверть километра.

— Дотянем. Если запас баллонов будет — ручаюсь.

— А назад?

— На войне не думают про «назад».

— Ну а все-таки?

Хохол нахмурился и умолк.

— Не знаете, не вернулся еще Голобородько? — спросил он вдруг.

— Кажется, нет.

— Ну что же, надо готовиться в путь. Я перерисую вашу схему, не возражаете?

Хохол поднялся и пошел к противоположной стене, где Богатырев и Варивода хлопотали около своего снаряжения, Харкевич смотрел ему вслед. Странно устроен человек — не знает, вернется ли живым, а думает о том, что привезет Голобородько из Уфы! Разве не

все равно, что будет в письме, если тебя уже не будет? Оказывается, нет!

Он сидел, опершись локтями на острые колени, и смотрел на кирзовые голенища своих новых сапог. Очень хотелось бы знать, о чем теперь думает Ксения. Досадно, если наконец подойдешь к ее двери, и тут какая-нибудь идиотская пуля возьмет да и клюнет тебя в лоб...

Он взял карточку, лежавшую на бревне. Можно перегнуть по-средине, тогда она войдет в карман гимнастерки, но переломится лицо. И в пиджаке нельзя оставить — хочется, чтобы была рядом. Он решительно загнул полоску вниз и другую — сбоку, переломил картон и оторвал. Лицо Ксюши сохранилось. На продольной полоске осталась коса, а на нижней — почти вся блузка. Жаль — он любил эту толстую, почти белую косу. Досадно, что теперь Ксения осталась без нее. Харкевич положил обе полоски на карточку и спрятал в карман.

— Товарищ Ковальчук, — окликнул Харкевич. — Амирадзе на плотине не соскучился? Как вы думаете?

— Поскучает, — ответил тот. — Сильней обрадуется, когда вернемся.

— Прихватите для него лишнюю банку консервов.

— Это можно.

Ковальчук отошел в дальний угол, где Петренко возился возле своего котла. Харкевич видел, как они оба размахивали руками, доказывая что-то друг другу: наверно, торговались. Наконец Ковальчук вернулся с банкой в руке.

— Вторую, проклятый, не дает. Норма, говорит.

— Что же, закон есть закон.

— Можно получить еще двести граммов.

— А сменять на консервы нельзя?

— Попробую, — обрадовался Ковальчук и опять побежал в угол. Через несколько минут он вернулся и принес еще одну банку с мясом.

— А может, лучше было бы ему двести граммов принести? Наверху холодно... — запоздало заколебался Харкевич.

— Еще свалится с быка!

— Правда. Лучше консервы.

Ковальчук положил обе банки в карман своей лежавшей на полу шинели и принялся опять за веревки. Надо связать еще несколько лесенок — на всякий случай.

Что же, если встанут один другому на плечи, то, может, и удастся схватиться за вентиляционное окно, пролезть внутрь. Так можно далеко забраться. Конечно, если немцы не устроили каких-нибудь помех и там. И разумеется, если не засели сами в ожидании таких умников, как Харкевич и его ребята. Но, судя по всему, они поджидают их на берегу, а не на пути — иначе должны были бы оставить за собой готовые лесенки, на случай если придется удирать. Нет, здесь немцы ждать не станут, это точно.

— Товарищ Ковальчук,— окликает Харкевич.— Знаете, нам теперь, наверно, пригодятся паши железные когти.

— Неужели!

— Наша пирамида может оказаться недостаточно высокой, придется дополнить ее когтями и зацепиться за вентиляционное окно.

— Вот видите!— радостно восклицает Ковальчук и опять принимается за свои лесенки.

Харкевич достает из кармана листок бумаги и конверт и пристраивается возле бревна писать. Надо отправить письмо в наркомат. Пусть сдадут его комнату в гостинице, она, кажется, не скоро понадобится ему. Вещи можно перевезти к кому-нибудь из сотрудников, все равно к кому. Но, собственно, какие там вещи: старый костюм — грош ему цена, несколько сорочек и одеяло.

Харкевич перечитал письмо, сложил его треугольником, как делали на фронте, написал адрес наркомата и отдал Петренко. Повар всегда возле своего котла: отправит, если кто-нибудь ночью пойдет на берег.

18

Полоса встречного течения была неширокая: метров двадцать — двадцать пять; среди большой воды, что медленно катилась вниз, она ясно выделялась, как след корабля, только что прошедшего с большой скоростью. Казалось, где-то на глубине могучий и стремительный поток, с разгона налетев на стену мельницы, тяжело поворачивается, всплывает наверх и тут же бросается назад, словно перепутав направление. Да, собственно, так и было, только ударялась вода не в стену мельницы, а в значительно более крепкую стену, стоящую глубоко под водой. Сколько помнила себя Соломня, неподалеку люди брали камень из длинного карьера. Постепенно он углублялся и все больше вытягивался в длину, окруженный высокими отвесными скалами. Когда в тридцать втором залило окрестные низины, над карьером закружилась кипящая полоса, забурлила и, пенясь, поплыла против течения.

Как только стемнело, мужчины перенесли тело Мироненко вниз, к пролomu в стене, где стояли на привязи два плота — большой, на котором он переправлял сюда людей, и малый, тот, что привез его самого к мельнице. Тело положили на меньший и привязали к бревнам — Соломня собиралась переправить его на левый берег, чтобы похоронить. Там же она рассчитывала узнать, как быть с женщинами и детьми, оставшимися в развалинах мельницы. Попутно Соломня должна была вывести к Чертову водовороту и тот плот, на котором разместились мужчины, решившие с оружием в руках проникнуть в Новое Запорожье.

Мужчин было трое — Ярошенко, Кузьма Иванович и дед Коваль. Павлюка и Демидка Любовь Степановна не пустила. Обоих немцы недавно сильно избили, покойный Мироненко подобрал их на улице полуживыми. Изувеченные, они тоже рвались с Ярошенко, но

он согласился с решением врача, да и сам видел, что пользы от них будет немного.

Главное — в руках было оружие, пять автоматов, присланных с левого берега. Ясно: командование прислало оружие не для того, чтобы на него смотреть. Надо было действовать. И Ярошенко наметил план. Соломия выводит их за Чертов водоворот, а оттуда заливом не трудно добраться и в плавни. Там они оставят оружие и со своими зелеными пропусками отправятся в город. Люди привезут им это оружие на подводах, которые возят продовольствие для немцев на ДнепрогЭС. А когда начнется наступление наших войск, ясно будет, что делать.

Кузьма Иванович не был уверен ни в правильности догадки Ярошенко, ни в том, что план этот так просто осуществить. Правда, он сам только что убедился в могуществе зеленых пропусков и, главное, в том, что вражеские войска занимают оборону лишь там, где Днепр узок. В более широких местах, и особенно в полосе болотистых плавней и заливов, войск не было совсем. Артиллерия, возможно, на всякий случай дежурила где-нибудь на степных холмах, но в город пройти, да еще с такими пропусками, нетрудно. И все-таки он не был спокоен, хотя сомнения свои держал при себе. И не потому лишь, что боялся показаться трусом в глазах решительного и молодого Ярошенко; после того, что Кузьма Иванович передумал и пережил, он старался подавить в себе малейшие признаки нерешительности и безоговорочно подчинился воле мужественных людей, привыкших действовать.

Он видел, как страдает Любовь Степановна, которая тоже понимала, что расстанутся они, возможно, навсегда, знал, чего стоит ей ласковая, ободряющая улыбка. Но ни он, ни она не заводили разговора о том, что ждет их: оба стояли на пути, по которому можно идти лишь с поднятой головой. Выбор был сделан, обсуждению он уже не подлежал.

Трое мужчин спустились на плот, готовые в опасную дорогу. Соломия должна была отчалить первой, а они следом за нею. Под плотом вскипала темная глубина. Оставшиеся сбились возле пролома в стене. Любовь Степановна тайком смахивала слезы и, чтобы муж не заметил этого, пряталась за спинами других.

Соломия отпустила привязь, плот ее подхватило водой и бросило в темень. Тут же выпустил из рук свою веревку и Ярошенко, быстрина подхватила и их и помчала вслед за Соломией. Они условились с нею заранее, что повернут правило влево, когда проскочат Чертов водоворот, и она подаст им знак, что поворачивает в противоположном направлении.

Плот понесло быстро, но ровно, он лишь чуть заметно дрожал, будто страшился таинственной глубины и мощи встречного течения. Слышно было только тяжелое дыхание Ярошенко, который изо всей силы нелегал на правило, и шорох воды — она слегка захлестывала доски, будто плот в своем полете срезал с нее серебристую стружку.

Вдруг плот развернуло и бросило в сторону. Кузьма Иванович отлетел на другой край, туда, где правил Ярошенко. Одну сторону перевесило, и она исчезла в воде. Но Ярошенко успел бросить павило и прыгнуть на другой конец, поднявшийся в воздух. Плот выровнялся.

Кузьма Иванович стоял на коленях, вцепившись руками в доски. — Ковалея смыло! — услышал он тревожный голос Ярошенко.

Ковалея на плоту не было. Плот Соломии тоже растаял где-то впереди. Но сейчас и невозможно было определить, с какой стороны его искать: вокруг черной стеной стояла тьма, будто они плыли в пустоте, не имея никаких ориентиров. Плот и теперь вздрагивал, но не так заметно, и оба поняли, что несет их уже не к Чертову водовороту, а вниз к плотине.

Ярошенко осторожно переполз на другой конец, поменявшись местами с Кузьмой Ивановичем. Незаметно для самого себя он шарил руками вокруг, будто надеялся еще найти деда Ковалея. Старика на плоту не было. Не было ни сумки с продуктами, ни ящика с магазинами.

— Автомат не потеряли? — тихо спросил он.

— Нет, — отозвался Кузьма Иванович.

Ярошенко потрогал уключину, хоть и знал, что правила уже нет, и начал молча ощупывать доски в надежде, что одну удастся оторвать. Он понимал: если отдаться на волю течения, их непременно затянет в донные пробоины, разметет и швырнет в нижний бьеф через плотину. Надо во что бы то ни стало отвернуть от быстрины — поскорее оторвать доску, править ею.

В руках был лишь один инструмент — автомат. Ярошенко нащупал подходящую щель и засунул в нее приклад. Осторожно начал поддаживать — доска поддалась.

Теперь появилась надежда избежать катастрофы. Влево, к своим войскам, править нельзя: как раз с той стороны в плотине и зияли пробоины. Оставался один выход — правее, ближе к вражескому берегу.

Спасти могла только темнота, но надолго ли — об этом сейчас не думали ни Кузьма Иванович, ни Ярошенко.

19

Штукаренко еще был у Шумакова, когда Приходько внес сапоги. Полковник втайне ухмыльнулся, ожидая диалога по поводу сапог, но Шумаков смолчал. Молчал и Приходько — при посторонних он первым не начинал разговора с комдивом.

— Позавтракаешь со мной? — спросил Шумаков Штукаренко.

— Ну что же, вдвоем веселее, — ответил тот.

— Приходько, подавай!

— Есть, подавать! — Приходько вышел.

Шумаков предложил позавтракать вдвоем, хотя, говоря откровенно, охотнее остался бы сейчас один. Ординарец вернулся и стал накрывать на стол. Шумаков давно уже приучил его делать это как следует, без ссылок на военное время. Когда он увидел однажды, как подполковник Лемешко вилкой намазывает масло на хлеб, то готов был поставить его по команде «смирно» и при всех объяснить, что так делать нельзя. Он считал, что тот, кто не умеет есть, не умеет и жить.

Они тихо орудовали вилками и ножами и только изредка перебрасывались незначительными словами, думая каждый о своем.

После завтрака Штукаренко ушел, и Шумаков наконец остался один. В раздумье он прошелся несколько раз из угла в угол. На правом берегу взорвали что-то на станции... Для чего? Если армия собирается долго стоять на месте, она строит, а не взрывает. Выходит, враг понимает, что скоро так или иначе придется прощаться с насыженным местом и убираться прочь. Так что, взорвет он плотину или ее удастся спасти, все равно в ближайшие дни придется переправлять дивизию через Днепр. Готова ли она к этому полностью? Удастся ли избежать лишних потерь, которые могут обескровить ее еще на воде и лишить возможности преследовать врага на суше?

До сих пор ему не приходилось руководить переправами на таких больших реках — на пути к Днепру их просто не было. При отступлении через Дон переправой командовал его предшественник, дивизию Шумаков принял, когда она уже была на левом берегу реки. Дальше — Волга, но его полки перешли на левый берег еще перед наступлением немцев. «Юнкерсы» бомбили переправы, но прямой наводкой обстреливать их враг не мог. Здесь будет иначе: мосты придется наводить под огнем, переходить по ним под прицельным и, наверно, очень сильным обстрелом с правого берега.

Он вспомнил окраины Лериды на Арагонском фронте, мост через Сегре, по которому его батальон отступал. Но Сегре — не Днепр, и батальон — не дивизия. Да и отступление — не наступление. Там главная часть подразделения могла переправиться заранее, под незначительным прикрытием, то есть почти спокойно. Взвод пулеметчиков, прикрывавший отход, конечно, оказался в тяжелом положении, но основная масса людей переправилась раньше и могла уже с другого берега прикрыть своим огнем отход пулеметчиков. Потерь было мало, но то — отступление.

Здесь будут наступать, и наступление это будет похоже на штурм. Огонь врага придется встречать в лоб, враг сможет косить людей по мере их появления на переправах, не давая возможности никому перейти по мосту, конечно, если его еще удастся под таким огнем навести.

Нет, на понтонный батальон здесь мало надежд. И хорошо, что Штукаренко уговорил его не подтягивать батальон к берегу. Здесь нужны другие средства. Но какие?

Шумаков взглянул на карту — она висела на стене — и повел ту-пым концом карандаша по широкой синей полосе, что вилась и пет-ляла от самого Смоленска до Черного моря. И поневоле подумал, что Днепр как-то странно вошел в его жизнь, объединив нынешний день с днями юности. Сначала он бегал с ребятами к этой реке купаться и ловить уклеек, потом, когда выходил из окружения в со-рок первом, купель уже была иная... И вот теперь — снова Днепр, опять те же самые воды...

И опять вспомнился Коломиец, но не то страшное, что он рас-сказал, а последняя ночь — ночь переправы. Перед ними лежал Днепр — не похожий на здешний, узкий, с заливами, поросшими кувшинкой и камышом. Средств для переправы у них никаких не было — только темная ночь и решимость, да еще по несколько патро-нов на брата.

И все-таки переправились. Правда, потерь было немало. Но боль-шинство все-таки вышло на левый берег, без понтонных батальонов и мостов.

Если бы не Коломиец, немцы перебили бы всех. Чудесный он был человек — Коломиец! Голос имел такой, что в самую пору в опере распевать, но черта лысого запоешь, если вокруг враги. На-кануне, тоже в лесу, он продекламировал Шумакову слова из од-ной песни: о том, как по синему морю байдаки казацкие гуляют... Вдруг поднялся и говорит:

— Нахрапом не возьмем, здесь надо схитрить.

— А как ты перехитришь, если у нас по три патрона на брата? — сокрушенно ответил Шумаков.

— Днепр надо брать по-казацки, — сказал он. — Иначе не выйдет.

Шумаков удивился:

— Как это по-казацки?

— А так. Не лезть на рожон, а разбиться на мелкие группы и попробовать во многих местах сразу. Немцы засуетятся, растеряют-ся, бросятся то в одну, то в другую сторону. Для нас — заранее обдуманый план, а для них — неожиданность. Одного потопят, де-сять переплывет.

— Вожжи потеряем, — заколебался Шумаков. — Переправятся и разбредутся, потом не соберешь бойцов.

Коломиец помолчал и через мгновение сказал:

— Человек должен знать свою цель. Будет знать точно — и вы-полнит точно. А цель у нас одна — вырваться к своим. Укажи каж-дому пункт — соберутся все до единого.

И еще он посоветовал каждому взять с собой камышовую труб-ку. Казаки, мол, когда, бывало, татары их заметят, сразу же ныря-ли с головой: камышину в зубы — и поминай как звали. Идет себе по дну и дышит сквозь камышину, как водолаз. Ночью — дело вер-ное. Немец и с прожектором не заметит.

Тут, понятно, не то что под Смоленском, глубина такая, что с камышиной по дну не прогуляешься. Но что касается переправы мел-кими группами... Над этим стоит подумать. •

Картина переправы ясно вырисовывалась перед Шумаковым. Люди плывут на лодках, на бревнах, на стволах поваленных деревьев... Днепр кишит мелкими точками, в которые угодить невозможно... Снаряды рвутся беспорядочно, без системы. Огонь мечется по воде... А бойцы плывут и плывут, и их невозможно остановить...

Шумаков мерил глиняный пол своими крепкими ногами и не замечал, что шаги его все убыстряются. Послышался зуммер. Шумаков подошел к столу и взял трубку.

— Докладывает майор Терещенко,— мембрана звенела и шипела, голос командира полка звучал, словно из подземной глубины. — Только что мне доложили: ночью на моем левом фланге реку переплыла какая-то женщина. Привезла с собой тело мужчины... ну, из того самого места. Старик здесь был... Тот, с которым вы говорили...

— Так, так...

— Солдаты узнали: это тот самый.

Шумаков помолчал.

— Через полчаса буду у вас.

— Слушаю.

— Ждите меня, вы мне нужны.

— Слушаю, товарищ комдив.

Шумаков положил трубку. Он вспомнил разговор со старым Мироненко, его темное, изъеденное металлической пылью и перепаханное глубокими морщинами лицо. Значит, погиб. Припомнился рассказ о руинах паровой мельницы, среди которых прячутся восемнадцать советских людей.

Он вышел из-за стола и резко открыл дверь.

— Машину!

— Есть! — козырнул часовой, который медленно прохаживался за калиткой.

Шумаков быстро вернулся в хату, набросил шинель и папаху и снова вышел во двор:

— Передайте полковнику Стукаренку, что я на правом фланге,— приказал он часовому и сел рядом с Покотило в свою эмку.

— Есть! — громко ответил часовой и еще долго стоял «смирно», провожая взглядом машину, что мчалась по свежему снежку длинной сельской улицей.

20

Начальник разведвзвода старшина Цыганков был среднего роста, тонкий и прямой, как хворостина. Худощавое загорелое лицо с прямым носом и припухлыми губами казалось детским, наивным. Впечатление меняли его смоляной, нависший над бровями чуб и черные, живые глаза. Именно в глазах и горела постоянная искра молодецкого ухарства, говорящая о его незаурядной отваге.

Справедливость слов Оскара Уайльда, утверждавшего, что красавицы, как правило, дуры, *а красавцы — преступники, можно было

бы доказать на примере Цыганкова. Да, этот красавец попал на фронт прямо из тюрьмы. Единственный сын слабохарактерной вдовы потомственного токаря, он еще во время обучения в школе попал в веселую компанию, которая толкнула его на скользкую дорожку. Несколько раз его ловили на мелких кражах, но милиция прощала — из уважения к покойному отцу. Но однажды он «заработал» пять лет.

Со временем, когда его темное прошлое уже не было тайной, он сам рассказал майору Терещенко, как это случилось.

Цыганков со своими дружками прогуливался по главной улице Саранска. Они искали развлечений. Вдруг на другой стороне улицы показалась красивая молодая женщина. Братва знала, что наглаватый Цыганков теряет свою лихость перед женщиной, и кто-то, ехидно усмехаясь, сказал:

— А вот слабб тебе подойди и познакомиться!..

Цыганков вспыхнул и перебежал улицу. Став перед женщиной, он громко сказал:

— Дамочка, пошли со мной?

Женщина спокойно посмотрела на него и ответила:

— Ну что ж, если ты такой храбрый.. — она взяла его под руку и повела.

Цыганков растерялся. Он готов был броситься наутек, но знал, что с той стороны улицы на него смотрят ребята. И он покорно пошел рядом с нею, словно телок на поводке. Он мог ждать чего угодно — звонкой пощечины, крика, угрозы заявить в милицию, — только не согласия...

Она привела его в переднюю своей просторной квартиры и громко позвала:

— Федя, тут к тебе пришли!

Когда появился «Федя», Цыганков понял, что женщина основательно его проучила: перед ним стоял начальник городской милиции Воронов. Цыганков сразу его узнал.

Воронов пригласил Цыганкова в комнату и спросил, в чем дело. Пришлось с ходу что-то выдумывать. Он, мол, недавно приехал в Саранск, работает в механических мастерских, но милиция почему-то тянет с пропиской и ему из-за этого не дают места в общежитии, а жить негде. Сколько раз приходил к нему на службу — там всегда очередь, а в мастерских ругаются и больше не отпускают. Воронов поверил и сказал, чтобы он пришел к нему завтра во время перерыва.

Цыганков жаловался Воронову, а сам так и пылал от злости. За дверью скрипнул паркет — это жена Воронова прислушивалась, ей было интересно, как он вывернется из истории. «Ну подожди, — думал Цыганков. — Ты меня проучила, так и я тебя отблагодарю!»

В ту же ночь Цыганков выдал стекло на кухне и забрался в квартиру Воронова с ведром краски, которую мать берегла для пола. Он хотел перепачкать все, что можно, и удрать. Но Воронов поймал его на месте.

Когда началась война, Цыганков попросился на фронт и сразу попал под Москву. Там шли тяжелые, напряженные бои, никто не интересовался прошлым солдата. Существовало только одно мерило — выдержка, храбрость и упорство в бою. И Цыганков с первого же дня показал себя как разведчик, рожденный для смелых и отчаянных действий.

В полк, которым командовал майор Терещенко, он попал после четвертого ранения. Он уже был награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями. Вскоре Цыганков показал себя и здесь, а еще через некоторое время стал старшиной и командиром взвода разведки.

За два с половиной года войны Цыганков очень изменился. От жаргона бывшего уличного заводилы остались лишь несколько слов, которые прорывались, когда он был возбужден и терял власть над собой. Удивительно было, что именно его «окрутила» неказистая, ничем, казалось, не привлекательная санитарка Фрося.

Он скрывал свою любовь к Фросе и часто подтрунивал над нею, когда они оставались наедине. Но на деле был целиком в ее нежных руках, во власти ее мягкого женского сердца.

После того как Цыганков проводил старого Мироненко, он вернулся в землянку санвзвода, как и обещал. Фрося дежурила в ту ночь, хотя в землянке раненых не было. Цыганков стал снимать сапоги, собираясь прилечь на постель. Рядом присела Фрося и тихо сказала:

— Знаешь, Василек, у нас будет сын.

Цыганков не поверил.

— Ты что городишь?

— Ой, горюшко, не горожу!.. — припала она к нему.

Фрося смотрела доверчиво, влюбленно, и Цыганков понял, что она говорит правду. Стараясь побороть растерянность, пошутил:

— Ну что же, сколько людей гибнет, надо пополнять ряды... Молодец!

Голубые глаза санитарки вдруг затуманились, и по ее круглым, пухлым щекам покатались слезы.

— А как же, Василек, служба?

— Ну вот! — Цыганков стал вытирать своим платком ее лицо. — Разве войско пополнять не служба? Ого, еще какая! — Он осторожно снял ее руку со своего плеча, приподнялся. — Отправим тебя к моей маме в Саранск, она на заводе работает и получает по моему аттестату. Как-нибудь прокормит тебя и его.

— А ты останешься здесь? — испуганно воскликнула Фрося.

— Что ты, милая, не останусь! Поеду с тобой вместо повитухи.

Фрося поняла, что он шутит, и горько заплакала.

Утром Цыганков пошел к командиру полка и попросил отпустить Фросю к его матери в Саранск. У Терещенко был крутой характер, сначала он рассердился.

— Ты мне свои штучки оставь! Какой пример солдатам подаешь, старшина? Вот доложу комдиву.

Этого Цыганков боялся больше всего. Все в дивизии знали, что Шумаков в подобных вопросах действует решительно и беспощадно.

Но, пошумев некоторое время, Терещенко смягчился.

— Ну хорошо, садись. — Он подергал себя за кончики соломенных усов и хмуро продолжал: — Сам знаешь, я тебе не судья. Знаю, как бывает в жизни, обижать не стану.

Терещенко помолчал.

— Любишь?

— Люблю.

— Ну что же, отправляй, пусть родит тебе сынка. А собакой окажешься — я усыновлю. Ясно?

— Нет, нет, — Цыганкова растрогали слова Терещенко.

— Ну иди. И отдай ей это, — Терещенко вытащил из кармана пачку денег. — Мне их посылать некому, а ей пригодятся в тылу.

Цыганков взял деньги. Он видел, как дергалось от волнения лицо Терещенко, и не мог не взять.

21

Эмку командира дивизии давно уже пора было отослать в музей, но шофер Покотило никак не мог уговорить Шумакова сменить ее на трофейную машину. На «копелях» и «мерседесах» разъезжали даже командиры полков, а шоферу командира дивизии все еще приходилось заводить рукояткой старый мотор и трястись в кузове, который дребезжал, словно телега на мостовой. Сколько раз начинал он разговор, но Шумаков и слушать не хотел, всегда отвечал одинаково:

— Врага надо своим оружием бить. Не сяду я в их «мерседес», и не смей больше мне об этом говорить. — С хозяевами фашистских автомашин у него были счета более сложные, чем у Покотило.

На своей эмке они приближались к КП. Шлагбаум был закрыт. Регулировщица знала эту машину и, заметив ее издали, нарочно отвернулась. Всем девчатам в дивизии было известно, что комдив не женат, и они пользовались случаем затеять с ним осторожную игру.

Регулировщица стояла спиной, и это возмутило шофера. Покотило любил пользоваться преимуществом, которое ему давала близость к первому человеку в дивизии. Он недовольно заворчал, но Шумаков остановил его, приказав посигналить. Нехитрое лукавство дивизионных девчат он раскусил давно и не сердился на них за это.

Услышав хриплый сигнал, регулировщица медленно приблизилась к машине и с напускным равнодушием, приложив маленькую ладошку к сбитой набекрень ушанке, козырнула. Насмешливое личико с черными монгольскими глазами хитро сощурилось:

— Простите, товарищ комдив, не узнала.

— Комдива надо узнавать, — сердито сверкнул на нее глазами Покотило.

— Я думала — со склада боепитания, у них точно такая машина. — Девушка еле сдерживала смех.

Шумаков расхохотался:

— По одежке людей встречаете?

— Скоро до Берлина дойдем, товарищ комдив,— засмеялась и девушка. — Пора на лучшего коня пересесты! — она снова браво козырнула и открыла шлагбаум.

Понятно, в чей огород бросила камешек, чертова вертихвостка! Покатило еле сдерживался, чтобы не выпалить все, что вертелось у него на языке... Шумаков пожалел своего верного шофера.

— Старый конь борозды не портит,— усмехаясь, ответил он в тон ей. — А кто это возле землянки, не Цыганков?

— Он, товарищ комдив, в родильный дом жену провожает. Отвоевалась! — сказала регулировщица.

— Женился?

— Не знаю, в загс, может, и не ходил,— хихикнула девушка. — Позвать?

— Нет, не надо.

— Скоро машины за боеприпасами на склад поедут, подвезут ее к самолету.

Шумаков козырнул девушке и приказал Покотило:

— Ну, давай!

Он знал о романе Цыганкова с санитаркой, и то, что она едет в тыл, его не удивило. Удивляло другое: с островка на Днепре приплыла женщина, о которой докладывал Терещенко, а Цыганков занят личными делами, будто ничего о ней не знает. От глаз комдива не скрылось и то, что, увидев его машину, старшина спрятался за дерево — авось не заметят. За Цыганковым подобное никогда не водилось. Ну что же, положение у него деликатное, не стоит трогать...

Майор Терещенко встретил комдива возле землянки. Они спустились по лесенке, и Шумаков спросил:

— Женщина эта где?

Терещенко доложил о своем разговоре с Соломней. Шумаков очень обеспокоился, услышав, что на островке прибытие автоматов истолковали как приказ. Но тех троих, что отправились на правый берег, все равно вернуть было невозможно. Теперь осталось одно — постараться вывезти с острова хоть женщин и детей. Правда, это может вызвать нежелательную суету перед обороной дивизии, но оставить детей и женщин в опасном месте он тоже не мог.

Терещенко вышел, чтобы отдать распоряжение о похоронах. Цыганкова на месте не было, и майор приказал, чтобы, как только тот вернется с аэродрома, похоронил Мироненко с военными почестями.

Пока Терещенко был наверху, Шумаков достал из планшетки карту участка. Передовая полка проходила по скалистому гребню берега, не обозначенному на карте. Карту составляли, когда плотина еще была цела, а берег залит водой. Теперь скалистый гребень выглянул из-под воды, как и та старая мельница, о которой рассказывал покойный Мироненко. Появилась выгодная позиция для войск — с высоты этих воскресших скал можно прикрывать огнем будущую переправу лучше и безопаснее, чем если бы скалистая гряда была под водой. У него опять мелькнула мысль — та же, что возникла первый раз, когда покойный слесарь рассказывал ему о руинах старой мельницы,

которые и показались из-под воды будто только затем, чтобы сейчас спасти людей.

Вернулся Терещенко и остановился позади Шумакова.

— Почему не доложили мне о делишках Цыганкова? — спросил комдив, не оглядываясь.

— Только собирался, товарищ комдив, — ответил Терещенко, но сразу же почувствовал фальшь в своих словах.

Шумаков молчал. В точности так он отвечал матери, когда, бывало, нашкодит, а она узнает об этом стороной.

— Ждал, пока девчонка улетит, — тихо признался Терещенко. — Чего доброго, влетело бы и ей.

— Вот так бы сразу.

— Непорядок, конечно. Но ведь и о будущем кому-то подумать надо, — попробовал Терещенко пошутить.

— Дожить еще надо до этого будущего, — Шумаков стоял, склонившись над картой.

— Мы не доживем, доживет дитя, — сказал Терещенко, имея в виду дитя Цыганкова.

И это верно. Оно будет. И хорошо, что об этом говорит Терещенко после всего, что пережил.

— Знать бы только, что его ждет... — вздохнул он позади.

— Это зависит от обстоятельств, — ответил Шумаков. — Главное — как сложатся после войны отношения между людьми в мире.

— Ну, а по-вашему, как?

Шумаков отошел от стола и выпрямился.

— А я что — пророк? Думаю, так же, как сейчас у нас возле плотины, — загадочно буркнул Шумаков. — Вы бы хоть своего комдива чаем напоили, что ли!

— Можно чем-нибудь и покрепче, — засуетился Терещенко.

— Водится? — пытливо взглянул на него Шумаков, прищурив глаз.

— Только для гостей.

— Я выпью чаю. — Шумаков сел к столу. После того как Штукаренко, застав Терещенко пьяным, отстранил его от командования, Шумаков как следует поговорил с майором. С того времени ничего подобного с ним не повторялось.

Терещенко поставил на стол большой немецкий термос. Они сидели и прихлебывали чай из жестяных кружек, заедая печеньем.

— Два берега, а между ними пропасть, — начал Шумаков, словно пересказывал ситуацию на Днепре. — Ни на одном, ни на другом не стреляют, разве что только иногда, изредка, чтоб на противоположном берегу не заснули, помнили, что над ними висит. Вам такая ситуация нравится?

— Не очень.

На минуту оба умолкли. Только ложечки позвякивали в кружках.

— Выходит, как было, так дальше и будет?.. — сокрушенно спросил Терещенко.

— Ситуация обязывает. Приходится быть готовым к прыжку.

Шумаков стал излагать свой план переправы мелкими группами.

Надо собрать в прибрежных селах все рыбацкие лодки, заготовить бревна для плотов, чтобы на них поставить пулеметы. На лодку — не больше трех-четырех бойцов, на плот — тоже не больше. И покрыть озеро Ленина сотнями точек. Распылить вражеский огонь и этим свести до минимума его эффективность. Каждый солдат должен знать свое задание и на воде, и на берегу, когда высадится. Хорошо будет знать задание — хорошо будет и действовать. А захватим плацдарм — возьмем в свои руки вожжи и двинемся вперед.

Терещенко понравился план Шумакова. Он рассказал, что и под Киевом применяли подобную тактику и она имела там успех. Правда, под Киевом Днепр уже, времени на переправу надо меньше. Но дела это не меняет, главное — распылить вражеский огонь.

Терещенко все же внес и важную поправку в план Шумакова. Лучше пользоваться в такой операции плотами, чем сажать бойцов в лодки. Пробьет осколок лодку — и в ней уже полно воды. В бою некогда ее вычерпывать, и лодка тонет. А снаряды будут рваться внизу, под водой, осколки угодят как раз в днище — так и под Киевом было. Плот надежнее, если и пробьет. Воде некуда набираться. Так что на плоты курс надо брать, а не на лодки.

Разговор с Терещенко очень порадовал Шумакова. Значит, никакого понтонного моста. Готовить плоты. Много плотов. Покрыть ими все огромное озеро Ленина!

Наконец позвонил Цыганков и доложил, что похороны состоялись. Шумаков хотел приказать ему привезти жену Мироненко — ведь приехал он для того, чтобы поговорить с нею, — но понимал, в каком она состоянии после похорон, лучше ее сейчас не беспокоить. Опомнится, отдохнет, потом Терещенко с нею поговорит и ему доложит. Так будет лучше.

Думая об этой неизвестной ему женщине и о ее утрате, он вдруг с особенной остротой почувствовал свою причастность ко всем, кто в этой смертельной борьбе теряет близких и родных. Не только он сам. Не только Терещенко. Не только эта женщина — тысячи, сотни тысяч таких... Сначала утрачивают они, потом теряют и их... И все это жертвы в борьбе за будущий мир, за него стоит заплатить даже такую цену.

Шумаков помахал рукой Терещенко. Так прѣбѣаѣются не с подчиненным, а с верным товарищем. Улыбнулся, словно говоря ему: «Держись, брат, сынок Цыганкова надеется на нас!» А Терещенко козырнул и невольно вытянулся. Стоял насупленный, провожал старенькую эмку комдива. Казалось, его лицо говорило: «Что же, я готов, не впервой».

Голобородько легко соскочил с самолета и протянул руку, чтобы взять рюкзак, который держала Аня. Она подала, а сама решила по примеру Голобородько тоже соскочить, но только растерянно потопталась у дверцы и беспомощно улыбнулась.

Через час они уже были в Моргунах. Прислушиваясь к глухому рокоту, что изредка доносился со стороны Днепра, Голобородько понимал, что на фронте за время его отсутствия ничто не изменилось. Только знакомая улица выглядела не такой, как неделю назад: припорошенная снежком, она казалась шире и будто совсем опустела.

Возбужденный множеством впечатлений, полученных в пути, Голобородько жалел, что не застал на месте комдива. Хотелось сразу же доложить о возвращении, поделиться новостями, рассказать о Москве, о дорожных приключениях. Он знал по себе, как интересуются на фронте каждым человеком, вернувшимся из тыла, и в мыслях видел себя уже в центре общего внимания. Он поставил в угол чемодан, положил вещмешок на лежанку и, хоть и знал, что комдива нет, все-таки открыл дверь в светелку Шумакова. Подошел к столу, переложил с места на место какую-то бумажку и вернулся в свою приемную.

— Ну что же, поищем вашего мужа,— сказал и покрутил ручку полевого телефона, стоявшего у него на столе.

С плотины ответили, что Хохол сейчас выполняет задание, а когда вернется — неизвестно.

— Отдохните немножко здесь, я сбегаю к полковнику Штукаренко, а потом проведу вас на квартиру, где живет ваш муж.

Он выбежал, и Аня осталась одна. Она постояла среди комнаты и, не снимая пальто, села на стул у стола. Дорога и напряжение последних дней совсем обессилили ее, теперь она была беспомощной и тихой.

То, что она пережила после получения письма от мужа, почти лишило ее сознания. Она действовала, не думая о последствиях своих действий, ею руководили чувства, которые она не в силах была унять. Только сев в самолет на Уфимском аэродроме, она очнулась, исчезло и улеглось возбуждение, которое в соединении с ее нервностью могло показаться чуть ли не болезненным, и она наконец смогла взглянуть почти спокойно на все, что с нею произошло.

Смятение, охватившее ее душу, когда Голобородько появился в госпитале, не было для нее необычным. После гибели единственного сына и молчаливого разрыва с мужем прошло уже много времени, Аня понемногу успокаивалась и приходила в норму. Но, работая в тыловом госпитале и ежедневно имея дело с десятками тяжело раненных фронтовиков, она поневоле все чаще возвращалась в мыслях к своему мужу, и ей становилось все яснее: то, что потеряла она, потерял и он, и в море крови и слез, которое залило своими горькими волнами всю страну, у нее есть только один по-настоящему близкий человек — он.

Пока мама была жива, Аня не так остро чувствовала свое одиночество. Изредка из заблокированного Ленинграда приходили письма — они были бодрыми, хоть Аня хорошо знала, в каком положении оказались все, кто там остался. Когда госпиталь эвакуировали, Аня могла вывезти и маму — для одной старенькой учительницы в теплушках санпоезда место нашлось бы. Но мама отказалась ехать, в

Ленинграде оставалась ее парализованная сестра,— за больной некому было ухаживать.

— Разве ты бросила бы на произвол судьбы своих больных? — сказала мама, когда Аня предложила ей уехать на восток.

После смерти мамы Аня осталась совсем одна на белом свете. Был только госпиталь, набитый ранеными людьми, работа днем и ночью и тревожные думы. Вот тогда она с особенной остротой и почувствовала, что и Хохла с нею тоже нет и что она сама в этом виновата.

Где он теперь, она не знала. Знала только, что если жив, то на войне. И постепенно в ней вызревало решение — добиться направления в действующую армию. Ей было все равно, в какую часть и на какой фронт, лишь бы не смотреть на кровь и муки бойцов, оставаясь в безопасности. И она начала методично и упорно штурмовать городскую комендатуру в лице заместителя коменданта.

Когда майор позвонил, что приехал Голобородько, который не только служит с Аниным мужем, но и привез от него письмо, в душе ее с новой силой поднялась недавняя буря. Документы уже были подписаны, Ане оставалось только заехать в Главное санитарное управление, чтобы отметить, в какой именно части ей придется воевать. Но с приездом Голобородько все решалось иначе. К лучшему ли — она не знала, даже не думала об этом. Случай, который можно было бы назвать слепым, заставил ее опять броситься в бурный поток личных переживаний, о чем она еще за несколько минут до звонка из комендатуры совсем не думала.

Аня передвинула стул к окну и стала задумчиво смотреть на улицу. Штаб дивизии... В ее представлении это уже должен быть фронт... Но вокруг тишина — на улице почти никого не видно. Правда, изредка стекла в окне начинают дребезжать, что-то похожее на далекий взрыв сотрясает пол и отзывается легким звоном на столе... Где сейчас ее муж? Что он здесь делает? Радоваться или жалеть, что письмо от него пришло как раз в тот самый, нужный момент? Хорошо это или плохо, что это письмо отправило ее в эту неожиданную дорогу? Ведь она не знает, как жил в последние годы ее муж, как и он ничего не знает о ее жизни и отношении к нему... Она еще и сейчас колебалась, хотя изменить ничего уже не могла. Каждый раз, думая об этом, чувствовала томительное беспокойство и слабость во всем теле. Но трезвый рассудок приходил на смену внутреннему смятению и подсказывал, что все возможно: ведь и он мог жить в годы их разлуки так же, как жила она!

...Голобородько в это время без умолку трещал, рассказывая Штукаренко о своей поездке. Он пообещал Евдокии Львовне, что не скажет мужу о ее приключении в лесу. Что с нею? Да ничего страшного. Чуть прихворнула. Простудилась, холода ведь не такие, как здесь. Через неделю будет дома. Он ей добыл ордер на две комнатки, продовольственные карточки, по которым она с Вовкой будет получать значительно больше, чем по тем, которыми пользовалась до сих пор.

Штукаренко слушал рассказ лейтенанта о далеком тыловом городе

и одновременно читал письмо от жены. Евдокия Львовна благодарила его и умоляла беречься. Читая, Штукаренко улыбнулся и подумал о том, как мало понимают люди, которым не приходилось бывать на фронте, что значит воевать и что такое война вообще.

Больше всего его порадовало письмо от Вовы. Мальчику было только шесть лет, но он уже кое-как научился писать. Правда, буквы у него получались огромными и азбукой он пользовался довольно своеобразно. Букву «Я» писал навыворот, как латинское «R». Он употреблял выражения, вычитанные по складам из газеты, и в устах ребенка они звучали смешно. Вовин наказ отцу — «Бей врага уничтожающим огнем» — рассмешил и растрогал Штукаренко.

Что же, в неуклюжей фразе шестилетнего мальчика жило трогательное и многозначительное содержание. Ведь Вова не выдумал ее, он запомнил только то, что услышал от взрослых. А если запомнил именно это, то оно было самым главным и повторялось чаще всего в разговорах тех, кто окружал его, и так врезалось в детскую память, что стало хоть и не осознанной, но подлинной сутью его наивной и чистой души.

Штукаренко думал об этом, будто через тысячи километров проникал в помыслы и дела далекого тыла, а Голобородько рассказывал о подхваченных в дороге слухах и строил собственные прогнозы, в которые успел поверить, как в нечто неопровержимое. Он называл точные даты будущего открытия второго фронта, рисовал общую картину совместного наступления союзнических сил. С тою же наивной искренностью, с которой обрисовывал свои стратегические планы в кабинете председателя Уфимского горсовета, говорил он и здесь. Но Штукаренко улыбался и, отрываясь от своих мыслей, скептически спрашивал:

— Откуда же ты все это взял?

— Это точно! — отвечал Голобородько.

Простодушие фронтового адъютанта, которое тыловики принимали за осведомленность, смешило Штукаренко. Он все время, будто между прочим, о чем-то расспрашивал и понемногу вытягивал ответы, из которых возникала подлинная картина жизни в глубоком тылу. Впрочем, и сам он понимал, что означают для страны два с половиной года такой войны, и рассказ Голобородько мало что добавлял к его представлению.

Вдруг Голобородько сказал:

— Товарищ полковник, не знаю, правильно ли я поступил... Со мной прилетела жена нашего водолаза...

— Как это — прилетела?

— Понимаете, я ничего не мог поделать. Она служила в тыловом госпитале, а в нашем санбате не хватает врачей.. — попытался оправдаться Голобородько.

— В других дивизиях, может, не хватает еще больше!

Штукаренко сердито прошелся по комнате, потом присел и снова начал расспрашивать о жене и Вовке. Голобородько отвечал на во-

просы, но настроение у него испортилось и радостное возбуждение угасло. Он все время чувствовал, что не только допустил незаконный поступок, но и нечаянно вторгся в чужую жизнь, о которой совсем ничего не знал и в которую не должен был вмешиваться.

Это была настоящая пирамида, как в цирке. Внизу стоял, широко расставив ноги, могучий Ковальчук, на нем, припав голыми ладонями к ровной белой стене, Мухитдинов, а еще выше — Амирадзе. Харкевича не допустили к участию в этой акробатической постройке — нужны были более ловкие, а главное — более крепкие на ногах.

Зрителей оказалось тоже достаточно — весь взвод лейтенанта Рудя, который успел уже собраться здесь в ожидании, когда ему проложат дорогу дальше. Сам Рудь распоряжался с преувеличенной активностью, выкрикивая свои советы тоном приказа, изредка молча, одним лишь взглядом обращался за подтверждением к Харкевичу. Тот стоял в стороне и наблюдал.

Ночь была темная, внизу глухо шумела вода, словно падая в глубокий провал, вверху чернела бездонная пустота, тоже похожая на провал. Пирамида все же ясно вырисовывалась на фоне почти белой бетонной стены. Изредка с Хортицы в плотину ударял прожектор, пирамида прилипала к быку, а бойцы, стоявшие на гребне, замирали. Несколько минут луч шарил по плотине, приходилось ждать, пока он угаснет. Луч скользил по белой поверхности быка, и вверху мелькала черная дыра вентиляционного окна.

Оно было еще достаточно высоко, на метр выше головы Амирадзе, который завершал пирамиду. Ясно, он не дотянется, даже если поднимет руки или рискнет подпрыгнуть на плечах Мухитдинова, как прыгнул позапрошлой ночью Ковальчук, когда сорвал себе ногти на первом быке.

— Слазы! — крикнул Рудь Амирадзе. — Надо кого-то подлиннее.

— Подайте коготь, я дотянусь.

Харкевич взял железный крюк и подал Мухитдинову. Устроившись удобнее на спине Ковальчука, Мухитдинов поднял крюк, подал его выше.

Крюк достал до окна, и Амирадзе наконец зацепил его. Теперь можно попытаться вскарабкаться, но, как только Ковальчук почувствовал, что пирамида стала легче, Амирадзе вскрикнул и сорвался. Его, как мяч, подхватили солдаты, наготове стоявшие внизу. Железо звякнуло о гребень, и, упруго подскакивая на наклонной поверхности, крюк полетел в пропасть.

— Жив? — подбежал Харкевич к Амирадзе.

— Фу! — с притворным весельем вздохнул тот. — Так можно и спяк набить!..

— Ничего. Были бы кости целы, — успокаивал его Рудь. Он уже верил, что можно зацепиться и что верткий Амирадзе способен на это. — Давай еще раз!

На гребне лежал еще один крюк, можно было попробовать, не удастся ли зацепиться еще раз. Но, когда Амирадзе крикнул, чтобы ему подали крюк, Рудь вдруг скомандовал:

— Отставить! — И раньше чем Харкевич успел спросить, в чем дело, Рудь крикнул: — А ну, ребята, попробуем чуть приподнять всех сразу!

Верная идея. Человек десять дружно взялись за Ковальчука и медленно, словно стараясь не расплескать, стали поднимать всех трюх.

Амирадзе схватился за нижнее ребро вентиляционного отверстия и взобрался наверх.

— Вот и все! — победоносно воскликнул Рудь, довольный тем, что идея пришла в голову именно ему и результат оказался блестящим.

Мухитдинов соскочил вниз. Ковальчук опустился на бетон. Харкевич подошел к нему и сказал почти на ухо:

— Ну силы у вас, скажу я!..

— Если бы не так долго, оно ничего бы.

К ним подошел Рудь.

— Олег Иванович, не помнишь — одно вентиляционное окно на сколько быков?

— Забыл уже. Не помню.

— Ытуки четыре можно, кажется, по каналам пройти...

— Если там ничего не набетонировали.

— Ну понятно.

Харкевич наклонился к Ковальчуку:

— Может, вернетесь в потерну?

— Нет, отдышусь здесь.

— Ну смотрите. Мы с Амирадзе обойдемся и вдвоем. Если надо будет, прихватим кого-нибудь у лейтенанта.

— Не стоит...

Амирадзе уже поднял на шнуре лесенку. Зацепить было не за что, и он вспомнил прием, к которому прибег Ковальчук позапрошлой ночью.

— Олег Иванович, давайте наверх! Я держу.

Харкевич полез вверх. Амирадзе был шусленький — не то что Ковальчук. Он лежал на животе, держась за ребро внутренней стенки, а лесенку привязал к поясу. Он напрягся из последних сил, боясь, что пояс соскочит, свалится с его тощих бедер и Харкевич сорвется и полетит вниз. Подтянуть бы пояс — руки заняты... Но Харкевич был уже высоко — Амирадзе чувствовал.

Наконец Харкевич влез наверх. Амирадзе с облегчением вздохнул.

— Привяжите конец к железной дужке — в канале должны быть, — сказал Олег Иванович.

Через несколько минут наверх поднялся Мухитдинов.

— Лейтенант Рудь спрашивает, двигаться ли им следом?

— Сперва разведем дорогу дальше.

— Так и передать?

— Скажи: мы дадим знать.

Вентиляционный канал оказался узким, в нем трудно было повернуться. Но на стенах сохранились забетонированные еще во время стройки железные дужки. Здесь можно было светить — фонарика никто не заметит. Харкевич направил слабый лучик вниз — свет расплылся, перемешиваясь с темнотой. Дна не было видно. Он спрятал фонарик в карман и, нащупывая дужки ногами, стал спускаться вглубь.

Почему-то ему припомнилось, как еще в тридцать седьмом, когда его исключили из комсомола, он залез в это вентиляционное окно... Кажется, в это самое... А может, и в другое, сейчас уже не вспомнить. Накануне Ксения подарила ему новую сорочку — белую в голубую полоску, — она сказала, что, если человек хочет чувствовать себя увереннее, он должен быть хорошо одетым, красиво и опрятно. На нем тогда сорочка была и чистая и не старая, а на душе от этого легче не становилось. Но раз жена захотела тебе поднять настроение и для этого купила красивую сорочку — ничего не поделаешь, пришлось надевать. И как назло, именно в этот день возникла надобность полезть в эту проклятую дыру: главный инженер попросил — сюда, мол, никто никогда не заглядывает, а ход связан с нижней потерной, надо взять пробу на фильтрацию, внизу может накапливаться вода. «Никто не заглядывает... Еще бы! Рудь полез бы, нашли дурачка!» Во что превратился тогда Ксюшин подарок! Когда Харкевич вернулся домой, Ксения всплеснула руками: «Ну и ну! Я же купила ее тебе для настроения!» И расхохоталась — была не только сорочка испачкана, но и все лицо Олега.

Утром сорочка уже лежала на тумбочке чистая и выглаженная. Ксения все-таки верила в магическую силу чистой одежды. Ох, Ксюша, Ксюша! Не помогла тогда твоя сорочка, на душе не повеселело.

О том времени лучше не вспоминать. Отца исключили из партии «за хранение оружия без разрешения». Имелась в виду сабля, с которой он брал Сиваш. Старика уложил в постель инфаркт, после которого он так и не поднялся. А мама слегла после смерти отца. Но окончательно ее подкосило сообщение, что Олег погиб на финском фронте. Да, проклятый был год, что и говорить. Одно горе за другим, несчастье за несчастьем...

Воздух словно становился гуще, дышать было трудно. Может, потому, что вверху повис Амирадзе, закрыв почти весь канал своим щуплым телом. Харкевич снова посветил фонариком вниз — на дне маслянисто блеснула вода. Значит, это уже нижняя потерна... Чуть выше должен начинаться ход влево, ну да, так и есть. Но в той норе можно продвигаться только ползком.

Харкевич спустился еще на несколько скоб и сунул голову в квадратный лаз. Канал был такой же ширины, как и тот, по которому они спускались. Только здесь стало совсем мокро — на дне в ямках стояла вода, зато воздуха больше, — наверно, тянет с противоположной стороны, дышать легче. Он опять посветил фонариком — конца не видно. Ничего не поделаешь, надо лезть вперед. Если бы и захотел податься назад — не повернешься, пришлось бы пятиться.

Харкевич крикнул:

— Амирадзе, слышите?

В ответ что-то загудело.

Наконец вентиляционный канал окончился — впереди блеснул мокрый бетон противоположной стены. Здесь тоже были вмурованы скобы, по которым можно лезть вверх. Харкевич встал наконец на скобу и вздохнул облегченно, словно почувствовал под ногами твердую почву.

— Амирадзе, давайте! — крикнул он в дыру, из которой только что вылез.

Оттуда опять послышался глухой гул. Харкевич постоял немного — хотелось отдохнуть. Тело налилось тяжестью, словно мешок с песком. Прислушался: из лаза доносилось тяжелое дыхание Амирадзе — парень был еще далеко, на той стороне, но все-таки продвигался вперед.

Харкевич полез вверх. Подниматься было легче — воздух каждое мгновение становился чище и суше, и прохлада проникала глубоко в легкие...

Наконец он стукнулся головой о потолок: дыра кончилась, слева синело второе вентиляционное окно. Было еще темно, хотя снова повалил снежок — пухлый, легонький — и снаружи все побелело. Харкевич сел на плоское подоконье: до поверхности гребня было недалеко, метров десять, не больше. Но пришлось подождать — лесенки тащил за собой Амирадзе.

Через несколько минут из темной дыры вынырнула и его голова. А еще через четверть часа они уже оба стояли внизу на гребне и, подняв головы, смотрели вверх на белую бетонную стену нового быка, над которым висел изувеченный конец подкранового моста.

Стена была голая и гладкая, словно выстроганная из досок. Зацепиться было не за что, хоть криком кричи. Казалось, они стоят перед новой пропастью, темной и глубокой, через которую им не суждено пройти...

24

Харкевич вернулся в Моргуны, чтобы поговорить с Хохлом. Лейтенант Рудь сказал, что Александра Никитича срочно вызвал Штукаренко. Варивода и Богатырев в нижней потерне работают вдвоем, это ему точно известно.

Олег Иванович обрадовался: не придется беседовать с Хохлом в потерне. Там в беседе непременно принял бы участие и Рудь, а предложение, с которым собирался обратиться к водолазу Харкевич, казалось ему деликатным, и говорить об этом в присутствии Рудя не хотелось.

Он понимал: теперь собственными силами его группе на занятый врагом конец плотины не пройти. Впервые стала перед ним голая двадцатиметровая стена, никакой возможности зацепиться за что-нибудь он не видел. Наверху уцелел пролет подкранового моста, — может, даже не один, трудно сказать, за стеной быка не видно. Над

вершиной торчал кусок фермы, но уже ясно было: веревку на нее не закинешь.

Несмотря на успехи последних дней, Харкевич не забыл первый разговор со Штукаренко в потерне. Тогда на прямой вопрос Олег Иванович ответил: «Надо пройти», хотя не был уверен, что Ковальчуку удастся подняться по замасленному тросу даже на первый бык. Но тогда все-таки был трос! Зыбкий, вымазанный солидолом, но все-таки был. Если бы Штукаренко спросил его сейчас, ответ был бы таким же — «надо». Но теперь это было бы только фразой. Если тогда недоставало уверенности, то теперь не было и надежды: перед ними стояла непреступная стена.

Существовала только одна возможность, очень опасная, а главное, совсем не зависящая от него: попытаться найти ход в очередной вентиляционный канал из затопленной нижней потерны, выбраться по нему наверх — на один из дальних быков — и потом вернуться по фермам, оставшимся от подкранового моста, назад, к злополучной стенке, и сбросить сюда веревочную лесенку. Сделать это мог бы только водолаз. Но сумеет ли он найти в темной, заполненной водой потерне вход в тот незаметный канал? Удастся ли ему, с баллоном на плечах и в водолазном костюме, подняться по затопленной части этого узкого канала до уровня, где уже нет воды и можно сбросить баллон? Не застрянет ли он там, заткнув собой узкий проход? Ведь оттуда его не вытащить, никакой надежды на помощь не будет.

Олег Иванович знал: достаточно ему только высказать свою мысль, и доброволец немедленно найдется, а если не найдется, кому-нибудь из водолазов прикажут, и он двинется в этот опасный путь. Стало быть, он должен послать кого-то на смерть только потому, что сам не смог выполнить свое задание. Это угнетало его.

И все-таки другого выхода не было. Единственно, что он мог себе позволить, — не докладывать о своем плане Штукаренко первому: тот сразу же прикажет водолазу спуститься в потерну и идти. Лучше посоветоваться сначала с Хохлом, выяснить, как к этому отнесется он, а уже потом докладывать Штукаренко.

Харкевич подошел к хате и увидел, что дверь не заперта. Ступая на носках и стараясь не скрипнуть дверью, чтобы не разбудить товарища, если тот спит, Олег Иванович вошел в сени. Дверь в светелку была прикрыта неплотно, сквозь щель пробивалась полоска тусклого света. Харкевич взялся за щеколду, чтобы войти, но в тот же миг из-за двери послышался женский голос:

— Ты устал, поспи...

— Да я совсем не хочу спать, — ответил мужской голос, голос Хохла.

— И все-таки отдохнуть тебе надо, — прозвучал опять тот самый, высокий, почти детский, голос.

— Я лейтенант, а не ты: вот и не приказывай, — в шутку проворчал Хохол, и Харкевич услышал, как под ним заскрипела койка.

Харкевич отдернул руку от щеколды и застыл. Неожиданное присутствие женщины в их квартире его удивило. Кто она такая?! Мысль,

что к Хохлу могла приехать жена, не приходила в голову. И о письме, которое Александр Никитич отправил в Уфу с Голобородько, Харкевич тоже забыл. Он не прислушивался тогда к их разговору. Оставалось одно — случайный роман. В это можно было поверить, зная веселый характер товарища. И хотя с Хохлом ему обязательно надо было поговорить и отложить разговор он не мог, Харкевич уже готов был уйти, чтобы не стать случайным свидетелем встречи двух людей, в дела которых он не хотел вмешиваться.

Но, переждав с минуту, он все-таки тихо постучал в дверь. Никто не отозвался. Он постучал сильнее, но и теперь никто не ответил. Ему непременно надо было поговорить с Хохлом, дело не ждало.

Харкевич осторожно приоткрыл дверь и вошел. Сразу же с постели, на которой раньше спал Хохол, поднялась маленькая женская фигурка.

— Простите... — виновато буркнул Харкевич.

Женщина быстро сбросила с себя одеяло, соскочила с постели. Она была одета, бледное лицо с широко открытыми глазами виновато улыбалось.

— Вы, наверно, Олег Иванович? Мне говорил... — Она позвала: — Саша!

— Пусть спит, не беспокойтесь... — сказал Харкевич.

— Нет, нет, я его разбужу! — она подбежала к Хохлу, тронула его за плечо. — Мы только что с ним разговаривали, — она словно оправдывалась.

Оглянувшись, Харкевич увидел Хохла, он уже сидел на постели, протирает глаза, борясь со сном.

— Почет и уважение! — воскликнул он и торжественно провозгласил: — А ко мне жена приехала.

— Ах, вот что... — растерянно ответил Харкевич и, повернувшись к ней, несмело протянул руку: — Здравствуйте.

Подала руку и она:

— Анна Семеновна.

Александр Никитич спустил ноги на пол.

— Вот как оно бывает, Олег Иванович. Полный переворот судьбы и неожиданное изменение курса холостяцкой жизни! — Хохол радостно, но по-детски беспомощно улыбнулся. Он был в ослепительно белом свитере.

— А вы присядьте, — Аня подвинула Харкевичу стул.

— Этим не отделаешься! — Хохол поднялся. — А ну-ка, выкладывай на стол, что там у нас есть! Покажи, что такое женская рука и всякое такое.

Аня улыбнулась и вышла.

— Так-то... — сказал Хохол, мгновение помолчав. — Интересная штука жизнь! И знаете, чем именно? — Хохол прищурился, пытливо взглянул на Харкевича. — Своими неожиданными кренделями, внезапными поворотами, я бы сказал, внутренней справедливостью, черт бы ее побрал! В общем, она довольно равномерно распределяет свои резервы радостей и горестей. Если зальет сала за воротник, то

когда-нибудь обязательно и компресс приложит. Так что никогда не надо терять надежды. — Последние слова он проговорил с особенным нажимом, будто адресовал их не себе.

Харкевич понял: эти слова относились к нему. Похоже, что Хохол просит прощения за то, что судьба сегодня улыбнулась только ему.

— Как сказал Остап Бендер, жизнь — сложная комбинация, — усмехнулся Олег Иванович. — А что касается справедливости, то не зачем было бы на свете жить, если бы не верили в нее.

Аня вернулась и беспомощно развела руками:

— Не знаю, где твои запасы. На кухне я ничего не нашла.

— «На кухне»! — Хохол громко расхохотался. — Солдатская кухня в кармане или в вещмешке! — он легко подбросил свой небольшой чемодан, поставил на постель и раскрыл. — Вот где моя кухня: бычки в томате, кусок сала и сахар. Шоколад для тебя, — обернулся он к жене. — В Москве удалось отоварить подводный аттестат. Здесь вместо шоколада, наверно, будут выдавать селетки.

Он положил свои сокровища на стол и хитро подмигнул жене:

— Ну, Анна, признавайся: у тебя ничего там нет... такого? — и щелкнул себя пальцем по горлу.

— Есть, — засмеялась Аня. — Вкусы твои помню. — Она достала из своего чемодана бутылку со спиртом и тоже поставила на стол.

— Вот это гарнир! — в восторге воскликнул Хохол. — Откупорил бутылку, понюхал.

Харкевич видел, что его товарищ счастлив. Он и раньше не тужил, и раньше был веселым, любил шутки, но теперь все эти черты характера обнаруживал с особой непосредственностью. Аня тоже улыбалась, но казалась тихой и сосредоточенной. Она неумело хозяйничала за столом, с готовностью выполняя подсказки мужа: надо подлить в кружки, подложить еще чего-то на тарелки. Ни он, ни тем более Харкевич не понимали, что ее волнует положение, от которого она давно отвыкла, беспокоит будущее, навстречу которому она с такой надеждой и отчаянием бросилась сама. Но Харкевич знал одно: она прилетела сюда, — значит, оба счастливы, как стал бы счастлив и он, если бы неожиданно рядом с ним оказалась Ксения...

Нет, он не мог сказать Александру Никитичу того, ради чего пришел! Не мог вломиться со своим опасным предложением в счастье этих двух людей, которые столько пережили, прежде чем настала минута их нового и, может быть, недолгого соединения. Харкевич глотнул из жестяной кружки обжигающей жидкости, взял кусок сала и ломоть хлеба, неохотно закусывал, а сам все время смотрел на Хохла — невысокого, но крепкого и широкого в плечах. Перед глазами стоял узкий темный вентиляционный канал, в котором даже он сам еле мог повернуть свое тонкое, костлявое тело... Глупости, как ему только могло прийти в голову предложить это Хохлу!

Харкевич поднялся:

— Ну, мне пора.

— Может, вы отдохнуть хотите? — поднялась со своего места Аня. — Мы будем сидеть тихо, а вы поспите.

— Спасибо, мне надо идти.

Хохол поставил на стол недопитую кружку. Он вдруг нахмурился.

— Что, плохи дела?

— Честно говоря, плохи.

— Значит, вся надежда на водолазов.

— Нет, почему? Я еще надежды не теряю.

— А мне Рудь сказал, что дальше по плотине пройти нельзя.

— Не знаю. Будем надеяться. Может, что-нибудь удастся придумать.

— Ну что же... — Хохол протянул руку — он не задерживал Харкевича, но посмотрел на него так, будто опять почувствовал себя в чем-то виноватым.

25

Олег Иванович увидел Штукаренко издали — полковник как раз вышел из хаты Шумакова и шагал домой. Харкевич ускорил шаги и догнал его возле калитки.

— А я собирался сейчас ехать к вам, — сказал Штукаренко, пропуская Харкевича впереди себя.

В хате было душно. Штукаренко молча подошел к окну и вытащил подушку, торчавшую в раме вместо выбитого стекла. В хату дунуло холодом, взвихрились бумаги на столе.

— Слышали, что предлагает Рудь? — спросил он, сбрасывая шинель.

— Нет, не слышал.

— А вы садитесь, — Штукаренко сел на свое место возле стола. — Рудь говорит, что единственный выход — проникнуть вверх из нижней потерны. Вы как считаете?

Вот как! Значит, его идея пришла в голову и Рудю.

— Я с этим к вам и пришел.

— Значит, Рудь уже поделился с вами?

— Нет, я додумался сам.

— Интересно, — Штукаренко усмехнулся. Глубокие морщины, пересекавшие щеки, стали еще глубже. — Гениальные идеи приходят в голову сразу многим. Отсюда и поговорка, «если двое говорят, что ты пьян, иди и ложись спать», — и он хитро сощурился.

— Это немного из другой оперы, — Харкевич совсем успокоился: Штукаренко был в хорошем настроении.

Но лицо полковника вдруг стало серьезным.

— Все-таки надо попытаться. Риск невелик.

— Для водолаза — велик.

— На войне, товарищ Харкевич, везде смерть, — в голосе Штукаренко дрогнули резкие нотки, которые Харкевич уже слышал когда-то во время совещания в этой комнате. — На войне стреляют. Могут и убить.

Харкевичу было ясно: дело решено. Наверно, именно об этом Штукаренко только что разговаривал с Шумаковым, фразы его были как будто заранее приготовлены — округлые, продуманные.

— К сожалению, такова дорога войны,— продолжал уже более мирно Штукаренко. Он вышел из-за стола, прошелся по комнате. — Иногда приходится посылать людей, чтобы только убедиться, что нельзя пройти. В том и состоит особенная жестокость войны. Случается, посылаешь человека на смерть, лишь бы только выяснить, что не следовало его посылать. Но это спасает других, нередко — многих. — Он остановился возле Харкевича. — Надо пробовать, искать, стучать во все дверцы, может, какая-нибудь и откроется. — Штукаренко смотрел на Харкевича пристально и внимательно, говорил так, будто убеждал в чем-то, хотя тот ему не возражал.

Харкевич чувствовал на себе этот пристальный взгляд. Неужели Штукаренко понимает, что у него на душе? Может быть, среди тех, кто окопался сейчас на передовой вдоль Днепра, нет ни одного человека, которому хотелось бы так, как ему, перейти на правый берег... Но кого он должен ради этого принести в жертву — Хохла? Богатырева? Вариводу? Разве это справедливо — платить из чужого кармана?

— Ничего не поделаешь. Пропась между берегами глубока, а моста нет. И все-таки надо перейти на тот берег! — Штукаренко вздохнул, будто говорил не о реальной пропасти, разделявшей днепровские берега, а о чем-то отвлеченном, более широком.

Да, пропасть. Ксения на том берегу, а он здесь. И между ними пропасть. И надо перебраться через нее, преодолеть ее. И, только преодолев, поймешь, как она была глубока и страшна — эта пропасть.

— Это касается и всех нас вместе и каждого в отдельности,— тихо продолжал Штукаренко. — Помните, как сказано в стихотворении: «Для веселня планета наша мало оборудована — надо вырвать радость...» Вырвать — значит засыпать эту пропасть, соединить берега. — Он опять молча прошелся по комнате и вдруг остановился возле Харкевича, словно неожиданно что-то вспомнил. — Кстати о стихах. Может, прочитаешь мне что-нибудь свое?

Харкевич оторопел. Откуда он знает? «Рудь»! — мелькнуло в голове. Но как понимать Штукаренко? Что это — проверка? Вообще стихами интересуется или хочет знать, что именно пишу я?

— Я почти ничего не знаю на память,— пробормотал Харкевич. Он понимал, что ни возражать, ни отказываться смысла нет.

— «Почти» — не значит «ничего», — опять усмехнулся Штукаренко.

Харкевич молчал. Выхода не было. Да и не хотелось искать выхода. Он чувствовал, как в нем поднимается злость против Рудя, и не мог ее унять. Что же, можно и прочитать. И лучше что-нибудь из написанного еще тогда, непосредственно после его выступления на комсомольском собрании.

— У меня есть стихотворение «Стенографистка». Попробую вспомнить.

Штукаренко сел на постель, приготовился слушать. Харкевич переждал минуту и начал читать:

Наш век не только рвется в небеса,
не только дал нам крылья и пропеллер,
но телеграф — чтоб писем не писать,
но телефон — чтоб ты мне «жди» пропела.
Он и стенографистку породил.
О ней подчас мы забываем в прениях,
мол, что б с трибуны ни нагородил,
забудется, исчезнет в бездне времени.
Но, слов стенографируя полет,
сама того не ведает, бедняга,
какую власть над временем дает
ей знаками пестрящая бумага.
Напрасно возбужденный водолей,
трибун неумолкающий воитель,
надеется, что слово — воробей,
пустил его — попробуйте словите!
О нет! И если не рискнет поэт
на фоне времени блеснуть картиной верной,
из недр архивных явится на свет
вот эта девушка, источник правды первый.
И пачка пожелтевших стенограмм,
а не официальная афиша,
ни в чем не ошибаясь ни на грамм,
все, все, как было, правникам опишет.

Штукаренко еще с минуту посидел в раздумье, потом поднялся и снова стал мерить комнату своими журавлиными шагами.

— Интересно, — усмехнулся он наконец, остановившись. — Вы имели кого-нибудь в виду, когда писали это стихотворение?

Харкевич тоже усмехнулся. Значит, дошло!

— Нет. Просто так написал.

Штукаренко бросил на него лукавый взгляд и опять стал медленно прогуливаться.

— Кое-кому надо на ус намотать! — воскликнул он и засмеялся уже вслух. — Хорошо, что напомнили и мне! Теперь начну придавать своим речам больше значения перед лицом грядущих поколений.

Это была шутка. Харкевич понимал. Главное — дошло, это тоже было ясно. Он напряженно ждал — хотелось, чтобы Штукаренко еще что-нибудь сказал, но тот подошел к столу, и лицо его вдруг нахмурилось.

— Ну, хватит общих рассуждений, — он положил руку на телефонный аппарат. — Вы с товарищем Хохлом говорили?

— Нет.

— Он, наверно, на плотине?

— Я только что видел его на квартире.

— Сейчас позовем. — Штукаренко взялся за трубку телефонного аппарата.

— К нему приехала жена... — поспешил предупредить Харкевич.

— Да, я слышал, — Штукаренко еще мгновение подержал в руке трубку, потом положил ее на место. — Обойдемся без него, — реши-

тельно сказал он после короткого молчания и стал надевать шинель. Поехали!

Машина уже ждала их. Видимо, Штукаренко распорядился заранее. Они сели рядом на заднем сиденье тряского газика, очень похожие друг на друга, оба высокие и худощавые, только один немного моложе. Но разница в возрасте казалась незначительной — пережитое оставило на лице Харкевича свой несмываемый горький след.

Штукаренко ему нравился. Он умел широко мыслить, Харкевич завидовал ему. И людей он знал глубже, и умел проникать в их мысли и переживания — это Олег Иванович уже не раз чувствовал на себе. Вот сейчас, например, не стал беспокоить Хохла... Сказал — «обойдемся без него». Это тоже вызывало уважение.

— Я вас до сих пор не поблагодарил за шинель, — сказал Харкевич.

— Что, пригодилась?

— Еще как!

— Она у меня — переходящая. С одного плеча на другое. Все время кому-нибудь приходится одалживать, — улыбнулся Штукаренко. — Во время отступления не один терял шинель, а мне везло — никак не мог потерять.

На западе глухо грохнуло. Раз... два... три... Навстречу, нарастая, летел характерный свист, и они умолкли. Снаряды пронеслись над ними высоко-высоко, потом где-то позади опять глухо грохнуло: раз... два... три...

— И куда он бьет, дурак? — оглянулся шофер.

— Ты лучше на дорогу смотри, — ответил ему полковник.

Дорога была плохая — мостовая давняя, будто исклеванная временем и войной. Шофер молчал, не очень довольный замечанием.

Вдруг впереди глухо зарокотало. Тяжело раскатился взрыв, качнув воздух. Штукаренко коснулся спины шофера, и тот резко затормозил.

Они стояли в открытом газике и молча смотрели вперед, в сторону Днепра, до него уже было совсем близко. Над домами, клубясь и переваливаясь, медленно поднималось в небо облако пыли. Через мгновение зарокотало снова, раскатился еще один взрыв, но уже слабее первого. И пыльное облако, которое не улеглось после первого взрыва, взлетело еще выше.

Харкевич узнал эти звуки. Он понял сразу: взрывают опять на станции или возле нее. Да, это опять там. Что они рвут?

Штукаренко медленно повернул лицо к Харкевичу — оно побледнело.

— Опять там?

— Там, — ответил Харкевич очень тихо, почти одними лишь губами.

Они соскочили на дорогу и, оставив машину возле обгоревшего дерева, побежали вперед к плотине.

Оба понимали: приближается ее очередь.

Когда Штукаренко и Харкевич наконец спустились в потерну, оказалось, что водолазы, в том числе и Хохол, уже внизу, а Рудь только что вернулся к своим бойцам, которых оставил на середине плотины. Харкевич сразу понял: Рудь решил действовать, не ожидая его возвращения. Неясно было только, как успел Хохол так быстро прибыть в потерну?

Наверно, разговор Штукаренко и чтение стихов в Моргунах заняли достаточно времени: Рудь успел известить Хохла и вызвать его на плотину.

Конечно, это было самоуправством со стороны Рудя. Почему он не подождал ни Харкевича, ни Штукаренко — трудно понять. Но сейчас разговаривать об этом было некогда. Штукаренко спешил к месту, где должен был появиться на поверхности водолаз, а Харкевич — в нижнюю потерну, откуда водолазу предстояло двинуться в опасную дорогу.

Как только Харкевич ступил на лесенку, что вела в нижнюю потерну, его вдруг обожгла неожиданная мысль: во время их встречи с Хохлом на квартире в Моргунах Варивода выполнял очередное задание под водой... Значит, сейчас он устал и уже не может снова спуститься в потерну. А Варивода тоньше и Хохла и Богатырева, ему было бы легче пролезть сквозь вентиляционный канал. Выходит, спуститься могут только Хохол или Богатырев, а оба они широкне в плечах и достаточно плотные, особенно в своих водолазных костюмах, поэтому имеют меньше шансов на успех.

Взволновало Харкевича и другое: на плане плотины, который был наскоро перерисован Хохлом, не указаны размеры, а без них водолаз не мог даже приблизительно представить себе, на каком расстоянии от места, где он войдет в воду, надо искать вход в вентиляционный канал. Значит, если он уже спустился, то будет идти наобум и конечно же не найдет в захлавленной воде никакого входа...

Харкевич почувствовал, что покрывается холодным потом. Не иначе, как всю эту спешку затеял Сергей Рудь... Просто захотел показать себя деятельным, проявить инициативу.

Внизу возле самой воды светился тусклый язычок керосиновой лампы. В сырой мгле Харкевич увидел двоих. Когда он приблизился, то понял, что произошло худшее: на последней ступеньке, склонившись и как бы прислушиваясь к дыханию маслянистой воды, стоял Богатырев, а немного выше сидел, прижавшись к стене, Варивода.

— Где Александр Никитич? — тихо спросил Харкевич.

— Минут пять, как спустился, — ответил Богатырев.

Выходит, так и есть — Вариводу не пустил, потому что тот утомлен, а Богатырев такой же комплекции, как и он. Стало быть, пошел сам.

— Как же он найдет вход?

— А они с лейтенантом Рудем измерили шагами расстояние от быка до быка. Вход — возле четвертого, лейтенант сказал, что точно помнит...

Верно, кажется, возле четвертого. А может, и возле пятого, сейчас трудно сказать. Ну, по крайней мере, хоть как-нибудь догадались определить расстояние — если со счета не сойдет, будет знать хоть приблизительно, где искать этот вход...

Харкевич постоял рядом с Богатыревым, прислушиваясь к тихим всплескам воды, потом потихоньку поднялся наверх.

Было еще светло, шел жиденький снег. На самом гребне, куда ветер прорывался с верхнего бьефа, снег не задерживался, но в углах возле быков уже лежал толстым слоем.

Злость на Рудя постепенно утихала. В конце концов он сам тоже должен был действовать немедленно, как и Рудь. Почему, собственно, он отправился в Моргуны — советоваться с Хохлом? Докладывать Штукаренку? Разве ему не ясно, что другого выхода все равно нет? Правда, в Моргуны он уехал до того, как раскатились один, а потом и другой взрывы. Может, именно эти взрывы, указывающие на катастрофическое приближение развязки, и ускорили решение Рудя действовать?

Впервые после того вечера на минном поле под Терноками он почувствовал, как по спине пробежала дрожь. Вообще ему никогда в жизни не было страшно, и даже там, на минном поле, он тоже не очень боялся. Но тогда он хорошо знал план поля — это поле было своим. Здесь под ним лежало чужое минное поле. Когда оно взорвется — через день или через мгновение? Но страх появился и исчез, холодно щекотнуло под сердцем. Конечно, Рудь прав: бессмысленно ждать разрешения и согласовывать свои действия, если вот-вот должно произойти самое страшное. В таких случаях спасает только решимость, которой, к сожалению, сам он не проявил, а проявил Рудь...

Штукаренко сидел возле стены. Рудь стоял рядом справа. Харкевич спрыгнул с лесенки на гребень и подошел к ним. Все молчали — не потому, что внизу шумела вода, мешая говорить: просто волновались — было не до разговоров. Его появление заметили, но никто не шевельнулся — напряженные лица замерли, каждый сосредоточился на своем и тяжело молчал.

Харкевич подошел к Рудю.

— Сколько вы там намерили? — спросил он над самым ухом.

— Где?

— Ну, шагов сколько намерили?

— А, шагов... Восемьдесят четыре. У тебя же план, проверь.

Правда, план у него. Харкевич вытащил его из кармана гимнастерки, закрыл полый шинели лучик электрического фонарика и стал разбираться. Ветер шелестел развернутым листом бумаги, стараясь свернуть его как раз в том месте, которое нужно Харкевичу. Да, получается восемьдесят четыре. Похоже, что верно. Приблизительно, конечно.

Харкевич взглянул на часы. Там, внизу, он отметил время, когда Хохол спустился в воду. Также приблизительно — Богатырев сказал, что минут пять назад. Стало быть, прошло немногим больше получаса. Восемьдесят четыре шага Хохол уже мог пройти. Значит, он

сейчас где-то возле входа в вентиляционный канал или даже в самом канале. Разумеется, если ему удалось разыскать эту чертову дыру!

Харкевич отошел от стены и сел рядом со Штукаренко. Почему-то его тянуло к этому человеку... Почему? Может, потому, что, если в тебе есть какая-нибудь, пусть совсем маленькая, незащищенная часть и кто-то сознательно или невольно становится на ее защиту, начинаешь тянуться к этому человеку, как к каменной стене?..

— Кто пошел? — наклонился Штукаренко к нему.

— Хохол.

— Я так и думал. Давно?

— Минут тридцать пять назад.

Штукаренко удовлетворился ответом, — конечно, он не имеет представления о том, что приходится преодолевать водолазу. Прикидывает, должно быть, сейчас в уме, когда надо посмотреть вверх, чтобы увидеть там Хохла. А тот, чего доброго, торчит в бетонном канале — ни вперед, ни назад, — задыхается от недостатка кислорода в баллоне и от напрасных попыток вырваться из каменных объятий...

Снег перестал падать, и ветер как будто немного притих. Мгла быстро густела и скрывала очертания предметов и лица людей. Удивительно, что с Хортицы их до сих пор не заметили — хоть и далеко, но если следить пристально, да еще в хороший бинокль... Хотя вполне возможно, что там уже давно о них знают и следят за каждым их шагом. И чего немцам волноваться, ведь рубильник у них в руках и можно включить его когда угодно...

Перед глазами возникла Ксения — не такая, как на снимке, бледная, с темными пятнами под глазами, постаревшая лет на десять... Такая, какой он видел ее в коридоре, когда провожала его к двери, а потом обняла... Где ты, Ксюша? Я хочу, чтобы ты была жива. Чтобы ты была здесь. Слышишь?

Вдруг Рудь что-то крикнул и взмахнул рукой. Потом подбежал к Штукаренко и опять крикнул, указывая наверх:

— Он!

Голос Рудя захлебывался, будто у него перехватило дыхание. Наверно, никто не услышал его восклицания, но все вскочили и бросились к противоположной стене.

— Ни с места! — крикнул опять Рудь, и теперь уже голос его звучал властно. — Не отвлекайте внимания!

Бойцы притихли возле стены, и взгляды их впились в темное небо. Высоко-высоко наверху стоял Хохол. Что именно он, можно было только догадаться, — человек, который появился на вершине быка, был не в водолазном костюме, а в чем-то ярко-белом, — может быть, даже в одном лишь белье. Фигура его четко выделялась на фоне темного неба, казалось, будто человек не стоит на быке, а висит в воздухе.

Бойцы затаив дыхание, словно замороженные, смотрели вверх. Никто не задумывался над тем, почему Хохол без водолазного костюма, — всех захватило само зрелище: они видели водолаза на вершине быка. Только двое поняли, что произошло, — Харкевич и

Рудь. И как только в сером небе появилась белая точка, они почти точно представили себе весь путь водолаза, все, что с ним произошло.

Снизу казалось, что Хохол не двигается. В действительности же он очень торопился. Ветер пронизывал насквозь, а свитер и белье на нем были совсем мокрыми. И хотя задубевшее от ледяного ветра тело давно ничего не чувствовало, мысль, что надо спешить, подгоняла водолаза. Не потому, что каждая лишняя минута на таком холоде, — гибель. Внизу, в темной прорве, на гребне, его ждали — Хохол никого не мог разглядеть, но знал, что внизу ждут. И это подталкивало и заставляло одеревеневшими руками разматывать шнур, который был у него с собой, чтобы скорее, пока еще есть возможность, есть силы, опустить его тем, кто ждет, и поднять лесенку, открыть дорогу наверх...

Водолазный костюм пришлось сбросить минут двадцать назад — еще перед тем, как Хохол вошел в вентиляционную шахту, которая начиналась в нижней потерне. Вход удалось найти почти сразу, но отверстие оказалось более узким, чем водолаз ожидал. Приходилось или возвращаться ни с чем, или... сбросить водолазный костюм еще в воде и попробовать пробраться. Мысль о возвращении он сразу же отогнал и стал открывать застёжки, чтобы как можно быстрее освободиться от костюма. Шахта поднималась вертикально, и Хохол догадывался, что вода в ней стоит не очень высоко: если удастся пролезть в отверстие, он вынырнет — легкие вырчат.

Перед тем как снять нагубник и сбросить пояс со свинцовыми грузилами, Хохол глубоко вдохнул и набрал полные легкие воздуха. Отстегнув пояс, сбросил костюм и остался лишь в своем белом свитере. Уперся ногами в стены узкой шахты, оттолкнулся от них и пошел наверх, медленно выдыхая воздух.

Он ни о чем постороннем не думал, захваченный одним стремлением — как можно дольше продержаться и не хлебнуть воды. Легкие свои он знал — с детства приучился нырять. На хуторе Щучьем под Пензой у Саливона Куца никто из пастухов не мог так долго пробыть под водой, как он, когда, бывало, тайком от хозяина подадутся ловить окуней на речке. Недаром ребята прозвали «водолазом» — он гордился этой кличкой, и вот — стал водолазом.

Хохол процеживал воздух сквозь сжатые зубы и поднимался все выше и выше. Уже подступало удушье, а над головой все еще стояла вода... Если бы это была река, как легко было бы вынырнуть даже с большой глубины. Но здесь, в узкой бетонной трубе, он поднимался медленно — стены не давали возможности двигаться и действовать ногами. Наконец воздух кончился совсем, легкие встrepенулись, и рот невольно захватил воды. Впервые в жизни навалился на Александра Никитича панический страх. Не потому, что обступала эта мертвая, холодная бетонная толща и заставляла его бороться с нею один на один... Он не знал, почему его вдруг охватили паника, страх, которых он раньше никогда не ведал. Губы сами собой разомкнулись и захватили холодной застоявшейся воды.

Наверно, продолжалось это только один миг. Судорожно взмахнув рукой, Хохол ударился о железную скобу, заделанную в стену, схватился за нее и почувствовал, что над ним воздух.

Он попробовал вздохнуть, но снова захлебнулся, зашелся глубоким кашлем. Его мутило, тело вдруг ослабело. Наконец удалось продохнуть. Еще миг он висел на одной руке, потом овладел собой и полез вверх. Его сразу пронизал холод. Он схватился обеими руками за скобы и заставил себя лезть выше, понимая, что застынет, если остановится хоть на миг.

Небо светилось наверху маленьким тусклым квадратом, оставалось еще метров десять, но ноги уже не слушались от холода и усталости. Пальцы не чувствовали огненно-морозных прикосновений железа, но он все хватался за скобы, чтобы подтянуться хотя бы еще на одну ступень. В голове гудело, будто в ней оседало эхо узкой бетонной шахты.

Взобравшись на подкрановый мост, Хохол долго не мог встать на ноги. Наконец поднялся. С минуту постоял, широко расставив ноги и стараясь припомнить, что он должен сделать еще. Вспомнил, что теперь надо идти назад к левому берегу — к быку, возле которого его ждут. Пошатываясь, он пошел.

Костяными пальцами придерживал шнур, обмотанный вокруг тела еще на суше. Колени дрожали, перед ним висел туман. Так он доплелся до крайнего быка и остановился над пропастью.

Притихшие бойцы жались возле противоположной стенки. Лишь Штукаренко стоял на середине гребня — ему никто не решался сказать, что он демаскирует всех. Да и опасно это было лишь в том случае, если бы вспыхнул вражеский прожектор. Лесенка уже была наверху. Хохол на минуту исчез, — наверное, привязывал концы к арматуре. Вскоре он опять появился и начал спускаться.

— Ну что же он... Зачем... Ну подождал бы наверху... — с досадой метнулся Рудь в сторону Штукаренко.

Тот не услышал и только предостерегающе поднял руку, словно речь шла о лунатике, которому опасно мешать. Рудь, поняв, что остановить Хохла все равно не сможет, подбежал к стене, схватил конец лесенки и натянул, чтобы ветер ее не раскачивал, надеясь хоть этим помочь Хохлу.

Александр Никитич нащупал ногой веревочную ступеньку и оперся на нее. Рудь почувствовал, как качнулась и задрожала лесенка. Хохол стал нащупывать другую поперечину, лесенка качнулась еще раз. И вдруг затихла... Рудь посмотрел вверх и увидел, что Хохол замер, прислонившись к стене головой. Через мгновение он опять стал нащупывать поперечину, лесенка резко рванулась к стене... Хохол сорвался с двадцатиметровой высоты и глухо грохнулся на гребень.

Он лежал, подвернув правую руку, тяжело прижав ее к бетону своим неподвижным телом. Штукаренко подбежал первым, наклонился над ним и припал к груди: сердце еще билось.

— В санбат! — крикнул он. — Быстрее!

Несколько бойцов, что стояли, оцепенев, возле стенки, бросились к водолазу.

Харкевич замер. Хохол — неподвижный — лежал перед ним, его белый свитер ярко выделялся на темном фоне бетонного гребня. Первая смерть, которую Харкевич увидел на этой войне. Смерть первого человека, с которым он на этой войне встретился.

27

Спускаясь в воду, чтобы проникнуть в вентиляционный канал, Хохол не был убежден, что ему удастся открыть группе Харкевича прямую дорогу на правый берег. Поэтому он приказал своим водолазам продолжать начатые накануне работы — создавать запас баллонов с кислородом на незатопленной средней части нижней потерны.

Удачный выход Хохла на подкрановый мост резко изменил обстановку — группа Харкевича вместе во взводом Рудя оказалась на другом конце плотины. Но приказа Хохла никто не отменил, и водолазы продолжали работать. Отрезанные от внешнего мира многометровой толщиной бетона, они ничего не знали о событиях наверху и верили, что именно им, а не группе Харкевича удастся выйти на правый берег. Сейчас они готовились опять спуститься под воду — как и час назад, как и вчера, как и на протяжении всех этих дней.

Богатырев в последний раз прислушался к медленным всхлипам и надел брезентовый пояс со свинцовыми грузилами. Варивода уже отдышался, он поднялся и помог товарищу надеть баллоны — с кислородом и химпоглотителем, а другой комплект, который Богатырев должен был переправить на сухой пяточок в потерне, пристегнул ремешком к поясу, чтобы волочился на буксире.

— Ну, я пошел, — спокойно сказал Богатырев. — Глухое эхо узкого, сырого коридора повторило его слова. — Через четверть часа и ты спускайся.

Ровно через пятнадцать минут в воду спустился и Варивода. Он делал это не впервые и хорошо изучил путь. На высокой, незатопленной части потерны уже лежало по шесть баллонов с кислородом и химическим поглотителем, теперь они должны были доставить туда еще по два, отдохнуть на суше без масок, поскольку над незатопленной вершиной и правда был хоть и застоявшийся, но годный для дыхания воздух, и двинуться дальше к берегу, занятому врагом.

Кислород экономить не приходилось: иди спокойно до места, где можно заменить баллон. Варивода дышал глубоко и равномерно — не то что прежде, когда впервые шел на этот сухой пяточок. Тогда приходилось беречь воздух, чтобы хватило и на обратную дорогу, — он рассчитывал каждый вдох, и то еле дотянул до выхода из потерны. Сегодня, когда он двинется дальше с сухого взгорбка, придется опять рассчитывать, опять цедить воздух сквозь зубы, чтобы хватило для возвращения назад. А баллон не резиновый, его не растянешь. Ну да Вариводе не привыкать, с кислородным голоданием познакомился

уже не раз, и ничего — жив, легкие, слава богу и маме, здоровы, да и привыкли работать на голодном пайке.

Варивода всегда так говорил — «слава богу и маме». Когда ехали сюда и остановились на несколько часов в Москве, Богатырев предложил забежать хоть на минутку к нему домой: от Киевского вокзала до Смоленского бульвара — рукой подать. Времени было достаточно, и Варивода познакомился с отцом Богатырева.

— Фигура у вас не подводная, — пошутил старик. — Вот мой сынок — как специально родился для этой работы. — Он улыбнулся в свои пушистые усы, пожелтевшие от трубки, которой никогда не вынимал изо рта.

— Ничего, слава богу и маме, управляюсь, — засмеялся в ответ Варивода.

— А у моего Кирюши матери нет... — взгрустнул старик, и усы его вдруг опустились, словно вдруг намокли.

Вариводе стало неудобно, он не знал, что его товарищ вырос без матери.

Сам Варивода вырос без отца, но мать у него была. Дружил с нею, и она его тоже чуть ли не на руках носила. Баловала, но в меру — была ему и за отца. Варивода любил ее и за нежность, которую она не всегда могла сдерживать, и за твердый характер, и все свои интимные дела прежде всего доверял ей. А таких дел за ним водилось немало, девочкам он любил крутить головы. После каждого нового сыновнего признания мать с притворной суровостью грозилла кулаком и говорила:

— Ну и варивода ты у меня! Уж ладно, вари из них воду, вари...

— Ничего, мама, вот вернусь с войны, жените.

Сейчас он вспомнил это не потому, что вдруг решил взяться за ум, а потому что подумал о маме. Идти было легко, хоть он уже сегодня дважды спускался под воду, а один раз был даже и на том пятачке. Но — слава богу и маме! — легкие здоровы. Отлежался на каменных приступках, отдышался и — хоть на танцы в морской клуб. Придет на пятиметровый плацдарм, снимет свинцовый пояс, посидит минут пятнадцать с Богатыревым без шлем-маски и — давай дальше. По довоенным нормам, наверно, уже выпался бы и, пожалуй, махнул бы на танцы, а тут считаться не приходится — война.

Теперь ему не мешало то, что дно захлавлено. Главное — знать дорогу, в море тоже паркет не постелен — иногда так споткнешься о камень, что и шланг поврешь. Но если дно знаешь, можно работать. Вот так и здесь.

Жаль только — когда совсем привыкнешь, приходится перекантовываться на новое место и изучать какое-то новое дно. И так всегда: только привыкнешь — сматывай удочки.

Он даже не считал шагов — зачем считать, если кислород не нужно экономить? Да и с направления не собьешься — здесь некуда свернуть ни вправо, ни влево. Чудное место, в таком еще не приходилось

работать! Единственное, что утомляет,— все время идешь на подъем. Зато с пяточка будет легче: там спускаться.

Ну вот и взгорбок. Сопротивление воды ослабело, и наконец его совсем не стало, а пояс с грузом стал чертовски тяжелым. Варивода расстегивает застежку и снимает шлем-маску.

— Водяному привет! — прочищает он голос.

Никто не отвечает.

— Кирюша, слышишь?

Опять никого.

— Богатырев, ты что? — Варивода уверен, что товарищ просто шутит, но под сердцем поневоле вздрагивает тревожная струнка.

— Богатырев!

Опять никто не отвечает. Неужели он до сих пор не вышел? Водолаз не позволит себе обмануть товарища, не заставит его нервничать. Да еще такой, как Богатырев!

Варивода достает фонарик. Всякое бывает: когда они впервые сюда пришли, он и сам чуть было не потерял сознание. Лучик шарит вокруг. Богатырева нет!

Варивода быстро надевает шлем-маску, берет в рот нагубник и трогается назад. Вперед Богатырев уйти не мог — должен был подождать. Значит, не дошел. Как же он, Варивода, мог не заметить, пройти мимо товарища? Вот что значит думать о постороннем, когда выполняешь задание.

Теперь Варивода идет зигзагами — от стены к стене. Хоть и дорогá каждая минута, а приходится идти так, чтобы опять не прозевать. Ну вот, так и есть: Богатырев всплыл под потолок!

Варивода хватает товарища и тянет вниз. Ощупывает шлем-маску: она на лице, и кислород не перекрыт. Но пояса с грузилами почему-то нет — потому и всплыл...

Что же случилось? Варивода волочит Богатырева на сушу. В голове гудит, кровь ударяет в виски. Он кладет товарища на взгорбке, возле запасных баллонов, и срывает с него маску. Разжимает Богатыреву зубы, толкает в рот нагубник от своего баллона и открывает кислород. Богатырев не дышит, кислород со свистом вырывается изо рта назад.

Вариводу охватывает страх. Десятки раз ему приходилось спасать товарищей, и самого десятки раз спасали. Но если работаешь в море, есть сигнальный провод, можно вызвать помощь или хотя бы сообщить о несчастье. Здесь даже этого не сделаешь: есть только ты и беда, чтостряслась с твоим боевым товарищем, и двести пятьдесят метров темноты — западня, из которой ты должен вытащить и себя, и свой страх, и товарища.

Варивода старается овладеть собой, опять надевает Богатыреву шлем-маску, включает новые баллоны — и ему и себе. Руки дрожат, ноги вдруг ослабли... Двести пятьдесят метров пути назад, двести пятьдесят метров темноты и страха, и главное — наверху никто не ждет...

Как только Харкевич влез наверх, он понял, что здесь подкрановый мост цел до самого берега. Да и зачем немцам его разрушать! Трудно поверить, что с левого берега кто-нибудь сможет сюда добраться.

Пока Амирадзе и Ковальчук поднимали имущество, Харкевич стоял на быке и смотрел на правый берег. Снег опять повалил — теперь уже гуще. Здесь ветер гулял совсем свободно, мягкие хлопья липли к лицу и сразу же, превращаясь в капли, стекали по щекам.

Впереди лежал почти целый мост, конец его терялся в синей мгле, затянутый легкой снежной пеленой. Под ногами чувствовалось деревянное покрытие — не только остатки ферм бывшего моста, даже тонкие железные поручни сохранились по бокам. Харкевич подошел к краю, слегка перегнулся через поручень и посмотрел вниз. Там было совсем темно, из пропасти доносился монотонный шум воды, ослабленный расстоянием. Можно просто кликнуть ребят, взять вещмешок на плечи и идти домой, как прежде, когда он тысячи раз ходил по этому мосту, по этим ровным доскам.

Но все это было слишком просто — взять вещи и идти. Самое простое на войне — в то же время и самое опасное. Наверно, мост заминирован. Надо двигаться осторожно — именно продвигаться, а не идти.

Харкевич взял автомат и присел возле Ковальчука. Надо решить, как действовать: идти по одному или двинуться вперед вместе. В темноте легко нарваться на мину: фонариком не посветишь — берег рядом, да и с Хортицы могут заметить. Знают ли немцы, что здесь кто-то есть, или это им не приходит в голову — действовать надо осторожно, вот главное.

— Послушайте, Сандро, мы здесь подождем, а вы попробуйте разведать, что там впереди.

— А чего бояться? — возразил Амирадзе. — Александр Никитич прошел во-он откуда! — Амирадзе махнул рукой в сторону правого берега.

Правда, Хохол вылез на мост далеко отсюда и на мину не наварлся. И все-таки там, где одному пройти удалось, другому может не повезти.

— Пожалуйста, делайте, как я вам говорю, — мягко оборвал его Харкевич. Ему неприятно было, что Амирадзе сказал «бояться». Харкевич не боялся, он просто не хотел рисковать. — Идите вперед, и, пожалуйста, осторожно.

— Есть, — подчинился Амирадзе. Взял автомат и пополз вперед. Ковальчук и Харкевич молча следили за маленькой фигурой, что распласталась на самом краю, почти на последней доске слева. Амирадзе полз быстро и неслышно, будто плыл по воде. Через минуту он уже исчез, поглощенный темнотой.

Амирадзе дополз до третьего быка и остановился. Пришлось передохнуть. Он прислушался — ничего не слышно. Там, когда они были

втроем, он сказал, что бояться нечего. Но когда оказался один, под лужечкой тревожно засосало.

Он притих и прислушался, опершись на руки, вытянув вперед тонкую шею с острым кадыком. Потом пополз дальше, осторожно перебирая руками и стараясь не грохнуть сапогом о деревянный настил.

Вдруг послышался какой-то звук, такой тихий и глухой, что его трудно было уловить. Амирадзе замер. Звук приближался и повторялся ритмично. Кто-то размеренно шагал. Сандро припал ухом к настилу — никакого сомнения, приближались шаги.

Амирадзе понял, что это часовой. Похоже, что мост цел до самого берега или если и разрушен, то есть сходни, по которым сюда ходят часовые.

Он оглянулся: отступить нельзя — уполз слишком далеко. И шаги уже слышались близко. Потрогал рукой настил и передвинулся правее, на ферму. Теперь Амирадзе лежал в стороне, чуть ниже настила, и его трудно было бы заметить даже днем.

Шаги приближались, они бухали размеренно и гулко. Часовой двинулся медленно, но ногу ставил тяжело, будто нарочно ударял подметками сапог по доскам — грелся или подбадривал себя.

Амирадзе напряг зрение, чтобы увидеть часового как можно раньше. Наконец впереди замаячила расплывчатая фигура — на фоне темного неба она колыхалась, как тень. Сначала казалось, что часовой приближается по противоположной стороне моста, и Амирадзе обрадовался. Но ему так только показалось — мост, как и вся плотина, имел форму подковы, и, мимовав закругление, часовой пошел прямо на Амирадзе.

В первое мгновение Амирадзе растерялся: вдруг часовой его заметит, что делать? Стрелять? Нет, этого делать ни в коем случае нельзя. Амирадзе вспомнил о своей финке, что висела на поясе, и отложил автомат.

И сразу же он опять испугался: если часовой не заметит его и пройдет дальше, то окажется на другом конце моста. Харкевич и Ковальчук могут подумать, что идет он, Амирадзе. Часовой успеет выстрелить, и, если даже им удастся с ним покончить, поднимется тревога. Тогда всему конец.

Он принял решение, и это успокоило. Часовой уже был рядом: протянуть руку — и можно схватить за шинель. Амирадзе дал ему возможность сделать еще один шаг и вскочил на ноги. Одним махом он ударил его финкой в спину, часовой слегка охнул и повис на его руках.

Тревожно озираясь, Амирадзе расстегнул на нем пуговицы и снял шинель. Пилотка с опущенными ушами лежала сбоку, он схватил и ее. Хотел уже столкнуть убитого в пропасть, но вдруг вспомнил о документах. Это была привычка разведчика — забирать документы убитых. Даже у тех, кто оставался на поле боя, документы надо было забрать. Он оттащил мертвого на другой край моста и сбросил вниз — с этой стороны шумела вода, и сам Сандро не расслышал, как немец свалился в кипящие волны.

Что дальше делать, Амирадзе не знал. Он поднял свой автомат, взял шинель и пилотку немца и побежал назад. Уже шагов через десять Амирадзе вспомнил об автомате часового. Вернулся, прихватил и его и быстро пошел к своим.

Ковальчук первым понял, что произошло. Если мост цел или есть хоть какой-нибудь выход на берег, часовой не мог быть один. В то время, когда убитый был на этом конце, на другом должен был находиться второй. Наверно, они обходили мост из конца в конец и встречались где-то на середине. Так что тот, второй, сейчас уже шел им навстречу, и его обязательно надо тоже встретить.

Объяснить это Харкевичу было некогда. Ковальчук быстро сбросил свою шинель и надел немецкую. Потом натянул на голову пилотку и взял немецкий автомат.

— Я пойду вперед, а ты давай позади,— бросил он Амирадзе.— Если мне удастся снять второго, беги ко мне. Понял? — Он сделал шаг и остановился.— А вы ждите здесь,— шепнул он Харкевичу.

Ковальчук пошел вперед, стараясь не стучать сапогами. Немного погодя двинулся вслед за ним Амирадзе. Харкевич еще и теперь не совсем понимал, что именно они собирались делать, но Амирадзе сразу догадался о намерении Ковальчука, наверно, потому, что был учеником Цыганкова. Харкевич не переспрашивал, он подчинился Ковальчуку, как будто почувствовал, что старшим на войне становится тот, кто в ответственную минуту проявляет больше решимости.

Ковальчук шел впереди и вдруг остановился. Амирадзе, увидев это, тоже притих, припав к настилу. Ковальчук прислушался. Ему показалось, что он слышит негромкий свист. Он подождал еще минуту и понял, что не ошибся, вдали действительно кто-то насвистывал, приближаясь к ним.

Ковальчук двинулся вперед, твердо ставя ногу на деревянный настил,— так, как должен шагать уверенный в себе часовой, спокойно обходящий порученный ему участок. Свист приближался, теперь Ковальчук уже слышал размеренные шаги и отчетливый свист. Часовой насвистывал «Катюшу». Вскоре из темноты показался и он сам. Ковальчук усмехнулся и зашагал вперед почти совсем спокойно.

Двое часовых медленно сближались.

Когда они уже были близко друг от друга — шагах в двадцати, немец потер руками уши и крикнул:

— Ганс, эс ист шон винтер!

Ковальчук не знал немецкого, но по движениям часового понял, что тот замерз.

— Хо-хо! — ответил он и тоже стал растирать уши. Вдруг заволновался, сердце запрыгало под ребрами, дыхание сбилось, его невозможно было унять.

Немец уже шагал рядом, только на противоположной стороне. Надо было решиться и подойти к нему.

Ковальчук достал портсигар и нарочно громко стал насвистывать «Катюшу». Вторя ему, часовой пошел на сближение, наверно надеясь закурить. Ковальчук протянул ему портсигар левой рукой, а правой

изо всей силы ударил в лицо. Часовой покачулся, но вскрикнуть не успел. Финка Ковальчука угодила ему прямо в грудь.

Когда Амирадзе накинул на себя немецкую шинель, они решили, что Ковальчук пойдет вперед, а Амирадзе вернется за Харкевичем. Гулко ступая по деревянному настилу, Ковальчук дошел до самого конца плотины и потом, продолжая насвистывать, двинулся назад. Больше он никого не встретил, и ему стало ясно, что до смены караула они остаются хозяевами моста.

В их распоряжении было немного времени: за это время надо было найти и перерезать кабель.

29

Немецкая шинель оказалась слишком длинной на Амирадзе, от нее несло чужим, неприятным духом — смесью дешевого одеколона и скверного табака. Амирадзе не курил и не употреблял духов, и его мутило — он думал, что от этого запаха, а не со страху. Но в коленях чувствовалась непривычная слабость, под ложечкой сосало.

Харкевич отстал шагов на десять. Спешить было нельзя — Амирадзе шел медленно, твердо ставя ногу, как полагается часовому. Кто знает, может быть, за время, пока он дойдет до конца, там кто-то появится, и его надо будет тоже снять — тихо, чтобы не услышали на правом берегу... Когда они встретились с Ковальчуком, Харкевич приказал ему бежать к своим и передать Рудю, чтобы подтягивал свой взвод. Теперь требовалось уже настоящее боевое обеспечение — ведь они втроем спустятся вниз. Рудь их должен будет прикрыть с плотины.

Амирадзе громко насвистывал «Катюшу» и не спеша шагал вперед. Медленно и ритмично ставить ногу — вот покамест вся его задача. Раз, два, три — мост гудит под сапогами Амирадзе. Харкевич прислушивается, как бы, чего доброго, не пропустить малейшей перемены ритма: это единственный способ узнать, все ли спокойно впереди. В темноте Харкевич с трудом различает маленькую фигуру солдата... А что происходит дальше, может увидеть только Амирадзе. Ритм его шагов не меняется, значит, пока все хорошо.

Главное — успеть найти проклятый кабель до смены караула. Но когда его меняют — вот вопрос. Может, лучше было сначала это выяснить и соответственно отложить начало операции, тогда в запасе было бы больше времени, чтобы действовать не спеша? Впрочем, кто знает, что лучше! Вот ему, Харкевичу, сначала казалось, что Рудю не следовало вмешиваться и посылать Хохла без их ведома в вентиляционный канал. А к чему бы это привело? Они потеряли бы несколько золотых часов, а немцы за это время, может, включили бы рубильник...

Харкевич жметя поближе к поручням и идет наклонившись. Даже если и заметят Амирадзе — не страшно: знают, что на плотине часовые. А вот если Харкевича заметят, тогда плохо: долговязый, как

жердь, и идет в одном направлении с часовым! А часовые ходят в противоположных направлениях, это знает каждый.

Харкевич припадает ухом к помосту и прислушивается. Кроме шагов Амирадзе слышны еще какие-то звуки и потом глухой удар: наверно, бойцы Рудя подняли на мост пулемет. Все-таки можно было бы поставить его на помост и тише. Бухают ногами, как лошади, черт бы их побрал! Хотя, видимо, это слышно только ему: он припал ухом к настилу. Немцы на берегу не прислушиваются, это дело часовых, которые уже, слава богу, плавают в Днепре...

Наконец Амирадзе доходит до самого края. С высоты последнего быка видны временные сходни на берег. Обыкновенные сходни — такие мостят на стройках, чтобы подавать кирпич для стен. Придется спускаться по ним. Доски прогибаются и покачиваются. Шаги Амирадзе ускоряются. Харкевич прислушивается, и сердце тревожно замирает — ему кажется, что Амирадзе побежал...

Харкевич стоит пригнувшись и ждет. Проходит минута. Наконец вдали опять показывается расплывчатая тень, шаги становятся ритмичными и твердыми, как раньше. Амирадзе приближается, — значит, все в порядке, впереди никого нет.

Харкевич ждет, пока подойдет Амирадзе, и тихо приказывает:

— Давайте всех сюда. Только тихо. Я буду ждать здесь.

Амирадзе проходит, шаги его удаляются. Харкевич остается один. Он ложится на ферму и застывает. Здесь его трудно заметить, даже если пройдут совсем рядом. Автомат перед ним, но стрелять он не имеет права, что бы ни случилось.

Харкевич лежит один — теперь он впереди всей дивизии. Там, наверху, километров за сто отсюда, наши войска уже на правом берегу, но здесь никто еще не форсировал Днепра. А он форсировал, он уже почти на правом берегу! Самый передний боец из всех армий, что стоят перед Днепром от Днепропетровска до Черного моря... Ни один человек не стоит ближе к вражеским гнездам, ни один солдат! Он один против сотен тысяч озверевших захватчиков, один против целых армий.

Странное чувство. Смесь гордости и страха. Да, да — и страха. Не за себя, не за свою маленькую жизнь. Страх за эту самую гордость, какой он еще никогда в жизни не чувствовал с такой силой. Самый передовой боец! Не на участке какой-нибудь роты или даже батальона. Сотни километров изогнутого, кривого, как железо после взрыва, замершего фронта, и только он, Харкевич, впереди: это трудно постичь.

Об этом даже рассказать будет трудно. Да еще ему — косноязычному молчуну! Он никогда не умел как следует рассказывать и о более простых вещах. Кто это сказал: бывает неразговорчивость от бедности мыслей, а бывает и оттого, что слова бессильны вместить мысль или чувства...

Где-то далеко за правобережными холмами вспыхивает зарницей и тяжело ухает пушка. Снаряд свистит высоко над головой, потом свист затихает, и через мгновение слышен глухой взрыв позади, пра-

вее Моргунов. Еще мгновение, и впереди опять вспыхивает выстрел, потом несколько выстрелов сразу — и все смолкает.

Сзади приближается Ковальчук, он громко насвистывает «Катюшу». Это тревожит Харкевича: Амирадзе тоже насвистывал этот мотив. Лучше бы какую-нибудь немецкую насвистывали, если так нужно для успокоения нервов! Немецкий часовой, а насвистывает почему-то чужой мотив...

Ковальчук проходит вперед тем же размеренным шагом. Боже, сколько эта осторожность отнимает времени! Трижды прошли уже, убедились, что никого нет, так надо еще страховаться, а ведь каждую минуту может появиться разводящий со сменой караула!

— А ну давай быстрее вперед,— шепчет он Ковальчуку и уже собирается бежать.

— Надо ребят подождать,— останавливает его Ковальчук. — Они уже недалеко.— Он имеет в виду бойцов Рудя.

— Ну хорошо,— соглашается Харкевич.— Идите.

Ковальчук опять ступает вперед. Правда, надо подождать. Что они могут сделать вдвоем с Ковальчуком? В случае тревоги их просто пристрелят.

Через несколько минут появляется Рудь со своими бойцами.

— Ну, давай скорей! — бросает ему Харкевич и бежит вперед.

Он слышит, как позади тяжело дышит Рудь. Потом останавливается — бойцы отстали. Они несут ручной пулемет, ящики с лентами и гранатами. Через мгновение Рудь уже опять тяжело сопит позади. Он то и дело останавливается и машет рукой своим, чтобы не задерживались, но приближаются они все-таки медленно.

Ковальчук уже стоит возле сходней. Харкевич становится рядом. Оба смотрят сквозь прогалину в стене крайнего быка, похожую на дверь без наличников и косяков. Перед ними только руины аванкамеры, а дальше — взорванное помещение станции, в темноте оно похоже на сожженный океанский корабль.

Но вот наконец и Рудь. Он возле крайнего быка. Бойцы осторожно передают ему с рук на руки пулемет. Рудь устанавливает его на бетонный порог пустой двери, словно в амбразуру крепости. Бойцы поодиночке приближаются и занимают удобные места.

— Все?— спрашивает Харкевич.

— Кажется, все,— отвечает Рудь.

— А где Сандро?

— Я здесь,— почти над ухом у Харкевича отвечает Амирадзе.

— Ну, пошли,— говорит Харкевич.

— Вы только по доскам не топайте сапогами,— советует Рудь.

Харкевич не отвечает. Некогда отвечать.

— Давай,— касается он плеча Ковальчука и первым ступает на сходню. Осторожно нащупывает поперечины, набитые на доски. Верно, сходни сворачивают влево, так и должно быть.

Теперь Рудь становится возле прогалины в стене, где только что стоял Харкевич, и следит. Те двое, что с Харкевичем, осторожно, но быстро спускаются. Через минуту они уже бегут по бетонной стене

аванкамеры. Рудь хорошо видит их — впереди Харкевич, за ним Амирадзе. Ковальчука они оставили возле сходней, чтобы страховал их на всякий случай.

С правобережных холмов опять подает голос пушка. Хорошо, что стреляют, все-таки заглушают шаги. В свете коротких вспышек возникают фантастические контуры домов на правом берегу. Рудь не замечает, как внутри у него все бьется, колотится — от усталости, от волнения, черт знает отчего еще. Ему не до этого: впереди родной город и те трое, что уже вступили на его бетонный грунт.

30

То, что на протяжении последних дней происходило на плотине, неминуемо должно было завершиться переправой семьдесят восьмой и нескольких смежных с нею дивизий — независимо от того, удастся обезвредить немецкие мины или нет. До сих пор здесь воевали только с помощью нервов, человеческой воли и изобретательности; все понимали, что напряжение в конце концов завершится открытым столкновением больших войсковых масс, и те, кто не принимал непосредственное участие в событиях на плотине, готовились к прыжку через Днепр, как только станет ясно — удалось ее спасти или не удалось.

Неожиданным было единственное — быстрота надвигающихся событий.

С Харкевичем и его товарищами могло произойти все. Личная их судьба, как и результаты их действий, зависели не только от них, но и от многих других обстоятельств. Каждую минуту мог появиться на плотине вражеский разводящий с новой сменой часовых и обнаружить, что предыдущая смена бесследно исчезла. Харкевич или Амирадзе могли сделать неосторожный шаг, обнаружить себя и поднять во вражеском лагере переполох. Наконец, Харкевич и Амирадзе могли не найти кабель, ведущий к вражеским минам. Сейчас, когда решали уже не часы, а мгновения и все зависело не только от замысла и расчета, но и от каждого неосторожного шага, дивизия должна была стоять в полной готовности, чтобы начать активные действия, как только грянет приказ.

Правда, у Шумакова было в запасе еще немного и дополнительного времени. Если бы немцы взорвали плотину, переправу пришлось бы задержать, пока перебушует вода, что ринется из верхнего бьефа в свежий пролом. Но даже если бы несчастья и не произошло, все равно не следует спешить со спуском на воду: немцы могут нарочно задержать руку на рубильнике, чтобы поднять на воздух плотину, когда части уже начнут переправляться, и уничтожить их с помощью той же самой воды, которая хлынет из верхнего бьефа.

Но и в первом, и во втором случае ожидание не будет напрасным. За это время надо подавить огневые точки врага на его передовой и в ближайшем тылу. В течение последних дней немцы стреляли не часто, но за каждым выстрелом следили специальные наблюдатели,

они старались как можно точнее определить, откуда именно стреляли. Полученные таким путем данные сведены в единую карту боевых укреплений правого берега, она лежит на столе у Шумакова.

Когда Штукаренко постучал в дверь, Шумаков сидел как раз над этой картой. Сзади стоял подполковник Лемешко и посматривал через плечо комдива на стол. Увидев на пороге полковника Штукаренко, Лемешко вытянулся в струну. Не поздоровавшись, Штукаренко переступил порог и коротко сказал:

— Ну все. Харкевич на правом берегу.

Шумакова это известие поразило.

— Садись. Я слушаю.

— Как говорится, подробности письмом,— усмехнулся Штукаренко.— Времени у нас мало.

Верно, если так, то сейчас не до боевых эпизодов. Из нескольких фраз Шумаков понял главное. Не повернув лица к начальнику штаба, что стоял позади, Шумаков приказал:

— Все в соответствии с распоряжком, который у вас есть.— И, не ожидая, пока тот повторит по форме, бросил:— Выполняйте.

Как только подполковник вышел, Шумаков снял телефонную трубку и попросил немедленно разбудить командарма. Пришлось подождать. Шумаков прикрыл ладонью трубку и тихо спросил Штукаренко:

— Как же им так быстро удалось?

Штукаренко понимал, что выход Харкевича на правый берег еще совсем не означает, что мины обезврежены. Но самый факт перехода через плотину, во что, как он догадался, Шумаков не всрился, радовал его, как личная победа. Штукаренко многозначительно усмехнулся:

— Удалось. А ты как же думал?

Чуть заметная лукавая усмешка Штукаренко сказала Шумакову больше, чем можно было ожидать. Наивное злорадство Штукаренко развеселило комдива, и он не настаивал на деталях. Тем более что как раз в это мгновение в трубке послышался хриплый голос командарма и надо было докладывать.

Оба — и Штукаренко и Шумаков — были далеки от того, чтобы на пороге событий, которые надвигались на них, скорить, хотя бы мысленно, друг друга за то, что в этом споре один оказался правым, а другой ошибся. Правота одного и неправота другого сейчас целиком зависели только от успеха или неудачи группы Харкевича. И все-таки чуть заметные усмешки, пробившиеся сквозь напряжение решающей минуты, были свидетельством того, что люди всегда склонны к ребяческой игре самолюбий — даже в моменты, когда события захватывают их целиком и властно ставят перед выбором решения, которое потребует не только полного единства, но и общих жертв.

В трубке захрипел голос командарма. Генерала подняли с постели, и он, как человек пожилой и нездоровый, еще не совсем опомнился от сна. В голосе слышалось недовольство и даже раздражение. Но после первой же фразы Шумакова хрипота исчезла и голос зазвенел командирским металлом.

Командарм тоже не ожидал, что на плотине дела подвинутся так быстро, хотя и отлично понимал — не сегодня, так завтра настанет мгновение, когда придется открывать стрельбу. Армия была уже полностью готова к этому, и, выслушав доклад комдива, генерал-полковник сказал почти то же самое, что Шумаков своему начальнику штаба:

— Все как в проекте приказа. — И добавил: — О событиях на плотине докладывайте через каждые пятнадцать минут.

Штукаренко сидел напряженный и старался расслышать, что отвечает на слова Шумакова генерал-полковник. Несмотря на то что в последние дни ему приходилось больше следить за разведгруппой, действовавшей на плотине, он был в курсе всей боевой подготовки дивизии. И пока комдив разговаривал с командующим армией, в его воображении вставали знакомые полки и подразделения, которым предстояло вступить в бой. И как всегда в минуты, предшествующие важным событиям, он почувствовал острое и томительное волнение.

Шумаков положил трубку, но руки не отнял. Он помолчал, должно быть подавляя в себе такое же волнение, и вместе с тем собирался с мыслями.

— Ну так, — подытожил он то, о чем успел подумать, и поднялся. — Ты доводи до конца дело на плотине.

— Слушаю, Иван Семенович.

— И не забудь: я должен каждые пятнадцать минут докладывать.

— Понимаю. Как только прибуду на место, немедленно позвоню.

— Жду.

Штукаренко вышел. Настала минута, когда их ничто не разделяло и обоих можно было назвать двумя половинами единой сущности.

Шумаков открыл дверь — Голобородько сидел возле стола и, склонив голову на бумаги, спал. Комдив подошел к адъютанту, тот не проснулся. Жаль было его будить — округлое лицо, покрытое медными веснушками, расплылось в блаженном покое, чуть заметные, словно выгоревшие на солнце брови приподнялись, лицо стало грустным, как у ребенка, готового заплакать.

Шумаков коснулся плеча лейтенанта. Голобородько, ничего не соображая, замигал и вдруг вскочил.

— Простите, товарищ полковник!

— Свяжитесь с майором Терещенко и передайте: в силу вступает приказ номер сто девяносто три.

— Есть, товарищ полковник!

— Потом свяжитесь с отдельным арtdивизионом и скажите, что все готово. Вы проснулись?

— Да, товарищ полковник.

— Я — у начальника штаба. Когда позвонит Штукаренко, немедленно переведите туда. Ясно?

— Ясно, товарищ полковник

— Действуйте.

Шумаков вернулся в свою комнату, набросил шинель и вышел во двор. Дул западный колючий ветер. Морозило. Шумаков завернулся плотнее в шинель и, придерживая ее полы изнутри, зашагал улицей к дому начальника штаба. Вокруг стояла тишь. Он остановился на миг, прислушался: так бывает перед бурей.

31

Внизу, у горы камней, оставшихся от стен турбинного зала, ветер неистовствовал не так, как наверху, — снег здесь задерживался и покрывал землю сплошь.

С огромной высоты, откуда наблюдал Рудь, хорошо были видны две маленькие фигурки — Харкевич и Амирадзе. Ковальчука он не видел, но знал, что тот притаился внизу за стеной аванкамеры, возле большого штабеля дров. Двое перебежали через квадратную площадку и слились с серым фоном огромной стены, оставшейся от помещения станции. Теперь их уже почти нельзя было разглядеть. Но Рудь всматривался в темноту так напряженно, что все-таки ни на миг не терял из виду обоих.

Кабель можно было искать и ближе — там, где остался Ковальчук, — но при входе в плотину провод, безусловно, был прикопан, и, чтобы его искать, пришлось бы, по крайней мере, посветить. И Рудь понимал, почему Харкевич отважился на самый большой риск и вдвоем с Амирадзе прошел прямо к стене, хотя за нею в подземелье могли быть немцы: рубильник, на котором лежала вражеская рука, скорее всего был в подземной части станции, значит, кабель мог выходить на поверхность именно оттуда.

Рудь старался следить за каждым движением разведчиков, но не знал наверняка — видит ли он их или ему это только кажется. Он весь как будто обратился в зрение, единственное, чего боялся, — потерять из виду эти две тени.

Передняя тень медленно ползла по серому фону — это был Харкевич. Он продвигался к краю стены, чтобы заглянуть за угол. Там есть дверь в подвал, она глубоко внизу и могла уцелеть; та самая дверь, через которую он когда-то проходил в турбинный зал.

Человек, действующий в опасных условиях, никогда не переживает своих поступков так глубоко и тревожно, как тот, кто следит со стороны за его движениями. У него нет времени задумываться, и, таким образом, он не может оценить размеры опасности. А может, секрет в том, что колебания уже позади, ведь сделан первый шаг и остается единственное — двигаться вперед.

Заглядывая за угол, где враг его мог уже заметить, Харкевич не превратился в комок нервов; голый, трезвый расчет — вот что приказывало Харкевичу действовать именно так, а не иначе, действовать точно и безошибочно. Малейшая ошибка в этих обстоятельствах означала смерть.

Он уже не думал о том, что совсем близко, на соседней улице, может быть Ксения, не думал и о том, что сейчас может осуществить-

ся или погибнуть все, ради чего он жил и действовал на протяжении этих дней. Угол стены, а за углом освещенная мглистым лунным светом сама стена и в нескольких шагах — дверь, сквозь которую легче услышать, что творится там, внутри... Состояние человеческой души, когда один делается героем, а другой трусом, один становится рыцарем, а другой подлецом, в зависимости от того, что в душе осталось, когда отступила условность...

Харкевич скользнул за угол, куда луна хоть и слабо, но все же светила, — с плотины его теперь было видно совсем ясно. У Рудя перехватило дыхание, рука поневоле потянулась к поясу — к гранатам, сняла одну лимонку с крючка и зажала, словно стараясь раздавить одеревеневшими пальцами бугристую сталь.

Харкевич застыл возле двери. Он помнил: дверь открывается из подземелья, и если вдруг кто-нибудь выйдет оттуда, то заслонит его. Что там внутри, за дверью, и можно ли пройти еще немного вдоль стены до места, залитого молоком лунного света? Если кабель там, его легко будет заметить.

Из-за двери послышался глухой голос, и Харкевич разобрал: «Фойер!»

Вслед за этим прокатился выстрел из пушки — стреляли, должно быть, с правобережных холмов. Команда повторилась, и через мгновение прокатился еще один выстрел. И Харкевич понял, что в помещении сидит немецкий корректировщик, который передает по телефону поправки прислуге артиллерийских батарей.

Это его не интересовало. Ему нужен был кабель, и только кабель. На груди висел автомат — на всякий случай. Стрелять он все равно не мог, как бы ни сложилась обстановка. Главным оружием были большие стальные кусачки, ими можно перекусить не только толстый кабель, но и железный прут.

Стена оказалась совсем голой, кабеля на ней не было. Правда, вверх покачивалась какая-то проволока, но провод, который искал Харкевич, должен был уходить в землю, а не висеть наверху. Харкевич решил вернуться назад, за угол, и искать на неосвещенной стороне — она ближе к плотине. Но как только он шагнул от двери, послышался цокот подковаанных сапог по каменным ступеням. Шаги быстро приближались. Было ясно: из подземелья поднимается не один человек, а несколько — целая группа. Они бежали, перепрыгивая через ступеньки.

Харкевич бросился к двери в надежде, что она его загородит. Через мгновение на площадку вывалилось пятеро солдат. Увлеченные разговором, немцы громко хохотали и прошли, даже не оглянувшись, мимо Харкевича, притихшего за дверью.

Он понимал: это не новый наряд часовых, не смена тем, кого уже нет на плотине. Если бы это были часовые, то шли бы втроем — караульный начальник и два солдата. И не хохотали бы, а печатали строевой шаг.

Солдаты веселой гурьбой прошли в сторону плотины, и Харкевич испугался не за себя, а за Ковальчука, который остался там. Заме-

тить они могли только его — Харкевичу не трудно было отступить назад в тень, где за углом стоял Амирадзе, и там переждать, пока немцы или вернутся назад в помещенне, или поднимутся на плотину, где их тихо накроют бойцы Рудя.

Хохот быстро удалялся. Харкевич скользнул вдоль стены и оказался за углом. Он подал знак Амирадзе — тот отошел еще дальше и спрятался за деревянный сарай. Через мгновение там был и Харкевич.

Рудь увидел немцев, когда открылась дверь и в темноту ударил синий свет маскировочной лампы. Перед этим он ясно различал силуэт Харкевича у входа и, когда немцы вывалились на улицу, испугался за него. Но немцы продолжали идти веселой ватагой и приближались к сходам, которые вели туда, где стоял Рудь. Волнение охватило Рудя с такой силой, что он вдруг совсем утратил власть над собой. Ему даже не пришло в голову то, что Харкевич понял сразу, и он решил: на плотину идет новая смена караула. Это означало, что перерезать кабель и тихо отойти, как вначале предполагалось, не удастся и надо или вступить в бой, или отойти, не выполнив задания, оставив на правом берегу Харкевича с его товарищами. Рудь растерялся. Точно определить с такого расстояния, сколько солдат приближается к нему, он не мог. Гам, который они подняли, производил такое впечатление, будто на него движется целая толпа. Ему было ясно: расчет на то, что придут лишь трое часовых и их можно будет потихоньку снять, не оправдывался.

Немцы подошли к штабелю дров, за которым притаился Ковальчук. Один из них что-то громко рассказывал, и после каждой его фразы хохот взрывался с новой силой. Кто-то чиркнул зажигалкой, и к маленькому огоньку наклонилось несколько лиц с сигаретами в зубах. Рудь решил, что они остановились закурить перед тем, как подняться на плотину.

Надо было немедленно принять решение. То, что немцы остановились возле штабеля, должно было подсказать: они пришли за дровами, а вовсе не для того, чтобы целой ватагой подниматься на плотину. Но Рудь не в силах был взвешивать — перед ним стояли немцы, и он был убежден: сейчас они поднимутся на плотину, заставят его принять бой и отрежут группу Харкевича, от которой все зависело. Страх и растерянность лишили его способности понимать происходящее, и, как только огонек зажигалки погас и в темноте затлело несколько сигарет, он швырнул вниз гранату, забыв даже о том, что где-то рядом с немцами притаился и Ковальчук.

Как только прогремел взрыв, Харкевич понял — случилась беда. Он не знал, кто бросил гранату; сам по себе взрыв почти возле входа в помещенне служил сигналом тревоги для гарнизона, охранявшего станцию. Через секунду выскочат все, кто есть... Операция сорвана.

Харкевич дернул Амирадзе за рукав и выбежал из своего укрытия. Возле плотины стонали раненые. Двое немцев промелькнули на фоне белой стены — хотели проскочить в помещенне станции. Очередью

из автомата Амирадзе снял обоих. Теперь надо было быстрее перебежать площадку и подняться на сходни, пока немцы по тревоге не выскочили из подземелья станции. Ковальчук лежал на снегу, трудно было сказать — раненый или мертвый. Они схватили его под руки и поволокли. Уже на сходнях он глухо застонал и попробовал опереться на собственные ноги. В это время снизу резанула очередь, и Ковальчук снова поник, тяжело повис на руках Харкевича и Амирадзе.

Снизу бил пулемет и несколько автоматов. Оглянувшись, Харкевич увидел: на одном из подоконников полуразрушенной стены дрожал огонек пулемета. Сверху сыпались мелкие камешки, немцы били по вершине быка, стараясь отрезать им путь. Ходу назад не было.

Остановившись за поворотом на сходнях, Харкевич не знал, куда податься. Он опустил на землю теперь уже мертвого Ковальчука, Амирадзе схватил автомат, собираясь ударить по пулемету. Но тут же понял, что этим он только обнаружит себя, и решил не стрелять.

Вдруг Харкевич вспомнил: где-то здесь должно быть вентиляционное отверстие.

— Давай сюда! — крикнул он и потащил к себе тело Ковальчука.

Теперь уже слышалось татаканье пулемета и на плотине, оттуда били бойцы Рудя, стараясь подавить немецкий огонь и освободить дорогу группе Харкевича. Но опомнились они поздно, немцы не только выбежали из помещения, но и заняли выгодные позиции, и Рудя уже ничего сделать не мог. Заговорили и другие пулеметы, стоявшие поблизости в самом поселке. Огонь все усиливался. И Харкевич понял: подняться вверх нет возможности.

Он нащупал небольшую прогалину в стене — это было вентиляционное отверстие. Оставалось одно — спуститься внутрь плотины. Переждать или навеки остаться там.

32

Целый день миновал с того времени, когда Ярошенко и Кузьма Иванович прибились к плотине. Теперь уже снова наступила ночь, а они все еще сидели на своем углу плотике, закрытые от вражеских глаз толстыми бетонными выступами, которые начинались где-то сверху и исчезали под водой. Здесь было безопасно — заметить их могли лишь с середины русла.

После тяжелой ночной борьбы с быстринной, которая тащила их на середину озера и грозила загнать в донные пробонны, оба так обессилели, что готовы были смириться со всем. Но спасение пришло неожиданно: так же как раньше над затопленным карьером, новый водоворот опять швырнул их в сторону. Они оказались на тихой воде, которая хоть и несла их вниз, но с малой скоростью, и легко было догадаться, что плотина уже близко, это она сдерживает течение.

Теперь они могли немного отдохнуть. Вокруг плавало много всякого хлама, занесенного сюда быстринной. Ближе к плотине вода была почти сплошь покрыта бревнами и досками. Оба понимали: плавучий

215

хлам как раз и спасет их днем от вражеских глаз — различить плотник будет трудно.

Весь день они пролежали, припав к мокрым доскам плота. Над водой висела мгlistая завеса, вражеский берег проступал сквозь эту мглу совсем рядом. Хотелось подняться, оглядеться вокруг, но нельзя было даже двинуться — могли заметить с плотины.

Оба понимали, что выбраться отсюда нет никакой возможности и спасти их может лишь чудо, но к положению, в которое они неожиданно попали, относились по-разному. Ярошенко уже бывал в таких переплетах не раз. Осенью сорок первого, когда сняли охрану со станции, он вместе с десятком товарищей попал в плен, выбраться оттуда тоже ведь не было надежды. Да и потом, когда убежал из лагеря и бродил по вражеским тылам, — опять пришлось узнать, почему фунт лиха... Но там простор — было где скрыться и у кого попросить харчей. А что делать здесь?

Кузьма Иванович в подобное положение попал впервые. Чудо, на которое мог надеяться Ярошенко, хотя бы только потому, что оно его уже спасло когда-то, казалось профессору романских литератур иллюзией, на которую он не мог возлагать надежд. И он приуныл, хоть и не жаловался, и ни в чем не упрекал своего товарища. Просто лежал молча и думал, прикинувшись, будто дремлет.

Во всем, что произошло, он винил только себя. Ведь появилось же у него сомнение, когда, получив оружие, Ярошенко истолковал это как приказ действовать. А высказать не решился: Ярошенко мог бы подумать, что профессор струсил. Тот, кто старше на двадцать лет, был обязан предостеречь младшего. Но клял себя сейчас Кузьма Иванович без особой злости — не любил копаться в том, чего не вернешь, да и сил не было для настоящего гнева.

Опять наступила ночь. За день ватники немного просохли, и стало теплее. Не страшно было и двинуться с места, размять одеревеневшее тело. Ярошенко сел, разулся, стал перематывать портянку.

Было тихо. Шум воды, летящий через донные проломы далеко в стороне, почти полностью глушила бетонная толща плотины. Изредка нарушала тишину короткая автоматная очередь или одиночный выстрел, и опять все затихало, будто здесь и не было никакой войны.

— Ну ничего, как-нибудь обойдется! — подытожил свои раздумья Ярошенко.

Только теперь Кузьма Иванович взорвался по-настоящему: в словах Ярошенко он расслышал надежду на чудо. Он уже готов был высказать все, что накипело в душе, но сверху вдруг донесся тяжелый топот: кто-то бежал по деревянному настилу подкранового моста. Даже с такого расстояния можно было определить: бежал не один человек; а несколько.

Оба застыли, прислушиваясь. Ярошенко схватил автомат, висевший на шее. Ему и в голову не приходило, что на подкрановом мосту свои, он был уверен: наверху немцы. Но почему они побежали? Испугались? Кого? Ведь если отступают, то под давлением огня с левого берега... А вокруг — тишь, никто не стреляет. Поразмыслив, Ярошенко

решил, что беготня эта ничего особенного не значит,— обыкновенная смена подразделений, ефрейтор скомандовал «бегом». Спешат на отдых.

Но именно этот случай наверху навел его на неожиданные мысли. Он вдруг вспомнил вентиляционное отверстие, которое видел днем почти над своей головой. Почему-то он и не подумал тогда, что можно спрятаться там! Когда рассветет, надо обязательно посмотреть, нет ли какого-нибудь способа добраться туда. А следующей ночью попробовать,— может, и удастся.

Мысль эта окрылила Ярошенко, но вслух он ее не высказал. Шаги наверху смолкли, опять настала тишина.

— Днем посмотрим, может, что-нибудь и увидим,— проговорил он шепотом, почти то же, что сказал раньше.

Теперь Кузьма Иванович уже не сердился. Наверху что-то происходило, значит, и положение их могло измениться. К худшему или к лучшему — он не знал.

И в это мгновение по ту сторону плотины чуть слышно треснула граната. Ярошенко узнал этот звук и понял: топот наверху не был случайным. Зря гранату не бросают.

Над озером Ленина прокатился громыхающий отзвук, будто ночь неожиданно ожила. Тьма заколыхалась, нарушенная невидимым сполохом.

33

Граната еще не долетела до земли, а Рудь уже понял, что он натворил. В свете внезапной вспышки резко обрисовались руины станции, а потом он услышал стоны раненых и топот сапог двоих немцев, пытавшихся проникнуть в помещение. Резанула очередь из-под стены станции, и все снова стихло. Из помещения начали выбегать немцы, а еще через минуту с крыши какого-то дома заговорил пулемет.

Только услышав это татаканье, Рудь опомнился. Ужас овладел им, когда до сознания вдруг дошло, что гранату бросил именно он. Зачем? Почему? Сейчас не было времени искать причины и чем-нибудь объяснять свое поведение — ошеломляло лишь то, что гранату бросил именно он и где-то там остался Харкевич... Именно Харкевич!

Рядом, не ожидая его приказа, Мухитдинов застрочил из ручного пулемета. Значит, бойцы понимают, что он натворил, если не ждут, пока он прикажет, а действуют сами! Вмиг исчезло оцепенение, словно очередь Мухитдинова плюнула ему прямо в лицо.

Немцы били по верхней части сходней. Рудь сразу понял, какое у них преимущество: они ведут огонь по точке — по вершине плотины, а сами рассыпались на большом пространстве, и в темноте их не видно.

Надо было прежде всего заткнуть глотку вражеским пулеметам.

— Давай по окну!

В темноте трепетал огонек, и Мухитдинов направил свой огонь туда. Но в это мгновение сверху в несколько стволов ударил пулемет

крупного калибра. Наверно, немцы повернули вниз и зенитный, что стоял поблизости на крыше. Четыре полосы густого красноватого пламени проложили четкие трассы. Кто-то вскрикнул и свалился рядом с Рудем — один автомат смолк. Подбежал другой боец — в темноте не видно было, кто именно, но и его сразило после того, как он послал в ответ первую очередь.

— Давай назад! — крикнул Рудь Мухитдинову и выбежал на мост.

Два автоматчика, пригибаясь, подбежали и вместе с Мухитдиновым потащили пулемет назад, к левому берегу. Другие бойцы строчили из автоматов, но их короткие очереди тонули в грохоте зенитного пулемета немцев, который бил почти непрерывно.

Снизу слышались быстрые шаги — кто-то бежал по сходням. «Харкевич», — подумал Рудь. Надо подождать, чтобы, чего доброго, не перестрелять своих.

— Не стрелять по сходням! — скомандовал Рудь.

Но появившиеся наверху темные тени начали бить по бойцам Рудя. «Немцы!» Наверх взлетела граната и гулко разорвалась там, где только что стоял Рудь. Один из бойцов упал, Рудь уже стоял за стеной, и его не зацепило. Теперь стало ясно, что группа Харкевича или погибла, или притаилась где-нибудь и выйти ей не удастся. Надо было спасти остальных людей, вывести их на другой конец моста и, пока не поздно, спустить вниз.

Связи с берегом не было. Рудь не мог попросить разрешения отступить. Но он вспомнил, что не получил приказа и оборонять плотину, а должен был лишь прикрывать действия Харкевича и, после того как тот выполнит свое задание, отойти вместе с ним. И вот — надо отходить, а Харкевича нет, и виновен он, Рудь, — и в этом преждевременном отступлении, и в том, что Харкевича приходится бросать на вражеском берегу...

С Хортицы ударил слепящий свет прожектора. Луч заметался на плотине, потом нащупал подкрановый мост и медленно пополз по нему. Через мгновение с острова грохнула батарея. Один снаряд угодила в тело плотины и разорвался внизу, несколько других перелетели через подкрановый мост и упали в воду верхнего бьефа.

Снарядов можно было не опасаться — хоть место и пристреляно, вряд ли удастся им все время попадать в самый мост. Но немецкие автоматчики, захватившие крайний бык, простреливали залитую светом плотину до самой середины. Прожектор заливал своим жутким светом весь путь отступления, пространство над плотной стало как белый экран, на котором суегились крохотные человечки.

Припав к сырým доскам настила, Рудь беспрерывно бил очередями по вершине крайнего быка.

— Отходи! — крикнул он. — Я буду прикрывать!

Еще два автоматчика остались позади, притаившись за стальными бортами фермы. Слышно было, как другие бойцы по одному выскакивали на мост и, пробежав несколько шагов, падали. Рудь не знал — живы они или убиты.

Он хотел уже дать команду отходить и тем двоим, что остались с ним, но вдруг его осенило. Нет, быстро отходить нельзя, надо медленно отступать вдоль ферм, беречь диски с патронами и драться как можно дольше. Это заставит немцев подтянуть на плотину побольше людей, а пока их будет наверху много, они не решатся взорвать плотину.

Он уже не мог думать ни об ответственности, которую придется понести за срыв операции, ни даже о том, чтобы выйти отсюда живым. Поглощенный новой идеей, Рудь вдруг твердо поверил в нее. Любой ценой втащить побольше немцев на мост, не оставлять удобной позиции, чтобы продержаться как можно дольше, беречь каждый патрон...

Но Харкевич не выходил из головы. На вражеском берегу остался именно он, и виноват в этом Рудь, и никто другой.

Сзади через голову Рудя ударил знакомый ручной пулемет Мухитдинова. Ну вот, хоть пулемет вытащили из-под огня, хоть оружие спасли! Наверно, теперь он стоит на вершине быка, возле первой лесенки. Как бы передать Мухитдинову, чтобы не очень старался и как можно дольше тянул? Бьет как сумасшедший, не дает возможности немцам собраться на плотине.

Рудь пополз назад. Теперь он лежал рядом с одним из бойцов, что остались с ним прикрывать отход товарищей.

— Вы ранены? — услышал он.

— Нет. А что?

— Вот, на щеке. — В свете прожектора боец ясно видел тоненькую красную струйку, она била из щеки лейтенанта.

Рудь поднес руку к лицу и почувствовал — по пальцам потекло что-то теплое и липкое, и сразу по телу поползла тошнотная истома. Автомат лежал перед ним, но его уже трудно было поднять. Боец выпустил короткую очередь и подполз поближе к Рудю.

— Мелочь. Маленький осколочек. Как иголкой прокололо, — добавил боец и опять выстрелил.

Но Рудь уже не в силах был шевельнуться. Боец заметил, что лейтенант не в себе.

— Что с вами?

— Плохо. Помогите подняться.

Он схватил рукой шею бойца и повис на нем, тяжелый и безвольный. Освещенные прожектором, они в полный рост медленно шли вдоль железных поручней. С правого берега их, наверно, хорошо было видно: два пулемета били им вдогонку, но плотина здесь плавно поворачивала вправо. Пули пролетали левее, не задевая их.

Вдруг впереди разорвался снаряд, и Рудь на миг остановился. Его тяжело толкнуло в живот, но боли он не почувствовал. Боец, который отстреливался слева, перестал стрелять. Быстро оглянувшись, Рудь увидел его на середине помоста, скорчившегося, неподвижного.

— Быстрее! — крикнул Рудь своему спасителю. — Сейчас ударит еще раз. — Он побежал вперед, придерживая рукой живот.

Эта рана была смертельной, не то что царапина на щеке, но безвольная расслабленность, охватившая его, когда он почувствовал

свою кровь на лице, вдруг выветрилась. В голове прояснилось, удивительная легкость овладела им, будто он сбросил с себя непосильный груз и наконец может двигаться свободно и быстро. Боец бежал сзади, еле поспевая за ним.

Лесенка была уже близко — шагов десять, не больше. Теперь уже легко добежать. Добежать и спуститься вниз, а по другой лесенке подняться на дальний бык вверх. И вдруг в голове мелькнуло: лесенку оставить нельзя, кто-то ее должен будет обрезать и сбросить вниз, иначе она достанется немцам, и они, пользуясь ею, смогут перебраться через пропасти! Мысли были ясными и верными, словно овечьи удивительной свежестью.

— Давай спускайся! — приказал он, стоя над пропастью.

— А вы?

— Давай, говорю! — крикнул он с такой силой, что боец вынужден был подчиниться.

Рудь стоял спиной к пропасти. Он все еще поддерживал одной рукой живот, а другой посылал в темноту короткие очереди.

Наконец послышался тяжелый топот. Немцы уже были близко. Рудь наклонился, положил автомат и, все еще придерживая живот, одной рукой подергал лесенку. Она легко подалась — боец уже спустился.

Рудь быстро выхватил из-за пояса финку и перерезал сначала один шнур, потом другой. Лесенка зашуршала по стене быка и упала на гребень.

Теперь он сделал все. Все, что от него зависело. Дальше они не пройдут, — во крайней мере, пока не навесят новой лесенки под пулевым огнем.

Рудь понимал, что гибнет — гибнет по собственной вине. Но если бы судьба и даровала ему время разобраться в себе самом и своих чувствах, он, возможно, так и не понял бы, в чем эта вина состоит. «Нелепый случай», — сказал бы он себе. И вряд ли пришло бы ему в голову, что сам этот нелепый случай был подготовлен всей его прожитой жизнью...

Он хотел наклониться, чтобы поднять свой автомат, но нестерпимая боль обожгла его изнутри, он резко выпрямился, невольно отнял и левую руку от живота и, на миг застыв, повалился в двадцатиметровую пропасть.



1

На час ночи Шумаков вызвал к себе командиров полков и приданных частей и подразделений. До начала совещания оставалось еще много времени — он приказал Голобородько ложиться спать, а сам собрался пить чай.

Он решил не ложиться — знал, что не заснет, а если и задремлет, его все равно разбудит Штукаренко, как только выяснится положение на плотине.

Приходько молча подал чай с печеньем. На фронте такого печенья не было — рассыпчатое, даже приправленное шоколадом.

— Где ты его выкопал? — удивился Шумаков.

— Это не я, — сонно пробормотал ординарец, — лейтенант где-то добыл, когда возвращался из тыла.

— Ты, Приходько, ложись. После совещания будем переезжать на новое место.

— Есть, — так же сонно ответил ординарец. — Можно быть свободным?

— Иди. После совещания позову.

Шумаков выпил два стакана чаю, потом вынес посуду и поставил на шесток. Лейтенант спал на лежанке, и Шумаков старался не звякнуть, чтобы не разбудить его. Хотелось выйти во двор, подышать свежим воздухом, но мог позвонить Штукаренко, и Шумаков побоялся пропустить звонок. Он вернулся в свою комнату и все-таки прилег на застланную постель.

В хате почти не было слышно пулеметных очередей, что изредка начинали переговариваться на правом берегу. Только когда ударяли немецкие орудия, в окнах тихо вздрагивали стекла. Шумаков невольно

закрыв глаза и, почувствовав, что вот-вот задремлет, заставил себя подняться. В это мгновение послышался зуммер — звонил Штукаренко.

Шумаков молча выслушал его и понял: произошло то, чего он больше всего опасался. Теперь немцы обязательно включат рубильник — и плотина взлетит на воздух.

— Немедленно всех людей на берег, — сказал он, когда Штукаренко смолк. — А сам — в первую очередь. Ясно?

Штукаренко не ответил.

— Ты слышишь, Степан?

— Да, товарищ полковник.

— Этого следовало ожидать, — Шумаков сказал и сразу же пожалел. Он понял, что Штукаренко может почувствовать в его словах оттенок, которого Шумаков не хотел им придавать. — Встретимся на новом месте часа через полтора. Слышишь?

— Слышу.

Шумаков положил трубку и отошел от стола. Значит, произошло. Теперь надо ждать взрыва. Потом дать перебушевать воде. Перед рассветом можно начинать.

В сенях взвизгнула дверь, и в тот же момент Голобородько соскочил с лежанки. Шумаков взглянул на часы: ноль пятьдесят семь. Он открыл дверь — кухню заполняли офицеры, вызванные на совещание.

— Пожалуйста, — сказал Шумаков, появившись на пороге.

Вошел подполковник Кравец — командир триста четвертого полка, коренастый, со смоляным чубом, зачесанным набок, за ним — майоры Аникин и Терещенко, тоже командиры полков. Через мгновение в дверях появились капитаны Голубович и Ройтман — командиры арtdивизионов.

Все сели, и Шумаков уже собрался начинать. Вдруг дверь в сенях опять запела, послышались тяжелые шаги — и в комнату, громко дыша, вошел генерал Зотов, которого Шумаков совсем не ждал.

Появление его было плохим признаком. Шумаков сразу понял, что ему надо. Начальник инженерной службы армии никогда не приезжал без предупреждений, и то, что он появился среди ночи и как раз перед большими событиями, было неспроста.

При его появлении все поднялись, но Зотов, даже не поздоровавшись, гаркнул:

— Вы что, полковник, с ума сошли?

— Не понимаю, товарищ генерал-лейтенант, — сказал Шумаков. Он прекрасно знал, что имеет в виду Зотов, но считал недопустимым этот тон, тем более в присутствии подчиненных.

— Не понимаете... А вот я вам растолкую.

Генерал тяжело засопел и стащил шинель со своих округлых плеч. Терещенко подхватил ее и повесил на гвоздь, вбитый в дверной наличник.

— А ну, давайте сюда капитана Сома!

Шумаков вышел из-за стола и, раскрыв дверь, крикнул:

— Капитан Сом здесь?

— Явился по вашему вызову, — отрапортовал Сом. Он только что прибыл — на несколько минут опоздал — и в это мгновение готовился постучать в дверь и спросить разрешения войти.

— К генералу, — сказал Шумаков, не поднимая на него глаз. Он псчал: сейчас капитану будет нагоняй, и считал себя виноватым в том, что должно произойти.

Капитан Сом — командир понтонного батальона — непосредственно не подчинялся Шумакову. Батальон входил в состав резервов командующего армией и, временно приданный командиру семьдесят восьмой еще во время приближения к Днепру, так и остался в его распоряжении.

Тонкий и жилистый, капитан на ходу поправил гимнастерку и вслед за Шумаковым шагнул через порог.

— Позвольте войти, товарищ генерал!

— Вы Сом? — крикнул Зотов. — Почему не доложили об этой глупости с плотиками? — Генерал осекся, почувствовав на себе предостерегающий взгляд Шумакова. В сторону полковника метнулись большие, чуть вытаращенные глаза.

— Позвольте доложить, товарищ генерал, я не имею права обсуждать решения командира дивизии.

— А мои решения имеете право обсуждать? — вскипел Зотов.

Капитану было ясно, почему генерал злится: Шумаков не доложил Зотову, как начальнику инженерной службы армии, о своем плане переправы мелкими группами, с помощью самодельных плотов, так как они не были инженерными сооружениями и к Зотову отношения не имели. Услышав стороной об этом намерении комдива, генерал решил, что это авантюра, за которую отвечать не хотел.

— Да это же партизанщина... Какне-то Стеньки Разина челны... Вы когда воюете — в восемнадцатом или в двадцатом столетии? — крикнул генерал.

— Я должен ответить на этот вопрос? — в глазах Шумакова блеснул плохо скрытый гнев.

Зотов метнул на полковника уничтожающий взгляд. Слова Шумакова звучали как открытый вызов.

— Короче говоря, запрещаю, — сказал Зотов тихо, но твердо. И обратившись к капитану Сому: — Через час явитесь ко мне в штаб армии.

— Разрешите быть свободным? — спросил Сом.

Зотов мрачно посмотрел на него. Капитан приложил руку к ушанке, повернулся и вышел.

Зотов сел, с трудом смиряя свое астматическое дыхание. У него было больное сердце, волноваться он не имел права. Но сдерживаться не умел и сейчас чувствовал себя не очень хорошо.

— Вы хотели дать им какие-то распоряжения? Пожалуйста. — Зотов чуть заметно шевельнул рукой в сторону офицеров, стоящих «смирно» около стены.

Шумаков и правда хотел поговорить со своими командирами перед началом операции. Но было ясно, что в присутствии Зотова он не сможет с ними разговаривать так, как всегда. Отказываться от своего плана переправы он не собирался, да это теперь, собственно, было и невозможно. Если бы в присутствии генерала началось обсуждение того, что Зотов так категорически запретил, это вызвало бы только новую вспышку гнева.

— Позвольте мне отпустить офицеров,— обратился к Зотову Шумаков.

— Как хотите,— проворчал генерал.

— Вы свободны,— сказал Шумаков всем. — Если будут изменения в моем приказе, вас уведомят о них.

Зотов промолчал и казался равнодушным. Офицеры попрощались и вышли.

Но Шумаков ошибочно истолковал равнодушие Зотова, когда наемкнул своим офицерам, что изменения в приказе только возможны. И приказ капитану Сому явиться через час он тоже расценил неправильно. Ему казалось, что этот приказ уже сам по себе отстраняет понтонный батальон от активных действий в будущей переправе. Если вызывают командира, то его подразделение, таким образом, остается в стороне.

— Удивляете вы меня, полковник,— вдруг примирительно, почти отеческим тоном заговорил Зотов. — Я слышал, что вы хороший кадровый офицер... Как же вы не видите, что своей выдумкой лишаете себя командирских вожжей? Да и не только вы — даже командиры батальонов окажутся без связи со своими людьми.

— Разрешите сесть? — спросил Шумаков. Зотов кивнул, и Шумаков опустился на свое место. У него на языке вертелся вопрос: «Чего ты, генерал, больше боишься: самостоятельно думать или за свои мысли отвечать?» — Были бы люди, товарищ генерал, а вожжи мы найдем,— Шумаков усмехнулся.

— Что это значит?

— Прежде всего, что мой план дает возможность сохранить людей.

— Ну и как вы собираетесь ими управлять? По радио? — теперь уже усмехнулся Зотов.

— К сожалению, товарищ генерал, этого сделать я не могу.

— Вот что! Не можете! — победоносно рассмеялся Зотов.

— Но я думаю — это и не нужно,— заметил Шумаков.

— Не иначе — изобрели что-то новое! — хрипло заметил генерал, все еще продолжая смеяться.

— Ничего нового. Под Киевом, хоть и не в таких масштабах, плоты уже применяли...

— Знаю не хуже вас, что где применяли,— оборвал его Зотов. — Но, во-первых, сами говорите — не в таких масштабах, а во-вторых, Днепр там уже, чем озеро Ленина, и переправа продолжалась меньше, чем будет идти здесь. Одно дело — лишить войска управления

га полчаса, и совсем другое... — он уже опять задыхался, будто шел на крутую гору, и смолк.

— Я уверен: если боец осознал смысл задания и поверил в успех операции,— продолжал Шумаков,— он будет действовать в интересах общего дела. — Шумаков вдруг вспомнил покойного Коломыйца и с удивительным подумал, что почти точно повторил его слова.

— А мы с вами для чего? — спросил Зотов.

— В данном случае, чтобы довести до сознания каждого солдата смысл предстоящего маневра... Заставить его поверить в правильность совместных действий. Заранее, задолго до начала операции,— уточнил Шумаков.

Зотов помолчал, потом поднялся.

— Ну, голубчик, скажу я вам! Значит, на третьем году войны вы дошли до полного отрицания решающей роли командира!

— Вы меня неправильно поняли, товарищ генерал. Я вовсе не отрицаю роли командира,— Шумаков тоже поднялся.

Зотов вопросительно смотрел на Шумакова.

— Вы Клаузевица читали? — спросил он наконец.

— Разрешите доложить, товарищ генерал, даже изучал.

— Плохо изучали,— отрезал Зотов, готовый опять сорваться.

— Возможно.

— Так я напомню вам его слова: армия — это количество штыков, помноженное на качество офицеров.

— Время иногда вносит поправки и в мудрость гениев, товарищ генерал,— усмехнулся Шумаков. — Да и обстоятельства бывают разные.

Но Зотов сделал вид, будто не понял. Он поднялся и взял свою папаху.

— Вы слышали мое решение. Я не позволю вам сорвать сегодня переправу. Она должна пройти успешно, чего бы это ни стоило.

— Полностью с вами согласен. Я добиваюсь только, чтобы она как можно дешевле обошлась.

В выпуклых глазах Зотова опять блеснул гнев. Вперив взгляд в Шумакова и подчеркивая каждое слово, он медленно проговорил:

— Я не собираюсь за вас отвечать, а нарушите приказ — буду судить.

— За дивизию отвечаю я, товарищ генерал, и за свои поступки, и за выполнение приказа штаба армии тоже.

Зотов схватил папаху и бросился к косяку, на котором висела его шинель. Шумаков попробовал помочь ему одеться, но генерал рванул шинель из рук, на диво для своей комплекции легко угодил руками в рукава и, не попрощавшись, выбежал. Через минуту зашумела его машина.

Шумаков вышел к Голобородько. В углу еще стоял вытянувшись капитан Сом. Его тонкое загорелое лицо было напряжено, желваки медленно двигались на щеках.

Шумаков остановился возле него.

— Поезжайте к генералу, приказ надо выполнять,— сказал он, словно отвечая на немой вопрос, и чуть заметно улыбнулся капитану.

— Ясно, товарищ полковник. — Сому хотелось спросить: «Выполнять надо только мне или и вам?», но он це решился.

Шумаков уловил выражение неуверенности на лице капитана и подал ему руку.

— Явитесь, как генерал приказал. И не волнуйтесь — выручу.

— Слушаю, товарищ полковник!

Капитана порадовали слова комдива, он тоже считал, что наводить понтонный мост — даже через один рукав на Хортницу — на глазах у врага бессмысленно. Имел уже горький опыт и повторять его без особой нужды не хотел.

Капитан вышел. Шумаков еще мгновение постоял и сказал Голобородько:

— Ну, пора.

— Машина у ворот,— доложил адъютант.

— Вы пока будьте здесь. Командующий позвонит. — Шумаков понимал, что Зотов не успокоится и немедленно обо всем доложит командующему. — Скажите, что я на новом месте.

— Ясно, товарищ полковник. — Голобородько вышел в другую комнату, снял шинель комдива с деревянных плечиков и помог ему одеться.

У порога Шумаков задержался.

— Смотрите, звонка не провороньте.

— Есть, товарищ полковник, счастливо!

Как только Шумаков вышел, адъютант стал складывать бумаги и вещи, как всегда перед переездом на новое место. На душе почему-то было беспокойно,— наверно, ему передалось волнение комдива, хотя Шумаков умел скрывать свои чувства. Но он дважды повторил Голобородько приказ о возможном звонке командарма, и этого было достаточно, чтобы адъютант понял его состояние,— Шумаков никогда не повторял своих приказов.

2

Бой на плотине затих. Внизу на гребне, возле мертвого лейтенанта Рудя, остался только боец Толстиков. Растерянный, он с минуту стоял над телом своего командира, не зная, что делать. Немцы вот-вот должны были появиться на вершине быка, надо было скорее выбираться наверх к своим по лесенке, которая еще покачивалась под ветром на противоположной стене, но как оставить тело командира?.. Он знал — этого делать нельзя.

Вдруг ему пришло в голову: а что, если немцы подойдут и бросят вниз веревку — спустятся и захватят лесенку, ожидающую его на другом быке! Толстиков быстро расстегнул шинель лейтенанта, собрал все, что было в карманах кителя, и бросился к противоположной стене. Через минуту он был уже наверху. Там ждал его Мухитдинов,

он остался, чтобы обрезать веревку, как только поднимутся Толстиков и Рудь.

— А лейтенант где? — спросил он.

— Лежит внизу... — Толстиков задыхался. Влезая наверх, он устал, и слова его было трудно разобрать.

— Раненый?

— Мертвый...

— Все равно надо поднять, — Мухитдинов схватил моток проволоки и бросил вниз. — Обвяжи как следует, а я потащу наверх.

Толстиков бросился к лесенке и стал спускаться назад на гребень. В это мгновение на вершине противоположного быка появились темные фигуры. Толстиков успел лишь опереться на лесенку одной ногой, треснула короткая очередь из автомата, и он полетел на гребень туда, где лежал Рудь.

Мухитдинов притаился. Он влип в бетонную поверхность быка и не двигался. В тусклых сумерках видно было, как на той стороне немец подошел к самому краю и заглянул вниз. Можно стрелять... Но Мухитдинов сдержался: он не имел права рисковать, пока не обрзал лесенку. Немец постоял и ушел назад.

Теперь Мухитдинов осторожно пополз на край быка и вытащил финку. Подтянул к себе веревки и перерезал.

Штукаренко все еще оставался в потерне. После полной катастрофы на плотине напряжение сменилось гнетущей пустотой и слабостью во всем теле. Он сидел на бревне рядом с телефонистом и молчал. Небрежно накинутая шинель свалилась с одного плеча, от стены тянуло холодом, сырость пронизывала костлявое тело. Это был крах не только тяжелой многодневной работы, но и крах надежд, что плотину удастся спасти.

Сверху пахло резким холодом, Штукаренко невольно поднял глаза и взглянул на квадратную дыру. Плащ-палатка зашевелилась, какая-то неуклюжая фигура в резиновом костюме нащупывала ногой железный крюк, стараясь спуститься в потерну.

Варивода медленно спустился, достоял, тяжело опершись на стену, и шагнул к бревну, на котором сидел Штукаренко. Водолаз еле стоял на ногах, он даже не попытался доложить по форме.

— Где наш командир? — чуть слышно спросил Варивода и тяжело опустился на колоду, рядом со Штукаренко.

Штукаренко не ответил.

— Ты один? — спросил, помолчав.

— Один.

— А Богатырев?

— Лежит внизу.

Штукаренко молча отстегнул флягу, висевшую на поясе сзади, слегка встряхнув, убедился, что на дне еще что-то есть.

— Выпей.

Варивода неохотно взял флягу и несколько раз глотнул. Потом тщательно завинтил ее и вернул Штукаренко.

— Не знаете, где наш командир? — опять спросил он.

Штукаренко опять не ответил.

— Ты вот что... — сказал он чуть слышно, — перенеси Богатырса на берег... Потом доберись до Моргунов. Там, понимаешь, жена Хохла...

Варивода понял. Значит, и Хохол тоже... Вот как оно получилось — Хохла нет... Поднялся, с минуту постоял, потом повернулся и пошел к противоположной стене.

— Подожди, — остановил его Штукаренко. — Прихвати вещи Харкевича — здесь пальто и пиджак.

Долговязый повар Петренко стоял возле своего холодного котла и слышал все. Он подал Вариводе пиджак и пальто Харкевича. Варивода сбросил резиновый костюм и с минуту постоял в нерешительности. Потом надел на свою гимнастерку пальто, повертел в руках пиджак и положил в угол. Решительно взялся за первый крюк на стене и полез из потерны.

— Ну, сматывай удочки, — сказал Штукаренко телефонисту. — А ты, Петренко, станешь внизу у входа и всех будешь направлять на берег. — И почти неслышно добавил: — Если наверху еще кто-то остался.

Петренко начал собирать свое поварское имущество, но Штукаренко остановил его:

— Оставь. Ничего брать не надо.

Штукаренко быстро вылез наверх и соскочил на карниз. Ракеты непрерывно взлетали над правым берегом и заливали ночь белым таинственным сиянием. Когда они вспыхивали, вдали на снегу темнела одинокая фигура Вариводы, который нес на себе тело товарища. Штукаренко оперся на холодную стену и прислушался. Наверху справа от него строчили немецкие автоматы, он уже давно научился различать по голосам — где немецкие, а где свои. Немцам никто не отвечал.

Снизу, с гребня, поднимался боец — Штукаренко решил его подождать. Надо узнать, кто там еще остался на плотине. Через минуту солдат приблизился, таща на себе несколько автоматов — все, что осталось от взвода, — и моток веревочных лесенок, снятых с быков.

— Кто там еще есть? — спросил Штукаренко.

— Я последний. Больше никого, — ответил Мухитдинов.

— А лейтенант Рудь?

— Погиб лейтенант... Хотел вынести, но не смог, — виновато ответил боец.

Штукаренко еще мгновение подождал.

— Ну, пошли.

— А мне куда? — растерянно спросил Мухитдинов.

— Ты откуда?

— Разведчик. Цыганкова.

— А-а, — Штукаренко присмотрелся, стараясь вспомнить бойца. — К Цыганкову и валяй. — И, повернувшись к повару, добавил: — Пошли, Петренко, ждать некого.

Штукаренко медленно прошел по карнизу, потом осторожно спустился. Тут было совсем открытое место, с Хортицы просматривалось все как на ладони — особенно при вспышках ракет.

Он припал к земле и пополз, иногда оглядываясь на плотину, будто прощался с нею навсегда.

Немцы до сих пор не включили рубильники! Он представлял себе, как отчаянно они сейчас попытаются связаться с дивизиями, увязшими в правобережных плавнях, чтобы предупредить об ожидающей их катастрофе. Кого-нибудь, может, и успеют вывести из болот, но основная масса погибнет. А что техники бросят! Из восьми дивизий у них там две танковые, не шутка.

Ему казалось, что он слышит, как цокают клавиши телеграфных аппаратов на немецких узлах связи, как охрипшие голоса кричат в телефонные трубки. Воображение работало остро, он почти воочию видел, какая паника охватила там всех. Это порадовало его, и все-таки горько было ползти на животе по свежему снегу, отступая после стольких удачных наступлений. Горько и непривычно, потому что к успехам привыкаешь легче, чем к поражениям и неудачам.

3

Блиндаж, выбранный Шумаковым для командного пункта, принадлежал когда-то охране, сторожившей плотину, и остался совсем целым, когда немецкая стража удрала. Он состоял из двух небольших помещений, и это устраивало Шумакова: в первом могли разместиться Голобородько и связисты, а во втором — Лемешко и он. Три наката толстых бревен перекрывали его сверху, такую кровлю даже при прямом попадании пробьет не всякий снаряд. Непонятно, зачем немцам в глубоком тылу понадобилась такая крепость. Артиллерии по ним стрелять не могла, а опасаться, что советские самолеты станут бомбить Днепрогэс, было бессмысленно.

Шумакову этот блиндаж теперь очень пригодился. Задерживаться он здесь, правда, не собирался и потому приказал Голобородько личные вещи оставить пока в Моргунах. Но для управления боем, да еще в такой близости к нему, лучшего места не найдешь... Два хода сообщения, выкопанные почти в полный человеческий рост, давали возможность выйти из блиндажа на правую и на левую сторону широкой улицы, где за высокими стенами домов прятались машины. Охранники строили по всем правилам фортификации: в этом деле, как известно, немцы мастера. Входя сюда, Шумаков не без иронии подумал, что даже такой педант, как генерал Зотов, здесь ни к чему не смог бы придраться.

Несколько телефонных аппаратов уже связывали блиндаж со всеми командирами полков и штабом армии. В другой комнате сидел Лемешко над своими бумагами. Услышав движение за стеной, он понял, что встречают комдива, и вскочил.

— Разрешите доложить, товарищ полковник, звонил командующий, просил немедленно с ним связаться.

Ну, ясно, Зотов не успокоился. Командующий — человек мягкий, всю жизнь профессорствовал в военной академии, привык доказывать и убеждать, а не навязывать свою волю.

— Садитесь, — буркнул Шумаков начальнику штаба.

Он положил шинель на дерматиновый диван — его пригласили сюда еще немцы — и, открыв дверь, приказал телефонистам:

— Соедините с командующим!

Через минуту на проводе уже был командарм.

— Вы чего там самоуправствуете! — услышал Шумаков хрипловатый голос, который, как знал Шумаков, только казался суровым. Чувствовалось, что Зотов стоит возле генерал-полковника. — Действовать так, как приказал старший начальник.

Шумаков испугался. Слова командующего означали, что надо менять весь план, — за два часа до начала операции это было невозможно. Носок левого сапога начал свою привычную работу — обдирает задник правого.

— Разрешите спросить: то, что я с вами согласовал, отменяется? — Шумаков имел в виду свой план переправы разрозненными группами, разработанный во всех мелочах и согласованный с командующим еще два дня назад.

— Нет, почему же... — в голосе зазвучали профессорские нотки. — Согласованного я не отменяю. Эта сторона дела остается по-старому, но другая сторона должна застраховать.

Шумаков молчал, и командующий верно понял его недовольное молчание.

— Это, кроме того, отвлечет внимание, — добавил он. — Воспользуйтесь...

Да, верно, понтоны могут отвлечь внимание немцев и притупить их бдительность в другом месте — там, где будет происходить главное. О таком варианте он раньше не подумал, возмущенный настырностью Зотова, который об этом, безусловно, тоже не думал.

— Позвольте обратиться, товарищ командующий, — Шумаков назвал его полный титул, потому что знал, подслушивать их не могли. От этого страховал Днепр.

— Ну? — послышался недовольный голос в трубке.

— Генерал Зотов вызвал к себе капитана Сома. Он мне сейчас очень нужен.

Командующий помолчал. Наверно, спрашивал Зотова.

— Сом сейчас будет у вас, — послышался опять голос профессора. — Ну, ни пуха ни пера.

— Благодарю. — Шумаков услышал, как на другом конце трубка легла на место. Он немедленно положил и свою.

На пороге появился Штукаренко:

— Позвольте?

— Ага, давай.

Штукаренко вошел. Блиндаж оказался слишком низким — пришлось пригнуться, и это делало Штукаренко еще более сутулым, чем

он был в действительности. Шумаков на него взглянул и понял: полковник еле держится на ногах.

— Ты минутку отдохни и айда к Терещенко. Я буду с понтонным батальоном,— сказал Шумаков.

— Понтоны? — Штукаренко ничего не знал ни о схватке Шумакова с Зотовым, ни о приказе командующего, и его удивило упоминание о понтонном батальоне, который по плану должен был остаться на месте до того момента, когда дивизия захватит плацдарм на правом берегу.

— Ну, не будем обсуждать,— отрезал Шумаков, не имея ни времени, ни желания разъяснять, в чем дело. — Терещенко действует, как было намечено. Понял? — Он взглянул на часы и набросил шинель.

Шумаков задержался еще на несколько минут, чтобы дать некоторые распоряжения начальнику штаба. Потом вышел и быстро зашагал ходом сообщения к своей эмке.

— Давай, Покотило, к Сому.

О том, что надо спешить, в таких случаях не говорилось. Покотило редко о чем расспрашивал: как всякий личный водитель «хозяйина» на фронте, он многое знал. •

Ехали без фар. Машину подбрасывало на выбоинах. Расшатанный кузов эмки скрежетал, как старая баржа в девятибалльный шторм.

С левой стороны приближалась машина с включенными фарами. Она мчалась полным ходом им наперерез, Покотило резко затормозил и выскочил на дорогу.

— Ты что глазнши вытарашил? — набросился он на шофера, когда и тот остановился. — Хочешь, чтобы я фары тебе разбил?

Из машины выскочил капитан Сом.

— Комдив здесь? — спросил он, узнав эмку Шумакова еще до того, как шофер выключил фары.

— Что же это вы забыли, что война? — Покотило осекся, увидев Сома, и опустил ногу, которую уже было занес, чтобы ударить сапогом по фаре.

— Успокойся, Покотило,— услышал он голос комдива. — Вам, капитан, все известно?

— Так точно, товарищ полковник. Я уже звонил, батальон заводит машины.

— Минут через десять получите приказ. Действуйте, а я пока проскочу к Аникину. Через полчаса я вас догоню.

— Есть!

Сом побежал к машине, и через мгновение она уже свернула влево на боковую дорогу. Фары опять светили в полную силу, и два острых луча прыгали, то наклоняясь к самой земле, то взлетая вверх, в холодное серое небо.

Шумаков шел к эмке и прислушивался. На западе опять было тихо. Изредка из-за Днепра доносились пулеметные очереди. Постреливали, как и все эти дни... Похоже, что враг ничего не ждал и не догадывался, что эта ночь будет так непохожа на прежние.

До рассвета еще оставалось три с половиной часа...

Вариводе впервые в жизни приходилось выполнять такое тяжелое поручение. За три года войны он не раз встречался со смертью лицом к лицу и видел, как гибнут и умирают. Но никогда еще не приходилось ему говорить об этом людям, которых чья-нибудь гибель коснулась так близко, как коснулась Ани смерть Хохла.

Он представления не имел о том, что жена его бывшего командира здесь, даже не знал, что у Александра Никитича вообще есть жена. Услышав об этом от Штукаренко, Варивода не сразу понял, что именно тот ему поручает. Он еле стоял на ногах, попытки сначала спасти, а затем хоть вынести тело товарища — все это настолько подорвало его силы, что сообщение о смерти Хохла было лишь последним, завершающим ударом.

Обе смерти — Богатырева и Хохла — были для него личным горем, но по-настоящему он пережил их, только подойдя к хате, где ждала неизвестная ему женщина, которой он должен был все сказать.

Встретившись с маленькой женщиной, которая метнулась ему навстречу, прочитав в ее взгляде чуть ли не полное понимание того, чего он ей еще не сказал, Варивода молча отвернулся. Сбросил гражданское пальто Харкевича и положил на одну из постелей. Аня никогда не видела Вариводу, но сразу поняла, что это он, и то, как он вошел, как отвернулся, увидев ее, сказало ей больше всяких слов.

— Где он? — прошептали ее губы.

Варивода не знал, где тело Хохла, но если бы и знал, вряд ли сказал бы ей правду. И он проговорил так же тихо, как она спрашивала:

— В санбате.

Аня облегченно вздохнула, поняв его слова по-своему. Значит, ранен. Все-таки жив! Она схватила пальто, переброшенное через спинку кровати, и выбежала так быстро, что Варивода не успел ее удерживать.

Только за калиткой Аня остановилась. Она не знала, куда бежать. На дворе было еще совсем темно, тучи низко нависали над землей, дорога чуть просматривалась, покрытая свежим снежком, где-то далеко бил пулемет, то смолкал, то начинал барабанить снова.

Аня помнила: когда Голобородько привел ее на квартиру мужа, они подошли как будто справа. И побежала в ту сторону. Голобородько был единственным человеком, которого она знала и который мог ей помочь. Надо найти его и уже с ним решить, что делать.

— Стой! — крикнул кто-то впереди, и почти рядом звонко щелкнул затвор. — Кто идет?

Аня остановилась, но ответить не смогла — от неожиданности у нее перехватило дыхание. Часовой вынырнул из-под темного забора и шел к ней, держа автомат наготове. Подойдя почти вплотную, он пристально взглянул на Аню.

— Кто такая?

Аня шевелила губами, но не могла выговорить ни слова.

— А ну, вперед! — скомандовал часовой и слегка коснулся автоматом ее спины.

Только теперь она поняла, что может произойти. Сейчас он ответит ей куда-то в комендатуру, и ее продержат там до утра, а она не может терять времени.

— Я ищу лейтенанта Голобородько, — проговорила она наконец, повернувшись лицом к часовому. — Прошу вас... в санбате мой муж.

Ее тоненький, почти детский голосок звучал жалобно и беспомощно.

— Лейтенант Голобородько? — переспросил часовой. — А пароль какой?

— Я только вчера приехала... еще ничего не знаю...

— Так нечего и шататься, если не знаете!.. — прикрикнул часовой, но в голосе его послышалась мирная нотка. — Ну, давай, давай! — он снова подтолкнул ее в спину, и Аня пошла.

Через минуту она увидела темные силуэты лошадей, привязанных к голому стволу дерева, и услышала человеческие голоса. Немного дальше, около забора, стояла машина. Не ожидая приказа, Аня повернула к этой хате, и часовой не остановил ее, пошел следом. Под забором несколько бойцов сидели на корточках и курили. Возле калитки молча прохаживался еще один часовой с автоматом на груди.

— Постереги, я сейчас, — буркнул тот, что ее сопровождал, и исчез за калиткой.

Аня оперлась о забор. Только теперь она почувствовала, что ее пробирает холод. Стрельба постепенно стихала, был слышен одинокий пулемет, который и раньше своим басистым голосом перекрывал другие выстрелы. Но и он подавал голос изредка, будто сонный пес, которому вдруг что-то привиделось в темноте холодной ночи. Пролаяв несколько раз — так, для порядка, он успокаивался, затихал.

— Вот дает! — послышалось из-под забора. Потом ярко блеснула сигарка — тот, кто сказал это, затаился.

— Да-а-а... — протянул кто-то. — С неделю такого не слышал, уже отвык... — Он тихо засмеялся, придвинулся ближе к своему соседу и заговорил с ним совсем тихо, будто опасался неизвестной женщины, которая могла его услышать.

Где-то далеко, в глубине темного двора, блеснул свет, вырвавшийся из хаты. Через мгновение возле калитки появился знакомый часовой.

— Выйдет, ждите! — коротко бросил он.

— Я очень спешу...

— Не до вас ему сейчас. Ждите. — Часовой скрипнул калиткой и медленно пошел вдоль улицы.

За Днепром опять подал голос пулемет, потом бухнуло дважды орудие. Над головой послышался тревожный шелест, потом дважды рывкнуло где-то далеко на востоке. Никто из солдат, сидевших под забором, не обратил на это внимания.

Голобородько долго не выходил. Аня то прислонялась к забору, то отходила на шаг, не находя себе места, не зная, что делать. Не-

сколько раз порывалась попросить часового, чтобы он напомнил о ней адъютанту, но опять возвращалась к забору, понимая, что не сможет ничего изменить.

Наконец в темной глубине двора опять засветилась дверь, и Аня услышала раздраженный голос Голобородько:

— Ну, что там такое?

— Это я, товарищ лейтенант! — отозвалась Аня.

Послышались быстрые шаги — Голобородько бегом спешил к калитке. Бойцы вскочили на ноги.

— Сидите, сидите. — Голобородько появился возле калитки. Острый луч фонаря ударил Ане прямо в лицо. — А, это вы...

Аня заговорила — быстро, бессвязно. Голобородько, как видно, спешил, приходилось перескакивать с пятого на десятое, чтобы скорее растолковать, в чем дело.

— Понимаете, мы сейчас переезжаем на новое место... — голос его смягчился и звучал уже сочувственно, почти виновато.

Она вдруг увидела, что и Голобородько взволнован, и поняла: что-то произошло, и он знает что-то важное, решающее для нее, чего не знает она.

— Скажите же...

— Вот что я вам посоветую... — Он не договорил и вдруг крикнул кому-то в темноту: — Кривенко здесь?

— Слушаю! — ответил кто-то под забором, поднимаясь.

— Давай подбрось товарища врача к санбату и немедленно возвращайся.

— Есть.

— Поезжайте в медсанбат, — Голобородько опять говорил с Аней, а в голосе его звучало то же самое сочувствие. — Я думаю, так будет лучше.

Она слушала, затаив дыхание. В санбат. Значит, ничего страшного. Если раненый в передовом санбате, значит, рана не тяжелая.

— Я сейчас позвоню, а вы поезжайте, — сказал Голобородько. — Потом увидимся. — Аня все еще не двигалась, стояла как неживая. — Извините, я должен бежать.

5

Цыганков очень изменился с тех пор, как в землянке медпункта не стало Фроси. Он не привык изучать состояние своей души и анализировать чувства, но теперь не только замечал в себе что-то новое, но и мог точно определить, когда в нем произошла эта разительная перемена.

Как только Фрося влезла на фанерный ящик, чтобы с него подняться в самолет, в груди у Цыганкова что-то дрогнуло. Это «что-то» впервые подало свой голос. Цыганков не мог бы сказать, что это такое, но сердце сжалось, как будто оказалось вдруг не на месте. Сна-

чала ему удалось подавить эту мгновенную боль, но потом она превратилась в постоянное волнуемое чувство.

Он старался выйти из этого состояния с помощью притворной веселости, но быстро убедился, что из этого ничего не получается, и все время ловил себя на мысли о Фросе.

Раньше, когда девушка была здесь, Цыганков о ней не думал. Правда, он охотно заглядывал в медпункт, если была свободная минута. Приятно было видеть, как при его появлении кровь бросалась Фросе в лицо и тревожное беспокойство появлялось в ее почти круглых глазах. Она не могла скрывать своей слепой влюбленности, и это его забавляло.

С той минуты, как Фрося улетела, а уже миновали сутки, состояние его души не менялось. В кармане лежала сложенная вчетверо телеграмма: Фрося прибыла благополучно. И теперь, сидя за пригорком, почти у самого Днепра, который и до сих пор не замерз и темнел, как таинственный провал, наполненный водой и мраком зимней ночи, Цыганков понял, что кроме матери в Саранске у него есть еще кто-то близкий, и бесстрашно признался себе, что это Фрося и его будущий ребенок.

Людам, подобным Цыганкову, не легко бывает признаться себе в таких вещах. Привычка к холостяцкой свободе, уверенность, что ты отвечаешь лишь перед собой и больше ни перед кем, отнимает у человека какое бы то ни было желание сдерживать свои порывы и связывать себя обязательствами.

Но сейчас ему не жаль было своей свободы. До сих пор девушка с вздернутым носиком ему только нравилась, и ему приятно было с нею. Отныне она стала его женой, и Цыганков об этом не жалел.

С берега послышался резкий свист — это его вызывал Разин. «Черт проклятый, свистит, как будто я за километр сiju. Еще огонь вызовет на себя, дурены!» — тихо выругался Цыганков и, пригибаясь — на тот случай, если немцы, услышав свист, навесят над Днепром ракету, — побежал вниз к берегу. Этот Разин — сибиряк, а подделывается под другого Разина — под Стеньку, усы завел, да и лицом немного похож. Цыганков поручил ему следить и подать знак, как только появится плот Соломин. У Разина было прямо-таки кошачье зрение, видел ночью так же, как и днем, и ни позапрошлой, ни прошлой ночью не пропустил ее маленького плота, когда она перевозила людей со своего островка на Большую землю.

— Промачнулась, наверно, — вздохнул Разин, высматривая что-то в черной прорве Днепра. — Как бы на плотину не вынесло...

Цыганков тоже присматривался, но плота не видел. Вдали плыли две копны сена или соломы, чуть выше ползла еще какая-то большая темная тень... Наконец глаза привыкли, и он заметил еще что-то плоское, почти целиком погруженное в воду, метров за пятьдесят от берега. Это был плот.

— А ну, давай вниз, надо перехватить!

Цыганков побежал берегом. Разин следом. Соломия могла пристать метров на триста ниже, если, конечно, не сделает глупости и не начнет подгрести веслом. Грести было опасно — с противоположного берега могли услышать. Но если поплывет по течению и прибьется к берегу, далеко вниз, стрелять по ней могут начать и свои: плот Соломии уже трижды приставал к берегу точно в одном месте; ниже боевое охранение даже не предупредили, что она может причалить там.

Ближе к плотине течение становилось быстрее, надо было спешить, чтобы прибежать к месту раньше, чем начнет прибиваться к берегу плот с людьми. Цыганков и Разин громко топали сапогами по промерзшему песку, будто молотили на току в несколько цепов. Пустынный простор подхватывал глухие звуки и тревожно повторял где-то вдаль.

Вдруг в небе поднялась ракета, и с правого берега застрочил пулемет. Били по Цыганкову и Разину — они бежали не пригибаясь, и их заметили. Но маскироваться или припадать к земле времени не было, и они продолжали бежать вниз у самой воды, впереди своих окопов. Очереди перелетали, свистели высоко над ними — пулеметчики с правого берега делали очень большую поправку. Через минуту отозвались еще два пулемета, потом еще... Глухо дохнул выстрел из орудия, но снаряд просвистел тоже слишком высоко. Через мгновение немцы ударили батареей — снаряды рвались уже ближе, но все-таки где-то за песчаными холмами, далеко от прибрежной полосы, по которой бежали Разин и Цыганков.

В свете новой ракеты Цыганков увидел на воде плот Соломии. Он уже чернел позади, значит, опередили, можно успеть встретить.

Из окопа выскочил кто-то с пистолетом в руке:

— Куда тебя несет, сволочь?! — Но, узнав Цыганкова, опять прыгнул в окоп.

До места, куда мог прибиться плот, уже было близко. С правого берега били непрерывно, над Днпром перекачивались не отдельные очереди, а глухой и тревожный гул войны. Отозвался кто-то и с левого берега, рядом. Пулемет бил почти наперерез Цыганкову. Он побежал к окопу и зло крикнул вниз:

— Эй ты, заткнись!

Пулемет перестал бить, и Цыганков побежал дальше. Из темноты вдруг выделилась черная полоса — ход сообщения, она прорезала берег поперек и спускалась почти к самой реке. Цыганков соскочил в темный узкий ров, до половины заполненный водой. Сзади упал и скатился в ров Разин.

Соломия первой вышла на берег, за нею в ход сообщения протиснулись еще две женщины с детьми на руках. Испуганные и насквозь промокшие, они дрожали, а дети жалобно всхлипывали.

— Разин, в блиндаж командира роты!

Женщины покорно пошли вслед за Разиным. Цыганков задержал Соломию. В своем жестком брезентовом костюме она напоминала бетонщицу.

— Что это вас так далеко занесло? — сердито спросил Цыганков. — Видите, какой переполох подняли...

— Не знаю. Наверно, течение изменилось. Другой раз придется хоть немного подгрести веслом.

— Нет, наверно, другой раз не придется, — буркнул Цыганков, но Соломия не поняла, что он имел в виду, или просто не услышала — близости разорвались два снаряда.

— Машина далеко? — спросила она. — Надо скорее наверх. Успеть бы до рассвета еще раз!

— Сегодня больше нельзя.

— Там же осталось семь человек. У них уже и харчей нет на завтра.

— А на завтра им и не надо. До завтра еще много воды утечет, — сказал Цыганков. — Предвидятся некоторые события.

По колено в воде они брели ходом сообщения в блиндаж командира роты.

Соломия еще больше заволновалась.

— А как же они там останутся?

— Может, их не зацепят...

— И мальчик мой там... — глухо добавила она и смолкла.

Теперь они уже отошли далеко от воды. Стрельба постепенно затихла. Из темноты вынырнул Мухитдинов. Цыганков удивился, увидев его.

— Ты откуда взялся?

— Вот — вернулся... — виновато махнул рукой тот.

— Проводи человека к командиру роты, — указал он на Соломию и обернулся к ней: — Я скоро приду.

И, выскочив из хода сообщения, исчез в ночи.

6

Когда Аня так неожиданно выбежала из хаты, Варивода хотел броситься вдогонку, но почувствовал, что ноги не слушаются — не было сил. Схватился за стул, беспомощно сел на постель... В голове шумело, в глазах все плыло. Не в силах ни думать, ни шевельнуться, привалился к стене и заснул.

Он проснулся оттого, что постель под ним ходила ходуном. Стекла дребезжали, снаружи доносился тяжелый, неумолкающий гул, а огонек в лампе подпрыгивал, будто хватал воздух.

Варивода опрометью вскочил и выбежал во двор. Темное предрастветное небо тяжело клубилось над ним. Где-то над Днепром стояло огромное зарево и тучи вспыхивали отблесками багряного света, который рвался откуда-то снизу, похоже, от самой воды.

Он знал, что произошло на плотине. Еще когда ехал в кузове случайной полуторки к Ане, в Моргуны, слышал от солдат, переговаривавшихся в кабине, о гибели взвода лейтенанта Рудя. Но что там происходило теперь? Откуда било под самые тучи это пламя?

На улице никого не было, село словно вымерло. Варивода постоял у калитки еще с минуту, решая, куда ему идти, потом вышел на дорогу и зашагал в сторону фронта.

Он шел, уверенный, что понадобится на плотине именно как водолаз: если впереди река, да еще такая, как Днепр, водолазный костюм и баллон с кислородом обязательно где-нибудь понадобится!

Позади на дороге что-то зашумело, во тьме, окутавшей землю внизу, блеснула мостовая, припорошенная снегом. Варивода оглянулся и увидел, что его догоняет машина. Она шла полным ходом с включенными фарами, словно мчалась не в сторону фронта, а в глубокий тыл. Сошел с дороги и поднял руку, надеясь, что машина остановится. Но она проскочила мимо него и только метров через пятьдесят вдруг завизжала сухими тормозами.

— Вам куда? — нетерпеливо крикнул кто-то, высунув голову из полуоткрытой передней дверцы, и Варивода сразу узнал голос Голобородько.

— Туда! — махнул он рукой вперед и во весь дух побежал.

— Ну, быстрее давайте! — крикнул Голобородько.

Варивода сел позади, и машина рванула с места.

Они ехали улицей Нового Запорожья, до плотины еще оставалось около километра. Вариводе и раньше не раз приходилось бывать здесь, но машина всегда оставалась за первыми домами, а он шел дальше пешком. Теперь ни Голобородько, ни шофер и не думали оставлять машину. Шофер только погасил большой свет и включил малый. Ясно, что немцам сейчас не до них, все их внимание приковано к чему-то более важному. Сообразив это, Варивода почувствовал себя увереннее.

Машина свернула влево, и Варивода тронул плечо Голобородько:

— Товарищ лейтенант, я сойду. Здесь наше водолазное снаряжение в блиндаже...

Земля ходила под ногами, казалось, что слепые дома вот-вот развалятся и своими руинами загородят ему дорогу. Взрывы сливались в глухой и непрерывный рев, небо впереди пылало, то и дело на нем появлялись чуть заметные всплески еще более яркого света, когда доносился особенно сильный взрыв. Улица была совсем пуста, словно из города убежало все живое. Варивода побежал направо, к знакомому блиндажу. Из-за угла вынырнули две темные машины с погашенными фарами. Приблизившись к ним, он увидел, что это понтоны. Они шли медленно, словно нащупывая дорогу, и сворачивали в тот переулок, куда уехал Голобородько.

Теперь стало ясно, почему весь огонь сосредоточился как раз против Хортицы. Наверно, эти понтоны не первые, похоже, что внизу уже пытаются навести мост...

Варивода перебежал главную магистраль города, через которую ему всегда приходилось раньше переползать, потому что она простреливалась насквозь из пулеметов, стоявших за Днепром. Сейчас улицу не обстреливали. Наверно, войска отсюда ушли, опасаясь, что пло-

тина взлетит в воздух, а немцы перестали ее обстреливать, понимая все это.

Он остановился посреди улицы и посмотрел влево. Плотина четко выделялась на фоне белых сполохов. Стояла — и тоже замерла, как и он, словно и она затаила дыхание в ожидании своей гибели.

За стенами дома, темневшего на той стороне улицы, был еще один дом, а дальше — блиндаж. Варивода побегал туда.

В темноте, как слепой, ощупывая руками влажную стену, он спустился в блиндаж. Здесь можно было засветить фонарик. Лучик скользнул по земляным стенам. В углу лежали никому, кроме него, не нужные баллоны и легкие водолазные костюмы. Варивода взвалил на плечи два баллона, перекинул через руку один костюм, пояс со свинцовыми грузилами и пошел назад, к переулку, куда свернули понтоны.

Теперь он знал, куда ему надо идти; понимал, что возле переулка может понадобиться.

7

Посылая Аню в санбат, Голобородько вовсе не думал, что она там увидит своего мужа. Просто хотелось пристроить ее, чтобы во время боев была занята делом, а не оставалась в одиночестве.

По дороге Аня почти совсем успокоилась. В конце концов на войне стреляют, и не удивительно, что есть раненые. Но сразу же она вспомнила, сколько ужасных ран и неизлечимых увечий ей пришлось видеть в тыловом уфимском госпитале. Это воспоминание опять встревожило ее: а что, если муж находится сейчас в медсанбате лишь потому, что его привезли туда для первой перевязки перед эвакуацией в глубокий тыл? Ведь с тяжелыми ранениями людей не везут прямо в санпоезд, их сначала, хоть ненадолго, тоже завозят в санбат!

Аня вдруг вспомнила растерянные и беспомощные глаза Вариводы, в которых можно было прочесть что-то очень страшное, вспомнила непонятное поведение Голобородько... Ее охватил страх.

Наконец машина подъехала к большому одноэтажному зданию бывшей школы. Шофер вдруг зажег фары, и два ярких луча выхватили из темноты нескольких человек в белых халатах — они стояли на крыльце и напряженно прислушивались к тому, что происходило возле Днепра. Только теперь она вспомнила, что тоже слышала грохот, но, занятая своими мыслями, не обращала на это внимания, хотя грохот все время усиливался, нарастал.

— Это ты, Покотило? — окликнул кто-то высоким мальчишечьим голосом, когда машина остановилась.

— Нет, товарищ военврач, это не Покотило, — ответил шофер.

— А, Кривенко! Что там, началось?

— Началось, только не с того конца, — буркнул Кривенко, наклонившись к дверце, возле которой сидела Аня, чтобы выпустить ее из машины.

— Как это не с того? — послышался испуганный мужской голос.

— Разве не видите, откуда бьют? — спросил Кривенко.

— Я же говорила, это немцы! — чуть ли не радостно воскликнула какая-то женщина, словно ее не так пугал вражеский огонь, как тешила собственная догадливость.

— Как-то уже непривычно, что начинают они, — заметил тот же мужской голос.

— Принимайте пополнение! — крикнул Кривенко. — Привез вам нового врача.

Аня уже вышла из машины, но, захваченные происходящим на Днепре, медсанбатовцы ее даже не заметили.

Кривенко круто развернул машину и рванул с места. Через мгновение она уже исчезла, нырнув в темноту, будто в глубокий омут.

После яркого света фар вокруг стало еще темнее. Аня, осторожно нащупывая ногой дорогу, двигалась туда, где, как ей казалось, было крыльцо, и вдруг налетела на человека: кто-то шел ей навстречу — тоже будто слепой.

— Ох, простите! — это был тот же самый высокий мальчишечий голос. — Здесь не трудно и упасть. Давайте, я вас проведу.

На крыльце военврач откомендовался:

— Начальник дивмедсанбата капитан Васадзе. Очень рад пополнению. Голобородько мне звонил.

Аня волновалась и даже не назвала своей фамилии. Как только они вошли в коридор, спросила:

— Как он себя чувствует?

Васадзе подумал, что она спрашивает о Голобородько, и это его удивило.

— Кто?

— Мой муж. Он тяжело ранен?

Капитан Васадзе удивился еще больше. Голобородько ничего не говорил о ее муже, а сказал только, что придет врача, женщину, которую можно сразу поставить к делу, а оформить позднее, в более подходящее время.

— Здесь какое-то недоразумение... — смутился Васадзе. — Мы еще вчера отправили последнего раненого — готовились к приему новых. Сейчас все места свободны. Ни одного человека.

Лицо Ани потемнело.

Васадзе поспешил ее успокоить:

— Сейчас мы выясним, я позвоню куда следует.

Он быстро пошел школьным коридором.

Аня присела на подоконник, закрыла лицо руками. Теперь она уже не успокаивала себя. Легко раненный, он уже давно был бы здесь: с тяжелой раной — тем более. Не привезли, — значит, некого везти. Она вдруг почувствовала всю тяжесть своей утраты и своего одиночества, словно только сейчас все боли минувших лет, соединившись в одно, легли ей на плечи.

Вот так все и кончается. Вдруг. Неожиданно. Перед глазами встало лицо Вариводы — беспомощное, растерянное. И Голобородько —

как он испуганно ее встретил, словно не был готов к разговору и сердился за это на себя... Потом смутился, растерялся... Как она могла не понять? Не хотела. Боялась...

Сзади слышались легкие и медленные шаги. Аня знала, это идет тот самый врач с мальчишечьим голосом, капитан Васадзе. Шаги его, осторожные и нерешительные, говорили ей о том, что она теперь уже окончательно знала сама. Так приближается человек, который не в силах сказать правду, боится, что правда может убить. Этот мальчик, еле успевший окончить институт, а может быть даже ушедший с предпоследнего курса в военное пекло, видел уже много смертей, но никогда не выполнял тяжчайшей обязанности — сказать жене, что она вдова. Он шагал медленно не потому, что подыскивал подходящее слово, — просто старался оттянуть мгновение, когда придется заговорить.

Васадзе остановился позади. С минуту он молчал.

— Простите, — начал он. — Мне очень тяжело... но я должен...

Аня не шевельнулась.

— Я не знаю, как вам сказать...

— Можете не говорить, — наконец прошептала она и отняла руки от лица.

— Понимаете, тело сейчас привезти нельзя, — заговорил он, словно почувствовал облегчение: не надо говорить главного. — Там много раненых, надо взять их.

— Я понимаю. — Аня наконец подняла голову и посмотрела на капитана.

— Его похоронят возле плотины. Вместе с другими. — Он так посмотрел на Аню, словно в это мгновение ему было тяжелее, чем ей. — Вам надо отдохнуть, — сказал он и осторожно коснулся ее руки. Аня ничего не ответила, покорно пошла рядом с ним вдоль коридора.

— Это ваша комната. И простите, я должен идти. Скоро начнут прибывать раненые.

Дверь закрылась, и Аня осталась одна. Она села на постель и тяжело уронила голову на руки. Так и не успела поговорить с мужем ни о чем. Сегодня, во время первой и последней встречи, хотела так много сказать, но не успела. Его вызвали на плотину, и он ушел. Так и осталась вина с нею — тяжелее во сто крат оттого, что не успела в этом признаться.

На железном столике позвякивал стакан, слегка подпрыгивал на блюдечке. Лампа чуть заметно мигала, казалось, на нее кто-то нехотя дул. Издалека доносился беспокойный грохот, будто по земле медленно катилось что-то огромное и пустое, наталкивалось своими ребрами на мерзлые кочки и заставляло землю содрогаться и неспокойно гудеть.

Аня будто в себе чувствовала эти далекие содрогания. И утрясались, медленно укладывались одно к другому беспорядочно разбросанные чувства, растревоженные воспоминаниями, словно их и надо было вот так непрерывно трясти, чтобы все легло на свои места.

Вот так всегда и бывает — удар грома застает врасплох, когда

и не ждешь его. И не успеваешь сделать главного, даже сказать не успеваешь, даже подумать. Хорошо хоть, что простила, успела сказать. Хоть это — и то счастье. И как он обрадовался, когда услышал! Больно, горько, что он узнал об этом только сегодня...

За окном слышался шум моторов, по стенам скользнули блестящие отблески фар. Захлопали двери на крыльце, и в коридоре раздались тяжелые шаги. Послышались голоса санитарок, бегущих мимо ее двери куда-то по коридору.

Аня посидела еще с минуту и поднялась, вышла из комнаты. Санитары вносили раненых, под накинутыми на носилки шинелями тяжело дышали, стонали люди.

Она постояла, глядя, как тревожно суетятся санитарки, потом слегка коснулась плеча медсестры, остановившейся рядом, и сказала:

— Дайте мне халат.

8

Харкевич мог лишь представить себе, что происходит на плотине. Он стоял на железной скобе в вентиляционном канале, спустившись вниз настолько, чтобы его нельзя было заметить снаружи, когда вспыхивали ракеты, и старался увидеть или хоть услышать, что там делается. Но отверстие выходило в сторону нижнего бьефа, сквозь него виднелись лишь квадратный лоскут темного неба и при вспышках ракет бледные отблески снежных туч.

Никакие звуки сюда почти не долетали. Даже когда с Хортицы прямой наводкой било орудие и снаряд разрывался на плотине, холодная толща бетона ничем не отзывалась в ответ. И только по тому небольшому квадрату неба, который ненадолго вспыхивал и загорался, когда взлетала ракета, можно было догадаться, что наверху идет бой и что на плотине немцы.

Амирадзе стоял еще ниже и не видел даже этого. Он и Харкевича не мог увидеть, — повиснув под ним, Олег Иванович закрывал даже скудные отблески ракетного света. Амирадзе цепенел, опершись на один крик обеими ногами, сплетя пальцы на другом, и молча ждал, что скажет Харкевич, — он был уверен, что тот видит и понимает все.

Они долго висели над узким бездонным колодцем вентиляционного канала — сами не могли определить, полчаса или значительно дольше. У обоих одеревенели руки, тела налились свинцом и онемели. Но ни Харкевич, ни Амирадзе не замечали этого. Оба понимали: что бы ни происходило наверху, они отрезаны от своих и вернуться назад не могут, как никогда уже не сможет вернуться их третий товарищ, лежащий внизу за этим квадратным отверстием, — Ковальчук.

Наконец небо наверху успокоилось и перестало вспыхивать. Бой окончился, нетрудно было догадаться, кто в этом бою победил. Хотелось думать, что это еще не конец, что взвод лейтенанта Рудя

лишь отошел и со временем вернется опять. В это надо было верить, иначе оставалось лишь смириться с неминуемой гибелью.

Харкевич решил подняться чуть выше и выглянуть из отверстия — теперь уже ракеты не взлетали — и его нельзя было заметить.

Огромная бетонная дуга выгибалась далеко влево. Харкевич выглянул и увидел вспышки коротких очередей на середине плотины. Кто-то еще отстреливался на том конце подкранового моста, возле быка, дорога на который была проложена Хохлом.

Амирадзе ждал внизу. Придется сказать ему, что выхода отсюда нет. Но трудно заставить себя спуститься ниже в свой каменный гроб. Сейчас, или через час, или, может, завтра немцы обязательно взорвут плотину, и ее тяжелые глыбы раздавят обоих. Харкевич почувствовал, что им овладевает отчаяние. Никакой надежды выбраться из этой волчьей ямы не было. Беспомощность угнетала, злила — ничто не может так унижить, как отсутствие надежды.

Но отчаянная беспомощность владела им недолго. Амирадзе снизу дернул его за полу, молча спрашивая, что там творится наверху. Олег Иванович спустился, но Амирадзе не уступил ему дороги и остался на месте. Пришлось протиснуться между ним и стеной. Теперь они оба стояли на одном крюке, но руками держались за разные скобы — Харкевич был значительно выше ростом. Вдвоем они так плотно заткнули вентиляционное отверстие, что, казалось, разойтись уже не смогут.

— Плохо... — сказал Харкевич.

И голос его пробасил где-то глубоко в утробе плотины, словно оттуда кто-то отвечал им, дую в трубу.

Амирадзе молчал, Харкевичу показалось, что он всхлипнул: ведь они были друзьями с Ковальчуком.

— Поищем кабель... — сказал Харкевич, просто так, не вкладывая в слова никакого смысла. Чтобы не расклевтаться совсем, надо что-то делать.

— Черта с два его найдешь!.. — ответил Амирадзе, и Харкевичу опять показалось, что он всхлипнул.

Олег Иванович еще постоял на месте, но уже чувствовал: притиснутый к нему вплотную, Амирадзе пополз вниз.

Правда, почему он решил, что ничего нельзя сделать? Ведь искать кабель — это и было их главным заданием... Харкевич прислушался к гулкому шороху внизу и понял, что Амирадзе не ждет его. И он тоже быстро стал спускаться в гудящую темную прорву, будто стараясь догнать товарища.

Теперь уже Харкевич не думал ни о взрыве, который может грохотать в любое мгновение, ни о том, что, если даже взрыва не будет, отсюда все равно не выйти. Появилась вдруг неустержимая злость неизвестно на кого, какая-то неясная и волнующая одержимость. Он быстро перебирал холодные железные крюки, будто главное сейчас состояло в том, чтобы догнать Амирадзе, перебирал их, пока сапоги не бултыхнулись в воду. Даже и тогда он не остановился,

сделал еще одно движение вниз, и неожиданно ноги его уперлись во что-то твердое, надежное.

Вода стояла здесь неглубоко. Он прошел шага три вперед с поднятыми вверх руками. Да, это была верхняя потерна — потолка нигде не достать. Амирадзе хлюпал где-то впереди.

— Фонарик есть? — гулко отдался в пустоте его голос.

— Потерял... — Харкевич невольно сунул руку в карман, хотя знал, что фонарика там нет.

— Хоть бы спичку... — вздохнул Амирадзе. Харкевич понял, что он ощупывает левую стену.

— Там должна быть толстая труба теплоцентрали, — сказал Харкевич.

— На кой она нам черт?!

— На нее можно влезть, чтобы выше достать...

— А это что? — спросил Амирадзе. — Выше, на стене...

Харкевич побрел к нему. Амирадзе молча поймал его руку, приложил к чему-то холодному.

— Это водопровод.

— А ну, подержите меня, я стану на эту трубу.

Харкевич наклонился. Амирадзе влез ему на спину, потом переступил на толстую трубу теплоцентрали.

— Лезь выше, на водопровод, — сказал Харкевич. Он обхватил обеими руками ноги Амирадзе и легко поднял его на уровень своей груди. На трубу водопровода Амирадзе стать не мог, это было слишком высоко.

— Удержите?

— Попробую.

Амирадзе стал одной ногой на плечо Харкевичу, потом осторожно оперся второй. Когда он переступал, Олег Иванович почувствовал, как дрожит и покачивается от напряжения фигура маленького танцора. Там, на двадцатиметровой высоте быка, он, наверно, чувствовал себя увереннее — его окрыляла надежда, а под ним стоял Ковальчук — старый друг.

— Не бойся, выдержу, — тихо сказал Харкевич.

Амирадзе молчал. Харкевич почувствовал — он шарит рукой по стене.

Тело Харкевича постепенно деревенело от напряжения. Амирадзе не стоял на месте, приходилось балансировать под ним. Сначала Сандро осторожно оттолкнулся одной рукой от стены, потом опять припал к ней: снимал с плеча автомат. Послышались глухие удары — в такт им покачивался Амирадзе.

— Что ты там делаешь? — спросил Харкевич.

— Здесь какой-то кабель. Может перерубить?

Харкевич припоминал — по стене должен был идти кабель низкого напряжения, для освещения левого берега. Да мало ли куда немцы могли подключить свой провод.

— Лучше переруби. На всякий случай.

— Вы потерпите еще немного — я финку наставлю и прикладом перебью.

Амирадзе потоптался на его плечах еще с минуту и стал рубить. Охнул и чуть было не слетел вниз, но удержался, опять стал рубить, глухо стуча по тупому ребру ножа.

Вдруг пол заколыхался под ногами. Харкевич ясно почувствовал дрожь бетона, даже сквозь толщу своих подошв. Амирадзе перестал стучать, — наверно, тоже прислушивался.

— Что это? — спросил с тревогой.

— А ну, слазь, — ответил Харкевич, и Амирадзе покорно спустился, тяжело бултыхнув в воде сапогами. — Давай наверх.

Харкевич, протянув руки вперед, пошел вдоль стены. Амирадзе топал следом. Харкевич нащупал вход в вентиляционный колодец и быстро полез вверх по железным крюкам. Теперь уже ясно чувствовалась непрерывная дрожь всего бетонного массива. Ему пришло в голову, что плотина почему-то дрожала все время, будто ее трясла лихорадка. Харкевич карабкался все выше и выше, а плотина не переставала сотрясаться и дрожать. Наконец он догадался взглянуть наверх и увидел, что выходное отверстие ярко светится и вспыхивает — значительно ярче, чем тогда, когда с плотины отступал Рудь.

Он обессилел, быстро карабкаясь вверх, но отдохнуть не остановился. Наконец потянуло морозным воздухом из отверстия, и, не подумав даже о том, что в таком ярком освещении его могут заметить, Харкевич высунул голову из окна. Грохот ударил ему в уши. На левом берегу, против северного края Хортицы, пылала земля, там все время что-то рвалось, почти в одной точке. Ракеты взлетали в бледное небо одна за другой и все вокруг заливали театральным зеленоватым светом. Оглушительный грохот возникал где-то на правобережных холмах и, высоко взлетая над Днепром, тяжело падал на склоны левого берега.

Захваченный этой картиной, величественной и страшной, Харкевич смотрел на море огня, отражавшееся в водах Днепра, ничего не понимая. Он даже не заметил, как снизу протиснулся Амирадзе и, стоя вплотную возле него, тоже смотрел, широко раскрыв глаза.

— Ну, началось, — сказал он после долгого напряженного молчания.

Слова Сандро трудно было услышать сквозь глухие удары и тяжелый грохот, но Харкевичу показалось, что он ясно их расслышал.

Да, началось, но что именно — этого они еще не знали.

Немцы неусыпно следили за понтонным батальоном капитана Сома с воздуха. Каждый день, как только начинало рассветать, в небе появлялся двухфюзеляжный «фокке-вульф». Тоненько рокоча,

словно у него бурчало в животе, самолет кружил высоко в небе над левым берегом, и интересовало его одно — стоят ли понтоны на территории бывшей МТС, на месте своей дислокации. Если бы они вдруг исчезли, немцы начали бы их срочно разыскивать: местопребывание понтонов указывало, где именно наши войска собираются наводить переправу.

Накануне — и рано утром, и днем, и когда уже почти стемнело, — в разрывах облаков все время появлялся немецкий разведчик. Батальон стоял на месте, и никаких признаков передислокации не было видно. Понтоны погружены на свои машины, но это ничего не означало. Их не подгоняли к берегу — это главное. Значит, пока оставалось лишь следить за ними, наблюдать.

Немцам нетрудно было догадаться, где советское командование могло спустить понтоны на воду, если бы решило навести мост именно на этом участке. Не вздумает же оно наводить его выше плотины, где Днепр разлился, как море! Значит, только в районе Хортицы. Здесь, правда, пришлось бы форсировать два рукава — остров своим огромным телом разделял реку, — но каждый из них во много раз уже бассейна в верхнем бьефе. Да и Хортицу захватить тоже выгода немалая: остров высится над Днепром — и с его высот можно контролировать всю окружающую местность. Так представляя себе возможные намерения советского командования, немцы заранее пристреляли лоскут левого берега против самого узкого места реки, и все наличные батареи могли с первого выстрела накрыть это опасное место.

Стояла еще глубокая ночь, когда батальон Сома тронулся со двора МТС и покатил в Новое Запорожье. Машины шли, погасив фары, с большими интервалами — услышать, что к Днепру приближается значительное подразделение, немцы на левом берегу не могли. К тому же именно в это время вспыхнула стрельба на участке Запорожстали, когда Цыганков и Разин побежали, чтобы перехватить плот Соломии. Это помогло понтонному батальону совсем незаметно достичь первых домов города и сосредоточиться на заранее намеченной улице, где уже ждал со своей эмкой полковник Шумаков.

Ровно на пять часов было назначено начало артиллерийской подготовки, которая должна была длиться двадцать минут. Шумаков знал: на картах, полученных накануне в артдивизионах, обозначены не все вражеские батареи и пулеметные гнезда. Огромное естественное препятствие — Днепр мешал разведчикам вести наблюдение обычными средствами. Удалось засечь только те огневые точки, которые выдали себя сами, но ясно, что во время долгого позиционного затишья возле плотины большинство огневых средств молчало. Так что на работу своей артиллерии Шумаков не возлагал больших надежд. Она могла по-настоящему помочь лишь после того, как немцы заметят, что на берег спускаются понтоны, и вынуждены будут ударить из всех своих батарей. Вот здесь и нужно будет немед-

ленно их засечь. Таким образом, на первом этапе батальон Сома должен был, возможно даже ценой своей полной гибели, выявить то, что не могли выявить разведчики.

Воюющие стороны очень редко бывают информированы в одинаковой мере. Чаще всего это приводит к неприятным сюрпризам: той из сторон, которая владеет более точной информацией, удается ввести в обман другую, внезапно напасть или применить неожиданный маневр. Но бывают и такие случаи, когда в результате недостаточной информации одна из сторон, словно предупреждая желание противника, сама начинает действовать в его интересах и, совсем не имея этого в виду, облегчает дело врагу.

Так получилось и здесь. Трудно понять, почему немцы начали с такой силой обстреливать место возможной переправы. Видимо, здесь сыграли роль события на плотине, а может, немцы услышали, когда на окраине собирались в одном месте машины понтонного батальона. Не исключено также, что кто-нибудь мог им подать сигнал о приближении понтонов к Днестру, и они вынуждены были начать обстрел, предупреждая события. Но что бы там ни было, а стрельбу открыли они, и не по огневым точкам левого берега, а именно по взвозу — били туда, откуда должны были спускаться к Днепру понтоны. Били яростно, направили туда массу огневых средств, не известных нашим разведчикам раньше, будто сознательно обнаруживали то, что так долго таили.

Недалеко от места, где сосредоточились машины капитана Сома, в подвале одного из уцелевших домов, помещался склад боепитания артдивизиона. Шумаков кинулся туда. Он приказал телефонисту связать его с начальником штаба дивизии.

— Что там у вас? — спросил Шумаков.

— Сильный огонь на левом фланге, — ответил Лемешко.

— Слышу, что сильный. А почему вдруг?

— Трудно сказать, товарищ комдив, — заколебался начальник штаба. — Бьют прямо по берегу.

— Что они, взбесились?

— Не могу знать, товарищ комдив.

Шумаков положил трубку и вызвал по очереди оба артдивизиона.

— На ус мотайте! — сказал он Голубовичу.

— Мотаю, товарищ комдив, — ответил Голубович, у которого действительно были усы.

Ройтман ответил таинственно, но серьезнее:

— Используем ситуацию.

Шумаков выбежал из подвала, зашагал назад к понтонам. Небо пылало над темными домами, немцы продолжали вести свой неприятный ураганный огонь. Шумаков быстро шел, лихорадочно соображая и стараясь понять то, что Ройтман назвал ситуацией. Слово это, может быть и случайно слетевшее с уст капитана, насторожило Шумакова. Ведь, неожиданно создав эту самую ситуацию, немцы могут ее также неожиданно и изменить, приостановив огонь, если убедятся, что шум поднят без видимой причины. А вдруг артиллеристы не успеют

засечь все, что им нужно? Надо было исключить такую возможность, дать немцам повод бить по взвозу как можно дольше и, если можно, втянуть еще больше огневых средств в этот преждевременный артиллерийский налет.

— Давайте свои понтоны вперед,— приказал он Сому, садясь в эмку.

Покотило включил скорость. Шумаков оглянулся и сквозь стекло увидел, что колонна двинулась следом за ним. Доехав почти до конца длинной улицы, Шумаков свернул в переулок, выходящий на взвоз, и остановился. Через мгновение его догнал капитан Сом и, выскочив из передней машины, подбежал к комдиву.

— Давай первую машину на воду,— приказал Шумаков.

Капитан козырнул, сделал шаг к машине, в которой только что ехал, но остановился.

— С людьми или без людей?

Комдив понял его. Машина с понтоном, которая попытается под таким шквальным огнем спуститься на берег, будет немедленно потоплена или сожжена.

— Давай без людей! — крикнул он, стараясь пересилить грохот, стоявший вокруг. — Пусты задним ходом! Разверни и пусти!

В переулке развернуться было трудно. Пришлось продвинуть назад всю колонну и, выехав на улицу, развернуться там. Шумакову показалось, что огонь немецких батарей слабеет. Побежал к передней машине.

— Скорее! Давай! — крикнул он.

Сом не услышал, но понял.

Шофер включил заднюю скорость и проехал до самого конца переулочка. Потом вывернул руль так, чтобы машина шла прямо вниз, и выскочил на ходу из кабины. Машина могла пройти немного, сама собой свернуть и даже перевернуться. Но это уже особенного значения не имело. Важно только, чтобы немцы заметили — к воде спускается понтон.

Шумаков стоял за углом дома и следил за машиной. Она медленно ползла вниз. Понтон уже был почти возле самой воды, когда в него ударил снаряд. Но машина продолжала ползти на включенном моторе дальше, продвигая все ближе к воде груды исковерканного железа, словно бульдозер, толкающий изо всей силы гору земли. Другой снаряд угодил в самую машину, и она остановилась. Из нее вырвался большой клуб пламени, наверно взорвался бензобак.

Огонь резко усилился. Шумаков почувствовал радостное волнение, будто целью его только и было — бросить в пасть вражеского огня погибшую машину — и ему удалось сделать это. Немцы били так, что земля сотрясалась от непрерывных взрывов, и Шумаков боялся только, как бы огонь опять не ослабел. Через несколько минут он приказал Сому спустить вниз еще одну машину. Пока она разворачивалась и ползла к воде, он взглянул на часы. Через пять минут должны ударить его два дивизиона и вся артиллерия полков. Вражеский

огонь не утихал, теперь можно было надеяться, что до начала артподготовки канонада не ослабнет.

— Через минуту спустишь еще одну, — приказал Шумаков Сому, садясь в машину. — Не жалея! Я — на свой КП.

— Есть, товарищ комдив! — крикнул Сом. Машин ему было жаль, но он видел, что цель достигнута без лишних человеческих жертв, и, благодарный за это Шумакову, еле сдерживал свои чувства.

10

Штукаренко не имел никакого представления о том, что происходит на левом фланге. Когда оттуда послышался грохот неожиданного обстрела, он выскочил из блиндажа командира полка. Терещенко выбежал следом. Стены заводского корпуса закрывали от них место, где рвались снаряды, и пришлось влезть на крышу, или, вернее, на остатки конструкций, которые когда-то ее поддерживали. Оттуда открывался широкий обзор, все, что происходило, предстало перед ними как на ладони.

Да, немцы молотили именно то место, где Шумаков собирался наводить понтонный мост. «Значит, мост уже начали наводить, раз немцы бьют по нему так отчаянно», — подумал Штукаренко. Но как мог добраться до берега батальон Сома так быстро? И почему мост начали наводить, не дождавшись артподготовки, назначенной только в пять часов? Ведь надо было сначала подавить вражеские огневые средства, а потом спускать понтоны на воду!

Кричащее несоответствие того, что происходило, с тем, чего требовал здравый смысл да и самый план операции, утверченный командованием и известный ему во всех подробностях, — все это беспокоило его. Он не мог представить себе, чтобы немцы открыли такой сильный огонь по голому берегу без всякой причины, — не так они теперь богаты, чтобы впустую сыпать сотнями снарядов. Почему же батальон Сома нарушил предписанный план — с такой неправдоподобной быстротой появился на месте и поставил себя под уничтожающий удар, которого в значительной мере мог избежать, если бы артподготовка была проведена?

Штукаренко решил спуститься и позвонить на командный пункт. Когда он вошел в блиндаж, Терещенко уже связался с Лемешко. Но командир полка говорил как подчиненный, который должен исполнять приказы, а не расспрашивать о событиях, происходящих в других полках; понимая это, Штукаренко отнял у него трубку.

— Что там у вас? — спросил он нетерпеливо.

— Ничего особенного, товарищ полковник.

— Что-нибудь изменилось?

— Нет, товарищ полковник, все по-старому.

Штукаренко молчал. Лемешко тоже молчал. Враг на этом берегу подслушать их не мог, но все-таки расспрашивать более детально Штукаренко не решился.

— Ну, благодарю,— пробурчал он, ничего не понимая.

— Пожалуйста, товарищ полковник,— четко проговорил Лемешко. «Ничего особенного»... Ну что же, может быть, и так. Шумаков с понтонным батальоном, так что можно не беспокоиться.

— Давайте еще раз пройдемся по берегу,— предложил он Терещенко.

— Пошли,— ответил тот. — Хотя там все в порядке.

Пройтись по берегу — не значило спуститься к воде. Хоть озеро Ленина и широко разлилось, ходить по самому берегу было опасно. Особенно сейчас, когда в небе метался, пылал такой артиллерийский фейерверк, освещая все вокруг, будто на ночном параде. Они прошли вдоль каменной заводской стены, пригибаясь в местах, где стена была повалена вражескими снарядами. Сквозь проломы поблескивала вся ширь озера, в мигающем свете взрывов и ракет вырисовывалась довольно ясно даже полоска правого берега. В Днепре отражались ярко светящиеся невысокие облака. Свет этот дрожал и прыгал, желтое смешивалось с красным, белое с ярко-голубым... Ракеты чертили свои четкие, замедленные траектории, на миг останавливались и замирали в зените, потом, будто перевернувшись на другую сторону, быстро падали и гасли. Иной удавалось, не погаснув, долететь до воды, она вонзалась в темную глубину своим слепящим жалом и меркла.

Штукаренко никогда не был склонен к утонченному самоанализу и не любил докапываться в своей душе до причин удачного или неудачного поступка. Поступок он считал завершением чувств и раздумий, и если событие уже произошло, нечего было копать в том, что к нему привело. Прошлое он считал пройденным, и если обращался к нему, то только с целью использовать опыт для будущих действий, а вовсе не для того, чтобы любоваться им самим по себе или записывать в свой личный кредит или дебет.

Однако, несмотря на то что неудача на плотине стала уже фактом, поражение все-таки мучило Штукаренко: это была потеря, которую еще нельзя было даже постичь. Сорвалась не только важная разведывательная операция,— погибала сама плотина.

Раздумывая над словами Лемешко о том, что «ничего особенного не произошло», Штукаренко приходил к выводу, что артиллерийская канонада немцев, которая сейчас сотрясала землю, имела только одну цель — предостеречь советские войска от попытки переправиться через Днепр. Своим громоподобным голосом она будто говорила: раздумайте сунуться с переправой, мы будем вынуждены включить рубильник и взорвать плотину, хотя и не хотели бы этого делать, пока наши дивизии не выберутся из этих проклятых плавней!

Теперь это предупреждение уже ничего не значило, оно не в силах было предотвратить события, которые должны были начаться в ближайшее время, назначенное приказом. И Штукаренко понимал: плотину уже не спасти.

Он остановился возле широкой прогалны в каменной стене, где когда-то, наверно, были широкие ворота, и выглянул на берег. Внизу

лежали небольшие плоты — их успели подтащить сюда перед началом обстрела, когда еще было темно.

По эту сторону стены примостились группы бойцов. Те самые люди, которые должны были сегодня переправляться. Кое-кто лежал на снегу, делая вид, что спит, большинство сидело, опершись спинами на стену, и курило.

— Вот дает! — воскликнул кто-то поблизости, и, наверно потому, что на душе было не сладко, голос звучал почти восторженно.

— А наши ни гугу... — заметил другой солдат.

— Гугукнут, — ответил первый голос, но трудно было понять, что он имел в виду — «ждидайся, может, когда-нибудь и раскатаются» или «стукнут, когда будет нужно, не беспокойся».

Штукаренко пошел дальше. Да, жизнь потеряет кое в чем смысл, если это произойдет. Не потому, что произойдет само по себе, а потому, что ты был здесь и имел к этому прямое отношение. Страшно прочитать в газете, что плотину взорвали, Днепрогэса уже нет. Но если ты лично при этом был, да еще и имел к взрыву прямое отношение — во сто крат страшнее.

Солдаты притаились под стеной по всей ее длине. Штукаренко прошел еще шагов двадцать и опять остановился возле какой-то пробоины — взглянуть, на месте ли плоты. И опять то же самое — почти такой же, как и раньше, восторженный голос:

— Ну и дает!

— Хорошо, что перетасчили вовремя на берег свой флот. — Штукаренко остановился, ожидая, пока его догонит Терещенко. — Я говорю, хорошо, что флот затемно перетасчили. При такой иллюминации не удалось бы.

— А? Хорошо, что успели? — Грохот такой, что ничего не слышно, даже если кричишь. — Мой начальник штаба не советовал перетаскивать. Когда закончится артподготовка, подхватили, мол, плавсредства и — на воду.

— Все-таки добежать до воды одно дело, а тащить на себе целый флот — совсем другое.

— Скажем гоп, когда будем на том берегу.

— Это верно.

Они шли рядом, иногда спотыкаясь о вывернутые рельсы и обломки стены. Терещенко хотел еще что-то сказать, даже рот уже открыл, но так и застыл. Сзади что-то рассыпчато загрохотало, воздух всколыхнулся с новой силой, словно из-за цехов, в прогалины между стенами, прорвался неистовый вопль внезапного урагана. Над головой взревело в сто голосов, заскрежетало и со свистом понеслось что-то огромное и злое, будто стая, которой не было ни начала ни конца. Свист и угрожающее шипение не останавливались, стая летела сплошной волной, и в диком ее реве тонул даже грохот немецких разрывов. Земля еще тряслась от этих разрывов, но в ее дрожи уже чувствовались какие-то новые, посторонние движения, их можно было различить, будто они существовали самостоятельно, будто дрожь, охватившая землю, имела не одну причину, а две.

Штукаренко взглянул на часы. Ну, ясно. Значит, Лемешко был прав, когда сказал, что ничего особенного не случилось. Иначе артподготовка не началась бы точно в пять, как предполагалось.

Не сговариваясь, оба побежали назад — к командному пункту полка. Бойцы под стенами тоже задвигались, повскакали с мест. Выглядывая из проломов в стене, они видели, как на правобережных холмах вспыхнули, будто вырвались из-под земли, высокие языки пламени и раскатились первые взрывы. Снаряды рвались не по всей площади, а там, где должны были стоять немецкие батареи. Похоже, что темное поле противоположного берега вдруг проросло отдельными купами огненно-красного кустарника, который вспыхивает в лучах вечернего солнца.

И сразу же заметался и растерянно бросился в разные стороны вражеский огонь. Снаряды еще летели из сотен вражеских орудий, но рвались уже не на взводе, а где попало. И по мере того как нарастал и усиливался левобережный огонь, все точнее нащупывая цель и ударяя в точку, вражеские батареи захлебывались все больше и больше, голоса их слабели, а кое-где и совсем умолкали. Беловатое зарево над плотиной гасло, расплывалось, вместо него появилось другое, с густой примесью красных красок, но уже не над левым берегом, а над правым. И удивительно было — в этот предрассветный час небо покраснело почему-то на западе, будто утро заблудилось и попало не на свою привычную дорогу.

11

Профессор военной академии, ставший в войну во главе армии, сделал правильный вывод из ситуации, в которую поставил его настойчивый и упрямый генерал Зотов. У командующего сразу же мелькнула мысль, что понтонный батальон капитана Сомы, став на воду, отвлечет все внимание немецкой артиллерии и, таким образом, облегчит положение дивизии Шумакова, которая будет переправляться через Днепр иными средствами. Так же и Шумаков, вынужденный исполнить этот приказ командарма, в свою очередь, трезво оценил положение — пожертвовал лишь несколькими машинами и понтонами, на которых не было ни одного бойца, но помог ценой такой небольшой жертвы засечь молчавшие до сих пор вражеские батареи. Оба проявили лишь практическую трезвость, они действовали так, как должен действовать любой разумный человек, если бы обстоятельства поставили его на их место.

Но одного не могли предотвратить ни дальновидная мудрость командарма, ни рассудительное мужество командира дивизии. Несмотря ни на что, вражеская рука все-таки лежала на рубильнике и могла замкнуть провода, ведущие к мощному заряду, заложенному в тело плотины. Достаточно было лишь легкого движения, чтобы все полетело кувырком. И оба — один прислушиваясь издали, а другой вблизи — думали не только о неминуемой потере материальных цен-

ностей, но, главным образом, о судьбе своих частей и подразделений, которые были бы поглощены взбесившейся водой, случись это именно сейчас. Не сговариваясь, они втайне надеялись на те восемь немецких дивизий, застрявших в плавнях. Может быть, враг не решится затопить их собственной рукой. Таким образом, решить судьбу всей операции фактически мог только маленький Амирадзе, который еще несколько минут назад, стоя на плечах Харкевича, бил прикладом своего автомата по тупому ребру финки и старался перерубить кабель, не очень веря в то, что его толстая оболочка скрывает нужный провод. Он не очень надеялся, но кабель этот перерубил — на всякий случай, так и не узнав, что провод, который они искали, был именно там. Перерубил и повернул этим весь ход военных действий, и в этом — еще одно доказательство того, что исход операции решается не только расчетом полководца, но и благоприятным стечением многих сложных обстоятельств.

Всего десять минут артиллерия левого берега била по вражеским батареям, но заставила их умолкнуть, по крайней мере на некоторое время. Затем огонь переметнулся ближе, разрывы густо покрыли полосу возле самого Днепра, где проходила передовая немцев. Снаряды ложились один возле другого и, закапываясь глубоко в прибрежный песок, выворачивали его и взметали высоко в небо.

Шумаков стоял у своего блиндажа, дверь в блиндаж он нарочно оставил открытой, чтоб было видно, что там происходит. Внизу Лемешко разговаривал по телефону с Зотовым. Подполковник стоял, вытянувшись, будто Зотов был перед ним, и отвечал коротко и точно. Снаружи раскатисто грохотало, земля качалась под ногами Шумакова. Из отрывистых фраз начальника штаба, которые все-таки долетали сюда, он понял: Зотов хочет знать, занял ли понтонный батальон исходные позиции. Лемешко все время искоса поглядывал на Шумакова, лампа, висевшая под низким потолком, покачивалась и мигала, но в ее слабом свете Шумаков различал лицо Лемешко, на котором угодливость и страх перед Зотовым боролись с желанием их скрыть.

— Чего хочет генерал? — спросил Шумаков, когда Лемешко поднялся к нему.

— Я не сказал, что три понтона погибли, — ответил Лемешко, не расслышав, о чем спрашивал Шумаков.

— И хорошо, что не сказали! — почти крикнул он. — А что ему надо?

— Осталось пять минут, — снова не расслышал Лемешко. Он имел в виду, что через пять минут артподготовка закончится и плоты спустят на воду.

Шумаков сошел вниз и приказал вызвать Терещенко. Трубку взял Штукаренко. Он еще тяжело дышал — только что прибежал после «прогулки» с Терещенко на берег.

— Это ты, Степан? — спросил Шумаков. — Почему дышишь, как карась на берегу?

Штукаренко не ответил — сейчас было не до разговоров о самочувствии.

- У нас все в порядке,— сказал он.
- Ну, минуты через три — с богом.
- Может, и без бога, но минуты через три.
- Ну, дуй, желаю удачи.
- Всего! — Штукаренко положил трубку.

Сигнала для начала переправы ждать не приходилось. В приказе все было обусловлено заранее. На воду спускаться надо еще до окончания артподготовки — минуты за две, за три до того, как смолкнет огонь. Немцам, уцелевшим под артиллерийским ураганом, чтобы опомниться, заменить поврежденное оружие и подготовиться к стрельбе, нужно будет время, и Терещенко сможет этим воспользоваться. Это знали не только командиры рот и взводов, но и солдаты: Шумаков требовал полностью информировать всех, кто будет переправляться, считал это главным условием успеха.

Артиллерия еще молотила вражескую передовую, а по эту сторону стены уже зашевелилась широкая живая полоса. Пока бойцы сидели кучками или стояли, тесно прижавшись один к другому возле проломов в каменной стене, наблюдая за тем, что делается по ту сторону Днепра, их почти не было видно — казалось, что их мало. Теперь, когда они бросились к ручным и станковым пулеметам, к ящикам с патронами и гранатами, заранее закрепленными за каждым, оказалось, что на берегу большое соединение. Стена пока надежно закрывала от вражеских глаз все, что делалось по эту сторону, да и вряд ли под таким обстрелом немцы имели возможность тщательно наблюдать. И все-таки солдаты двигались молча. Не только потому, что все было ясно каждому, нет, — чувствовалось особенное напряжение — молчаливое оцепенение человеческого существа перед тайной наступающей минуты, которой уже ничем не остановить и которая неотвратимо несет за собой все, что в ней притаилось.

Здесь не было трусов и ни один боец не колебался. Тех, для кого самое дорогое — собственная шкура, давно уже поглотила война. Люди, что дошли сюда и вынесли на своих натруженных плечах весь груз почти трех военных лет, уже не думали о смерти, но и им было не по себе — ведь нет человека, которому в такую минуту не было бы страшно, есть только такие, чья воля сильнее или слабее страха.

Разведчики Цыганкова выбежали из-за стены первыми. Пехота всегда шагает увереннее, если впереди идут разведчики. Кто же, как не они, открыл эту дорогу? Стало быть, идут они по ней не первый раз! Но здесь разведчики знали не больше рядового бойца — наблюдали за правым берегом лишь в бинокли, и даже сам Цыганков ни разу не переплыл Днепра. И все-таки они были разведчики.

Из-за стены выбежал, пригибаясь, Цыганков. Вслед за ним огромный Разин и шуплый Мухитдинов. В ярком свете, падавшем из-за Днепра, на прибрежном песке замаячило несколько долговязых теней. Разведчики быстро подхватили свой небольшой плотик, плюхнули его в воду; в другой заход поставили на него пулемет и оттолкнулись

от берега длинными жердями. И сейчас же из проломов в стене посыпались на берег десятки других теней, и множество маленьких плотиков с тихим плеском бултыхнулись в воду.

Штукаренко стоял на большом ящике возле самой стены и наблюдал. Он знал: какой бы сильной ни была артподготовка, она не уничтожит всех огневых средств врага и, как только закончится обстрел, враг начнет оживать. Но сейчас думалось не об этом — переправа через такую реку никогда не бывает легкой и бескровной — это ясно. Беспокоило другое — он ждал взрыва на плотине. Ждал, будто стоял с закрытыми глазами, зная, что на него замахнулись и удар вот-вот повалит его.

Огонь левобережных батарей оборвался враз, будто его обрезали ножом, и над Днепром нависла тьма и странная тишина. Это произошло настолько неожиданно, грохот взрывов, сотрясавших землю, остановился так резко, что людям, уже привыкшим к нему, показалось, будто они оглохли или очутились на морском дне, где ничего не видно и не слышно. На правом берегу в разных местах горело несколько домов, но пламя, поблескивавшее вдаль, не могло пробить густой тьмы, окутавшей все вокруг. С левого берега пожары казались маленькими далекими кострами в океане черной и непроглядной степной ночи.

Внезапная тишина и тьма поразили и Штукаренко. Напряженное ожидание, поглотившее все его существо минуту назад, исчезло. Желтый язычок одного из далеких пожаров блеснул, отразившись в воде, и лизнул какой-то одинокий плотик — уже далеко от берега. Рядом — и с правой, и с левой стороны — плыло их много, он знал, а внизу, по ту сторону стены, отчаливали все новые и новые группы. Но увидеть можно было только отдельные плотики, когда их касался этот далекий желтый язычок пламени, и лишь по нему Штукаренко определял, где все остальные.

Немая гнетущая тишина стояла несколько минут. Но вот прогремел вдалеке пушечный выстрел. Через мгновение к нему присоединились еще несколько, и разрывы опять ударили в тот самый взвоз против Хортицы, что и раньше. Уцелевшие немецкие пушки стали приходить в себя. Вражеские наблюдатели еще не заметили подразделений, которые уже приближались к середине Днепра, и не подозревали, откуда к ним подкрадывается настоящая опасность. Миновало еще несколько минут, и с берега подал голос немецкий пулемет. Он стрелял просто так, тоже еще не увидев плотов на Днепре. Но на одном из них кто-то не выдержал и ответил короткой очередью. И тут же в небо взлетела зеленая ракета, и в ее холодном свете Штукаренко увидел всю ширь озера Ленина, покрытую до самой середины множеством маленьких точек.

Увидели их сразу же и немцы. Одинокий пулемет замолк, точно захлебнулся от удивления. Тишина опять нависла над Днепром, освещенным единственной ракетой, которая медленно падала и гасла. А через минуту правый берег начал огрызаться — сперва нерешительно, потом все настойчивее — и наконец совсем ожил.

Ближе к плотине течение, должно быть, спосило сильнее, но здесь, вдали от нее, оно почти не чувствовалось, и плот пока что шел прямо на цель. Цыганков уже наметил горбатый полуостровок на самой окраине правобережной части города, который достаточно далеко врезался в реку,— на него можно высочить и с правой, и с левой стороны, в зависимости от того, где расположен ближайший вражеский пулемет. Еще два дня назад, наблюдая в шестикратный бинокль за этим мысом, Цыганков решил, что попробует высадиться как раз здесь.

После грохота артподготовки мертвая тишина угнетала. Маленький плотик, с которого не соскочишь в воду, чтобы замаскироваться, когда по тебе ударит вражеский пулемет, тоже казался беспомощным в темном море внезапной ночи. Ловкость и изобретательность, всегда выручавшие Цыганкова во время его рискованных вылазок на суше, здесь были ни к чему, и он чувствовал себя так, будто ему связали руки и ноги и приковали к этому плоту.

Разин греб тонкой доской. Опустив в воду широкий конец, он слегка поворачивал его в руках и все время подгребал, держа плот точно поперек русла. Доска, кое-как обтесанная топором с одной стороны, обдирала большие заскорузлые ладони солдата, но он не чувствовал боли и нажимал на нее изо всех своих сил.

Когда вспыхнула немецкая ракета, Цыганков оглянулся и увидел, что они вырвались слишком далеко вперед.

— А ну, легче, легче! — загремел Цыганков. — И пригнись!

— Тьфу, черт... — тихо выругался Разин. Он тяжело оступился и перевесил свой край настолько, что чуть не сорвался в воду. Цыганков косо взглянул на него, но смолчал.

Ракета сияла на фоне облачного неба, искры, словно брызги, разлетались от нее, она будто кипела, что-то сердито шипело в ней. Вся ширь Днепра сияла в слепящем свете, но Цыганков почему-то не подумал, что теперь и враг все видит и, наверно, уже обнаружил их. Мысли почему-то были заняты совсем посторонним. Сквозь внутреннее напряжение пробивалась злость на Мухитдинова, хотя раздражал его больше Разин — этот неуклюжий медведь. Мухитдинов что — Цыганков вдруг обнаружил, что имеет с ним даже много общего: старик все время думает о своих трех дочерях, а у него не выходит из головы Фрося, даже здесь, среди этого пекла. Нашел о чем сейчас думать, черт бы его побрал! Хорошо, что до сих пор не найдено способа читать чужие мысли — иначе Разин уже выдумал бы и для него какое-нибудь смешное прозвище. Вот бы подхватили такую выдумку полковые трепачи!

Ракета упала в воду. Вокруг опять стало совсем темно.

— Ну-ка, Мухитдинов, помахай ты, — скомандовал Цыганков и сурово добавил: — Разин, к пулемету!

Мухитдинов переполз на правую сторону плота и осторожно взял весло. Разин поскользнулся опять и чуть не упал за борт второй раз.

— Тьфу! — плюнул в сердцах Цыганков. — С тобою немца не надо, сам потопишь... — И пренебрежительно добавил: — Стенька...

Разин смолчал. Он мог бы, конечно, сказать, что если бы послушался Цыганкова и не прибил бортника вокруг всего плота, то не только он, но и ящик с гранатами полетел бы уже давно в воду. Сам-то, наверно, еще как-нибудь вскарабкался бы на плот, а гранаты — на дно. Пусть бы ты высаживался на берег с теми двумя лимонками, что висят у тебя на поясе. А то ведь еще запрещал бортник, говорил, что только задерживать будет на плоту воду, если вдруг наклонится и зачерпнет. Но Разин уже хорошо знал, как оно получается, если на плоту не за что зацепиться ногой: плывал уже трое суток по Амуру на льдине — и харчи потерял, и одежду, и сам искупался тоже. Он считал, что Цыганков потому и ругается, что оказался неправым.

Вдруг в небо взлетело сразу несколько ракет, и в то же мгновение мины с одинаково низким свистом бултыхнулись в воду. Вначале их не было слышно, потом они взорвались где-то на глубине и взметнули вверх высокие фонтаны. «Ага, очухались!» — подумал Цыганков без особенной тревоги: он и раньше не думал, что вот так они и доплывут до вражеского берега и выйдут, словно на прогулке, чистые и сухие. Цыганков оглянулся и увидел позади себя сотни темных точек на ярко освещенной, слепящей воде — они медленно двигались вперед, и передние уже были ближе к правому берегу, чем к левому.

— А ну, налегай! — крикнул он, вскочил на ноги и стал помогать Мухитдинову другим веслом, тоже вытесанным из доски.

Мины начали рваться все чаще и ближе, брызги от фонтанов достигали передних плотов. Теперь уже не было смысла прятаться, ракеты освещали Днепр от берега до берега, оставалось лишь сильнее налегать на весла, пока немцы еще по-настоящему не отгородились стеной огня.

Хотя артиллерия, как видно, основательно потолкла немцев, опомнились они довольно быстро, и, как ни удивительно, орудия, уцелевшие после удара, вели себя не так, как предполагал Шумаков. Каждый день, приезжая в полк, комдив говорил бойцам, что вся выгода переправы мелкими группами состоит как раз в том, что враг будет вынужден распылить огонь: сотни плотиков, разбросанных по озеру Ленина, — это тебе не понтонная переправа, по которой можно бить словно на полигоне во время учебной стрельбы.

Теперь Цыганков видел, что надежды Шумакова не оправдались. Немцы совсем и не собирались бить по плотам, они создали огневую завесу, равняя огонь по одной линии вдоль всего озера. Они хорошо понимали, что плоты должны пройти сквозь полосу разрывов и по-неvole сами себя подведут под удары.

Линия вражеских разрывов становилась все четче, все более выраженной и уверенной. Теперь уже сюда били не только одиночные минометы, но и орудия уцелевших батарей. Их было еще не очень много, но с каждой минутой становилось больше. Нетрудно представить себе, с какой лихорадочной поспешностью немцы спасали сейчас

из-под земляных завалов и разрушенных укрытий то, что можно было заставить стрелять.

Плот уже был недалеко от полосы немецкого огня, когда Цыганков заметил, что вблизи никого нет — задние отстали — и впереди тоже плотов не видно... А немецкая завеса все густела. Разрываясь на глубине, снаряды поднимали все больше высоких фонтанов, и они выстраивались все плотнее один к другому, создавая смертельную огненную стену.

Вода падала вниз с неистовым грохотом; разрываясь под водой, снаряды бешено ревели — здесь нельзя было услышать ни стопа, ни крика. Несколько маленьких раций — у двух командиров батальонов и нескольких командиров рот, да еще одна на берегу — это все, что связывало плавучую армаду на воде со штабом полка. Но грохот стоял такой, что и в наушниках ничего не было слышно.

Чем ближе они подплывали к огненной стене, тем больше Цыганков начинал волноваться. Его сбивала с толку невозможность сделать какой-нибудь маневр: сиди и жди на этом маленьком плотике, пока тебя накроет!

Надо было отважиться, броситься вперед и пробить лбом эту стену. Оказаться на той стороне, если, конечно, не накроет в самом пекле...

Цыганков решил прорваться. Он привязал конец веревки к поясу и бросил ее Мухитдинову. Тот быстро обернул вокруг себя и швырнул конец Разину: если заденет осколком, удержит товарищ, потащит, как на буксире.

Веревка говорила всем троим больше, чем приказ. Прорваться — значит прорваться, каждому ясно. Разин быстро поднялся, схватил свой кол и тоже налег изо всей силы, помогая Мухитдинову и Цыганкову. Здесь нечего было пригибаться или припадать к плоту — снаряды рвались на глубине и опасность подстерегала не сверху, а снизу.

Тонны ледяной воды, перемешанные с железом и огнем, упали на их головы. Цыганков попробовал вздохнуть, но почувствовал, что захлебывается, будто нырнул в глубину и сразу задержал дыхание. Он нажимал на весло, и мысли пролетали в голове беспорядочно, молниеносно. Фросину телеграмму надо было запрятать в карман гимнастерки — в шинели еще размокнет. А вот ящик с гранатами не привязал! Ни черта, зацепится за борт, не сдвинется в воду... Все-таки Разин был прав с этой планкой...

Вдруг его сильно рвануло назад. Хорошо, что всем телом он как раз подался вперед, налегая на весло, и это его удержало на ногах, не полетел в воду. Веревка не оборвалась, но сильно тянула — кого-то все-таки свалило в Днепр, болтается на буксире... Он налег еще сильнее на весло и продохнул, будто вынырнул неожиданно из глубины на поверхность. Первое, что он увидел, — Мухитдинова нет. Разин тоже озирался, веревка тащила и его. Еще с минуту они неистово гребли вдвоем и наконец увидели: стена осталась позади.

Не сговариваясь, оба положили весла и бросились к Мухитдинову. Старик появился из-под воды и уцепился за плот одной рукой. Ага, жив! Значит, долго жить будешь, черт старый! Они подхватили его

и вытащили на мокрые доски. Мухитдинов тяжело застонал и взялся рукой за сапог. Разин помог ему разуться и достал из-за пазухи индивидуальный пакет.

— Перевяжи! — крикнул он над самым ухом.

Они медленно покачивались на воде, а вокруг все ревело и вода поднималась высокой стеной уже позади. И только теперь Цыганков заметил несколько точек и выше, и далеко внизу. Это были плоты других разведчиков, которые пробились сквозь полосу вражеского огня раньше, чем он, и быстро приближались к берегу.

Из блиндажа выбежал Лемешко.

— Товарищ комдив, на проводе майор Терещенко.

— Что ему? — утомленно спросил Шумаков.

— Просит оттянуть огоны!

Ну, ясно. Сквозь такую завесу проникнет не больше половины, а потом немцы перенесут огонь ближе к себе и тех, кто уцелел, заставят прорываться еще раз.

Шумаков быстро спустился в блиндаж и взял трубку.

— Что, приближаетесь?

— Слишком густое сито... Раза три проедит, — вздохнул Терещенко, — останется одна пена...

— Да, не весело, — вздохнул и Шумаков и подумал о том, что распылить немецкий огонь до конца все-таки не удалось.

— Еще разок стукнуть бы по ним, а? — Майор не настаивал, он скорее просил, чем советовал.

— Теперь не накроешь. Позиции сменили, разве не слышите сами?

— Грустно как-то, когда поддержки нет...

— Грустно? — спросил Шумаков. — Повеселеете, не тужите.

— Потери будут большие.

Последнюю фразу Шумаков уже не слышал. Он думал о батальоне Сомы. Теперь действительно настала его очередь. Когда кот бросается сразу на двух мышей, чаще всего он остается без завтрака.

— Хорошо. Что-нибудь придумаем.

— Благодарю.

В мыслях Шумаков уже был в понтонном батальоне, отдавал Сому приказ, а вслух спросил:

— Штукаренко далеко?

— Вот здесь, — ответил Терещенко.

Мембрана зашуршала: он передавал трубку Штукаренко.

— Слушай, Степан, — сразу заговорил Шумаков. — Ты давай сюда, там тебе уже нечего делать. Я сейчас к Сому. Ясно? К Сому, — он проскандировал фамилию командира понтонного батальона, чтобы Штукаренко понял не только, где он будет, но и какие меры собираются принять.

— Что, сезон на сомов? — переспросил Штукаренко.

— Точно! — обрадовался Шумаков. Его поняли.

— Ясно! — ответил Стукаренко,

— Ну, привет! — Трубка сразу же упала на место.

К Сому еще линии не было — он до сих пор стоял со своими машинами в переулке. Пришлось послать офицеров связи с приказом немедленно начинать наводить переправу. Теперь оставалось только дать распоряжение Лемешко о том, чтобы он подтянул левофланговый полк к району будущей переправы на Хортицу.

Пока Шумаков разговаривал с Лемешко, в блиндаж вскочил Голобородько.

— Товарищ комдив, генерал-лейтенант Зотов возле переправы!

— Ого! Поехали, Голобородько. Прихватите термос.

Они быстро шли ходом сообщения — Шумаков впереди, а Голобородько сзади. Осколки залетали даже сюда. Пока добежали до машины, Шумаков перебрал десяток причин, заставивших Зотова собственной персоной появиться на переправе. Первая — амбиция: настоял на том, чтобы наводить, так и лягу костями вместе с переправой. Вторая — расчет: весь огонь выше плотины, значит, мост можно навести как по маслу, вот и судите, кто был прав! Черта пухлого навел бы, если бы не эти антинаучные плотики!

Покотило гнал машину, она резко кренилась на каждом повороте и высоко подпрыгивала, когда колесо налетало на комья мерзлой земли. В сполохах разрывов видны были напряженный затылок шофера и растерянное лицо Голобородько, который выделял дикие пируэты, стараясь спасти термос с чаем, когда эмку бросало на очередном ухабе. Шумаков не приказывал гнать. Покотило понимал сам. Снаряды уже опять рвались вниз, — значит, Сом спускает понтоны на воду. Ну, надо полагать, сито наверху теперь поредет, Терещенко легче вздохнет...

Машина Зотова стояла в переулке, но самого генерала не было. Спустившись вниз, Шумаков увидел его на крайнем понтоне, возле самой воды. Небо сняло вокруг, как днем. Рядом с генералом стоял водолаз в легком резиновом костюме. Пока Шумаков добежал до Зотова, водолаз уже успел спуститься в воду.

Снаряды рвались впереди и сзади, в самый мост пока еще ни один не попал. И не удивительно: немцы вынуждены были сменить огневую позицию, теперь приходилось заново пристреливаться, а это требует времени. С Хортицы ударила прямой наводкой одна пушка, но ее сразу же сбили. Как на дуэли: немецкая бьет в лоб по переправе, а наша — прямой наводкой по ней. Пушка успела выпустить лишь два снаряда.

Зотов стоял на самом краю и кричал что-то в ухо Сому; капитан отбежал и вскочил на понтон, только что поданный к воде, его как раз присоединяли к понтону, на котором стоял генерал. Несколько бойцов привязывали к нему трос, чтобы подать конец водолазу: течение сносило, приходилось цепляться за скалу на дне.

Вдруг впереди разорвался снаряд. Сом покачнулся и чуть не упал в воду. Боец подхватил его и оттащил назад. Трос вырвался из рук бойца и медленно раскручивался, а понтон начало сносить влево.

Зотов подбежал и схватил трос, стал тянуть к себе. Шумаков был рядом и тоже схватился за трос. Снаряд ударил позади, чуть ниже моста, обдав их водой, словно они стояли на палубе, а за бортом бушевал шторм.

— Вам здесь не место! — крикнул Шумаков над самым ухом Зотова. — Прошу в укрытие.

Генерал не ответил, — может быть, не расслышал, а может, притворился, будто не слышит. Они продолжали изо всей силы натягивать трос, другой конец которого водолаз уже закрепил на дне, обвязав им гранитную глыбу. Понтон был почти на месте, оставалось еще немного подтянуть.

— Водолаза представьте на Героя! — крикнул, обернувшись к Шумакову, Зотов. — Орел!

— Слушаюсь. Прошу в укрытие! — еще раз повторил Шумаков.

Теперь уже понтон стоял на месте и сверху подавали новый. Надо было только закрепить его, но с этим могли справиться без генерала.

— Пошли! — ответил Зотов и передал конец троса бойцу.

Немцы начали бить сильнее. Снаряды густо ложились вокруг, в самый мост еще не угодил ни один, но осколки с лютым свистом кромсали воздух. Зотов побежал вперед. Шумаков спешил следом. Свет ракет падал на округлую, массивную спину генерала. «Черт возьми! — усмехнулся Шумаков. — Все-таки старик не из пугливых!» Они добежали до укрытия, выкопанного еще, наверно, немцами. Из узкой щели вылезал наверх Сом. Голова его была наскоро обвязана белым. Стройный и смуглый, он был похож на индуса, надевшего чалму.

— Ты куда? — крикнул Зотов.

— Туда! — махнул рукой Сом.

— Сможешь?

— Смогу!

— Ну, давай, — махнул вдогонку и Зотов. — Или с крестом, или под крестом! — Он тяжело перевалил свое тело через бруствер и исчез в узкой щели.

Снаряды рвались один за другим. Вокруг все гудело и тряслось, берег мелко дрожал и, казалось, все ниже оседал в Днепр. Уже, наверно, начало рассветать, но точно сказать было трудно — небо пылало, и рассвет таял, не в силах пробиться сквозь завесу боя.

— Я буду выше! — крикнул Шумаков Зотову. — Может, там уже подтянули связи!

— Давай, — ответил Зотов. — Не забудь представить водолаза. И Сому тоже.

Ага! И Сом. Шумаков вспомнил, как Зотов сегодня бесился и грозил Сому. Что же, человек — сложная конструкция...

Шумаков карабкался вверх по изрытому воронками взвозу. Впереди два санитары вели под руки раненого, чуть правее другой раненый шел сам, опираясь на посох, как библейский пастырь. Третий сидел в воронке, наверно, решил отдохнуть. Санитары, увидев его, на мгновение остановились.

— Давай, браток, отсюда. Добьет, гад!

Раненый медленно поднялся и заковылял дальше.

Канонада становилась ураганной. Огонь явно передвигался с верхнего бьефа сюда. Шумаков оглянулся. Вокруг моста теперь рвалось значительно больше снарядов. Что же, Терещенко, правда, стало легче — это факт. Он подумал опять о Зотове, но уже без всякой злобы. Если бы не Зотов, Терещенко потерял бы три четверти личного состава за эту ночь!

Навстречу бежал Голобородько.

— Товарищ комдив, с полками есть связи!

— Где ваш термос?

— В машине. Сейчас принесу.

Они кричали изо всей силы, но грохот стоял такой, что трудно было что-нибудь разобрать. Голобородько побежал переулком туда, где ждал с машиной Покотило. Шумаков свернул за угол. Под стеной, прямо на улице, сидело несколько связистов над своими аппаратами. Один протянул ему трубку, Шумаков закрыл ладонью левое ухо, а правым услышал голос Лемешко:

— Зацепились! Передайте комдиву, что зацепились.

— Это я, Лемешко. Говорите ясней!

— Простите, товарищ комдив. Разрешите доложить?

— Да докладывайте, черт бы вас побрал!

— Передовая рота триста восемьдесят четвертого полка высади-
лась на северной окраине.

— Значит, зацепились?! — радостно воскликнул Шумаков.

— Так точно, товарищ комдив!

— Ну, я сейчас буду.

Шумаков отдал трубку телефонисту, быстро пошел переулком. Он сейчас любил даже подполковника Лемешко.

Навстречу бежал Голобородько, держа перед собой термос.

— Некогда, некогда, давай на КП!

— Я уже налил, выпейте, — Голобородько протянул ему пластмассовый стаканчик.

Шумаков на миг остановился и взял из рук адъютанта чай. Пить было нельзя — такой горячий. Шумаков хотел было выплеснуть, но Голобородько схватил его за руку. Пришлось подчиниться. Он стоял среди переулка и дул в стаканчик пересохшими губами.

Вдруг из-за угла выбежал кто-то с забинтованной головой. Шумаков сразу узнал Сома. Капитан что-то кричал, но расслышать было невозможно. Наконец он подбежал.

— Генерал убит! Прямое попадание в укрытие.

— Так... — Шумаков машинально протянул стаканчик Голобородько и побежал назад к взвозу. Сом и Голобородько бежали следом.

Все трое свернули за угол. На самой вершине взвоза вспыхнул взрыв. Что-то сильно ударило по ноге — Шумаков остановился, тяжело осел на левое колено. Из разодранного голенища текла кровь.

— Машину! Давай машину! — услышал он голос Сома.

Пулемет, не умолкая, строчил с вершины того самого полуострова, куда Разин направлял плот, но пули пролетали над головой — плот уже был слишком близко к берегу. Разин неистово греб, осталось еще метров десять воды, надо было скорее их загрести под себя, пока немцы не перетащили пулемет. Вражеская артиллерия сюда почти совсем не была, десант приближался к берегу, — видимо, немцы боялись, что снаряды будут залетать в окопы и перебьют своих.

В нескольких метрах от берега Цыганков и Разин прыгнули в воду. Раненый Мухитдинов остался возле пулемета. Справа и слева бойцы соскакивали с плотов и тяжело карабкались наверх, вслед за Цыганковым и Разиным.

Небо уже совсем посерело, пламя, вырывавшееся из окоп крайнего дома, стало не таким ярким и зловеще покраснело. Хорошо, что горит как раз этот дом, горит внутри, из его окон было бы удобнее всего обстреливать бойцов, подползавших снизу к вражеским окопам и ждавших только сигнала, чтобы броситься в рукопашный бой.

Немцы совсем притихли, будто в окопах не осталось ни души. Но вдруг, как по команде, перед брустверами разорвалось несколько гранат. Мухитдинов услышал пронзительные крики нескольких раненых. В это время Разин быстро поднялся и с удивительной для его массивной фигуры ловкостью прыгнул через бруствер в окоп.

Он тяжело упал и тут же почувствовал, как на него кто-то навалился. Цыганков, поднявшийся над бруствером, чтобы тоже прыгнуть в окоп, увидел, как немец, повисший на спине Разина, замаялся финкой. Старшина нажал спуск своего автомата, но прозвучала не очередь, а лишь одинокий выстрел. Немец, в которого он стрелял, выпустил из рук финку и тяжело повалился на Разина.

Другой немец, прижавшийся к стене окопа, когда на Разина навалился его товарищ, понял, что у Цыганкова заклинило автомат. Он выскочил из своего закутка и схватил старшину за ноги. Цыганков не устоял на бруствере и полетел вниз.

Из хода сообщения спешили еще двое немцев с автоматами наготове, но тот, что схватил Цыганкова, был сверху, и они стрелять не могли.

Разин, сбросивший с себя убитого немца, увидел двоих с автоматами и полоснул по ним короткой очередью. Один повалился мертвым, а другой, наверно раненный в живот, пронзительно закричал. Он откинулся назад, на стену, и, выпустив из рук автомат, стоял и кричал — безудержно и дико. От его крика стало жутко даже Разину, а немец, оседлавший Цыганкова, вдруг отпустил его, — может, как раз из-за этого крика.

Разин срезал и его автоматной очередью. С трудом поднялся Цыганков. Страшно болела голова: немец успел его дважды ударить автоматом. Пока он, опершись о стенку, приходил в себя, Разин проскочил в ход сообщения и заглянул за угол. Глубокий, разваленный в нескольких местах снарядами ров был совсем пуст. Разин

приподнялся и увидел двух бойцов своего взвода. Они лежали позади соседнего окопа и стреляли в сторону горевшего дома.

Разин бегом вернулся к Цыганкову, собираясь ему помочь, но тот уже стоял на бруствере и подавал знаки Мухитдинову.

— Да у него же нога ранена, один не дотащит! — крикнул Разин, понимая, что Цыганкову нужен пулемет.

— Давай ты! — Цыганков показал рукой на плот.

Разин скатился с бруствера и, пригибаясь, побежал к Мухитдинову. Уже совсем рассвело, и, оглянувшись, он увидел, что бой идет за первой линией окопов.

— Жив? — окликнул Разин Мухитдинова. — А ну, поддай! — Он взвалил себе на плечи пулемет и, придерживая его одной рукой, схватил в другую железный ящик с лентами.

Мухитдинов тоже поднялся, но сразу же застонал.

— Без тебя обойдемся! — крикнул Разин. — Жди санинструктора.

Он зашагал, слегка приседая под тяжестью пулемета. Потом поставил его на колеса, покатил вверх, взбираясь по крутому склону.

Высунувшись из окопа, Цыганков выбирал место для пулемета. Когда позади появился Разин, он уже решил: лучше всего пробраться в дом, соседний с тем, что горел. Из его окон, со второго этажа, можно будет простреливать большую площадь в тылу вражеских окопов, где немцы, уцелевшие во время рукопашной, пытались закрепиться.

— Давай, за сараями! — сказал Цыганков и, взяв у Разина ящик с лентами, побежал.

Тяжело дыша, побежал и Разин. В этот миг Цыганков увидел: в окне, которое он избрал для своего пулемета, запрыгал белый огонек, и тут же под ноги ударила пулеметная очередь; Цыганков метнулся в сторону и чуть не сбил Разина, который волочил за собой пулемет.

Они припали спинами к стене и стояли, раздумывая: что делать? Вдруг впереди послышалось чье-то хриплое сопение и неровные шаги: кто-то ковылял поблизости. Разин осторожно выглянул за угол и увидел Мухитдинова, — опираясь одной рукой на автомат и тяжело припадая на левую ногу, он шел, почти не пригибаясь.

— Ты куда? — крикнул Разин. — Ложись!

Мухитдинов припал к земле и теперь лежал как раз на том месте, куда только что бил из окна немецкий пулемет. Но пулемет молчал.

Мухитдинов с минуту полежал и отполз назад. Цыганков пристально следил за окном, но огонек больше там не вспыхивал. Вдруг в окне появилось женское лицо — Цыганков ясно видел: женщина с седой головой, лет под пятьдесят.

«Вот кто стрелял! Сволочь!» — мелькнуло в голове. Но что-то сразу подсказало: не может этого быть!

Цыганков поднял руку, приказывая Разину ждать, а сам побежал через улицу к подъезду. Окно молчало, в переулке несколько бойцов лежали за каменной глыбой и вели огонь вдоль улицы, ко-

торуя перебежал старшина. Рванув дверь, Цыганков дал длинную очередь в подъезд, потом заглянул туда — внутри никого не было.

Цыганков подал знак своим. Улицу перебежал Разин. Пулемет наверху молчал. Теперь от сарая отделился и Мухитдинов. Он шел медленно, все сильнее припадая на раненую ногу. Разин стоял наготове со своим автоматом, Цыганков не спускал глаз с окна наверху. Но вражеский пулемет не подал голоса и тогда, когда Мухитдинов, ковыляя, медленно переходил улицу.

Поодиночке, в том же порядке, что и раньше, они поднялись по лестнице на второй этаж. Цыганков приоткрыл дверь, за которой, по его расчетам, было это окно. Он увидел на подоконнике ручной пулемет, а на полу мертвого немца. Женщина стояла у противоположной стены.

— Разин! — крикнул Цыганков, не заметив, что тот стоит рядом. — Осмотри нижние комнаты. Скорей!

Разин, тяжело стуча сапогами, сбегал вниз по деревянной лестнице. Цыганков смотрел через полуоткрытую дверь на женщину.

Она стояла в странном оцепенении и, не отрываясь, смотрела мимо мертвого немца в окно. По ее окаменевшему бледному лицу текли слезы. «Почему она плачет? — удивился Цыганков. — Ведь она знает, что в доме свои, не может не знать».

Разин крикнул снизу:

— Никого нет!

— Давай сюда! — ответил ему Цыганков и приказал Мухитдинову: — Следи за дверями.

Разин вошел в комнату вслед за Цыганковым. Ногой отодвинул мертвого немца от окна, сбросил на пол его пулемет и поставил на подоконник свой. Цыганков осторожно выглянул на улицу. Отсюда был виден голубой лоскут Днепра, просвечивавший между домами.

— Следи за переулком. Они будут отступать там.

Разин стал налаживать пулемет. Цыганков повернулся лицом к женщине — она не двигалась, слезы по-прежнему текли по щекам. Но лицо уже не казалось окаменевшим. Щеки дрожали, губы нервно дергались, словно она вот-вот готова была разрыдаться в голос.

Цыганков взглянул на нее, потом посмотрел на стену против окна: там не было следов от пуль. Застекленные рамки с фотоснимками были целы.

— Откуда по нему стреляли? — спросил удивленно.

Женщина только качнула головой, не в силах вымолвить слово. И Цыганков понял:

— Это вы его?

Женщина опять слегка кивнула, губы ее задрожали сильнее.

— Чем вы его?

— Он послал меня вниз... за вином... А когда я подошла, он целился в вас... — чуть слышно ответила она.

Цыганков взглянул на убитого — рядом с ним лежала неопознанная бутылка.

— И не разбилась! — усмехнулся Разин.

На лице женщины мелькнула легкая улыбка, но слезы полились еще сильнее.

— Как ваша фамилия? — спросил Цыганков. Он хотел запомнить ее, понимая, что эта женщина их спасла.

— Клавдия Харитоновна, — тихо ответила она.

— А фамилия как? — переспросил Цыганков.

— Клавдия Харитоновна... — еще тише сказала она, словно забыв свою фамилию.

— Товарищ старшина! — позвал Разин. — Появились!

Цыганков увидел на углу переулка четырех немцев. Они устанавливали станковый пулемет в сторону Днепра.

— Идите вниз, — сказал он Клавдии Харитоновне. — Здесь опасно. — Он не отрывал взгляда от улицы, но чувствовал, что женщина не ушла. — Режь! — крикнул он Разину. Долгая очередь наполнила комнату оглушительным грохотом.

— Готово!.. — радостно воскликнул Разин. — Все четверо!

Цыганков опять выглянул — немцы лежали вповалку на своем пулемете. Наверно, они и понять не успели, откуда к ним подкралась смерть.

— Молодец, Разин! — Цыганков положил ему руку на плечо. — Следи внимательно.

Только теперь Клавдия Харитоновна разрыдалась. И казалось, плач этот не был ни проявлением радости, ни голосом отчаяния, а лишь взрывом огромного напряжения, которое женщина сдерживала долгие годы и уже сдерживать не могла. Худенькие плечи судорожно вздрагивали, голова тряслась, и сквозь глухие всхлипы еле можно было разобрать: «Свои... свои...»

15

Шумаков полулежал на заднем сиденье своей машины, ее подбрасывало и раскачивало. Покотило мчал темными переулками как одержимый, и колеса с разгона насакивали то на кусок кирпича, то на ребро тротуара, когда приходилось огнуть воронку или небольшой завал. Каждый толчок больно отзывался в раненой ноге, и Шумаков всякий раз прикусывал губу, чтобы не застонать.

Голова комдива лежала низко, сквозь окно машины он ничего не мог увидеть. Но почувствовал неладное: до блиндажа рукой подать, а они едут долго.

— Стой! — крикнул Шумаков. — Куда едете?

— В медсанбат, товарищ комдив. — Голобородько перегнулся с переднего сиденья.

— Остановите машину! — Шумаков попробовал подняться. Крикнул он так отчаянно, что Покотило резко затормозил. — Поворачивай на КП.

— Товарищ комдив... — попробовал возразить Голобородько, но осекся — даже в темноте он разглядел в глазах Шумакова такой гнев, что возражать не решился.

Голобородько коснулся руки Покотило, словно санкционируя выполнение приказа комдива. С тех пор как Шумакова ранило, Покотило поглядывал уже только на адъютанта, словно рана комдива лишила его права распоряжаться собой.

— Ишь, песьи головы!.. — попробовал Шумаков криво усмехнуться. — Думаете, с одной ногой комдив уже не комдив?

Покотило быстро развернул машину и поехал к ходу сообщения, который вел на командный пункт.

Нет, не следовало лезть сегодня в пекло! Дело комдива — управлять дивизией, а не наводить переправы и сознательно подставлять голову под огонь. Под Уэской — другое дело. Там он командовал батальоном, и все зависело от того, кто первым поднимется и крикнет: «Вперед!» И если бы он не поднялся, батальон остался бы лежать в этой проклятой долине, а фашисты перестреляли бы сверху всех до одного, как зайцев. Там он обязан был первым подняться, хотя бы для того, чтобы показать этим проклятым анархистам, что такое коммунист и советский человек.

А зачем было лезть здесь? Чтобы в разгаре боев оставить дивизию без командира? Или для того, чтобы попасть в тыловой госпиталь, откуда в свою дивизию не вернешься вообще?

После того как он прошел с нею от Ростова до Сталинграда, а потом весь путь от Волги до Днепра, не хотелось расставаться. Слишком много связано и с ее делами, и с ее людьми.

Только не в санбат! Наставать на этом до конца, воспользоваться даже своей властью командира дивизии. Как и куда угодно, только не в санбат. Оттуда одна дорога — в тыл. И тогда ищи-свищи свою дивизию!

Когда его внесли в блиндаж, Штукаренко накинулся на Голобородько:

— Вы что — в своем уме? Почему сюда привезли?

Голобородько вытянулся и виновато замигал белесыми ресницами.

— Товарищ полковник, прошу не кричать, — спокойно, но сурово заметил Шумаков. — Докладывайте обстановку.

— Послушай, Иван Семенович... — начал Штукаренко, но Шумаков не дал ему договорить:

— Голобородько, вызовите врача.

— Слушаюсь! — щелкнул каблуками адъютант и выбежал.

— Обстановку, — тихо повторил Шумаков в сторону подполковника Лемешко. Он прилег на диван. Штукаренко подложил ему под голову свой жилет из кроличьего меха. — Благодарю.

Лемешко взял карту и наклонился, чтобы расстелить ее на диване перед комдивом. Шумаков увидел жиденькие прядки волос, похожие на высушенную траву, — свернутые в спираль, они кое-как прикрывали лысину начальника штаба. «Когда это он ухитряется?» — усмехнулся Шумаков. Ногу начало ломить до самого бедра, напрягся какой-то нерв и все время дергался, словно настойчиво напоминал о своем существовании.

Взглянув на карту, Шумаков забыл и о своей ноге, и о Лемешко. Черт с ними, с его противными прядками: за действиями частей следит с полным знанием дела, а это главное. Шумаков дал нужные распоряжения и приказал переправить еще один батальон из полка Терещенко на правый берег. Важно подбросить побольше противотанковых средств в дома, которые уже удалось там захватить.

Лемешко вышел в тесную каморку, где ждали офицеры связи.
— Ну, теперь немножко отдохни,— сказал Штукаренко.

— И надо же было схватить осколок в такой момент! — с досадой крикнул Шумаков и виновато усмехнулся. — Ты только меня не подведи,— он положил руку на колено Штукаренко. — Как-нибудь на месте вырежут, зашьют — и делу конец. — Шумаков шутил, но в действительности просил не шутя.

— Можешь на меня положиться,— успокоил тот Шумакова. — Но глупостей от меня все-таки не жди.

Они мирно переговаривались, но думали о разном. Появление танков на правом берегу, по мнению Штукаренко, в какой-то мере объясняло, почему немцы до сих пор не взорвали плотину. Враг не терял надежды ликвидировать плацдарм. Все-таки восемь дивизий, закопавшиеся в плавнях, для немцев теперь много значили.

Голобородько привел врача очень быстро. Он не поехал в медсанбат, а бросился в штаб батальона, который как раз подтянулся к переправе.

Рана оказалась более серьезной, чем Шумаков думал. Осколок не задел кости, но застрял непосредственно около нее, и его надо было удалить как можно быстрее.

Врач пошевелил своими моржовыми усами.

— Поедем в медсанбат,— он говорил густым басом и старался держаться на расстоянии, чтобы Шумаков не догадался, что он попивает спирт.

— Никуда я не поеду.

— Поедете,— сурово сказал врач и стал складывать свои инструменты.

— Ну вот что,— сказал Шумаков,— вырезайте из меня котлеты здесь — и конец делу.

— Я не мясник,— обиделся врач, и кончики его усоз угрожающе зашевелились.

— Я вам приказываю! — начал сердиться Шумаков.

— Раненым приказываю я,— сказал врач. — Помогите полковнику одеться,— он строго посмотрел на Голобородько.

— Поступайте, вы делайте свое дело, а я буду делать свое,— в голосе Шумакова послышались нотки примирения.

Но врач рассердился не на шутку.

— Я кому приказал! — крикнул он Голобородько. Сердито схватил свою сумку и выбежал, хлопнув дверью.

— С ума съехал... — застонал Шумаков ему вслед.

Штукаренко вышел и догнал врача.

— По-вашему, это серьезно? — спросил он.

— А по-вашему, кусок железа в мясе — это шутка? — огрызнулся врач. — Был бы он рядовым, давно бы лежал на операционном столе. А большое начальство само командует. Ломается, пока столбняк его не ошарашит или гангрена...

Что же, врач прав. Говорит грубовато, и спиртом от него несет, но дело знает. Потому и сердится, что не раз видел, как иногда человек сдуру гибнет.

Штукаренко вернулся в блиндаж.

— Что, продал меня эскулапу? — глянул на него исподлобья Шумаков.

— Надо ехать. — Штукаренко взял шинель из рук Голобородько. — Ничего не поделаешь. Хуже будет, если он доложит командующему, а не я.

Шумаков поднялся и сел. То, что сказал Штукаренко, звучало убедительно, хотя, по существу, было катастрофой.

— Ну, дай пять! — Шумаков пожал ему руку и, сев на доску от снарядного ящика, которую обеими руками с каждого конца держали солдаты, обнял их за шеи. Когда-то еще в детстве он любил, чтобы его так носили мама и старшая сестра. Сейчас он вспомнил об этом и улыбнулся всем на прощание.

— Когда будете переезжать вперед, пусть Приходько перевезет и мои вещи на новое место.

— Все будет в порядке, — успокоил его Штукаренко.

Ход сообщения не вмещал трех человек в ряд. Пришлось нести Шумакова боком. Сидя на доске и держась за шеи бойцов, он думал о Штукаренко. Должность комиссара можно было упразднить — приказ есть приказ. А дружба двоих людей, умеющих делить ответственность в бою, оставалась.

16

Надо было на что-то решиться. Силы человеческие имеют свой предел, и Харкевич знал: если еще немного вот так повисеть на стене, опираясь на один крюк ногой, а в другой вцепившись руками, станет все безразлично — и тогда конец. Сорвешься вниз или в беспомощности совершишь что-нибудь такое, чего нельзя делать. Усталость ломает даже сталь — он это знал.

Того, что происходило возле плотины, он не мог понять. Совершается что-то важное — это было ясно, но ждать развязки не хватало сил.

Амирадзе висел рядом, прижавшись к нему. На дворе уже начало светать, и в скупом раннем свете проступало его лицо — темное и худое. Глаза у него сидели глубоко, мерцали, будто из глубины колодца, над которым он висел. Щеки запали еще сильнее, на лице, казалось, остался один нос. Тонкий, острый, как клюв, с горбинкой посредине и впадиной между бровями.

Теперь, когда весь огонь переметнулся на другой конец плотины, здесь стало тише. Только вздрагивала плотина сильнее, будто вода в верхнем бьефе была одним с нею массивом. Каждый разрыв снаряда в озере Ленина отзывался и в ней.

— Надо что-то делать, — сказал Харкевич.

— Я вылезу, — сразу ответил Амирадзе, словно давно ждал именно этих слов и заранее все обдумал.

— Здесь все равно конец, — добавил Харкевич, хоть и знал, что Амирадзе понимает его. — Давай. Только смотри не стреляй.

Амирадзе полез наверх. Он стал на край толстой стены и выглянул. Харкевич видел, как он осторожно озирался, потом спустился на карниз и исчез.

Что будет, если немцы обнаружат их на плотине? Включат немедленно рубильник или попробуют ликвидировать опасность, как тогда, когда обнаружили бойцов Рудя?

Если бы не эта проклятая граната с плотины, все, может быть, повернулось бы иначе. Немцы, выйдя за дровами, никого не заметили, это было ясно по их поведению, по тому, как беззаботно они ржали возле штабелей с дровами, будто у себя в Баварии за пивом. Кто же бросил сверху эту проклятую гранату, и главное — зачем?

Голова его слегка туманилась, хотелось спать. Заснуть над пропастью — смерть. Он знал это, но ничего с собой поделывать не мог. Словно шофер, сидящий за рулем целые сутки. Знает: стоит только закрыть глаза — и авария, но бороться с усталостью нет сил. Харкевич расстегнул пояс, пропустил пряжку через крюк и, тесно затянув другой конец, повис на ремне. Боже, почему он этого не сделал раньше? Сколько раз видел, как электрики висят на столбах, привязанные поясами!

Тело обмякло, по нему поплыла сладкая истома. Сон еще сильнее налег, с ним уже нельзя было бороться. Наверно, то же самое случилось с шофером автобуса, когда они с Ксенией в тридцать восьмом ездил в Гурзуф. Счастье, что автобус, поворачивая, ткнулся радиатором в кусты, разросшиеся по обочине, и стал. Шофер так и не проснулся: когда пассажиры в тревоге обступили его, он, склонившись на руль, сладко сопел.

Вообще в то лето везло. Маме стало легче после всего, что она пережила, потеряв мужа. Ксения чувствовала себя на седьмом небе — заявление в ЦК комсомола, которое фактически написала она сама, сделало свое дело, ему даже предложили напечатать какое-то стихотворение. Но стихи он писал не для того, чтобы печатать. А вообще жаль, что отказался, хотя бы назло Рудю стоило одно опубликовать.

Да, в то лето везло! Окна из комнаты выходили прямо на море. Ксения купалась с утра до вечера, коса у нее совсем выгорела и стала почти седой, а тело так потемнело, что Ксению трудно было узнать. Светились только глаза, — голубые и немного лукавые — хитрющие глаза!..

Амирадзе перепугался насмерть, когда увидел, что Харкевич повис над пропастью, словно неживой, зацепившись одной рукой за крюк, а другую свесив вдоль тела, как плеть. Он не знал, что тот привязан поясом. Амирадзе осторожно спустился и стал так, чтобы в крайнем случае прижать Харкевича к стене, удержать на весу.

— Вы что? — тревожно спросил он, когда тот повернулся к нему.

— Ну? — Харкевич сразу пришел в себя.

— Немцы на том конце, человек десять.

— А на берегу?

— Внизу много. Возле станции, где мы стояли, бьет миномет.

— А на Днепре?

— Видно, наши высадились. На дальней окраине идет бой. Может, ударить этим десятерым в спину? От неожиданности побегут кто куда.

Харкевич помолчал. Что это даст, если даже и удастся перебить тех, кто на плотине. Мы ударим в тыл им, а с берега ударят по нас — тоже в тыл. И главное: может, они потому до сих пор и не включили рубильник, что на плотине свои?

— Эти никуда не денутся, — ответил Харкевич. — Лучше подождать, как там повернется дело на берегу. С плотины будут удирать, тогда можно и ударить. А что там еще?

— Ковальчук лежит...

Да, Ковальчук лежит. Ему уже ничто не угрожает. Харкевич свободной рукой коснулся плеча Амирадзе, понимая, что для него значит потерять Ковальчука. Он хотел еще спросить о других, — наверно, на подкрановом мосту остался не один из взвода Рудя, — но это было ясно и так.

Он чувствовал себя бодрее. Несколько минут беспокойного сна над узкой темной прорвой сделали свое дело. Удивительно, как мало надо человеку! Амирадзе тоже посвежел, глаза, правда, и сейчас светились беспокойным внутренним жаром, но щеки казались не такими запавшими и даже порозовели, — наверно, от возбуждения и морозного ветерка.

— Не пропустить бы только момента.

— А мы наверху пристроимся, за фермами нас не увидят.

Харкевич заколебался, но понимал, что на Амирадзе можно положиться: ведь он вылез, когда уже было светло, и вернулся живой.

— Ну, давай, — решительно сказал Харкевич и полез вверх следом за Амирадзе.

Снаружи уже совсем рассвело. Разрывы ложились где-то за восточным краем Хортицы. Теперь пламя казалось уже не красноватым, как ночью, а голубовато-зеленым, грохот отдавался в утреннем воздухе и катился вниз над взбуравленными водами, все время нарастая, сливаясь в непрерывный рев.

Ударив немецкого пулеметчика по голове бутылкой, Клавдия Харитоновна спасла жизнь если не всем троиц, то Цыганкову и Разину — наверняка. Украдкой поглядывая на нее, они понимали, что эта женщина в своей жизни, наверно, и мухи не обидела, а здесь отважилась на такой решительный поступок, — значит, хватила горя через край. Как хорошо было бы ей в радостную минуту встречи с освободителями услышать, что живы и те, кого она любила и о ком все эти дни столько думала! Но бойцы не могли знать о том, что связывало эту женщину с Соломней и Харкевичем, как и она не могла представить себе, что из огромного множества людей, форсировавших Днепр, случай привел в ее комнату как раз тех троиц, которые могли бы многое рассказать о ее близких. Она тихо плакала, обессиленная и счастливая, что наконец видит своих.

Цыганков осторожно взял ее за руку и повел к двери. В комнате действительно было опасно, Клавдия Харитоновна покорно пошла за ним. В это время раздался взрыв.

— Идите вниз! — крикнул Цыганков, а сам кинулся назад к окну, возле которого стоял Разин.

Большой полуразрушенный дом, стоявший напротив, позволял увидеть только часть улицы и угол переуллка. Цыганков бросился по крутой деревянной лестнице на чердак.

Там из круглого слухового окошка ему открылась необозримая ширь — плотина, похожая на огромную спину великана, и выглядывающая из-за нее плоская вершина Хортицы — округлая и темная, словно наклоненная вперед голова. В небе кружило несколько самолетов, но зенитки им мешали, и самолеты поодиночке пикировали и торопливо сбрасывали свой груз.

«Значит, идет переправа, раз появились самолеты, — подумал Цыганков. — Как только наши выберутся на Хортицу, надо будет продвигаться к плотине. Немец не любит, когда щекочут с тыла». За три года боев старшина уже научился ориентироваться на поле боя.

Цыганков пошел назад. Теперь окошко светилось сзади, и чердак казался совсем темным. Вдруг старшина налетел на что-то и больно ударился ногой. Приглядевшись, он увидел большой стол, а на нем кучу тоненьких лучинок и какую-то стеклянную посуду. Припомнился физический кабинет в саранской десятилетке, где тоже было много всяких склянок, — он тогда ими мало интересовался. Не останавливаясь, Цыганков прихватил несколько лучинок — неизвестно для чего, просто так — и спустился вниз.

Мухитдинов стоял возле наружной двери и смотрел через щель на улицу. Клавдия Харитоновна сидела в дальнем углу. Издалека строчил пулемет.

— Что там? — спросил Цыганков Мухитдинова.

— Наседают на Кулнева.

— Нога твоя как?

— А что нога? — неуверенно буркнул Мухитдинов. Он попытался встать твердо на раненую ногу и поморщился от боли.

— Потерпи, продвинутся наши — отправим в санбат, — сказал Цыганков, понимая, что слова эти ни к чему.

— И так обойдется, — буркнул старик.

Старшина поднялся по лестнице на несколько ступенек, потом наклонился через шпильку и увидел Клавдию Харитоновну.

— Зачем эти шпильки? Шашлык жарить? — пошутил он, показывая ей лучинку.

— Что вы! Это спички, — улыбнулась Клавдия Харитоновна.

Цыганков чиркнул о стенку, но спичка не загорелась.

— Сначала смердит, а потом горит, — заметил снизу Мухитдинов. Он был значительно старше Цыганкова и помнил такие спички еще с давних времен.

— Это один профессор изготовлял, — сказала Клавдия Харитоновна.

— Потому и не горят, — засмеялся Цыганков. — Если бы академик, горели бы! — Ему приятно было, что удалось ее развеселить. — Вы бы в подвал спустились.

— Хватит, — сказала она. — Насиделась.

— А вы все-таки спуститесь.

Клавдия Харитоновна не ответила. Цыганков немного постоял и пошел наверх.

Как раз в это мгновение Разин крикнул: «Танк!» — и по окну хлестнул пулемет. Танк шел улицей с правой стороны, и очередь расколола в щепки наружный наличник окна, но в окна пули не залетали.

Цыганков подбежал к двери и крикнул вниз: «Танк!»

На улице прогремел взрыв. Цыганков кинулся к окну и увидел, что танк закрутился на одной гусенице, а другая лежала разорванной на мостовой. Мухитдинов хорошо угостил его из двери связкой гранат. Теперь вражеские танкисты попробуют остановиться, как только пушка повернется к дому, чтобы иметь возможность стрелять по нему. Выбрав мгновение, когда пушка еще торчала в сторону Днепра, Цыганков швырнул свою связку в корпус танка. Взрыв ударил по задней части. Башня вместе с пушкой слегка подпрыгнула и сдвинулась с места. Повалил дым. Раздался еще один взрыв — рвануло из середины. Танк как-то безвольно накренился, а башня сползла в сторону.

Цыганков выскочил на лестницу и увидел, что вырванная из косяка наружная дверь лежит на полу, а Мухитдинов отползает от нее, весь в крови. Клавдия Харитоновна забилась в угол, беззвучно всхлипывая. Сквозь дверной проем виднелся бок танка, из которого вырывалось пламя и темный, жирный дым.

— Заберите его! Не видите? — крикнул Цыганков, и этот крик, властный и даже немного грубый, заставил Клавдию Харитоновну опомниться. Она подбежала к Мухитдинову, и в тишине послышался стон раненого.

Сквозь пролом была видна вся левая сторона улицы — далеко, почти в самом конце ее поодиночке перебежали немцы, отступая от Днепра. За углом переулка все еще стоял немецкий пулемет и лежали срезанные Разиным пулеметчики. Там, видно, тоже наседали наши: из переулка доносились выстрелы и короткие очереди. Цыганков побоялся, что не прихватил на чердак немецкий ручной пулемет, — можно было бы контролировать всю улицу.

От двери шел кровавый след к другой комнате. Цыганков забежал туда. Мухитдинов лежал на раскладушке и тихо стонал. Клавдия Харитоновна суежилась возле него. Она разрезала ножницами окровавленную гимнастерку выше локтя. На спине гимнастерка тоже намочена.

— Как ты, браток? — склонился над ним Цыганков. Мухитдинов не ответил, лишь тихо застонал. — Отправить некуда, вот беда, — сказал Цыганков. — Нам сейчас придется уходить отсюда.

Клавдия Харитоновна испуганно взглянула на него, но сразу же отвела взгляд. Ясно, что не останутся здесь, не для того пришли, чтобы оставаться в этом доме.

— Не беспокойтесь, я присмотрю, — сказала она.

— Присмотрите?

— Говорю, не беспокойтесь.

Наверху застрочил пулемет, и Цыганков одним духом оказался на крыльце. На улице все еще никого не было видно. Цыганков взбежал наверх. Оказалось, что Разин рядом со своим пулеметом поставил на подоконник немецкий и просто для интереса решил попробовать, как он бьет.

— Ты что?

— Исправно бьет! — мурлыкнул Разин.

Только теперь Цыганков заметил, что бутылка, которой Клавдия Харитоновна стукнула того немца, стоит на полу, откупоренная и полупустая.

Честно говоря, Цыганков позавидовал Разину, он и сам не прочь был несколько раз глотнуть, но позволить себе этого не мог.

— Ну и свинья же ты... — выругался он и изо всей силы поддал бутылку сапогом. Она покатила по полу к немцу, который лежал в углу.

Разин хотел что-то ответить, но не успел: как раз в это мгновение из переулка показалось несколько зеленых спин — немцы отходили и на ходу строчили по тем, кто на них наседали.

Разин и Цыганков ударили из двух пулеметов сразу. Те немцы, по которым бил Разин, все почему-то попадали навзничь, словно бросились на мостовую плыть на спине. Из-за угла появлялись все новые и новые, хотя они не могли не понять, что им бьют в спину. Но наверху и спереди хорошо давали, другого выхода не было.

— Смотри, не зацепи своих! — крикнул Цыганков, опасаясь, что они вот-вот появятся из переулка.

Разин припал к пулемету и так ожесточенно давил на гашетку, будто врагом был его же пулемет.

Через несколько минут показались свои. Это были бойцы третьего батальона, как Цыганков и предвидел.

— Ну, давай сниматься,— сказал Цыганков.

— А Мухитдинов? — тревожно спросил Разин.

— Придется оставить здесь, пока переправится санбат.

Они захватили оба пулемета и спустились вниз.

— Зайду еще к Мухитдинову,— сказал Цыганков, кладя трофейный пулемет на пол. Только теперь он вспомнил, что в гимнастерке у Мухитдинова лежит партийный билет, лучше взять его с собой. — Ты выглядывай. Если что — позови!

Мухитдинов уже пришел в себя, в глазах его был не то испуг, не то растерянность. Лицо сильно побледнело. Он сделал чуть заметное беспомощное движение, пытаясь подняться, но Клавдия Харитоновна удержала его.

— Вот что, друг,— сказал Цыганков,— мы двинем дальше, а ты отлеживайся здесь.

Мухитдинов еще раз шевельнулся, хотел привстать.

— Чудила, как же ты с нами пойдешь? Не бойся, сегодня же заберем. Где твой партбилет?

Мухитдинов показал глазами на гимнастерку. Цыганков осторожно расстегнул карман и вытащил небольшой пакет, тщательно завернутый в бумагу и перевязанный ниткой.

— Не доверяете? — Клавдия Харитоновна усмехнулась.

— Порядок такой, ничего не поделаешь.

— Я свой сберегла при немцах, так что... — она не договорила.

— А вы не обижайтесь.

— Да нет. Берите. Я думаю, и ордена лучше взять вам. Мало ли как может обернуться. Все-таки война...

Цыганков собрал в горсть ордена Мухитдинова и вместе с документами спрятал в планшет.

— Ну, бывайте. Мухитдинов, сегодня же заберем, что бы ни случилось.

Шумаков не любил Лемешко, но и Лемешко платил Шумакову не меньшей неприязнью. Ни тот, ни другой не имели для этого деловых оснований — оба честно и старательно исполняли свои обязанности и втайне признавали это друг за другом. Но если Шумаков относился к начальнику штаба со снисходительной усмешкой, как относится всякий человек широкой натуры к ограниченности служака, то Лемешко комдива ненавидел тупо и упрямо, как может ненавидеть душевную широту ограниченный человек. Лемешко переносил чуть насмешливые, а иногда и едкие замечания комдива внешне спокойно, но ни одного из них не забывал. Ревнивая ненависть, которую Шумаков будто нарочно подогревал своими шутками, копилась и росла, она была в душе начальника штаба всегда наготове и только терпеливо ждала подходящего случая.

Сейчас, как ему казалось, настала удобная минута — комдив ранен и вынужден уступить. И Лемешко решил: пришло время действовать.

Он имел формальное право даже не сопровождать комдива до машины — руководил боевыми действиями дивизии. Возле выхода из блиндажа Шумаков подал ему руку.

— Ну, всего, Виктор Петрович! — сказал он. — Полагаюсь на вас. Я ненадолго.

— Будьте спокойны, товарищ комдив, — шелкнул каблуками Лемешко. — Выздоровляйте скорей.

Шумакова унесли ходом сообщения, следом шел сердитый врач, а за ним Штукаренко.

Уже через мгновение Лемешко было не узнать. Четко ступая своими начищенными сапогами, он вернулся в блиндаж и прежде всего приказал телефонисту соединить его с командующим. Он знал: до сих пор еще никто не доложил о ранении комдива. Но и сам он не мог этого сделать, пока Шумаков был здесь. Сейчас комдива не было, и Лемешко, не колеблясь, решил: доложу. Впереди бой, а дивизия не может оставаться без командира, в ожидании пока Шумаков выздоровеет.

Пока телефонист вызывал штаб армии, Лемешко соединился с начальником оперативного отдела и уточнил данные о позициях подразделений — на случай, если командарм заинтересуется. Он ставил короткие и энергичные вопросы и ответы не дослушивал до конца — понимал все с первого слова. Потом он позвонил в штаб понтонного батальона. Капитан Сом был на переправе, но начальник штаба батальона доложил ему, что переправа работает, хотя вражеская авиация и пытается все время бомбить ее. Это он знал и сам, глухие удары бомб слышны были в блиндаже каждую минуту, и то, что они не переставали грохотать, само по себе говорило: переправа цела и разрушить ее немцам не удастся. Лемешко пообещал прислать на обронку переправы еще одну зенитную батарею и вызвать истребителя для патрулирования над Днепром. Он еще не закончил разговора, когда телефонист подал ему другую трубку, — на проводе был командарм.

— Слушаю, — послышался мягкий, немного хриплый голос.

Лемешко отрекомендовался по форме и начал докладывать о ранении Шумакова.

— Знаю, — прервал командарм, и в мягком голосе послышались металлические нотки. — Все, что вы докладываете, знаю. Но, к сожалению, не от вас. Почему не доложили сразу?

— Я... — попробовал объяснить Лемешко. Он хотел сказать, что не имел права обращаться, пока на месте был комдив.

— Понимаю, почему не позвонил Шумаков, — наверно, хотел остаться в строю, несмотря на ранение. И это — похвально. А почему не доложили вы?

— Товарищ командующий, я...

— Ну хорошо... Докладывайте обстановку.

Лемешко не думал, что дело может обернуться так. Вышло, что он виноват в том, в чем в действительности виновен не был. Хотя если бы относился к комдиву не предубежденно и не ждал минуты, когда останется один на хозяйстве, то мог бы или уговорить Шумакова доложить вовремя, или сделать это сам. Но он возлагал на этот доклад свои тайные надежды и докладывать при всех не мог. Теперь он увидел, что ошибся.

И все же неожиданное недовольство командарма не сбило Лемешко с толку, он заставил себя говорить спокойно, обдумывая слова. Командарм слушал молча, хотя в молчании его тоже чувствовалось раздражение. Он отдал несколько распоряжений, потом спросил:

— Рана у Шумакова серьезная?

Лемешко решился рискнуть еще раз.

— Думаю, что да, товарищ командующий.

— А вы разве врач?

— Разрешите доложить: это мнение врача, который его осматривал.

— Так... — командующий на миг умолк. — Пока что я сам буду следить за вашим участком. А Штукаренко где?

— Пошел проводить полковника к машине, товарищ командующий.

— Ну все. До свидания.

— До свидания, товарищ командующий.

Трубка на другом конце щелкнула, а Лемешко своей все еще не клал. После второй неудачи он чувствовал себя раздавленным. Надежды не оправдались, и теперь его поведение уже ему самому начало казаться позорным. Опасение, что командующий раскусил его тщеславные замыслы, лишило Лемешко недавней решимости. От самоуверенности, владевшей им несколько минут назад, не осталось и следа.

Когда Штукаренко вернулся в блиндаж, Лемешко еще сидел на диване, держа в руке трубку. Полковник деловито бросил телефонисту:

— Соедините меня с командующим.

Только теперь подполковник Лемешко пришел в себя.

— Я уже доложил.

— Доложили? О чем?

— О том, что комдив...

— Вот как! Поспешили... — Штукаренко подозрительно взглянул на начальника штаба.

На продолговатом лице Лемешко нервно заиграли желваки. Ему очень хотелось ответить сейчас так, как полагалось ответить. В конце концов он начальник штаба и не обязан отчитываться перед заместителем комдива по политчасти. Но поставить на место Штукаренко он не решился. После разговора с командармом он чувствовал себя неуверенно и потому только спросил:

— А разве это не моя обязанность?

— Однако вы хорошо знаете свои обязанности, — буркнул Штукаренко.

Лемешко поднялся и положил трубку. Он заставил себя вернуться к своим делам и сделал это с тем подчеркнутым выражением внешнего достоинства, которого придерживался всегда, если поблизости не было Шумакова.

Штукаренко подвинул к себе карту и, склонившись над столом, стал изучать обстановку на Хортице и на правом берегу. На острове передовая уже проходила по высотам, которые господствовали над всей местностью, но все-таки прямой наводкой обстреливать вражескую переправу через западный рукав Днепра было нельзя. По ней с левого берега была артиллерия, приблизительно с таким же успехом, с каким обстреливали немцы батальон Сома. Дважды уже бомбила их батарея наша авиация, но зенитная оборона немцев оказалась мощной. Надо было обязательно продвинуться по правому берегу ближе к плотине, чтобы принудить немцев самих отступить с Хортицы. Но приближение к плотине пугало Штукаренко: это могло означать ее конец.

Огромный груз ответственности давил теперь на его костлявые плечи еще сильнее, чем раньше, в дивизии сейчас отсутствовал командир. С той минуты, когда он попрощался с Шумаковым, Штукаренко разделил с Лемешко ответственность за ход военных операций, теперь от них зависела судьба плотины. Катастрофа, которую он считал неминуемой, угнетала его не только потому, что он должен был ее увидеть, но и потому, что, лично руководя событиями, он не сумел ее предотвратить. Не смог. Несмотря на то что продвижение войск на правом берегу приближало катастрофу на плотине, он должен был ускорить это продвижение — дивизия действовала, и теперь уже невозможно было эти действия остановить.

Штукаренко невольно подумал о Шумакове, вспомнил, как резко поспорил с ним, когда тот решил было вступить на плотину с ходу. Теперь он понял: легко судить, когда в какой-то мере стоишь в стороне. Его намеки комдиву, будто бы помышлявшему лишь об оперативных успехах дивизии, тогда как под угрозой были величайшие ценности, — все эти намеки теперь не казались ему такими правомерными и справедливыми, как раньше. Сейчас он сам был на месте Шумакова и потому многое видел яснее. Он должен был делать то, чего настойчиво требовала оперативная обстановка. Надо продвигаться к плотине, чтобы заставить врага уйти с Хортицы и овладеть островом без лишних жертв.

Позвонил Терещенко и доложил, что из трех танков, которые задерживали его подразделение на правом берегу, два подбиты. Третий вынужден был отойти, но, кажется, тоже не без повреждений.

— Прошу разрешить переправиться на тот берег и мне, — закончил он.

— Одну минуту, подождите, — сказал Штукаренко. Он не хотел принимать решение без Лемешко, чтобы не обидеть его.

Посоветовавшись с начальником штаба, крикнул в трубку:

— Разрешаем вам, товарищ майор. Только подождите меня.

— Есть.

— Где стоит ваша лодка?

— Возле КП. Там, где мы с вами ходили ночью.

— Через двадцать минут буду,— Штукаренко положил трубку.

Он застегнул шинель и вышел в сени. Лемешко разговаривал по телефону с майором Аникиным, командиром триста четвертого полка. Аникин уже переправил на Хортицу почти целый батальон, но на мосту понес значительные потери. Теперь он собирался бросить туда еще две роты и тоже просил прикрыть переправу с воздуха. Лемешко давал приказы и обещания твердым голосом и высказывался коротко и ясно. Он стоял боком к Штукаренко и, конечно, видел, что тот ждет, но делал вид, будто не замечает.

Наконец он положил трубку.

— Я буду с Терещенко на правом берегу. В третьем батальоне будут знать, где меня найти.

— Слушаюсь, товарищ полковник.

Штукаренко вышел из блиндажа и быстро зашагал ходом сообщения, не пригибаясь. Над переправой пикировал бомбардировщик, но зенитки не давали ему возможности сбросить бомбы на цель. Самолет ревел, выходя из пики вместе со своим грузом. Когда он уже отдалился, чтобы зайти вторично, зенитный снаряд все-таки угодил в него. Бомбардировщик вдруг содрогнулся и стремглав пошел вниз, волоча за собой дымный хвост. Он исчез за Хортицей. Оттуда донесся тяжелый раскатистый взрыв.

19

Машины с ранеными подходили одна за другой, в коридоре бывшей сельской семилетки солдаты лежали вплотную один к другому, их было много, и в трех классах, служивших операционными, хирурги не успевали вытаскивать немецкое железо из обмякших солдатских тел. Большинство получило свои осколки и пули на понтонной переправе, остальных раненых выловили из мутной воды верхнего бьефа — шинели почти у всех были мокрые. Большею частью сюда попали легко раненные: те, кто получил тяжелые ранения, тонули сразу.

Но и эти, кого ждало быстрое выздоровление и снова передовая, сейчас производили тяжелое впечатление. В своих темных, намокших шинелях, молчаливые и недвижные, они похожи были на ровно поваленные бурей деревья.

Аня шла вдоль коридора — ее вызвал Васадзе, чтобы выслушать сердце у раненого, которого сейчас должны были оперировать. В Уфе она сделала уже немало операций, но по специальности была терапевтом. Она смотрела на раненых и ловила себя на том, что идет медленно, присматриваясь и отыскивая среди них дорогого ей человека. И правда, разве не могло произойти чудо? У Хохла была черная флотская шинель, а здесь все пехотинские, серые... Но бывает ведь всякое, мог свою потерять, надеть чужую... Она знала, что ищет напрасно, и все-таки шла медленно и внимательно присматривалась.

Вдруг кто-то тихо позвал:

— Товарищ доктор...

Она остановилась, сердце больно сжалось. Боясь оглянуться, она постояла мгновение и опять услышала слабый незнакомый голос:

— Это я... товарищ доктор.

Оглянувшись, она увидела раненого с буйными, спутанными волосами. Он пытался улыбнуться, но вместо улыбки на лице появилась какая-то неуверенная гримаса.

Аня наклонилась. Лицо казалось знакомым, но узнать она не могла.

— Я Варивода...

Нет, она его не узнала. И фамилии такой никогда не слышала.

— Я сейчас подойду. Меня ждет больной,— Аня слабо улыбнулась и отошла, потом опять оглянулась, стараясь запомнить место, где лежал этот раненый, и еще раз сказала:— Подождите минутку, я сейчас вернусь.

Она быстро шла вдоль коридора, вспоминая, где она видела этого человека. Или, может быть, ей просто показалось, что видела?..

На операционном столе лежал пожилой солдат. Лихо закрученные вверх усы были словно чужие на мертвенно-бледном лице. Васадзе приостановил операцию и считал пульс. Аня понимала, для чего ее вызвал Васадзе, раненому стало плохо, и надо установить, выдержит ли сердце, если вести операцию до конца.

Тоны были глухие и медленные, но сердце билось ритмично. Аня слышала равномерные толчки, ухо привычно ловило каждое внутреннее движение, и ей не пришлось делать усилий, чтобы представить себе, что происходит в груди, к которой она припала.

За восемь лет врачебной практики она научилась отбрасывать все свои личные заботы, когда в руках был стетоскоп, а перед глазами — больной человек. Вот и сейчас она тоже сделала над собой такое привычное усилие — лицо в коридоре, показавшееся ей знакомым, исчезло, длинная поваленная шеренга раненых бойцов перестала тревожить. Она слышала: с каждым мгновением тоны сердца становились звучнее, а дыхание ровнее, и, оторвав наконец ухо от впалой груди солдата, Аня сказала Васадзе:

— Можно продолжать.

Мальчишеские глаза капитана благодарно блеснули, он что-то тихо сказал медсестре, стоявшей рядом, и склонился над больным. Больше Ане здесь делать было нечего — она вышла в коридор с намерением найти раненого, который ее ждал. Но, сделав шаг от двери операционной, она увидела другое знакомое лицо и резко остановилась от неожиданности. Возле окна сидел полковник Шумаков. Она сразу узнала его — тот самый полковник, которого она видела, когда прилетела из Уфы и ждала Голобородько.

Лицо его сильно побледнело. Из-под откинутой полы шинели была протянута нога, завернутая в кроличью жилетку, обвязанную тонким ремешком. Наверно, нога очень болела — Шумаков сидел с закрытыми глазами, откинув голову к стене.

Аня не сразу решилась подойти к нему. Наконец отважилась: Шумаков, как видно, чувствовал себя очень плохо.

— Что с вами? — она коснулась его плеча.

Шумаков открыл глаза и резко повернул голову к Ане.

— Вам плохо? — снова спросила Аня.

— Простите... — он попробовал улыбнуться, но это ему не удалось: от резкого движения, которое он сделал, увидя ее, ногу пронизала острая боль, и он не смог этого скрыть.

— Позвольте, я взгляну. — Не ожидая ответа, она наклонилась и стала развязывать ремешок, затем осторожно развернула меховую жилетку, под ней белела наскоро сделанная повязка.

Шумаков молчал. Он сразу вспомнил, где видел эту женщину. Теперь она сидела на корточках перед ним, и в памяти воскресали другой госпиталь и другая рана...

Она осмотрела ногу — осколок сидел глубоко в мягкой ткани. Кожа вокруг пожелтела, а там, где желтизна кончалась, начинала синеть.

— Надо немедленно оперировать, — она подняла лицо.

— Немедленно не выйдет. Видите, сколько людей ждет, — Шумаков пересилил себя и все-таки улыбнулся.

— Я думаю, для командира дивизии... — она хотела сказать: для него найдется и место, и хирург.

— Нет, нет! — возразил Шумаков. — У многих, наверно, раны посерьезнее, чем у меня. — Он чуть заметно кивнул головой в сторону солдат, которых стало еще больше.

К ним быстро шел Голобородько. Очень озабоченный, он почти не замечал Аню.

— Где капитан Васадзе? Нигде его не найдешь! — возмутился он.

— Не кричите, Голобородько. Видите, сколько у него работы, — Шумаков опять кивнул в сторону раненых, вымостивших своими неподвижными телами весь коридор.

— Я с ним сама поговорю. Он в операционной, — сказала Аня и поднялась. — Побудьте с полковником.

Васадзе заканчивал операцию. Аня надела повязку на лицо и подошла к нему. Услышав, что в коридоре комдив, Васадзе очень обеспокоился. Аня даже пожалела, что не подождала, пока он зашьет рану. Он передал иглу ассистенту и приказал кончать, а сам быстро отошел от стола и остановился в нерешительности.

— Пойдемте посмотрим, — сказала Аня, чувствуя, что ему нужна помощь. Она понимала, что именно пугало Васадзе: судьба командира дивизии вдруг оказалась в его руках, он боялся ответственности. Для его лет она и верно была слишком велика.

Чтобы облегчить ему задачу, Аня пошла впереди.

— Принимайте гостя, товарищ капитан! — издали обратился к нему Шумаков.

Аня снова раскрыла повязку, слегка ощупала тело вокруг раны.

— Утром мы вас эвакуируем, товарищ полковник, — пробормотал Васадзе.

— Ни в коем случае. Оперируйте здесь,— заволновался Шумаков, но голос его звучал твердо — он и здесь приказывал.

— Но ведь такую операцию...

— Солдатам делаете и посложнее.

— Солдатам совсем другое... — Васадзе был очень растерян.

— Значит, сделаете и мне.

Васадзе не решался возражать. Но и просто вырезать осколок он тоже не мог. С того времени, как Шумакова ранило, прошло несколько часов, на ноге уже появились признаки, предупреждавшие о возможности гангрены.

— Позвольте мне посоветоваться с товарищами,— сказал Васадзе.

— Пожалуйста. Только никаких эвакуаций,— ответил Шумаков.

Васадзе ушел назад в операционную. Аня осталась возле Шумакова. Она понимала Васадзе, видела, что его опасения гангрены не лишены основания. Но она боялась решения Васадзе и хотела его предупредить.

Аня приблизилась к Шумакову и сказала, понизив голос, чтобы не услышал Голобородько:

— Ни за что не разрешайте ампутировать ногу.

Шумаков взглянул на нее и еще больше побледнел.

— Разве и до этого может дойти?

— Думаю, что не дойдет. Но есть основания опасаться...

— Так... — вздохнул Шумаков. Рану он считал незначительной, казалось диким даже предположение, что он может остаться без ноги.

— Вы успокойтесь, волноваться еще рано. Но врачи могут решить и так. Только вы не соглашайтесь, лучше подождать до утра. В худшем случае вы рискуете несколькими лишними сантиметрами. Это, я думаю, уже не имеет особого значения. Но можно надеяться, что гангрена не будет развиваться.

Шумаков с благодарностью посмотрел на женщину и чуть заметно кивнул. Правда, какая разница — на десять сантиметров выше или ниже? Все равно без ноги. Он не любил действовать наобум, но здесь стоило рискнуть: и выигрыш и потеря были для него равны целому миру.

— Если вы не возражаете,— продолжала Аня,— осколок я удалю сама. И чтобы не занимать без очереди стола, сделаю это здесь, в коридоре.

Он еще раз посмотрел на нее и теперь уже благодарно улыбнулся. И то, что она понимала его состояние и проявляла не только решимость, но и тактичность по отношению к нему, как командиру всех этих раненых, что лежат и ждут,— это ему тоже понравилось. Наверно, Сабина вела бы себя так же.

— А капитан разрешит? — спросил Шумаков.

— Такую операцию на фронте умеет делать каждый врач.

— Я не о вас,— Шумакову стало неудобно, он и правда имел в виду совсем другое. — Разрешит ли он делать операцию здесь?

— На войне оперируют и в лесу.

Верно, и в лесу. Под открытым небом, даже во время дождя. Как оперировали его самого минувшей осенью под Сталинградом.

— Впрочем, можно и в операционной... — она чуть заметно кивнула в сторону раненых, лежавших в коридоре. — Все зависит от вас.

В коридоре опять появился Васадзе. Капитан нес свой приговор, но Шумаков уже не боялся его. Он решил опередить капитана и освободить его от тяжелой необходимости объявлять свое решение.

— Я хочу, чтобы меня оперировала... — Шумаков взглянул на Аню: — Как ваша фамилия?

— Хохол.

— Меня будет оперировать доктор Хохол. Исполняйте, — приказал Шумаков Ане.

Она круто повернулась и быстро пошла в операционную.

— Простите... — нерешительно начал Васадзе. — Я не могу взять на себя ответственность.

— Не беспокойтесь, отвечать буду я, — твердо сказал Шумаков. — Вы, наверно, заняты. Можете быть свободны.

Капитан неумело козырнул и ушел в операционную. Голобородько стоял растерянный и смотрел ему вслед. Санитары пронесли раненого — злохмаченные проволочные волосы упали ему на лицо. Варивода. Тот самый водолаз, которого он по просьбе капитана Сома послал на переправу. Голобородько сразу узнал его.

Шумаков сидел, прислонившись виском к холодной стене. Ни о чем он так не жалел сейчас, как о том, что ранен. Только бы спасти ногу и вернуться в строй. Пускай хоть на ту сторону Днепра, если уж так случилось, что переправой он руководить не может. Только бы не отняли ногу — ведь без ноги человек уже не солдат.

Через несколько минут началась операция. Аня поставила на табуретку белый таз, а в таз — раненую ногу Шумакова. Сделала два укола и взяла из рук санитарки ланцет.

Шумаков сидел на подоконнике, опершись головой в плечо Голобородько. Растерянный, почти испуганный, он старался не смотреть на свою ногу, одеревеневшую от наркоза.

— Может, спрячете на память? — Аня подала осколок Шумакову.

— Не стоит, — усмехнулся он. — Я не сентиментален.

Аня взглянула на него снизу и тоже улыбнулась. Она хотела уже бросить осколок в тазик, но Голобородько опередил ее движение.

— Дайте мне!

— Чудак, — Шумаков положил ему на плечо руку. — До Берлина можно будет подобрать лучший...

20

Рана у Ярошенко была незначительная, но если угодит в голову, всегда страшно.

В темноте Кузьма Иванович на ощупь перевязал ему голову лоскутом своей рубахи. Руки дрожали, и жутко было оттого, что по

пальцам текла кровь. Вдали над Днепром висели зеленоватые столбы воды, их непрерывно освещали короткие сполохи, глухой грохот сотрясал воздух. Адский фейерверк пылал вверху, над серединой озера Ленна, но по плотине не били ни враги, ни свои, хотя осколки свистели и шипели над головой и здесь.

До последней минуты, пока артподготовка не началась, Ярошенко не терял надежды так или иначе вырваться отсюда и все-таки попробовать осуществить свой план. Когда же переправа войск началась, ему стало ясно, что на немецких часовых, охраняющих станцию, он уже не нападет, шуму в тылу не наделает и рубильника из рук у них не вырвет. То, что происходило вокруг, разумеется, радовало, но и брала злость на самого себя.

Даже от событий, происходивших у него на глазах, он поневоле тоже оставался в стороне. Как бы ни старался, а плот против течения не погонит, не присоединишься к десанту! Да и свои бойцы могли бы их перестрелять, если бы увидели, что приближаются неизвестные в гражданской одежде. Он, Ярошенко, который собирался так просто осуществить свои смелые намерения, остался в стороне от борьбы. Ему только и осталось — пригнуться и прятать голову за бетонными выступами, наблюдая за событиями издалека.

Когда рассвело, стрельба откатилась в глубь левого берега. Город, затянутый завесой, сотканной из дыма и тумана, гремел пулеметными очередями. У самой воды чернели кучи обожженного взрывами песка — все, что осталось от вражеских укреплений после артиллерийского налета.

— Ну, профессор, становись к правилу, — вздохнул Ярошенко. Шапку он потерял еще ночью, а повязка, пропитанная кровью, придавала его рябому лицу выражение суровой сосредоточенности. — Повосвали мы с тобой, нечего сказать!

Править, собственно, было некуда — они продвигались очень медленно. Кузьма Иванович стал доской отталкиваться от стены. Ярошенко хватался руками за бревна, что теснились вокруг плота, отводил их в сторону, расчищая путь. Руки ослабели от голода и напряжения, дерево намокло и отяжелело, но плот все-таки понемногу продвигался к правому берегу.

Они уже были почти возле последнего быка, когда на плотине началась стрельба. Били из двух автоматов — это стало ясно, когда один из них на мгновение замолк. Похоже, там еще остались немцы... Ярошенко схватился за бетонный выступ, подтягивая плот поближе к стене. Взял в руки автомат и прислушался.

Стрельба наверху оборвалась так же неожиданно, как и началась. Из-под высоченной стены ничего нельзя было увидеть, но и Ярошенко, и Кузьма Иванович понимали: там все окончилось и победить могли только свои — впереди уже немцев не было. Переждав на всякий случай несколько минут, они опять оттолкнулись от бетонного выступа и стали медленно продвигаться дальше, вдоль плотины, к правому берегу.

Бой шел за прибрежными скверами, где-то в глубине города. Возле воды никого не было видно, под крайним быком и под стеной аванкамеры покачивались на тихой воде разбитые плоты и тела бойцов ночного десанта.

Ярошенко стоял впереди с автоматом наготове. Кузьма Иванович медленно подгрребал доской, напряженно смотрел на берег. Сложные чувства наполняли его душу. Еще могло произойти все: впереди шел бой, опасность еще и теперь подстерегала за каждым углом. Но даже если бы ничего не произошло, разве мог бы он в чем-нибудь упрекнуть себя? Если и не пришлось выстрелить из автомата, он все же висел у него на груди, это было главным.

Плот еще не выплыл из-за последнего быка, когда впереди вдруг застрочил пулемет. Ярошенко сделал резкое, предостерегающее движение рукой и присел. Кузьма Иванович наклонился тоже и стал быстро подгрребать к стене. Он следил за взглядом Ярошенко, стараясь понять, видит ли тот пулеметчиков. Наконец удалось схватиться за железный прут, торчавший из стены. Плот остановился.

Кузьма Иванович снял с шеи и свой автомат, оттянул затвор и застыл в ожидании. Ярошенко все еще следил за берегом, но знака стрелять не подавал.

Прошло еще несколько минут, и Кузьма Иванович увидел на берегу вражеских пулеметчиков...

21

Немцы побежали неожиданно — так кажется всегда, если слишком долго ждешь. А Харкевич ждал долго, он весь онемел от напряжения. Только на миг отвлекла его внимание суeta на берегу, он оглянулся, чтобы посмотреть туда, и в это время послышался тяжелый топот сапог на подкрановом мосту.

Эти немцы почему-то задержались наверху и бросились наутек лишь тогда, когда наши уже захватили здание управления.

Амирадзе начал стрелять: немцы бежали по внутреннему полукругу плотины и Сандро увидел их первым. Как только он дал по ним очередь, немцы метнулись на другую сторону и возникли перед глазами Харкевича. На миг тот опешил, но именно этот миг и помог ему: немцы, видимо, решили, что опасность миновала, и бежали, не пригибаясь, прямо на Харкевича.

Он увидел худощавое лицо с очками на носу и нажал на спуск. Те, что бежали следом, бросились левее и опять нарвались на автомат Амирадзе. Харкевич видел, как свалились двое, а один перелетел через поручни и бултыхнулся в Днепр.

Харкевича трясло, по людям он стрелял впервые. На финской только ставил мины. Правда, вчера ночью послал несколько очередей в тех немцев, что брали дрова. Но тогда было совсем темно и вряд ли он попал в кого-нибудь. Теперь немцы были рядом. Они бежали прямо на него. Палец прилип к спусковому крючку, будто примерз

к железу, и его нельзя было оторвать. Харкевич опомнился только тогда, когда автомат смолк. Он не сразу понял, в чем дело, нажал сильнее. Автомат молчал.

Харкевичу показалось, что автомат заклинило, и он испугался. Но тут же понял: просто в диске кончились патроны. Схватил другой диск, и автомат опять заговорил.

Топот на мосту затих,— видно, там уже не осталось никого. Амирадзе подождал еще минуту и осторожно высунул голову из-за фермы. Впереди никого не было видно.

Он взялся за край фермы и перебросил свое легкое тело на мост, подняться все-таки не решился. Припав к деревянному настилу, переполз на другую сторону и увидел Харкевича. Тот не двигался, казалось, даже не дышал, но голову держал высоко, будто продолжал наблюдать.

— Ну как? — крикнул Амирадзе. — Живы? Здорово мы им дали? — Он захохотал.

Только теперь Харкевич повернул к нему лицо и увидел, что Амирадзе очень бледен и пальцы его дрожат, словно бьют по невидимым клавишам. Хоть и не впервые в такой каше, а все же...

— Дайте руку, — тихо сказал Харкевич и поднялся. Колени подгибались, будто он первый раз в жизни встал на ноги.

Совсем не прячась, оба дошли до последнего быка и оказались возле отверстия, из которого минувшей ночью спускались на берег. Прямо под ними строчил пулемет. Амирадзе протянул Харкевичу свой автомат и вскарабкался на широкую вершину быка. Внизу лежали немецкие пулеметчики и строчили куда-то на берег. Харкевич видел, что Амирадзе отстегнул от пояса гранату и уже взял пальцами чеку, чтобы выдернуть ее, но вдруг передумал и опять прицепил гранату к поясу. Потом он отполз назад и протянул руку Харкевичу: мол, давайте мой автомат.

— Почему не бросил? — спросил Харкевич.

Амирадзе подполз еще немного ближе и сказал:

— Там лежит Ковальчук.

Сандро опять пополз на край быка и уже приготовился стрелять, но вражеский пулемет вдруг умолк, а солдат, который бил из него, высоко подпрыгнул и упал на пулемет мертвым. Двое бросились бежать, но и они сразу же попадали неподалеку. Кто-то строчил по ним снизу из двух автоматов. Амирадзе подвинулся, посмотрел туда: у подножия быка на воде покачивался плотик, а на нем двое в гражданском...

Он отполз назад и тяжело прыгнул на деревянный настил. Повесил на шею автомат и привалился к стене, совсем обессиленный.

И вдруг Харкевич понял, что впереди никого нет, что теперь надо попытаться довершить то, чего они не смогли сделать раньше. Немедленно спуститься с плотины, проникнуть в помещение станции, найти и снять этого последнего немца, который держит руку на рубильнике, чтобы в подходящую минуту включить ток. Не ожидая, пока спустится Амирадзе, Харкевич соскочил вниз и, тяжело гремя сапогами, по-

бежал по деревянным сходам. Он не оглядывался и не знал, бежит ли за ним следом Сандро, видел только, что впереди никого нет и можно бежать не останавливаясь до полуразрушенной стены станции. Он даже не взглянул на то место, где лежал мертвый Ковальчук, мчался вдоль исклеванной взрывами аванкамеры по колено в воде и остановился лишь возле двери, что вела в нижнюю часть турбинного зала.

Здесь Харкевич на минуту остановился отдышаться. Вокруг никого не было. Держа автомат наготове, он осторожно приоткрыл невысокую дверь — внутри тоже было пусто. Харкевич побежал по каменной лестнице вниз. Он знал здесь все переходы и уже догадывался, где немцы могли установить свой рубильник, чтобы даже во время недавних взрывов на станции кабель остался неповрежденным.

Сырая тишина звонко отзывалась на его тяжелые шаги. Он недоверчиво остановился — неужели все разбежались, не включив тока? Не может этого быть! Где-то притаился тот, последний, и держит на рубильнике руку. Он смертник, это ясно, но его где-то оставили, он не мог убежать.

Убежденный в этом, Харкевич решил вызвать его, чтоб подал голос. Может, когда увидит, что его нашли, испугается за свою шкуру и не решится включить ток. И ему ведь хочется жить...

— Есть тут кто-нибудь? — крикнул Харкевич изо всей силы. — Эге-эй!

Хмурое подземелье тяжело загудело. Затем эхо улеглось, вырвавшись на волю сквозь провал в потолке, светившийся облаками. Никто не ответил. Со всех сторон опять обступала холодная сырая тишина.

Но Харкевич не верил тишине, он знал, что тот, последний, был где-то здесь. Только притаился и следит за каждым его шагом. Не может быть, чтобы немцы никого не оставили,— плотина до сих пор цела, а они не могут не взорвать ее.

Прижимаясь к стене, Харкевич осторожно продвигался дальше. Теперь он ступал почти совсем неслышно, крадучись к узенькой лестнице, что вела еще ниже, вглубь. Он медленно прошел один пролет, затем вступил на площадку и заглянул в другой. И сразу же увидел раскрытую настежь узкую дверцу и почти возле нее стол с двумя телефонами.

Он дал короткую очередь. Выстрелы оглушительно прогремели и отдались где-то наверху. Никто не отозвался. Харкевич осторожно приблизился.

В каземате было почти совсем темно. Свет проникал лишь сверху — сквозь узкий высокий коридор. Харкевич дал еще одну очередь в угол, за дверь, где мог кто-нибудь притаиться. Но там тоже никого не было.

На стене напротив висела большая мраморная доска с несколькими рубильниками. Он хорошо знал эту каморку, похожую на каземат, не раз бывал в ней когда-то, но доски этой не помнил. Что это за рубильники?

Он бросился к ним и начал осторожно отрывать провода, соединенные с контактами за доской. У него не было никакого инструмента — ни отвертки, ни плоскогубцев. Да это и к лучшему — еще, чего доброго, в этой проклятой тьме замкнешь линию и натворишь беды. Осторожно, голыми руками он отрывал толстые медные провода, прижатые гайками.

Когда последний провод повис в воздухе, Харкевич опять почувствовал себя очень усталым. Недавняя опустошенность опять овладела им, руки дрожали, как и там, наверху, когда на плотине свалился последний немец.

Харкевич сел на деревянную лавку и всем телом навалился на стол. Подняться не было сил. Так и остался сидеть, уронив тяжелую голову на руки, пока она не затуманилась совсем, — и он заснул мертвым сном.

22

Днем Шумакову стало легче. Боль понемногу утихла, нерв, который все время подергивался в ноге, успокоился и наконец совсем перестал тревожить.

Прислушиваясь к себе самому, будто стараясь проникнуть в тайны механизма собственного тела, Шумаков почти физически ощущал, как опухоль на ноге опадает и постепенно в ней уменьшается жар.

«В худшем случае вы рискуете еще десятью сантиметрами ноги... если гангрена разовьется...» — вспомнил он слова врача. Нет, наверно, не развилась. Кажется, пронесло.

Кто она такая? Откуда взялась эта женщина со странной фамилией Хохол! Он совсем не связывал ее с водолазом, о гибели которого ему недавно доложили.

Он думал: как мало говорит о человеке его наружность. Внешне отчужденная и даже суровая, взгляд невнимательный и растерянный, будто она поглощена чем-то своим и тебя не видит... А вот не оставилась ни перед чем, отважно взяла на себя ответственность — не за себя, за чужую жизнь. Спасла его, теперь он уже ясно это понимает.

Ему очень хотелось, чтобы она вошла, оглядела рану и сама убедилась, что опасность миновала. Ведь, наверно, волнуется не меньше, чем волновался он. И наверно, не только потому, что считает унизительным ошибиться: на ней реальная ответственность за жизнь комдива, от которой ему хотелось бы как можно скорее ее освободить.

И, словно в ответ на молчаливый зов, она появилась в дверях и, не спросив разрешения, вошла. Почему она пришла именно теперь? Откуда узнала, что он думал о ней?

Вот она уже возле самой постели. Лицо сосредоточенное, озабоченное чем-то. Она совсем не смотрит на него — просто вошла проведать очередного больного, вот и все. Деловито подняла одеяло, молча стала разматывать марлю. Нет, она пришла совсем не потому, что он этого хотел. Просто зашла — пора было осмотреть рану:

Сабина приходила иначе. Ее тянуло в палату, где он лежал, и она не в силах была это скрыть...

— Мне значительно лучше,— сказал Шумаков, стараясь не выдать своих чувств.

— Вижу,— сухо ответила Аня.

— Значит, пронесло?

— Что вы хотите сказать?

— Вы мне спасли ногу.

— На то я и врач. — Аня туго натягивала бинт, словно и не интересовалась, больно ли ему.

— И все-таки я вам очень благодарен. Для солдата нога — не последняя вещь.

— Если бы я думала, что последняя, то отрезала бы ее еще вчера. — Она кончила бинтовать и выпрямилась. — Если надо будет, позвоните... — И вышла.

О чем она думает? Что у нее на душе? Может, и верно — исполнила только обязанность? Но почему же этого не сделал Васадзе — он тоже врач, и обязанности у них одни. Как бы он жил дальше, если бы в коридоре случайно не появилась она!

— Голобородько! — крикнул Шумаков. Адъютант сидел в коридоре возле двери.

Что дело пошло на поправку, Шумаков увидел даже по выражению лица Голобородько. Сплошь покрытое веснушками, оно сняло, хоть адъютант и старался скрыть свое радостное возбуждение.

— Слушаю! — весело козырнул он.

— Что это вы сняете, как начищенный сапог?

— Я? — удивился адъютант. Лицо его стало совсем детским, будто он разбил стакан и мать хочет наказать его, а он глуповато улыбается и твердит, что разбил совсем не он.

— Откуда везут раненых? — спросил Шумаков.

— Почти все из полка Терещенко. Из третьего батальона.

— Что рассказывают?

— У них не разберешь. Один говорит одно, другой — совсем наоборот.

— Да, раненые — мастаки сочинять. Испуганы, ничего не поделаешь. Я вчера тоже испугался. — И вдруг без всякого перехода Шумаков спросил: — Что она вам сказала?

— Кто? — Адъютант помялся. — Сказала, что все в порядке.

— А что же вы хитрите? — засмеялся Шумаков. — Бонтесь меня проворонить?

Адъютант мялся, но каждая веснушка на его курносом лице улыбалась.

— Думаете, если буду знать — удеру?

— Так точно, товарищ полковник. Угадали.

— Не сегодня. Завтра сбегу.

— Нельзя, товарищ полковник. Нужно, чтобы зажило.

— Это вы так считаете или она?

— Что такое я? Я не доктор.

Вот как? Наверно, Голобородько попросил ее быть с ним сухой и деловитой, главное — не говорить, что пронесло. Бойтся, что удерет. И ее тоже предупредил. Милые вы люди, хоть и большие чу-даки.

— А я голову ломаю, что это она со мной такая суровая? — засмеялся Шумаков. — Выходит, научили?

— У нее прошлой ночью погиб муж. Лейтенант Хохол.

Шумаков остолбенел. Ему хотелось крикнуть, что этого не может быть. Но почему же не может?

Ему вдруг стало стыдно за все, что он о ней думал. Муж погиб — вот что у нее на душе. А она спасла ему ногу, все будущее спасла.

— Покотило здесь? — спросил он после долгого молчания.

— Здесь, товарищ полковник.

— Проскочите с ним сейчас на командный пункт к полковнику Штукаренко. Если его там нет, найдите, где бы ни был. Узнайте обстановку и возвращайтесь.

Голобородько не козырнул, как всегда: он колебался.

— Сказал же — сегодня не удеру!

— Есть. — Голобородько приложил руку к козырьку. Он четко повернулся и пошел, но у двери опять остановился. — В соседней палате лежит тот водолаз, что был ночью на переправе. Ему руку ампутировали.

Какой водолаз? Ах да, это тот, о котором ему говорил покойный генерал Зотов. Он вспомнил, как неизвестный ему водолаз крепил понтоны под ураганным огнем. Переправу спас, но руку потерял, так на войне чаще всего и бывает.

— Забегите в политотдел, скажите, чтобы представили к званию Героя Советского Союза этого водолаза, лейтенанта Хохла и капитана Сомы. Привезите реляции, я подпишу.

— Слушаю, товарищ полковник.

— Выполняйте.

Голобородько исчез. Через мгновение послышался стук заводной ручки. Покотило заводил свою многострадальную эмку.

Опять скрипнула дверь. Вошел Васадзе. Следом — та самая докторша, Хохол. Теперь он ее фамилию не забудет. И совсем не потому, что она его спасла, а потому, что она — это она.

Васадзе молча подошел к постели, взял руку, пощупал пульс. Он чувствовал себя в чем-то виноватым... Нежное лицо, лицо мальчика, было напряжено, а детские глаза тревожно бегали, словно были раз и навсегда перепуганы. Ну да, конечно, ему стыдно, он понимает, что Шумаков чуть не остался калекой из-за его излишней осторожности... «Но ты же еще совсем мальчик, я не требую от тебя решимости, на которую способна она или я. Ты боялся ответственности за жизнь комдива, и, как это ни горько, я понимаю тебя. Досадно только, что если бы я не был комдивом, то лежал бы уже без ноги, которая человеку так нужна!..»

— Здесь один водолаз... кто его оперировал? — спросил Шумаков.

— Водолаз? — Васадзе повернул лицо к Ане. — Который это?

— Варивода. В соседней палате.

— Ах, этот! Он чувствует себя нормально,— поспешил Васадзе успокоить комдива.

— Без правой руки — нормально? — сурово посмотрел на него Шумаков.

— Это было необходимо сделать,— впервые обратилась Аня к Шумакову. — Другого выхода не было. Она говорила так, будто понимала сомнения Шумакова и одновременно хотела и его убедить, и защитить Васадзе, и оправдать медицину, которая еще не в силах творить чудеса.

Шумаков чуть заметно кивнул. Да, это было необходимо. Значит, правда не было выхода, если так говорит она.

— Передайте ему, что я представляю его к званию Героя Советского Союза.

— Есть, товарищ полковник, передам! — Васадзе был рад, что разговор пошел не в том направлении, которого он так боялся.

Аня вдруг отвернулась, слезы брызнули из ее глаз. Потом она громко зарыдала и бросилась из палаты.

Васадзе растерянно посмотрел ей вслед, потом виновато заговорил,— словно стараясь оправдать или объяснить ее странное поведение:

— Прошлой ночью погиб ее муж. Тоже водолаз.

Шумаков опять кивнул.

Да, знаю. Знаю, что водолаз, что погиб. Слишком много знаю — потому и болит душа.

23

В подвале, где помещался командный пункт полка, Голобородько застал только Терещенко. Штукаренко четверть часа назад пошел в третий батальон, и Голобородько с ним разминулся.

Терещенко расспросил о здоровье Шумакова, потом показал адъютанту на карте, где проходит передовая подразделений полка. Но Голобородько интересовало положение и других полков — Шумаков хотел иметь полное представление о фронте дивизии. На правом берегу такие сведения мог дать только Штукаренко.

Вдвоем с Терещенко они двинулись в третий батальон верхами. Надо было проехать километра полтора. Хотя помещение турбинного зала и вся часть города ниже плотины были еще во вражеских руках, позиции третьего батальона уже проходили западнее города, фактически в тылу у немцев. Гладкие трофейные лошадки, захваченные возле здания управления без всадников, легко несли их шагом, изредка переходя на мелкую рысь. Земля хорошо подмерзла, в колеях подернулась ледком вода поздних дождей. До самого оврага, что синел за придорожной посадкой справа, противника не было, и они ехали медленно, с наслаждением вдыхая звонкий, морозный воздух.

Вдруг за лесной посадкой отчетливо зашумел мотор машины. Откуда она могла взяться? Полковых машин на правом берегу еще

не было, а соседний полк воевал на Хортице... Это могла быть только трофейная машина, но о захвате у немцев машин ему никто не докладывал. Терещенко спрыгнул с коня, вслед за ним соскочил и Голобородько. Через мгновение они уже оба были за кашаевой в кустах.

Машина быстро приближалась. Это был размалеванный белыми полосами штабной немецкий «мерседес». За лобовым стеклом ясно виднелись два лица — шофера и того, кто сидел рядом с ним. Шофер был в пилотке, а тот, другой, в офицерской фуражке. Немцы!

Терещенко подал знак Голобородько не стрелять, а сам подождал еще с полминуты и, когда машина приблизилась, дал по ней короткую очередь. Из радиатора повалил пар, а мотор как-то неожиданно звонко затарахтел, и машина остановилась.

Тот, кто сидел рядом с шофером, сразу выскочил из машины и полетел в кювет. Вслед за ним выскочили еще двое. Шофер остался в машине, склонив голову на руль, наверно раненый или убитый наповал.

Немцы сыпали из двух автоматов по посадке. Но стоявшая перед ними машина ограничивала поле обстрела, и туда, где лежали Терещенко с Голобородько, пули не залетали.

Голобородько отстегнул от пояса гранату.

— Жалко машины... — шепнул Терещенко. — Добросишь на ту сторону?

Голобородько не ответил и, поднявшись на ноги, швырнул гранату. Она взорвалась по ту сторону машины. Они подождали с минуту — больше по ним не стреляли.

— Хеде хох! — крикнул Голобородько, но из кювета никто не ответил. — Вы что, оглохли? — Лицо его пылало от возбуждения и вместе с тем растерянно улыбалось. — Неужели капут?!

Терещенко взял в руки еще одну гранату. Он уже замахнулся было, чтобы ее швырнуть, когда с правой стороны появился немец и вышел на дорогу.

— Хеде хох! — крикнул Голобородько, но немец рук не поднимал. Он стоял, слегка пошатываясь, на своих длинных ногах и не то всхлипывал, не то жмурился, как бывает с людьми, внезапно оставшимися без очков.

— Иди к нему, а я прикрою, если что, — приказал Терещенко и направил автомат на немца.

Голобородько прошел шагов двадцать вдоль посадки, стараясь рассмотреть, есть ли еще кто-нибудь за машиной в живых. Лежали двое. На всякий случай Голобородько дал по ним очередь. Тот, что стоял возле машины, смешно встрепенулся и неожиданно поднял вверх обе руки.

Подошел к немцу и Терещенко. Он быстро обыскал пленного. Оружия у него не оказалось, Голобородько тем временем заглянул в машину — шофер был мертв.

— Веди его к лошадям, а я пошую в машине, — спокойно сказал Терещенко. — Машина штабная.

— Капитан? — спросил Голобородько пленного.

Немец вытянулся и обиженно проговорил:

— Майор.

— Слышали? — радостно крикнул Голобородько.

— Веди. Я сейчас.

Голобородько повел пленного к посадке. Немец покорно шел, то и дело озираясь. Терещенко полез в машину, толкнул мертвого шофера. Тот, тяжело перевалившись на левый бок, выпал из раскрытой дверцы.

Да, это была штабная машина. Возле переднего сиденья на дверце висел большой кожаный портфель. Сзади на специальном столике стояла портативная пишущая машинка. На днище лежал автомат майора, а рядом — две пустые бутылки.

Терещенко взял портфель и автомат, потом спустился в кювет и прихватил еще два автомата. Тщательно обыскал убитых и пошел в сторону посадки к Голобородько.

Лейтенант уже успокоился и деловито скручивал пленному руки своим ремнем.

— Никуда он не удерет, — сказал Терещенко. — А ты, чего доброго, без ремня штаны потеряешь.

Голобородько обиделся, ему казалось, что Терещенко почему-то поднимает его на смех. Он молча развязал немцу руки и подпоясался.

В это время вдаль показалась высокая фигура — кто-то шел навстречу вдоль посадки.

— Полковник! — крикнул Голобородько.

Да, это был Штукаренко. Он возвращался из третьего батальона в полк. Увидев трех человек с лошадьми, он остановился, но Голобородько замахал руками и крикнул:

— Свои!

Видно, Штукаренко узнал голос адъютанта Шумакова — сразу же решительно зашагал к ним.

Когда он приблизился, Терещенко сказал:

— Разрешите доложить, товарищ полковник, птицу поймали, и, кажется, немалую! — Теперь уже и его голос звучал возбужденно, как раньше голос Голобородько.

— Откуда он здесь взялся? — удивленно спросил Штукаренко.

— А черт его знает! Не в ту сторону удирал или что. Там в кювете еще трое лежат.

— Ох, и молодцы! — Штукаренко засмеялся и подошел к пленному. Он знал по-немецки, хотя и не очень хорошо. — Вы кто? — спросил он.

Немец не ответил.

— Ну, ты, с тобой говорит герр оберст! — подступил к нему Голобородько. Гневный окрик звучал не очень убедительно в устах круглолицего и курносенького лейтенанта, но, услышав слово «оберст», немец вытянулся.

— Командир второго батальона шестьсот сорок третьего полка! — четко отрапортовал он.

Штукаренко улыбнулся одними глазами: это был тот немецкий полк, что оборонял плотину.

— Куда мы его поведем? — спросил Терещенко.

— Я думаю, к вам. А вы летите в третий батальон — пусть не продвигается, пока я этого не допрошу.

— Есть, товарищ полковник.

Терещенко вскочил на коня и рысью помчал вперед в направлении командного пункта третьего батальона.

Штукаренко шел рядом с пленным. Голобородько отстал на несколько шагов. Ведя за повод коня, он на всякий случай направил автомат в спину немца.

Теперь и Штукаренко был радостно возбужден. Командир батальона охраны должен знать все! Почему немцы до сих пор не взорвали плотину? Когда они собираются это сделать? Где находится проклятый рубильник, который они собираются включить? Если бы знать все это точно, может, удалось бы еще как-нибудь предупредить катастрофу...

Лучше было бы спокойно отвести немца на командный пункт и там допросить. Но радостное нетерпение взяло свое, и он здесь же, идя дорогой, стал задавать вопросы.

Немца не надо было заставлять говорить. Он отвечал четко и ясно. Именно его подчиненный, старший лейтенант Миллер, должен был включить рубильник. Но на это требовалось специальное разрешение: внизу, в плавнях, все еще сидели восемь их дивизий. Наконец санкция была получена. Старший лейтенант включил рубильник, но взрыва не последовало. Почему? Трудно сказать. Когда он доложил об этом командиру своего полка, тот примчался к рубильнику собственной персоной и включил его самолично. Но взрыва все-таки не было. Что-то случилось на линии, что именно — неизвестно.

— Если бы я не попал в плен, гестапо расстреляло бы меня, — заключил майор. — Они везли меня в трибунал.

Штукаренко уже не слушал немца. Сейчас он думал о Харкевиче. Неужели это ему удалось спасти плотину? Но что бы там ни было, теперь опасаться нечего: плотина цела! Он остановился. Выходит, можно сразу же повернуть третий батальон Терещенко в сторону Днепра, обойти по южной окраине города немцев, оставшихся в районе плотины, и уничтожить их или взять в плен. Это даст возможность капитану Сому быстро навести переправу через второй рукав Днепра, и вся дивизия без помех высадится на правый берег. Дальше можно выполнять второй этап задания — повернуть на юг вдоль Днепра и отрезать те восемь дивизий, что застряли в плавнях на левой стороне.

— Голобородько, скачите к Терещенко и передайте, чтобы не сдерживал свой третий батальон. Пусть немедленно начинает действовать по плану.

— Товарищ полковник, а как же этот? — Голобородько кивнул в сторону пленного.

— Доведу сам. Выполняйте.

— Есть! — Голобородько вскочил в седло и рванул с места галопом.

Штукаренко шел, не чувствуя под собой ног. Ему нужен был телефон или самолет, чтобы лететь к Шумакову. Но в поле не было ни телефона, ни самолета. Была только огромная, необозримая радость, которую он должен был нести в себе, потому что не с кем было ею поделиться. Так и не будет знать, кто ее подарил: слепой случай или отважный поступок. Но с каких же это пор случай стал слепым? Разве он не обусловлен закономерностью человеческих поступков?

Штукаренко сам себе улыбнулся — в нем вдруг заговорил бывший лектор.

Они уже приближались к окраине города, когда с участка третьего батальона ударила батарея. Пусть случай! Пусть слепой! Все эти дни люди не спали, чтобы произошел этот случай. Кровь проливали, много человеческой крови, вслед за которой будет пролито еще целое море женских слез.

Позади заговорили пулеметы. Расстояние глушило их голоса, но Штукаренко свободно владел речью боя и прекрасно понимал, о чем они рассказывали ему.

Не рассказали они ему только одного — что именно в этот момент погиб Голобородько. Он передал Терещенко все, что Штукаренко приказал, опять вскочил на коня и поскакал назад, надеясь догнать полковника. Мина разорвалась впереди. Конь встал на дыбы, но почти неживое тело лейтенанта каким-то чудом задержалось в седле, не свалилось на землю. Через мгновение, оскалась от боли, конь метнулся назад и понес свою ношу степью, перескакивая через окопы передовой, над головами бойцов, удивленно следивших за ним. Конь мчался недолго, выскочив в нейтральную зону, опять встал на дыбы, застыл, словно раздумывая, и рухнул навзничь на своего мертвого седока.

Через час, когда батальон продвинулся и занял этот кусок степи, тело Голобородько вынесли из-под обстрела и отвезли на Днепрогэс.

24

Харкевич проснулся и долго смотрел осоловелыми глазами в серый мрак полутемного сырого каземата. И вдруг понял, что перед ним стоит человек. Вскочил — сна как не бывало.

— Вы кто?

Неизвестный коснулся рукой перевязанной головы, будто хотел поправить пропитанную кровью повязку. Он был в гражданском, на груди висел автомат.

— Я из охраны станции. Старший сержант Ярошенко.

Харкевич не знал, что сказать. Но вдруг вспомнил, что времени у него нет, надо бежать.

— Документы у вас есть? — спросил он и невольно взглянул на рубильник.

— Вот мой документ,— Ярошенко слегка дотронулся до своей окровавленной повязки.

Харкевич помолчал.

— Оставайтесь. Я побегу.

Он схватил автомат и побежал. Лестница громко гудела под его сапогами, наполняя глухим грохотом пустой коридор. На площадке у входа в турбинный зал он на миг остановился, решая, куда бежать дальше. Можно той дорогой, которой он проник сюда, но тогда пришлось бы взбираться на крутую опорную стенку, а из-за нее не видно, что делается в городе. Проще через турбинный зал, на большой двор пульта управления, а дальше — по лестнице к воротам, возле которых помещается сам пульт. Из ворот можно выглянуть прямо на улицу и даже увидеть дом...

Он бросился через турбинный зал, но остановился почти у самого входа. То, что он увидел, ужаснуло его. Огромные гнезда, в которых когда-то тихо гудели турбины, темнели, словно зловещие провалы, пустые и черные, как воронки от тяжелых бомб. Зал был сплошь захламлен обломками железных конструкций, тонкого и ажурного кружева металлических балок, поддерживавших когда-то легкую крышу. Вся задняя стена почти до самого фундамента лежала поваленная, и тяжелые глыбы цементированного кирпича и туфа кроваво краснели вперемежку с обломками железных ферм.

Харкевич с трудом пробрался на левый край зала, где была когда-то стеклянная стена. Сквозь нее он столько раз любовался величественной картиной нижнего бьефа, крутыми скатами плотины, по которым мягко и медленно переваливались широкие струи воды. Весной, когда ее собиралось слишком много, она вела себя иначе. Казалось, что с пробуждением всей природы скрытые первобытные силы просыпались и в ней, и медленные струи превращались в тяжкие обвалы, которые неистово рвались из всех отверстий, разбиваясь о скалистое дно.

Здесь, за стеклянной стеной, не слышно было грохота воды даже и весной. Ухо улавливало мелодичный гул десяти огромных турбин, он наполнял сердце покоем, какой-то особенной уверенностью.

Теперь была зима, но вода бешено рвалась из проломов, и в этом было что-то неестественное, тревожное. Она била с дикой силой, но не по всему гребню, как бывало когда-то, а лишь в отдельных местах — там, где война проломила для нее уродливые проходы. И в том, как дико вырывалась она на волю, не чувствовалось уже спокойной уравновешенности, продиктованной стихии человеческим разумом.

Надо было торопиться, но Харкевич не мог оторвать глаз от страшного зрелища. Еще с минуту он стоял, будто прикованный к каменной глыбе. Потом медленно пошел дальше, тяжело перебираясь через завалы железа и туфа, больше не оглядываясь на то, что его потрясло.

Струна, которая все время была натянута в его душе, вдруг оборвалась. После всего увиденного лучше было не думать о том, что его ждет. Если враг смог превратить в развалины и хаос полмира,

то можно ли надеяться, что он помиловал отдельную жизнь! Харкевич брел через огромный асфальтированный двор, который казался пустынным после заваленного обломками турбинного зала. И сам он был так же опустошен, как этот двор. Никого вокруг. Издалека доносились взрывы и пулеметные очереди. Где-то за южной окраиной шел бой. Но Харкевич не подумал о том, что стреляют уже очень далеко. Он просто шел, не думая ни о чем, и, сам того не замечая, вышел сквозь широко раскрытые ворота на улицу.

Дом, где жил когда-то Харкевич, стоял в переулке за углом, и даже издалека видно было, что и там все разрушено до основания. Сквозь голые деревья знакомого сквера просвечивали руины. Одиноким безлистный тополь высился над ними.

Здесь тоже никого не было. Но пусть бы даже кто-нибудь и появился — что это могло дать? Расспрашивать он все равно не решился бы, опасаясь узнать о том, чего боялся больше всего. Он перешел на другую сторону улицы и побрел к дому. Руины были уже застарелые, среди них виднелись темные ломкие стебли прошлогодних бурьянов. Видно, что все произошло давно. Никого нет в живых. А если кто и остался, то, наверно, ушел куда глаза глядят, убежал из этого ада. Через какие реки надо еще перейти, чтобы всех разыскать!

Харкевич подошел к тополи и погладил сморщенную живую кору. Тополь высоко вытянулся за пять лет. Нет, это неправда, что мертвое переживает живое. Вот и это дерево — оно перестояло железо и камень. Впилось цепкими корнями в землю и стоит. Да разве это было бы справедливо, если бы погибло и оно, унеся с собой в небытие то вечное и живое, что они втроем в него вложили?

Нет, камень не переживает плоти. Разве что живая плоть дарует ему частицу самой себя. Но тогда это уже не мертвый камень — в нем разум и жар человеческой души. Как в плотине, что высится позади, как во всех великих памятниках, которыми человечество украсило свой путь.

Харкевич постоял возле руин своего дома, будто над свежей могилкой — с непокрытой головой. Он и сам не заметил, когда снял шапку. Потом пошел переулком назад, все еще держа ее в руке. Он не знал, куда идти, просто пошел, чтобы не стоять на месте. Возле управленческого здания остановился: здесь перекресток и надо куда-то свернуть.

Над каменными ступенями грохнула тяжелая дубовая дверь. Харкевич оглянулся. Через мгновение он услышал знакомый голос Штукаренко:

— Харкевич, это вы?

Не ожидая ответа, Штукаренко быстро сбегал к нему:

— Жив! Вот это здорово!

Харкевич улыбнулся, и Штукаренко обнял его своими длинными руками.

— Ну и здорово же! Ей-богу, здорово! — в восторге повторял он, хлопая Харкевича по плечам, будто встретил школьного товарища, которого давно не видел. — Не дали им все-таки взорвать плотину! А? Черта с два!

Харкевич не знал ни о рассказе пленного майора, ни то том, что в кабеле, перерубленном ножом Амирадзе, был и тот провод, который он так долго искал. Но Штукаренко был уверен, что Харкевич знает все, и потому ничего не объяснял ему. Он только радовался вслух, расценивая молчание Харкевича как знак скромности настоящего героя.

— Я сейчас собираюсь на левый берег, хочу проведать комдива. Может, и вы поедете? Он рад будет увидеть вас.

— Благодарю.

Только теперь Штукаренко вспомнил, что Харкевич местный. Он пристально взглянул на него и вдруг нахмурился:

— Своих искали?

Харкевич не ответил, только повернул лицо в сторону разрушенного дома. Штукаренко понял.

— Это еще ничего не значит, поверьте мне...

Они постояли молча. Успокаивать было ни к чему.

— Пойду, может, встречу кого,— проговорил наконец Харкевич. Штукаренко положил руку ему на плечо.

— Желаю успеха,— сказал он, тронутый чужим горем.— И не теряйте надежды, все еще может сложиться хорошо.

Харкевич благодарно пожал теплую руку полковника и пошел вдоль улицы. Он миновал здание управления, в котором когда-то познакомился с Ксенией и где часто бывал вдвоем с Петей Славчуком. Но дом этот не вызвал в нем воспоминаний, в эту минуту они могли лишь прибавить боли. Он шел, все еще не зная, куда идет и почему именно избрал это направление. С таким же успехом он мог бы пойти и в противоположную сторону, мимо других домов и заборов, и, наверно, чувствовал бы такое же отчаяние и безнадежность.

— Вечером вернусь!— крикнул ему вдогонку Штукаренко.— Зайдите обязательно.

Харкевич обернулся, кивнул и пошел дальше. Штукаренко долго смотрел ему вслед, будто фигура Харкевича, вдруг постаревшая и сгорбившаяся, рассказала ему о том, что чувствует этот человек и что досталось ему за недолгую жизнь.

25

Штукаренко вез для Шумакова много приятных новостей, и только одна была печальной — смерть Голобородько. Он знал, что Шумаков более чем внимательно относился к этому толковому и преданному парню, и решил ничего ему сейчас не говорить. Узнает позднее — не стоит беспокоить больного. Голобородько уже не поможешь, а Шумакова надо побережь.

Он подошел к комнате комдива, возле которой, развалившись на стуле и опустив руки чуть ли не до самого пола, храпел Приходько. Штукаренко посмотрел на беспомощное и блаженное во сне лицо старого ординарца, на его жиденькие рыжие усы, что шевелились, как

живые, в такт громкому сопению, и ухмыльнулся. Положил руку Приходько на плечо, но тот не проснулся, и Штукаренко решил его не будить. Слегка открыв дверь, он неслышно вошел. Шумаков лежал на спине, словно бы глядя в потолок закрытыми глазами,— тоже спал и дышал ровно и тихо.

Штукаренко сбросил шинель и сел на подоконник. С минуту он смотрел на слегка побледневшее лицо товарища, потом достал из кармана письмо от жены, которое получил сегодня уже на правом берегу и только теперь имел возможность прочитать внимательно.

— Голобородько вернулся с тобой? — услышал он голос комдива.

— Черт! Все-таки разбудил я тебя! — с досадой крикнул Штукаренко.

— А я и не спал,— засмеялся Шумаков. — Видел, как ты вошел. Хотелось посмотреть, что делает человек, когда ему кажется, что за ним никто не следит.

— Это зависит от характера. — Штукаренко подошел к постели.

— А ты что делал?

— Письмо читал.

— От кого?

— От кого же? От жены. Просит передать привет.

— Спасибо. Как она там?

— Да она ничего. Лучше скажи, как ты?

— Буду прыгать на двух.

— Это самое главное. Васадзе мне докладывал.

— Васадзе!.. — в голосе Шумакова послышалась не то ирония, не то сочувственная нотка. — Командующий — как?

— Сегодня звонил, — Штукаренко избегал разговора о Лемешко. — Поздравлял с успехами, приказал привет передать. Я доложил ему, что через неделю ты будешь в строю.

— Завтра, а не через неделю.

— Ну, это глупости.

— Не стоит спорить. Рассказывай, что там у нас.

Штукаренко достал из папки карту и расстелил на постели перед Шумаковым. Терещенко уже воевал за шесть километров от города. Карта, густо разрисованная красными стрелами, говорила о наступлении дивизии вдоль Днепра. Сосед с левого фланга подтягивался к понтонной переправе и должен был высадиться на правый берег ночью. Если такими темпами продвижение пойдет и завтра, восемь немецких дивизий навсегда останутся в левобережных плавнях.

Он старался говорить Шумакову о положении на плотине как можно спокойнее. Не хотелось высказывать особенной радости, которая переполняла его, — Шумаков мог истолковать это как намек на прошлые несогласия. Он был далек от того, чтобы укорять Шумакова. Плотину они спасли, и это не могло не радовать комдива так же, как радовало всех.

И вдруг Штукаренко почувствовал: с Шумаковым что-то творится, и спрашивает и отвечает он как-то принужденно, будто все время думает о чем-то постороннем и старается это скрыть. Что это

может быть? С ногой все обошлось. Правда, на несколько дней Шумаков оказался в стороне от событий, но на войне это дело обычное. Что-то его беспокоило — Штукаренко видел. Даже внешность: неподвижное лицо с выражением спокойной торжественности, такое необычное для живого человека, — все указывало на какое-то напряженное, глубоко скрытое беспокойство. Это, разумеется, могло быть и что-нибудь личное — такое, что не имеет никакого отношения ни к его ранению, ни к делам дивизии. Вспомнилась фотография, случайно выпавшая из книги, когда он застал комдива одного с томиком Толстого в руках... Но не похоже, чтобы все это могло его сейчас беспокоить.

Лучше — просто спросить. Стыдливо промолчать или притвориться, что ничего не заметил, — все равно, что проявить равнодушие.

— Что с тобой, Иван? — Штукаренко наклонился над постелью.

Шумаков повернул к нему лицо, будто внезапный вопрос удивил его. Потом опять отвернулся и некоторое время молча смотрел в потолок.

Что с ним! Сказать «ничего» — значит солгать. Кому-кому, а Штукаренко давно уже пора рассказать обо всем.

Шумаков опять повернул лицо к Штукаренко и усмехнулся:

— А ты хитрый — и сквозь землю видишь...

— На метр и десять сантиметров.

Шумаков опять поднял глаза к потолку. Лицо стало снова спокойным и торжественным.

— Случай один, понимаешь, беспокоит...

— Да говори уж, говори, — сказал Штукаренко.

— Не знаю, с чего начать...

— Лучше всего — с самого начала!

О Ларисе Штукаренко все знал: как-то еще в прошлом году Шумаков рассказал ему о своей неудачной семейной жизни. Но ни о судьбе Шмакова, ни о нем самом он тогда не говорил. Обстоятельств, беспокоивших Шумакова, Штукаренко не знал совсем. Сейчас, слушая невеселый рассказ, похожий на исповедь, он вспоминал и свои, подчас необдуманные, а иногда и просто несдержанные слова и поступки, от которых нередко страдали люди — и посторонние и даже близкие, с горечью отмечал про себя: хоть получалось все это без умысла, но есть, есть и на его душе груз вины перед людьми. Правда, искалеченной судьбы на его совести не было, никому жизнь не изломал из мести, по злопамятству...

— И что ты собираешься делать? — спросил, когда Шумаков кончил свой рассказ.

— А что ты посоветуешь?

— Если бы хоть знать, где он сейчас, что делает...

— Если бы знать! — вздохнул Шумаков. — Впрочем, есть учреждения, где можно и об этом узнать.

— Есть, есть... — Штукаренко поднялся и зашагал вдоль просторной комнаты к окну.

Снаружи начинало темнеть, воздух густел и синел, а стекла то и дело отзвывались жалостным дребезжаньем, когда издалека доносился грохот фронта.

— Может, лучше сначала покончить с Гитлером? — тихо спросил Штукаренко, глядя в окно.

— Когда камень на душе...

— И все-таки есть в жизни главное и есть...

— Второстепенное? — закончил Шумаков быстро и резко.

— А хоть бы и так...

Шумаков пристально посмотрел на товарища, словно не был уверен: он ли это, Штукаренко ли перед ним. С минуту помолчал, и скорее себе, чем ему, устало проговорил:

— Может, и твоя правда. Не знаю. Только не нравится мне такое разделение... слишком похоже на эгоизм: как бы не истратить лишнюю кроху душевных сил... — Шумаков приподнялся, оперся на локоть и виновато улыбнулся. — Правда, Степан, не пахивает здесь этой самой штукой?

— Кроху душевных сил... А разве ты не все их отдаешь войне?

— Отдаю, брат, отдаю, — проговорил Шумаков с какой-то особенной искренностью и теплотой. — Но ведь и человек тот, перед которым я виноват, он, наверно, тоже хотел бы всего себя отдать!

— Так почему же ты об этом только сейчас вспомнил? — резко обернулся Штукаренко.

Шумаков опустился на подушку, словно локти уже не держали его. Вопрос угодил в самое больное место и заставил умолкнуть.

Штукаренко пристально смотрел на товарища — ждал ответа. Потом опять отвернулся к окну.

Над землей висела прозрачная снежная пелена, легкая, как мамино, и синеватая, как дым.

Штукаренко постоял, глядя, как спокойно опускались на землю снежинки. Природа жила своей жизнью, ее не интересовало то, что думают и творят на земле люди. Казалось, она отвернулась от них, убедившись, что ее рассудительная уравновешенность им недоступна.

Но отчужденная тишина за окнами успокоила Штукаренко. Он подошел к Шумакову.

— Ну, теперь пора.

— Поезжай, Степан.

— А ты об этом не думай. Наше дело воевать. Пока враг существует, ни о чем другом не думай.

— Звучит как проповедь, — засмеялся Шумаков. — Но вообще верно. — Он пожал руку Штукаренко.

— Ты поверь мне — это главное.

Штукаренко надел шинель и только теперь вспомнил о документах, которые привез на подпись. Три репортажи о присвоении звания Героя Советского Союза — капитану Сому, Вариводе и посмертно — Хохлу.

Шумаков подписал первую и вторую и задержался на миг, перед тем как подписать третью.

— Хохол,— прочитал он вслух.

Штукаренко положил бумаги в свою коричневую папку и еще раз взглянул на Шумакова.

— Ну, бывай.

— Бывай!

Штукаренко вышел, застучал каблуками по коридору.

Шумаков закрыл глаза, словно очень устал. Нет, человек не Спизиф, чтобы вечно таскать камень. Хорошо, что рассказал.

Он опустил руку под кровать и нашупал портфель. Расстегнул застёжку, достал лист бумаги. С минуту подумал и решительно написал четкими округлыми буквами: «ЦК ВКП(б), военный отдел. В связи с ранением и невозможностью некоторое время руководить операциями, прошу через неделю вызвать в Москву на один день по важному делу. Командир 78-й стрелковой дивизии полковник Шумаков». Потом перечитал написанное и сложил лист вчетверо, крикнул своим твердым раскатистым голосом:

— Приходько!

Ординарец остановился возле двери, козырнул, будто отогнал мух.

— Голобородько нет?

— Нет.

— Где его черти носят?

Приходько сокрушенно покачал головой и отвернулся.

— Всяко бывает, товарищ полковник, война...

26

За поваленным забором на дворе стояли двое. Один — стройный, в короткой черной кожанке, а другой — в шинельке, невысокий ростом. Того, с кем они беседовали, не было видно за углом, и казалось, что они обращались к стене здания, стараясь что-то растолковать ей.

Харкевич медленно шел по улице и совсем не собирался здесь останавливаться, но вдруг из-за дома послышался женский голос, и ноги остановились сами собой, словно зацепились за что-то. Голос был знакомый, очень знакомый, но кому он принадлежал, Харкевич вспомнить не мог.

Встревоженный, он несколько минут стоял и напряженно прислушивался. С улицы трудно было разобрать слова, сюда долетали лишь радостные восклицания: видимо, женщина приглашала бойцов к себе.

Харкевич наступил на поваленный забор. Быстро прошел во двор и сразу узнал Амирадзе. И в это мгновение, опять услышав женский голос, вдруг вспомнил: Клавдия Харитоновна!

Тот, кто был в кожанке, оглянулся, но продолжал что-то говорить, пока Харкевич не остановился перед женщиной. Клавдия Харитонов-

на собралась что-то ответить, но так и застыла. Видно, Харкевича не легко было узнать, и она долго смотрела на него, потом чуть слышно шевельнула губами:

— Боже... Олег...

Она сделала движение, будто хотела броситься к нему, но что-то вспомнила, метнулась к двери и исчезла в доме.

Амирадзе растерянно посмотрел вслед женщине и, когда они остались втроем, радостно воскликнул:

— Где же вы были? А я вас искал — думал, убило!

— Здравствуй, Сандро, — хрипло вымолвил Харкевич и подал ему руку. Только почувствовав теплоту руки Амирадзе, он понял, что его бьет озноб.

— Это старшина Цыганков, командир нашего разведвзвода, — указал Амирадзе на того, который был в кожанке.

Харкевич подал руку и Цыганкову, но не расслышал, что дальше говорил Сандро. Не мог унять нервную дрожь.

В это мгновение в дверях появилась Любовь Степановна. Она остановилась, растерянно переводя взгляд по очереди на каждого.

— Олег... да вот же он!.. Боже... — в радостном беспамятстве повторяла сзади нее Клавдия Харитоновна. — Вот же он!.. Не узнаете?

Любовь Степановна вскрикнула, бросилась к Харкевичу, припала к нему. Харкевич никогда не мог спокойно переносить женских слез, но сейчас готов был и сам разрыдаться. Он беспомощно гладил ее по спине и почти неслышно все время повторял:

— Ну, не надо... Ну, хватит...

— Мы, пожалуй, пойдем, — сказал Цыганков Клавдии Харитоновне.

— Ни за что не отпущу! И не думайте! — всплеснула она руками и решительно схватила его за рукав. — Хоть стакан чаю выпейте — сахару нет, зато чем заварить найдется. — Она потащила Цыганкова в дом. Амирадзе шел следом.

— Олег... боже! — Любовь Степановна гладила небритые щеки Харкевича, не отрываясь смотрела на него грустными большими глазами.

— Вы тут одни? — осторожно спросил Харкевич. Хотел просто спросить, где Ксения, но не решился.

— Отец полез на чердак взглянуть на свою лабораторию. — Любоби Степановне и в голову не пришло, что Харкевич ничего не знает об успехах профессора романских литератур в области неорганической химии. — Боже, как он обрадуется, когда увидит тебя!

— Пойдемте, вы простудитесь.

— Ничего, Олег, я привыкла.

Почему она ни слова не говорит о Ксене? Если бы произошло что-нибудь страшное, не улыбалась бы так... Значит, произошло, но, как ей кажется, не очень страшное, а для него это, наверно, все...

— Ну пойдем, пойдем, порадуем отца.

Внизу за столом сидят Цыганков и Амирадзе. В комнате рядом Клавдия Харитоновна разжигает примус, хочет согреть чай. А навер-ху, в квадратном люке, появляется нога профессора Стороженко. Он осторожно нащупывает на лестнице перекладину и медленно спускается с чердака.

— Молчи! — Любовь Степановна, как заговорщица, прикладывает палец к губам.

Они стоят на площадке и ждут. Стороженко слезает с лестницы и поворачивается к ним. Некоторое время он смотрит на Харкевича молча, потом подходит к нему и обнимает. Любовь Степановна опять всхлипывает, а мужчины долго стоят, прижавшись друг к другу, не двигаются.

Наконец Стороженко отпускает его.

— Пойдем, посмотрю, какой ты. Здесь темно.

В комнате почти пусто. Окно закрыто фанерой. На столе горит коптилка. Ксени нет и здесь.

Нет Ксени!..

— Не буду спрашивать, как ты: главное — жив, — говорит профессор, шагая вдоль комнаты, словно читая лекцию в университетской аудитории. — Сейчас всем одинаково — и тебе и нам. Может, и Ксения скоро вернется, тогда нам всем станет лучше.

Наконец! «Вернется». Значит, жива!

Любовь Степановна рассказывает ему о посланце от Ксени, показывает ее записку, из которой нельзя понять, где она теперь. Известно только, что жива. Правда, ответа ей теперь не передать, между ними фронт. Но главное — знать бы, где она, а фронт, наверное, теперь быстро покатится назад. Тогда они разыщут Ксюшу и все будет хорошо.

«Фронт быстро покатится...» Но знаете ли вы, что такое фронт, особенно если он катится, как волна?.. Что делается с камешками, которые эта волна перемалывает, наваливаясь и отступая вновь?

— Ни к чему теперь твое письмо, Люба... — вздыхает профессор. Наверно, он думает о том же, что и Харкевич, — мужчины в таких делах, как война, лучше разбираются.

— Любовь Степановна, чай готов! — кричит снизу Клавдия Харитоновна.

— А это, Олег, твои товарищи? — спрашивает Стороженко, имея в виду тех двоих, что сидят внизу.

— Да, товарищи.

— Ну, так пойдем, поговорить еще успеем. — И профессор выходит первым на площадку.

Цыганков уже открыл банку бычков в томате, и в это мгновение на пороге появляется Соломия и радостно всплескивает руками:

— Цыганков!

— С комприветом! — басит старшина и поднимает вверх жестянку консервов. — Бычки в томате!

Соломия приближается к нему, в глазах у нее слезы.

— Цыганков...

Любовь Степановна помнит эту фамплию. Она слышала ее не раз от Соломии. Тот самый, что командовал солдатами, которые должны были дать залп над могилой Мироненко. Он тогда сказал Соломии: не сердитесь — в воздух стрелять мы не будем. Пуля должна попасть в грудь врага. Ваш покойный — солдат, он это понял бы.

Цыганков. Тот самый Цыганков...

27

Мозг долго упирался, боролся с узеньким, как иголка, лучиком света. А луч колол глаза, проникал своим острием сквозь закрытые веки. Но Харкевич все еще спешил на работу, в наркомат — начальник отдела Козлов никогда сам не опаздывал и не терпел, когда опаздывали подчиненные. А Харкевич не терпел Козлова и спешил вниз по улице Горького, чтобы избежать неприятного разговора.

Лучик сверлил веки и проникал все глубже, и все новые клетки пробуждались в мозгу, и наконец их стало так много, что они совсем заслонили Козлова. Харкевич открыл глаза, увидел закрытое фанерой окно и луч, прорвавшийся сквозь щель, и почувствовал, что в комнате холодно.

Он натянул шинель под самый подбородок. Спешить некуда. Плотина уже позади — стрельбы почти не слышно, наверно фронт за ночь отошел далеко.

Вдруг в нем стала подниматься какая-то неудержимая волна. Она надвигалась быстро. Харкевич еще не знал, что это, но уже видел: она сияла и переливалась всеми цветами жизни, и понимал, что это радость! Чувство чего-то очень важного, сделанного им лично, переполняло необыкновенной легкостью, и казалось, что сейчас он быстро поднимется и побежит куда-то.

Плотина позади... О, это легко сказать! Сейчас в памяти возникали не отдельные мгновения, пережитые, когда полз по ее бетону... Все они странно слились в сплошное ядро, исполненное радости и чуда, в нем нельзя было выделить отдельные части.

Харкевич взял свою шинель и, ступая на носках, осторожно вышел на площадку. Внизу никого не было. Дверь, вырванная взрывом накануне, стояла прислоненная к косяку. Сквозь пустые, без стекол, решетки окон в комнату било яркое зимнее солнце и влетали одинокие снежинки.

Он вошел в холодную, с облупленными стенами ванную комнату. На окне в ведре — прихваченная ледком вода. Харкевич взял бритву Стороженко и кое-как побрился. Ледяная вода освежила, лицо порозовело и горело, легкость не исчезала, хотелось идти куда-то — все равно куда.

Дверь припорошило свежим рыхлым снежком. Харкевич переступил через поваленный забор и посмотрел вдоль улицы.

К нему быстро шагал Амирадзе. Увидев Харкевича, он припустил рысцей и крикнул:

— Олег Иванович, вас вызывает полковник Штукаренко! Там из Москвы кто-то прилетел, вас ждут.

Неожиданный вызов развеял недавнее чувство счастливой легкости, вместо этого в груди защеколало волнующее предчувствие новых забот.

Еще не дойдя до угла, он услышал глухой ропот и одинокие неспокойные восклицания. В голосах чувствовалось тревожное возмущение. Харкевич остановился и прислушался.

За углом, против сквера, там, где улица расширялась, переходя в небольшую площадь, стояла толпа. С почерневшей балки, уложенной на два столба, свисали обрезанные веревки, и Харкевич понял: виселица. Он остановился будто загипнотизированный, глядя туда. Амирадзе помолчал и нерешительно спросил:

— Подойдем?

Харкевич не ответил, но сразу же пошел. Еще издалека он увидел Клавдию Харитоновну. Она стояла в стороне, одетая в короткий ватник, и, как казалось Харкевичу, плакала.

Он остановился позади нее и, приподнявшись на носках, посмотрел через головы людей. Несколько бойцов несли от виселицы пожилого человека, тоже в ватнике. Торчали окостеневшие босые ноги, а когда бойцы наклонились, чтобы положить тело в ряд с другими, снятыми с виселицы раньше, он увидел посиневшее немолодое лицо с большой темной бородой — в ней запутались, не тая, свежие снежинки.

Харкевич коснулся плеча Клавдии Харитоновны, и она испуганно оглянулась. Увидев его, вдруг тихо разрыдалась, склонила голову к его груди.

— Это он... я его узнала... — услышал Харкевич сквозь громкие всхлипы Клавдии Харитоновны. — Это он...

— Кто? — не понимая, спросил Харкевич.

— Тот, кто принес записку от Ксени. Тот самый человек.

Да, да... он. Олег и раньше не очень верил, что посланец Ксени вновь зайдет. Но сейчас в сердце что-то оборвалось, словно оно возлагало на этот приход все надежды, — и вот надежд нет...

Несколько минут он бессознательно гладил простоволосую голову Клавдии Харитоновны и наконец сказал:

— Не говорите им. Пусть лучше ждут.

Клавдия Харитоновна подняла заплаканное лицо и быстро закивала головой, словно говорила: «Да, да, пусть не теряют надежды, пусть ждут».

Они еще мгновение постояли молча, потом Харкевич сказал:

— Идите домой.

Клавдия Харитоновна опять быстро закивала, молча повернулась и пошла. Только теперь Харкевич увидел, как она сгорбилась.

Эх, Ксюша! Ксюша!.. Выплывешь ли ты из жестокой волны, что катится тебе навстречу?

Почти целый квартал прошли они молча. Наконец Амирадзе спросил:

— Что — знакомый?

Харкевич не ответил, только покачал головой. Амрадзе вздохнул и лютно процедил:

— Вот гады...

Молча дошли до управления. Они поднимались по лестнице, когда издали послышалось:

— Товарищ Харкевич!

На перекрестке, у поворота на плотину, стояла группа людей — военных и гражданских. Штукаренко махал рукой. Рядом, опершись на костыль, стоял и смотрел в сторону Харкевича и Шумаков. Нога, закутанная в жилет из кроличьего меха, издали была похожа на березовый обрубок, на котором белела серебристая кора.

Харкевич зашагал к ним, чувствуя на себе их взгляды.

— Что, нашли? — нетерпеливо спросил Штукаренко, подавая ему руку.

— Нашел, — ответил Харкевич.

— Живы?

Харкевич молча кивнул: да.

— Ну вот, видите! — воскликнул Штукаренко. — Я был прав.

— Ты всегда прав! — не без иронии заметил Шумаков. Он взял руку Харкевича и задержал ее в своей. — Значит, дошли? — внимательно, с острым интересом посмотрел он на Олега Ивановича.

Харкевич чуть заметно пожал плечами, не зная, что ответить. Дошел до святых руин — и то счастье.

— А нам еще далеко, — вздохнул Шумаков. — Ну да ничего... Дойдем, пожалуй, и мы...

Сзади на плечо Харкевича легла тяжелая пятерня, и, оглянувшись, он увидел Одинцова. Вылитый Котовский — только еще выше и толще: под такого надо крепкого жеребца!

— Ну, привет, привет! Поздравляю, — Одинцов потряс Харкевича за плечи и махнул рукой в сторону плотины: — Что же, теперь отстраивать будем?

Харкевич неловко улыбнулся:

— За мной дело не станет.

Слова звучали непринужденно, но общо. Конечно, надо отстраивать, а как же иначе? За то и боролись, чтобы восстановить когда-то.

— Ну, Степан, пора, — сказал Шумаков и начал прощаться.

Харкевич понимал: они прощаются навсегда. Сделали свое дело здесь, теперь будут делать его дальше. На всем пути, что перед ними лежит, на всей бесконечной дороге, по которой будут гнать эту мутную волну туда, откуда она началась.

Эмка рванулась с места, а Харкевич еще долго чувствовал на себе неуклюжие объятия Штукаренко. Может, и встретимся. А почему бы и нет?

Шум мотора затих, машина исчезла вдаль. И показалось, что вместе с нею расплывается и тает что-то дорожное, непостижимое, с чем

сердце уже свыклось и почти срослось. Вокруг стояла тишина, только со стороны Днепра доносился чуть слышный монотонный шум воды, он звучал как-то непривычно спокойно и мирно после того, что здесь произошло.

Надо было идти. Одинцов уже поднимался по лестнице. Харкевич повернулся — и перед глазами опять возник переулок и в конце — темные руины, припорошенные снегом.

Над ними высился одинокий безлистый тополь. Его дерево. Живой свидетель, он напоминал о самом дорогом и приказывал: живи...

1963—1964

Киев

Въслѣдъ за сею побѣдою послѣдовала другая,
блистательнѣйшая, 16 мая под Корсуномъ.

Д. Бантыш-Каменскій

Корсунь

*Книга
вторая*



Вот так,— произнес профессор Стороженко, когда тягач наконец поволок по улице искореженный немецкий танк. Рядом, на тротуаре, стояли Любовь Степановна, Соломня и Клавдия Харитоновна. Харкевич вынимал сломанные штакетины из поваленного забора, наполовину уже сожженного в буржуйке. — Все кончается. Всею свое время,— многозначительно добавил профессор, но тут же улыбнулся, чтобы не подумали, будто он хочет поднять банальную сентенцию до уровня философского обобщения.

Танк стоял перед домом с того дня, как на Днепрогэсе отгремел последний выстрел. Изувеченная металлическая громада мозолила глаза, мешала проехать по переулку и вообще всем осточертела, особенно потому, что детвора с утра до вечера вертелась вокруг нее, отвинчивала какие-то гайки, взбиралась на гусеницы и с веселым гиканьем прыгала на брусчатку, не давая допоздна ни заснуть, ни посидеть, ни подумать.

Женщины поняли сентенцию профессора как приказ расходиться и медленно направились к дому. А маленький сынишка Соломни Ивасик побежал вместе с другими мальчишками вслед за тягачом, тащившим на буксире беспомощный танк. Дети восторженно вопили, Ивасик тоже радостно кричал, совсем позабыв, что всего две недели назад погиб его отец.

Стороженко еще минуту постоял на опустевшей улице, потом неожиданно обернулся к Харкевичу и сказал:

— Пошли, Олег. Устроим семейный совет.

Олег пошел вслед за бывшим тестем, неся большую охапку дров. Он давно уже не был членом семьи профессора Стороженко: после известия о том, что Олег без вести пропал на финской, Ксения стала женой Славчука.

Но Славчук уже лежал на кладбище, а Харкевич был жив и Ксению любил,— это знали не только он и она, но и ее родители. И хотя Ксения была где-то далеко и неизвестно, жива ли,— любовь, которую не смогли убить ни время, ни тяжелые испытания, поддерживала в Олеге надежду.

Женщины сидели за столом в прихожей у лестницы. Когда Кузьма Иванович появился в дверях, Любовь Степановна поднялась и пошла наверх. Соломия и Клавдия Харитоновна не встали, и профессор — то ли с удивлением, то ли с упреком — спросил:

— А вы?

Ни одна из них тоже не была членом его семьи, но женщины не стали возражать, и профессор, пропустив их вперед, поднялся по ступенькам.

В комнате было холодно — буржуйку топили только два раза в день: утром и вечером. Женщины сели на кровать. Олег с грохотом сбросил дрова на пол, а Стороженко остановился посреди комнаты, ожидая, пока его бывший зять управится с печкой и тоже сядет.

Наконец в буржуйке весело загудел огонь. Олег выпрямился, подошел к окну и оперся на подоконник. С минуту в комнате царил тишина. Потом заговорил Кузьма Иванович — несколько возвышенно и многозначительно:

— Я должен принять важное решение, но не хочу, да, собственно говоря, и не имею права делать это, не посоветовавшись с вами. Думать так заставляет меня то, что мы вместе пережили. — На миг он умолк и обвел взглядом присутствующих. — Вчера я прочел в газете, что в Киеве начинает работать университет. Это мой университет. Я не мыслю себе существования без него. Надеюсь, вы понимаете меня.

— А Ксения? — вспыхнула Любовь Степановна.

— Конечно, Ксения... В том-то и дело, — быстро проговорил Стороженко.

— Нам нельзя уезжать отсюда, — горячо сказала Любовь Степановна. — Человек, который принес записку, может еще прийти.

— Да, да, — закивал Кузьма Иванович. — Я не утверждаю, что мы должны уехать. Но это надо решить сообща.

— Я все равно не поеду, — сказала Любовь Степановна, как будто решение уже было принято. — Человек придет, а нас нет! Это значило бы — до конца войны потерять связь с дочерью.

— К сожалению, пока она по ту сторону фронта, появление этого человека все равно мало что даст. Допустим, он придет и мы узнаем ее адрес. Между нами фронт. А когда фронт откатится от того места, где она живет... — Он хотел сказать, что тогда Ксене самой нетрудно будет их найти, но осекся. А вдруг она ранена или больна? Как ей их искать?

— Нет, мужчины бессердечны... — выкрикнула Любовь Степановна, и по ее осунувшемуся, бледному лицу потекли крупные слезы.

— Ну, вот... — Профессор беспомощно развел руками. — Да я совсем не о том, — он уже отступал, как всегда при виде слез. — Вы все при деле: ты, например, служишь в больнице, Олег будет отстранять ДнепрогЭС. Соломия и Клавдия Харитоновна тоже работают... А я? Что делаю я?

Харкевич слушал, опустив голову. Он не мог глядеть Стороженко в глаза, потому что знал точно: человек, который принес записку от Ксении, не придет. Не придет никогда, потому что лежит на площади

в братской могиле вместе с другими, кого немцы замучили накануне своего отступления из Запорожья. Знала это и Клавдия Харитоновна, и когда Олег украдкой взглянул на нее, то увидел, что она тоже склонила голову.

Сказать об этом родителям Ксени Харкевич не мог. Не мог убить в них надежду. Не мог, как не могла и Клавдия Харитоновна, которая тоже молчала и сидела понурившись, будто была повинна в том, что знала больше остальных.

— Я слишком долго ничего не делаю,— снова почти шепотом заговорил Кузьма Иванович.— Занимался на чердаке производством вонючих спичек и торговал ими на базаре. Люди действовали, люди боролись, кто как мог, а я... Больше я так не могу.

Любовь Степановна подняла на него глаза. В них теперь были не только слезы, но и внезапно вспыхнувшая нежность.

— Это неправда, Кузьма. Это поклеп на самого себя,— горячо запротестовала она.— Когда понадобилось, ты взял в руки оружие. Все мое время — ты сам только что так сказал.

— Ну хорошо, прекратим спор. Мемуары писать еще рано. Что прошло, то прошло, каким бы оно ни было.— Профессор взял себя в руки и заговорил твердо и отдельно: — Что делать теперь — вот в чем вопрос.

— А разве для вас не найдется работы? — спросила Соломия.

— Например? — коротко бросил профессор и склонил голову набок, будто экзаменовал студентку.

— В Киеве учили и тут можете учить,— нерешительно ответила Соломия.— А тем временем появится тот человек, и все станет яснее.

Только теперь Харкевич поднял голову и увидел, что и Любовь Степановна внимательно глядит на мужа. Стало быть, простодушный совет Соломии понравился и ей. Понравился, потому что указывал выход и не отнимал надежды.

— И впрямь разумный совет,— заговорил Харкевич с облегчением.

— Ты так думаешь? — Стороженко повернулся к нему.

— А почему бы и нет? На правом берегу открылась школа, на левом должна открыться вторая...

— А вы, Клавдия Харитоновна, что скажете?

— А что тут говорить? — Женщина ответила вопросом на вопрос, но он прозвучал как согласие с тем, что предлагали остальные.

— Так... — протянул Кузьма Иванович, глядя в пол.

Сначала вышли женщины — все три. Харкевич еще подбросил дров в буржуйку и, когда убедился, что горит хорошо, тоже молча вышел из комнаты.

Профессор остался один. Он побродил по комнате, не находя себе места, наконец набрел на свое потертое кресло, медленно опустился в него и задумался.

Так он решил остаться в Запорожье. Ждать весточки от Ксени. Ждать, пока появится тот таинственный человек...



1

Решающие минуты, которые известный писатель назвал когда-то «роковыми мгновениями», бывают не только в жизни народов, но и в жизни отдельных людей. Они обрушиваются внезапно, как гром с безоблачного неба, возвещают грозное и неожиданное веление своенравной судьбы, и ей надлежит покориться, поскольку обстоятельства сильнее человека, хотя создает он их сам.

Тот осенний день позапрошлого сорок первого года был таким роковым мгновением в жизни Ксени.

Она стояла на околице села, названия которого не знала, растерянная, оглушенная безысходностью, в которой оказалась чуть ли не по своей вине, сбита с толку столь внезапно обрушившимися на нее событиями. По дороге навстречу ей мчались полосатые машины необычной формы и расцветки, набитые ящиками, железными бочками и вражеской солдатней. Трудно было смириться с мыслью, что это совсем не те, навстречу кому она вышла из дому, чтобы быть вместе с ними. Она не заметила, когда прорвали фронт, как случилось, что немцы оказались позади нее. Ксения шла по тихой степной дороге в сторону фронта, надеясь дойти до первого встречного подразделения советских войск, стать санитаркой или просто бойцом — кем прикажут, и вдруг позади ударил снаряд, потом на поле, где никого, кроме нее, не было, посыпались десятки, а может, и сотни снарядов, и, когда она выбралась из глиницы, которая спасла ее, сзади, с хутора, откуда она только что вышла, выползла колонна огромных машин, которых она не только не видела, но даже не представляла, что они могут там быть.

Теперь Ксения стояла уже на улице другого села. Немецкие машины мчались по широкому грейдеру, вздымая столбы пыли над притихшей степью, наполняя мир таким грохотом, что казалось, земля готова

расколотся. Здесь уже не стреляли, взрывов не было слышно даже издали,— значит, война откатилась далеко на восток, может быть до самого Нового Запорожья. Можно пойти обратно в сторону Днепророгэса, где ее дом, где родители, которых она не послушала, когда они уговаривали ее остаться. Но Ксения обессилела, надо было отдохнуть, да и нельзя еще раз идти навстречу войне, потеряв всякое представление о том, что происходит вокруг.

Ксения вошла в крайнюю хату. Огляделась, позвала — никто не ответил. Опустилась на табуретку, поставила чемодан на глиняный пол. Не в силах подняться, прислонилась к стене и провалилась в сон, словно в черную пропасть.

Проснулась она оттого, что около нее кто-то стоял. Сначала ей показалось, что это приснилось или почудилось, но через мгновение она поняла, что рядом в самом деле кто-то есть. Она испуганно метнулась в сторону и открыла глаза. В комнате было темно, но очертания человеческой фигуры не пропадали: трудно было только понять — мужчина это или женщина.

— Ну вот, испугалась... — услышала она женский голос. — В пустой дом не побоялась войти, а живого человека испугалась!

— Простите... — пробормотала Ксения и поднялась. — Третьи сутки на ногах, и минуты не спала...

— Все теперь на ногах, никто не спит, — скорбно вздохнула женщина.

Ксения хотела объяснить, кто она такая, почему оказалась здесь, но женщина не ждала объяснений. Может, ей и так было ясно, а может, привыкла к темноте и могла догадаться по внешнему виду.

— Теперь можно и в хате отдохнуть: фронт прошел. Как дальше-то будет, как жить станем! — вздохнула она.

Ксения ничего не могла ответить. Только обрадовалась, что не выгнали, оставили в доме и, может, разрешат ненадолго прикорнуть на лежанке.

Так в тот вечер они ничего и не рассказали друг дружке о себе. Лампы не зажигали. В темноте улеглись — хозяйка на деревянной кровати, а Ксения — на лежанке: хоть печь и не топится, а вроде снизу веет теплом.

Ксения уже снова стала засыпать, когда хозяйка, которую звали Мотрей, вдруг сказала:

— Пленных наших нагнали, кайны, полный колхозный двор. Говорят, завтра отпустят кое-кого.

Ксения резко поднялась:

— Отпустят?

— Да. Столько нагнали, что им не справиться. Объявили — отпустят тех, за кем придут жены.

— Что это они такие добрые? — удивилась Ксения.

— Не от доброты это, — буркнула женщина. — Пленных стеречь надо, да и кормить, хоть макухой. А им, верно, некогда, вперед рвутся.

— Но среди пленных, наверно, мало здешних.

— Ходила я, присматривалась издали. Вроде никого нет.

— Так кого ж они...

Ксения хотела спросить: за кем же придут жены, если местных среди пленных нет? Не съедутся же со всей страны, чтобы своих забирать!

Но женщина поняла с полуслова и тихо рассмеялась.

— Попа не станут спрашивать: венчал ли? — И вдруг смех ее резко оборвался. — Чужого мужа спасешь, может, кто и твоего так спасет...

Ксения молчала, только слышала, как громко стучит сердце. То, о чем говорила женщина, было для нее значительным и новым. В негромких словах, сказанных так строго и просто, чувствовалось и презрение к злобному врагу, которого, однако, нетрудно обмануть, и желание дать отпор любым способом, даже рискуя собственной жизнью. Ксения не была уверена, что это так легко осуществить: прийти в лагерь, указать на первого встречного и убедить немца, что это твой муж. Но женщина не сомневалась в удаче, и то, как она рассмеялась, когда в вопросе Ксении прозвучало сомнение, возвращало надежду, а главное — убивало страх.

После этого невозможно было заснуть. Тело гудело от усталости, но сон не шел. Ксения металась на жесткой лежанке, иногда сдерживала дыхание, чтобы прислушаться, спит ли женщина. Та дышала ровно, и Ксения снова укладывалась и тоже пробовала заснуть, даже на миг погружалась в тревожное забытьё: видела Олега, родителей, — но потом снова просыпалась от воя снарядов.

На рассвете беспокойный сон все-таки сморил Ксению. И когда Мотря растолкала ее, она вскочила, оперлась на локоть и долгим бессмысленным взглядом уставилась на хозяйку, не понимая, где она и кто перед ней стоит. Наконец опомнилась и виновато улыбнулась.

В скупом свете, пробившемся сквозь стекла и заполнившем комнату сизоватым маревом, Ксения впервые увидела округлое лицо молодой женщины, показавшейся ей накануне почему-то значительно старше: высоко поднятые черные брови, улыбающиеся глаза, в которых, даже сквозь улыбку, пробивалась скрытая решимость, и большие, коричневые руки — с них еще не сошел летний загар.

— Пойду! — сказала женщина. — Может, и вы со мной?

— Конечно. Я сейчас. — Ксения прыгнула с лежанки, торопливо заплела косу и накинула жакет.

— Лучше б в одном платье, — заметила женщина. — А то не поверят — жакетка ведь городская.

Ксения покорно сняла жакетку и не знала, куда положить или повесить ее. Женщина взяла, аккуратно свернула и повесила на гвоздь. Потом они вышли — Мотря впереди, Ксения сзади — и так, след в след, пошли по тропинке вдоль заборов на другой конец села.

Ксене не хватало уверенности и спокойной решимости хозяйки, что шла впереди. Она покорно плелась следом, еще не сознавая, что в ее жизни происходит важная и значительная перемена. Брела, еще не понимая, что вступила на путь, где уже невозможны недав-

ние, только личные переживания. Но тут на узенькой тропинке, которая, извиваясь, вела к колхозному двору, — туда, где пленные ожидали решения своей судьбы, не было времени на раздумья. Ксения все ускоряла шаг, она почти бежала за женщиной, и уже это само по себе было действием, к которому она никак не была готова, хотя успех или неудача могли кого-то спасти или убить ее самое.

Она еще издали увидела молчаливых женщин, сбившихся в кучу напротив колхозного двора. Они стояли, тесно прижавшись друг к дружке, и все вместе походило на что-то неподвижное, неживое. Приблизившись, Ксения увидела и пленных. Их уже выстроили по ту сторону реденького штакетника, которым был обнесен колхозный двор. Она невольно уцепилась за руку своей проводницы, и та, верно охваченная тем же волнением, сжала ее руку и пропустила вперед. Теперь Ксения оказалась в середине молчаливой толпы женщин. Это ее немного успокоило, и, окруженная со всех сторон людьми, она почувствовала себя увереннее.

Часовой, стоявший у ворот, прокартавил что-то, обращаясь к другому солдату, который прохаживался в отдалении, и оба громко расхохотались, — верно, соленой шутке по адресу женщин. Похоже было, что настроение у них не такое уж воинственное и они не собирались пускать в ход автоматы, которые держали наперевес.

Ждать пришлось долго. Уже совсем рассвело, когда из-за конюшни показался офицер. Он шел медленно, с отвращением переступая через кучи кизяков, и, когда приблизился к ограде, часовой распахнул перед ним калитку. Офицер вышел на улицу, остановился, с минуту помолчал, постегивая по голенищу прутиком, потом улыбнулся и показал на конюшню.

— Жена коммунист, офицер, юде одер циган — марш забирала труп!

Это означало, что те, кого он перечислил, лежат расстрелянные в конюшне.

Женщины стояли молча, не двигаясь с места.

— О, так! — громко рассмеялся офицер. — Я все понимал! — Смех его сразу оборвался, он подошел к калитке, рывком повернулся к женщинам. — Битте айне, — скомандовал он и поднял вверх один палец, чтобы лучше поняли. — Айне, познавал мужа! Шнель!

Ни одна женщина не двинулась с места, словно у всех отнялись ноги.

— Ну, битте, битте! Я сказал — шнель! — снова крикнул офицер.

Больше нельзя было тянуть: он мог закрыть калитку. Мотря, которую Ксения держала за руку, резко высвободилась, протиснулась вперед и пошла. У Ксени зашлось сердце, а ноги подкосились — вот-вот упадет.

Женщина вошла во двор и, не колеблясь, направилась к одному из пленных — она выбрала его заранее, — пожилого, с грязной, пропитанной кровью марлевой повязкой вокруг головы.

Мотря подошла, вскрикнула и обняла его за шею. Пленный, как видно, смутился, но понял, что и он должен обнять ее.

— Шнелль, шнелль. Вег! — крикнул офицер, и солдат, тяжело опираясь на плечо женщины, вышел из калитки.

Офицер расстегнул планшет, висевший на боку, вынул бумажку и что-то спросил у пленного. Тот, как видно, назвал, офицер вписал его фамилию в заранее заготовленную бумажку и подал ему удостоверение.

Ксения решилась. Она прошла сквозь толпу и уже стояла впереди, когда офицер снова подал знак. Сердце не унималось, но ноги ступали уверенно. Когда она приблизилась к калитке, офицер оглядел ее с головы до ног и только воскликнул:

— О!

Она вошла во двор, не зная, к кому подойти. И только почти перед шеренгой ее осенило: «Молодая женщина не должна брать пожитого! Это вызовет подозрение и провалит все дело». Она впиалась глазами в шеренгу и увидела высокого человека с подвязанной раненой рукой. На вид ему можно было дать лет тридцать пять — не больше. Ксения подошла к пленному и, не выдержав напряжения, громко зарыдала. Это было очень кстати. Она обняла неизвестного, и он левой рукой обнял ее. Так, обнявшись, они и вышли на улицу. Ксения рыдала, словно и впрямь спасла самого дорогого и близкого ей человека.

2

Жить двум парам в одном доме не годится, а тем более в такое время, когда любая мелочь привлекает внимание и может накликать беду. Но деваться было некуда, пришлось всем четверым идти в одну хату, хотя бы для того, чтобы решить, как быть дальше. Беспокоило и то, что хата стояла у самой дороги, а в такую всякий свернет — кто за водой, а кто и за твоей жизнью.

Пока женщины ухаживали за ранеными, меняли почерневшие от грязи бинты и кое-как кормили, все перезнакомились. Старший — Степан Голота — родом из Изюма, города, где еще не было немцев, стало быть, ему надо идти через фронт; младший — Федор Непорожный — из-под Корсуня, до войны заведовал в Кадитве школой. Жена умерла перед войной; дочка жила с бабушкой, и хата есть, если не сгорела.

— Буду пробираться домой, — сказал он. — С отцом, честно говоря, я не ладил, но Оленка там, да и крыша над головой своя.

На ночь еще пришлось остаться у Мотри. Мужчин уложили на кровати. Ксения снова устроилась на лежанке, а хозяйка залезла на печь. Легли рано, как только стемнело. Солдаты быстро уснули, измученные недавними невзгодами, а особенно ужасом последней ночи, когда немцы на конюшне расстреливали их товарищей. Иногда то один, то другой вскрикивал во сне — то ли болели раны, то ли мерещилось страшное. Ксения слышала эти крики, всякий раз вздрагивала, замирала, а сама все время вспоминала Олега, о котором вот уже несколь-

ко месяцев ничего не знала, родителей, оставленных в Новом Запорожье, которые теперь, наверно, тоже не спят, думают о ней и о том, что если фронт перешагнул через это село и откатился так далеко, что даже пушек не слышно, то, возможно, и дорога на Запорожье уже перекрыта. Теперь Ксения отрезана от дома стеной огня и не скоро узнает, живы ли те, кого она так любит.

Мысли роились, голова разламывалась от болезненной горечи, а к горлу подкатывался глухой стон, который трудно было сдерживать. Это было страшнее самоубийства Пети Славчука, страшнее ошеломляющего воскрешения Олега Харкевича, который оказался живым, после того как пропал без вести на финской; это было тяжелее, чем отчаяние и позор, чуть не убившие ее тогда, потому что, каким бы громом среди ясного неба ни было возвращение Олега, он все же вернулся живым и здоровым. А когда хоронили Славчука, рядом стояли отец и мать, на которых можно было опереться. Сейчас она осталась одна. И сердце сжималось от жалости к себе, от сострадания к людям, от страха и отчаяния перед этой сокрушительной волной, которая никого не щадит и уничтожает все на своем пути.

Ксения обрадовалась, когда с печи донесся тихий шорох и, склонившись к ней, Мотря шепотом спросила, не спит ли она. Нет, нет, конечно, ей тоже не спится. Разве уснешь после такого дня? И надо бы, да сна нет...

Мотря спустила на лежанку голые ноги, Ксения подобрала под себя свои, и обе уселись, прижавшись одна к другой. От сонного тепла этой женщины у Ксении прояснилось в голове, сразу ровнее и спокойнее забилося сердце, словно она почувствовала, что снова есть защита, что в грозном разбушевавшемся море ей протянули руку помощи. В сумерках Ксения ясно видела массивное, округлое лицо с маленькими ямочками у губ, сурово изогнутые брови, нитку старинных кораллов,—верно, доставшихся от матери, а матери—еще от бабушки. Повелея той же спокойной решимостью, с какой вела себя Мотря, разговаривая накануне там, возле колхозного двора, и когда ухаживала за ранеными... Ксения смотрела на нее внимательно, с почтением и благодарностью за то, что она такая, как есть, и сдерживала дыхание, боясь пропустить каждое слово.

— Ну а как же вы? — раздался вопрос, и сердце у Ксении екнуло: ведь она сама все время спрашивала себя об этом и не могла ответить.

— Не знаю,—прошептала она.

— Здесь оставаться нельзя. Одинокой, да еще такой красивой... — И Мотря вздохнула: — Ой, милая, погубят!

Об этом Ксения не думала. Немало читала о таком в газетах, но даже мысли не допускала, что это может случиться и с ней. Теперь, услышав, вспыхнула, ей вдруг показалось, что Мотря волнуется не о ней, а о себе—в такое время в доме чужой человек, а хозяйка даже не знает, кто он, откуда родом... Но подозрение отпало сразу: не спрашивает же Мотря у раненного в голову, как ему быть, и не боялась же она первой выйти из толпы, чтобы спасти его?!

— Попытаюсь и я пробиться домой,— сказала Ксения, вспомнив ответ Федора Непорожного на такой же вопрос.

— Далеко теперь ваш дом, милая, не пробьетесь.— Мотря положила ей на плечо тяжелую руку.

— За три дня дошла сюда, за три обратно дойду,— улыбнулась Ксения.

— Сюда пришли по своей земле, а обратно придется идти вроде бы по чужой,— пояснила Мотря.— А может, еще и через фронт пробиваться... Не шутка!

Это была правда. Все на свете относительно, даже расстояния. Да и фронт впереди, а у тебя ни документа немецкого, ни пропуска нет.

— Что же делать? — спросила Ксения, и в голосе зазвенела почти детская тревога.

— И ему будет трудно пробиваться одному,— сказала Мотря, словно и не слышала вопроса Ксени.— Как-никак рука перебита, да еще правая.

Ксения молчала. Она понимала, что именно советует ей Мотря. Идти с Федором вдвоем легче. Спасать до конца, раз уж взялась, и спастись вместе с ним. Все-таки у него документ, а она возле него — жепка.

Это был выход, но Ксению он пугал. Вместо того чтобы идти домой — забиваться в чужие края, да еще с незнакомым человеком... К тому же фронт раньше или позже откатится назад. Переждать, перетерпеть — хорошо бы здесь!

Сейчас уходить из этого чужого дома было труднее, чем несколько дней назад из своего, и расставаться с почти незнакомой женщиной труднее, чем с матерью и отцом. Тогда уходила окрыленная надеждой приносить пользу, встать в один ряд со всеми. Мать плакала, отец запрещал, но все трое знали, что уходит она не в пустыню. Теперь впереди была тревожная неизвестность, полная постоянного риска и коварных опасностей, которые подкарауливают за каждым углом, угрожая отнять жизнь без борьбы, просто так, ни за что. А встретит ли она там такого человека, как эта женщина, чья рука лежит сейчас у нее на плече, готового защитить ее своей мудростью, а то и смелым поступком?

— Идите, милая, с ним,— продолжала Мотря, и Ксения уловила в ее голосе ноты той ласковой доброты, о которой она только что думала.— Что чужой — не беда. Наши теперь — все свои. Теперь только немец чужой. Вы села минуйте, идите ночами, а днем пересидивайте в стогах да в копнах. Вот так потихоньку да помаленьку и его домой приведете, и сами прибудете в безопасное место. Переждете у него в хате, а весна настанет, может, наши и погонят немца.

Мотря говорила, будто ворковала, голос звучал спокойно, убаюкивающе, а Ксения чувствовала, как вся холодеет от темной безысходности, которая вновь разверзлась у нее перед глазами, как пропасть, готовая вот-вот поглотить ее; душу охватывало смятение, с которым она не могла совладать.

Может, Ксения и расплакалась бы, не застопи Федор. Он слышал, что говорила Мотря, хотел подняться, но задел раненой рукой за подушку, и его пронзила острая боль. Женщины замерли, словно только теперь поняли, что в доме есть кто-то посторонний и он может услышать разговор, не рассчитанный ни на кого, кроме них.

С минуту царила тишина, неясно вырисовывался силуэт Федора, который сидел, спустив босые ноги на пол, и тоже молчал.

— Это точно,— сказал он наконец.— В одиночку до дому не дойдем — ни я, ни вы. Вдвоем можно бы и в ваши края податься, только ведь — фронт, а над Днепром, сами знаете, голая степь, в случае чего и укрыться негде. А у нас вокруг Корсуня леса, да и документ на руках. И людей у меня своих в селе немало. Только бы добраться, а там выручат, не дадут пропасть.

Ксения понимала, что он обращается только к ней. Мотре об этом говорить не было надобности. Федор предлагает только ей,— значит, и он убежден, что это единственный выход.

— Я и сам хотел об этом сказать... да как-то... — Федор осекся, но Ксения поняла, что он имеет в виду: хотел, но не решился, боялся, что она неверно истолкует.

Это как-то сразу успокоило ее. Значит, застенчивый и совесть не потерял. Заботится не только о том, чтобы самому до дому добраться. И не надломился он, не покорился беде, раз говорит о людях, которые не дадут пропасть.

Ксения вдруг почувствовала неожиданную уверенность. Ведь он разговаривает с ней откровенно, значит, доверяет. А почему бы и нет? Там, возле колхозного двора, она вела себя как положено. Что пережила в те минуты, известно только ей одной, но ведь переборола себя, вышла из толпы, вывела его из шеренги, не испугалась, что пристрелят... Это было открытие из тех, какими приятно радовать самое себя. Она быстро соскочила с лежанки, пошла было к Федору, но остановилась посреди комнаты и перебросила через плечо распустившуюся косу.

— Значит, вы тоже так думаете? — не то подтвердила, не то спросила она.

— Думаю, что так лучше,— поглядел на нее Федор.

— Вот видите,— быстро заговорила Мотря.— Я бабьим умом дошла, а ведь и мужик говорит то же, послушайте его. Как-нибудь дойдете, а там видно будет, что дальше. А придет весна, засияет солнышко... Господи!..

Так и решили. Оставалось выработать маршрут. Сообщения Информбюро, которые знал Федор, сильно устарели, но и по ним было ясно, что фронт уже далеко от мест, куда им надо пробираться. Следующий день провели еще у Мотри — раненые на чердаке, женщины в хате. Когда стемнело, Мотря приготовила Ксене и Федору в дорогу кусок сала, несколько луковиц и каравай хлеба — все, что могла выкроить из своего скудного запаса.

А когда совсем стемнело, они вышли...

Родное село Федора Непорожного было далеко — под старинным городом Корсунем, где почти три века тому назад войско Богдана Хмельницкого одержало свою знаменитую победу над поляками, уничтожив тягостное владычество братьев Вишневецких. Здесь Федор родился и вырос, отсюда уехал учиться в одесский пединститут, а вернувшись после окончания учебы, стал директорствовать в местной школе, которую некогда окончил.

Село называлось Калитва, — от этого слова, как казалось Федору, тоже веяло стариной, и, рассказывая своим ученикам о подвигах знаменитого гетмана, он всегда чувствовал дыхание далекой истории, как бы исходившее от этого названия.

Он понимал, что добраться домой нелегко, и хоть и не знал точного расстояния, но представлял себе — что значит пройти пешком через все Криворожье, а затем и через всю Кировоградщину, оккупированные к тому же вражескими войсками. Но ведь фронт и сейчас позади, успокаивал он себя, а идти на запад — стало быть, опасность будет отдаляться. А в тылу спокойнее, да и справка, выданная немцами, при нем, она скреплена печатью и, значит, вполне законная.

Ксения оказалась хорошим ходяком — всю ночь прошагала наравне с Федором. Но перед рассветом, решив немного передохнуть, она вдруг почувствовала, что натерла ногу. Когда отошли в сторонку от грейдера, Ксения присела у скирды и стала переобуваться.

В это время послышалось фыркание грузовика, а через несколько минут машина свернула к скирде и остановилась рядом.

В кузове, нагруженном какими-то ящиками, было двое солдат, а в кабине еще один, как видно старший. Он выскочил на стерню и окликнул Федора. Стоя у скирды, Ксения почувствовала, как вдруг забило сердце. Она не слыхала, о чем разговаривал Федор с немцем, но только сейчас впервые поняла, что такие встречи им предстоят еще не раз, и, хотя расстояние от фронта с каждым днем увеличивается, опасность не уменьшается.

Федор добыл из внутреннего кармана справку и подал немцу. Тот повертел ее в руках с явным недоверием, потом стал читать, а через минуту вернул Федору.

Ксения успокоилась: если бы справка его не удовлетворила, не стал бы возвращать. И когда немец, отстранив Федора, зашагал к ней, Ксения уже была почти спокойна.

Немец подошел, наклонился над узлом с их продуктами, развязал, пошарил внутри и вытащил пакет с салом. Развернул, понюхал, потом аккуратно завернул снова и, довольный добычей, молча пошел к машине. Через минуту дверца кабины хлопнула и машина тяжело двинулась с места.

Они долго сидели молча у развязанного узла, словно пришибленные происшедшим. Наконец Федор хрипло сказал:

— Выходит, по дорогам гулять нельзя... И днем ходить — опасно. Хоть документ и на руках, а встреч придется избегать...

Ксения не ответила. Она понимала, что все не так просто, как казалось еще вчера, когда сидела на лежанке у Мотри и слушала то, в чем уверял ее Федор. Значит, придется избегать дорог, днем где-нибудь прятаться, а двигаться только ночью. Что ж, степью идти труднее, да еще в осенней тьме, но иного выбора нет...

Они молча поднялись и двинулись в сторону, подальше от грейдера, в степь. Отошли километра два, зарылись в скирду и притаились до ночи. А когда степь заволокло густой, промозглой теменью, двинулись напрямик через мертвое безлюдное поле, не видя впереди ни единого огонька.

Минул месяц, но они не прошли еще и четверти пути. Кривой Рог остался позади, но до Кировоградщины было еще неблизко. А дождливая осень переходила в бесснежную зиму, в степи гулял ледяной ветер, особенно по ночам, когда наступала пора идти дальше. Оба коченели, особенно мерзла Ксения, у которой не было ничего теплого, да и ботинки расползлись совсем. Когда было невмочь, Федор отдавал шинель Ксене, но обоим, в сущности, легче не становилось, так как в этом случае коченел до костей он.

Как-то ночью, зарывшись в очередную скирду, Федор сказал:

— Не получится у нас ничего, пропадем да и только. Надо где-то перезимовать.

— Где? — еле слышно спросила Ксения. Она уже давно понимала, что без передышки они до цели не дойдут.

— То-то и оно — где? — вздохнул Федор.

Они решили, что, как только представится возможность, надо свернуть в какое-нибудь село или на хуторок подальше от дороги, где может и не быть немцев, — спрашивать, может, кто-нибудь и приютит.

Следующей ночью, проходя мимо безлистой лесополосы, они услышали лай собак — неподалеку, в сторонке. Как видно, там был степной хутор. Ксения осталась дожидаться, а Федор пошел.

Зарывшись в прелую листву, Ксения напряженно прислушивалась к шороху его осторожных шагов, пока он не слился со звоном промерзлых ветвей. Ей стало страшно: что, если не вернется, нарвется на немцев, а справка не спасет? Она впервые в жизни почувствовала себя такой одинокой и заброшенной, оставленной на произвол судьбы, — никогда еще с ней такого не было, ни разу она еще не чувствовала такой заброшенности. Ветер пронизывал до костей, мороз забирался под шинель, которой укрыв ее Федор, но она не ощущала холода, совершенно раздавленная своим тяжким одиночеством. Если Федор не вернется, куда ей податься, что делать одной?

Только теперь, впервые, она поняла, чем был для нее этот человек, которого она спасла и который стал ее единственным защитником. Будто в этом страшном мире можно было защитить и это мог сделать только он — Федор.

Позже она часто вспоминала эту ночь. Много ей выпало страшных ночей впереди, но эта всегда вспоминалась, и было странно и

непонятно: как ее пережила, почему не умерла в той лесополосе от страха и сознания полной беспомощности.

Федор вернулся под утро. Оказалось, что на хуторе немцев нет, да и не останавливались они там ни разу. Как-то проезжали, потребовали сала, яиц и, получив, поехали дальше.

На этом хуторе Ксене и Федору и удалось перезимовать. Пришлось только разъединиться: Федора приютил одинокий старик Поликарп Мороз, а Ксеню такая же одинокая старуха Палажка Мельник. Соседей опасаться не приходилось — все были свои, у кого сыновья на войне, у кого муж на фронте. А немцы не появлялись — война укатила далеко на восток, а тыловые дороги проходили тоже не близко от хутора.

Зима стояла лютая, снегу намело почти что до стрех, по единственной хуторской улочке трудно было пройти, и Ксения редко встречалась с Федором. Иногда он заходил, делился новостью, которая случайно забредала к нему, и это взбудораживало Ксеню. Кое у кого на хуторе было радио, что-то все-таки удавалось узнать. Теперь ее Запорожье давно было под немцем, ночью, лежа на печи с раскрытыми глазами, она думала о весне и взвешивала — куда податься: с Федором в его село или обратно, в Запорожье? Решить было нелегко. Она не сомневалась, что родители вернулись в Киев, что ей делать в Запорожье без них? Сама она уже так далеко забралась, до дому много дальше, чем до села, куда звал Федор!

В марте, когда стало капать с крыш, он вдруг сказал:

— Нехорошо нам уходить от наших стариков, отлежавшись на их печи и отведав их хлеб! Надо отблагодарить, подсобить управиться на огороде. Колхоз-то ведь им нынче на зиму ничего не даст.

Это было и справедливо, и благородно. Ведь сыновья на фронтах, невестки и дочери погнали колхозное стадо на восток, кто старикам поможет?

Так и пробыли они до лета — Ксения у старой Палажки, а Федор у деда Поликарпа, — пока на огородах поспевали картофель и свекла. Так бы пробыли и до осени, пока урожай не соберут, но вдруг случилось уже почти неожиданное — и пришлось собраться вмиг и уходить немедленно.

Федор пришел среди ночи и постучался не в дверь, как всегда, а в крохотное окошко в задней стене, выходящее прямо на печку. Ксения чиркнула спичкой, поднесла огонек к стеклу, лучик мелькнул по лицу Федора, и она сразу поняла, что случилось неладное. А он, как только переступил через порог, тихо сказал:

— Собирайтесь скорее, надо уходить, на хуторе эсэсовцы.

Ксения не стала расспрашивать — зря среди ночи Федор ее подымать бы не стал. Она быстро оделась, кое-как увязала узелок со своими вещами, давно уже превратившимися в тряпье, обняла старуху и выбежала вослед за Федором. Старуха еле успела ткнуть ей в руки краюху ржаного хлеба, перекрестила поглотившую их ночную тьму, бессильно прижала лицо к дверному косяку и горько заплакала.

Они побежали вдоль огорода к лесопосадке, Ксения еле успевала за Федором, и ни он, ни она не представляли, что их ждет.

А ждали их долгие месяцы животного прозябания в пустынных степях, изредка перемежавшегося теплом натопленных изб, в которых люди с риском для собственной жизни давали им приют на день. Потом снова наступала темная ночь в заснеженных степях, из нее выплывали влажные скирды необмолоченного хлеба и страх перед возможной встречей с немецкими патрулями, когда могут походя выстрелить и оставить на дороге, где тебя занесет снегом и вечным забвением, и никто не узнает твоего имени, словно ты никогда его не имел...

4

Трудно сказать, откуда в комендатуре узнали о возвращении Федора. В Калитву они с Ксенией пришли ночью, незаметно проскочили мимо немецких патрулей, а доски, которыми крест-накрест была забита дверь пустовавшего дома, оторвали совсем неслышно. Свет, конечно, не зажигали, да и керосина в лампе не было, и спать легли — не легли, а повалились куда попало, даже не затопив печь. И все же утром, как только забрезжило, на крыльце затопали сапоги, дверь распахнулась настежь, и на пороге появился полицай с винтовкой наперевес, словно боясь, что в доме окажут сопротивление.

Федор вскочил с кровати, на которой ничего, кроме сырой прошлогодней соломы, не было, и не сразу узнал Гната Голубничего.

Гнат обернулся, увидев Ксению, которая тоже проснулась, но еще лежала на холодной лежанке, молча придвинул табуретку к столу и сел.

— Значит, вернулся... — буркнул полицай. — И не один! — улыбнулся в усы.

— Как видишь, — ответил Федор.

— Так, так... Женился или как? — спросил полицай и, не ожидая ответа, насмешливо хмыкнул: — Недолго по покойнице убивался...

Федор промолчал. Жена действительно умерла недавно, он тосковал по ней, помнил все время и, верно, не сдержался бы и ответил Гнату. Но делать это сейчас не имел права, а потому молчал и не возражал.

Не думал Федор, что первым предателем, которого он встретит, вернувшись в село, будет Гнат Голубничий. Отец его, колхозник, тянул из последних сил, чтобы сын закончил семилетку. Да и сам Гнат перед войной был передовым колхозником, его портрет не раз красовался на доске Почета. Если б Федор услышал, не поверил бы, что именно этот человек сам нацепит на рукав позорную повязку и повесит себе на шею немецкое оружие.

— Ну, браток, рассказывай, с чем домой пришел, — с подозрительной улыбкой заговорил полицай, немного помолчав, и в голосе его чувствовалось больше ехидного превосходства, чем искренней доброты.

Федор левой рукой достал из кармана гимнастерки справку об

освобождении из плена и, не поднимаясь, протянул через стол Голубничему.

Гнат прочитал поданное, особо внимательно изучил немецкую печать, потом перевернул бумажку обратной стороной, поглядел, нет ли чего там, и вернул Федору.

— А с рукой у тебя что?

— Что бывает на войне с руками?! — вопросом на вопрос ответил Федор.

— Самострел? — прищурил один глаз полицай.

— Нет, — ответил Федор и отвернулся.

— Значит, честное боевое ранение! — хмыкнул Гнат. — Так-так!

Коренастый, среднего роста, в коротком дубленом полушубке, он сидел, широко расставив под столом ноги и тяжело налегая на столешницу.

— Ну а эту где подхватил? — кивнул он на Ксению, не поворачиваясь к ней.

Ксения, с головой укрытая шинелью Федора, была ни жива ни мертва. Пока шли по селам и степям, они не раз нарывались на таких оборотней и на немецкие патрули. И каждый раз спасала эта бумажка или чудо. Но Ксения уже по опыту знала, что не всегда совершаются чудеса, и если чужие палачи миловали, то свой может и не пожалеть...

Федор молчал, оскорбленный циничным вопросом, и Голубничий переспросил:

— Ты что, оглох?

— А если б я тебя так о твоей жене спросил, ты бы услышал? — огрызнулся Непорожний.

— Значит, жена, — смирился полицай. — Ну, раз жена, значит, по моему разумению, при ней можно и поговорить.

Гнат вынул из кармана пачку немецких сигарет и протянул Федору.

— Я не курю.

— А, ты святоша! Я и забыл! — Он закурил и бросил спичку на пол. Затянулся, глубоко выдохнул целую тучу дыма, спросил: — Ну, что делать думаешь, как жить?

— Не знаю. У меня вот — рука...

— Э, что там рука, — сплюнул Гнат и усмехнулся: — Были б кости, а мясо нарастет.

— Кость-то как раз и перебита, об том и речь.

— Срастется, не волнуйся.

— Надеюсь, что так.

— Ну а тогда что станешь делать?

— Тогда погляжу.

Полицай взглянул на него исподлобья и, отчеканивая слова, многозначительно проговорил:

— Долго будешь приглядываться, глаза могут заболеть.

— Не знаю, что стану делать, — вынужден был ответить Федор.

— А время теперь — сам знаешь какое. Хоть туда, хоть сюда, а выбрать надо что-то одно.

Это было предложение — Федор понял.

— Не умею я выбирать: человек как раз скорей в борщ и попадет!

— А нерешительный поросенок как раз скорей в борщ и попадет! — громко рассмеялся Гнат. — Нерешительному теперь беда! — произнес он, так же отчеканивая слова, но уже совершенно серьезно.

— Свою судьбу не обойдешь, — вздохнул Федор. — Каким родился, таков и есть.

Голубничему как будто именно такой ответ и был нужен — за него он и ухватился.

— А коли такой, каким родился, то и путь твой ясен, — заговорил полицай с облегчением. Поднялся из-за стола и прошелся по комнате. Потом вернулся к табуретке, на которой только что сидел, и, словно бы в сердцах, раздавил окурочек об стол. — Мой отец кто был? Бедняк из последних! Мне бы в лес податься, а я вот повязку надел. А твой отец хозяином был, у него советская власть все отняла, а ты еще раздумываешь, туда или сюда. Ты отца спроси, как быть, он подскажет.

— Не успел я еще с ним... не видался, — пробормотал Федор.

— Ого! Старик — орел. Выпивши по селу разгуливает. Тулуп нараспашку, не глядит, что мороз.

Федор мрачно уставился в пол. То, что отец рад беде, которая всех печалит, его не удивило. Так и должно быть. Верно, теперь и перед ним станет кочевряжиться, попрекать прошлым. Но это их дело — все, что было между ними.

— Так как, Федя? — посмотрел на него Гнат. На скуластом лице полицая так и ходили крепкие желваки.

Федор поднялся:

— Не знаю. Может, пока рука заживет, и школу откроют. Детей грамоте учить — вот мое дело.

— Плодить их некому — детей-то, а ты собираешься учить! — насмешливо хмыкнул полицай и надел смушковую шапку. — Ну, я еще к тебе заскочу. Бывай! — Он распахнул дверь, хлопнул ею и вышел на крыльцо.

Федор выглянул в окно и увидел, как степенно Гнат идет к калитке, держа винтовку наперевес. Ксения лежала, чутко прислушиваясь и не шевелясь. Она физически ощущала, как ею снова овладевает страх, от которого она избавилась в дороге. Тогда была цель — дойти сюда. Теперь дошла, а впереди снова неизвестность с ее страшными снами и смертельной опасностью.

Ксения не решалась ни расспрашивать, ни советовать что-либо Федору. Все зависит от него. Ей можно решать только после того, как решит он. За то время, которое они провели вместе, она еще раз убедилась, что не ошиблась в Федоре. Но то, что она услышала, могло кое-что изменить. Может, он и домой пошел именно потому, что так ой отец защитит в трудное время.

Это противоречило впечатлению, которое сложилось о Федоре в дороге. Но сомнение возникло и тревожило.

— Вы с отцом... — решила спросить Ксения.

— Сложная история, — не дал ей закончить Федор.

— Простите, это не мое дело,— смутилась она, поняв, что Федор не хочет говорить. — Мне показалось во время разговора с этим... Не знаю, как его зовут,— сказала она, имея в виду полицая.

— С отцом мы редко виделись — он не любил мою покойную жену. — Федор пересилил себя и заговорил: — Как-нибудь при случае расскажу подробнее.

Ксения еще некоторое время лежала, укрывшись с головой. Страшно было вылезать из-под шинели в затхлый холод нетопленной хаты, в которой, казалось, даже воздух застоялся и застыл навсегда. И все же новую жизнь надо было с чего-то начинать, как бы она ни сложилась в дальнейшем.

Ксения проворно соскочила на холодный пол. Через несколько минут она уже подметала комнату старым растрепанным веником, одновременно подхватывая им паутину, которая грязными прядями висела в углу и под потолком.

5

Прежних отношений с отцом теперь быть не могло. Федору стукнуло уже тридцать восемь, старику перевалило за шестьдесят. Время трудное, лучше держаться вместе. Да и Ольга умерла, так что исчезла и причина разногласий.

Однако прошло уже три дня, как Федор вернулся в Калитву, а отец не показывался. Он, конечно, знал, что сын в селе. Верно, слышал и от Голубничего, да и соседи передали. И все-таки не приходил. Очевидно, ждал, чтобы сын сам явился на поклон, хотя и понимал, что Федору ходить по селу небезопасно. Знал же старик, что у сельсовета стоит виселица и на ней висит Микола Сом, бывший председатель колхоза, схваченный немецким патрулем, как только вернулся домой. Знал, а не шел — то ли злобу на сына затаил, то ли гордость не позволяла...

Тяжело было у Ксени на сердце, когда она провожала Федора к отцу. Словно бы и совсем чужой, он был теперь единственным, на кого можно положиться в этом селе, где она никого не знала. За время их долгих и опасных скитаний по сожженной земле Ксения узнала кое-что о его жизни, о его прошлых и нынешних переживаниях и тайком радовалась, что среди пленных, выстроенных на колхозном дворе, выбрала именно его. Федор был учителем, много читал, а его общение с детьми сделало его собственной душой отзывчивой и мягкой. В тяжелое время встретить такого человека выпадает немногим. И теперь, глядя ему вслед, Ксения как бы впервые осознала, что он для нее значит.

Федор был высок ростом, широк в плечах. Сейчас на нем был старенький пиджак, полосатые латаные брюки, которые он достал из-под охапки сена на чердаке, куда, уходя на фронт, спрятал узелок с одеждой. Шинель Федор отдал Ксене — ведь у нее не было пальто, а сапоги спрятал под стрехой, чтоб не привлекать к себе излишнего внимания.

На улице было совсем пусто, никого не видно и во дворах. Вначале он шел, пугливо озираясь, потом осмелел. Отец жил довольно далеко — на другом краю села. К счастью, сельсовет и школа, где разместились немцы, находились в стороне. Только раз он увидал на другом конце длинной улицы человека, но тот шел в другую сторону и, как видно, не заметил Федора.

Не доходя до отцовской хаты, Федор замедлил шаг. Сердце заколотилось так же, как три дня назад, когда, возвращаясь в Калитву вместе с Ксенией, он, поднявшись на пригорок, увидел родное село и впервые в жизни не знал, как оно его встретит.

Справа кто-то вскрикнул, и Федор остановился, весь похолодев. За покосившимся плетнем стояла женщина, по самые глаза укутанная стареньким шерстяным платком. Она всплеснула руками да так и застыла пораженная. Федор сразу узнал — тетка Секлета, мать Степки, с которым он когда-то вместе учился и дружил.

Федор обрадовался, словно встретил мать, — да она часто и заменяла ему мать, после того как родная умерла. Не раз соседка прибегала — и борща наварить, и хату подмести, и словом перекинуться. Отец горевал, когда матери не стало, хоть и не выказывал своего горя, но все знали, что он любил жену, и, когда тетка Секлета забегала на минутку, он смягчался, зная, что и она любила покойницу.

— Федя... — почти прошептала она. — Вернулся!

— Здравствуйте, тетка Секлета. — Он подошел вплотную к плетню.

Женщина не ответила, будто и не слышала его приветствия, и глядела на Федора, словно не веря своим глазам.

— А Степанчик не вернется... — сказала она чуть громче. — Погиб Степанчик...

Федор стоял растерянный, не зная, что сказать. Он всегда немел перед непостижимой глубиной чужого горя, особенно если речь шла об утрате, которую ничто не в силах возместить. Душу охватывало смятение, которое еще больше связывало язык, отнимало речь, и он молчал, даже не пытаясь высказать сочувствие.

Но Секлете оно и не было нужно. Она смахнула слезу и улыбнулась, будто вместе со слезой смахнула с себя и то, что причиняло боль.

— А отца ты видел?

— Нет. Вот только иду.

Женщина засуетилась, выглянула за плетень.

— Вот беда-то, а его, верно, и дома нет!.. Недавно ушел да еще не вернулся.

— А Оленка?

— Девочка дома. Иди, а я поищу отца. Он недалеко, где-то на нашем конце.

— Спасибо, тетка Секлета.

— Будь здоров.

Федор пошел, а она еще с минуту глядела ему вслед. Потом поправила платок и побежала куда-то по улице.

Теперь Федор шел смелее. Это хорошо, что отца нет дома: то, что должно случиться, случится не сразу. Посидит в хате с дочкой, пока вернется старик, освоится с родными стенами. Все-таки не сразу.

Однако тетка Секлета ошиблась — отец был дома. Он стоял посреди двора и строгал жердь, держа ее под мышкой. Оленка сидела на корточках у его ног и собирала стружки в подол. Федор остановился у ворот, старик не замечал его, поглощенный работой, а девочка сидела спиной к улице и не могла увидеть отца. С минуту он стоял, наблюдая, потом открыл калитку, и она скрипнула. Старик поднял голову и увидел сына.

Они застыли на расстоянии, друг против друга, и некоторое время молчали, словно не решаясь заговорить. Старик опустил топор, потом выпустил его из руки, и он с металлическим звоном ударился о землю.

— Жив, значит, — проговорил отец, как бы бесстрастно отмечая факт. — Ну, заходи, заходи.

Теперь уже и девочка смотрела на гостя, прижимаясь к ногам деда, — смотрела не то испуганно, не то с любопытством. Федор подошел ближе, наклонился к ней, ласково спросил:

— Что, не узнала?

Девчушка еще плотнее прижалась к деду, — верно, и впрямь не узнала.

— Да это ж твой отец. — Старик подтолкнул ее к Федору. — Вот глупая.

— А гостинец принес? — спросила девочка, не выказывая особой радости.

Федор взял ее на здоровую руку — Оленка не возражала.

— Гостинец... Где его теперь взять! — грустно проговорил он, но глаза при этом улыбались.

Еще с минуту он подержал Оленку на руках, всматриваясь в осунувшееся личико ребенка: девочка была очень похожа на покойную мать.

— Ну, так как, сынок, облобызаемся или, может, как всегда? — спросил старик.

Федор обрадовался, что первый начал отец, да к тому же именно так, как хотелось. Опустив ребенка на землю, он молча обнял старика. И по тому, как сразу же и отец обнял его, как стал трясти, похлопывая рукой по спине, Федор понял, что старик растроган.

Через несколько минут они уже были в горнице — Федор сидел на лавке у сундука, накрытого скатертью, а отец хлопотал у посудной полки, готовил угощение. Как обычно, в ватнике, ситцевая рубаха расстегнута, густые волосы, хоть и поседел немного, все еще спадали на лоб. Несмотря на свои шестьдесят, он был не по годам подвижен. Хозяйничал ловко — привык, больше двадцати лет прожил вдовцом. Так и не женился второй раз; была у него на стороне зазноба, которая от него ничего не требовала, жила неподалеку, в соседнем селе, в своей хате.

— У меня останешься или на своем пепелище лучше? — спросил старик, ставя на сундук бутылку.

— Я, отец, вернулся не один.

— Вон оно что! — хмыкнул старик.

— Она мне жизнь спасла, — как бы оправдываясь, пояснил Федор.

— Невелика штука — спасти для себя!

— Почему ж для себя?

— Потому что спасла, чтоб женить на себе, — отрезал старик и сел.

— Не могла она тогда думать, что так выйдет.

— Если вышло, значит, могла, — буркнул отец сердито.

— И хорошо, что вышло, — тихо проговорил Федор.

Старик налил сыну, потом себе и сразу же выпил. Поддел вилкой кружочек лука, отломил от краюхи кусок хлеба и закусил.

— Что, городская? — мрачно спросил он.

— Городская.

— А ты ешь. И самогон хороший, так что... — Старик не договорил и налил себе еще.

Федор отпил немного, тоже взял кружочек лука. Оленка стояла у печи и жадно следила за каждым движением Федора.

— Не верю я им — городским, — вздохнул старик. — Перебудет трудное время, и айда... Вертихвостки они все...

— Эта не такая.

— Ну да, не такая, — злорадно хохотнул отец. — Пересидит, а там только ее и видели. — И, помолчав, добавил: — Не беда, ты зла не помнишь — простишь.

Это был намек, и Федор сразу понял его. Намек на покойную Ольгу, отец которой, котовец Горбенко, вроде бы еще в девятнадцатом зарубил Нечипора Непорожного — единственного брата отца. Никто этого не видел, но передавали, будто зарубил именно он, когда Нечипор с кучкой махновцев загулял в поповской хате, а Горбенко с котовцами ненароком заскочил в село. Рассказывали также, что позднее отец Федора рассчитался с Горбенко — подстерег, когда тот ехал поездом в Умань, позвал покурить в тамбур и сбросил под откос. Федор не очень верил этому: вины отца никто доказать не мог и его не судили. Но как бы то ни было, а старик о гибели брата помнил, и когда Федор решил жениться на дочке Горбенко, то проклял сына и выгнал из дому.

На это он теперь и намекал. Даже когда не было уже ни Ольги, ни ее отца, старик приходил в ярость при одном упоминании об этой семье, словно смертельно враждовал с самой памятью о них.

— Не о том мы с вами, отец, говорим. — Федор отодвинул миску. — И о покойнице не надо так...

— А коли не о том, так иди ко всем чертям! — крикнул старик, и глаза его гневно сверкнули.

Федор поднялся.

— Что ж, ежели так...

— А ты не вскакивай,— властно приказал старик. — Сядь и слушай, когда отец говорит. Не враг я тебе, пора бы понять. Сядь, говорю!

Федор медленно опустился на лавку. Раньше, когда был помоложе, верно, не покорился — выскочил бы из дому как пуля. Но на этот раз стерпел, может, постарше стал, узнал, почему фунт лиха, и научился владеть собой. Да и отца не переделаешь — что ему перечить. Сидит с расстегнутым воротом, кожа на груди от гнева побагровела, а глаза налились — вот-вот схватит со стола что под руки поладет и швырнет прямо в лицо, как это нередко бывало, когда Федор был еще подростком.

— Ну, ладно,— пробасил старик примирительно. — Поговорим о другом. Отца не слушаешь, так время научит. — Он снова долил сыну, потом себе. — Знаю, что ты меня каинном считаешь...

— Ну зачем вы так? — запротестовал Федор, и трудно было понять, возражает ли он против этого жестокого самоопределения или против всего разговора в целом. — Познакомьтесь с ней, сами увидите,— сказал он, имея в виду Ксению.

— Что ж, приведи,— усмехнулся старик. — Погляжу.

Они молча выпили, потом посидели еще, каждый думая о своем, и Федор поднялся.

— Пора уже. Пойду.

— Подожди. Стемнеет, провожу до дому. Таких, как ты, уже полсела перевешали.

Федор хотел спросить, чем же отец заслужил такое доверие, что его и ночью не трогают? Но смолчал. Одному бродить по улицам и впрямь было опасно. Он встал с лавки и пошел в тот угол, где сидела Оленка с котенком в подоле, опустился на корточки возле нее и погладил по головке. Она вскочила, выпустила котенка и прижалась к Федору, словно только теперь узнала.

6

Домой возвращались втроем: Федор нес узел с картошкой, придерживая его на плече здоровой рукой, а старик вел Оленку, которая с трудом перебирала ножками, готовая упасть где попало и заснуть. Уже совсем стемнело, тяжелые снежные тучи нависли над притихшей Калитвой: ни голосов за плетнями, ни света в окошках. Село казалось вымершим или глубоко погруженным в воду, туда, где уже не слышно ни шума волн на поверхности, ни голоса жизни.

Шли молча, обходили опасные места, хотя патрулей не было видно. Старик довел их до калитки, хлопнул Федора по спине и сказал:

— Ну, приходи.

— А может, у меня заночуете? — спросил сын, хоть и знал, что отец откажется. — Все-таки дважды искушать судьбу...

— Иди, иди! — прикрикнул старик. — Не отлита еще та пуля, что убьет Тымиша Непорожного.

Федор не настанвал — понимал, почему отец отказывается. Появляться перед новой снохой, которую осудил заочно, — много чести! И, дважды повторив «иди», старик круто, словно на одной ноге, повернулся и пошел прочь.

Ксения ждала Федора ни жива ни мертва. Переволновалась, передумала самое страшное. Сначала стояла у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу, — смотрела, не идет ли, потом, когда стемнело и ничего уже нельзя было разглядеть, улеглась на своей лежанке и укрылась с головой. Как ей жить, если с ним что-нибудь случилось? Одна в вужом селе, как челнок в море...

Тревожные мысли беспорядочно перескакивали с одного на другое: то виделся ей Федор, которого вели по темной улице со связанными за спиной руками, то представлялось, как за ней самой пришел вчерашний полицай. Что он придет, она не сомневалась — странно было бы, если б взяли Федора, а о ней забыли. Лучше всего, пока не спохватились, убежать из этого дома. В Запорожье рано или поздно придется пробиваться, почему же не рискнуть теперь? Охваченная безумной решимостью, она соскочила на пол и сразу же взяла себя в руки: что, если Федор вернется, а ее нет?

Когда скрипнула калитка, Ксения снова прижалась лбом к стеклу. Двор утопал в непроглядной тьме — ничего не было видно. Но по шагам, приближавшимся к крыльцу, поняла: он. Стремглав бросилась к лежанке, нырнула под рядно и насторожилась, словно в ожидании удара. Немного отлегло от сердца, когда распахнулась дверь и на пороге появились две тени — большая и маленькая. От радости даже слезы набежали на глаза, но Ксения старалась казаться спокойной — того, что было на сердце, показывать не хотела. Чего доброго, Федор неверно все истолкует и подумает бог весть что. Она медленно выпростала ноги из-под рядна и молча ждала, пока Федор раздевал ребенка, а потом раздевался сам.

— Что, разбудил? — спросил он, когда глаза освоились с темной.

— Неважно, — как можно спокойнее ответила Ксения. — Ночь длинная. Еще высплусь.

Она решила ни о чем не расспрашивать — как там отец, как он отнесся к приходу сына. Если Федор захочет, расскажет сам. Она накинула шинель на плечи, подошла к девочке, присмотрелась. Оленка отпрянула, прижалась к отцовскому колену и вцепилась в него пальчиками, словно зверек, который не дается в руки.

— Ты не бойся, это же твоя мама, — склонился к девочке Федор.

Но Оленка еще крепче вцепилась в его колено и заплакала. Федор взял ребенка на руки.

— Ну, будет, будет. — Он укачивал ее и приговаривал: — Утром сама увидишь, что это мама...

Когда Оленка притихла, выяснилось, что она спит. Первой это поняла Ксения. Она протянула руки, и Федор покорно переложил на

них девочку. Через минуту малышка уже была на лежанке, а Ксения устранилась рядом с ней.

После нескольких часов ожидания, волнений и тревог на душе стало легко, почти весело. Заботясь, чтобы девочке было как можно просторнее, чтоб она спокойнее спала, Ксения почти висела в воздухе. Но и на расстоянии на нее веяло умиротворением, покоем, сонным детским теплом, а сердце таяло и замирало от почти физического прикосновения к счастью, невысказанному еще за несколько минут до того.

Это было новое чувство — до сих пор Ксения его не знала. И оно поразило ее не только само по себе, а и своим удивительным несоответствием всему, что она переживала. Она ведь только и думала о том, как отсюда выбраться, как попасть туда, где ее ждут. И вдруг — это сладкое чувство вдали от тех, без кого она не мыслила себе жизни и даже самого существования! Ксения невольно еще дальше отодвинулась от девочки и очутилась совсем уже на краю.

Оленка тихо и мирно посапывала, согревшись, у стены. Федор тоже спал — за время совместных ночевок в стогах и чудом уцелевших овинах Ксения научилась угадывать, когда Федор притворяется, что спит, а когда спит по-настоящему, сломленный усталостью или неотступными мыслями. Сейчас Федор дышал спокойно, только изредка всхлипывал, как бы пугаясь чего-то, и жалобно стонал; Ксения знала, что это ноет раненая рука.

Так во сне стонал и Олег, когда между ними возникло беспричинное и непонятное охлаждение, перед тем как его забрали на финскую. Что это было? Откуда взялась эта подчеркнутая вежливость, эта чуть ли не великосветская любезность, эта предупредительная услужливость вместо порывистых объятий первых месяцев их совместной жизни? Может быть, вспышка чувств, которая помогла ей выбрать между Харкевичем и Славчуком, была не настоящей любовью, какой она представляла ее теперь, когда стукнуло двадцать восемь? Если так, то этим можно объяснить дальнейший ход событий и даже то, что после потери Олега она вышла замуж за Славчука, правда, не сразу, а только через год.

Теперь она знала: Олег ждет. Сам сказал, а он не бросает слов на ветер. Он не был лишен мужского чувства собственного достоинства, и то, что простил, означало: любит по-настоящему. Ксения вздохнула. Сможет ли она когда-нибудь отблагодарить его за великодушные и достойные ли она его? Понимала: сегодня вопрос звучит совершенно риторически, и все же он волновал ее даже сейчас.

Где-то далеко в селе закричал первый петух, и голос его одиноко повис в предрассветном воздухе — никто не поддержал его, не откликнулся. Странно, что и он каким-то чудом уцелел и не попал в борщ — на стол в немецкой комендатуре. «И все же, — подумала Ксения, — неплохо было бы завести несколько курочек: ведь ребенок в доме, молока нет, так хоть яичко съест... Можно спрятать в сарае от жадных оккупантских глаз».

Это взволновало ее: неужели она собирается оставаться здесь надолго? Неужто так ей суждено!

Так Ксения и не уснула в ту ночь. Только засинели окна, тихонько поднялась, взяла ведро и принесла воды. Потом вышла еще раз — насобирала у сарая щепок и чурбачков и затопила. Ни Федор, ни девочка даже не пошевельнулись, когда она входила и выходила, — то ли крепко спали, то ли она, охваченная беспокойными мыслями, порхала так неслышно...

И только позднее, когда, неумело орудуя ухватом, она выплеснула почти весь чугунок с теплой водой на головешку и сама отшатнулась от пара, который ударил ей в лицо, Ксения увидела, что Федор не спит — сидит на кровати и улыбается. Она тоже улыбнулась — смущенно и застенчиво, словно извинялась.

— Ничего — научитесь, — попробовал утешить ее Федор.

— Лучше бы встали да вытащили чугунок, — сказала она неожиданно строго. Ксения не любила, когда ее жалели, а еще больше, когда тайком за ней наблюдали.

Федор вскочил и бросился к печи. Неожиданная строгость встреможила его, и он смутился. Ловко подхватил чугунок и поставил его на шесток, а сам отошел к кровати и стал молча обуваться.

7.

Через несколько дней снова явился Голубничий. Зашел вроде бы так просто, без всякого дела — винтовка висела за спиной. Посидел, поговорил, даже пошутил с Ксенией и не обиделся, когда она не рассмеялась, а ответила на шутку недружелюбно.

Посидел, поточил лясы и собрался уходить. Вдруг Федор спросил:

— Как ты думаешь, можно мне выходить из дому?

— Днем ходить не запрещено. — И таинственно добавил: — Пока что ходи.

Он взялся за щеколду и вдруг остановился.

— А ты куда собрался?

— Топить нечем. Понскать бы где...

— Возьми у меня немного, — неожиданно предложил полицай. — Разживешься — отдашь.

Федор растерялся — такого предложения он не ожидал. Сразу понял: взять — значит попасть в зависимость, отказаться — нажать врага, да еще в такое время!.. Он колебался, не зная, что ответить.

— Ну, пошли, пошли, — подбадривал его Гнат, и Федору ничего не оставалось, как молча согласиться.

Пока он одевался, Голубничий заглянул в маленькую комнатку.

— Приберите там как следует, может, я у вас постояльца поселю, — обратился он к Ксении. — С немцем будет веселее да и... безопаснее... — прибавил и таинственно подмигнул.

Ксения не ответила. Этого только не хватало — немца обхаживать! Она стояла у печи, равнодушная и молчаливая. А впрочем, может, и впрямь безопаснее, случайный посетитель не заглянет.

Федор вышел первый, словно под конвоем. Ксения прижалась лбом к замерзшему стеклу окна и внимательно следила, пока оба не скрылись за углом.

Ей не нравились, казались подозрительными и посещения Голубничего, и эта его щедрость. Когда он появился первый раз, ясно было, зачем пришел. Напугал, проверил документы Федора и как будто остался доволен. Вел себя как и подобает предателю — служил вчерашнему врагу старательнее и ревностнее, чем своим. Но зачем он явился снова? Почему разговаривал как старый друг и приятель? Еще и дрова предлагает да немца обещает поселить для безопасности, словно безопасность ее и Федора — его забота? Что это, как не еще одна попытка привлечь на свою сторону людей, которых не удалось завоевать страхом? И не повлияют ли на Федора его заботы и милости, если учесть, что и отец, как поняла Ксения, недалеко ушел от Голубничего и, верно, без колебаний станет с ним в один ряд?

Она готова была догнать и вернуть Федора. Но понимала, что это невозможно. Отошла от окна и опустилась на лавку. Снова промелькнула мысль — бежать из этого дома куда глаза глядят. Может, решилась бы и ушла, как вдруг скрипнула калитка. Ксения выглянула в окно и увидела во дворе Голубничего. Он шел, почему-то озираясь, и через минуту переступил порог.

— Спровадил мужа, а сам — назад, — улыбнулся он, как только прикрыл дверь. — А вы не бойтесь, плохого вам не сделаю. — Он снял шапку, сбросил с плеча винтовку и опустился на табурет.

Ксения стояла у окна.

— А вы лучше там сядьте, — показал полицай на лежанку, — ненадолго простудитесь. А теперь, сами знаете, и здоровому не сладко, а больному и того хуже. — Гнат улыбнулся, словно радуясь ее беспомощности, потом улыбка сразу исчезла, и он почти с угрозой в голосе произнес: — Да не бойтесь же! Время такое, что трусливым еще хуже, чем больным!

Ксения пересилила себя и вскочила с подоконника. Ею неожиданно овладела злость на самое себя, она пришла в ярость от собственного малодушия, которое унижало ее и делало смешной. Уже само по себе оно казалось ей позорным, а перед этим изменником — трижды позорным. Ведь не для того же вернулся полицай, чтобы пристрелить ее в доме! А если для этого, то судьбы не миновать — пусть стреляет.

Ей пелегко было перейти от окна к лежанке, но — перешла. Оперлась спиной о печь и замерла.

— Ну, рассказывайте, кто вы и откуда взялись? — строго бросил полицай, словно не замечал ее состояния.

— Да разве вы на слово поверите? — чуть слышно прошептала Ксения.

— Может, поверю, а может, и нет, — снова улыбнулся Голубничий.

Ксения пошарила рукой позади себя, нащупала паспорт на лежанке под рядом. Гнат внимательно следил за движением ее рук, но винтовку не взял, понимал, что она ищет не оружие.

Женщина достала паспорт и швырнула на стол. Гнат перехватил его, не дал упасть на пол.

Он медленно листал странички, внимательно изучая написанное. Ксения наблюдала за ним, и злость ее постепенно проходила. Вместо этого сердцем овладело равнодушие, словно происходило нечто противоестественное и ей было безразлично, чем кончится то, что так неожиданно началось.

— Да,— процедил Гнат,— значит, запорожская казачка! — Он снова улыбнулся, будто это определение никак ей не подходило, и он снисходительно иронизировал: — Ну а работали где?

— Там и работала.

— Коммунистка?

— Если бы и была, вам бы не призналась.

— Вот тебе и на! — поднялся из-за стола полицейский. — А я в газетах когда-то читал, что коммунисты и перед смертью от своей веры не отрекаются.

— Так то ж коммунисты,— чуть заметно улыбнулась и она. Разговор стал походить на словесную игру, и Ксении нравилось, что пока еще ей эта игра удастся.

Голубничий прошелся по комнате, заложив руки за спину. Когда он был дальше от стола, чем она, у Ксении мелькнула мысль: а что, если броситься к оружию, полицейский не успеет помешать? Но он, как видно, не боялся и еще раз прошелся от двери до окна, даже ни разу не взглянув на стол, где лежала его винтовка.

— А ребенок где? — спросил он вдруг.

— Во дворе,— равнодушно ответила Ксения.

Гнат вернулся к столу и опять сел на табуретку, словно собирался продолжить вопрос.

— Как вы думаете, отец обрадовался, что Федор вернулся с войны не один?

— Не знаю.

— Этого, честно говоря, не знаю и я... — пробормотал Гнат. — Ольгу, царство ей небесное, люто ненавидел. А вы, может, и по душе придетесь.

Голубничий поднялся, подошел к окну и выглянул во двор. Дом за несколько дней прогрелся, и холодные окна запотели, их затянуло словно туманом. Полицейский протер стекло рукавом и выглянул еще раз. Двор припорошивало легким снежком. Хлопья летели и медленно оседали на землю.

— Старик у городская не понравится, да и я, честно говоря, этой категории не очень доверяю. Спаси у вашего брата много, а прижми — пищат. — Гнат отошел от окна и остановился посреди комнаты.

— Не все люди одинаковые,— возразила Ксения, не понимая, куда он клонит.

— А вы — какая? — поинтересовался полицейский.

— Такая, как видите,— равнодушно ответила она.

— Видел какая: перепугалась насмерть, когда я вошел! — рассмеялся он.

— Чего мне бояться? — Она сейчас действительно совсем не боялась его. — Человек умирает однажды, хоть и живет только раз.

Гнат медленно пошел к столу, взял винтовку и надел шапку. С минуту помолчал, потом решительно сунул руку во внутренний карман полушубка, пошарил там, но руки не вынул.

— А вы храбрая! — сказал он, как бы что-то взвешивая.

— Да ну? — с вызовом воскликнула Ксения.

— Пол-Украины умудрилась по фронтовым тылам пройти, да и сейчас... тоже...

— А что сейчас? Если пол-Украины прошла и жива осталась... — Она попыталась улыбнуться, но в голове билась мысль: «Куда это он гнет?» — и тут же другая: «Авось фортуна не изменит и дальше».

— Ну что ж, коли храбрая... — сквозь зубы процедил Гнат, все еще продолжая что-то взвешивать, но уже как будто и на что-то решившись. Он понимал — и эта улыбка, и независимый тон могли быть только напускной удалей: иные люди в минуты опасности стараются прикрыть свой страх, делают вид, что ничего не боятся. И все же то, как вела себя эта молодая, красивая женщина, нравилось ему. — Значит, так, — сказал он, внимательно глядя ей прямо в глаза. — Завтра в полдень к вам зайдет человек — отдайте ему это. — Только теперь Гнат вынул руку из кармана, достал какую-то бумажку и положил на стол. — Как зовут человека — не скажу, но Федор его знает. Человек зайдет, будто проведать. Только отдайте ему это так, чтоб Федор даже не заподозрил. И запомните: узнает кто — смерть. — Он взял винтовку и вышел.

Ксения стояла ошеломленная. Вцепилась пальцами в рядно, что лежало позади нее на лежанке, и чувствовала, что вот-вот упадет. Потом оторвалась от лежанки и схватилась за стол. Присела на табуретку, медленно развернула бумажку, сложенную вчетверо, и прочитала почти невидящими глазами две строчки, напечатанные на старенькой пишущей машинке: «Через неделю приедут».

Кровь прилила к лицу. Что это: хитрость коварного полиция или доверие человека, который положился на твою честность, потому что честен сам? В первую минуту ей хотелось догнать его и швырнуть бумажку вслед, чтобы зарубил себе на носу: ~~еще~~ не так легко спровоцировать! Но, подумав, Ксения решила этого не делать. Сказал передать, ну и передаст... Ведь она не знает, ни кто явится, ни о чем приезде сообщает полиция. Она ничего не знает: ни того, кто придет, ни того, кто ушел. Приказал передать, она передаст — выполнит приказ, и все.

С минуту Ксения еще посидела, стараясь успокоиться. Взяла свой паспорт, который до сих пор лежал на столе, положила в него бумажку и сунула под рядно, на место. Будь что будет! Опустошенная, обессиленная, Ксения снова опустилась на лавку. Понимала — судьба еще раз испытывает ее, круто поворачивается, только неизвестно, в какую сторону.

А на другой день в хату и в самом деле вошел старичок — Федор его хорошо знал: дед Кныш когда-то возил в школу воду. Присели к

столу, поговорили о том о сем, старичок все кутался в свой латаный-перелатаный полушубок — озяб, дескать, а в хате холодно. Потом предложил Федору привезти дровец, а пока что попросил подбросить в печь хвороста или щепок — обогреть душу.

Федор вышел во двор. Старичок сразу подошел к Ксене и взял ее за руку:

— Давай.

Ксения быстро достала бумажку и передала ему.

— Завтра будет ответ. С дровами привезу.

Ксения поняла, что в судьбе ее и впрямь произошел крутой поворот, и только теперь догадалась, в какую сторону.

8

К своему первому уроку во вновь открытой Запорожской трудовой школе профессор Стороженко готовился так же тщательно и старательно, как и к своей первой лекции в Киевском университете двадцать лет назад. Он долго с ножницами в руках сидел перед выщербленным зеркальцем, подстригал бороду и усы, потом побрился старенькой безопасной бритвой, наточив лезвие на единственном стакане, который сохранился у Клавдии Харитоновны еще с довоенных времен. Хорошенько почистил пиджак и ботинки — опыт старого лектора и преподавателя убедил его в том, что тот, кто берется учить других, должен не только больше знать, но и лучше выглядеть.

Накануне он еще раз побывал у директора будущей школы — Софии Дмитриевны Гайдай, она пожаловалась, что в первые два класса пришлось набрать десятилетних и даже одиннадцатилетних ребят — тех, кто должен был начать учиться перед войной, но не смог, а в третий и четвертый — бывших учеников, которые перед войной закончили два класса, но вот уж третий год не учатся и все позабыли. О старших классах пока еще и речи не было. София Дмитриевна сетовала, что сама не знает, с чего начинать, ведь практически и десятилетних и четырнадцатилетних придется обучать азбуке, хотя у мальчишек уже пробиваются усы, а ученицы такие, что хоть замуж выдай.

— Вы, Кузьма Иванович, имели дело со взрослыми, на вас вся надежда, — сказала София Дмитриевна. — Вы легче найдете с ними общий язык. Особенно если начнете с чего-то отвлеченного, — скажем, такого, что не имеет прямого отношения к уроку...

Это был хороший совет, и Кузьма Иванович решил им воспользоваться. Рассказать что-нибудь интересное, втянуть ребят в дискуссию, заинтересовать.

Уже одетый и побритый, он сидел в своем стареньком кресле и размышлял. Впрочем, он был совершенно спокоен: надо увидеть перед собой аудиторию — и опыт старого лектора сразу подскажет, с чего начинать.

В половине девятого Кузьма Иванович решительно поднялся. Взял свою дерматиновую папку и пошел. Он очень жалел, что жена уже давно в больнице, а Клавдия Харитоновна еще раньше ушла куда-то, и сейчас некому полюбоваться его пружинистой молодой походкой и костюмом, который после жесткой щетки стал похож на новый. Спускаясь с лестницы, он чувствовал, что помолодел, даже на палку не опирался, держал ее под мышкой, словно шел на прогулку в университетский парк.

Кузьма Иванович не любил ни опаздывать, ни приходить рано. Сейчас он тоже старался не изменить этой многолетней привычке — посматривал на часы и, если замечал, что идет слишком быстро, замедлял шаг.

Он вошел в школьный коридор именно в тот момент, когда прозвенел звонок. Мальчишки и девчонки бросились к своим классам. Только здесь — в плохо подметенном и полутемном коридоре с облупленными стенами — он подумал о некоем несоответствии его аккуратно подстриженной бородки и старательно отутюженного и вычищенного костюма с этими стенами и жалкими рубашками и штанами учеников, перешитыми в большинстве из старых кителей и гимнастерок. Но поскольку именно в таком несоответствии и заключалось, как он думал, одно из условий педагогического воздействия, все было хорошо.

Ученики поднялись из-за столов, служивших им партами. Стороженко поздоровался, ученики хором ответили. Он разрешил им сесть, положил свою папку на стол, застеленный газетой, и подумал, что именно газета может послужить прекрасным началом для непосредственного разговора.

Кузьма Иванович отрекомендовался и на миг задумался, подбирая слова для первой фразы.

В это время рыжий мальчик, что сидел на задней парте, громко сказал:

- А моего дедушку тоже зовут Кузьмой Ивановичем!
- Неужели? — не то обрадовался, не то удивился Стороженко.
- У него тоже борода, только лучше, — заметил озорник.

В классе раздался сдержанный смех. Девочки прыснули и, зажимая рты руками, лукаво поглядывали на своего учителя.

— А чем же она лучше? — спросил Стороженко, еще не понимая, что инициатива у него перехвачена. — Пожалуйста, объясни.

— Длиннее! — выкрикнул рыжий и показал рукой: — До самого пупа достает.

Теперь уже все громко расхохотались. Девчонки просто захлебывались от смеха, а мальчишки приплясывали на своих неустойчивых стульях и восторженно хлопали в ладоши. Кузьма Иванович тоже готов был расхохотаться, но сдержался: если дать им волю, можно далеко зайти. Он поднял руку, призывая к порядку, но успокоить детей не удалось. В конце концов под одним из учеников подломился стул, мальчик упал и ударился подбородком о стол. В классе твори-

лось бог знает что, все вопили и смеялись, а бедняга не вылезал из-под стола и ревел в голос.

Кузьма Иванович беспомощно размахивал руками, в классе стоял неимоверный шум. «Чего доброго, еще услышит София Дмитриевна и прибежит на этот вопль»,— в ужасе подумал Кузьма Иванович.

И она действительно прибежала. Совсем растерявшийся профессор именно в этот момент сам выволакивал из-под стола плачущего ученика.

— Что случилось? Что тут происходит?— спросила директриса.

Кузьма Иванович похолодел. Теперь он дискредитирован не только перед учениками, а и перед администрацией. Это позор, вынести которого он не может.

— Ванька свалился под стол!— наперебой закричали ученики.— У него стул сломался.

Стороженко поднялся, отряхнул брюки, которые покрылись пылью на некрашеном полу, и понуро направился к своему столику. Ему было стыдно, он готов был провалиться сквозь землю, только бы не встретиться взглядом с Софьей Дмитриевной, которая все еще стояла перед учениками и ждала, пока они рассядутся по местам.

— Продолжайте урок, Кузьма Иванович,— сказала она и вышла из класса.

И как раз в эту минуту прозвенел звонок, оповещая, что урок окончен. Стороженко взял папку и, не заходя в кабинет директора, поплелся домой.

На улице, заваленной битым кирпичом и глыбами вывороченного асфальта, было оживленно. Люди— в большинстве женщины— разбивали ломами слежавшиеся кучи камней и грузили их на машины, те с ревом разворачивались среди развалин и отъезжали, а на их место подходили новые, и пустые кузова отвечали громоподобным эхом, когда на днища падали тяжелые камни. Немного поодаль работали пленные немцы. При других обстоятельствах Кузьма Иванович наверняка остановился бы и с удовлетворением посмотрел на бывших вояк, но теперь он даже не взглянул на них. Старик был очень подавлен, шел медленно, глядя себе под ноги,— не потому, что боялся споткнуться, а потому, что не было сил поднять голову. То, что произошло с ним в классе несколько минут назад, унизило его в собственных глазах, и это было ужасно.

Однако еще больше угнетали общие выводы, которые он к этому присовокупил, ибо теперь, после позорного провала попытки идти от конкретного к общему в разговоре с детьми, раздумья о самом себе пошли именно по этому безнадежному пути.

Как могло случиться,— мучительно думал он,— что профессор романской филологии и бывший руководитель кафедры столичного университета ухватился за преподавание азбуки, чтобы в своих личных интересах переждать трудное время, создавая видимость, что он при деле?! Разве не так же унижал он себя, когда изготовлял и продавал вонючие спички в то время, как другие воевали с оккупантами, жертвуя собой? Да, это было страшное время, речь шла о хлебе насущном,

о самой жизни... Но покойный муж Соломин тоже должен был кормить жену и ребенка, а он боролся и не разменивал свое человеческое и гражданское достоинство на бог весть что! И вот наконец Киев освобожден усилиями тех, кто боролся и проливал кровь; там из руин поднимают его университет, а он снова придумал для себя зацепку... Конечно, Ксения — единственная дочка, в ней до определенной степени смысл его жизни... Если она не вернется, это будет катастрофой... Но сколько миллионов потеряли своих детей в адском пламени войны, а много ли найдется таких, которые отказались из-за этого от борьбы или выполнения своих обязанностей? Наоборот, личные несчастья и потеря близких делают людей в десять раз сильнее и упорнее!

Нет, это не его дело — обучать детей грамоте. Как не его дело — изготовлять на чердаке спички и тайком носить их на базар, чтобы иметь на что купить краюху хлеба! Он должен быть там, где восстанавливают разрушенное войной, и отдавать этому все силы своей души, все, чем он богат.

Профессор знал, что Любовь Степановна восстанет против выводов, к которым он теперь пришел, не потому, что не поймет его, а потому, что она — мать. Трудно переубедить ее, жена не захочет отпускать его в Киев одного, а поехать с ним откажется, до тех пор пока не придет тот человек, который принес письмо от Ксени, или она каким-либо другим способом не узнает что-нибудь о дочке. А он не в силах будет ей возразить, потому что не переносит женских слез. Всегда пасовал перед ними. Но то, о чем сейчас шла речь, слишком важно, и надо быть полным ничтожеством, говорил он себе, чтобы отступить от своего долга и идти дальше по пути унижения.

В переулке тоже хлопотали люди — сгребали мусор и сбитые снарядами ветви, переносили камни поближе к заборам, освобождая дорогу для машин и пешеходов. Три женщины передвигали тяжелый бетонный столб, подвигая его ломami. Подавленный, с опущенной головой, профессор Стороженко прошел мимо них... «Все выполняют свой долг в меру сил...» — думал он, и губы его шевелились, как будто он произносил это вслух.

Возле дома стояла Соломиня с котомкой за плечами и лопатой в руке. Еще издали Стороженко увидел сосредоточенное суровое лицо женщины и снова подумал о ее погибшем муже — Карпо Сидоровиче. Увидев Кузьму Ивановича, женщина обрадовалась, лицо ее просияло — впервые с того дня, как она похоронила мужа.

— Я стою и жду, пока кто-нибудь придет, — сказала она. — Дома никого нет.

— Куда вы собрались? — спросил профессор.

— Поеду на ту сторону. Надо могилу прибрать — с тех пор как похоронили, не была.

— Да, да, — согласился Кузьма Иванович.

— Ждала, потому что Ивасик один дома. Озорник, еще пожар устроит.

— Не волнуйтесь, я присмотрю.

— Вот спасибо! А то печь топится. Как бы Ивасик чего-нибудь не учудил.

— Все будет хорошо,— улыбнулся Стороженко.

Соломня пошла налево,— значит, к реке. Стороженко стоял у дома и глядел ей вслед, пока она не скрылась за косогором. С тех пор как они вместе пережили несколько страшных дней и ночей среди развалин старой водяной мельницы, Соломня стала ему родной, почти сестрой. Благородная, мужественная женщина — сейчас и она была ему примером.

Кузьма Иванович почувствовал себя увереннее. Нет, потери не должны сломить человека. А он никого не потерял: верил, что жива и Ксения.

9

Любовь Степановна вернулась из больницы усталая, но веселая. Сбросила пальто, положила на стол пачку тоненьких «кисторий болезней» и тяжело опустилась на стул у стола.

— Ну, как прошел твой урок?

Кузьма Иванович был готов к этому вопросу. Еще по дороге из школы решил не рассказывать жене о том, что произошло. И самому не хотелось вспоминать, и ее не хотелось огорчать. Он твердо решил, что в школу больше не пойдет. Так зачем же возвращаться к тому, с чем покончено?

— Урок как урок...

— Значит, все в порядке?

— Нет, Люба.

— То есть? — удивилась она.

— Я больше туда не пойду.

— Не пойдешь? Что это значит? — Любовь Степановна недоверчиво глядела на мужа и, хорошо зная его мягкий характер, не придавала особого значения его словам.

— Не для меня это — учить детей читать.

— Подумаешь! — не без иронии воскликнула она. — Сейчас не время привередничать. К тому же это твоя профессия — учить.

— И все-таки в школу я больше не пойду,— твердо повторил Стороженко.

— Ну, знаешь,— возмутилась она. — Да что случилось?!

— Ничего особенного. — В голосе его звучала спокойная решимость. — В Киеве начинает работать университет — я должен быть там.

— Ты сошел с ума... — Любовь Степановна всплеснула руками и вскочила. — Может, больницу нашу тоже восстанавливают, а я, невзирая на это, работаю здесь!

— Для врача не имеет значения, где лечить людей,— пробормотал Кузьма Иванович. — Люди везде одинаковые, и пирамидон всюду один и тот же. А у меня дело посложнее.

— Разумеется, тебе необходима высокая кафедра и университетский амфитеатр! — насмешливо воскликнула Любовь Степановна. — Как же иначе? Высокие материи можно излагать только с высоких трибун!

— Ты говоришь глупости, — отрезал Кузьма Иванович и встал. — Дело значительно серьезнее, чем тебе кажется.

— А я думаю наоборот: дело значительно проще.

— Может, действительно проще... Смотри с какой стороны подойти.

Но Любовь Степановна уже не слушала мужа. Возмущенная, она спешила высказать ему все:

— Ты просто не понимаешь, в каком мире живешь, — упрекала жена, объясняя ему то, чего — она была уверена — он не способен понять. — Ты думаешь, люди, которые сейчас убирают на нашей улице камни с дороги, тоже только на то и способны, чтобы подметать или носить разбитые кирпичи, чтоб они не мешали тебе ходить. И среди них, несомненно, кое-кто способен на большее.

— Боже, какие глупости! — возмутился Кузьма Иванович. — Неужели ты действительно думаешь, что я не понимаю этого?! Но если кто-нибудь из них способен поднять десять кирпичей, а берет только один, как ты назовешь этого человека?

— При чем здесь это?

— А при том, милая моя, — Кузьма Иванович подошел к жене вплотную и заговорил так, словно объяснял ребенку, — что я могу делать значительно более важное и сложное дело, а выбираю наиболее легкое и простое в такое время, когда человек должен отдавать все.

— Ты делаешь это не потому, что не хочешь, — уже поняла Любовь Степановна и попробовала ему объяснить причину его поведения: — Ты иначе не можешь.

— Кроме возможностей существуют еще обязанности, Люба, — сказал Кузьма Иванович.

Любовь Степановна снова опустилась на стул, почувствовав в необычной решимости мужа что-то угрожающее и неотвратимое.

— Что ты хочешь этим сказать? — упавшим голосом спросила она.

Кузьма Иванович обнял голову жены и привлек ее к себе. Он не сомневался — она понимает, что муж имеет в виду, — и все же пытался объяснить ей, а также и себе. Гладил седую голову той, с кем никогда не разлучался больше, чем на несколько дней, и то лишь когда она брала отпуск, чтобы съездить к дочке в Запорожье, — и сейчас его сердце разрывалось от сочувствия и жалости. Она молчала, ожидая, что он скажет, а может, и потому, что слезы душили ее и не давали говорить, а он стоял и взвешивал слова, подбирая такие, которые бы не ранили ее еще больше. Но таких слов не находилось, и он молчал.

— Ты хочешь оставить меня тут одну? — почти прошептала она.

— Дорогая... — только и смог он вымолвить.

— Я не поеду, и ты знаешь почему...

— Понимаю...

На лестнице послышались шаги. Кузьма Иванович отстранил жену, словно побаивался, что кто-то посторонний увидит их и подумает бог весть что. Он отошел к креслу, опустился в него, прислушиваясь к шагам, которые доносились все громче, и замер в молчаливом ожидании, все еще чувствуя себя неловко перед тем, кто должен войти.

В дверь постучали.

— Войдите,— крикнул профессор неестественно громко.

На пороге появился Харкевич, сразу увидел Любовь Степановну, которая сидела к нему спиной, и по тому, как она опустила голову, понял, что появился не вовремя. Он на миг задержался у дверей, не зная, как быть, но Кузьма Иванович позвал:

— Олег! Хорошо, что ты пришел. Рассуди нас, пожалуйста!

— Ты, Кузьма, как малое дитя,— сказала Любовь Степановна уже почти спокойно и чуть насмешливо.

Харкевич обрадовался, услышав этот голос. Когда он вошел, ему показалось, что Любовь Степановна плачет. Он прошел на середину комнаты и увидел ее лицо — немного раздумывавшееся, но вместе с тем и насмешливое.

— «Малое дитя»,— хмыкнул Кузьма Иванович. — Не знаю, так ли уж это скверно, или, может, в этом есть и что-то не столь уж страшное... — Он быстро повернулся лицом к Харкевичу: — Олег, когда ты узнал, что наши войска подошли к Днепрогэсу и вот-вот должны его освободить, ты сам захотел немедленно поехать сюда или ждал, пока тебе прикажут?

— Могло быть так и этак,— ушел от прямого ответа Харкевич, не зная, куда клонится разговор, и побаиваясь, что более точный ответ может вызвать недовольство одной из сторон.

— А как было на самом деле? — не отставал профессор.

— На самом деле произошло счастливое совпадение возможностей и желаний,— улыбнулся Харкевич, все еще избегая прямого ответа.

— Нет, ты скажи честно,— настаивал Стороженко.

— Да отвяжись ты от человека,— взмолилась Любовь Степановна. — Ну какое отношение это имеет к нам?!

— Мог бы ты сидеть в своем наркомате или в любом другом месте со спокойной душой,— продолжал Кузьма Иванович, не обращая внимания на протесты жены,— если б узнал, что твою станцию начинают восстанавливать и от тебя самого зависит — лететь туда немедленно или сидеть в Москве?

Олег наконец понял, о чем речь. Он по очереди поглядел на обоих и встретил чуть насмешливый, но любопытный взгляд Любови Степановны и глаза Кузьмы Ивановича, переполненные нетерпеливым ожиданием и надеждой, что ответ будет таким, как ему хочется.

— У меня были особые обстоятельства, и они совсем не похожи на ваши,— ответил Харкевич.

— Итак, тебе ясно, о чем я спрашиваю,— констатировал Кузьма Иванович. — Ну и как бы ты поступил на нашем месте?

Олег присел на кровать и помолчал.

— Поезжайте в Киев,— тихо сказал он.— Я остаюсь здесь. Если что, сами понимаете...— Он хотел сказать, что судьба Ксени его интересует не меньше, чем их, но решил, что это ясно и так.

— Я знал, что ты меня поймешь,— Кузьма Иванович подошел к Харкевичу, с благодарностью положил ему руку на плечо.— И мне не надо говорить, что полагаюсь на тебя, как мог бы положиться только на Ксению.— Голос его задрожал.

Любовь Степановна не выдержала и заплакала. Плечи ее вздрагивали. Она встала и вышла из комнаты.

Харкевич хотел пойти за ней и уже шагнул к двери, но профессор остановил его:

— Не надо, Олег. Пусть поплачет, может, легче станет. Ты же понимаешь, что у нее в душе.

Некоторое время Олег молча сидел на кровати, опершись локтем на колено, и молчал. Кузьма Иванович, заложив руки за спину, медленно шагал по комнате — пять шагов туда, пять обратно — и снова с самого начала до конца перебирал в памяти обстоятельства, заставившие его принять это решение. Нет, иначе поступить он не мог! Для каждого наступает момент, когда чувство долга встречается один на один с душевной размагниченностью и все зависит от того, чему человек отдаст предпочтение и по какому пути пойдет. До сих пор он был... Кузьма Иванович старался подобрать слово, наиболее точно характеризующее его, но не мог, потому что одно было хоть и справедливым, но чересчур резким, а другое — недостаточно точным и мягким и слишком подчеркивало малодушное снисхождение к самому себе. Поглощенный этими поисками, он все время ускорял шаг и незаметно для себя уже почти бегал по комнате, совсем забыв про Олега, который все время наблюдал за ним.

Харкевич по-своему понял эту смену темпа: волнуется. И не удивительно — взвесить, решить, окончательно остановиться на чем-то определенном Кузьме Ивановичу всегда было трудно. Харкевич это знал. Но он знал и то, что было неизвестно Стороженко. Сейчас самый удобный момент сказать об этом и освободить старика от напрасных колебаний, которые мучают и изнуряют его.

— Кузьма Иванович, я думаю, что наконец должен сказать вам...— заговорил Харкевич, и профессор резко остановился.

— Что?

— Человек, которого вы ждете, не придет.

— Какой человек? — быстро спросил Стороженко, еще не успев сосредоточиться на словах Олега.

— Тот, кто принес письмо от Ксени.

Только теперь профессор понял, о ком идет речь. Лицо его помурачнело.

— Не придет?

— Человек этот погиб,— сказал Харкевич, не меняя позы и все еще сидя на кровати.— Я не сказал вам сразу, мне не хотелось...

— Боже мой! — прошептал Кузьма Иванович и опустился на кровать рядом с Олегом.

— Но я знаю, где Ксения... Приблизительно знаю... — Олег пошарил в кармане гимнастерки и достал сложенную вчетверо бумажку. — Вот.

Кузьма Иванович дрожащими руками взял листочек, но ничего не увидел и стал суетливо искать по карманам очки. Наконец нашел, так же суетливо надел и замер, углубившись в смысл написанного.

— Марко Соловьяненко... — повторял он вслух прочитанное. — Кто это?

— Это тот, кто принес письмо и должен был прийти.

— Марко Соловьяненко... — чуть слышно повторил профессор, — село Моргуны, Корсунский район... — И громко спросил: — Откуда у тебя этот адрес?

— Я был в партизанском штабе...

— Подумать, а я не догадался зайти! — упрекнул себя Кузьма Иванович. — Значит, он пришел из Корсуни! Это отсюда дальше, чем от Киева. — Он снова прошелся по комнате, бормоча себе под нос: — Если б я знал это раньше... А Люба знает?

— Нет.

— Так, так, — тихо проговорил Кузьма Иванович, и было непонятно, к чему это относится. — Боже мой!

— Уезжайте вместе, — сказал Харкевич. — Я остаюсь здесь. Куда бы Ксения ни пришла, кого-нибудь из нас она найдет.

— Так, так, — повторил Стороженко, и было непонятно, относится ли это к ошеломившему его сообщению или он согласился с Олегом, что, если они с женой и уедут, Ксения все равно застанет кого-нибудь, потому что Олег остается здесь.

Кузьма Иванович был у двери, когда вошла Любовь Степановна. Он еще не успел уяснить для себя, нужно ли говорить обо всем жене, повернулся к Олегу и поглядел на него растерянно и беспомощно, словно спрашивал, как быть. Олег перехватил его растерянный взгляд — не то улыбку, не то гримасу — и понял, что должен помочь. Он уже сообразил, что тянуть дальше незачем, надо все рассказать и Любови Степановне.

Услышав правду, она тихо охнула и схватилась за голову. Харкевич подхватил ее и повел к стулу. Так она и сидела, словно окаменев, не отнимая рук от лица, и, когда Кузьма Иванович протянул ей стакан с валерьянкой, выпила, не понимая, что делать и что происходит вокруг.

Неожиданное появление полковника Штукаренко в здании управления Днепрогэса было фантастическим вознаграждением Харкевичу за все неприятности и неудачи прошедшего дня. Ему казалось невероятным, что заместитель командира дивизии, которая, сделав свое дело, ушла на запад догонять врага, может появиться в местах не-

давних боев. Но вот распахнулась дверь и в комнату, где размещалась оперативная группа, вошел высокий худощавый полковник, и сердце Олега зашлось от радостного волнения. Он сразу узнал Штукаренко — и по тому, как тот сначала распахнул дверь и только потом постучал, как делал это обычно, и по тому, как гулко и размеренно звучали его шаги, напоминавшие шаги Каменного властелина из драмы Леси Украинки, которую Олег знал наизусть почти от начала до конца.

...Неприятности начались у Харкевича с самого утра. В восемь часов вместе с начальником опергруппы Левчуком он пошел на плотину, чтобы обмерить один из прибрежных быков, уверенный, что доберется до нужного места с помощью веревочной лестницы, привязанной неделю назад, когда начались операции по спасению плотины. Но оказалось, что лестница оборвана. Конечно, с подкранового моста можно было повесить другую, но веревки с собой не взяли. Пришлось вернуться на берег. А главное — изготовить лестницу надо уметь. Когда же наконец справились со всем этим, выяснилось, что Харкевич забыл или потерял рулетку.

Левчук пришел в ярость. Но хуже всего было то, что ярость свою он выражал в форме добродушного подзуживания, вроде бы и дружеского, беззлобного, но очень похожего на издевку, за которой Олег улавливал столько ехидства и унижительного презрения, что лучше бы уж Левчук ударил его или отругал.

— Не беда, Олег Иванович, ведь у нас в запасе целая вечность, а обмерить надо всего лишь Днепровскую плотину! Успеем, не стоит переживать!

Харкевич молчал. Чувствовал, что если ответит, то уже не сдержится.

Впрочем, на этом неприятности не кончились. Как только они вернулись в управление, к Левчуку подбежал льстивый и медоречивый инженер Биба и доложил:

— Звонили из наркомата, спрашивали, как прошел первый день.

— Надо было сказать, что прекрасно, — многозначительно усмехнулся Левчук. — Только вначале куда-то исчезла лестница, которую как будто навешивали в присутствии Олега Ивановича, а потом — рулетка, которую товарищ Харкевич якобы имел при себе... — Об участии Харкевича в навешивании лестницы он сказал с особым ударением.

— Товарищ Левчук, может быть, вы прекратите... — начал Олег Иванович и не договорил.

— Вы, кажется, сердитесь? — улыбнулся Левчук. — Напрасно.

Олег промолчал. Сел за свой стол, вынул план плотины, который привез еще из Москвы и которым пользовался во время всей спасательной операции, и стал искать этот несчастный бык, водя карандашом по выцветшему чертежу.

Именно в этот момент широко распахнулась большая дубовая дверь, а потом в нее постучали.

— Не скажете ли, где можно увидеть...— послышался громкий, чуть хрипловатый голос. Штукаренко не закончил, потому что в эту минуту повернулся лицом к Харкевичу и увидел его.— А-а-а! — радостно воскликнул он и своим журавлиным шагом направился к Олегу Ивановичу.

Они стояли посреди комнаты обнявшись, и Штукаренко похлопывал Харкевича по плечам, а все присутствующие, и прежде всего Левчук, удивленно примолкли. Появление боевого полковника, а главное, то, что он дружески обнимал и хлопал по плечам Харкевича,— все это убедительно опровергало только что высказанное Левчуком сомнение.

— Ну, пошли, пошли, поговорим.— Штукаренко наконец выпустил Олега из своих объятий.

— Я скоро вернусь,— бросил Харкевич Левчуку, уже направляясь к двери.

— А зачем? — милостиво спросил Левчук.— Пора по домам.

Только прикрыв за собой дверь, Харкевич немного пришел в себя.

— Каким ветром? — радостно воскликнул он, словно только что увидал полковника.

— Дела, дела.— Штукаренко улыбнулся тонкими губами, и лицо его покрылось множеством морщинок.

Харкевич забеспокоился: может, дивизия отступает и возвращается в Запорожье?

— У нас же остались здесь дивизионные тылы,— объяснил Штукаренко, не заметив его беспокойства.— Кое-кого надо выгнать вперед, а иных передать соседям.

— Вот оно что,— успокоился Харкевич.— Далеко вы от нас ушли?

— Пока не очень, но дней через пять-шесть... — Он не договорил, и Харкевич понял, что дивизия скоро двинется вперед.

Они вышли на улицу и остановились. Штукаренко поглядел на плотину, потом на развалины турбинного зала. С минуту помолчал, припоминая недавнее, а может, и давнее прошлое, когда в двадцать седьмом работал здесь с отцом грабарем. Но сразу отогнал воспоминания, он не любил ни собственной, ни чужой растроганности. Лицо, вытянувшееся на миг, снова обрело свою обычную форму.

— Может, пообедаем?

— Конечно,— согласился Харкевич.— Боюсь только, что не смогу предложить вам ничего особенного...

— Не бойтесь,— рассмеялся полковник.— Вы забыли, что у нас тут тылы.

— Нет, нет! — возразил Харкевич.— Только ко мне.

— К вам так к вам,— сразу же согласился полковник.

Они свернули за угол. Как только водитель увидал Штукаренко, он рванул с места газик и, скрипнув тормозами, остановился.

Водитель был тот же, с которым они еще недавно втроем ездили на плотину, когда прозвучал первый взрыв, разрушивший до основания турбинный зал. Парень тогда не проявил большого мужества.

Теперь же Олега Ивановича порадовала встреча с ним, хотя до сих пор они не перекинулись ни словечком.

— Воюем? — спросил Харкевич и крепко пожал руку водителю, словно встретил старого друга.

— Воюем! — ответил шофер и распахнул перед ним дверцу.

Ехать было недалеко, но за это короткое время в памяти Харкевича промелькнуло немало воспоминаний. Странно: сколько людей встречал в жизни, со многими приходилось бывать вместе подолгу, а вот с этим полковником — только неделю или чуть больше, а сроднился, должно быть, навек. Харкевич вначале не мог понять почему. Может, причиной были осколки и пули, которые могли попасть в любого из них, когда они вместе спасали плотину, а может, сама плотина, — ей-то оба отдали бы все — даже жизнь. Она не приняла от них такой жертвы — то ли из великодушия, то ли по какой-то иной причине... От других — приняла, а от них — нет... Почему она помиловала именно их? Разве в те дни не все были равны перед нею?

— Вы сказали, что скоро уйдете далеко, — спросил Олег. — Как это понять?

— Назревают события. — Штукаренко повернулся к нему лицом: — Перебрасывают на другой фронт.

Харкевичу хотелось узнать — куда именно, но спросить он не решился. Хоть и чувствовал себя среди армейских своим человеком, но мешало своеобразное преклонение перед святостью военных тайн, которое, укоренившись в его штатской душе, приучило ни о чем не расспрашивать. Он помолчал, словно выжидая, что Штукаренко сам скажет, но тот тоже молчал, и Харкевич понял, что поступил правильно, сдержавшись и не требуя уточнений.

Когда вышли из машины, полковник сказал водителю:

— Отнеси все в дом.

При этом он подмигнул и махнул рукой в сторону машины. Шофер понял: быстро достал из-под заднего сиденья небольшой деревянный ящик и понес следом за ними.

Еще не дойдя до двери, Харкевич вдруг спросил:

— А как полковник Шумаков?

Штукаренко остановился. Он выискивающе, даже с некоторым подозрением посмотрел на Харкевича: неужели знает?

— Вы о чем?

— Он же был ранен?

— Ах, вы об этом? — с облегчением произнес полковник и пошел дальше. — Ничего, все хорошо. Командует дивизией.

Супругов Стороженко дома не было, и Харкевич обрадовался, что они смогут наговориться вволю. В присутствии посторонних пришлось бы разговаривать о пустяках или выслушивать рассказы о здешней жизни. Сейчас он чувствовал себя лучше: связанный с этим человеком недавним, но дорогим для него прошлым, Олег Иванович мог расспрашивать не только об общем положении на фронте, но и об отдельных людях.

В ящике оказалось все, о чем в эти первые дни после освобождения Днепрогэса можно было только мечтать. Оставалось разогреть банку мясных консервов и вскипятить на буржуйке чай. Пока водитель накрывал на стол, откупоривал бутылку спирта, Харкевич сбегал вниз и принес воды. Вернувшись и увидав то, что уже было расставлено на столе, он только всплеснул руками:

— Ну и ну!

Кузьма Иванович появился, когда они уже выпили по второй.

Он не сразу понял, что происходит у него в квартире, и, удивленный, остановился в дверях. Олег Иванович подбежал — он был уже навеселе — и представил Штукаренко:

— Полковник Штукаренко, заместитель командира дивизии. В недавнем прошлом — историк!

Лицо Стороженко расплылось в радостной улыбке.

— Как я рад, как я рад! — приговаривал он, долго не выпуская костлявую руку гостя из своей. — Слышал, слышал, Олег рассказывал.

Он стоя выпил с ними немного разведенного спирта, и, когда уселся за стол, чтобы закусить, Штукаренко неожиданно сказал, обращаясь к Харкевичу:

— Я вам говорил, что назревают события и что скоро мы будем далеко от этих мест.

Обоих — Олега и Кузьму Ивановича — сообщение это взволновало. Стороженко опустил вилку, так и не донеся до рта, а Олег Иванович воскликнул:

— Неужели?

— Это, конечно, между нами, — предупредил Штукаренко на всякий случай.

Он заговорил о другом. Харкевич расспрашивал про Амирадзе, про других бойцов, с которыми вместе действовал на плотине, но выяснилось, что Штукаренко ничего нового рассказать о них не мог. Ребята разбрелись по своим частям и подразделениям, да и не может заместитель командира дивизии по политчасти знать, где какой боец находится в данную минуту и что с ним.

Харкевич все время думал о Корсуне. Может, события, о которых упоминал полковник, назревают именно там? Кто-кто, а Харкевич понимал, что это могло бы означать. Знал, что Ксения где-то там, и это наполняло его неосознанным чувством тревоги.

11

Стороженко уезжали в воскресенье. Хотя Кузьме Ивановичу не терпелось и выехать можно было дня на два раньше, но соседи настаивали и уговаривали ехать в выходной день, когда они будут дома и смогут помочь упаковаться, проводить в дорогу.

На этом настаивала и Любовь Степановна, мотивируя тем, что хочет закончить лечение двух больных. Но больные были только зацепкой, на самом деле она всячески оттягивала поездку, все еще

надеясь на чудо, хотя и знала — посланец от Ксени не придет и ждать нечего!

Из вещей, которые они привезли с собою два года назад, когда ехали в гости к дочке, почти ничего не осталось. Но за это время появилось много всякой домашней утвари, и всю ее надо было взять с собою в Киев — оба понимали, что там без нее не обойтись, а достать, вероятно, еще труднее, чем здесь. Упаковывая старый алюминиевый чайник с помятым боком, кастрюли с тонкими ржавыми дынышками, туфли, подшитые резиной от мотоциклетной шины, старую солдатскую флягу и немецкий котелок, Любовь Степановна все время ворчала, не понимая, откуда берется столько хлама. Но старалась все засунуть в потертый кожаный чемодан и рваный туристский рюкзак, с ужасом отмечая, какие они тяжелые и неудобные. Непонятно было, как двое пожилых людей смогут перетаскивать вещи из вагона в вагон во время неизбежных пересадок?

Кузьма Иванович все время подавал не очень практичные советы, но Любовь Степановна не подпускала его близко, считая, что компактно упаковать может только она и незачем ему торчать в комнате, где он только мешает. Кузьма Иванович ежеминутно вынимал из внутреннего кармана потертого синего пиджака большую записную книжку, проверял, на месте ли бумаги — одна со штампом какой-то военной тыловой части, подписанная Штукаренко, вторая — из партизанского штаба, принесенная накануне Ярошенко. Это были обращения к военным комендантам станций, где говорилось об участии профессора Стороженко в партизанском движении. Кузьма Иванович ни за что не хотел брать этих бумаг, потому что к тыловым частям не имел никакого отношения, да и партизаном он себя не считал. Бумаги лежали на месте, аккуратно сложенные вчетверо, и, хотя профессор считал их фальшивыми, он снова прятал их в записную книжку, чтобы через минуту снова вынуть и убедиться, что они на месте.

Бумаги эти появились независимо друг от друга. Три дня назад, когда Штукаренко обедал у них, Харкевич спросил, не может ли полковник дать машину, чтобы подбросить стариков до Днепропетровска, откуда на Киев уже ходили поезда.

— А вызов у вас есть? — спросил полковник Кузьму Ивановича.

— Вызов? — удивился профессор. — Что это такое — вызов?

Штукаренко объяснил, что во время войны без вызова переезжать никуда нельзя — такой теперь порядок, даже его жена, эвакуированная в Уфу, не может вернуться домой, и он сам вчера разослал письма некоторым влиятельным друзьям с просьбой устроить жене вызов, хотя думает, что это не так просто.

Кузьма Иванович растерялся. Конечно, никакого вызова у него нет. Но как же так — ведь он должен ехать, это не каприз. Он обязан, он должен, к тому же он коренной киевлянин, который там родился, вырос и, хоть нет у него вызова, там умрет.

— Все это верно, — улыбнулся Штукаренко его наивному возмущению. — Я вас понимаю и сочувствую, но порядок этот установил не я.

— Боже мой, как же быть?! — испугался Стороженко, начиная понимать всю сложность ситуации. Профессор не сказал, что они с женой уже подали заявление об уходе с работы, ибо катастрофа заключалась не в том, что завтра снова придется как-то устраиваться, а в крахе надежд. Он сидел раздавленный неожиданным ударом, ошеломленный безвыходностью.

Харкевич смотрел на него, и ему было жаль старика. Он и сам не подумал обо всех этих необходимых формальностях. Ведь у Стороженко киевские паспорта, и этого, казалось, вполне достаточно, чтобы вернуться в Киев.

И тут Штукаренко предложил:

— Впрочем, с вами все-таки легче, чем с моей женой. Напишем вам грозную бумагу с круглой печатью — и все будет в порядке. С женой моей, к сожалению, посложнее: ей не пошлешь с фронта документ о боевых подвигах, если она все время в Уфе! — Он рассмехался, но как-то не очень весело.

Кузьма Иванович слышал эти слова, но не придавал им значения. А какое, собственно, отношение к боевым подвигам имеет он, хотя и прожил все время не в Уфе, а здесь, в Запорожье? Думал, полковник пошутил. Но идея о документе засела в голове, и на следующий день он пошел разыскивать Ярошенко. Может, попросить в горсовете какую-нибудь справку? Ну, хотя бы о том, что он прожил эти два года здесь. Теперь Кузьма Иванович понимал, что в Киеве предстоит объясняться и какой-то документ надо достать.

Ярошенко обещал похлопотать, а в полдень принес справку из партизанского штаба. Стороженко прочитал написанное и взмолился:

— Боже, какое преувеличение! Зачем это? Для чего?!

— А преуменьшать тоже не следует, — почти поучительно заметил Ярошенко. — Мы с вами отстреливались тогда хоть и в складчину, а били в одну мишень.

Профессор не соглашался, но спорить и доказывать было некогда, и Ярошенко ушел, пообещав забежать еще в воскресенье. А через несколько минут у дома остановилась громадная грузовая машина от Штукаренко. В дверь постучал маленький лейтенант. Лицо его было так густо усыпано веснушками, что казалось припорошенным золотой пылью. Лихо щелкнув каблуками и козырнув, он передал Кузьме Ивановичу запечатанный сургучом пакет, в котором была роскошная бумага с круглой печатью и записка с уведомлением, что машина на Днепропетровск заедет за ними в воскресенье в девять ноль-ноль.

Полуторка подкатила минута в минуту. Харкевич еще перевязывал бечевкой мешок с кастрюлями, когда послышался рокот мотора, а потом пронзительный скрип. Кузьма Иванович выглянул в окно и засуетился:

— Ну пошли, пошли. Хватит возиться!

Любовь Степановна села в кресло и, опустив голову чуть не до колен, заплакала. Клавдия Харитоновна подошла к ней, положила руку на плечо, словно собиралась успокоить, но и сама заплакала.

Соломня стояла в дверях, глаза ее были сухи, но все понимали, что кроется за этой суровой сухостью: когда плот, к которому был привязан ее мертвый муж, прибило к развалинам мельницы, она тоже не плакала — стояла в стороне с такими же сухими глазами и заплакала только после похорон.

Одни мужчины внешне не проявляли своих чувств — Харкевич увязывал последний узел, а профессор бегал по комнате, пересчитывая места, чтобы не забыть чего-нибудь, и на женщин не глядел, боясь расчувствоваться.

— Посидим минутку, — сказала Соломня низким, сдержанным голосом.

Мужчины присели на кровать, а сама она — на стул у стола. Клавдия Харитоновна оперлась на подлокотник старого кресла, и в комнате наступила тишина.

Это была минута, в которую воплотились надежды почти двух лет — двух лет страха, мучений и одновременно волнующего и прекрасного ощущения общности, кровной зависимости этих людей друг от друга. И все — каждый по-своему — думали о том, что вместе с листком календаря нельзя оторвать от себя прожитый день, а вместе с ним и это священное чувство человеческой солидарности, которое, может, со временем и поблекнет, но никогда не исчезнет совсем, все они останутся друзьями и до смерти не забудут того, что пережили вместе.

Первая поднялась Клавдия Харитоновна.

— Ну все, — сказала она неожиданно весело, словно подвела итог своим раздумьям и вывод целиком ее устраивал. — Хватит распускать нюни! — Щеки у нее были мокрыми, но глаза улыбались.

Морозный воздух звенел, небо казалось прозрачным и, прошитое невидимыми лучами, сверкало — от этого болели глаза. Где-то очень высоко виднелось маленькое, почти неподвижное пятнышко — звон исходил от него. Только Харкевич поднял голову и смотрел вверх — вражеский разведчик. Олег Иванович на минуту остановился, прямо на ходу раскрыл чемодан, достал из него сумку с лекарствами и протянул Любови Степановне, которая вместе с Кузьмой Ивановичем уже устроилась в кабине рядом с водителем.

— Зачем это? — удивилась она.

— На всякий случай, — буркнул Харкевич.

Водитель покосился на красный крест, вытисненный на сумке, усы его шевельнулись, как у таракана, и он пробасил:

— Долбают, идола, на дорогах. Вчера одного нашего прошили за рулем, и машина свалилась в реку.

Любовь Степановна притихла, покорно взяла из рук Олега сумку и, как испуганный ребенок, прижала ее к груди. Профессор тоже притих и как будто стал ниже ростом. Неуместное замечание водителя всех огорчило.

— Ну что вы людей пугаете? Ох и чудак! — сказала Клавдия Харитоновна.

— А чего пугаться? — возразил он. — Я всю войну под ними, а жив и все еще кручу баранку.

Но его веселость никому не передалась — торжественность прощания была омрачена.

Полуторка отъехала, но провожающие еще долго стояли посреди улицы и макали руками. Один Харкевич медленно пошел к дому, не дожидаясь, пока машина завернет за угол.

После всей суеты, связанной с отъездом, после грустного прощания и слез Любови Степановны он чувствовал себя усталым и опустошенным. Когда поднимался по лестнице, ноги были тяжелыми — их приходилось ставить на каждую ступеньку, как гири. В комнате он, не снимая шинели, повалился на кровать, словно всеми брошенный, одинокий. Такого с ним не было уже давно, — пожалуй, с тех пор, как покинул свой мрачный номер в гостинице «Балчуг», у Москворецкого моста. Там он чувствовал себя так же — возвращался поздно ночью из Наркомата электростанций и после длинного дня, наполненного деловыми хлопотами и ведомственными волнениями, оставался один на один со своими мыслями. Ах, Ксения, Ксения, если бы ты была здесь! Или хоть знать бы, что жива, — и это было бы счастьем...

Он долго лежал неподвижно, потом сознание стало меркнуть, заволакиваться туманом. И почему-то перед ним возник заведующий его сектором в Наркомате электростанций Козлов — он ехидно усмехаясь, пускал шпильки по поводу докладной записки Харкевича. Наконец посмотрел на часы и, крикнув: «Меня же ждет нарком», побежал по коридору, размахивая его докладной. «Опять меня не вызвал, — подумалось уже во сне. — Разве Козлов лучше меня сумеет рассказать о том, что я видел в командировке? Выслуживается, уверен, что если доложит вместо меня, то и похвалят его. Сам бы и ездил в командировки, сам бы попробовал пересаживаться из теплушки в теплушку!» Олег пошевелил губами, словно говорил Козлову вслух эти укоризненные слова, но злости не чувствовал, — видимо, во сне все воспринималось по-другому. И Олег снова выдвинул ящик, нашел лист белой бумаги и принялся писать новую докладную...

Проснулся Харкевич от страшного грохота. А когда открыл глаза, услышал тихий стук в дверь и голос Клавдии Харитоновны:

— Олег, чай готов. Идите.

Он приподнялся на кровати, с минуту посидел, бессмысленно глядя в угол, потом зябко pokrutil головой, словно стряхивая неприятный сон, поднялся и пошел к Клавдии Харитоновне.

На следующий день часа в три завывала сирена и послышался тяжелый, басистый гул. Самолетов еще не было видно, но стремительные волны, которые они катили впереди себя, сотрясали воздух. Он дрожал сильнее и сильнее, вскоре все вокруг превратилось в

сплошной рев. Через минуту из-за домов появились бомбардировщики. Их было много, не менее тридцати, они летели тройками и все вместе походили на журавлиный клин из тяжелых металлических громадин. Неуверенно трахнула одинокая зенитка, но другие не поддерживали ее — стрелять по самолетам было еще рано. Зато когда немного погодя ударили зенитные батареи, стало ясно, что их здесь много: перед самолетами сразу возник целый фронт круглых белых дымков, легких и даже грациозных по сравнению с упрямо надвигающимся на них клином. Впрочем, строй его быстро распался — самолеты медленно, заваливаясь на крыло, отворачивали одни вправо, другие влево. Выше, над ними, шныряли истребители, поблескивая серебром на виражах, — зенитные разрывы до них пока не долетали. По сравнению с неуклюжими, неповоротливыми бомбардировщиками они казались ловкими и увертливыми, причем, им меньше грозила опасность. Но, как только им наперерез помчались три звена советских истребителей, они заметались, словно испуг бомбардировщиков передался и им, однако не бросились ни навстречу истребителям, ни враспыленную, а закружили вокруг своих бомбовозов, сгоняя их в одну кучу, словно испуганную стаю.

Харкевич выскочил на улицу. Он побежал к зданию управления, на ходу застегивая шинель, взволнованно всматриваясь в небо, изредка поглядывая на тротуар, чтобы не споткнуться. Бомбардировщики были уже над городом, когда одно звено советских истребителей отделилось и ринулось прямо в гущу врагов. Два бомбовоза сразу же задымили, круто накреньясь, заревели ранеными моторами и свернули вправо. Истребители их не догоняли, а, выйдя из пике, почти над самыми крышами, так же круто, как спускались, взмыли вверх.

Люди отовсюду бежали к своим, только что восстановленным учреждениям: всем надлежало дежурить на крышах в случае воздушной тревоги. Правда, в этом почти не было смысла, потому что вокруг фактически нечего было спасать — возле плотины, которая только и интересовала немцев, все дома лежали в развалинах. Да и немцы вряд ли таскали с собой зажигательные бомбы — огромная бетонная плотина загореться не могла. Но приказ надо было выполнять, и люди бежали навстречу опасности.

Когда Олег наконец вскарабкался на уцелевшую часть крыши, Левчук уже был там. Педантичная аккуратность, которая только и была причиной того, что начальник опергруппы прибежал первым, удивила Харкевича: Левчук жил от управления дальше, чем он, правда, ноги у него были длиннее. Когда Харкевич подошел, Левчук уже стоял во всеоружии — противогаз через плечо, лопата в руках, — напряженный и внимательный, готовый обезвредить первую же зажигательную бомбу. Харкевича, впрочем, волновали другие бомбы: до сих пор еще замурованные в теле плотины вместе с огромным количеством взрывчатки, они могли откликнуться на взрывы тех, что вот-вот оторвутся от самолетов. Случись это, немцам удалось бы выполнить свой адский замысел и окончательно уничтожить плотину, то есть добиться того, чему фактически помешал Харкевич, когда

вместе с Амирадзе неделю назад перерезал провод в потерне. Это было бы ужасно, но случиться могло — Олег прекрасно знал, что такое детонация.

В небе творилось бог весть что. Воздушный бой шел в два яруса. Вверху несколько советских истребителей крутили безумную карусель с немецкими, чтобы отвлечь их от бомбардировщиков. Другие тем временем наседали с правого фланга на тяжелые, неповоротливые вражеские машины, пытаясь отогнать их как можно дальше от плотины и заставить сбросить свой груз в Днепр. Харкевич следил за этим маневром советских истребителей и старался понять: учитывают ли они фатальную возможность такого явления, как детонация, или просто отгоняют самолеты противника подальше от объекта, чтобы бомбы не попали в цель? Если нет, то они могут удовлетвориться небольшим расстоянием, и тогда произойдет самое страшное. Но он видел, как с каждой минутой бомбардировщики удалялись от плотины все дальше: над каждым самолетом, который пробовал отделиться от других и войти в пике, нависала угроза удара в хвост, они снова и снова поворачивались всей армадой, чтобы сделать еще одну попытку, но невольно оказывались все дальше и дальше от плотины.

В воздухе стоял сплошной рев. Все дрожало как в лихорадке, от перегрузки болели барабанные перепонки. Олег все пытался сказать что-то Левчуку, но всякий раз замолкал, понимая, что тот все равно ничего не услышит. Наконец он попробовал крикнуть:

— Я думаю, сейчас надо не обмеривать плотину, а вывезти мины...

Левчук обернулся.

— Что? — переспросил начальник опергруппы, но, не дав Харкевичу повторить, вдруг ответил: — Завтра запрошу Москву.

— Саперы теперь ближе к нам, чем к наркомату.

— И все равно нужна санкция. — Левчук не пожелал обсуждать этот вопрос.

Олег подумал о Штукаренко. Может, он еще где-то здесь? Если совсем уехал, попрощался бы. Не мог он уехать, не забежав попрощаться.

Над Хортицей тяжелыми волнами катились оглушительные взрывы: немцы освобождались от бомб над пустынным островом. Только теперь Харкевич посмотрел направо и увидел, как там один за другим поднимались в небо гигантские столбы пламени. Летчики сбрасывали свой груз куда попало, уже не думая о цели, — должно быть видели, что карусель вверху слишком уж затянулась, истребители вот-вот останутся без горючего и будут вынуждены бросить их на произвол судьбы. Взрывы грохотали, сливались в сплошной гул и напоминали Олегу бой, который сотрясал здесь все вокруг, когда дивизия Шумакова переправлялась на правый берег, а они вдвоем с Амирадзе, отрезанные от своих в узеньких внутренних переходах плотины, наблюдали в квадратное отверстие за происходящим на середине Днепра. Сейчас над Хортицей творилось нечто похожее, разве только не было таких фантастических фейерверков, как тогда, но грохот стоял не меньший. И Харкевич понимал: то, что не

удалось врагу сегодня, может удачи завтра, ведь не глуп же он — знает законы детонации и будет посылать свои воздушные армады до тех пор, пока в плотине замурован заряд. Значит, надо как можно скорее вскрыть адские камеры, вынуть из них немецкую взрывчатку, чтоб у врага и надежды не было. Пусть целятся в плотину сверху, если долетят, пусть прорываются сквозь огонь зениток и атаки истребителей, если даже и попадут в цель — не страшно: отколют кусок, но не уничтожат, не разрушат до основания.

Рев самолетов постепенно ослабевал. Два или три догорали на Хортице. Вскоре, почти касаясь крыш, на восток промчались два звена, потом третье, неполное, — это были те, кто, отгнав немецкую армаду, возвращались на свой аэродром. Одного самолета не хватало. Харкевич долго прислушивался, не догоняет ли он своих, но все стихло, а истребитель не появлялся.

— Вы считали? — спросил Левчук. — Сколько их прилетало?

— Не знаю, не считал... — ответил Олег. Он думал о своем самолете, который не вернулся из погони, — не хотелось верить, что он не прилетит.

Левчук и Олег на четвереньках поползли вверх, на самый гребень крыши, покрытый обледеневшим снегом, и по очереди пробрались через отдушину на чердак. Справа зияла огромная дыра: половина дома, два года назад рухнувшая от взрыва, потянула за собой и большую часть крыши с уцелевшего крыла. В ярком свете, проникавшем сквозь дыру, Харкевич разглядел серое, позеленевшее лицо Левчука. Наверху оно имело бледноватый, но все же здоровый вид, а теперь скулы торчали, нос заострился, губы вытянулись и стали почти лиловыми. Выходит, у Левчука есть характер, раз он заставил себя держаться, все-таки не тряпка, как Биба, который считает, что лучше вообще не приходить.

Внизу он сказал Левчуку:

— Вы, конечно, запросите Москву, это ваше дело, а я попытаюсь разыскать саперов на месте. Не возражаете?

Начальник опергруппы не ответил — то ли не хотел связывать себя разрешением, то ли не расслышал.

— Значит, договорились? — спросил Харкевич.

Левчук поглядел на него помутневшими глазами.

— Меня подташнивает, — едва пробормотал он.

— Может, проводить вас?

— Спасибо, не надо. — Он протянул руку, словно цеплялся за спасителя. Рука была влажной, слабой, и только теперь Олег окончательно понял, что Левчук действительно еле держится на ногах и ему сейчас не до деловых разговоров.

— До свидания, — попрощался Харкевич и пошел к понтонному мосту, надеясь поймать попутную машину и добраться до места, где раньше стоял понтонный батальон. Почему-то ему казалось, что тыловая часть, о которой говорил Штукаренко, разместилась именно там.

Он шел быстро и, оглянувшись, увидал, что Левчук сидит на ступеньке у входа в управление. «Ему действительно плохо», — подумал Олег и шагнул назад. Но Левчук махнул рукой: мол, идите, помощи не нужно. Харкевич с минуту постоял и решил не возвращаться. Следовало во что бы то ни стало найти Штукаренко, если он еще здесь, или по крайней мере узнать, где его искать, если он уехал.

13

У ворот шагал часовой в черном дубленом полушубке, подпоясанном новеньким кожаным ремнем; полы полушубка топорщились и торчали по бокам, словно были из обгоревшего на костре железа. Из-под них поблескивали новые хромовые сапоги, а желтый приклад такого же новенького автомата, висевшего у часового на груди, еще больше оттенял эту металлическую черноту. Взглянув на часового, на его блестящий офицерский ремень и меховую ушанку, Олег понял, что за деревянным забором разместился не склад боеснабжения, а хозяйственная часть, где солдату не составляет труда обменять свое старенькое обмундирование на новое. Это его немного разочаровало. Штукаренко вряд ли остановится в таком месте. Харкевич с досадой подумал, что даже если это и есть те дивизионные тылы, о которых говорил полковник, то непохоже, чтобы здесь нашлись саперы, столь необходимые ему сейчас.

Он спросил, нет ли здесь заместителя командира дивизии, и часовой, почему-то взяв автомат наперевес, словно собираясь пустить в Харкевича очередь, прищурился и, отчеканивая слова, спросил:

— А откуда вы взяли, что он должен быть здесь?

Олег понял, что его в чем-то подозревают, и, не раздумывая, ответил:

— А он сам мне сказал.

Это произвело впечатление на смуглого круглолицего парня, но ответил он все-таки сердито:

— Его сейчас нет.

Харкевич решил дальше не расспрашивать. С него было достаточно, что часовой знает, о ком идет речь, — значит, здесь разместились одно из учреждений, где надо искать Штукаренко.

— Позовите дежурного, — сказал он, стараясь придать своим словам как можно больше веса.

Часовой заколебался — категоричный тон Харкевича, как видно, произвел на него впечатление.

— Подождите тут.

Он быстро вернулся и ничего не сказал — это могло означать, что дежурный скоро выйдет. Но ждать пришлось довольно долго. Харкевич прислонился к железной бочке, которая стояла рядом, и закурил. Ноги гудели — машину так и не удалось поймать, шел сюда пешком. Почему он, собственно говоря, пошел именно сюда? Он помнил этот двор еще с довоенных времен — здесь когда-то была база

алюминиевого завода. А совсем недавно — уже когда спасали плотину — он с лейтенантом Хохлом и полковником Штукаренко почему-то свернули сюда. Позднее он узнал, что именно здесь размещался понтонный батальон, который наводил под огнем мост, где был ранен Шумаков. Олег вспомнил лицо командира дивизии, его невысокую, крепко сбитую фигуру. Почему Штукаренко так забеспокоился, когда Олег спросил, как чувствует себя комдив? Харкевич не имел в виду ничего особенного, но на лице Штукаренко отразилось странное смущение.

Солнце уже садилось, короткий зимний день тускнел, обволакивался предвечерней синью. На горизонте, где-то за маленькими домиками городской окраины, появилась багровая полоса — завтра будет холоднее. И в ту же минуту из-за забора донесся высокий голос дежурного: «Кто тут меня спрашивал?» Но не успел дежурный появиться, как в переулочек влетел газик и, скрипнув тормозами, остановился у ворот — рядом с водителем сидел Штукаренко.

Харкевич не ответил на вопрос дежурного, а пошел к машине. Штукаренко в этот момент вытаскивал из коротенькой, словно обрубленной, машины свои длиннющие ноги и, всецело занятый этим, не сразу заметил Олега. А когда вылез на снег, поглядел вперед, и его худощавое лицо осветила улыбка.

— Вот это да! Почему вы здесь?

— Был рядом, увидал, что вы едете... — солгал Харкевич и тоже улыбнулся.

— Вот и хорошо! — воскликнул Штукаренко. — А я заехал за начальником склада, пригласил пообедать, так что поедем вместе.

Харкевич не возражал.

— Часовой, майора Соломаху ко мне! — приказал Штукаренко.

Часовой козырнул и скрылся за воротами, а на его месте возник пожилой приземистый лейтенант — скорее всего тот, что шел на вызов Харкевича. Он смешно вытянулся, приложил короткую руку к ушанке и стал докладывать, но Штукаренко перебил его:

— Ладно, ладно.

Лейтенант замолчал и отступил, потом отошел еще немного в сторону и замер.

— Видели? — спросил Штукаренко.

Харкевич понимал, о чем спрашивал полковник, но на всякий случай переспросил:

— Что?

Штукаренко многозначительно кивнул в сторону плотины.

— Конечно, видел, — сказал Харкевич. — Об этом я и хотел поговорить.

Штукаренко подошел вплотную, готовясь слушать, но в этот момент открылась калитка, появился майор Соломаха и направился к ним.

— Сейчас не дадут поговорить, — произнес полковник и повернулся к Соломахе: — Садитесь, майор. Имейте в виду — я не один. Познакомьтесь.

Харкевич сидел в машине рядом с Соломахой. Майор, наклонившись вперед, громко докладывал Штукаренко о том, что у него мало машин и он не может погрузить все имущество — просит подкинуть ему еще десяток-другой трехтонок, потому что во время боя у него забрали пять машин для боеснабжения, а за это время собрано много трофеев, которые тоже нельзя бросать. Штукаренко что-то отвечал, что именно — расслышать было нельзя, — но по тому, что Соломаха настаивал на своей просьбе и все время приводил новые и новые доводы, стало ясно, что полковник отказывал.

Олег с горечью подумал, что и на его просьбу Штукаренко может ответить так же. Да и не удивительно — дивизия выполнила свое задание на плотине, и ее ли дело помогать теперь, когда она должна передислоцироваться и вообще перейти в распоряжение другого фронта, который не имеет ни малейшего отношения к здешним делам. Это было бы ужасно. Пока на Днепротресте появится настоящая администрация, пока придет начальник, который сможет что-то предпринять, немцы непременно еще не раз прилетят бомбить плотину.

Харкевич вспомнил всех, кто отдал жизнь, чтобы плотину не взорвали, — Ковальчука, лейтенанта Хохла, даже своего личного врага Рудя, — и ужаснулся при мысли, что они погибли напрасно. В отказ не хотелось верить. Но воображение рисовало ему все, что может произойти в случае отказа. Олег, забившись в уголок тряского газика, не замечал, куда они едут, да и вообще — что едут.

Опомнился он, когда машина остановилась возле маленького одноэтажного домика на окраине старого города. Соломаха первый выскочил на мостовую и гостеприимно распахнул перед ним дверцу — близость к заместителю командира дивизии, очевидно, придавала Олегу особый вес. Немалую роль, верно, играла и таинственная шинель без погон. Харкевич почувствовал себя неловко, должно быть, Соломаха принимал его за секретаря обкома или представителя из Москвы, похоже было, что он считает его чуть ли не выше чином, чем сам Штукаренко. Из домика выбежали еще офицеры, вытянулись. Козырять они не могли, потому что были без шапок, но и они прежде всего уступали дорогу Олегу.

В большой комнате с тремя окнами, из которых уже веяло вечерним сумраком, длинный стол ломился под тяжестью множества тарелок с закусками, а главное, бутылок.

Все это напоминало то ли свадебный обед, то ли торжественный банкет. Метнув быстрый взгляд на все эти роскошные яства, которые в таком количестве и в таком сочетании Олег видел, пожалуй, впервые в жизни, Штукаренко спросил:

— Это что?

Все стоявшие вокруг стола невольно вытянулись, а майор Соломаха, верно поняв уже, что полковник недоволен, растерянно переступал с ноги на ногу, подыскивая слова.

— А, понимаю, — насмешливо проговорил полковник. — Война кончилась, враг окончательно разбит, а поскольку сегодня еще и воскресенье, значит, можно как следует выпить и закусить...

— Товарищ полковник... — растерянно пробормотал Соломаха, и лицо его побагровело. — Так мы же...

— Понимаю, понимаю, — так же насмешливо продолжал Штукаренко. — Приезд заместителя командира дивизии тоже неплохое оправдание для хорошей выпивки за государственный счет.

Теперь молчал уже и Соломаха, только его круглые глаза испуганно бегали, а сам он стоял вытянувшись, как и все, пристыженный и ошеломленный неожиданной реакцией полковника на его искреннее гостеприимство.

Штукаренко подошел к столу, взял вилку, ковырнул паюсную икру, горой наваленную в глубокую тарелку и аккуратно приглаженную ножом, и положил вилку на место.

— Шикарно живете, — проговорил он задумчиво. — Как говорится, дай бог каждому. — Штукаренко решительно повернулся: — Поехали к вам, — обратился он к Олегу.

Все бросились к нему, стали извиняться, майор Соломаха забежал вперед, хотя это и было не по уставу.

— Прошу вас, товарищ полковник, — умолял он. — Что же это получается?!.. Мы ж от всего сердца... Если хотите, мы все это сдадим обратно на склад.

— Вот-вот-вот! — уже добродушно заговорил Штукаренко, надевая в передней шинель, которую на этот раз ему никто не подал. — Все сдать на склад. Поехали, товарищ Харкевич.

Они вышли на улицу в сопровождении ошеломленной толпы интендантов и, не прощаясь, направились к машине. Штукаренко даже не оглянулся на вытянувшихся, побледневших офицеров, сконфуженно стоявших у крыльца.

— Здорово вы их! — восхищенно воскликнул Олег, когда машина отошла.

— Иначе нельзя. — Штукаренко повернулся лицом к нему: — Я бы с удовольствием поел икры и опрокинул стопку. Но не могу себе этого позволить.

Некоторое время ехали молча. Олег улыбался, припоминая побледневшие и растерянные физиономии людей, которых он только что видел. И снова подумал о Ковальчуке и Ходде, об Амирадзе и Руде...

Они переехали понтонным мостом на правый берег, свернули у полуразрушенного здания управления, и Олег успел заметить тень обгоревшего тополя на фоне уже почти ночного неба. Сердце дрогнуло и затрепетало, словно этот тополь, напомнивший ему о Ксене, присоединил и ее имя ко всем, кого он только что вспоминал. Нет, нет, этого не может быть!.. Сердце стучало так громко, что казалось, его биение слышно всем.

— Ага, чуть не забыл! — спохватился Штукаренко. — Вы ведь хотели со мной поговорить. О чем?

Олег рассказал о своих опасениях, связанных с детонацией.

— Не знаю, — ответил полковник. — Я не специалист. Это надо выяснять.

— Лучше не выяснять, а избавиться от мин.

— А что думает об этом ваше начальство? — спросил Штукаренко.

— Какое же начальство! Управления фактически еще нет. Есть несколько человек и полуразрушенное здание, — вздохнул Олег.

— Но я думаю, в ближайшее время оно будет?

— В ближайшее время мы можем потерять то, что спасли.

Штукаренко помолчал.

— Сегодня же свяжусь с авиационным командованием, — сказал он погодя. — Надо усилить противовоздушную оборону. А что касается саперов... Видите, если б не передислокация на другой фронт...

— Надо что-то предпринять, — сказал Харкевич.

— Все это не так просто... — вздохнул полковник. — И с саперами и с самой войной... Она еще слишком близко, вот в чем беда!

Машина подъезжала к дому. Больше — ни теперь, ни через несколько минут, когда поднимались по ступенькам, ни чуть позже, когда ели бычков в томате и пили чай, — Харкевич разговора об этом не заводил: полковник не из тех, кому надо напоминать. Беспокоило одно — то, что так неожиданно возникло из грустного и как бы вскользь сделанного замечания, что «война еще слишком близко». Это было напоминание об изменчивости военного счастья на поле боя — вдруг немцы снова окажутся тут?..

14

Когда между двумя людьми возникают тайны, отношения их меняются и становятся сложнее, чем были до того. Хочешь не хочешь, а невольно делаешься скованным, в разговоре возникает внутреннее напряжение, внешне, может, и незаметное, но ощутимое по крайней мере для того, кто что-то скрывает. Как ни обидно, а приходится утаивать, и как ни выкручивайся, а должен признать, что рядом поселилась ложь.

Еще хуже, когда таиться друг от друга должны оба. А между Федором и Ксеньей встала не одна тайна, а две.

Вторая была Федора, правда, не такая страшная, как у Ксении. Просыпаясь среди ночи на своей старой железной кровати, он ни на минуту не переставал думать о том, что его беспокоило, и даже порой приходил к мысли, что таиться не следует. Он не раз решал, что, как только Ксения проснется ночью или днем, когда они останутся одни, он наберется смелости и объяснится. Но Ксения не просыпалась или, может, лежала тихо, а утром смелость его таяла вместе с предрассветным туманом, его пугала даже мысль о признании, и он боялся только одного — как бы она сама чего-нибудь не заметила. Утро почему-то отрезвляло, дневной свет уничтожал следы ночного смятения, а может, оставаясь с Ксеньей с глазу на глаз, он вспоминал, что всего два года назад похоронил жену, что знает и о существовании Олега Харкевича, и о самоубийстве Славчука, и об отчаянии, которое охватило ее после того, как это случилось, — и считал, что не должен, просто не

имеет права оскорблять признанием память покойной жены и чувства Ксени.

Да и что произошло бы, услышь Ксения его признание? Схватила бы чемоданчик, чтобы уйти куда глаза глядят и погибнуть в поле, напоровшись на немецкий патруль? Да и останься она, что бы из этого получилось? Не превратятся ли они во врагов вместо того, чтобы быть друзьями?

Странная раздвоенность терзала его душу. Ночью, лежа с открытыми глазами, он млеял от нежности и представлял себе Ксению такой, какой видел днем; а днем ходил настороженный, следил за каждым своим словом и движением, боялся только одного: как бы не выдать своих чувств.

Федор, верно, очень обрадовался бы, узнай он, что Ксения тоже что-то скрывает. Это освободило бы его от напряжения. Но ее тайна была серьезнее и опаснее, чем его. Ксения не имела права даже заикнуться о своих связях с Голубничим. Здесь речь шла не о ее личных взаимоотношениях, а о жизни и смерти, играть этим Ксения не могла.

Впрочем, ей было легче: женщины всегда лучше владеют собой, когда надо что-то утаить. А Федор мучился. Поэтому оба втайне обрадовались, когда в доме появился еще один человек; присутствие постороннего само собой могло оправдать их скованность.

Шольц поселился в боковой комнате в самом начале весны, когда фронт был уже далеко от Калитвы — где-то под Сталинградом. Голубничий привел ефрейтора и грозно приказал хозяевам хорошенько ухаживать за ним. Приказ полиция звучал так грубо, что даже немец возмущался.

— Ладно, ладно, не орите, — оборвал полиция будущий жилец. — Ваше дело меня привести, а я уж сам как-нибудь устроюсь.

Ксению, конечно, ни капельки не удивила показная грубость Гната, но Федор обрадовался, что немец оборвал полиция. У невысокого, широкого в плечах Курта Гюнтера Шольца было мясистое лицо, на котором по-детски синели круглые глаза, а полные розовые губы как будто только и ждали случая улыбнуться. Внешне он ничем не походил на других солдат из комендатуры, у которых всегда был наготове автомат, или на тех закутанных в награбленное барахло часовых, которые не однажды останавливали Ксению и Федора, всякий раз угрожали и действительно могли поставить к стенке. Когда Шольцу что-то было нужно, он просил, а не приказывал подать, а если приносил приемник, который на ночь вынимал из машины, то включал его не на полную громкость, а почти неслышно, чтобы хозяева могли спать. Это как раз мало устраивало Федора и Ксению, очень уж хотелось послушать сообщения с фронта или узнать какие-либо другие новости. Как-то Федор даже спросил Шольца, чтобы проверить слух об отступлении немцев на каком-то участке фронта. Курт не оборвал его и очень просто ответил:

— Ничего не поделаешь — война.

Шольц считал, что умеет разговаривать по-русски, хотя усвоил

только отдельные слова, а читал по складам, как ученик первого класса. Свои скромные знания Шольц получил очень своеобразным способом — изучать русский язык он начал по этикетке на бутылке крымского портвейна, которую выдул рядовой Брунер, пока ефрейтор проверял посты.

Об этой бутылке он вспомнил на следующий день, когда выяснилось, что в доме, где он обосновался, нет русского букваря, хотя, как немец уже знал, Федор когда-то работал учителем в местной школе. Тут-то Курту и пришло в голову изучать иностранный язык по этикеткам.

Способ был очень простой: кто-то должен медленно читать слова, напечатанные на этикетке, а он эти слова запишет в тетрадь немецкими буквами. Таким образом он узнает, как звучит каждая русская буква, и составит себе русскую азбуку. Потом начнет разбирать слова в книгах, находя в словаре значение каждого, а потом уж пойдут целые фразы, и он начнет читать и разговаривать. Шольц отправился в комендатуру, нашел под забором пустую бутылку, осторожно отлепил яркую этикетку и спрятал в дерматиновую сумку рядом с карточкой своей невесты Эльзы фон Кранц.

И Ксения, и Федор смеялись до изнеможения, когда Курт Шольц рассказал им о своем оригинальном способе изучения языка. Непорочный считал, что более или менее разбирается в методике преподавания, но должен был признать, что ни о чем подобном не слышал. Он сказал, что если поискать, то, может быть, в селе и удастся найти букварь, но теперь уже сам изобретатель отказался, не желая ставить под сомнение свое изобретение.

Вечером Шольц принес аккумулятор, укрепил над столом маленькую автомобильную лампочку и с восторгом стал возиться со своей этикеткой. Название вина он знал и слово «портвейн» расшифровал без посторонней помощи. Ксения только объяснила ему, что в русском языке каждая буква звучит самостоятельно. Другие буквы, которых не доставало до полного комплекта, он нашел в словах, написанных ниже названия вина. Ксения громко прочитала эти слова, и он старательно записал их, поместив рядом немецкие соответствия.

Между Шольцем и его хозяевами постепенно складывались странные по тем временам отношения. Ефрейтор был влюблен в свою Эльзу, с нетерпением ждал очереди поехать в отпуск и жениться и поэтому, а может, в силу особенностей характера, держал себя в селе сдержаннее товарищей и в свободное время чаще всего бывал дома. По отношению к Ксении он не позволил себе ни одной грубости, хотя в селе полно было слухов о насилиях и других грязных выходках солдат и офицеров комендатуры. Не удивительно, что Ксения и Федор относились к нему иначе, чем к его товарищам, и тайком даже надеялись на его защиту.

Вообще-то люди обходили солдат за десять дорог, боялись их и ненавидели. Шольц понимал, что у них для этого достаточно оснований. Комендант Бош не только смотрел сквозь пальцы на безобразия своих подчиненных, но еще и совершенно откровенно поощрял их. Могут

ли люди, рассуждал Шольц, иначе относиться к тем, кто их оскорбляет и презирает? Коммунисты своевременно скрылись, а тех из них, кто не успел уехать или спрятаться, давно перевешали: зачем же сеять ненависть среди обычных людей? Он считал это неправильным, и не только по соображениям тактическим, но, так сказать, и по стратегическим. Известно, раздумывал он, немецкая армия сильнее красной, это факт. Ее танки господствуют на земле, а самолеты в небе. Но людей в Советском Союзе все-таки больше, чем в Германии,— надо учитывать и это. Что, если они все вместе подналягут и так рванут, что окажутся в Германии? Не начнут ли они вешать немцев, если немцы и впредь будут расправляться с ними так, как это делает Бош?

Курт считал, что сам он не имеет к этому ни малейшего отношения. Прибыв в Калитву и разобравшись, что к чему, он добровольно попросился в продовольственный отряд. Правда, ездить по селам и добывать еду для своих товарищей — дело более опасное, чем пытаться людей в комендатуре... Бош даже похвалил его за мужество, когда Шольц вызвался сам, не дожидаясь приказа. И хотя отбирать хлеб у голодающих тоже не столь уж приятная работа, но ведь и солдатам надо что-нибудь есть, а значит, существует некое моральное оправдание и такого занятия, а это немалое облегчение для души.

Иногда немец даже позволял себе нарушать строгий запрет: давал конфеты девочке и немного сахару хозяйке, хотя и знал — за такое не похвалят. Правда, риск был невелик, потому что делал он это украдкой, а тот, кому делаешь добро, не пойдет на тебя доносить.

Шольц вел дневник. Он описал там весь свой путь через Францию, Югославию, Польшу и некоторые события из жизни в Калитве, но ни о Ксене, ни о Федоре не обмолвился ни словом. Мало ли что может случиться с его дневником, осторожность никогда не повредит, особенно если это касается отношений с людьми, с которыми воюет родина.

Однажды у него все-таки возникла неприятность из-за его благосклонности к Непорожним, но все обошлось. Как-то — дело уже было летом — к нему зашел Брунер. Плотнo прикрыв дверь и расставив кривые ноги, многозначительно пробасил:

— Курт, а твоя хозяйка ничего себе. У тебя губа не дура.

— А ты как думал! — улыбнулся Шольц, еще не понимая, куда тот клонит.

Брунер присел на кровать и совершенно серьезно спросил:

— Послушай, ты не одолжишь ее на одну ночь?

— Что такое? — вскинулся Шольц, возмущенный. — У меня есть невеста!

Брунер расхохотался так, что зазвенели стекла.

— Нет, вы только послушайте, — завопил он, словно обращаясь ко всему миру. — У него есть невеста! Ох, шутник!

Он захлебывался от смеха. Острый кадык так и подпрыгивал, казалось, он вот-вот вырвется из горла и вместе с хохотом выскочит через огромный рот.

— Ты что, взбесился? — Лицо Шольца застыло и налилось кровью.

— Боже, — не унимался Брунер. — Да ты вроде хочешь сделать вид, что не спишь со своей хозяйкой?!

Шольца возмущало не столько то, что говорил Брунер, сколько это жеребячье ржанье. Стараясь сдержаться, он глядел круглыми глазами на долговязого остолопа, который в экстазе хлопал себя по костлявым бедрам и брызгал слюной так, что к нему противно было подойти.

— Рядовой Брунер! — гаркнул Шольц и вскочил. — Как вы ведете себя в присутствии ефрейтора?

Солдат подобрался, но внутри у него еще клокотал смех.

— Простите, господин ефрейтор, — пробормотал он. — И все-таки защищать честь какой-то местной девки... — попробовал перейти в наступление и он.

— Я защищаю честь своей невесты. Ясно? — Шольца сместила комичная фигура этого болвана и радовала собственная находчивость, но внешне он никак не проявлял своих чувств.

— Коли так, это меняет делб... — Брунер медленно надел пилотку, собираясь уходить. — Любопытно, а честь этих кур господин ефрейтор не станет защищать?

— Вои! — крикнул Шольц, теперь уже расвирепев всерьез. — Я это так не оставлю.

Брунер взял свой автомат и молча вышел. Через минуту во дворе прозвучала длинная автоматная очередь. Шольц увидел в окно, как, тревожно кудахтая, разбежались куры. Потом Брунер появился у калитки, наклонился, поднял двух кур, которым не удалось удрать, и, не оглянувшись, понес их по улице, осторожно держа за ножки.

15

Когда дед Кныш появился второй раз, Федора дома не было — ушел на другой конец села к отцу. Не было дома и Оленки, — уходя, Федор всегда брал ее с собой, считая, что с ребенком идти безопаснее. Вернувшись, он увидел на свежем снегу след от саней, который кончался у его ворот. Кто мог приехать? С тех пор как он вернулся в село, к ним не заходил никто, кроме Голубничего. Может, к Шольцу? Но ведь немцы не ездят на санях, — значит, был кто-то из здешних... Федор пошел медленнее, оглядываясь по сторонам, — вокруг никого не было видно.

Он остановился у калитки, изучая следы. Сани, как видно, долго стояли у ворот, лошади здорово потоптали снег. Потом, должно быть, кто-то заезжал во двор, побыл какое-то время и отправился обратно; замечен был и второй след, только уже не посередине дороги, а на обочине.

Федор открыл калитку и увидел у крыльца большую кучу дров. Это были грабовые чурбаки, а не хворост, который люди приносили

с лугов. Он хотел было спросить Ксению. Но она, предчувствуя это, сама опередила его:

— Тут приезжал человек, дров привез, жалел, что не застал вас дома.

У Федора отлегло от сердца. Значит, ничего страшного не произошло.

— Кто такой?

— Погодите, как же его зовут...— Ксения тонкими пальцами потерла лоб, словно действительно вспоминая.— Внук его у вас учился... Ага, вспомнила: дед Кныш. Так вы же его видели три дня назад — он уже приходил сюда.

Конечно, Федор помнил низенького, шустрого старичка, бывшего школьного сторожа, который возил воду в школу, когда еще сам Федор был учеником. Кныш всегда ходил в старой солдатской фуражке, привезенной еще, верно, с первой мировой войны, и прославился в селе как неутомимый болтун: у него в запасе была бездна побасенок и прибауток, и рассказывал он их, пользуясь малейшей возможностью, не давая никому вставить слово.

— Что ж ему нужно?

— Не знаю.— Ксения уже взяла себя в руки, но глаз на Федора не поднимала.— Вот дров привез. Видали?

— С чего вдруг? — удивился Федор.

— А я откуда знаю! Привез, сбросил, сказал, что дня через три еще заедет.

Федора удивила такая забота. С топливом в селе было даже хуже, чем с харчами, потому что хлеб или кусок сала люди еще могли припрятать от немцев и понемногу доставать из тайничка. За соломой же приходилось ходить к копнам, за околицу, а это очень опасно — людям не разрешалось выходить из села. Но ведь дрова не солома, их в степи не нарубишь, а с тех пор как в лесу прятались беглецы, которые сколотили отряд и уже порой беспокоили немцев, туда и носа не давали сунуть: днем шныряли полицаи, а ночью наведывались немцы, поскольку и к полициям полного доверия не было.

Впрочем, неожиданному приезду старика Кныша Федор удивлялся недолго. В конце концов, бывший школьный сторож, дед одного из учеников Федора, мог в тяжелую минуту услужить учителю. Федор отдал Ксении кусок сала и узелок с картошкой, принесенные от отца, а бутылку самогона вынес в сени и спрятал в углу за бочкой с квашеной капустой.

Оленка совсем замерзла, пока шла с отцом почти через все село, — пальтишко-то старенькое и коротко уже, рукава до локтя. Ксения развязала платок, в который была закутана девочка, разула ее и посадила на лежанку. Оленка полезла на печь и принялась дуть на покрасневшие руки. Пошарила за трубой, нащупала заколенившими пальцами конфетку — последнюю из трех, что дал вчера Шольц, — развернула и засунула в рот, а разноцветную бумажку стала разглаживать на худенькой коленке. Ксения отрезала кусок сала и горбушку хлеба, подала ей на печь.

— Зачем же ты начала с конфеты? — улыбнулась она. — Поела б, а потом можно и полакомиться.

Девочка вытащила изо рта обсосанную конфету и, положив ее на разглаженную бумажку, молча взяла хлеб и сало. Она уже привыкла к «новой маме», не робела, но все же немного стеснялась и никогда не решалась возражать.

Ксения бросила в миску несколько картофелин и стала чистить. Когда впервые пришлось хозяйничать, она все делала неумело, огурцы или картошку чистила не жалея, кожуру срезала толстую. Клавдия Харитоновна, у которой она снимала комнату перед войной, говорила ей об этом, но Ксения только отмахивалась, — дескать, надо жалеть себя, а не картошку. Теперь же приходилось беречь каждую кроху. Она наточила нож и шелуху не срезала, а соскребала. Федор сидел на лавке и тайком наблюдал за тем, как ловко она орудует ножом. Картофелины падали из ее рук в миску чистыми и круглыми. Он наблюдал, а душу охватывало чувство, которого он побавался, даже страшился, потому что понимал: как бы ни сложилась судьба, а Ксения в этом доме не останется — либо не переживет оккупационных лишений, либо — если посчастливится — поедет в Киев или на ДнепрогЭС. Он думал об этом не впервые, и сейчас, как всегда, ему стало тоскливо, словно разлука уже нависла над ним и Ксения вот-вот распрощается и уедет.

Она взяла чугунок, зачерпнула маленьким обливным ковшиком воды из ведра, налила и стала резать картошку. Растапливать печь было делом Федора. Он поднялся, накинул полушубок и вышел во двор.

Нет, так бездельничать, лежать целый день на кровати, отвернувшись к стене, или слоняться по дому больше нельзя. Пора искать дело. В школе разместились комендатура, но детям необходимо где-то учиться, невзирая на войну. Как бы трудно ни было, а учить ребят надо. Может, сходить к коменданту, попросить разрешение и объявить сельской детворе, чтобы приходили сюда?

Федор впотьмах нащупал топор и вышел во двор. Выбрал подходящий чурбак и замахнулся, но почувствовал в руке резкую боль. Рука хоть и зажила, а махать топором еще рано. Он постоял, соображая, кто бы мог наколоть дров: тут и Ксения не справится — дрова сырые и толстые.

В эту минуту скрипнула калитка. Во дворе появились Шольц и Брунер.

— Дрова откуда? В лес ездиль? — еще издали спросил Брунер.

— На чем я поеду? Лошадей у меня нет, — ответил Федор.

— Может, дрова пришь сам? — не отставал солдат.

— Отстань, — бросил ему ефрейтор.

— Человек один привез. Во дворе у него лежали. Когда-то я его внука учил, — объяснил Федор.

— Дров свежий, — настаивал Брунер. — Каждый видит, дров вчера пилить. В лес ездиль?

— А разве дома нельзя пилить? — заволновался Федор и тотчас же, отвлекая внимание немца, пожаловался: — Вот только как их разрубить? Рука болит.

— Рус — слабый солдат, — клюнул Брунер. — Немецкий — сильнее.

— Докажите. — Федор протянул ему топор.

— А ну, Брунер, попробуй, — улынулся и Шольц. Он, как видно, тоже обрадовался, что его приятель отстал от Федора.

Брунер отдал автомат Курту, взял топор, громко крикнув, ударил по чурбаку и одним махом расколол его пополам. Ударил еще раз и еще — в стороны летели свежие тонкие полена. Он колот азартно, без перерыва, словно и впрямь доказывал, что немецкий солдат выше всех.

Шольц стоял в стороне, наблюдая, а по лицу его блуждала удивленная улыбка, и трудно было сказать, радуется ли он демонстрации немецкой силы или молча смеется над ребячеством Брунера, которого никогда не считал умницей.

Федор тоже наблюдал, но не улыбался. Упоминание солдата о лесе беспокоило, и хоть немец клюнул на приманку, но слова его до сих пор звучали в ушах Федора и настораживали. Бревна и в самом деле только что распилены, и вряд ли дед Кныш резал их у себя во дворе.

Но как бы там ни было, важно то, что это вызывает подозрение, а значит, грозит опасностью.

Брунер победоносно выпрямился, отбросил топор:

— Что, понял?

Непорожний заставил себя довольно улыбнуться. Брунер стряхнул мелкие щепочки и пошел к крыльцу. Шольц зашагал следом.

В печи уже вспыхнула солома. Федор положил маленькую охапку дров на пол, потом кинул несколько тоненьких полешек в печь. Дунул на огонь, хотя это было не нужно. Мысль о подозрениях Брунера не покидала его. Хотелось еще расспросить Ксению о старике Кныше и о его неожиданных посещениях, но в доме были немцы, и, хоть дверь в их комнату плотно прикрыта, голоса все-таки слышны. Да и к Ксении приставать он не решался: расспрашивать о человеке, которого она не знает, — значит только напрасно волновать ее.

Он пододвинул чугунок поближе к огню и выпрямился. Сбросил полушубок и повесил на гвоздь, вбитый у двери. Прошелся по комнате и встретился глазами с Ксенией.

— Как вы думаете, — начал Федор и замолчал, поймав себя на том, что обратился к ней на «вы», когда в доме немцы. Оглянулся на дверь и продолжал: — Может, собрать ребятшек и начать обучать их грамоте? — Он посмотрел на Оленку, которая, свернувшись клубочком, дремала на печи, но девочка услышала и взглянула на отца любопытными глазенками. — Растут, как бурьян. Вырастут и распи- саться не сумеют.

— О боже, — вздохнула Ксения. — До того ли сейчас?

— Знаю, что не до того, — возразил Федор и поглядел на ее нежное, но скорбное лицо. — Но разве дети виноваты, что идет война?

- Ничего из этого не выйдет, — сказала Ксения.
- Почему бы не попробовать?
- Разве что так, — согласилась Ксения и снова вздохнула: — Не разрешат все равно.

16

Вечером заглянул Голубничий. Федор привык к его посещениям и принимал их как должное. Нужно же полицаю наблюдать за бывшим солдатом Красной Армии.

Иногда ему начинало казаться, что Голубничего интересует Ксения, — может, как залетная пташка, которую не удалось раскусить, а может, просто как красивая молодая женщина. Когда Федор замечал, что полицай ведет себя с ней фамильярно, будто не только с ним, а и с ней вырос в одном селе и учился в одной школе, на душе у него становилось худо. В такие минуты он мрачнел, его природная молчаливость превращалась в немоту, и Федор подозрительно следил, как полицай улыбается, обращаясь к Ксене с шутливыми вопросами, а она дерзко, а то и язвительно отвечает ему. Поведение Голубничего походило на своеобразное ухаживание, а порой и на нарочитую грубость, но Федора беспокоило и то и другое — первое оскорбляло и унижало его лично, а второе вызывало тревогу.

Однако Федор был и благодарен Голубничему — главным образом за Шольца. Мог же полицай поселить в его доме и такого, как Брунер, и тем надолго отравил бы им жизнь, заставил бы все время дрожать, остерегаться каждого своего шага. А вот привел же другого, совсем тихого, будто специально подбирал, чтобы за его спиной спокойнее жилось. Уж не ради ли Ксени сделал это Голубничий? И сознательно он это сделал или просто так получилось, хотя он совсем не думал ни упрощать, ни облегчать им жизнь? Так или иначе, а Федору было над чем задумываться, о чем беспокоиться, и нелегко стало выдерживать тон, предложенный Ксеной и Гнатом. Федор уже заметил: полицай не приходит, если немец дома, — верно, знает, когда тот в отъезде или дежурит в комендатуре. Уж не выбирает ли он для своих посещений именно такие дни, чтобы чувствовать себя свободнее?

Гнат снял шапку, сбросил тулуп и все это вместе с винтовкой повесил на гвоздь. Стало быть, если не доверяет козьяевам, то, во всяком случае, не боится, что кто-нибудь из них схватит оружие раньше, чем он сам. Крякнул, потер руки с мороза, потом сел к столу, словно знал, что его должны угостить.

— Эх, черт подери! — ругнулся полицай. — Забыл прихватить бутылку.

— Не беда, — успокоил Федор, — у меня есть.

— Да ну? — оживился Гнат. — Неужели сам гонишь?

— Еще не научился, да и аппарат смастерить не успел, — пошутил Федор.

— Значит, отец подкинул? — повел бровью Голубничий.

Федор уловил в его вопросе подозрительное любопытство: гнать самогон запрещалось — немцам нужен был хлеб.

— Человек один привез, спасибо ему...— буркнул Федор.

— Не тот ли, что и дрова?— попытался Гнат.

— А ты все хочешь знать,— усмехнулся Федор.

— Служба такая, должен сквозь землю видеть.— И тоже улыбнулся.— Так кто все-таки, Кныш?

— Брось, Гнат. Я же не служу там, где ты, и людей не выдаю,— огрызнулся Федор.

Ксения стояла возле лежанки, словно охраняя рядно, под которым когда-то лежала таинственная записка.

— Ты, Федя, чем язвить, поставил бы лучше бутылку на стол,— упрекнула Ксения.

— Это верно,— примирительно согласился Гнат.— Женщинам виднее.

Федор нехотя поднялся и, сдерживая внезапно вспыхнувшую злость, медленно пошел в сени. Гнат тем временем быстро достал из кармана бумажку, которую, должно быть, держал наготове скрученную в тугий шарик, и перебросил через стол. Ксения схватила шарик на лету и засунула под рядно.

Голубничему понравилось, как ловко она это сделала, и он не без удовольствия подумал, что тогда, в первый раз, в Ксене не ошибся. Конечно, можно было и среди местных найти человека, который стал бы передавать его записки Кнышу, и все же надежнее иметь дело с приезжей. Как-никак с Днепрогэса—хорошую школу прошла, тут сомневаться не приходилось. Да и ему, когда возникала потребность, заходить в этот дом сподручнее, чем к любому из местных жителей,— кому же понятно, почему полицай особенно интересуется приезжей и недавним красноармейцем!

Федор почему-то долго возился в сенях. Гнат сел на скамью и молча уставился на столешницу. Ксения облокотилась на лежанку, ощущая локтем твердый бугорок под рядном. Сердце колотилось, но теперь она понимала, что можно не волноваться: если Гнат ее тогда и провоцировал, он мог второй раз этого и не делать, достаточно и того, что первую записку она передала. Значит, и Гнат, и старик Кныш свои, можно успокоиться. Ксения чувствовала, как постепенно отлегло от сердца, как перестало стучать в висках. Она отошла от лежанки, впервые без страха прошла мимо полицай, который все еще сидел, уставясь глазами в стол, взяла с полки миску, нож. Потом достала из-за ведра с водой кусок сала, завернутый в чистую тряпицу, положила на лежанку и стала нарезать тонкими ломтиками.

Гнат поглядел на нее и улыбнулся.

— Тонко режете, как в ресторане.

— А вы как любите?— спросила она, не уловив иронии.— Пожалуйста, можно и толще.

— Мне все равно. А постоялец заметит,— кивнул он на дверь Шольца,— и поймет, что городская.

— Разве они сами режут толстыми ломтями?

— Не знаю, как дома, а в гостях любят потолще,— буркнул полицай. Очевидно, боялся, что вот-вот войдет Федор.

Федор и впрямь вошел тут же. Верно, нарочно пробыл так долго в сених, чтобы успокоиться. Теперь на его лице не было недавнего раздражения; он поставил на стол бутылку, заткнутую туго скрученной бумажкой, достал с посудной полки над дверью два граненых стакана, маленькую алюминиевую кружечку и с веселым вызовом сказал Голубничему:

— Если очень настаиваешь, могу сказать, кто самогон гнал: отец.

Ему было интересно, как отреагирует полицай на такое добровольное и дерзкое признание, а также на тон, каким оно сделано. Отец, видно, верил немцам, открыто говорил, что доволен их пребыванием здесь, и, конечно, Голубничий слышал об этом. Вряд ли он донесет на старика в комендатуру или сам придет с обыском. Зная отношение отца к «новому порядку», Федор хотел узнать, как этот «новый порядок» относится к старику, ведь если отца уважают, то в известной мере и сын вне подозрений,— а в этом надо убедиться. Но Гнат почему-то не обратил внимания ни на заявление Федора, ни на тот вызывающий тон, каким оно было сделано, а заговорил о другом, о чем Федор и не думал.

— Значит, с отцом помирились. Слышал, слышал! — И улыбаясь, исподлобья поглядел на Ксеню:— Ну а со снохой как — познакомился?

— Он к нам не заходил,— ответил Федор, наливая гостю.

— А почему первым должен прийти отец? Он как-никак годами постарше ее,— заметил полицай.

— Я бы пошла с Федором, да у нас на двоих одни сапоги,— рассмеялась Ксения.

— А одна боитесь?! — улыбнулся Гнат.

— Честно говоря, боюсь.— Она присела к столу и пододвинула Гнату миску с салом.

— Старик с характером, это так! — громко рассмеялся Голубничий. Потом молча чокнулся с Федором и стал закусывать.— Если не побрезгуете, то плохонькую обувку достать можно,— обратился он не к Ксене, а к Федору, хотя речь шла об обуви для нее.— Там у нас кое-что в сарае сидит,— если размер подойдет, могу снять.

Федор сразу понял, о чем идет речь, и побледнел.

— Снять? Как это снять?

— А что ж такого,— нарочито спокойно сказал полицай.— Ботинки все равно пропадут, а жене твоей они нужны.

Федор резко поднялся. Стакан упал на стол и опрокинулся. В комнате запахло самогоном.

— Как ты смеешь предлагать мне это?!— процедил сквозь зубы Федор.

Гнат поглядел на него спокойно и едва заметно улыбнулся. Ксения заметила, что полицай доволен. Она понимала — это проверка Федору — и была, как и Голубничий, рада, что он выдержал эту проверку.

— Гм... — хмыкнул Гнат.— Вот, значит, чем ты дышишь! — Он перевел взгляд на Ксеню, словно желая убедиться, что она его понимает,

и продолжал, обращаясь к Федору: — А отец твой не осудил бы! Не говорю, что взял бы ботинки, но так, как ты, не петушился бы!

— Свинья ты, Гнат, вот что я тебе скажу.— Федор отошел от стола и тяжело опустился на кровать.

— Что ж, Федь, стерпим и это. Ты еще скажи, что каин, врагу продался, зверем лютым стал — таким, что не только ботинки, а и ноги принесет. Говори, не бойся!

— А я тебя и не боюсь,— бросил Федор прямо в спину полицая. — Иди к коменданту докладывай!

Гнат молчал, перекатывая граненый стакан между ладонями, и глядел на Ксению. Она была спокойна, только отвела свои огромные голубые глаза, хотя и чувствовала на себе улыбочивый, немного задорный взгляд Голубничего. Понимала, что ради Федора должна вмешаться, поддержать его, сказать что-то резкое Гнату, но медлила, потому что тоже изучала Федора и не хотела мешать Голубничему.

Тот долго молчал, потом налил себе еще немного самогона и выпил.

— Вот что я скажу тебе, Федь. Ты не думай, что раз полицай, так уж и зверь. И наш брат хоть и ходит с оружием, а тоже разный. Что хочешь, то и думай, а я тебе этих ботинок все равно бы не принес.

Федора удивили его слова, но он не пошевелился. Сидел на кровати, низко опустив голову, и прислушивался, как отдаются в нем эти неожиданные слова, произнесенные с искренней грустью. Что-то неуловимое настораживало,— может, даже не самые слова, а то, как они были произнесены.

— Зачем же предлагаешь, если не собираешься этого делать? — тихо, почти шепотом спросил Федор.

— А чтоб узнать, как ты на это ответишь! — уже с открытым вызовом воскликнул Гнат.

— И так и этак все равно подлость — вот что я скажу,— процедил Федор сквозь зубы. Он устало поднялся, накинул на плечи полушубок. — Ну что ж, узнал. Теперь поступай как знаешь... — И молча вышел во двор.

В комнате воцарилась тишина. Потом поднялся и Гнат. Снял с гвоздя тулуп, медленно надел его, взял в руки ~~вязанку~~ и не спеша протер синее дуло мохнатым вывернутым обшлагом рукава. Потом повесил ее на плечо и, уже положив руку на щеколду, тихо сказал:

— Теперь спокойнее будет и мне, и вам. Так что, если Федор даже ненароком узнает... не страшно,— кивнул Ксене и вышел.

Служить в полиции вызвались только двое — Гнат Голубничий и Митько Дрозд. Гнат стал полицаем по заданию Микиты Сиволапа — бывшего председателя одного из двух калитвинских колхозов, которого оставил в селе райком, поручив организовать партизанский отряд

в Черноярском лесу. Для работы в комендатуре Сиволап выбрал Голубничего. Он, правда, состоял раньше в комсомоле, но брат его был осужден, а это в условиях оккупации немалый козырь, который мог послужить надежным прикрытием.

Дрозд пошел добровольно. Перед самой войной он отсидел четыре года в тюрьме за кражу аккордеона из сельского клуба и, мобилизованный в июне в Красную Армию, через месяц дезертировал. Некоторое время он слонялся по окрестным селам, а когда фронт приблизился к Калитве, спрятался, дождался немцев, предложил им свои услуги и стал выдавать большевиков. В Калитве его иначе не называли, как Митько Каин, и это его даже не обижало. Впрочем, услышав это прозвище от соседского мальчонки, Дрозд так избил его, что паренек через несколько дней умер.

Несчастье деда Кныша заключалось не только в том, что он, взяв дрова второй раз, встретил именно Дрозда. С Митьком был еще и Брунер, а тот, увидав на саях грабовые чурбаки, припомнил, что такие же дрова лежат во дворе у Федора. Эти тоже были свежие, недавно распиленные, и немец сразу же усек, что здесь что-то не так.

— Хальт! — крикнул он и взмахнул автоматом.

Кныш дернул вожжи, и лошаденка остановилась.

— Ты что везешь? — спросил немец.

Старик понял, что дело его скверно, но не растерялся и волнения своего не выдал. Только пожалел, что дрова положил на хворост, а не наоборот, — ветви могли и не привлечь внимания немца, ведь кустарник можно было нарубить и на лугу, а за дровами надо обязательно ехать в лес.

— Что везу, господин? — улыбнулся Кныш. — А если я скажу, что бидоны с ряженкой, вы мне поверите?

— Что это есть — ряженка? — спросил Брунер у Дрозда.

Митько не ответил и вместо этого так саданул старика в грудь, что тот покачнулся.

— Ты дурака не валяй! — процедил Дрозд сквозь зубы. — За это у нас расчет короткий.

— Ай-яй-яй, Митя! Разве можно так? — попробовал пристыдить его старик.

Дрозд отвернулся — он было вспомнил, как еще недавно встречал деда в школе, где учился сам. Но он уже давно избавился от неподходящей для полиция чувствительности и быстро взял себя в руки. А может, только притворился, что владеет собой, на самом же деле именно стыд и заставил его прибегнуть к нарочитой грубости, как к способу защиты от чувства, которое даже сквозь его задубевшую совесть все же так или иначе пробивалось. Он с подчеркнутым презрением оттолкнул бывшего сторожа от саней: старик отлетел к забору и, должно быть, сильно ударился о столб, потому что застонал и осел на землю.

— Что под хворостом? — грозно спросил Митько.

Дед не ответил, и полицей в бешенстве стал раскидывать поленья, а потом двумя руками ухватился за сани и перевернул их набок.

Из саней посыпались грабовые чурбаки, потом хворост и толченая солома.

— Вставаль, вставаль, старый! Шнелль! — приказал Брунер старику. — Поехаль в комендатур!

Митько тем временем зашел с другой стороны, одной рукой подтолкнул сани, и они снова стали на полозья. Он был разочарован. И, злясь больше на себя, чем на сторожа, крикнул:

— Ты что, оглох? Вставай!

Кныш оперся на одну руку, потом на вторую и медленно поднялся. Бессмысленно оглянувшись, поднял ушанку, которая слетела с головы, когда он упал, и не спеша надел ее. Снова поискал глазами, увидел кнут с вишневым кнутовищем, который тоже отлетел к забору, наклонился и поднял. Еще окончательно не придя в себя после удара о столб, старик нетвердым шагом заковылял к дороге.

Именно в эту минуту из-за угла вышли Тымиш и Федор Непорожние. У Федора все оборвалось, когда он увидел недалеко от своих ворот разбросанные дрова и деда Кныша, который, пошатываясь, плелся к саням. Сразу же промелькнули в памяти вопросы Брунера о дровах и его многозначительное и угрожающее упоминание о лесе. Хуже всего было то, что возле саней стоял и сам Брунер. Все это мгновенно слилось воедино, и Федор понял: случилось непоправимое. Он невольно замедлил шаг. Тымиш, заметив, что сын отстаёт, крикнул:

— Чего испугался? Со мной не бойся!

Федор ускорил шаг и догнал отца. Нельзя было показать, что он волнуется, ни тем, что стояли на дороге, ни отцу. Федор заставлял себя ступать увереннее, да ноги не слушались.

— Ты хоть и бывший солдат, но у тебя же документ в кармане! Чего ж бояться? — добавил Тымиш и прикрикнул на Митьку: — Чего старика обижаешь? — Он подошел к саням и протянул Дрозду руку.

Полицай перебросил винтовку в левую и пожал руку Непорожнему. Немцу Тымиш руки не подал, но поклонился и, улыбнувшись, поздоровался:

— Гутен таг, герр!

Немец не ответил, но и не накричал.

— Поехаль, поехаль, — приказал он Кнышу.

— Вишь, какое дело, — беспомощно забормотал бывший сторож, — и дровец привезти нельзя!.. А на дворе зима.

— Ты голову не морочь! — заорал на него Митько. — Думаешь, не знаю, где эти грабы растут. Как в Чернолесье попал? На крыльях? — И обращаясь к старику Непорожнему: — Свежие, прошлую ночь пилили.

Тымиш поглядел на сани и увидел, что дрова и впрямь свежие. Даже опилки не осыпались. А где растут грабы, старик тоже хорошо знал. И он молча отошел в сторону, понимая, что дело нечисто.

Федор стоял у забора ни жив ни мертв. Ему необходимо было знать, сказал ли Кныш, кому вез эти дрова. И так, чтобы услышал Митько, спросил отца:

— А дрова кому?

— Кому — это неважно, — отрезал Дрозд. — Важно — откуда!

Федор понял, что Кныш ничего не сказал. От сердца немного отлегло, хотя он и не сомневался, что Брунер может догадаться, куда ехал старик, — а этого вполне достаточно, чтобы снова привязаться.

Немец толкнул Кныша автоматом, и дед повалился в сани. Митько взял у него из-под мышки кнут и тоже сел спереди. Брунер устроился с другой стороны, перебросив ноги через грядку, и полицией сразу огрел ключу кнутом.

Отец и сын стояли у дороги и глядели вслед саням, которые с трудом волочила несчастная лошадевка. На коре разбросанных дров темнели зеленоватые пятна, а среди чурбаков высилась кучка хворосту, все это теперь, верно, долго пролежит посреди улицы: вряд ли кто отважится подобрать топливо после того, что здесь произошло.

Оба молчали. Тымиш стоял мрачный, брови сошлись над мясистым носом. Взвешивая и сопоставляя что-то, он тяжело и глубоко задумался. Не зря позавчера сын говорил ему о неожиданном посещении и щедром подарке деда Кныша. Теперь все это ему тоже показалось подозрительным, хотя тогда, впервые услышав об этом от сына, он не придал особого значения его словам.

— Тебе он какие дрова привез — тоже грабовые? — вдруг спросил Тымиш.

— Кто? — Федор вздрогнул от неожиданности и тотчас сообразил, что вопрос его глуп.

— Кто! Кто! — разозлился отец. — Я тебе дрова привозил или кто другой?

— Да вроде бы грабовые... — пробормотал Федор.

— Ой, парень, не собираются ли они и на тебя свою петельку накинуть... — с беспокойством вздохнул отец.

Федор уже не переспрашивал, кто «они», — ясно, отец имел в виду людей, которые скрываются в чаще Чернолесья и нападают на немцев с оружием в руках. Грабовая роща именно там, в глубине огромного оврага, сплошь заросшего ветвистыми деревьями и густым подлеском.

— А зачем я им? — нехотя спросил Федор.

— Ну как же! Бывший солдат, плена хлебнул, да и вообще — интеллигенция... — ответил отец. — Когда сил мало, пригодятся и такие, как ты. — Он смерил сына взглядом, в глазах промелькнула озлобленность и презрение, он осуждал Федора за непослушание, за желание делать все по-своему, вопреки отцовской воле.

Они шли по улице, медленно приближаясь к дому Федора. Оба понимали: разговор надо закончить, пока не дошли, потому что отец не войдет в дом сына, где живет неизвестная городская женщина, с которой старик не желает знаться.

— Не захочу, так не накинут петлю, — сказал Федор.

— Э! Что там от тебя зависит... Сперва дровец привезут, потом еще чего-нибудь. А там, глядишь, ночью и в хату заявятся... Одно добром берут, другого страхом — кого чем.

— Все-таки кое-что и от меня зависит,— улыбнулся Федор. — Если не захочу...

— Может, и захочешь, черт тебя знает! — бросил Тымнш, он и в самом деле не был уверен в своем сыне. — Только имей в виду: сын у меня один. Берегись и будь начеку! И не приведи господи... Запутаешься — пропал.

Федор поглядел на отца, и ему стало жаль старика. Несмотря на все, отец любил его, хотя и проявлял свою любовь причудливо, а подчас и жестоко. Федору все это было чуждо, но он понимал: перевоспитывать отца поздно.

Они остановились, не доходя до ворот.

— Ну, иди,— сказал Тымнш. — Довел, как малое дитя.

— Да я б и сам... — благодарно улыбнулся Федор. — В кармане ж документ.

— Сам! Нет, бумажка теперь не спасет... Со мной безопаснее... — Отец хлопнул его по плечу. — Ну иди.

Он круто повернулся и пошел обратно, но вдруг остановился.

— Федь! — позвал старик.

Сын подошел.

— Может, Кныш там чего и наметет,— сказал старик,— а я постараюсь помочь. Лейтенанту Бошу дважды носил самогон, он меня знает. Думаю, если что, поверит мне. Но ты берегись, будь начеку.

— Ладно,— сказал Федор и отправился к себе.

Старик еще с минуту глядел вслед сыну, потом медленно повернулся и пошел.

18

Обещание отца уладить, ежели что, дело в комендатуре не очень успокоило Федора. Он встречался с немцами не только в Калитве, но и на колхозной конюшне в том селе, где его взяли в плен, и знал, что это не так просто. Войдя в хату, он прежде всего убедился, что Шольца нет дома, сбросил полушубок и, мрачный, улегся на кровать.

— Что случилось? — Ксения сразу заметила, что он расстроен.

— Деда Кныша арестовали,— ответил Федор, уверенный, что, услышав это, Ксения поймет: он что-то подозревает.

Но Ксения удивленно поглядела на него и совершенно естественно спросила:

— Кныш? А кто это такой?

Федора так удивил ее вопрос, что он вскинул голову и замер, опершись на локоть.

Она, как видно, поняла, что переборщила, и тотчас так же естественно поправилась:

— Погодите, это не тот ли старичок, что привозил...

— Именно,— не дал ей закончить Федор.

— За что ж его взяли?

— Вез дрова.

— Куда? — вырвался у нее уже лишний вопрос.

Федор поднялся, встал против нее. Ему было ясно: Ксения взволнована и все ее предыдущие вопросы — просто притворство.

— А разве он не должен был еще раз привезти нам дров? — спросил он, прямо глядя ей в глаза.

— Должен был... Но не обязательно сегодня. — Ксения попробовала овладеть собой, но ей это уже плохо удавалось.

Федор внимательно смотрел на нее, и в глазах его тлела хоть и не осуждающая, но тревожная усмешка. Впервые он почувствовал: Ксения что-то скрывает, ему даже показалось, будто понял, что именно. Он не удивился и не возмутился, но через миг во взгляде его мелькнула горькая печаль, и он совсем помрачнел. Теперь уже сомнений не было: между дровами у крыльца и теми, что лежат на улице, есть прямая и опасная связь, более того, Ксения знает об этом значительно больше, чем он. Надо было решаться, ведь опасность угрожала прежде всего ей, и ему выпадало выручать не только свою недавнюю спасительницу, но и дорогого человека. Однако настаивать, чтобы она рассказала, не решился. Опустил глаза, отвернулся, словно не хотел видеть, как ее лицо покрывается алыми пятнами растерянности. Он прошелся по комнате, остановился на расстоянии и тихо, словно расуждая вслух, сказал:

— Может, и не узнают, что вез к нам. Но ведь во дворе у нас лежат, и тоже грабовые...

— А если перенести в сарай? — спросила Ксения. Она уже не выкручивалась, не делала вид, что не понимает, о чем речь.

— Так их же видел... этот... как его...

— Брунер, — подсказала она.

— И, как назло, — пробормотал Федор, довольный тем, что Ксения больше не таетя, — именно он сейчас и наткнулся на Кныша! Да еще вместе с этим каином — Дроздом...

Ксения опустила на лавку, теперь уже вполне понимая, насколько реально опасность.

— Хорошо бы повидаться с Голубничим... — решительно сказала Ксения.

Федор быстро взглянул на нее.

— А что Голубничий?

Ксения поднялась, твердым шагом прошла к комнате Шольца, закрыла дверь, хотя знала, что его нет дома. Потом, так же твердо ступая по глиняному полу, подошла к окну и выглянула во двор. Оленка, закутанная в большой теплый платок, играла на крыльце. Федор стоял у стола и следил за каждым движением Ксени. По тому, как она вдруг изменилась, он понял — ответит.

— Федя, нам надо поговорить. — Она подошла к столу и опустилась на лавку. — Садитесь.

Федор покорно сел напротив.

— Думаю, что должна вам это сказать, — тихо проговорила Ксения. — Вы ведь меня не выдадите, Федя? — Она улыбнулась.

Он не ответил, но глаза были красноречивее губ, и, заметив, как его зрачки расширились, она продолжала:

— Голубничий не тот, за кого вы его принимаете.

Это уже почти не удивило Федора. Стоило Ксене сказать, что хорошо бы повидаться с Гнатом, и Федору стало ясно — говорит она это в связи с арестом Кныша. Он уже почти не сомневался, кто такой Голубничий. И быть может, потому, что Федор понял это раньше, чем Ксения сказала, он осмелел и спросил:

— А вы?

— Что — я? — не поняла Ксения.

— Вы говорите, что Гнат не тот, за кого я его принимаю...

— Ах, вот вы о чем! — улыбнулась она. — Именно об этом я и хотела с вами говорить. — Ксения быстро поднялась, метнулась к лежанке и нащупала под рядом бумажный шарик, который ей накануне бросил через стол Гнат. — Дед Кныш сегодня должен был забрать это. — Она протянула руку, на которой лежал шарик.

— Что это?

— Не знаю, — ответила Ксения.

— А передал вам...

— Да, — сказала она, не давая назвать Голубничего.

— Можно посмотреть? — протянул руку Федор.

— Конечно... Но того, что там написано, нам лучше не знать.

Он подержал шарик в руке, но не развернул. Молча протянул Ксене. Она подошла к лежанке и спрятала шарик под рядом...

— Я думаю, что теперь... лучше его уничтожить, — проговорил Федор после недолгого молчания. — Если эти дрова наведут Брунера на след...

— Может, вы и правы, — согласилась Ксения. С минуту она постояла у лежанки, снова нащупала бумажный шарик, молча подошла к печи, перегнулась через шесток и, дунув на поседевшую золу, бросила туда бумажку. Подождала, пока вспыхнул огонь, а когда стал гаснуть, прикрыла печь заслонкой.

Федор молчал. Все это навалилось на него внезапно, и он не мог постичь ни значения того, о чем узнал, ни положения, в котором в связи с этим оказался. И все же радовало, что тайны больше нет, он неожиданно стал ближе к Ксене, которая так сразу раскрылась перед ним.

Ксения тоже была довольна. Он не вспыхнул, не возмутился, не стал пугать и предупреждать — сказал просто: «Надо сжечь» — и не потому, что хотел избавиться от этого бумажного шарика, как от чего-то, с чем не хотел иметь дела, нет, он боялся, что дрова, которые лежат у них во дворе, могут навести Брунера на след, и на случай, если он явится, лучше, чтобы не было никаких вещественных доказательств. Значит, она не ошиблась, что доверилась, не ошиблась, что сказала. И теперь под одной крышей с ней живет не чужой человек, с которым обстоятельства заставляют мириться, а единомышленник, товарищ, на которого и она может положиться в беде.

Охваченная новым чувством, Ксения даже на минуту забыла об опасности — о том, что Брунер видел эти проклятые дрова у них во дворе, а у деда Кныша могло вырваться лишнее слово, и это может стоить жизни им обоим. Но Федор думал именно об этом и, тайком радуясь внезапной близости с Ксенией, с особой остротой ощущал нависшую опасность.

— Пойду в комендатуру, — сказал он, неожиданно поднявшись и суетливо застегивая полушубок. — Надо разыскать Голубничего. — Он встретил беспокойный взгляд Ксении и поспешил объяснить: — Я все равно собирался. Хотел поговорить с комендантом о детях, которых надо учить. Теперь — самое время.

Ксения хотела возразить или предостеречь, но в эту минуту увидала в окно человека и сразу поняла, что это Голубничий. Он появился у калитки, медленно, вперевалочку подошел к крыльцу и остановился возле Оленки.

— Гнат! — воскликнула Ксения, радуясь, что Федору не надо идти в комендатуру. — Какое счастье! — не сдержалась она.

Федор выглянул во двор, тоже увидел Голубничего и стал расстегивать полушубок. Он тяжело опустился на лавку и вздохнул — тоже с облегчением.

Голубничий, как всегда, толкнул дверь сапогом и появился на пороге. Прикрыв за собой дверь, он поглядел на хозяев, пытаясь оценить обстановку.

— Что, переполошился? — улыбнулся он Федору.

— А ты? — спросил тот вместо ответа и поглядел на Гната исподлобья.

— Я? — удивился Голубничий. — А при чем здесь я?!

— Он все знает, — тихо откликнулась Ксения.

Гнат не удивился.

— Ну и как?

— Что — как? — переспросил Федор.

— Не выдашь? — спросил полицай.

— Да иди ты... знаешь куда... — огрызнулся Федор и, взглянув на Ксению, покраснел.

— Ну и ладно, — засмеялся Гнат и через мгновение сказал: — Рад, что и ты с нами, Федор.

Он снял винтовку, обкрутил ремень вокруг затвора и поставил у стола. Не раздеваясь, сел рядом с Федором.

— Кныша приказано привезти в Корсунь к высшему начальству, — тихо сказал он, понизив голос. — К счастью, и комендант там, так что Брунер не успеет рассказать ему о ваших дровах.

— Почему не успеет? — удивился Федор.

Гнат хлопнул его по спине, рассмеялся.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — воскликнул он и поднялся. — Говорю — не успеет, значит, верь, — прибавил он и взялся за винтовку. — Ну, я пошел. — Голубничий распахнул дверь и исчез в сених.

Когда комендант, лейтенант Бош, бывал на месте, в комендатуре не спорили. Он приказывал, и слово его было для всех законом. Не только два полицая из местных, но и немецкий персонал оккупационных властей боялись его и никогда не знали, чего ждать, когда Бош ласково улыбался или журил по-отечески. Коротконогий толстячок с круглым розовощеким лицом, Бош с виду казался добродушным. Он ничем не напоминал тех вымуштрованных, педантичных и жестоких немецких офицеров, которых все привыкли видеть. Именно улыбка была маской его жестокости. Он расспрашивал ласково, никогда не кричал, даже не повышал голоса, слушал внимательно и чуть ли не сочувственно покачивал головой, а потом так же ласково, даже доброжелательно, объявлял свое решение, чаще похожее на приговор, и тот, кто его выслушивал, всегда терял дар речи от ужасающего несоответствия этого приговора с тем, на что, казалось, можно было надеяться.

Зато споры нередко возникали, когда Бош уезжал в Корсунь или в какие-либо из подчиненных ему сел и вместо него оставался Крафт. Конечно, и в этом случае местный полицай выполнял то, что ему приказывал немецкий фельдфебель или рядовой немец, но между собой Голубничий и Дрозд могли и поругаться, пытаясь свалить на другого то, что самому не хотелось делать. Вот как сейчас — надо было везти Кныша в Корсунь, а ехать Митьку не хотелось: и опасно, дорога местами проходит вдоль опушки, и к Гальке Чепурной собирался навеститься вечером, да и бутылка, что недавно дал ему Голубничий, припрятана под навесом, и Брунер знает о ней... Дрозд сначала попросил Гната, а когда тот отказался, стал настаивать.

— Я его задержал, а ты вези.

— А чего я повезу, если ты задержал? — возразил Гнат. Голубничий давно решил, что сам повезет Кныша — затем и подарил бутылку самогону, чтоб Митька тянуло к ней больше, чем в дорогу, — но пока сопротивлялся, набивая себе цену. — Почему это я должен отвозить твоего?! — настаивал он.

Дрозд зло поглядел на него, резко повернулся и пошел в помещение. Голубничий сел на лавочку за забором бывшей школы и стал свертывать самокрутку, понимая, куда побежал Митько.

Через минуту на крыльце появился сам Крафт и приказал:

— Полицант Голубничий, отвозил арестованный в Корсунь к лейтенанту Бош!

Гнат поднялся и покорно пошел к сараю, где сидел запертый дед Кныш. На миг остановился и спросил у заместителя коменданта:

— Арестованного обыскали?

Крафт что-то крикнул в открытую дверь комендатуры, и на пороге появился Митько.

— Конечно, обыскал. Все карманы вывернул. Все в порядке.

Лошаденка старика стояла запряженная у сарая и обгладывала околот с низкой черной крыши. Солома была уже совсем негодная —

выветренная и промытая дождями, мягкие губы лошади чмокали, отрывая концы прогнивших соломинок, но они только осыпались на снег, окрашивая его песочной желтизной.

Голубничий подошел к дверям, крепко подпертым толстым колом, отшвырнул его сапогом, и двери распахнулись. Кныш лежал на соломе, лицо было все в крови, еще с тех пор как Брунер ударил его ручкой автомата по беззубому рту, а потом Дрозд добавил за то, что старик возмутился несправедливым обращением немца. Кровь уже не шла, она засохла, и слипшаяся борода стояла колом. Дед обрадовался, когда увидел Гната, но понимал, что рядом может быть кто-то еще, и сдержался.

— Вставай, — коротко приказал полицай, и Кныш поднялся.

— Что, убивать? — спросил дед, все еще побаиваясь, что рядом есть кто-то посторонний, и сгорая от желания узнать, что его ждет.

— Кого убивать? — улыбнулся Голубничий. — Выходи. Повезу в Корсунь.

Под усами деда промелькнуло что-то похожее на улыбку.

— Что ж, вези... — пробормотал он, боясь спросить, поедут они вдвоем или еще с кем-нибудь, хотя это интересовало его больше всего. — В Корсунь так в Корсунь, мне все равно.

Голубничий пропустил старика вперед и вышел следом.

После темноты, царившей в сарае, покрытый свежим снежком двор ослепил старика своей белизной, и он прищурился. Но все же успел разглядеть, что во дворе, кроме Гната, никого нет — только часовой торчал у калитки.

— Сам напросился или назначили? — спросил Кныш.

— А, чтоб тебя... — не сдержался Гнат и толкнул деда в сани. Толкнул, конечно, для видимости, но все же и с досады на нетерпеливого и любопытного старика.

Сани выехали в раскрытые ворота, часовой что-то крикнул вслед шутовское или язвительное, но Голубничий не слышал. Нарочно свернул в переулок, чтобы проехать мимо хаты Федора Непорожного, — может, случайно увидит, что поехали они вдвоем, спокойнее будет на душе. Но ни во дворе, ни на улице никого не было. Кобыла шла шагом, хотя Гнат изредка стегал ее кнутом, а раза три хлестнул и вожжами — изможденное животное едва перебирало ногами, бежать не было сил.

Так и за село выехали — молча. Кныш лежал сзади на соломе и размышлял о том, как глупо получается: свой своего должен везти на расправу и ничего поделать не может, полицай ведь, и хоть полицай липовый, а должен оставаться на своем месте, потому что у Сиволапа второго своего человека в комендатуре нет. А иметь своего человека в комендатуре поважнее, чем такому старикану, как он, жить на свете, потому что передавать Сиволапу писульки от Гната сможет и кто-нибудь другой, а вот если Гнат не выполнит приказ коменданта и потеряет авторитет, то записочки писать будет некому, потому что второго Гната нет.

Голубничий тоже думал, но совсем о другом, и по лицу его бродила недобрая, мстительная улыбка, когда он представлял себе рожу Брунера и особенно Митька Дрозда, которых лейтенант Бош потащит к ответу, если выгорит то, что задумал Гнат, а разоблачить его никому не удастся. Вот будет комедия — и Кныша на свободу отпустит, и Митька-антихриста, пожалуй, под расстрел подведет, да и Брунера суток на десять в холодную, а если повезет, то и совсем из Калитвы — в штрафную роту. Гнат размышлял и улыбался, но Кныш этих улыбок не видел, потому что лежал у него за спиной, не зная, что и думать об этом упорном молчании Голубничего.

В конце концов он не выдержал.

— Ну, а дальше что? — спросил дед.

Голубничий повернулся к Кнышу, и старик наконец увидел, что он улыбается.

— А что дальше? — ответил Гнат вопросом на вопрос. — Привезу в Корсунь, там сначала выбьют тебе последний зуб, а потом намылят веревку и подвешат к перекладине. А Митько Каин выпьет бутылку, что припрятана в снегу за сараем, и пойдет гулять по улицам — ловить таких, как ты!

— Ох, и каин же!.. — застонал дед Кныш, имея в виду Дрозда и не зная, как отнестись к тому, что услышал от Гната.

— Нет, старик, бутылку он, может, и успеет выпить, а вот на людей охотиться ему больше не придется... — со сдержанной ненавистью процедил сквозь зубы Голубничий.

— Ничего не поделаешь — его праздник, — почти равнодушно заметил Кныш.

Они уже спускались в балку. Валец покачивался на свободных постромках, бил лошаденку по ногам, и — то ли от боли, которую причиняли удары, то ли потому, что не приходилось тащить сани, — кобылка побежала рысцой.

В овраге было больше снега, на западном склоне он поблескивал, как стекло, под холодными лучами зимнего солнца, которое уже клонилось к земле. Вокруг ни души, в поле мертвая тишина, и только цокали копыта по утрамбованной дороге, на которой виднелись ржавые следы деревянных полозьев и замерзшие лужи.

Гнат расстегнул дубленый полушубок, глубоко засунул руку в карман штанов, вытащил старенький наган и через плечо протянул деду:

— На, держи.

Старик невольно отшатнулся, увидав оружие, хоть и понимал, что Голубничий в него стрелять не собирается.

— Это что? — спросил он.

— На, говорю. Держи! — крикнул Гнат, не оглядываясь.

Кныш осторожно взял наган за дуло, будто впервые видел оружие. Подержал в руке, помолчал и, растерянно улыбнувшись, спросил:

— А в кого же я из него стрелять буду?

Голубничего развеселило детское простодушие старика, и он громко рассмеялся.

— Ну и чудак! У тебя что, врагов нет? Зубы тебе выбили, а ты спрашивасшь, в кого стрелять!

Только теперь дед перевернул наган, взялся за рукоятку, словно за чапугу, и спрятал на груди под тулуп.

— Эх,— вздохнул он,— того, кто зубы выбил, я уже не достану.

— Другого достанешь, неважно,— успокоил его Гнат.

Они снова помолчали. Теперь Кныш уже чувствовал, что все это неспроста — и оружие, и то, что повез его именно Гнат, но расспрашивать не решался. Не пытался он также угадать, что тот задумал и как могут обернуться дела, раз на расправу везет его свой человек, а у него самого теперь есть наган. Дед лежал равнодушный ко всему, убаюканный однообразием окружающего пейзажа, но что-то все же не давало ему вздремнуть, хотя старик очень устал, да и много крови потерял.

Дорога сворачивала налево и изгибалась большой дугой вокруг высокого каменистого бугра, вершиной дуги почти упираясь в опушку леса. Лошаденка едва перебирала ногами, но Голубничий ее не подгонял. Хотел добраться до леса как можно позднее, чтобы совершить задуманное уже в сумерках. Но хотя солнце еще не зашло, на опушке в тени уже стемнело. Гнат огляделся вокруг, убедился, что нигде никого нет, и патянул вожжи.

Лошаденка остановилась. Голубничий соскочил с саней. Отшвырнул в сторону кнут и деловито приказал:

— Ты мне сейчас из своей пушки руку поранишь, только, гляди, кость не задень, целься в мякоть. Потом конягу пристрелишь и мотай в лес. Ясно?

Кныш приподнялся и замер, оторопело хлопая глазами.

— Ты — что?

— Делай, что говорят! — крикнул Гнат. — Как я тебя отпущу, раз ты на меня с оружием не нападал и я не ранен? — возмутился полицай.

— А откуда же у меня оружие? — И вдруг Кныш почти радостно рассмеялся, довольный, что ему пришло в голову то, до чего не додумался Гнат. — Обыскивали ведь, вывернули все карманы!

Голубничий расхохотался:

— То-то и оно! Полицая называются... Комендатура... Карманы вывернули, а оружия найти не сумели! А он, этот чертов дед Кныш, напал по дороге на честного человека, а сам ноги на плечи и айда в лес! Да за такое их повесить мало! А может, они нарочно так обыскивали, или, чего доброго, сами подсунули тебе оружие, чтобы полицая убил?

Только теперь до деда дошло, что задумал Гнат. Он соскочил на снег, словно мальчишка, пританцовывал от радости и без умолку та-рахтел:

— Ну и прощельга! Ну и озорник! Ну и антихрист!

Но когда Гнат подставил руку и приказал стрелять, старик взмолился:

— Э нет! Чтобы я в человека стрелял? Да ты что?!

— Стреляй, говорю, дурень! — приказал Гнат.

— Да у меня ж рука дрожит, — стал умолять Кныш. — Еще в кость попаду, покалечу — инвалидом сделаю!

Голубничий выхватил оружие, приставил к рукаву и выстрелил. Тихо вскрикнул и сразу побледнел. Постоял немного с закрытыми глазами, преодолевая острую боль, и медленно опустился в сани. Еще с минуту сидел неподвижно, чувствуя, как по руке стекает теплый ручеек, потом швырнул наган к ногам деда, который стоял ни жив ни мертв, и осторожно стал стягивать полушубок. Левой снял пояс, обмотал им руку повыше раны и, держа пряжку в зубах, тихо сказал:

— Затяни потуже.

Кныш бросился к Гнату, суетливо стал затягивать пояс, потом застегнул пряжку и отошел в сторону, все еще окончательно не придя в себя.

Гнат немного посидел молча. Наконец поднялся.

— Ну, теперь беги, — произнес тихо.

— А ты как же? — заволновался старик.

— Кто-нибудь появится, подвезет до комендатуры.

— А ты кровью не изойдешь? — спросил дед, как будто Гнату достаточно было пообещать, что все будет хорошо, и вдруг крикнул: — Так у тебя ж сани! Гоня в село!

— Э нет, — возразил Гнат, приходя в себя после выстрела. — Как же ты удрал, если я конем править могу?

Кныш покорно поднял наган и спрятал за пазуху. Потоптался на месте, словно хотел еще что-то сказать, но не решался или не находил нужных слов, и мелкими шажками сошел с дороги на неглубокий нетронутый снег. Оглянулся и уже издали попросил, словно заскулил:

— Ты кобылу не убивай. Слышишь, Гнат?

— Ладно. Иди живее.

Кныш удовлетворился обещанием и рысцой побежал в лес.

Уже почти совсем стемнело и похолодало — из лощины подул морозный ветерок.

Гнат поднялся, левой рукой взял винтовку и выстрелил кобыле прямо в голову. Она рванула постромки, встала на дыбы и рухнула.

20

Теперь сани стояли поперек дороги. Падая, лошадь вывернула их и чуть не опрокинула. Это было кстати: если бы кто и захотел на лошадях или на машине объехать сани, не останавливаясь, чтобы самому не влипнуть в историю, то сделать это можно было, лишь свернув в глубокий кювет. Гнат улегся на солому, уверенный, что скоро кто-нибудь на него наткнется — ждать недолго.

Рука сильно болела. Он чувствовал, как она опухает и наливается свинцом выше туго затянутого ремня, а внизу немеет — пальцы перестают двигаться. Голова все больше тяжелела, в ушах звенело, и Гнат понимал, что хоть рука и перетянута, а кровь все идет, и он

уже немало потерял ее. Конечно, надо было взять с собой бинт или хоть немного самогону, чтоб промыть рану и остановить кровотечение. Ведь, кажется, все заранее обдумал, все наперед рассчитал, а не сообразил, что придется лежать одному в поле, да еще, чего доброго, не час, а может, и всю ночь. За это время совсем кровью изойдешь, да же когда она течет помаленьку, так недолго и погибнуть ни за поношку табаку. А Дрозд будет гулять. Правда, возьми он заранее бинт и завяжи рану, такая предусмотрительность могла бы вызвать подозрение... Но можно было обойтись и без бинта, а прихватить из дому чистую тряпицу и отлить немного самогона из бутылки, которую отдал Дрозду...

Но сейчас думать об этом было поздно. Ночь нависала над мертвой степью, заснеженная низина дышала холодом, который заползал под полушубок, вливался в тело, а на дороге никто не появлялся и, верно, уж до утра не появится. По ночам теперь мало кто пускался в дорогу, даже когда есть пропуск или аусвайс. Мало надежды и на то, что из-за холма вынырнет машина — немцы тоже избегали ночных путешествий, да еще мимо леса...

Голубничий заставил себя левой рукой поднять воротник и плотнее завернуться в полушубок. Тело пронзила острая боль. Гнат замер, надеясь, что так боль утихнет и станет легче, но она долго не унималась, и только, когда он уже устал к ней прислушиваться, мозг заволокло туманом, и Гнат задремал...

Уже почти совсем рассвело, когда Тымиш Непорожний перевалил через бугор и стал спускаться в долину. Он шел в Лысянку, а тропка, на которую ему предстояло свернуть, начиналась внизу. В Лысянке жила Хрнстя Левченко, к ней он наведывался еще до войны, а теперь зачастил, бывал почти каждую неделю, а то и через день. Даже пропуск раздобыл, но последнее время по ночам и с ним ходить не отваживался: тех, кто пользовался таким доверием, партизаны считали врагами.

Вот он и вышел на рассвете, чтобы не перехватили. Шел не торопясь — ночью лужи на грейдере прихватило легким морозцем, сапоги проламывали хрупкий ледок и проваливались в рытвинки, иногда довольно глубокие. Сапоги у Тымиша были добротные — сам шил. Нового приклада не было, но в селах попадалось немало солдатских сапог, которые носить боялись, а распарывали на товар: подошвы и голенища Непорожний выменял, а передки купил.

Он ступал осторожно, ноги сами выбирали места поровнее, перешагивали через лужи, а голова была забита другим. Старика беспокоила вчерашняя история с дровами, и, хоть возникло только подозрение и твердой уверенности не было, успокоиться он не мог.

Вдруг взгляд его сам собой скользнул вниз по уклону и уперся во что-то темное, неподвижное. Тымиш остановился, присматриваясь, и замер. Поперек дороги стояли сани, рядом лежала лошадь — ноги мертво задраны и откинута в сторону, голова вывернулась и глядела назад.

И в тот же миг мелькнула мысль о Кныше — сани напомнили. Точнеехонько такие, как у деда, — длиннее обычных и с грядкой. Минуту Тымиш стоял пораженный, не зная, что делать: посмотреть, что там, или вернуться назад. Подойти — невольно станешь свидетелем, а то и участником какого-нибудь происшествия; вернуться — заподозрят, что нарочно удрал! Да и как вернешься, может, те, кто натворил все это, где-то рядом, чего доброго, следят из-за кустов и с радостью свалят вину на тебя.

Он засеменял вниз, понимая уже, что встрял в беду. Еще не добрав шагов тридцати, он окончательно узнал сани и того, кто неподвижно лежал на них. Значит, напали и освободили Кныша, а Голубничего убили и бросили на дороге... Тымиш внимательно огляделся: ни в долине, ни на опушке, темневшей вдаль, никого не было. Он подошел ближе и потрогал Гната за плечо, потом прикоснулся ко лбу и почувствовал — теплый. Снова стал его тормошить, потом перевернул на бок.

Голубничий застонал, медленно поднял отяжелевшую голову и бессмысленно посмотрел на Непорожного. Лицо как у мертвеца, под глазами темные провалы. Гнат долго не узнавал старика, но наконец в глазах промелькнул слабый отблеск жизни.

— Вон как... — пробормотал он едва слышно, узнав Тымиша.

Тымиш попробовал поднять Голубничего и посадить. И сразу же увидел дыру и коричневое пятно на рукаве повыше локтя.

Гнат не застонал, когда старик перевернул его еще раз, только скривился от боли.

— Кто тебя так? — спросил Непорожный.

— Кныш... — тихо ответил Голубничий. Он понемногу приходил в себя. Помолчал, словно что-то припоминая, и, криво усмехнувшись, добавил: — Вроде бы совсем никудышный, а гляди-ка...

— А откуда у него оружие?

— То-то и оно! — уже веселее заговорил Голубничий, обрадовавшись: раз это сразу пришло в голову Непорожному, значит, придет и другим. — Вроде обыскивали, идола, а все же припрятал.

— Ай-яй-яй! — сочувственно покачал головой старик. — Значит, сбежал?

Гнат не ответил, только беспомощно пожал плечами и снова поморщился от боли.

— Придется тебе в комендатуру бежать. Пускай забирают, а то кровью изойду.

— Да, да, — тихо ответил Тымиш, взвешивая обстановку. Раз Гнат жив, бояться нечего. А сообщит — еще и поблагодарят. — А ты тут как?

— Подожду. А как же быть? На плечах не дотащишь.

— Так я побежал.

— Может, выпить есть?.. Все нутро жжет...

— Сейчас, — обрадовался старик. — К куме шел, вот и прихватил бутылку.

Он достал из кармана поллитровку, туго заткнутую деревянной пробкой, обернутой в бумагу, и прижал горлышко к губам Гната. Тот глотнул раза два, но захлебнулся и закашлялся. Тymiш подождал, пока кашель утих, и снова протянул бутылку:

— Еще?

— Иди. И скажи, чтобы не копались.

Непорожний послушно метнулся от саней и, не оглядываясь, почти бегом подался в гору.

Подъем был не крутой, Тymiш задышался, однако не остановился и не замедлил шага. По лицу Голубничего было видно, что тот совсем обессилел. Коли отдаст богу душу, некому будет подтвердить, что Тymiш к этому делу непричастный... Да и из лесу могли наведаться: если Кныш удрал, то, чего доброго, предупредит партизан, что полицей только ранен и надо его забрать или добить, чтобы замести следы. Обернулся только на самом верху. Поглядел вниз, туда, где были сани, и на лес: не появится ли кто? Но сани стояли на месте, а на опушке — никого. Успокоившись, Непорожний быстро зашагал по степной дороге.

В комендатуре всполошились, услышав о происшествии у леса. Крафт сразу вызвал Дрозда и Брунера и, как и предвидел Голубничий, прежде всего заинтересовался: откуда взялось у Кныша оружие? Оба стояли перед заместителем коменданта белые как полотно, крестились и божились, что обыскали старика, как положено, и понятия не имеют, как это могло случиться. Допрашивал Крафт и Непорожного — не благодарил за сообщение, а стучал кулаком по столу, и Тymiш уже побаивался, что попадет и ему.

Но Крафт только напугал старика и отпустил. Однако приказал домой не уходить, а подождать, пока привезут полиция. Тymiш вышел из помещения угрюмый, поплелся через двор к воротам и сел на лавочку возле часового.

Но и после его ухода Брунер и Дрозд долго еще стояли перед столом заместителя коменданта. Крафт их не замечал. Ругался с телефонистами, которые не давали Корсунь, — разыскивал лейтенанта Боша. Яростно крутил ручку полевого аппарата, швырял трубку на рычаг и снова снимал. Наконец дозвонился и стал докладывать. По тому, как Бош его перебил и не дал закончить, Брунер и Дрозд поняли, что дела их плохи. Нечасто удавалось комендатуре захватить живым человека из лесу, а все было за то, что Кныш имел прямое отношение к лесовикам. Из отрывистых ответов Крафта было ясно, что хочешь не хочешь, а о безответственности комендатуры Бош обязан немедленно доложить высокому начальству. Сам он, дескать, во время побега Кныша был в командировке, так что с него и взятки гладки. Стало быть, перед вышестоящим начальством должен отвечать Крафт. Высокий, косоглазый и носатый заместитель коменданта правой рукой держал трубку, а левой все время вытирал вспотевшее лицо с прилипшими реденькими прядками соломенных волос. Он то и дело повторял: «Яволь, яволь», но тоже побелел, как видно понимая, что передовой теперь не миновать.

Наконец он положил трубку и тяжело опустился на стул. Долго молчал, покусывая сигарету и сплевывая на пол. Потом резко поднялся и приказал:

— Оружие на стол!

Брунер и Дрозд покорно отстегнули парабеллумы и положили перед Крафтом. Через минуту явились двое часовых и увели арестованных.

Задумчивый и мрачный, Тымиш Непорожний сидел у ворот. Он видел, как увели Брунера и Митька Дрозда, и понимал, что этим не кончится. Теперь пойдет следствие, еще и его не раз потянут на допрос. Только бы Гната привезли живого — он-то подтвердит! Не удрал же, прибежал в комендатуру, рассказал. Только вот если за дрова зацепятся да нападут на след... Федора не минуют, это точно... И старик с ненавистью подумал об этой приبلуде городской: не иначе как она во всем виновата.

— Подвела дурака под монастырь... — со злобой прошипел он. — Еще и под пулю подведет, проклятая...

21

В дверь постучали совсем тихо — осторожно, даже вкрадчиво, — и спросонья Харкевич подумал, что это ему померещилось. Однако поднялся, спустил босые ноги на пол и сразу же подобрал их — пол за ночь остыл, печка давно погасла и в комнате было холодно. С тех пор как уехали Стороженко, Олег по-прежнему топил два раза в сутки: утром, когда грел чай, и вечером, вернувшись из управления.

Стук повторился — чуть более настойчивый, но все равно едва слышный.

— Одну минуточку! — крикнул Харкевич и стал быстро одеваться. Он был уверен, что это Клавдия Харитоновна, которая каждое утро предлагала ему свои услуги — сварить на завтрак картошку или кашу, — но так рано она никогда не стучала: на дворе едва светало.

Вместо Клавдии Харитоновны на пороге появился высокий военный, и Олег даже в полутьме сразу узнал майора: к нему они вместе со Штукаренко ездили на роскошный обед, который так комически закончился, не успев начаться.

— Простите, я поднял вас с постели... — виновато пробасил майор. — Но иначе я не мог: колонна уже вышла и я забежал на минутку.

— Сейчас я зажгу лампу. Садитесь, пожалуйста. — Харкевич впотьмах пододвинул ему стул.

— Спасибо, сидеть некогда. Вот вам записка от полковника. Вчера его офицер приезжал, привез. — Майор расстегнул планшет, ошупью покопался в нем и протянул Олегу конверт.

— Совсем оставляете Запорожье?

— Сами понимаете, назревают события... — тихо ответил майор, не сомневаясь, очевидно, что таинственный человек без погон, так близко

стоящий к заместителю командира дивизии, не может не знать, о каких событиях идет речь.

Харкевич все же успел чиркнуть спичкой и пошел к столу, где стояла лампа. Узенький огонек осветил раскрасневшееся поднощекое лицо майора, на котором застыла смущенная улыбка, вызванная и тем, что он не знал, с кем имеет дело, и тем, что человек этот был свидетелем его недавнего унижения.

— Простите, я должен бежать.

— Может быть, понадобится ответ... — попробовал задержать его Олег.

— К сожалению, я все равно в ближайшие дни не увижу полковника... — Майор старался оправдать свою поспешность, но все же задержался: — А впрочем, если срочное...

Олег разорвал конверт и пробежал глазами по корявым строчкам короткой записки.

— Нет, все в порядке. Ответу позднее. Ничего срочного нет.

Майор вежливо попрощался и убежал, а Олег переставил лампу на подоконник, сел и снова — теперь уже внимательно — перечел записку.

Штукаренко писал, что просьбу Олега не забыл, еще вчера связался с инженерным управлением своей армии, а потом и с Наркоматом электростанций — там помнят о минах, замурованных в плотине, хотя о возможной детонации, кажется, не думали. Пришлось напомнить и припугнуть как следует, обещали немедленно принять меры. Записка деловая, почти сухая, и только в конце — маленькая приписочка: «Мчусь, как говорится, вперед курьерскими темпами: «свадьба» началась!»

Харкевич задумался: сказать Левчуку или нет? Еще обидится, что перехватил инициативу... Будто в желании как можно скорее обезвредить вражеские мины может быть личный интерес — желание отличиться или взять функции Левчука на себя. А может, тот побаивается, что если подчиненный проявляет инициативу, то это неспроста — старается, значит, зарится на его начальническое кресло?

Странные отношения сложились у него с Левчуком. Внешне ничего особенного — вежливые приветствия, любезные улыбки, постоянные проявления товарищеского внимания... Узнав, что у Харкевича до сих пор нет продовольственных карточек, он искренне возмутился и сам принял меры, чтобы тот их получил. Но все это чересчур подчеркнуто, немного преувеличенно и с примесью добродушного подзуживания и невинной насмешки: как так, спаситель Днепровской плотины — и до сих пор не имеет продовольственных карточек?! Да что ж это такое: разве герои не должны есть? Неужто мы столь неблагодарны и возьмем на свою совесть подобный грех? Мы помним, что среди нас не так уж много героев!

Все это говорилось не за один раз и, конечно, шутя, но фактически каждый день проявлялась эта скрытая неприязнь, чаще всего в форме таких вот невинных, но неуместных шуточек. Олега они не обижали, не смущали, но было неприятно, что ни один деловой

разговор не обходился без недомолвок, иронических усмешечек и язвительных колкостей.

Нет, лучше Левчуку не говорить — не подчеркивать дружбу с полковником и не напирать на свою инициативу. Только бы как можно скорее прибыли саперы, а кто ускорил их прибытие, значения не имеет.

Дело, правда, заключалось еще в том, что ждать их сложа руки все равно было нельзя. Саперы, чтобы не терять времени и сразу же приступить к обезвреживанию мин, должны иметь точные данные о расположении и размерах камер, где заложена взрывчатка. Нелишне для такой опасной работы досконально знать также, какой толщины слой бетона прикрывает каждую из них. Все это, конечно, облегчило бы задачу, а главное — определились бы меры предосторожности при выполнении ее. Но как подготовить все эти сведения без участия Левчука? Ведь для этого нужно время, а откуда его выкроить, если весь день приходится обмерять развалины и наносить все это на соответствующую карту.

Окно уже совсем посинело — настал день. Олег поднялся и принялся растапливать печку. Лучинки вспыхнули сразу, а вскоре и на более толстых поленах заплясали огоньки. Тени забегали по стенам, и даже показалось, что он в комнате не один — на душе повеселело.

Еще не было восьми, когда Олег вышел из дому. После воздуха комнаты, застоявшегося и влажного от пара, который подымался над кипящим чайником, пока Харкевич брился, на улице дышалось легко. В управление идти было еще рано. Олег медленно шагал мимо поваленных заборов, голых деревьев. И вдруг увидел на углу одинокую фигуру в ватнике и ушанке: Ярошенко.

Харкевич не собирался его останавливать, но тот остановился сам, — как видно, тоже узнал. Поздоровавшись, пошли вместе. Ярошенко поинтересовался, нет ли весточки от Кузьмы Ивановича; и Олега вдруг осенило, что именно Ярошенко, который был здесь во время оккупации, может знать кое-что о немецких зарядах. Впрочем, выяснилось, что сам он подробностей не знает, потому что в то время вместе с другими прятался на Днепре, в развалинах старой водяной мельницы. Но он может отвести Харкевича к какому-то Кравцу, тот при немцах работал на станции слесарем и должен кое-что знать.

Ярошенко тоже никуда не спешил, и они решили не откладывать дела в долгий ящик. У ближайшего угла свернули в переулочек и пошли в гору.

Слесаря они услышали издали: он был в сарае, в глубине опрятного двора, оттуда долетал звон молотка. Когда калитка скрипнула, залаял черный кудлатый пес, и звон оборвался. Тотчас из сарая вышел невысокий рыжеватый человек, но не прикрикнул на пса, а прислонился к притолоке, словно испугался непрошенных гостей. Пес захлебывался от лая и рвался с цепи, но Ярошенко чему-то улыбнулся и пошел прямо на собаку.

— Молчать, сучья кровь! — громко, но не зло выругался он, продолжая улыбаться.

Только теперь слесарь отскочил от двери, схватил цепь и запер пса в сарае, из которого только что вышел сам.

— Бойшься, что зайду? — Ярошенко протянул пятерню. — Ну, здорово, герой, здорово. — И кивнув на сарай: — Мастерншь?

— Такая работа... — пробормотал Кравец не очень приветливо.

— И много наработал?

— А что поделаешь, когда людям не в чем борщ сварить? — вопросом на вопрос ответил слесарь.

— Кто же говорит! Конечно, промышленляй! Пока производство не наладим, можно,— милостиво разрешил Ярошенко. — Я пришел не за этим.

У Кравца отлегло от сердца, но глядел он все еще волком: побаивался, как видно, недавнего партизана, а теперь — представителя власти, но Харкевич все еще не понимал — почему.

— Человека я к тебе привел: мины, что ты в плотину замуровал, он теперь должен достать,— продолжая ехидно улыбаться, сказал Ярошенко.

— Вранье,— огрызнулся Кравец. — Я не замуровывал.

— А кто?

— Один день воду из камер откачивал, это верно. А на второй — удрал.

— Думаю, не потому, что не захотел откачивать: просто поджилки затряслись.

— А тебе жизнь не дорога? Под автоматами и ты бы качал. А услышал бы, что помощников потом расстреляют, тоже удрал бы.

— Кто знает, может, и так.

— То-то и оно!

Только теперь, услышав признание Ярошенко, слесарь немного пришел в себя от недавнего испуга. Даже лицо порозовело и стало не таким напряженным и черствым, а под рожими усами промелькнула торжествующая улыбка.

Олег уже понял, с кем имеет дело. Не знал только, что в свое время, когда немцы отремонтировали и пустили маленькую турбину «Комсомолка», Ярошенко предложил Кравцу вывести ее из строя, но слесарь побоялся. И злился на него Ярошенко не за кастрюли, которые тот изготовлял в сарае и продавал, чтобы прокормиться, и даже не за то, что немцы заставили его откачивать воду из адских камер, а именно за трусость, ведь это благодаря таким, как Кравец, немцы снабжали свои мастерские электроэнергией.

— Ну ладно, что было, то было, а сейчас помоги человеку,— сказал Ярошенко. — Дело государственное, сам понимаешь.

Услышав такое предложение, Кравец оживился. Пригласил в дом, а потом и к столу: ничем не угостил, но поговорить согласился.

Где размещены заряды, Кравец знал точно. Да камеры и так видны — там бетон светлее. Определил он примерно и глубину, на которой заложена взрывчатка и авиабомбы, а что немцы бетонировали их толстым слоем, это ясно и так — ведь они хотели, чтобы взрывы были как можно сильнее. Кравец нашел листок бумаги, аккуратно

отточил карандаш и нарисовал самую камеру, стараясь показать, какой она формы. Он согласился, если будет нужно, полезть вместе с Харкевичем и показать ему, как это выглядит в натуре,— там, может, еще и подмости деревянные сохранились, с которых откачивали воду, перед тем как замуровать камеры:

Все это порадовало Олега. Но стоило предложить слесарю помочь саперам, когда те придут, как Кравец всполошился:

— Так взрывчатка же... А у меня трое детей...

— Испугался? — поддел Ярошенко. — Немцу воду откачивал, а своим помочь — кишка тонка!

— Какой ты, право... — упрекнул его Кравец. — Ну откачивал один день, и то под автоматами... — и обижался, и оправдывался он.

— Ну как хочешь, — сердито поднялся Ярошенко. — Мы автоматами не угрожаем. — И Харкевичу: — Двинулись!

По переулку шагали молча, наконец Харкевич заговорил:

— Напрасно вы накричали. Я уверен, он первый полезет и саперов поведет.

— Терпеть не могу таких... — бросил Ярошенко и пошел впереди Олега по тропинке, протоптанной среди сугробов.

22

В тот же день Харкевич пережил нечто похожее на разочарование в самом себе — и как в человеке, и как в инженере. Распрошавшись с Ярошенко, он еще издали увидел у подъезда управления несколько легковых машин, невольно ускорил шаг и уже через две-три минуты узнал, что из Москвы прибыли только что назначенный начальник управления по восстановлению Днепрогэса, главный инженер и несколько их помощников, а также командир инженерной бригады специального назначения, которая должна обезвредить и вывезти вражескую взрывчатку с плотины.

Услышав об этом, Харкевич удивился: целая бригада? Ведь такая воинская часть насчитывает две тысячи человек. Думая на протяжении последних дней о саперах, которые могли бы им помочь, он полагал, что для этого достаточно нескольких специалистов... ну и, конечно, понадобится большая группа бетонщиков и грузчиков, которые раскроют камеры и вынесут прочь взрывчатку. Но целая бригада... «Пригнать столько людей на один, пусть даже такой крупный объект — это, верно, результат дикого головоулетства», — подумал Харкевич.

Но уже через час ему самому стала ясна мера его наивности, и он удивился: как мог инженер, хотя, правда, и незнакомый со спецификой минного дела, но знающий объем и размеры самой плотины, — как мог он вот так по-детски представить себе все это?

Не менее наивными показались ему теперь и его недавние попытки ускорить прибытие саперов. Конечно, Штукаренко звонил в Москву, но ясно, что бригада прибыла бы и без его хлопот. На первом, очень

коротком заседании, посвященном главным образом знакомству с опергруппой Левчука, из слов нового начальника управления, фамилию которого Олег хорошо знал и раньше, стало ясно, что назначение на ДнепрогЭС он получил, еще работая на Урале, стало быть, о том, что здесь должно сейчас произойти, было кому подумать заранее.

Улавливая недосказанное между фразами, которыми обменивались начальник и главный инженер с будущими сотрудниками управления, Харкевич дивился самому себе и втайне радовался, что не рассказал в свое время Левчуку о договоренности с полковником и не выглядел теперь в его глазах таким смешным, как в собственных.

Перед тем как отпустить своих новых сотрудников, начальник управления предупредил, что после обеда соберет всех для первой деловой беседы, а пока местным товарищам надо сопровождать командира бригады и его ближайших помощников, которые хотят ознакомиться, как говорится, с общей картиной. Пока выходили из большой, почти пустой комнаты, которая на ближайшее время должна была стать кабинетом начальника управления, Харкевич вспоминал то, что слышал об этом коренастом человеке, когда еще работал в Москве. Рассказывали о его волевом и решительном характере, о кипучей энергии, которая не давала спать по ночам ни ему самому, ни тем, кто с ним работал. Все это, как видно, правда. Сейчас он тоже производил впечатление человека строгого, делового, хоть для первого знакомства и старался выглядеть как можно мягче.

Олег пошел с пожилым инженером — полковником Шнейдером, который оказался профессором военно-инженерной академии. Именно ему Олег Иванович в возможно более деликатной форме и высказал свое удивление тем, что на один, хоть и огромный объект прислана целая бригада. Инженер-полковник с любопытством взглянул на Харкевича и, уловив в его словах нечто похожее на иронию, так же иронически улыбнулся:

— Наше задание кажется вам таким легким?

— Разумеется, нет... Но...

— А я все время думаю о том, — перебил он Харкевича, — что без двух-трех приданных батальонов нам здесь никак не обойтись.

Олег замолчал — любопытно, что он услышит еще?

— Простите, как вас зовут? — спросил инженер-полковник.

— Олег Иванович.

— Скажите, пожалуйста, уважаемый Олег Иванович, — продолжал Шнейдер ласково, но поучительно. — Как вы думаете, почему заряды, которые мы должны теперь обезвредить, не взорвались своевременно, то есть когда враг был еще здесь?

— Ну... — улыбнулся Харкевич, не понимая, куда гнет собеседник, который, верно, не знает, что имеет дело именно с тем человеком, который вдвоем с товарищем недавно перерезал провода. — Возможно, помешало какое-то непредвиденное обстоятельство... Что-нибудь, например, могло случиться с проводкой...

— А если нет?

— То есть как?

— А так. — Полковник видел, что удивил Олега, но собирался удивить еще больше. — Почему вы так уверены, что враг рассчитывал только на проводку? А если, скажем, кроме проводки, которую можно перерезать или разорвать первым случайным снарядом, который в нее попадет, — почему вы думаете, что кроме этого столь ненадежного способа взорвать плотину не существует еще сотни других?

— Каких? — не на шутку взволновался Харкевич.

— В том-то и дело — каких! — улыбнулся инженер-полковник. — А их сотни, и каждый из них немцы могли применить.

Они уже миновали разрушенный сквер с искалеченными дубками и спустились почти к самой реке, забитой у берега обломками бетона и ледяными глыбами, которые повыворачивало, когда здесь шел бой. Харкевич шагнул вперед, он хотел повести Шнейдера на перемычку, но тот остановил его:

— Дальше не стоит. Издали общая картина виднее.

Олег вернулся и остановился рядом.

— Знаете, уважаемый Олег Иванович, — инженер дотронулся коричневой варежкой до жесткого рукава Харкевича, — когда я подхожу к заминированному объекту, о котором во время войны, как правило, ничего не знаешь, то прежде всего спрашиваю себя: к какой схеме прибег бы ты сам, если бы тебе поручили заминировать этот объект? Так я и учеников своих учу: враг не оставит тебе готовой схемы, ты должен составить ее сам. Правильно составишь — обезвредишь без потерь, ошибешься — погибнешь. Ведь вы знаете: минеры ошибаются только раз в жизни! — Шнейдер держал Харкевича за пуговицу и разговаривал хоть и поучительно, но доброжелательно, и это говорило о том, что он и впрямь хороший педагог.

— Сюрпризы — вот что самое опасное и одновременно самое привлекательное в нашей профессии! — провозгласил он почти патетически. — Их интересно придумывать, но еще интереснее разгадывать. Беда только, что придумывать их безопасно, а вот тем, кто должен разрубать гордиев узел... К сожалению, мы с вами сейчас попали во вторую категорию — перед нами опасный и, я бы сказал, смертельный кроссворд — черт бы их побрал!

— И вы думаете, что такие сюрпризы... — начал было Олег.

— В этой плотине их несколько сот, — инженер-полковник выпустил из пальцев пуговицу Харкевича и показал направо, — по крайней мере, я бы оставил их не меньше. А какие у нас основания думать, что немцы глупее нас? Ведь перед ними была поставлена задача во что бы то ни стало взорвать плотину. Чтобы выполнить ее, надо себя застраховать. Вы, должно быть, слышали о такой неприятной вещи, как мины замедленного действия? Так вот, уважаемый Олег Иванович, война и есть эта самая мина: даже тем, кто ее выиграет, она еще долго будет давать о себе знать...

Харкевич ужаснулся, но смолчал. Выходило, что заряды, которые спокойно спят в бетонной толще, могут взорваться не только от детонации — этого коварного «взаимопонимания» с бомбами, которые приносят сюда самолеты врага, — а и от любого неосторожного при-

косновения, даже самих саперов, которые будут искать заряды... Более того, они могут взорваться и через год, и даже через десять, если их не удастся выявить все до единого. Пройдет время, какая-нибудь тоненькая проволочка заржавеет и, когда молекулярные связи у нее разорвутся, она лопнет и высвободит нужную пружинку, которая ударит в запал. Харкевич стоял и глядел на берег, а в воображении вырисовывался весь этот медленный, но неотвратимый процесс.

Эта воображаемая картина, одновременно и страшная и омерзительная, ужаснула Харкевича. Конечно же этот человек прав: придется сантиметр за сантиметром перебирать и перетряхивать горы изувеченного железа и камня, обследовать до самого дна всю эту глубоченную реку. Перебрать, пересыпать, перешупать, пересеять сквозь мелкое сито придирчивого внимания и предусмотрительной осторожности, которая сможет гарантировать безопасность и сохранность отдельным участкам плотины и тем, кто о них заботится, и людям, которые придут после них. Сколько нужно для этого умелых и недрожжащих рук, сколько острых глаз и сердец, способных биться ровно даже в предчувствии смертельной опасности! И Олегу стало стыдно за свою недавнюю иронию: этот опытный, пожилой человек, конечно, заметил и оценил ее по заслугам, еще, верно, и посмеялся про себя над его наивностью.

Теперь и риторическая фраза о фатальных последствиях войны, сказанная несколько минут назад инженер-полковником, не казалась Олегу претенциозной. Ему не раз приходилось читать в газетах о немецких концлагерях, о печах, что пылают днем и ночью, свидетельствуя о вырождении человечества. Но чтобы звериное начало в существах, считающих себя людьми, таило такую предусмотрительность, рассчитанную на кровь и слезы будущих поколений даже после своего поражения, — такое и представить себе нельзя.

Для Харкевича это было своего рода открытием, хотя он так же, как все, с кем ходил по земле, уже кое-что знал о зле и коварстве вообще и о том, как выглядело оно, став оружием оккупантов. Харкевич чуть заметно улыбнулся: сопровождал гостя как абориген и знаток, а гость оказался значительно более осведомленным и кое на что раскрыл глаза самому хозяину. За такую науку надо благодарить, но Олег почему-то смотрел на своего спутника не очень приветливо и настороженно спросил:

— Значит, вы тоже прибегаете к минам замедленного действия?

— «Тоже»? — Инженер-полковник удивленно поднял брови. — Конечно, пока мы хоть и на своей территории, но с нее можем временно отступить.

— А когда придем на вражескую?

— Зачем нам тогда прибегать к таким минам? Они — оружие отчаяния, оружие побежденных. А мы придем как освободители их детей. Зачем же ставить под удар тех, кого спасаешь?

— Но ведь вы сказали, что на их месте наставили бы...

— Вот вы о чем!.. — Шейдер снисходительно улыбнулся. — Как же я догадаюсь, к какой схеме они прибегли, если хоть на минуту в воображении не стану на их место? А иначе как же? Сапер без воображения — нуль! — Он раскатисто, но негромко рассмеялся, и смех его тоже звучал хоть и снисходительно, но не обидно — смех опытного педагога, который объясняет своему ученику то, что сам хорошо знает.

Они постояли еще несколько минут, потом спустились поближе к турбинному залу. Инженер-полковник все время старался идти впереди, ступал осторожно и обходил подозрительные места, побаиваясь, как видно, что опасность может притаиться повсюду. Теперь Олег не считал его предосторожность преувеличенной и тоже ступал мягко и опасно, искоса поглядывая на каждый обломок бетона, каждую проволочку, мимо которой перед этим уже не раз проходил равнодушно.

23

Домой Олег вернулся вечером усталый, едва доплелся, и, как только взошел на крыльцо, дверь распахнулась и на него чуть не налетела Клавдия Харитоновна.

— О, наконец! А тебя уже часа два ждет какой-то человек.

— Кто такой?

— Не знаю. Сидит внизу с Соломией: он работал в мастерских вместе с ее покойным мужем.

Харкевичу и в голову не пришло, что это может быть Кравец — тот рыжий неразговорчивый слесарь, к которому они утром заходили с Ярошенко.

Войдя, Олег не сразу узнал гостя. Слесарь сидел рядом с Соломией у стола возле лестницы, ведущей на второй этаж, белый язычок маленькой коптилки освещал их склоненные и печальные лица, — верно, вспоминали погибшего мужа Соломии; они даже не взглянули на дверь, — должно быть, думали, что вернулась Клавдия Харитоновна.

Олега не обрадовал этот неожиданный визит. Слесарь, очевидно, пожалел, что отказался помочь, и вот пришел извиниться и предложить свои услуги. А после разговора с инженер-полковником, который собирался и поиск и обезвреживание мин поставить на подлинно научную базу, было ясно, что помощь случайного человека, который что-то видел и что-то знает, — ни к чему. Придется отказаться, объяснить, что помощь больше не требуется, а человек подумает: ему не верят, боятся положиться на его сведения — обидится, а может, и испугается, во всяком случае, надолго утратит душевное равновесие.

Догадка оказалась правильной. Как только Кравец оглянулся и увидел Харкевича, он бросился к нему и стал извиняться — не подумал тогда как следует, а потом сообразил, как это так — отказаться? Ведь подумают — на врага работал, выходит, действительно — враг. Кравец оправдывался, и голос его дрожал, а сам он все обращался

к Соломии, словно просил: подтверди, мол, что человек я честный, что только ради деток на работу пошел и никому никогда никакого зла не сделал... Героем, дескать, не был, но что поделаешь, придется теперь искупать вину ценой жизни...

Соломия хоть и молчала, но утвердительно кивала головой. Впрочем, Олег и без того понимал, что человек должен как-то жить и кормить своих детей. Он слушал, а сам думал — как же отказать, ведь только утром приходил просить! А когда, осторожно подбирая слова, сказал, то увидел, что ошеломил человека: Кравец сгорбился и, совсем убитый, пошатываясь, поплелся к дверям.

Олег присел рядом с Соломией и стал объяснять ей, в чем дело. Получилось, что он уже сам оправдывается. Соседка невнимательно поддакивала, не могла сосредоточиться на чужом горе — у нее было свое. Харкевич скоро понял это, попрощался и поднялся к себе, но слесарь не выходил из головы. Неприятно было, что посеял в человеке тревогу.

Вот почему Харкевич обрадовался, когда утром, войдя в коридор управления, услышал голос Левчука:

— Послушайте, неужели среди местного населения нет людей, которые могли бы помочь? — И он объяснил, что разговаривал с командиром бригады инженер-полковником Шнейдером — и тот сказал, что хорошо бы получить кое-какие сведения от местных жителей.

Через полчаса уборщица, которая одновременно была и курьером, привела Кравца. Он, как видно, не сразу понял, кому понадобился, и, когда вошел, выглядел растерянным. Но как только увидел Олега, который, виновато улыбаясь, пошел ему навстречу, просиял.

— Ну вот и понадобились! — воскликнул Олег Иванович. — Пошли.

Он подхватил слесаря под руку и повел к инженер-полковнику. Шнейдер был доволен. И когда расспрашивал, интересуясь малейшими подробностями, Харкевич радовался и за слесаря, и за себя — что снял камень с его души.

Кравец постепенно успокоился, стал припоминать такие детали, на которые в свое время и внимания не обращал. Но Шнейдера именно они-то и интересовали больше всего. То, что в донных отверстиях замурованы большие заряды, он понимал и сам. А вот куда солдаты носили отдельные ящики с гранатами и взрывчаткой, где именно сверлили маленькие дырки для крючков, за которые можно зацепить бечевку или проволоку для небольшого сюрприза? Слесарь мало что знал, да и не мог охватить взглядом огромную территорию, на которой немцы суетились, поспешно заканчивая свою подлую работу до прихода советских частей. Но инженер-полковник так умело расспрашивал, так своевременно подсказывал, словно сам присутствовал при всем, а сейчас лишь ждет подтверждения от других. Кравец вспоминал, а Шнейдер довольно кивал головой и записывал в свой блокнот. Харкевич понимал, каким образом он догадался о многом из того, о чем рассказывал слесарь: прошлой ночью полковник, верно, «поставил себя на место немцев» и разработал примерный план, который мог устроить врагов. Теперь он только наводил Кравца на мысль и,

когда тот подтверждал его догадки, посмеивался в маленькие усики и приговаривал: «Конечно, конечно, так я и думал».

— А не замечали вы у них маленьких пружинок... приблизительно вот таких? — И Шнейдер рисовал на клочке газеты пружинку.

— Вот оно что! — удивленно воскликнул слесарь. — А я думал: зачем они им? Заказывали нам, делали... Только зацепки у них не такие... А вы откуда знаете? — удивленно поинтересовался слесарь.

— Да нет, я только спрашиваю. — Шнейдер прятал улыбку под усами.

Харкевич глядел на обоих: искренняя непосредственность одного — радовала, а целеустремленность второго — поражала. Для того чтобы большая часть догадок Шнейдера, который был далеко отсюда в момент оккупации, совпадала с тем, что рассказывал человек, работавший здесь и видевший все собственными глазами, инженер-полковнику надо было быть не только мастером своего дела, но и недюжинным психологом.

На дворе сверкал снег, резко очерченное солнце висело за безлиственными, голыми деревьями, и лучи просеивались сквозь густое кружево ветвей. Они втроем вышли на крыльцо и на миг остановились.

— Что ж, благодарю, — сказал Шнейдер и протянул руку Кравцу. — Если потребуется, позовем. — И обратился к Харкевичу: — Адрес знаете?

Олег кивнул.

— Пошли. — Инженер-полковник спустился по ступенькам и направился к плотине.

Харкевич задержал руку слесаря в своей и улыбнулся, как бы спрашивая: теперь все в порядке? Кравец с благодарностью кланялся и растерянно молчал, словно не верил, что и за помощь поблагодарили и не придется идти к этим опасным зарядам. Хотел еще что-то сказать, но не находил слов. Только тряс руку Харкевича и кланялся — одной головой.

Шнейдер был уже далеко и шел не оглядываясь. Пришлось догонять. Только теперь заметил Олег, что на дороге, которая вела прямо к перемычке, стоял патруль. Вокруг тоже ходили солдаты — одни с автоматами наперевес, другие с миноискателями, похожими на швабры для натирки полов. Бойцы водили ими по земле, словно и впрямь натирали пол, иногда наклонялись и что-то доставали из-под каменной глыбы или из маленькой ямки, а в некоторых местах осторожно разгребали снег и шупали землю. Это удивляло — неужели и там притаилась опасность, ведь Олег здесь проходил десятки раз, а на мину не наступил! Но возле часовых уже лежала целая куча гранат, небольших снарядов, противотанковых мин, и Харкевич понял, что это все собрано именно здесь, вокруг. Значит, и в этом Шнейдер прав: опасность притаилась повсюду.

Харкевича остановил патруль: дальше не пускали. Олег возмутился. Он здесь работает, плотина — это его рабочее место. Но солдат приказал отойти. Стало ясно — спорить бесполезно. И только теперь

он вспомнил о полковнике и попросил позвать его. Часовой что-то сказал своему напарнику, тот побежал.

Когда его наконец пропустили, Шнейдер сказал:

— Возьмите постоянный пропуск. С сегодняшнего дня вход на плотину запрещен.

Они подошли к ступенькам, которые вели в потерну, и остановились напротив железной двери.

— Здесь непременно должны быть,— буркнул Шнейдер. Он позвал капитана, что стоял неподалеку с группой бойцов, вооруженных миноискателями и еще какими-то приспособлениями, назначения которых Олег не знал. — Взгляните, капитан, за дверью,— приказал полковник, и, хотя не объяснил, что и где искать, капитан понял.

Дверь держалась на одной нижней петле и тяжело накренилась набок. За узким отверстием была непроглядная тьма. Солдаты молча вели миноискателями вокруг входа, словно внимательно слушали пульс заснеженной земли. Они медленно продвигались к входу, потом вошли в потерну, неся впереди себя миноискатели.

Харкевич спросил:

— Как вы думаете, это надолго?

— Что?

— Ну вообще — все это.

Шнейдер скользнул взглядом по плотине, словно видел ее впервые, затем ответил:

— Месяцев на пять. Может быть, на полгода.

— Полгода?! — ужаснулся Олег.

— Немцы готовили это в два раза дольше. Впрочем, строить труднее, чем разрушать.

Харкевич улыбнулся: строить! В устах специалиста минного дела даже сооружение системы разрушения называлось строительством!

Они ждали минут двадцать, пока из потерны появился капитан. Шнейдер был спокоен. Поинтересовался, использовали ли перед войной потерну как транспортную магистраль, спросил, что тогда делал Харкевич на плотине. Олег отвечал, но все время ловил себя на том, что напряженно прислушивается, не долетит ли какой-нибудь звук из глубины черного отверстия, в котором исчезли, словно растаяли, бойцы. Ведь если там действительно есть «сюрприз», он может работать. Но оттуда не доносилось ни шороха, словно капитан и его бойцы и в самом деле исчезли бесследно.

И когда капитан наконец появился, Олег тихо вскрикнул и невольно шагнул ему навстречу, словно уже и не надеялся увидеть живым.

— Есть,— сказал капитан. — Две полутонки. — Он говорил о найденных огромных минах, как о чем-то совсем обычном.

— Какого действия? — спросил Шнейдер.

— Натяжного.

— Я так и думал,— заметил инженер-полковник — тоже как о чем-то обычном.

Он отдал кое-какие распоряжения и тронул Харкевича за рукав:
— Ну, пошли.

И это тоже было сказано спокойным баском человека, который совсем не волнуется и знает, что все кончится хорошо. Придется, конечно, повозиться, механизмы натяжного действия встречаются довольно мудреные, но минеры — народ сообразительный и ловкий: сделают — комар носа не подточит.

24

С появлением начальника управления положение Левчука стало непрочным. Перед этим, на протяжении двух недель, он руководил так называемой оперативной группой, которая состояла всего из нескольких человек, но имела четкое задание — определить объем разрушений и подготовить для Наркомата электростанций соответствующие сведения и точный чертеж. Хотя задание и было ограниченным, а людей горсточка, Левчук чувствовал себя начальником и знал, что делать. Теперь появился настоящий хозяин будущего учреждения, новых людей пока еще в его распоряжении не было, и члены оперативной группы фактически стали его подчиненными. Да и как они могли выполнять свое первоначальное задание, если лазить по развалинам и измерять что-либо было невозможно — на плотину просто не пускали.

Ставить этот вопрос сейчас перед начальником управления было бессмысленно. Левчук понимал это. Но и мыкаться без дела унижительно и неприятно. Поэтому, просидев первую половину дня над чертежами, которые нельзя было закончить без дополнительных сведений, он решил попросить нового начальника управления временно откомандировать его в распоряжение военных: их подразделения разбросаны по всей плотине, и Харкевичу одному трудно всюду поспеть. А попав таким образом на плотину, можно кое-что измерить и, стало быть, постепенно выполнять основное задание.

Пока Левчук думал обо всем этом, настроение было прескверное. Но, получив разрешение начальства, он сразу повеселел, ожил. Обедать в столовую не пошел — побоялся, что инженер-полковник явится сразу после перерыва, пойдет на плотину и он его прозевает. Левчук съел бутерброд и склонился над незаконченным чертежом. Потом вышел в коридор и стал там прогуливаться. Неприятно было ждать как просителю, но он утешался тем, что никто, кроме него, об этом не знает.

Шнейдер обрадовался, что у него в распоряжении будет еще один специалист-днепрогэсовец. Он не знал, что Левчук на плотине новичок, а Олег счел неудобным предупреждать об этом. В конце концов, особого значения это не имело — ведь речь пока шла не о внутренней, а о внешней топографии плотины, и, если Левчук в чем-то даже ошибется, рядом будет он, Харкевич, который знает плотину по-настоящему.

После обеда Шнейдер решил «пощупать», как он это называл, донные отверстия. Именно в этих десяти огромных дырах, пробитых в теле плотины для спуска воды из верхнего бьефа, безусловно, и должна находиться большая часть немецких бомб и взрывчатки. Так утверждали все местные жители, например Кравец. Об этом же сообщали разведчики еще до прихода наших войск. Так представлялось и Шнейдеру. Теперь эти отверстия были замурованы с обоих концов — не для того же, чтобы полуразрушенная плотина выглядела целее. Там лежали огромные заряды — сомнений не было.

Но и не «пощупав» их, Шнейдер был уверен, что здесь можно действовать спокойно, не опасаясь. Осуществление главной цели никогда не ставят в зависимость от слепого случая, рассуждал инженер-полковник. Здесь враг не мог полагаться на сюрприз, рассчитанный на случайную неосторожность, — взрыв здесь должен был произойти в точно назначенную секунду, а это возможно лишь с помощью дистанционного управления, то есть проводов электрического тока и рубильника или кнопки, на которую ляжет рука человека. Сейчас вражеской руки, которая могла бы нажать на кнопку или включить рубильник, не было. А раз некому нажать на кнопку, не опасен и провод.

Это, конечно, не означало, что Шнейдер возьмет кайло и станет пробивать стены, чтобы быстрее добраться до бомб. Он всю жизнь имел дело с минами, и осторожность стала уже органической чертой его характера. Склонный к юмору, полковник шутя разделял человечество на две неравные части: одна — подавляющее большинство — подходит к незнакомым механизмам с молотком, а вторая — минеры, вооруженные лишь внимательным глазом и чувствительными пальцами. К какой из двух категорий относил он себя, догадаться трудно.

Сейчас он хотел лишь «пощупать» донные отверстия, то есть посмотреть вблизи на белые пятна немецкого бетона, которым отверстия были замурованы вровень с пологим склоном водосливного гребня. Это было не просто — подняться на уцелевшую часть подкранового моста, потом спуститься вниз с помощью веревочной лестницы, — правда, значительно более надежной, чем та, по которой лазил Харкевич, когда шли бои, — а оттуда уже пройти по узеньким мосткам, оставшимся, как утверждал Кравец, с тех пор, как немцы бетонировали отверстия.

Пошли втроем. Для Олега это было первое настоящее путешествие в собственное прошлое, хотя и прошел с тех пор всего месяц. После освобождения Днепрогэса он уже не раз бывал на плотине, но дальше этого клочка — уцелевшей части подкранового моста — не заходил. А самые драматические события произошли именно перед тем, как наконец удалось взобраться на мост: и гибель лейтенанта Хохла, и незабываемая ночь, которую пришлось провести вместе с Амирадзе наверху под лучами вражеских прожекторов, и сказочное, и вместе с тем ужасающее утро, когда был взорван турбинный зал и из чер-

ной тучи дыма и пыли, медленно оседавшей на правом берегу, возник четкий силуэт одинокого тополя... То, что они после этого делали на мосту, походило уже просто на прогулку, особенно когда Амирадзе снял обонх часовых. А вот перед тем — форсирование голых двадцатиметровых стен под прицельным огнем орудий, которые были прямой наводкой с Хортицы... Любопытно было поглядеть на эти места в свете спокойного, солнечного дня, вернуться на бывшее поле боя... Но с тех пор прошло слишком мало времени, подробности не успели выветриться, и все это еще не улеглось в душе. Да и можно ли вообще считать прошлым то, что еще до сих пор не завершено, не имеет своего конца? Даже его и Ксенин тополь был лишь воспоминанием о Ксене, судьба которой до сих пор неизвестна... А сама плотина? Он спасал ее, возможно даже спас, но вражеские заряды еще покоились в ее изувеченных внутренностях, и неизвестно, к чему это приведет, как неизвестно, жива ли Ксения. Нет, все это не кончилось — война еще идет, — на место недавнего боя рано приходить любознательным туристом!

Внезапная оттепель сделала скользкими деревянные ступеньки, возле которых в ту последнюю ночь погиб Ковальчук, но ни Шнейдер, ни Левчук ничего не знали о покойном верхолазе из «Запорожстали» и не остановились на памятном для Харкевича месте. Они полезли наверх, а Олег пошел медленнее и отстал. Опечаленный, он поднялся один, не стараясь догнать товарищей.

Отсюда открывался прекрасный вид. Прекрасный и ужасающий. Глаз не мог охватить объем разрушений. Снег таял, но на стенах превращался в лед, и развалины сияли и искрились, словно башни, покрытые серебром. Казалось, природа взялась доказать, что и пепелище может выглядеть таким же прекрасным, как дворец. Но Олега это не могло обмануть. Он знал, что скрывается под серебристой фатой ослепительного снега.

Левчук уже стоял у края и заглядывал в двадцатиметровую пропасть. Смотреть туда, как видно, было страшновато, и по лицу его блуждала неуверенная улыбка. Было ясно: придется спускаться, — это казалось очень простым в воображении, но не теперь, когда надо было поставить ногу на веревочную ступеньку.

— Ну, Олег Иванович, открывайте парад, у вас опыт. — Голос Левчука звучал бодро, но за этой бодростью угадывался страх.

— Именно опыт не позволяет мне этого, — отрезал Харкевич.

— Впервые слышу, что опытный человек считает возможным замыкать цепь! — Патетическое восклицание было обращено к Шнейдеру. Олег уловил в нем знакомые нотки обычного подзуживания.

— Ну ладно, — буркнул инженер-полковник. Он не слышал их разговора, и слова его были итогом мгновенных раздумий над тем, как лучше спуститься вниз. — Дайте руку. — И протянул левую.

Харкевич подал руку, инженер-полковник лег животом на край моста и ловко нащупал ногой веревочную перемычку. Потом ухватился правой рукой за край обломанного настила, поставил на перемычку вторую ногу и отпустил руку Харкевича. Теперь, держась за

настил двумя руками и убедившись, что ноги надежно упираются, он стал спускаться.

Левчук, оцепенев, наблюдал, пока голова Шнейдера не скрылась. Потом с минуту еще смотрел вниз и наконец поднял растерянный взгляд на Харкевича.

— А кто же подает руку последнему? — оторопело спросил он.

— Последнему лезть не надо. Вы лучше останьтесь здесь.

— С какой стати? — возмутился Левчук. Это явно задело его.

— В таком случае руку подам я.

— А вы?

— Я же сказал — опытный должен спускаться последним. — Олег улыбнулся, и, хотя эта улыбка тоже задевала достоинство Левчука, тот смолчал.

Говоря это, Олег уже знал, как поступит. Еще по дороге, догоняя своих спутников, которые, стоя у края моста, ожидали его, Харкевич вспомнил, как маленький грузин Амирадзе спускал на водосливный гребень Ковальчука. Парень лег на живот, привязал к поясу от штанов веревку, за которую держался Ковальчук, а сам уцепился двумя руками за железный прут, торчавший из бетона. Сейчас Олег не понимал, зачем это надо было делать, ведь можно привязать веревку прямо к арматуре. Повиснув на поясе, Ковальчук тогда чуть не стянул с Амирадзе штаны, и бойцы потом вдоволь посмеялись над маленьким грузином.

Теперь, когда и Левчук исчез внизу, Харкевич привязал свой пояс к железному костылю, которым когда-то была прибита доска настила, и, ухватившись за него, словно за руку, которую некому было подать, спустился вниз.

Шнейдер уже стоял у второго быка и, опираясь ладонями на шершавую стену, спускался по деревянным ступенькам. Они были покрыты ледяной коркой, и Шнейдер с трудом балансировал, словно шел по проволоке. Через минуту он уже скрылся за углом быка, и о том, что он движется дальше, можно было судить лишь по тому, как прогибались доски, настланные вдоль плотины, когда немцы бетонировали камеры для зарядов.

Олег собрался было уже спуститься вслед за полковником, как вдруг услышал его крик:

— Кто-нибудь сюда!

В голосе Шнейдера не чувствовалось тревоги — скорее нетерпеливая требовательность и командирский металл. Олега удивил этот необычный тон, но он бросился к ступенькам не раздумывая. Спустился, выглянул за угол быка и увидел инженер-полковника — тот почти лежал на пологом склоне гребня, крепко упершись ногами в доски и почти вплотную приблизив лицо к бетонной поверхности, словно нюхал ее своим коротеньким носом.

— А ну, взгляните! — бросил он, когда Харкевич приблизился. — Узнаете? — Он не отводил глаз от узенькой белесой полосы, которая, отчетливо выделяясь на сером фоне бетона, круто забирала вверх и

обрывалась, соединившись с большим четырехугольным пятном такого же цвета.

Олег присмотрелся: это чужое. И пятно наверху — след от замурованной немцами отдушины, которая уходила глубоко вниз, к самой потерне. Ясно, что именно туда и пропущен провод от мины, замурованной в донных отверстиях.

— Эх, жаль... — вздохнул Харкевич. — Если бы мы тогда знали, что он выходит здесь на поверхность, не погибли бы ребята...

Шнейдер осторожно выпрямился.

— Это счастье, что не знали, — заметил он спокойно.

Харкевич понял.

— Думаете, ножом замкнули бы?..

— Не думаю, а уверен.

— Но ведь мы перерезали... только там! — Харкевич махнул рукой в сторону правого берега.

— Может, и перерезали, — неуверенно буркнул Шнейдер. — Не забудьте, однако, что это было в момент ожесточенных боев, когда их сеть могла быть уже повреждена. А неделей раньше она, безусловно, была еще цела.

— Возможно...

— Ну ладно. — Шнейдер резко оборвал Олега. — Все ясно. — Чувствовалось, что он уже знает, как воспользоваться своим открытием, и спешит на берег.

Харкевич осторожно повернулся и медленно пошел назад, нащупывая ногами покрытую тоненьким ледком, скользкую доску. Инженер-полковник подождал, пока Олег отойдет подальше — доски прогибались и идти рядом было опасно, — и так же осторожно двинулся вслед за ним.

25

Беда пришла неожиданно, как обычно бывает. Харкевич уже стоял у быка, смотрел на нижнюю ступеньку, готовый встать на лестницу. Он уже поднял ногу, поглядел вверх: боязливо держась руками за скользкие доски, на четвереньках пятился Левчук.

— Куда вы? — крикнул Олег. — Мы уже возвращаемся!

Левчук то ли не слышал, то ли не смог остановиться. Он сделал еще одно движение, но оступился, нога соскользнула и сильно ударила Харкевича. Тот пошатнулся, не удержался и полетел вниз. Шнейдер был еще далеко и не мог его подхватить. Да если б смог, не удержал бы. Он только чуть слышно охнул, понимая, что произошло несчастье.

Стремглав, уже совсем не думая о себе, инженер-полковник побежал к лестнице. Левчук как раз кончил пятиться и встал на доски. Он беспомощно улыбался и, не зная, что случилось, смотрел на Шнейдера.

— Черт вас принес! — в бешенстве крикнул инженер-полковник. — Руку!

Левчук оторопело захлопал глазами и протянул руку, не понимая, чего от него требуют.

— Держитесь за доску,— приказал Шнейдер.

Тот послушно уцепился за ступеньку, а Шнейдер, держась за него, склонился над пропастью и заглянул туда. Олег неподвижно лежал на почти отвесной части гребня, зацепившись шинелью за железный прут.

— Харкевич! Жив? — крикнул Шнейдер, но ответа не последовало.

Он понимал: шинель может порваться, и тогда — конец. Внизу kloкотала вода, которую гнало сюда с левого берега, где она перекачивалась через разрушенную во многих местах стену аванкамеры, а из водоворота выглядывали камни и обломки бетона.

— Что случилось? — Левчук все еще ничего не понимал.

— Идиот!.. — прошипел инженер-полковник и резко отстранил его. — Стойте тут,— приказал он и быстро побежал по скользким ступенькам вверх.

Был только один способ спасти Харкевича, если он жив: как можно скорее выбраться на подкрановый мост и бежать на правый берег за помощью. Там катер, который должен вывозить взрывчатку, когда ее начнут вынимать,— катер этот можно подогнать к месту, где повис Олег. Но как добраться до него самого, чтобы отцепить, спустить вниз? И пока придумают что-нибудь, шинель, на которой повис Харкевич, может разорваться! Шнейдер в нерешительности остановился перед стеной, с которой свисала веревочная лестница. Что делать?

И вдруг его осенило: веревочная лестница, свисающая с подкранового моста, длинна, конец ее лежит внизу, и его можно отрубить. Шнейдер выхватил из кармана нож, раскрыл лезвие, но вовремя сообразил, что кусок, который можно отрезать, короток — метра два, не больше. Не раздумывая, он поднялся выше, резанул лямку с правой стороны и кособоко повис на левой. Перед тем как перерезать и вторую веревку, он посмотрел вниз, стараясь держаться так, чтобы при падении встать на ноги. Впрочем, предосторожность не помогла, и Шнейдер упал на бок, сильно ударившись бедром.

С минуту он лежал, пронзенный резкой болью. Потом поднялся, рассек перемычки и связал оба конца: веревка получилась достаточно длинной.

Левчук, ничего не понимая, глядел на Шнейдера, когда тот бежал вниз по скользким ступенькам. Он испуганно отшатнулся, уступая дорогу инженер-полковнику. Но тот даже не взглянул на него и только бросил, словно скомандовал:

— Руку!

Левчук, как и раньше, молча повиновался. Одной рукой взялся за доску, а вторую протянул Шнейдеру.

Свесившись насколько это было возможно над пропастью, инженер-полковник снова увидел Харкевича: тот лежал так же, как и раньше, неподвижно, но одна нога как будто выпрямилась и торчала

вверх, подпертая небольшим камнем, заброшенным сюда, верно, во время взрыва на мосту.

— Харкевич, держите! — крикнул Шнейдер, собираясь бросить ему конец веревки. Но тот не шевелился. — Вы слышите? — Ответа не было.

Еще мгновение Шнейдер висел над пропастью, прислушиваясь и одновременно размышляя, как быть дальше. Харкевич не шевелился. Скверно. Но именно это и давало надежду: если он только без сознания, то лучше, чтоб это продолжалось дольше, ведь только он шевельнется, шинель не выдержит и Олег разобьется насмерть.

Шнейдер подтянулся на руке Левчука и выпрямился. Потом быстро сделал на конце веревки петлю и снова, взяв Левчука за руку, склонился и стал закидывать петлю на ногу Харкевичу. Это было трудно, но после нескольких попыток он все же набросил веревку и осторожно затянул. Затем снова выпрямился и подал второй конец Левчуку.

— Держите.

Левчук уже понял, чего добивается инженер-полковник. Он слегка натянул веревку и крепче уперся ногой в доску. Шнейдер тем временем, совсем обессилев, вытирал платком вспотевшее лицо. Потом стал ощупывать ступеньки в поисках самой надежной. Нашел подходящую щель и, не отбирая веревки у Левчука, просунул свободный конец ее и завязал тугим узлом.

— Можете отпустить, — бросил он Левчуку. — Пошли.

Левчук чувствовал, что очень виноват, хотя и не понимал, в чем именно. Он знал, что с Харкевичем приключилась беда, а о своей причастности к этому судил лишь по внезапной суровости Шнейдера. Подавленный, он не решался ни расспрашивать, ни оправдываться и от этого выглядел робким и униженным, словно изобличенный в недостойном поступке. Он попробовал пропустить Шнейдера вперед, но инженер-полковник махнул рукой в сторону ступенек, приказывая ему идти первым. Левчук бросился к лестнице и ползком стал подниматься вверх. Шнейдер стоял позади и наблюдал — на случай если тот поскользнется и съедет вниз.

Только наверху стало ясно, что вскарабкаться на подкрановый мост, чтобы побыстрее позвать на помощь и подогнать катер, не так просто. Лестницу Шнейдер обрезал высоко, ухватиться за нее было невозможно. Он стоял в отчаянии, глядя на дело своих рук, но понимал, что отрежь он меньше, веревка была бы слишком коротка. Левчук тоже посматривал то на него, то на лестницу, которую высоко над ними раскачивал морозный ветерок.

— Что вы собираетесь делать? — наконец решился спросить он.

— Если встать на плечи, можно достать.

— А как же... — Он уже понимал, что подсаживать придется ему, а самого его некому будет подсадить.

— Все равно кому-то надо остаться, — сказал Шнейдер довольно мягко, и это немного успокоило Левчука. — Спуститесь вниз. Пойдите там на всякий случай.

Он показал туда, где повис Харкевич, и Левчук молча согласился, что кому-то надо подежурить: мало ли что может случиться.

— Становитесь. — Левчук наклонился и сцепил руки перед собой, чтобы Шнейдер мог упереться сапогом.

— Выдержите?

— Давайте.

Через минуту Шнейдер уже стоял у него на плечах. Протянул руку вверх — немного не доставал. Будь рядом Харкевич, тот мог бы поделиться личным опытом, приобретенным месяц назад точь-в-точь при таких же обстоятельствах. Но Харкевича рядом не было; ни Шнейдер, ни Левчук даже точно не знали, жив ли он, поэтому что-либо посоветовать или подсказать им было некому.

Шнейдер топтался на плечах Левчука, прижавшись к шершавой стене растопыренными пальцами, он понимал, тянуть больше нельзя, надо решиться и подпрыгнуть, ведь Левчук может не выдержать или поскользнуться, тогда придется отдыхать перед второй попыткой. А Харкевич висит, и его надо спасать — времени нет.

— Я попробую подпрыгнуть, — хрипло произнес Шнейдер. — А вы постарайтесь подхватить меня, если не зацеплюсь.

— Давайте, — прокряхтел Левчук и напрягся изо всех сил: он уже едва держался на ногах.

Шнейдер подпрыгнул и ухватился за перемычку. Неожиданно освободившись, Левчук поскользнулся и упал, но тотчас вскочил.

Он смотрел на Шнейдера, который медленно раскачивался на лестнице, ожидая, пока она остановится. Недавняя растерянность пропала, чувство униженности исчезло. Теперь Левчук активно действовал, от него зависело не меньше, чем от инженер-полковника, и чувство ответственности возвращало ему внутреннее равновесие.

Покачивание почти прекратилось, обе ляжки веревочной лестницы выровнялись. Шнейдер подтянул свое отяжелевшее тело и схватился рукой за вторую перемычку. Это далось ему с трудом, но больше он уже не отдыхал и осторожными движениями, похожими на медленные взмахи пловца, лез все выше и выше. Через минуту он уже двумя ногами стоял на нижней перемычке и только теперь, задержавшись, чтобы немного передохнуть, быстро стал перебирать руками и ногами и наконец исчез наверху.

Левчук прислушался: с моста доносился глухой топот — Шнейдер бежал. Шум воды, которая лилась через пробитую в нескольких местах стену аванкамеры, сюда не долетал, и быстрые шаги были хорошо слышны, пока совсем не смолкли.

Настроение снова испортилось. Какой позор! Ни Шнейдеру, ни Харкевичу он не был нужен — только для того и увязался за ними, чтобы не слоиться без дела, а стал виновником такого несчастья. Левчук попробовал представить, как все произошло; ясно увидел себя таким, каким мог увидеть его Харкевич, когда он, пятась, спускался на шаткий помост, — и ему стало стыдно. Но Левчук сразу отогнал унижительные мысли и, осторожно ступая, пошел к ступенькам. Сей-

час рядом никого не было, и он мог спуститься тем же способом, что и первый раз, однако шел несмело, словно стыдясь самого себя. Лед подтаял, каблуки проламывали ледяную корку, под ногами чувствовались твердые доски.

И как только спустился, заметил, что веревка вздрагивает, то опадая, то вновь натягиваясь. Левчук почти спрыгнул со ступенек на доски, прислушался: снизу долетел чуть слышный стон.

В груди шевельнулась радость: жив! Левчук попробовал наклониться и заглянуть в пропасть, но ничего не увидел, кроме пенившейся воды.

— Харкевич, вы слышите? — крикнул он и задержал дыхание в ожидании ответа.

Веревка дернулась еще раз и замерла, но голоса Олега Левчук не услышал.

— Потерпите, пожалуйста... минут десять, не больше... — почти умолял Левчук. — Сейчас вас снимут. Только не двигайтесь, лежите спокойно... Вы слышите меня?

Он снова прислушался. Харкевич не отвечал. И только что-то едва слышно затарахтело вдали. Левчук поглядел на реку и увидел маленький катер, который, обходя kloкочущий водоворот, ненадолго скрылся за скалой — Креслом Екатерины...

26

Лейтенант Бош вернулся в Калитву на бронемашине в сопровождении пяти солдат. Они остановились у комендатуры, Бош выскочил из машины, хлопнув массивной дверью, и побежал в помещение мимо вытянувшегося и перепуганного часового. У входа его встретил Крафт и стал было докладывать, но комендант чуть ли не оттолкнул своего заместителя.

— Идиот! — крикнул он и скрылся за дверью.

В Корсуне Боша не очень выручило то, что вся история с дедом Кнышем произошла в его отсутствие, все равно ему здорово нагорело. Да и могло ли быть иначе — бежал партизан, мало того — ранил полиция! И что это за порядки, если у арестованного после обыска остается оружие и, вместо того чтобы стрелять в него, стреляет он? Боша предупредили, что его дело еще будет рассмотрено, но непосредственных виновников надо сурово наказать. Он понимал, что ждет его самого, если подобное повторится, и еще по дороге решил навести порядок раз и навсегда.

Прежде всего он приказал привести Голубничего. Тот лежал в соседней комнате. Он потерял много крови и с трудом добрал до кабинета коменданта. Увидев его мертвенно-бледное лицо и то, как он пошатнулся, стоя перед начальником, Бош отказался от своего намерения наказать и полиция за преступную неосмотрительность. Бош даже предложил Гнату сесть, чего никогда раньше не делал, когда к нему заходили подчиненные, особенно из местных.

— Вот к чему приводит неосторожность! — воскликнул он.

— Господин комендант, да кто бы мог подумать, что у него...

— Безобразий! — процедил Бош, не давая Гнату закончить. Минутная растроганность, вызванная смертельной бледностью Гната, мгновенно исчезла, и розовощекое лицо коменданта налилось кровью. — Кто обыскаль?

— Не знаю, господин комендант, — солгал Гнат. — Я взял арестованного из сарая, часа через три после того как его поймали. — И словно нехотя добавил: — Вроде бы Дрозд обыскивал. Ну, и Брунер тоже...

— Ско-ти-на... — отчеканил комендант, нажимая на каждый слог. — Я с ними иначе поговорил... — Бош заметил, что Голубничий покачнулся на стуле, — тот действительно едва держался. — Крафт! — крикнул лейтенант и, когда тот вбежал в комнату, приказал: — Положить на кровать. А полиция Дрозда и рядового Брунера ко мне!

Оба провели прошлую ночь в сарае, и после бутылки, выпитой накануне, опохмелиться им было нечем. В голове гудело, а вид был такой, словно их всю ночь жевали.

— Ты дал пистолет партизану, негодяй! — Бош стукнул кулаком по столу, обращаясь к Митьку. — Он — простой дурак, немецкий зольдат, а ты — партизанский сволочь!

— Да что вы... — завопил в отчаянии Митько. Только теперь в голове у него прояснилось, и он понял, что пропал.

— Молчать! — Лейтенант второй раз стукнул кулаком по столу. — Расстрелять!

— Да я... Господин комендант... Как же так... — бормотал Дрозд. — Я Христом-богом...

— Вер! — приказал Бош, обращаясь к Крафту, и брезгливо взмахнул рукой, словно отбрасывал от себя Дрозда.

Крафт подскочил к побледневшему Митьку и дернул его за рукав.

Митько не шевельнулся, словно сразу окаменел, и стоял, беззвучно шевеля белыми губами. Крафт толкнул его к двери и вышел вслед за ним.

Брунер остался с глазу на глаз с комендантом. Он был также бледен, но уже понимал, что судьба Митька его миновала, хотя Бош и глядел на него так же, как перед этим на Дрозда, решая, как с ним поступить.

— Арест — пятнадцать суток, — наконец проговорил Бош. — Вон, дурак.

Брунер шелкнул каблуками и, четко повернувшись кругом, вышел.

Немного погодя, лежа на соломе в том сарае, где накануне лежал Кныш, он вспомнил о куче дров, которые видел во дворе у Федора Непорожного. Можно, несомненно, вернуть доверие коменданта, если рассказать о дровах, а главное, об их удивительном сходстве с теми, которые вез дед Кныш, когда его арестовали. Это сходство волновало Брунера, он старался разгадать, что за этим кроется, но, радуясь, что так легко отделался, не хотел еще раз попадаться на глаза ко-

ментапту и искушать судьбу. Ведь своевременно не предупредил, вы-
ходит, умолчал, а Бош подумает, что утаил.

И все же, когда к нему в сумерках наведался Шольц, Брунер не
выдержал.

— Послушай, Курт,— начал он, с жадностью поглощая жареное
мясо с хлебом, которое товарищ принес на ужин арестованному. —
А что, если сказать о тех дровах?

Шольц насторожился.

— О каких?

— О «каких!» — хмыкнул Брунер. — О тех, которыми твоя симпа-
тичная хозяйка топит печь, перед тем как лечь с тобой спать.

— Дурак!

Вот уже второй раз на протяжении суток его называют дураком!
И Брунера взорвало.

— Все вы умники, а может, от этих дров тянется ниточка, веду-
щая в лес,— сердито буркнул он. — Все вы очень умные, один я
дурак.

— Ты что, хочешь и меня запутать? — спросил Шольц.

Брунер поглядел на него, но в сарае было уже совсем темно, и
он ничего не увидел.

— А при чем тут ты?

— При том, что я в этой хате живу, и если что, то должен был
заметить раньше тебя,— отрезал Шольц.

Брунер понял. Ясно, проявив предусмотрительность, он бросит
тень на товарища. А они все же родом из одного города — земляки.

Ему и самому не хотелось встречать в новую канитель, и, уже
совсем смирившись, он улыбнулся:

— И это все?

— А что ж еще? — не понял Шольц.

Брунер громко рассмеялся.

— Будь у меня такая хорошенькая хозяйка, я бы тоже не спешил
ставить ее под удар.

— Вот я и не спешу,— сердито проворчал Курт, теперь уже под-
держивая такую версию и надеясь, что Брунер промолчит из сообра-
жений товарищества.

— Хо-хо! — вскочил на ноги Брунер. — Неплохо устроился! — Он
засунул в глотку последний кусок мяса и с набитым ртом сказал: —
Товарищ не должен подводить, но и делиться с товарищем тоже
иногда следует.

— Хорошо, поглядим,— недовольно пробормотал Шольц.

Он взял пустую тарелку из рук Брунера, наклонился, чтоб не
стукнуться головой о притолоку, и вышел.

На дворе уже совсем стемнело. Снег поскрипывал под сапогами.
Шольц шел к крыльцу, но на полдороге свернул — решил тарелку не
заносить. Размахнулся и в сердцах швырнул ее в воздух — раздался
свист, и Курт услышал, как она разбилась на улице.

Нет, здесь что-то есть. Брунер не такой дурак. Ведь и ребенку
ясно: и те дрова, что Кныш привез к Непорожним, и те, с которыми

его поймали, с одной вырубки. И все же не верилось, что Федор и Ксения, так хорошо относившиеся к нему, знали, откуда эти дрова, или были связаны с Кнышем. Не похоже, чтоб такие, как они, рисковали. Скорее всего дрова купленные. Конечно, в такое время и подобная неосторожность опасна, но это еще не значит, что за нее надо отвечать как за преступление, по законам военного времени.

И все же он решил присматриваться ко всему внимательнее. Когда живешь с людьми под одной крышей, надо знать, чем они дышат. Вдруг обронишь ненароком неосторожное слово и не успеешь оглянуться, как об этом узнают — если не партизаны, то лейтенант Бош!

Он подумал о своем дневнике: запер ли он чемодан? Шольц вел дневник, хоть и нерегулярно, но уже несколько лет — с того дня, как его мобилизовали. Ничего особенного не писал, но иногда фиксировал кое-какие свои мыслишки. Не говоря уже о том, что все можно истолковать на свой лад, особенно если хочешь причинить человеку неприятность, тем более что за последние месяцы он записал кое-что, чего лучше не доверять бумаге. Даже вчерашняя история с тщедушным старикашкой, который умудрился подстрелить молодого, здорового полиция, изложена в дневнике. Но разве сам факт подобного внимания к ошибкам немецкой комендатуры при желании нельзя истолковать как тенденциозное отношение немецкого солдата к тому, что происходит?

Озабоченный Шольц незаметно для себя зашагал быстрее. Еще издали он заметил в окнах тусклый свет, — значит, не спят. Войдя, как обычно, поздоровался и пошел в свою комнату. Дневник заперт в чемодане — все хорошо! Он несколько минут посидел на единственном стуле у стола, потом поднялся и вышел к хозяевам.

— Может, чайку согреть, господин ефрейтор? — спросила Ксения.

— Что-то не хочется... — буркнул Шольц. — Настроение плохое, пойду лягу!

— Что-нибудь случилось, господин ефрейтор? — осторожно спросила Ксения.

— Ничего особенного, но... на фронте осложнения. А ведь это не так далеко...

— Что вы говорите! — Ксения сделала вид, что встревожилась, даже голос у нее дрогнул.

— Не бойтесь, мы не отступим, — улыбнулся Шольц. — А впрочем, война есть война, все может быть.

— Что же будет с нами?

— А при чем здесь вы?

— Ну как же... — Она не нашлась что ответить и только прижала руки к груди, тем самым выражая свой страх.

— Тех, кто нам активно помогал, мы тут не оставим, — сказал немец. — А другим, я думаю, бояться нечего.

Ксения стояла, все еще не отнимая рук от груди, а Федор сидел на своей кровати и молча прислушивался.

— Но, я думаю, это еще по воде вилами писано,— улыбнулся он, словно успокаивая Ксеню. — Ведь господин ефрейтор не говорит, что он собирается отступить.

— Конечно, нет! — поддержал его немец. — Я только отвечаю на опасения госпожи Ксени. — Он круто повернулся к своей двери. — Спокойной ночи! — И скрылся в комнате.

Шольц прикрыл дверь, постоял у столика, сопоставляя свои вопросы с ответами Ксени и Федора. Развернул конфету и бросил в рот. Нет, Ксения и впрямь испугалась, услышав о возможном отступлении. Значит, все совсем не так, как порой ему кажется.

Шольц присел на край кровати и задумался. Перебрал в памяти все, что в разное время записывал о своей невесте. Боже, как давно это было! Он вынул из дерматинового планшета фотографию Эльзы. Посмотрел... Было... А будет ли снова?

27

Дрозда расстреляли в овраге за школьным садом, когда уже совсем стемнело. Брунер, припав к щели, видел, как его уводили, потом услышал выстрел, словно что-то треснуло, и треск этот раскатился эхом по околице. Знал — на этом кончились и его неприятности: с немецким солдатом Бош не посмеет вести себя так — солдаты теперь нужнее, чем когда-либо, и расстреливать их из-за какого-то паршивого партизана слишком большая роскошь. Но Брунер побаивался передовой — на это комендант мог пойти. Всю ночь он кутался в плохонькую шинель, ворочался на соломе, дрожал мелкой дрожью от холода и никак не мог заснуть.

Не спал в ту ночь и Тымиш Непорожный — думал о сыне. После истории с Голубничим он больше не сомневался — дрова дед Кныш привозил Федору неспроста. Не то время, чтоб подносить подарки, да и сам дед оказался не такой овечкой, чтоб задарма ублажать.

Но почему именно — Федору?! Он вроде бы из хаты лишний раз выйти боится, и характер не тот, чтоб рисковать вслепую... Да и из плена чудом выкарабкался, рука перебита... Не из тех он, кто рвется на виселицу или в школьный овраг вслед за Дроздом! Конечно, эта городская верхивостка могла такого сбить с панталыку. Ведь заставила же этого олуха первая жена простить дядину кровь, так почему же вторая не может затащить его в лес? Даже чудно было бы, коли б она своего не добилась. Приблуда, в Калитве никого не знает... А если у тебя специальное задание, в чужом селе без своего человека не обойтись. Вот и опутала Федора, вот и сбила, дурака, с пути!

Тымиш соскакивал с печи, в одном исподнем бегал по хате, потом, поостыв, садился на лавку и курил самосад. Глубоко затягивался едким зельем и, немного успокоясь, возвращался на печь. Но через минуту снова соскакивал на пол и вновь мерил хату босыми ногами.

Все говорило о причастности Федора к делам лесовиков Микиты Сиволапа. Вспомнились отношения сына с бывшим председателем

сельсовета Миколой Сомом, которого повесили, когда наведаясь из леса в село. А Сом — приятель Сиволапа — кто ж этого не знает! — только не такой хитрый да ловкий, как Сиволап. Сом только раз пробрался в село — его и схватили. А тот не дался бы. Он через неделю после оккупации, когда немцы уже просенвали людей через частое сито, не только жену успел выхватить у них из-под самого носа, а еще корову прирезал и мясо вывез в лес. Утром немцы кинулись его забирать, а на дворе только лужа крови да две пары коровьих копыт. Ну и записка соответствующая: так, мол, и так, встретимся еще, коли будем живы.

Мысли путались, перескакивали с одного на другое. И снова возвращались к тому, с чего началось. Федор дружил с Сомом. Сом — с Сиволапом. А приятель приятеля — свой человек. Так и снюхались с помощью городской дамочки, что явилась невесть откуда, разрази ее гром! Сам Федор в пекло не полез бы — побоялся...

Вспомнив о Ксене, он окончательно ожесточился. Кто такая? Откуда взялась? Почему деревенской жизни захотела, хотя по всему видать, что родилась и выросла в городе на своих паркетах и коврах, к глиняному полу не привычная. Да еще гордая — к свекру на поклон не пришла, хоть и ест его хлеб, почитай, уже больше года. Как-то еще летом Тымнш видел ее издали — проходил мимо сыновней хаты, заглянул через забор. Тоненькая, светлая коса закручена вокруг головы, мотыжила что-то за хатой и ручку тяпки держала как карандаш. Вроде бы и не сорвиголова, не из тех, что готовы в огонь кидаться да в горло вгрызаться за красные флаги, — девчонка, хоть уже и под тридцать.

Нет, не глиняный пол ей нужен: задание у нее. А тут как-никак война: кто, как Микола Сом, споткнулся, тот голову сложил, она и не дура, чтоб самой лишний раз рисковать. Вот и нашла увальня, может, затем и из плена спасла, чтоб чувствовал себя обязанным.

Тымнш едва дождался утра. А как рассвело, оделся и вышел во двор. Решил прежде всего сходить к Голубничему — вроде бы проведать раненого, а там, может, и расспросить — кто такая эта приبلуда. Полицией обязан знать, кто что собой представляет, чем дышит. Конечно, осторожность нужна, прямо не спросишь, а так, между прочим, вроде бы и не к делу.

Пошел было к калитке, но остановился. Рано еще — подумает, что не терпится, всю ночь только и ждал, чтоб скорее рассвело. Слишком поспешишь — вот и будет первая неосторожность, ведь сколько уже прошло, как она в селе, а раньше никогда не интересовался.

Голубничий встретил Непорожного не очень приветливо. Одетый, свесив на пол ноги в добротных сапогах, лежал на застланной постели и только чуть повел глазами в сторону гостя, когда тот поздоровался.

— Подстрелили, значит, идола... — сочувственно заговорил Тымнш, будто и не он первый вчера узнал об этом.

— Тебя не подстрелят... — буркнул Гнат.

— А при чем же тут я? — удивился Тymiш, почувствовав в словах полиция неприкрытую враждебность.

— А потому что ходишь оврагом, почитай, каждый день, а не остерегаешься и лесовиков не боишься. — Гнат повернулся к нему, и в глазах его мелькнула злость.

— Вот это да! — растерянно улыбнулся старик и почувствовал в коленях внезапную слабость. — Выходит, я виноват, что они в меня не попали? — Он опустился на скамью, не столько ошеломленный неблагодарностью спасенного им полиция, сколько бессовестным обвинением в том, в чем повинен не был. — Побойся бога, что ты говоришь! — взмолился Тymiш. — Ты бы кровью изшел там в овраге, коли б я не повстречался.

— Это другое дело, — раздраженно крикнул Гнат. — И нечего путать святое с грешным. Не ты б явился, кого другого черт принес бы! А подход бы, туда мне и дорога. — Он оперся на здоровую руку и сел. Лицо его сводило судорогой, оно перекаосилось от боли. — А вот ты небось ходишь чуть не каждый день мимо леса к своей куме и не бережешься... Еще и пропуск в кармане... Это знаешь...

— Чего ж им на меня нападать? — попробовал оправдаться Непорожний. — Не служу, ни во что такое не вмешиваюсь...

— А к полицияю зачем пришел? Разведать или посочувствовать? — Гнат резанул его взглядом, как бритвой. — Нет, брат, нос ты не зря суешь, а вот во что, пока сам не раскушу...

Тymiш растерянно поднялся и развел руками, не зная, что и сказать. Почувствовал, что над ним нависло что-то неожиданное и страшное, но не понимал, откуда оно взялось.

— А я, вишь, и бутылку прихватил — думал, проведая, выпьем по стопке... — растерянно пробормотал он, оправдываясь и упрекая одновременно. — А ты вон как...

— Я теперь с кем попало не пью, — отрезал Гнат. — Осторожный стал. Дед Кныш научил не всем подряд доверять. — И так, будто в хате никого, кроме него, не было, крикнул: — Мама! Где вы? Пора завтракать!

Мать не откликнулась — была где-то во дворе, а Тymiш понял, что надо уходить. С минуту потоптался на месте, пощупал бутылку, которую так и не успел вынуть из кармана, и поплелся к двери.

— Что ж, будь здоров. Бог тебя простит, — сердито произнес он, не дожидаясь ответа, нажал пальцами на щеколду.

И вдруг дверь дернули снаружи, и на пороге появилась Ксения.

От неожиданности Тymiш отшатнулся и дал ей пройти. Ксения тоже не ждала этой встречи, но удивления не выказала.

— Здравствуйте, — поздоровалась она скорее с Непорожним, чем с Гнатом. И, уже обращаясь к Голубничему, спросила: — Можно к вам? — Она стояла на пороге, держа в руке маленький узелок, аккуратно завернутый в белый платок, и улыбалась.

— Ну и денек у меня сегодня! — весело воскликнул Гнат и поднялся. — Все навещают и гостинцы несут, будто я именинник. . . .

Ксения перешагнула порог, а Тымиш, пораженный неожиданной встречей со снохой и сгорая от любопытства, должен был, однако, уйти, так и не поняв, что делает Ксения в этой хате.

Сперва он шел по улице совершенно сбитый с толку. Брел, как слепец, переставляя ноги, и ничего понять не мог. Распахнутый полушубок развеивался, словно накинутый на плечи, но холода старик не чувствовал. Он шел, не в силах ни на чем сосредоточиться, ошеломленный и раздраженный Голубничего, и его ни с чем не сообразными обвинениями, и таинственным появлением снохи. Все это не укладывалось в голове.

Но чем дальше он отходил от дома полиция, тем больше, казалось, трезвел. И все настойчивее спрашивал себя: чего она пришла? Не приятельница же и не кума? Нездешняя ведь она,— значит, как огня, должна бояться встречи с полицаем. А вот идет в хату, да еще с гостинцем, стало быть, посочувствовать. Не иначе как глаза замазать власти или замолить смертный грех. Выходит, есть на ней грех, есть от чего власти глаза отводить. А какой грех может быть у пришлого человека, да еще в такое время? Ясно, дровец этих как огня боится, и все, что он передумал о ней ночью,— истинная правда, и слава богу, что он это разгадал.

Но как ни злорадствовал, что раскусил сноху и собственными глазами убедился, что не ошибся, а смелость Ксени все-таки удивляла. Ох и штука! Знает, что след непременно приведет к ней, а из села не сбежала! И в хату к полицаяу идет, анафемская душа, не боится! И в нем шевельнулось что-то похожее на искреннее восхищение ее отчаянным поступком.

И вдруг Тымиш остановился: а знает ли обо всем Федор? Может, этот олух ни сном ни духом не ведает, что творится вокруг него, может, и не подозревает, в какую попал беду? Зайти бы сейчас, пока ее дома нет... Постоял минуту в нерешительности и поспешил к своему дому. Если запутался, то не признается, а если не ведает, то не поверит, потому что пентюх. Спасать его надо, а не уговаривать или переубеждать. Не дать пропасть дураку, раз сам не понимает, что над ним топор занесен. Никогда своей пользы не понимал и теперь не понимает. А ведь речь идет о пуле в затылок, а не о какой-то там мелочишке. Спасать его надо, спасать, а то пропадет ни за грош!

Тымиш решил, что сначала должен выследить, а уж потом решать, как поступить. Если уж разговаривать с Федором, надо точно что-то знать.

В тот же день, как стемнело, Тымиш пробрался задами в соседний с сыновним двор и засел в полусожженной хате, откуда все хорошо было видно. Сидел у стены, закутавшись в тулуп, чуть ли не до первых петухов.

А перед самым рассветом, когда улицу еще окутывал ночной морозный туманец и патрули, наснистая, побрели в комендатуру, во дворе у сына скрипнула калитка и на улице появилась Ксения. Огляделась вокруг, постояла, прижавшись спиной к калитке, чтоб случайно кто

не заметил, и, убедившись, что все тихо, быстро пошла за село. Тымиш не пошел следом, а наперерез огородам кинулся к лугу. И уже за селом, настороженно прижавшись к стволу, увидел, как она вынырнула из-за крайней хаты и пошла в сторону Корсуня — туда, где лесистый овраг вплотную подступал к дороге.

В следующую ночь через Калитву должен был пройти товарный поезд с людьми, которых вывозили из окрестных сел на работу в Германию. Голубничий узнал об этом еще накануне, когда, раненный, лежал в комендатуре: услышал, что и здешних девчат собираются загнать в одну из теплушек, — значит, поезд остановится и в Калитве. И хоть Гнат не без иронии отзывался о своих посетителях и их гостинцах, но на самом деле обрадовался, когда появилась Ксения. Сам он, раненный, выйти из дому не мог, а сообщить Сиволапу об эшелоне был обязан и, как только остался наедине с Ксенией, сказал ей об этом. Сказал еще, что на днях Сиволап отправляет человека в Запорожье, стало быть, можно передать весточку ее родителям, — и это ее, что и говорить, очень взволновало.

После ареста Кныша из села некого было послать в лес, кроме Федора или Ксени. Но Федору Голубничий еще не вполне доверял, а Ксения совсем плохо знала здешние места, — и это его беспокоило.

— Федор не подведет? — спросил Гнат.

— Думаю, нет, — ответила она. — Но идти все равно мне.

— Почему вам?

— В Запорожье мои родители, а не Федора.

— Так-то оно так, — понял ее Голубничий. — Но вот — найдете ли?

Ксения тоже побаивалась, но желание самой повидать посланца Сиволапа и передать что-нибудь отцу и матери победило.

— Не я их найду, так они меня. Неужели не заметят человека, который идет в лес?

Она была права. Конечно, дозорные Сиволапа днем и ночью на посту и не могут пропустить никого, кто переступит границу, за которой начинаются их владения.

Гнат вырвал листок из тетради и начертил точный маршрут. Заставил хорошенько присмотреться и запомнить все подъемы и повороты, потом проэкзаменовал и, убедившись, что она все запомнила, изорвал бумажку в мелкие клочки и бросил в печь.

Дома ей пришлось выдержать очень неприятный разговор. Услышав, что ночью Ксения пойдет в лес, Федор вспыхнул. Таким она увидела его впервые за полтора года.

— Вы что — сошли с ума? — гневно спросил он. — Я молчал, когда вы сказали о записке, которую надо передать Кнышу. Но одно дело передать, а совсем другое...

— В эшелоне наши советские люди! — крикнула Ксения. — С ними поедут и здешние, калитвинские, ваши бывшие ученики и земляки.

— И вы надеетесь помочь им тем, что загубите себя? — Федор то краснел, то бледнел, в глазах разгоралось искреннее возмущение.

— Так, по-вашему, не стоит и пытаться? — Ксения тоже была возмущена, но заставляла себя говорить спокойно.

— Я вам запрещаю, — отрезал Федор.

Ксения чуть заметно улыбнулась.

— Вы не можете мне запрещать. — И вдруг, потеряв контроль над собой, отвернулась и тихо проговорила: — Сами можете стоять в стороне, а мне запрещать не имеете права!

— Ну, это, знаете... Это уже бог знает что! — обиделся Федор.

Ксения поняла, что переборщила, и ей стало стыдно. Она подошла к нему вплотную, тронула за плечо и ласково, почти нежно сказала:

— Поймите, я не могу иначе. Если не сделаю то, что должна, совесть замучает меня. Ну согласитесь, бывают такие минуты, когда нельзя думать только о себе.

Она не хотела намекать, что думала так же, когда спасала его из плена. Но Федор принял ее слова за намек. Он ничего не ответил, отошел от окна и замер, глядя на запыленный снегом двор.

Ксения видела, что убедила его. Или по крайней мере заставила смириться. Так или иначе, но теперь он не будет возражать или задерживать ее. Хотела рассказать еще о человеке, который едет в Запорожье, — это могло окончательно обезоружить Федора, но вовремя спохватилась: зачем оправдывать личными интересами свое стремление сделать другим добро? Оставалось уладить еще одно дело, которое ее волновало.

— Вот что, Федор, — начала она. — На то время, что меня не будет, вам надо уйти из дому. И не только из дому, а вообще из Калитвы. Если со мной что случится и сюда придут... Вы же собирались ехать в Корсунь, поговорить о школе...

Федор не ответил, но понял, чего она требует.

На рассвете, когда Ксения тихо выскользнула за дверь, Федор уже не спал. Он лежал возле Оленки с открытыми глазами, и не шевельнулся — ни когда Ксения снимала с гвоздя пальто, перешитое из его шинели, ни когда щелкнул засов и на крыльце послышались ее глухие, осторожные шаги. Не окликнул, иначе пришлось бы прощаться, а это могло и ее напрасно встревожить, и его взволновать. А в опасный путь лучше идти спокойной, да и самому не время распускаться. Он так долго скрывал свое чувство, что самому себе было страшно признаться в том, что оно существует, а сейчас, когда все может решиться независимо от них, стоит ли начинать? В таких случаях лучше не знать, что оставляешь дома человека, который любит тебя. Да и этому человеку лучше подавить свое чувство и не знать, каков будет ответ. Федор лежал молча, делая вид, что спит, а перед глазами вставал вытоптаный скотиной колхозный двор, молодая, тоненькая, белокурая женщина, похожая на девочку, которая идет прямо к нему и, рыдая, падает ему на грудь. Он знал, что был тогда случайным избранником, и это делало ее поступок еще более значительным, преисполненным целомудренной и благородной чистоты.

Уже почти рассвело, когда скрипнула калитка. Это мог быть Шольц — он с вечера уехал и предупредил, что вернется только утром. И вдруг словно кольнуло в сердце: может, Ксения? Он вскочил с кровати и прижался к стеклу — у ворот маячила мужская фигура. Федор успокоился: немец вернулся, как и предупреждал. Не спеша он снова улегся, подоткнул рядно под худенькую Оленкину спинку и накрылся сам. Лежал спокойно, даже не прислушиваясь, уверенный, что сейчас войдет Шольц.

Но на пороге появился отец.

Удивленный, Федор приподнялся, оперся на локоть, не веря своим глазам.

— Что, не ждал? — Тымиш разглядел в потемках напряженное лицо сына. — А я вот шел по улице, дай, думаю, зайду.

— Раздевайтесь, — поднялся Федор. — Я сейчас копилку зажгу.

— А зачем? Ребенка потревожишь, жену разбудишь, — ответил старик, как бы невзначай. Нашупал лавку, снял тулуп и положил на нее. Потом отошел к печи и протянул руки над шестком, чтобы согреться. — Совсем прогорело.

— Так ведь с дровами теперь... Топим раз в день, — ответил Федор. Впотьмах нашупал штаны и рубашку, стал одеваться.

— А дрова что, Кныш привез? — усмехнулся старик, и хотя Федор не видел отцовского лица, но усмешку в голосе расслышал.

— Да разве их до весны хватит? — буркнул Федор.

— Твоя правда! Второй раз не привезет.

Отец посидел, помолчал, потом сказал:

— Зайду, думаю, со снохой познакомлюсь. Если поп не идет в монастырь, то пусть уж монастырь, думаю... — Он опять улыбнулся. — Сколько уже прошло, а время такое...

— Долго собирались, а пришли не ко времени, — виновато заметил сын.

— Что так? — удивился старик.

— В Корсунь уехала с нашим постояльцем. С вечера еще. — Федор сказал о постояльце и испугался: а вдруг Шольц вернется и зайдет, что тогда?

— Вот тебе и на! — воскликнул Тымиш. — Значит, мужа на хозяйстве оставила, а сама — по делам?

— Думаем просить, чтобы разрешили открыть школу, — сказал Федор. — Время идет, детишки растут, как трава. Когда-нибудь этот бурьян вырастет и нас осудит.

— Что ж, дело хорошее. А только я так прикидываю, по такому делу тебе бы сподручнее ехать, чем ей.

— Я сегодня тоже туда подамся. Место было одно — немец на мотоцикле ехал, вот я жену и устроил, — соврал Федор. — А сам как-нибудь доберусь, может, пешком, а может, кто по дороге и подберет.

Тымиш вскочил, словно неожиданно что-то надумал.

— А ты непременно сегодня двинешься или, может, отложишь? — спросил он.

— Как же откладывать! Жена ведь там ждать будет,— ответил Федор.

— Может, табаку привезешь? Я денег дам.

— Давайте, своих нет. Если достану, привезу.

— Так я вечером наведаюсь.— Тымнш пошарил в кармане, достал десять оккупационных марок и протянул сыну.

— Сегодня, может, и не вернусь,— сказал Федор.— Если только завтра зайдете...

— Ладно. Надеюсь, значит, на табачок.— Старик стал одеваться.— А приду, так уж заодно и со снохой познакомлюсь. Такое время!— Он подошел к двери, взялся за щеколду и на миг задержался:— А ты когда двинешься— с утра али погодя?

— Поем, Оленку накормлю да и тронусь,— ответил Федор.— Ксения там с вечера ждет, надо спешить.

— Ну, будь здоров!— Отец вышел.

Федор снова лег— теперь уже одетый. Окошки постепенно бледнели, в комнате становилось светлее. Лежал навзничь, подложив одну руку под голову. Другая, левая, еще немного ныла, особенно если поднимал ее высоко.

Он лежал и думал о том, что надо бы, конечно, из дому уйти— ведь и Ксене пообещал да и погибать теперь грешно, когда хоть одним лишь уголком, а приобщился к делу. Думал, притаится, пересидит с Оленкой у отца, пока вернется Ксения. Да ведь теперь не пойдешь, раз обещал привезти из Корсуня табачку. Разве что дотянуть до вечера— сейчас рано темнеет— и спрятаться в какой-нибудь брошенной хате— много их, пустых... Ночью можно и из села ускользнуть, если с Ксеной какая-нибудь беда приключится.

Федор вздрогнул. Об этом страшно было думать. Господи, что же это за мир, в котором только случай может спасти!

23

Весь день Тымнш сидел в хате, тупо уставившись в пол, или бессмысленно слонялся по двору. Не мог ни на чем сосредоточиться— ни на какой определенной мысли, ни на каком деле— и одну за другой свертывал толстые самокрутки, рассыпая табак по полу.

Порой, когда наступало болезненное прояснение, вскакивал с места и бегал по хате, беззвучно повторяя одно и то же: в глаза отцу глядел, а врал! В Корсунь, говорит, еще с вечера уехала! Значит, знает, куда подалась! Выходит, пропал. А единственный ведь сын, единственный!

Он понимал— днем Ксения из лесу не вернется, выходит, до вечера есть время. Старик снова и снова вскакивал, выбегал во двор, ловил себя на том, что не знает, куда бежит, и возвращался в хату. Сидел, тупо глядя в пол, и рассыпал табак. Он уже знал, как надо поступить, чтоб и сына неразумного уберечь и от себя отвести бессмысленные подозрения Гната,— но не спешил. Спаси! Спаси сына

и себя. Сына — пока не уличили в связях с лесовиками, и себя — пока не сомкнулось над головой то страшное и таинственное, о чем он шшном ни духом не ведал...

Шольц как раз находился у лейтенанта Боша — комендант вызвал его, чтобы намылить голову за поездку в соседнее село, — ефрейтор, вытянувшись, стоял у стола в ожидании нахлобучки и о чем-то докладывал. Вошедший дежурный шепнул что-то лейтенанту на ухо. Бош приказал: «Давайте его», а Шольцу бросил: «Подождите, сейчас я освобожусь».

И в ту же минуту в дверях появился пожилой человек и довольно спокойно сказал, что у него есть важное сообщение, но с одним условием — если комендант даст честное слово, что не заденет никого, кроме человека, о котором он расскажет.

Бош любезно поднялся из-за стола, пододвинул посетителю стул и вежливо объяснил, что каждый, кто хоть чем-то помогает немецкому командованию, может рассчитывать на полную лояльность, особенно если — как это произошло сейчас — человек пришел по собственному желанию и расскажет что-то важное.

Шольц стоял у стены, позади неожиданного посетителя, и не мог как следует рассмотреть его лицо, а оно почему-то показалось ему знакомым. Заметил только, как вдруг съежилась худощавая фигура, когда человек оказался у стола, как костлявая спина сгорбилась, а голова опустилась, словно шея глубоко вошла в поникшие плечи. Похоже было, что подчеркнутая любезность коменданта произвела на посетителя не столь уж приятное впечатление и человек на миг заколебался или даже пожалел, что пришел.

— Ну, что вы нам хотите сообщать? — спросил Бош, опуская в кресло грузное тело. — Я весь — внимание.

Это положило предел колебаниям или, может быть, внезапному раскаянию. Человек поглядел на дверь, на часового возле нее и, верно, понял, что теперь все равно уже ничего не изменишь — надо говорить.

— Я... по поводу партизанки... — пробормотал он.

— Слушаю, — кивнул Бош и взял карандаш.

— На рассвете она пошла в лес, сам видел.

— Фамилия? — перебил лейтенант Бош.

Человек помолчал, как бы припоминая, потом сказал:

— Стороженко... Ксения Стороженко.

— Прекрасно, — произнес комендант и старательно записал что-то на небольшом квадратном листочке, который лежал перед ним. Он всегда писал на аккуратных квадратных листочках — такая уж была у него привычка.

— Она ночью вернется в село, — продолжал человек. — Так что в овраге... Только вы мне обещали... — В голосе посетителя звучала мольба.

— О! Все, что обещал немецкий офицер, есть закон! — Лейтенант Бош положил карандаш на стол и доброжелательно улыбнулся. — Можете не волноваться.

Он встал. Посетитель тоже поднялся.

— Фельдфебель! — Бош повернулся к часовому. — Запишите фамилию этого уважаемого господина и сделайте все, что положено. — И, снова улыбнувшись посетителю полными, жирными губами, добавил: — Спасибо от имя немецкий командование. Можете идти домой и спокойно бай-бай.

После того как человек назвал фамилию Ксени, Шольц уже больше ничего не слышал. Волнение охватило его с такой силой, что прислушиваться к разговору он больше не мог. Он прекрасно знал, что означает приказ коменданта «сделайте все, что положено». Сейчас дежурный по комендатуре пошлет наряд на квартиру. То, что адрес не был назван, не имеет значения — кто где живет, в комендатуре знали отлично.

Шольц стоял ошеломленный. Он привык к Федору и Ксене, они никогда не вызывали у него подозрения. Выходит, они обманули его. Возможно, хорошие отношения, что установились между ним и хозяевами, были для них только ширмой, за которой они прятали свои преступные связи.

Но не только их судьба в эту минуту волновала Шольца. В боковушке, где он жил, под кроватью, в солдатском рюкзаке из телячьей шкуры, лежала толстая тетрадь — его дневник. Вздумай лейтенант Бош обвинить ефрейтора в притуплении бдительности, некоторые записи можно истолковать так, что не минуешь военного трибунала.

Скорее бежать на квартиру, спрятать дневник, пока в дом не ввалился наряд комендатуры! Но самовольно выйти из кабинета коменданта — об этом нечего было и думать. Тем временем лейтенант Бош не спешил дослушать его доклад: он толстыми пальцами перебирал какие-то бумаги в ящике стола, словно совсем забыл о Шольце. Правда, пока он не вспомнил и о том, что Шольц квартирует в доме женщины, о которой только что шла речь, но может вспомнить, как только заметит, что Шольц здесь. И ефрейтор Шольц стоял у стены ни жив ни мертв.

Лейтенант Бош еще немного покопался в ящике, потом с грохотом задвинул его и, заперев, опустил ключ в карман.

— Ага, вы еще здесь! Ну, что там у вас?

Шольц вздрогнул и вытянулся. Он не мог сразу вспомнить, на чем остановился, и забормотал нечто невразумительное. Лейтенант удивленно поглядел на него, но не сделал замечания, и Шольц с грехом пополам рассказал о том, что нужного количества муки достать в соседнем селе не удалось, но восемь мешков он все же привез.

— Что ж, с утра поедете еще раз, — нахмурился Бош. — И чтобы завтра к вечеру все было на месте.

— Слушаюсь, господин лейтенант! — щелкнул каблуками Шольц.

— Идите, — сказал Бош.

Шольц четко повернулся и пошел к двери. Когда он уже шагнул на порог, Бош остановил его.

— Послушайте, Шольц, а вы с ними там в селах не слишком цир-
лих-манирлих? Здесь фронт не проходил, так что муки у этих свиней
сколько угодно. Почему вы се не можете взять?

Шольц не знал, что ответить, но Бош и не ждал ответа.

— Идите! — буркнул он, и тот вышел.

Уже в коридоре стало ясно, что предупредить события не удалось.
Джурный кому-то докладывал по телефону, что на след отряда
Сивулапа все-таки напали — сейчас возьмут кое-кого и узнают обо
всем.

Шольц вышел во двор и медленно пошел к калитке. Чересчур спеш-
ить тоже было опасно, это могло удивить или заинтересовать кого-
либо из часовых.

За воротами фельдфебель Айзенбруннер надевал намордник на
пса по прозвищу Икар. Красивое, раскормленное животное, которого
превратили в зверя, как и тех, в чьем распоряжении оно было.

— Шольц, вы тоже т у д а? — поинтересовался фельдфебель.

— А что? — переспросил Курт. Ему не хотелось говорить, что он
идет на квартиру, где сейчас могло произойти нечто ужасное.

— Эти остолопы ушли, а Икара с собой не взяли!

Шольц молча взял поводок и пошел вдоль улицы.

Он старался ступать как можно тверже, но колени подгибались,
внутри все холодело от предчувствия беды, которая могла коснуться
и его: он боялся за себя, но к этому страху примешивалось и подсозна-
тельное беспокойство о хозяевах дома, хотя он и не должен думать
о них. Икар покорно шел рядом — Икар, который мог броситься и на
своих, если перед ним не было пленного или арестованного.

Из-за угла вышли три человека — двое солдат вели Федора Непо-
рожнего. Над переулком уже нависала темнота, но Шольц узнал и
Федора, и тех двоих, что шли сзади с автоматами наперевес.

Когда они приблизились, один из конвоиров, хихикнув, спро-
сил:

— Герр ефрейтор ничего не хочет сказать своему хозяину на про-
щание?

— Молчать! — гаркнул Шольц. — Ты с кем разговариваешь?

Он всегда прибегал к этому приему с нижними чинами, только бы
не прорвалось то, что действительно возмущало его. Нарочитая сол-
дафонская грубость всегда действовала безотказно.

Федор прошел, даже не взглянув на своего постояльца. И хорошо:
ибо чем можно было ответить на его взгляд? В темноте промелькнуло
удлиненное лицо арестованного, и показалось, что оно такое же, как
всегда, — равнодушное и чуть улыбающееся. Значит, Ксения еще не вер-
нулась — ее будут ждать в овраге...

На углу, у забора стоял солдат, еще один прислонился к калитке.
Третий маячил подальше, возле соседней хаты. Шольц вошел во двор
и направился к распахнутой двери. В сенях стоял Брунер — в комен-
датуре не хватало людей, и вместо пятнадцати суток ареста он про-
сидел только одни.

— Курт, где ж твоя краля? — спросил он тихо.

Шольц промолчал, и что-то похожее на радость шевельнулось у него в сердце. «Крала» — это Ксения, значит, она в самом деле не пришла из леса.

Курт вошел в хату — там дежурили еще двое. На кровати, забившись в самый уголок, всхлипывала Оленка. Она рванулась навстречу постояльцу, но тотчас отступила, словно поняла, что теперь он ей не поможет. Шольц отвел взгляд от девочки, смотреть на нее было тяжело. Заглянул в свою комнату — рюкзак лежал на месте.

Тут-то и влетел Брунер со своей сумасшедшей идеей.

— Послушайте, зачем нам ловить ее в степи? Пристрелим щенка, явится и сука! — предложил он.

И уже поднял автомат, но Шольц успел схватить его за руку. Оленка вскрикнула, хоть, верно, и не понимала всего, что здесь происходило, забилась еще глубже в уголок и закрылась подушками.

— Иди, — сказал Курт, — это сделаю я сам.

— А верно, эта честь принадлежит герру ефрейтору! — с комической торжественностью обратился Брунер к остальным. — Пошли! — И, уже стоя на пороге, добавил: — А все-таки, Курт, я был прав, что дрова появились тут неспроста!

Когда все трое вышли, Шольц выстрелил в лампу, потом еще дважды в потолок. К счастью, Оленка даже не вскрикнула и не заплакала, — может быть, потеряла сознание от страха. В комнате было совсем темно и только пахло дымом.

Шольц вышел во двор. Почему-то именно теперь он был совершенно спокоен.

— Курт, у тебя есть спички? — спросил Брунер, входя с улицы. — Я вернулся. Стреху, понимаешь, надо поджечь. — Он был уверен, что с ребенком покончено.

— Принеси канистру с бензином, — приказал Шольц.

— Есть, — ответил Брунер и пошел к калитке. Через минуту по улице затопали его тяжелые солдатские сапоги.

Шольц вбежал в свою комнатку, выволок из-под кровати рюкзак, снял с гвоздя шинель. Потом вернулся в большую комнату, подошел к кровати и взял на руки ребенка.

Оленка всхлипнула и прижалась к нему.

— Это я... Это я... — попробовал он успокоить ее, и девочка замолчала.

Он еще не знал, что делать, ясно было одно — отсюда надо немедленно уходить. И уже на улице его вдруг осенило: вокзал! Незаметно оставить на перроне — там всегда есть люди, кто-нибудь подберет, а узнав, чей ребенок, наверняка сведет к деду или у себя спрячет... Он перебежал улицу — на той стороне чернели развалины сожженного дома. Шольц вбежал во двор, бросил рюкзак возле обгоревшей стены. Прикрыл кирпичами и снова вышел на улицу.

До станции было километра два в сторону, противоположную коммандатуре. Шольц вышел за село и только в поле почувствовал, как весь дрожит и чуть не падает на дорогу от отчаяния и бессилия.

Пожар из леса увидел часовой, который стоял на гребне холма, но угадать на таком расстоянии, что именно горит в Калитве, не мог. Поэтому и не побежал докладывать Сиволапу. В селе всякий раз что-то загоралось — то от небрежно брошенного окурка, то от вслепую выпущенной сигнальной ракеты: немецкие патрули время от времени освещали ими село.

Только около полуночи прибежал Петро Бровченко и сказал, что Федора Непорожного вечером забрали, а хату вместе с ребенком сожгли: о том, что Оленки там не было, никто не знал.

Сиволап растерялся: как сказать Ксене? До возвращения в село ее поместили в землянке у девушек, и теперь она там отдыхала.

А сказать надо было, потому что вернуться в село она не могла. Но что сказать, Сиволап не знал, он колебался, тянул. В конце концов решил не будить ее, а ждать, пока явится сама.

Ксения проснулась среди ночи, когда пожар уже погас. Подошла к палатке командира и узнала, что Сиволап не спит.

— Вы, товарищ Стороженко, пока можете не спешить, — сказал Микита Харитонович, когда она вошла. — Побудьте денек с нами, а домой вернетесь следующей ночью.

— Почему? — удивилась Ксения.

— Как это почему? — Сиволап сделал вид, что рассердился. — Значит, есть причина, если я говорю. — И тотчас добавил: — Днем кое-что выяснится, а от этого зависит ваше задание в дальнейшем.

Ксения уже наклонилась, чтобы пролезть через отверстие, служившее дверью, но на миг задержалась и тихо произнесла:

— Ребенок ведь дома, да и Федор будет волноваться.

— Будет волноваться... — неуверенно повторил Сиволап. — Ничего не поделаешь.

Пока что ее беспокоило только то, что нельзя предупредить Федора. За неожиданной сухостью Сиволапа она не почувствовала скрытого волнения. Но, подойдя к землянке, Ксения услышала всхлипывания: кто-то плакал. Она спустилась в землянку. Любка Хворостяная, бывшая ученица Федора, бросилась ей на грудь и громко разрыдалась.

— Что с тобой? — удивилась Ксения.

Любка притихла. Ее поразило, что Ксения до сих пор ничего не знает. Но плечи девушки сразу же снова задрожали, и она разрыдалась еще громче.

— Да что с тобой? — Ксения тронула ее за плечо.

Девушка подняла заплаканное лицо. Освещенное копилкой, оно выражало растерянность и отчаяние.

— Вы еще ничего не знаете? — прошептала Любка.

У Ксени замерло сердце. Она мигом сопоставила все, что, казалось бы, не имело между собой никакой связи, — неожиданный приказ Сиволапа не возвращаться домой, его внезапную строгость, похожую на наивную попытку что-то скрыть, и то, как он отводил глаза, когда разговаривал с ней...

Она обеими руками обхватила голову девушки и тихо, но властно приказала:

— Ну что? Говори!

— Так это ж ваша сгорела... — прошептала Любка.

Ксения опустила руки, выскочила из землянки и стремглав взбежала на гору. Калитва лежала в низине. Отсюда она была видна почти вся — до самой Крутой балки. Никаких признаков недавнего пожара — ни пламени, ни дыма, ни даже тлеющих углей.

Обессиленная, она вернулась в землянку, поглядела на Любку, хотела спросить: «Откуда ты знаешь?», но во рту пересохло, и слова застряли в горле. В висках стучало, а перед глазами плыл туман. Какая разница, откуда Любка знает? Свершилось, раз говорит, раз дрожит голос и вся содрогается от рыданий... Ксения и раньше понимала, что в любую минуту все может раскрыться и нечего полагаться на милость врага... И вот свершилось, и никто уже не в силах помочь, всему конец...

Любка увидела, как Ксения пошатнулась и упала как подкошенная, — это произошло так внезапно, что девушка не успела ее подхватить.

Несколько дней после этого Ксения была сама не своя. Глаза погасли и ни на чем не могли остановиться, а сама она бессмысленно металась, порываясь неведомо куда. Любка не отходила от нее — так приказал Сиволап, да девушка и сама понимала, что Ксению нельзя оставлять ни на секунду. Несчастная женщина не вспоминала ни Федора, ни девочку, словно у нее совсем отшибло память, — и это было самое страшное. Хорошо еще, что отряд оставался на месте. Расправившись с Федором Непорожним, немцы словно успокоились.

Через день стало известно, что лейтенант Бош отправил часть своих солдат охранять станцию, а поезд с пленными в назначенное время не пройдет через Калитву, — верно, где-то нарочно задержали. Сиволап даже подумал: а не рассказал ли Федор перед смертью, что на поезд должны напасть? Но подозрение тотчас отпало — ведь никакой вины за Федором не было, а если бы сказал что-то нужное немцам, его могли и не расстрелять...

Спустя несколько дней Гнат Голубничий патрулировал за селом. Правда, рука висела еще на перевязи, но пришлось назначить его, полицаев не хватало.

Ночь была темная, дорога петляла то по оврагам, то по степным холмам. Как и положено полицаю, во время патрулирования винтовку он держал наперевес в здоровой руке. Вдруг за кустом что-то метнулось, и на дорогу выскочила женщина с ребенком.

— Стой! — приказал Гнат.

Женщина остановилась и прижала к себе ребенка. Она узнала Голубничего и опустилась на колени.

— Не убивай, Гнат, ребенка пожалей.

— Кто такая? — спросил полицай издали. — Откуда взялась?

— Не убивай... — только и твердила женщина. — Дитя пожалей.

Он приблизился и сразу узнал Оленку. Взял девочку за руку, а женщине приказал:

— Иди.

Та отошла, потом остановилась и снова повторила:

— Не бери, Гнат, греха на душу — не убивай.

Он не ответил, подождал, пока женщина скрылась, взял Оленку на руки и понес в отряд.

Увидев Оленку еще издали, Ксения тихо заплакала, и в глазах ее блеснула искорка сознания — впервые за два дня.

— Оленка... любушка моя,— шептала она, прижимая к груди худенькое, отошавшее тельце. — Я думала, что уже никогда тебя не увижу, родненькая моя...

Девочка рассказала мало. Помнила только, что стояла и плакала у какой-то стены, а какая-то тетенька подошла и погладила по головке, а потом сказала: «Пойдем со мной», и они пошли... О том, как забрали отца, она ничего не могла вспомнить, да Ксения и не расспрашивала — понимала, что его уже нет в живых.

А через несколько дней Гнат Голубничий стал свидетелем сцены, открывшей ему страшную тайну, — он узнал, что предал Федора Тымиш Непорожний — его родной отец.

Как-то, сидя на скамеечке под окнами комендатуры, Гнат услышал знакомый голос, долетавший из комнаты. Сам лейтенант, очевидно, сидел за столом, а человек, который к нему обращался, стоял ближе к окну. Во дворе было хорошо слышно все, что говорил человек.

— Я же вам поверил, господин комендант. Вы же обещали, что сына не тронете...

Должно быть, лейтенант Бош ответил что-то, но Гнат не услышал, что именно.

И вдруг человек завопил:

— Будьте вы прокляты! За кровь моего сына! И за то, что обманули меня, будьте прокляты все!

Послышался глухой удар, — верно, Бош стукнул кулаком по столу, — потом у окна появилась его осанистая фигура с разгоряченным мясистым лицом.

— Полициант! Прочь этого дурака!

Гнат остался на скамеечке, пораженный тем, что услышал, а солдаты, которые были в своем помещении наготове, бросились в кабинет. Через минуту они выволокли во двор Тымиша Непорожного, он был без шапки, в разодранном тулупе. Солдаты вытолкнули его на улицу, а один так наподдал сапогом, что старик зашатался.

Он прошел несколько шагов вдоль забора бывшей школы, остановился и повернулся лицом к Гнату:

— Вот так они и тебя отблагодарят. Кровью своей заплатишь, хоть и верно служишь, сукин сын. Кровью... — бормотал он.

— Проходи, проходи, пока жив, — погрозил полицай и взялся за винтовку.

Тымиш постоял еще минуту, но больше ничего не сказал и побрел по улице.

Гнат глядел ему вслед и не знал, что делать. Можно было выстрелить и тут же покончить с ним: старик проклинал немцев, и, если полицаи Голубничий пристрелит его на месте, не придется ни перед кем оправдываться.

И все же он заколебался и не нажал на спуск. Не знал, похвалит ли Сиволап за такой самосуд, да и никак не мог взять в толк, зачем старику понадобилось доносить и подставлять под пулю единственного сына.

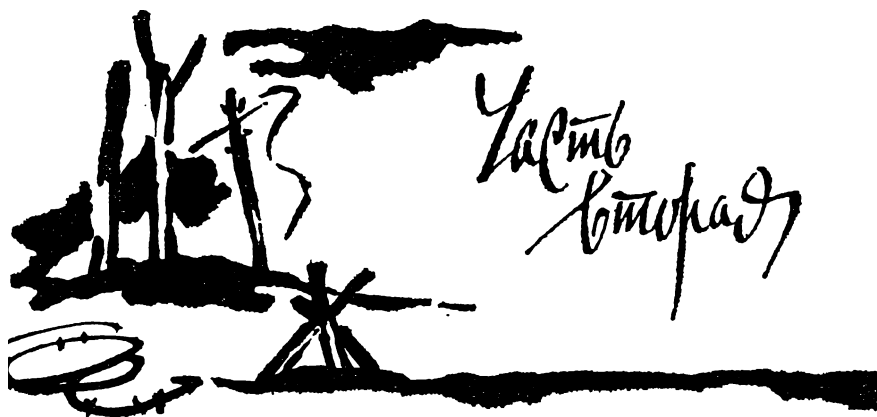
Потом Гнат жалел, но исправить свою ошибку уже не мог. Когда Сиволап узнал, кто повинен в смерти Федора, он выругался и сказал:

— Так чего же ты его, дурак, на месте не прикончил?

Голубничий только развел руками.

— Как знаешь, а чтобы старый каин землю больше не топтал! — приказал Микита Харитонович.

Но выполнить этот приказ было невозможно. В тот же день Тымиш скрылся из села, словно сквозь землю провалился.



1

Пополнение, прибывшее в полки, формировалось в большинстве своем в правобережных селах, недавно освобожденных от оккупантов. Но немало полностью укомплектованных, хорошо вооруженных рот и даже целых батальонов выгружалось на приднепровских станциях — были это коренастые, проворные и молодцеватые сибиряки. В ушанках, сбитых на затылок или надетых набекрень, они небольшими колоннами двигались по разъезженным грейдерным дорогам, и над ними плыли белые облака горячего воздуха, который выдыхали здоровые молодые легкие. Дубленые полушубки облегали мускулистые тела, на груди покачивались новенькие автоматы, а за спиной — набитые солдатские вещевые мешки.

Шумаков ехал в старой многострадальной эмке, глядел сквозь запотевшее стекло на свое войско и думал, что с такими солдатами можно бить врага. Те, кто отведал оккупационной каши, хорошо понимают, почему фунт соли, нахлебавшись горя и рвутся в бой, чтобы отомстить за все, что пережили. А сибиряки хоть и не обстрелянные и знающие о вражеской оккупации лишь из газетных корреспонденций, зато хорошо обучены и вымуштрованы в глубоком тылу, — значит, будут прекрасно дополнять своей армейской выучкой гнев мстителей, своих будущих боевых побратимов.

Эмка медленно продвигалась на север, колеса срывали тоненький слой мерзлого чернозема с припорошенного снежком грейдера и, оказавшись на сыром грунте, скользили и сползали в кювет. Когда машина нагоняла колонну бойцов, которую надо было объезжать, шофер нажимал на свой клаксон, чтобы не забуксовать и не встать окончательно, но бойцы, услышав его хриплый петушиный голосок и увидев позади себя лайбу с помятыми боками, не спешили расступиться: никому и в голову не приходило, что в такой машине может ехать сам

комдив. Водитель Покотило злился, он высовывал голову и что-то выкрикивал, но это не производило на сибиряков особого впечатления.

Декабрь был необычным: в воздухе висел тяжелый, сырой туман, иногда шел мокрый снежок и тут же превращался в тоскливый дождик. Порывистый ветер, налетавший с востока, из-за Днепра, неожиданно стихал, а через минуту так же порывисто налетал уже с запада.

Нога у Шумакова еще болела. Рана, хоть и покрылась тоненькой синеватой пленкой, все еще давала о себе знать тупой болью, когда машина, подпрыгивая, выскакивала из рытвин на сухое место. Во время перевязок Аня Хохол довольно кивала головой — все, мол, хорошо, пошла всего вторая неделя с момента ранения, а уже появился надежный слой свежего эпителия. Но Шумаков с отвращением отворачивался от раны — не мог смотреть на эту синеватую пленку, которую вырабатывала его собственная нога. Впрочем, он, конечно, радовался — рана заживает быстро, — значит, у него еще крепкий, здоровый организм, и хорошо он сделал, что не послушался докторов и не допустил эвакуации в тыловой госпиталь. Не хватало только накануне важных событий, участницей которых будет и его дивизия, оказаться в глубоком тылу и узнавать о том, что происходит, из скудных газетных сообщений!

Подумав об этом, Шумаков чуть заметно улыбнулся. Ах, как загрустил тогда и какую скорчил мину его начальник штаба Лемешко! Он уж было совсем собрался принимать дивизию, а раненый комдив неожиданно вошел в блиндаж и заявил, что в госпиталь не поедет! Да, это было для Лемешко горьким разочарованием. Увидав его постную физиономию, Шумаков так развеселился, что даже забыл о раненой ноге и чуть было не оперся на нее.

Покотило все время протирал запотевшее стекло и напряженно всматривался в дорогу. Он как раз объезжал очередную колонну сибиряков, неохотно расступавшихся при умоляющем писке его клаксона, когда мотор застучал. Водитель прислушался, опытное ухо сразу уловило неизбежность того, о чем предупреждал этот стук, но Покотило скорее обрадовался, чем опечалился.

— Что это? — озабоченно спросил комдив.

— Умирает наша тележка, товарищ полковник, — вздохнул шофер, но Шумаков ясно увидел затаенную улыбку на морщинистом лице водителя.

— Радуетесь? — улыбнулся Шумаков.

— А чего мне тужить, товарищ комдив. — Покотило отбросил свое неискреннее сожаление и рассмеялся: — Все там будем!

Мотор тарыхтел, но водитель не останавливал машину. Какой смысл лезть под капот, когда и без того ясно, что мотору конец.

Темнело, а до хутора, где временно разместился штаб дивизии, оставалось километров двадцать пять. Придется ехать, пока тянет мотор, хоть и со стуком, а верная эмка, как старая лошадь, дотащится до места, где ей суждено умереть.

Но вышло иначе. Минут через пять что-то пронзительно взвизгнуло, и машина разом остановилась, как будто водитель резко нажал на тормоз. Шумакова бросило вперед, он всем телом навалился на раненую погу и вскрикнул.

— Ой, простите,— взмолился Покотило, когда увидел, что лицо комдива перекосилось от острой боли.— Должно быть, поршень заклинило.

Оба некоторое время сидели молча и не спешили выходить из машины. Шумаков старался побороть боль, а водитель растерянно смотрел на него, ожидая приказа.

Наконец боль отпустила, Шумаков выпрямился и откинулся на спинку сиденья.

— Что будем делать? — обратился он к водителю.

— Придется подождать... может, кто проедет,— ответил тот.

— Придется... — вздохнул Шумаков и вдруг снова рассмеялся: — А все-таки ты своего добился!

— Да не добивался я, товарищ полковник,— обиделся Покотило, словно его заподозрили в том, что он все нарочно подстроил.— А только не к лицу командиру дивизии в такой лайбе ездить, когда у нас столько трофейных машин.

— Ну ладно.— Смех оборвался.— Выгляни, не едет ли кто.

Покотило нажал на замок и приоткрыл дверцу. Мелкий дождик снова превратился в мокрый снег, который хлестал прямо по лицу и слепил глаза. Окружающий простор потускнел, словно отгороженный матовой завесой, и трудно было различить — то ли в самом деле наступает вечер, то ли эти большие хлопья снега, кружась в воздухе, застилают от глаз поле и одинокие мокрые деревья.

Несколько минут Покотило молча всматривался в затянутую изморосью степь. Неподалеку в тумане что-то зашевелилось, и из-за снежной завесы вынырнули расплывчатые фигуры. Это были сибиряки, которых они только что обогнали,— не то, чего ждал водитель. Он высматривал машину, на которую можно пересесть, а тут была пехтура, способная лишь подтолкнуть эмку, которой это уже не могло помочь.

Через минуту голова колонны поравнялась с машиной. Впереди шел молоденький белокурый лейтенант — худощавый и высокий,— он казался мальчуганом, хоть и возвышался над всей колонной, как колокольня над низенькими домишками. Лейтенант равнодушно поглядел на эмку, на ее водителя и прошел было вперед, но оглянулся и увидал за лобовым стеклом полковника. Тогда он резко остановился, повернул назад и быстро подбежал к машине.

— Командир третьей батареи второго дивизиона пятьсот двадцать четвертого артиллерийского полка лейтенант Татаринов! — отрапортовал он, вытянувшись.

Шумаков взял костыль, который лежал рядом на сиденье, и медленно вышел из машины.

— Здравствуйте, лейтенант,— поздоровался комдив.— Куда направляетесь?

Теперь лейтенант вытянулся совсем по струнке:

— Батарея направляется в распоряжение отдела комплектования энской гвардейской армии.

— Ах, энской! — улыбнулся Шумаков. Его развеселило то, как докладывал юный конспиратор, в котором легко угадывался недавний тыловик: фронтные офицеры в разговорах друг с другом номера частей не скрывали.

— Командир вашей дивизии, — назвал себя Шумаков и протянул лейтенанту руку.

Бледное лицо молодого офицера вытянулось еще больше — не то от удивления, не то от испуга. Шумаков поинтересовался, где был последний привал батареи, потом спросил, далеко ли артиллерийские тыды. Лейтенант отвечал четко, отрубая фразы, как на параде. Выяснилось, что несколько машин его батареи с боеприпасами и кухней остались позади, на маленьком хуторе — вот-вот должны нагнать.

Четыре пушки и с десятков подвод, что остановились было на грейдере, теперь подтянулись и нагнали передних. Бойцы обступили эмку и с интересом прислушивались к разговору полковника с лейтенантом. Шумакова со всех сторон окружили молодые парни с живыми глазами на круглых раскрасневшихся крестьянских лицах. Комдив удовлетворенно обвел взглядом притихшую толпу и вдруг замер, не веря своим глазам: неподалеку, почти на целую голову выше всех, стоял Шмаков. Да, да, это он, сомнений не было, — тот, к кому в тридцать шестом в Чите убежала бывшая жена Шумакова Лариса Любарская и кто тогда же был тяжело и незаслуженно наказан в результате поспешного и необдуманного рапорта!

Шумаков почувствовал, что лоб у него покрылся обильной испариной, а тело ослабело и повисло на костыле, на который он опирался. Шмаков тоже внимательно глядел на него и, безусловно, тоже узнал, их взгляды скрестились, а лица окаменели.

Надо было взять себя в руки — отвернуться и сделать вид, что ничего не произошло. Лейтенант мог каждую секунду оглянуться, заметить, на кого так внимательно и взволнованно глядит комдив, а при случае и узнать у Шмакова об их прежних отношениях. Шумаков понимал, что этого нельзя допустить, что это и его, как командира дивизии, и Шмакова, как рядового бойца, может поставить в неловкое положение. Следовало во что бы то ни стало сдержаться, стать таким, как минуту назад.

Это продолжалось недолго, — вероятно, всего несколько секунд, но Шумакову они показались очень длинными. В конце концов он заставил себя отвернуться и снова заговорить с лейтенантом, который все еще стоял перед ним.

— Хорошо, — сказал Шумаков, и голос его прозвучал хрипло. — Можете двигаться дальше.

— Слушаю! — щелкнул каблуками лейтенант. — Может, вам помочь?

Шумаков не сразу сообразил, что лейтенант имеет в виду, и поднял на него удивленный взгляд.

— Чем?

— Ну, машину подтолкнуть...

— Ах, это... — Шумаков наконец понял, что ему предлагают. — Нет, спасибо. Машина совсем вышла из строя. Придется ждать вашу.

— Они вот-вот появятся, товарищ полковник, — то ли успокаивал, то ли утешал его лейтенант. — У них и трос найдется, чтобы взять на буксир.

— Хорошо.

— Разрешите идти?

— Идите.

Лейтенант козырнул и четко повернулся.

— Батарея, шагом марш! — скомандовал он и побежал вперед.

Колонна двинулась. Шумаков стоял, глядя вслед бойцам, но видел только чуть сутулую спину Шмакова. Эта сутулость особенно поражала: она никак не вязалась с обликом стройного молодого капитана, который сохранила память, с тех пор как они последний раз виделись в Чите. Правда, с того времени прошло более шести лет. И сейчас, стоя один на дороге, Шумаков был уверен, что дело не столько в пережитом, сколько в том мгновении, когда скрестились их взгляды. Что прочитал Шмаков в глазах своего бывшего друга — злорадное пренебрежение лейтенанта, который за время их разлуки стал полковником? Холодное равнодушие к капитану, умудрившемуся за это же время стать рядовым? Мстительное нежелание гордеца огласить свое знакомство с тем, кто причинил ему когда-то неприятности, а в конце концов попал под его начало и теперь у него в полной зависимости.

Может, лучше было подойти, протянуть руку, дать знать, что у него в дивизии есть старый друг, с которым когда-то ездили в отпуска к родителям на Смоленщину... Но что думал Шмаков о том, что произошло позже? А что, если бы он расценил теперешнее дружелюбие комдива как проявление милостивой снисходительности и оттолкнул при всех протянутую ему руку? Нет, верно, хорошо, что сдержался, не подошел, хотя на Шмакова это, должно быть, произвело гнетущее впечатление...

Шумаков постоял с минуту и заковылял к машине. Покотило заметил, что комдив чем-то расстроен, но истолковал это по-своему.

— Да, нелегко ребятам топтать по этим колдобинам. А кому теперь легко?

Шумаков не ответил. Бойцам — что и говорить — не легко, но труднее всех приходится Шмакову, который, верно, в эту минуту почувствовал себя более униженным и одиноким, чем когда его разжаловали.

Шумаков поудобнее устроился на сиденье мертвой эмки и приготовился ждать, пока появятся обещанные грузовые машины, — иного выхода не было.

Полуторка, которая наконец нагнала Шумакова и теперь подъезжала к безымянному хуторку, обозначенному на карте комдива красным карандашом, тархтела, дребезжала, но в отличие от брошенной эмки все-таки двигалась. Шумаков сидел в кабине рядом с пожилым лейтенантом, который приказал шоферу лезть в кузов, а сам сел за руль, чтобы освободить место комдиву.

Неожиданная встреча со Шмаковым не выходила из головы. Петр... Петя... Петька... Все эти «этапы» пройдены почти рядом. Шумаков вспоминал его компанейский, веселый характер, совместные поездки за город в выходные дни. Сколько прекрасного, молодого, невозвратного!

И вот — Шмаков здесь. Не только на участке его фронта или армии, а рядом, совсем рядом — в его дивизии. Конечно, с ним нетрудно будет связаться — Шумаков запомнил и номер дивизиона, и номер батареи, которые назвал лейтенант в своем рапорте. Надо бы записать, но привычка к постоянной смене подразделений и частей, которые Шумакову придавали и которые у него отбирали, выработала особую память на всевозможные названия и номера, и он был уверен, что номер батареи Шмакова не забудет.

Это должно было бы успокоить, но чувство неловкости не исчезало, тем более что виноватым во всем Шумаков считал только себя: вместо того чтобы тогда, в Чите, спокойно постучать к Шмакову и на прощание предупредить, что Лариса так поведет себя когда-нибудь и с ним, он пожаловался...

Лейтенант сбросил газ, и машина замедлила ход. Шумаков глянул вперед и различил расплывчатые очертания степной дороги, пересекавшей грейдер. Комдив достал из планшетки карту, расправил ее на коленях. Да, здесь надо свернуть направо: в овраге, где уже совсем темно, должен быть хуторок, в котором расположился его штаб.

— Направо,— проговорил Шумаков, и лейтенант кивнул в ответ. За все время он не проронил ни слова,— может, просто не смел заговорить первым, а комдив, поглощенный своими мыслями, ни о чем не спросил.

У поворота лейтенант затормозил.

— Разрешите, товарищ полковник, взглянуть на дорогу? — спросил он густым басом.

— Пожалуйста,— ответил комдив.

Лейтенант открыл дверцу, и Шумаков сразу услышал глухой грохот, которого не было слышно раньше из-за дребезжания старенькой полуторки. Он распахнул свою дверцу, прислушался. Да, это были разрывы снарядов довольно крупного калибра, и рвались они впереди, километрах в десяти — не более.

Это удивило Шумакова. Он знал обстановку на этом участке фронта: по его сведениям, части Красной Армии в районе Корсуня уже зажали вражеские войска с флангов, но передовая проходила еще

километрах в тридцати правее и левее грейдера, по которому они сейчас ехали. С такого расстояния вражеские снаряды не могли сюда долететь.

Шумаков достал из кармана фонарик и осветил на карту. Потом вышел из кабины и шагнул на обледенелый грейдер. Сомнений не было — впереди шел бой. Снаряды рвались часто, и порой разрывы сливались друг с другом так, что грохот превращался в сплошной глухой гул.

Значит, за истекший день обстановка на фронте изменилась. Одно из двух: либо немцы пошли в наступление, чтобы ликвидировать реальную угрозу окружения, либо советские части вклинились на флангах еще глубже и соединились с частями, которые стояли поперек этого грейдера, замкнув врага в сплошное кольцо.

Сердце забилося сильнее, по телу от легкого волнения разлилось одурманивающее тепло. Так бывало всегда, когда вдруг что-то неожиданно резко менялось, хотя кадровый командир, уже побывавший в Испании и третий год живший в атмосфере постоянных неожиданностей и внезапных перемен, мог бы привыкнуть к ним и особенно не реагировать. Он понимал это, сам себе удивлялся, всякий раз втайне злился на себя, но ничего поделать не мог. Сейчас он тоже рассердился, понимая, что сам виноват, и крикнул лейтенанту:

— Долго вы еще будете там волянить? Поехали! — Он резко повернулся к машине, и тотчас дала о себе знать острая боль в ноге. Схватившись за дверцу, он невольно взглянул на четырех бойцов, которые, перевесившись через правый борт, напряженно прислушивались к грохоту близкого боя, и в ту же минуту заметил два синих луча затемненных фар и услышал урчание мотора: от хуторка к грейдеру шла машина.

Лейтенант уже сидел в кабине, готовый нажать на стартер, и ждал, пока сядет комдив. Но полковник не садился: опершись на костыль, он пристально всматривался в темноту и следил за тем, как, приближаясь к дороге, подпрыгивают замаскированные лучи фар. На хуторе — штаб его дивизии, значит, машина могла принадлежать кому-то из его подчиненных или какой-либо резервной части, так что стоило подождать. Шумаков снова обозлился, и снова на себя самого: какое он имел право слоняться по степи на своей предательской эмке без надежного сопровождения штабной машины, на которую можно пересесть, если эмка подведет? Да еще в такое время, когда назревают или уже назрели события...

Он часто становился жертвой своего демократизма и интеллигентской мягкотелости и всегда ругал себя за это. Всю жизнь в армии, и надо бы уже усвоить, что положение командира дивизии обязывает отбросить некоторые сантименты и заботиться о себе немного больше, чем заботится он. В конце концов — это в интересах дела.

Синие лучики были совсем близко, когда внезапно мотор громко зарычал и стих. Послышался звук включенного стартера, мотор снова ожил, но колеса взвизгнули, машина забуксовала и не двигалась с места. Замелькали расплывчатые тени. Из машины выскочили люди

и стали ее подталкивать. Наконец она сдвинулась, те на ходу забрались в нее, и через несколько минут газик с разгона перевалил через кювет и выскочил на дорогу, чуть не налетев на полуторку. Кто-то в газике громко выругался, потом блеснул свет фонарика, и резкий луч ударил Шумакову прямо в лицо.

— Вы что, с ума сошли? — крикнул комдив. — Зачем освещаете?

Луч сразу погас, и от газика кто-то побежал к полковнику.

— Простите, товарищ комдив, — пролепетал подбежавший.

Это был начальник штаба дивизии подполковник Лемешко, теперь и комдив узнал его. Только этого человека не хватало, чтобы подчеркнуть беспомощность командира, который стоит на дороге и ждет, пока его кто-нибудь подвезет!

— Почему не выслали машину навстречу? — накинулся на него Шумаков. — Видите, что я своевременно не прибыл, могли бы догадаться, что с машиной что-то случилось.

— Простите, товарищ комдив, — бормотал Лемешко растерянно. — Решил поехать навстречу лично.

Это была ложь — Шумаков знал. Да и нелепо начальнику штаба ехать самому, когда даже Штукаренко нет на месте, а дивизию нельзя оставлять без командования ни на минуту.

— Ну ладно, — примирительно буркнул полковник. — Что там у нас происходит?

— Окружение вражеской группировки завершено, — понизил голос Лемешко. — Оба фронта встретились. В шесть ноль-ноль приказано и нам занять исходные позиции.

— Так, — проговорил Шумаков. — Резервный полк подтянулся?

— Все на местах. Артдивизион немного отстал, но к указанному времени подтянется. Штаб дивизиона уже прибыл — расположился вот там, за холмом, в лесочке. — Лемешко кивнул головой влево.

Теперь Шумаков понял, куда спешил подполковник, и ложь о трогательной заботе и встрече комдива стала еще явственнее. Но он ничего не сказал — сейчас было не до этого.

— Поезжайте в артдивизион, — приказал он и, опершись на костыль, пошел к полуторке.

— Разрешите сначала подвезти вас, товарищ комдив, — вытянулся Лемешко.

— Нет-нет, вам не стоит задерживаться, — ответил Шумаков. — Я доберусь на полуторке, а вы посмотрите, что там в артдивизионе.

— Слушаюсь, — козырнул Лемешко.

Полковник доковылял до полуторки и сел в кабину. Только теперь он вспомнил о лейтенанте, что ждал за рулем, и о четырех бойцах, которые стали невольными свидетелями его встречи с начальником штаба. Неприятно, что так вышло, не следовало выказывать свое раздражение при них.

— Поехали, — приказал он лейтенанту.

Полуторка обошла газик Лемешко и нырнула в кювет. В поле уже совсем стемнело, и сквозь узенькие щелочки затемнения фары освещали лишь клочок разъезженной колеи у самых колес. Подмерзшая

грязь расползалась под тяжестью машины; тонкий, хрупкий ледок, затянувший глубокие выбоины, трещал и проваливался, но машина все-таки ползла вперед. Хутор еще не был виден, но до него оставалось не больше двух километров. По обе стороны от машины черной стеной нависала сгустившаяся тьма, и лейтенант напряженно всматривался в нее, всем телом налегая на руль. Шумаков тоже уставился взглядом во тьму, нависшую за лобовым стеклом, но видел не больше лейтенанта. Прошла злость на себя, исчезло раздражение, которое всегда охватывало его при виде начальника штаба, комдив даже забыл о встрече со Шмаковым, взволнованный мыслями о том, что ожидает его следующей ночью. С продвижением частей на исходные позиции все в порядке — начальник штаба, безусловно, обо всем позаботился: в оперативных делах на него можно положиться. Странно — все в этом человеке неприятно, все вызывает раздражение, а придраться не к чему: может, причины своего раздражения надо искать не в нем, а в себе?

Это не было ни холодным умствованием, ни мелким копанием в своей душе: сердце билось чуть чаще обычного, тело было горячее, чем всегда, а в груди посасывало. Хотелось поскорее добраться до места, погрузиться в торжественные заботы наступающего боевого дня, склониться над штабной картой. А полуторка ползла, словно слепец, которого бросили одного в ночной степи; колеса расплескивали из колдобин жидкую грязь и на миг обнажали илистые днища луж, которые поблескивали и лоснились под узенькими лучиками света.

Хуторок возник неожиданно, как бы вынырнул из сплошной тьмы. В первую минуту Шумаков пожалел, что не спросил Лемешко, в каком доме разместился штаб и где ему искать свою временную квартиру. Но он опытным глазом сразу же распознал характерное движение на единственной улочке хуторка и, проехав несколько домов, приказал лейтенанту остановиться.

В ту же минуту у ворот вытянулся часовой, а из калитки выбежал лейтенант Сердюк, который стал адъютантом Шумакова после гибели Голобородько. Выскочил без шинели и шапки, словно шестое чувство подсказало ему, что прибыл командир.

— Вышлите машину с букспром,— приказал Шумаков, ответив на приветствие адъютанта.— Надо притащить мою эмку: она на грейдере, километров за двадцать.

— Есть! — шелкнул каблуками Сердюк и легонько взял под руку комдива, чтоб помочь ему идти: Шумаков заметно припадал на раненую ногу.

3

Штукаренко догнал дивизию на марше. Возвращаясь из Запорожья на машине, он по дороге заехал в штаб армии и, как только узнал, что его дивизия получила приказ занять исходные позиции раньше, чем предполагалось, пересел на армейский «кукурузник» и полетел.

Открытый самолет тархтел над самой землей. Иногда он не ожи-

данным рывком поднимался, словно подпрыгивал, чтобы не задеть колесами крону одинокого дерева или стожок. Полковнику все время казалось, что он мчится без седла на коне. «То есть нет — на кентавре», — подумал он и улыбнулся. Ветер пронизывал насквозь. Штукаренко в легонькой шинели совсем озяб, а ноги, которые нельзя было вытянуть почти целый час, затекли и, казалось, одеревенели навсегда.

Самолет приземлился у самого хутора. Штукаренко сошел на землю и чуть не упал — ноги не держали. Он с минуту топтался на месте возле неподвижного самолета, как футболист, который готовится выбежать на поле, потом зашагал на своих журавлиных ногах напрямик через огороды к крайней хате и сразу понял, что опоздал, — на хуторе уже никого не было.

С минуту он постоял на опустевшей улице, раздумывая, как быть дальше. На юге вспышки далеких разрывов окрашивали горизонт в блекло-розовый цвет. Полковник знал, противник еще с вечера начал наступление вдоль грейдера, стараясь вырваться из окружения как раз по той дороге, которая шла на стыке флангов двух дивизий, и ни грохот боя, ни сплошное зарево на белесом горизонте не удивляли его. Он также знал, что именно его дивизия должна оседлать эту дорогу и прикрыть слабое место, и волновало его только одно: не прорвутся ли немцы раньше, чем дивизия успеет подтянуться?

Вдруг на противоположном конце улицы затархтел мотоцикл. Штукаренко вышел на дорогу, чтоб перехватить его. Через минуту мотоцикл остановился рядом с ним, и полковник увидел ординарца командира дивизии Приходько, который сидел в коляске и держал на коленях знакомый чемодан Шумакова.

— Вернулись! — радостно воскликнул пожилой ординарец, узнав Штукаренко. — А мы уже снялись, на хуторе никого нет.

— А ну, перелезай, — приказал полковник, и Приходько мигом выскочил из коляски.

Штукаренко сел на его место, положил себе на колени чемодан и хлопнул костлявой пятерней по кожаному седлу.

— Садись!

На грейдере люди толпились, как на ярмарке. Колонны шли сплошной лавиной, и машины напрасно сигналили, чтобы пробиться вперед. Позади уже темнел длинный хвост пятитонок, которые не могли съехать с дороги на размытую пашню, а колонны шли и шли, не давая им двигаться дальше.

Полковник переждал, пока появился узенький просвет между двумя подразделениями пехоты, и вышел на середину.

— Правое плечо вперед, — гаркнул он. — Сойти с грейдера!

— Кто это там командует? — послышался высокий голос.

— Ко мне, бегом! — приказал Штукаренко тому, кто подал голос.

Колонна остановилась, но к Штукаренко никто не спешил. С минуту он ждал, чувствуя, как закипает в нем гнев, и наконец увидел у обочины коренастую фигуру — офицер в кожаной куртке с пистолетом в руке вразвалку шел к нему.

— Я приказал — бегом! — процедил сквозь зубы полковник.

Тот уже был близко и услышал. Он еще не догадывался, с кем имеет дело, но пошел быстрее, на ходу запихивая пистолет в кобуру.

— Слепли, что ли, не видите, что задерживаете колонну с боеприпасами? — спросил Штукаренко, не дождавшись, пока тот приблизится.

— А вы не догадываетесь, что мы идем туда же, куда и они? — вместо ответа спросил офицер. Он подошел и довольно бесцеремонно осветил фонариком погоны Штукаренко.

Полковник было уже замахнулся, чтобы выбить фонарик у него из рук, но сдержался. Человек, в конце концов, имел право знать, с кем разговаривает, хотя мог бы догадаться об этом без лишних слов и жестов. Тем временем подошедший успел разглядеть, что перед ним полковник, и вытянулся.

— Командир третьего батальона сто пятьдесят первого полка капитан Черемис! — доложил он. — Простите, товарищ полковник.

— Немедленно пропустите машины, — приказал Штукаренко, резко повернулся и пошел к мотоциклу.

Шумакова он увидел еще издали, небо уже начало сереть, и в воздухе висела тяжелая, удушливая мгла, и, хоть была глубокая ночь, все вокруг посветлело, контуры предметов стали отчетливее, яснее. Комдив стоял у газика, склонившись над картой, разостланной на капоте, и внимательно ее рассматривал, а командир полка майор Терещенко светил ему фонариком, заботливо прикрывая лучик ладонью. Здесь уже отчетливо был слышен стрекот пулеметных очередей и автоматов. Иногда их перекрывал внезапный гул артиллерийского налета, и, приглушенное расстоянием, тархтение таяло, чтобы вновь ожить, как только грохот стихнет. Далеко над грейдером вспыхивали одинокие ракеты, но свет сюда не достигал, и только маленькие яркие блестящие на небе очерчивали их путь к земле.

Когда мотоцикл остановился, Шумаков оторвал взгляд от карты и выпрямился. На его лице появилась чуть заметная улыбка, и он сказал:

— Наконец-то!

В этом негромком восклицании слышалась искрѐнная радость, но чувствовался и упрек.

Штукаренко и впрямь задержался в Запорожье немного дольше, чем предполагалось, но сейчас некогда было ни расспрашивать, ни объяснять, да Шумаков, собственно, и не требовал оправданий. Штукаренко был его заместителем по политчасти, но вместе с тем и самым близким в дивизии другом, их отношения исключали какое бы то ни было взаимное недоверие, и каждый из них не сомневался, что другой поступает так, как того требуют интересы войны.

Терещенко козырнул, а Шумаков пожал Штукаренко руку.

— Ну, вот мы и снова в исторических местах, — улыбнулся Шумаков. — После Запорожья — Корсунь: неплохо, господин ученый историк?

— Ты же знаешь — мне всегда везет! — ответил Штукаренко. Он уловил легкую иронию в своеобразном поздравлении комдива и счел за лучшее перейти к делам.

Шумаков взял его под руку и повел к газнику. Терещенко снова зажег фонарик, и они уже втроем склонились над картой. Зеленоватый лист километровки пестрел синими и красными значками, и опытный глаз Штукаренко сразу же уловил очертания вытянутого и неровного кольца, в котором оказались десять вражеских дивизий — пока еще, правда, на достаточно большой территории.

То, что видели глаза, радовало, но то, что подсказывало сознание, настораживало и омрачало эту радость. Приятно было, что после сталинградского котла враг снова попал в такое же пекло, но слабее всего кольцо именно на участке грейдера, где они теперь стояли, — это было слишком очевидно, и если враг чему-то научился в сталинградском котле, то мог вырваться из корсунского.

— Наш участок здесь? — Штукаренко ткнул пальцем в стык двух дивизий, на которые враг теперь нажимал.

— Нет, — возразил Шумаков. — Мы должны окопаться тут. — Он провел пальцем поперек грейдера, позади частей, на которые нажимал противник. — Немцы будут обескровлены, пробиваясь сквозь узкую щель, а если и продвинуется вперед, то за ними, возможно, удастся снова сомкнуться и отсечь от главных сил. Если же это не удастся, то они напорются на нас.

Что ж, подобная тактика была не лишена смысла. Впрочем, все зависело от того, как будет работать вражеская разведка: узнает ли она заранее, где именно расположена дивизия Шумакова? Окончательный разгром тех, кто сейчас наступает, возможен только в случае, если на свежие силы Шумакова они нарвутся совершенно неожиданно.

— Маскировка и еще раз маскировка, — сказал Штукаренко и отошел от машины. — Не приведи господь, чтобы с утра была летняя погода и их разведчики нащупали нашу ярмарку на дороге!

— Увы! Может случиться и так... — Шумаков вздохнул. — Твои любимые исторические места голы, как барабан.

— И все же Богдан Хмельницкий нашел, где тут спрятаться! — не удержался Штукаренко от исторической аналогии.

— К сожалению, эти места у нас перехватили кавалеристы, — рассмеялся Шумаков. — Их техника понежнее нашей, овраги и перелески пришлось уступить их клячам.

Штукаренко взглянул на небо — над головой клубились тучи, из них как раз посыпал реденький снежок.

— Остается уповать на бога... — Он вздохнул.

— И все же бог богом, а люди людьми. — Шумаков обратился к Терещенко: — Поезжайте к себе и как следует позаботьтесь о маскировке своих подразделений. Я не должен вас учить, как и что делать!

— Слушаюсь, — козырнул майор.

— А ты, Степан, съезди в триста двадцатый. Ладно?

— Идет, — ответил Штукаренко.

— Разрешите идти? — спросил Терещенко.

— До свидания. — Комдив протянул руку. — Я побываю в резервном, а потом и к вам заеду.

Когда майор скрылся, комдив взял Штукаренко под руку и отвел от гаика, в котором сидел водитель.

— Вот что, друг, — сказал он, когда они отошли настолько, что их не могли услышать, — лучше ты поезжай в резервный, а я в триста двадцатый.

— Почему так?

Вместо пояснений Шумаков вздохнул:

— Ох, как же я жалел вчера вечером, что тебя не было рядом!

— Что случилось? — заволновался замполит.

— Ничего особенного. Чего только не бывает на войне! — таинственно усмехнулся Шумаков. И, заметив, как и без того удлинненное лицо Штукаренко еще больше вытянулось, успокоил: — Не волнуйся: грешнику очень нужен был поп, вот и все.

— А все же? — настаивал Штукаренко.

— Сейчас не время.

— Ну, будь здоров, — кивнул замполит и направился к мотоциклу, который стоял в отдалении.

Шумаков молча кивнул, прощаясь. Он радовался, что сообразил и не поехал в резервный полк сейчас, ведь где-то там был Шмаков, а в такую минуту лучше быть подальше от места, где можно с ним встретиться...

4

Природа, видно, снизошла к упованиям Шумакова: как только рассвело, подул северный ветер и в воздухе закружился сухой снежок. В семь уже по-настоящему мело, а в поле началась такая выюга, что немцам нечего было и думать о полетах — особенно о разведывательных, которые только и могли их спасти. Лучшей погоды Шумакову и не требовалось — в такую пургу хоть и трудно войскам, зато можно окопаться, возвести временные укрепления, как можно лучше расположить артиллерию, не рискуя, что враг ее засечет.

Комдив приказал не строить ничего фундаментального ни для себя, ни для отделов своего штаба. В лесочке, рядом с грейдером, саперы обнаружили два обвалившихся старых капонира, немного углубили их, на скорую руку покрыли накатом из бревен и досок. В этих наспех построенных блиндажах и разместились: в большом — начальник штаба и узел связи, а в меньшем — комдив и его заместитель по политчасти. Остальные — кто как мог; понимали — стоять им тут не дольше чем до вечера, в крайнем случае — до завтрашнего утра.

Прошедшая ночь была трудной — из триста двадцатого Шумаков вернулся только на рассвете. Выслушал доклад подполковника Лемешко и лег на узенькие нары, сбитые из досок для него и замполита. Натруженная нога ныла, все тело гудело, налитое, точно свинцом, тяжелой усталостью.

Штукаренко еще не вернулся из резервного: полк, впервые прибывший на фронт из глубокого тыла, требовал особого внимания, и, чтобы навести в нем соответствующий порядок, нужно было время.

Приходько молча принес термос и остановился у входа — ни кружку, ни еду негде было поставить.

— Ставь сюда,— указал полковник на постель Штукаренко.

— Хоть бы плохонький столик сколотили, идола... — недовольно проворчал ординарец, имея в виду саперов, которые строили блиндаж. — Яму выкопали, будто хоронить собрались.

Шумаков промолчал — не было сил. Да и как убедить его, что на одну ночь ничего лучшего и не надо. Ординарец привык заботиться об удобствах комдива — стратегические соображения его не касались.

Через десять минут полковник уже лежал, укрытый шинелью. Под потолком, в небольшой нише, мигала коптилка. Разрывов, сотрясавших воздух наверху, почти не было слышно, но блиндаж всякий раз вздрагивал, и со стен, легонько шурша, осыпались комочки сырой глины,— казалось, что под ногами бегают мышь.

Шумаков закрыл глаза, и перед ним все поплыло. Неприятно,— словно сидишь в лодке и голова кружится от качки. Но он не открывал глаз — понимал, что вслед за этим укачиванием наступит сон. А выспаться необходимо — завтрашний день будет трудным и может начаться в любую минуту.

Но сон не приходил, комдив погружался в кратковременное забытие, похожее на обморок, и в воображении возникали картины и события прошедшего дня — только в какой-то фантастической непоследовательности. В ушах звенел тоненький, высокий голосок Ани Хохол. Накануне, проезжая мимо леса, он на полчаса заехал в дивизионный санбат, и она перевязывала ему раненую ногу. Женщина все время молчала, только лаконично отвечала на вопросы. Шумаков чувствовал осторожные прикосновения к больной ноге, и осторожность эта смахивала на нежность. Касание тонких пальцев волновало, и он не чувствовал боли, охваченный благодарностью, тоже похожей на нежность, к этой хрупкой и молчаливой женщине, которая совсем недавно спасла его. Прощаясь, Аня попросила Шумакова позаботиться, чтоб ее наконец оформили в штате санбата, потому что, с тех пор как на Днепрогэсе погиб ее муж, она хоть и оперировала все время раненых, но официального назначения не имела: в лучшем случае чувствовала себя гостьей. И сейчас, в полусне, Шумаков ясно услышал ее просьбу и даже почему-то подумал, что надо не забыть и завтра же обратиться в санитарное управление фронта и добиться, чтоб ее не только, как говорится, легализовали на войне, а обязательно оставили именно в его санбате. Как-никак, а ногу ему спасла она, и муж ее был одним из тех, без кого дивизия, может быть, не выполнила бы задания на Днепрогэсе и не спасла плотину.

Все это отчетливо пробивалось сквозь дремоту. Потом вдруг возник водитель Покотило, он стоял возле неподвижной эмки и чуть заметно улыбался в рыжие усы, словно втайне упрекал за то, что комдив оставил его на грейдере, а сам пересел на полуторку. Такое по-

ведение и впрямь напоминало предательство. Разве Покотило бросил бы своего комдива в поле, как бросил его комдив? И Шумаков во сне смущался и чувствовал себя неловко перед Покотило, он готов был признать, что его упорное нежелание пересесть на трофейный «опель» или «мерседес» на самом деле было проявлением самого обыкновенного эгоизма, потому что полковник все же пересел на случайную полтурку и уехал, а водитель остался в поле стеречь машину, которая давно уже пришла в негодность, о чем Покотило предупреждал десятки раз...

Комдив рванулся, словно чего-то испугавшись. С минуту бессмысленно всматривался в темноту, потом оперся на локоть и увидел Штукаренко.

— Чего вскочил? — спросил заместитель по политчасти. — Спи.

— Который час?

Штукаренко, одетый, сидел на своей постели. Он поднялся и поднес руку с часами к коптилке.

— Четверть четвертого.

— Ну, что там в резервном? — спросил полковник.

— Побанваюсь за них: необстрелянные, чистенькие...

Шумаков улыбнулся.

— Все такими были. Измажут полушубки в грязи, станут такими, как мы.

Штукаренко поглядел на него удивленно: неужто комдив не понимает, о чем речь? А может, еще не проснулся, вот и болтает бог весть что?

Он помолчал, потом сказал:

— Ты хотел со мной поговорить?

— О чем? — удивился комдив.

— Вот тебе и на! — Штукаренко громко рассмеялся. — Откуда же я знаю о чем?

Шумаков нахмурился и надолго замолк. И вдруг неожиданно для себя самого спросил:

— Помнишь наш разговор в санбате... ну... когда я лежал раненый... Две недели назад.

— Мы с тобой разговаривали не раз, — сказал Штукаренко. — Что ты имеешь в виду?

Отступить было некуда — комдив это понимал. Он медленно поднялся, набросил шинель на плечи и снова сел, касаясь коленями Штукаренко.

— Припоминаешь, как-то я рассказывал тебе... — начал Шумаков все еще нерешительно, — когда лежал в санбате... о своем бывшем приятеле, капитане...

— О том, кто вмешался в твои отношения с Мельпоменой? — Штукаренко сразу догадался, о ком речь.

— Ну, не столько с самой Мельпоменой, сколько с одной из ее легкомысленных служанок. — Комдиву пришлось принять шутливый тон своего заместителя.

— Короче говоря, речь идет о капитане, который отнял у тебя жену,— поставил Штукаренко точку над «і».

— Отнял — это звучит чересчур категорически,— буркнул Шумаков. Ему был неприятен легкомысленный тон Штукаренко, и он уже жалел, что начал этот разговор. — Его любовные порывы просто сошлись с моим отрезвлением и охлаждением,— недовольно проворчал он.

Штукаренко понял, что переборщил, и дружески положил руку на плечо Шумакова.

— Не сердись, я все помню,— произнес он уже серьезно. — А почему ты вдруг о нем вспомнил?

— Да так... Почему-то вспомнилось...

— Э, нет, раз начал, так уж выкладывай.

Комдив помолчал. Говорить действительно уже не хотелось, но оборвать разговор и этим обидеть товарища тоже было неловко.

Штукаренко заметил его колебания и продолжил сам:

— Как мне известно, тому бедняге отнятое сокровище тоже не пошло на пользу, а все-таки почему ты об этом вспомнил?

— Понимаешь, выяснилось, что он служит в нашей дивизии,— улыбнулся Шумаков чуть ли не виновато.

— Да ну? — всплеснул руками Штукаренко. — Выходит, земля круглая!

— Я увидел его в колонне бойцов, вспомнилась Чита, лейтенантская молодость... Расчувствовался. Все-таки это было счастливое время! — сказал Шумаков, погружаясь в воспоминания. — Конечно, и я, и он были совсем молодые, глупые, горячие. Оба натворили немало непоправимого. Но и самое приятное связано у меня с капитаном Шмаковым... Собственно, с бывшим капитаном, потому что теперь он рядовой солдат,— добавил Шумаков печально и, помолчав, продолжал: — Этому человеку я многим обязан. — Он мог бы сказать: «Перед этим человеком я очень виноват», но и это показалось ему лишним. — И мне бы хотелось что-нибудь для него сделать. Понимаешь, я команду дивизией, а он... Короче говоря, все могло быть и наоборот... Слепой случай — не больше. Я даже в Москву обращался, но ответа не получил.

— Я тебя понимаю,— тихо проговорил Штукаренко. — Но что можно сделать на войне? Прикрыть товарища собственным телом?

Комдиву показалось, что Штукаренко внутренне посмеивается над его излишней чувствительностью. Но тот не шутил, а действительно взвешивал, как поступить, чтобы это было не только поблажкой для приятеля командира дивизии, а послужило бы и общему делу. Он чувствовал: судьба этого неудачника по-настоящему интересует и беспокоит Шумакова, понимал и то, что комдив заботится не только о его внешнем благополучии, но и о восстановлении его человеческого достоинства.

— Говоришь, он был капитаном?

— Да.

— И членом партии?

— И членом партии.

— А что, если я заберу его к себе в политотдел? — предложил Штукаренко. — Это, конечно, ни от чего не гарантирует, но человек все-таки будет чувствовать себя... Как-никак, а бывший капитан.

Шумакова обрадовала такая идея, но он старался не показать этого и довольно равнодушно буркнул:

— Что ж, попробуй.

Штукаренко стал усаживаться на своей жесткой постели. Больше он ничего не сказал. Еще несколько минут комдив посидел, докуривая папиросу, потом тоже улегся. Но заснуть долго не удавалось, и хотя он лежал повернувшись спиной к товарищу, но знал, что и Штукаренко не спит.

5

Фронт советских войск, который с упорством и отчаянием на протяжении всей ночи таранили окруженные немецкие танки, уже наминал тоненькую пленку, готовую вот-вот прорваться, как вдруг наступление прекратилось и стрельба утихла. Это удивило всех, даже ошарашило. Неужели разведка окруженных частей работала так тщательно, что обнаружила за спиной почти прорванного советского фронта свежую дивизию Шумакова, готовую вступить в бой?

Первым проснулся Штукаренко, должно быть оттого, что блиндаж перестало трясти. Он вскочил и стал прислушиваться. В ту же минуту вскочил и комдив.

— Что случилось? — встревоженно спросил он, еще не совсем проснувшись.

— А черт его знает... — Штукаренко прислушивался к необычайной тишине, которая казалась ему подозрительной. — Как отрезало...

Они вышли из блиндажа. Штукаренко чуть не наскочил на Лемешко: начальник штаба прибежал с сообщением, но не решился сам будить комдива и уговаривал сделать это Приходько.

Он смутился, уверенный, что Шумаков слышал его разговор с ординарцем, но времени для переживаний не было, и начштаба, козырнув на ходу, доложил:

— Весьма срочно, товарищ комдив.

— Входите! — приказал Шумаков и первым вошел в блиндаж.

Выяснилось, что немецкая танковая колонна действительно снялась с места и повернула на запад. Там, левее грейдера, стараясь прорвать кольцо снаружи, спешила на выручку окруженным немецкая танковая дивизия. Лемешко развернул свою карту, и по многочисленным пометкам на ней Шумаков сразу прочел, что произошло. В этом месте танки противника уже находились ближе всего к котлу: те, кто прорывался изнутри, не могли не понять, что самая короткая дорога к своим — именно эта.

— Скверно, — сказал Штукаренко. — Если утопленнику протянуть руку, он из кожи вылезет, только бы до нее дотянуться. А расстояние тут такое, что можно и достать...

— Нам приказано немедленно передислоцироваться сюда. — Лемешко пододвинул карту к себе и провел пальцем поперек зеленатоватого пятна между двумя большими селами. Именно в этом месте расстояние между окруженными и теми, кто к ним прорывался, было короче всего.

— Пока мы выведем полки с нынешних рубежей,— усомнился Шумаков,— доберемся до места назначения и развернемся... Для такого маневра нужен целый день: можем и опоздать.

— А если не выводить и не разворачиваться? — спросил Лемешко.

— Что вы имеете в виду?

— Мы можем выиграть время, если просто повернем дивизию левым плечом вперед, в том порядке, в каком она стоит сейчас,— проговорил Лемешко.

Комдив сразу оценил выгоду такого предложения. Это означало, что все подразделения, не отступая в тыл, должны двигаться вдоль своих траншей прямо на запад и в той же последовательности, в какой они расположены сейчас, продвинуться на необходимое расстояние и занять новые позиции.

Умно. И все же, правда не очень настойчиво, Шумаков возразил:

— А вы подумали о том, что в данном случае у нас не будет ни одной дороги? — Он пододвинул карту поближе к себе и указал пальцем на большое пятно: — Овраги, где полно талого снега, холмы да балки...

— Все равно мы выиграем много времени, даже по бездорожью,— не отступал Лемешко.

— Да, расстояние и впрямь короткое... — согласился Шумаков.

Они вдвоем склонились над картой, разложенной на нарах Штукаренко, и молча изучали ее.

— Все это остроумно придумано,— отозвался Штукаренко из своего угла. — Не забывайте только, что на западном фланге у нас резервный полк. Если принять план начальника штаба, именно этот полк окажется в голове всей дивизии и может первым встретиться с противником. А полк только сформирован в глубоком тылу, люди необстрелянные.

Шумаков выпрямился:

— Лучше пусть врага встретит необстрелянный полк, чем не встретит никакой,— отрезал он, и это означало, что план подполковника Лемешко окончательно утвержден.

— Так-то оно так,— неохотно согласился Штукаренко и снова отошел в угол.

— Подготовьте соответствующий приказ,— обратился комдив к Лемешко.

Подполковник вытянулся и козырнул. Он, как всегда, четко повернулся и щелкнул каблуками, хотя здесь, в тесном блиндаже, скорее поожжем на яму, можно было обойтись и без этого.

Когда Лемешко вышел, Шумаков с минуту помолчал, потом улыбнулся:

— Странно, как иногда уживаются в одном человеке профессиональная смекалка и не менее профессиональный педантизм! — Он

имел в виду Лемешко.— Иногда я его просто не понимаю и едва сдерживаюсь, чтобы не обидеть, а иногда, как сейчас, завидую его умению находить самый практичный выход из положения!

— Человек — комбинация сложная.

— Удивительно! — все еще не мог успокоиться Шумаков.

— Но эта характеристика касается не только Лемешко, а и тебя! — Штукаренко громко рассмеялся.

— Ну хорошо, прекратим словесную баталию.— Комдив стал застегивать пуговицы на шинели.— А что до резервного полка, то для твоих опасений есть определенные основания. Впрочем, я верю, что отсутствие опыта иногда неплохо компенсируется хорошим настроением. Ты понимаешь, что я имею в виду?

Штукаренко понимал. Настроение бойцов — это была его забота. Застегнув шинель на все пуговицы, тонкий и долговязый, он стоял, почти подпирая головой потолок.

— Сейчас погону туда весь политотдел,— сказал он.

— Ну, весь не весь...

— Хорошо. Разберусь.

Они вместе вышли из блиндажа. На дворе уже рассвело. Ветер с мокрым снегом хлестал по лицу. Вокруг бушевала сырая метель.

— Тяжеленько придется сегодня,— проговорил Штукаренко, пряча в воротник небритый подбородок.

— И все же есть бог на небесах,— воскликнул Шумаков, взвешивая все преимущества этой выюги перед морозной ясностью зимнего дня, когда самолеты противника могли бы заметить передислокацию дивизии на новые позиции. Там, на западе, дивизия должна была явиться так же неожиданно, как тут, ибо только в этом и заключался весь смысл утвержденного им плана.

— Спятил твой бог...— Штукаренко на миг обернулся. Он шел впереди, и ветер не давал ему дышать.

Шумаков не ответил, только ниже наклонил голову.

6

Два вражеских танковых клина, нацеленных точно друг против друга, упорно и отчаянно долбили два наших участка фронта, расположенные вдоль грейдера и прижатые к нему тылами. Расстояние все сокращалось, и теперь немцев разделяло не больше десяти километров. В эфире все время звучали подбадривающие призывы на немецком языке: «Пробивайтесь навстречу, мы идем!» — и в голосах отчетливо слышалась уверенность. Это были голоса тех, кто наступал с запада: обесилевшие, они все-таки еще чувствовали за собой спасительный простор обеспеченного тыла, который снабжал их всем необходимым и мог прикрыть, если бы пришлось отступить и теперь. Но те, кого они старались приободрить, уже не имели тыла. Прижатые со всех сторон советскими войсками к украинскому городу Корсуню, они возлагали надежды уже только на словесные обещания да еще на благословенные транспортные самолеты, которые должны были

сбрасывать им контейнеры с горючим, продуктами и медикаментами — все, без чего нельзя было уже ни пробиваться из окружения, ни просто жить.

Но и небо было против них. Транспортные самолеты, которым удалось подняться в воздух со степных аэродромов, хотя и были защищены от нападения советских истребителей плохой видимостью, но зато груз свой сбрасывали вслепую. Не менее половины драгоценного груза попадало не туда, куда следует. Горючее и сухари, водка и колбаса, а главное — обоймы для автоматов и пулеметные ленты, сброшенные с неба, становились легкой добычей советских частей или, как считали немцы, «коварного местного населения». А между тем танки требовали горючего, орудия — снарядов, а их уже негде было взять, и ободряющие призывы, заполнившие эфир, становились единственной надеждой на спасение.

Дивизия Шумакова притаилась между двумя участками фронта, в которые постепенно вгрызались танковые клинья противника: с запада — более планомерно и уверенно, а с востока — нервно и порывисто, словно ощущая свою обреченность.

Это был отчаянный натиск — безумные броски зверя, попавшего в силки и старающегося во что бы то ни стало вырваться, даже если придется оставить в силках лапу. А навстречу спешил другой хищник той же породы, готовый перегрызть силки.

Грохот нарастал, усиливался, становился все более грозным. Оглушительнее всего гремело напротив позиций резервного полка, и Шумаков особенно прислушивался к тому, что происходило там. Справа тоже рвались снаряды, но это была только демонстрация с целью отвлечь внимание и приковать часть советских войск к центральному участку фронта.

И вдруг гром усилился и там — усилился так внезапно и стремительно, что перекрыл грохот на другом фланге, к которому уже привыкли. Шумаков выскочил из полуразрушенного сарая, в котором временно разместился, и сразу же увидел своего адъютанта Сердюка, который бежал от узла связи.

— Товарищ комдив, Терещенко на проводе! — крикнул он, вынырнув из снежной мглы.

Полк майора Терещенко стоял именно там, откуда катились тяжелые волны этого нового грохота, и Шумаков понял, что там произошло нечто неожиданное и тревожное. Он быстро вернулся в сарай, схватил шинель и побежал на узел связи. Там уже был подполковник Лемешко, он стоял спиной к выходу и держал трубку у уха, но молчал, — очевидно, слушал.

— Что там? Дайте! — Шумаков тронул его за плечо.

Тот обернулся и увидел комдива. Не дослушав, передал ему трубку, и Шумаков разобрал взволнованный голос Терещенко:

— ...никакая не демонстрация, — наоборот, попытка поставить нас в положение, в котором находятся сами.

— Я — двадцать шестой, — спокойно сказал комдив. — Что там у вас?

Терещенко на миг умолк, как видно не понимая, откуда взялся комдив, раз он только что разговаривал с начальником штаба, потом спохватился:

— Простите, товарищ двадцать шестой. У нас тут началась «свадьба».

— «Свадьба» или только «помолвка»? — переспросил Шумаков.

— Нет, нет, намерения у «жениха», как видно, совершенно серьезные, — быстро ответил майор. — Собирается умыкнуть «молодую», действует по-нашему.

— Вы готовы его встретить?

— Ждем приказа.

— И ждите, — приказал Шумаков. — Я еду к вам.

— Есть, — ответил майор, и комдив положил трубку.

С минуту Шумаков постоял, раздумывая. Потом повернулся к Лемешко.

— Каковы их намерения, как вы думаете? — спросил он, хотя прекрасно понимал, что удар нанесли с другого фланга и не окруженные немцы, а те, кто рвется их освободить и пытается окружить полк Терещенко.

— По-моему, дело ясное, — хмыкнул Лемешко.

— Если б было ясное, я б не спрашивал, — взорвался комдив, почему-то давая волю своей неприязни к начальнику штаба, хотя и понимал, что тот прав.

— Простите, — смутился Лемешко. — Я думаю...

— Ладно, — нетерпеливо перебил его Шумаков и пошел к двери.

В это мгновение начальник узла связи капитан Буркун негромко произнес, держа в руке трубку другого аппарата:

— Товарищ комдив, на проводе командующий.

Шумаков вернулся и взял трубку.

— Двадцать шестой слушает.

— Вы что, в Москву собираетесь? — неожиданно прохрипело в трубке. Шумаков не понял.

— Простите, товарищ первый, я не совсем...

— Передо мной лежит шифровка, — совершенно спокойно и даже доброжелательно продолжал командующий, и в тревожной атмосфере, которая царила вокруг, это звучало странно и темного издевательски. — Вот... «Согласно вашей просьбе... разрешаем...» И так далее... Вы что, ничего об этом не знаете?

— Знаю, товарищ первый. В свое время я просил... По личному делу... — пояснил Шумаков растерянно.

Только теперь он понял, что это ответ на телеграмму, посланную в военный отдел ЦК еще из санбата две недели назад. Все это сейчас было очень неуместно, пришло с таким запозданием и в такую неподходящую минуту, что комдив не знал, куда деваться от смущения и стыда. Как все это объяснить командующему? Перед военным отделом ЦК можно извиниться и сообщить, что необходимость в разговоре, о котором он просил, отпала. Но командующего не обойти...

— Странно, — хрипело в трубке. — Вы, кадровый офицер, должны

знать, что... ну ладно,— оборвал он сам себя,— сейчас не до этого. Надеюсь, вы в курсе того, что происходит западнее вас?

— Да, товарищ первый,— почти механически ответил Шумаков.

— А вы догадываетесь об их намерениях? — продолжал командующий.

— Догадываюсь.

— Значит, уточнять нет надобности.— Голос в трубке уже звучал тверже, хотя еще не набрал того властного и безапелляционного тона, к которому Шумаков привык, когда говорил с командующими армиями, в которые его дивизия входила раньше. — Вы понимаете, что мы не можем этого допустить. Итак, приказываю вам развернуть правое крыло и ждать в полной боевой готовности. Вам ясно, кого я имею в виду, когда говорю «правое крыло»?

— Ясно, товарищ первый.

— У меня все,— сказал командующий.— Желаю успеха.

— Спасибо! — Шумаков услышал, как на другом конце провода щелкнуло.

Комдив стоял у аппарата угнетенный, все еще держа трубку в руке. Он понимал: надо любой ценой немедленно успокоиться — этого требовали и общая обстановка, и то, что в блиндаже он был не один. Сейчас он не имел права думать о личном, да и не хотел, чтобы кто-то из присутствующих заметил, что у комдива не все ладно. Шумаков положил трубку и оглянулся. Позади до сих пор стоял Лемешко, на его выбритом и мясистом лице не дрогнул ни один мускул. Капитан Буркун склонился в углу над аппаратом и не интересовался ничем, кроме того, что шелестело у него в трубке. Но безусловно, Лемешко слышал каждое слово, сказанное командующему в ответ на его вопросы, и, хотя не мог знать самих вопросов, несомненно, старался догадаться о них.

Шумаков подошел к начальнику штаба.

— Так,— сказал он, заставляя себя сосредоточиться.— Все-таки вы правы — дело ясное. Хотят на окружение ответить окружением, и с их стороны это очень остроумно. Как вы думаете?

Лемешко пожал плечами и замаялся. Он не любил высказывать свое мнение прежде, чем выскажется командир дивизии. Шумаков это знал и не надеялся, что начальник штаба сейчас окажется более откровенным, чем обычно.

— Выходит, фактически мы занимаем круговую оборону в середине круговой обороны других частей армии,— сказал комдив.— Оригинально, не правда ли? Я в такой ситуации еще не бывал.

— Резервный полк уже повернулся фронтом на запад, товарищ комдив,— сообщил Лемешко.

— Итак, вы остаетесь на хозяйстве,— продолжал Шумаков, словно и не слышал сообщения о том, что знал без Лемешко: в резервном был Штукаренко, и поехал он туда именно для того, чтобы развернуть полк. — Я буду у Терещенко. А вы, пожалуйста, еще раз проверьте, как там с обороной у Костюка и с боеприпасами в артдивизионе. Но из штаба — ни на шаг!

— Есть, товарищ комдив,— щелкнул каблуками Лемешко.

— Ну, всего.— Шумаков ступил на раненую ногу и, только почувствовав острую боль, вспомнил, что забыл свою палку у аппарата. Боль пронзила его еще раз, когда он шагнул, чтобы взять палку, но, к счастью, Лемешко не заметил, как перекосилось его лицо,— подполковник уже повернулся по форме и открывал дверь.

Мгновение Шумаков постоял, потом медленно подошел к столу, на котором был аппарат связи со штабом армии, взял палку и тоже пошел к двери.

Вьюга не стихала. Сырой, липкий снег кружило, словно ввинчивало в землю. В беспокойном мраке едва виднелся темный газик. Возле него стоял лейтенант Сердюк, а за рулем сидел Покотило. Сердюк открыл железную дверцу и помог Шумакову залезть под брезентовый тент.

— Давай к Терещенко,— приказал комдив водителю.

Газик рванулся с места и сразу же прыгнул в глубокую колею, чуть-чуть припорошенную мокрым, слежавшимся снегом.

— Приволок эмку? — спросил полковник.

— Какой там, товарищ комдив,— ответил Покотило, не отрывая глаз от почти невидимой дороги. — Так бьет по грейдеру мигами, что едва сам проскочил.

— Значит, бросил?

— Да бьет же, идол, человеку пройти не дает...— оправдывался Покотило.

— А знаешь, что тебе полагается за то, что друга бросил в беде?— улыбнулся Шумаков.

— Друга...— хмыкнул водитель.— Это такой друг, что, как ни отремонтируй, все равно подведет...

— А все же — друг,— сказал полковник, понимая, что с эмкой покончено. Он и допекал-то своего верного водителя теперь в шутку и радовался, что шутит и не думает о разговоре с командующим на узле связи,— думать об этом теперь было и неуместно и тяжело.

7

События, которые произошли в ту ночь в Калитве, ошеломили Шольца. За два года пребывания на восточном фронте он не раз был свидетелем кровавых расправ над местными жителями, считал их чересчур жестокими и большей частью ненужными, всегда старался не принимать в них участия. Он не мог понять, зачем нужны такие расправы. А ведь ему не раз приходилось видеть, как расстреливали поголовно целые селения. И это, как думал Шольц, было особенно бессмысленно, ибо только усиливало отпор и вызывало озлобление. Да и вообще: можно ли требовать от людей, земля которых оккупирована, чтобы они ласково улыбались и радовались, что пришел враг? Ведь от «шприца» из отдела пропаганды, который иногда приезжал из Корсуня, чтобы накачать служащих комендатуры и впрыснуть им очередную дозу патриотической сыворотки, только и слышно было

о любви к родине и тому подобном. Так почему же, собственно, нельзя допустить, что такая любовь существует не только у немца? Честно говоря, об этом «шприц» тоже говорил не раз: на примерах удивительно легких побед в Европе он доказывал, что на столь высокие чувства, как любовь к родине, не способен никто, кроме немцев. Но в последнее время выяснилось, что землю свою умеют любить не только они, и это стало особенно ясно Шольцу за время службы в комендатуре. Сколько раз ему приходилось видеть русских, которые, шагая к виселице, пели свой гимн! Да и события на фронтах показывали, что далеко идущие обобщения кривоногого пропагандиста не имели под собой достаточных оснований.

Что же касается Федора Непорожного, то Шольц знал его лично и в случае необходимости мог за него поручиться. Прожил же он с ним столько времени под одной крышей, столько раз откровенно разговаривал, казалось, знал, чем дышит этот человек, и в искренности его не сомневался! Ксения — та вообще относилась к Шольцу приветливо, даже с нескрываемой симпатией, о ней и говорить нечего. А Федор — Шольц мог присягнуть на кресте — немцам никакого вреда не причинил. И вот — убили, сожгли дом, а ребенка хоть и удалось спасти, но такой ценой, какую Брунер или лейтенант Бош сочли бы тягчайшим преступлением.

Думая об этом, Курт Шольц невольно чувствовал, что его от сослуживцев отделяет нечто очень существенное. Да, он решился на недозволенное, совершил недопустимое, но почему-то не жалел о том, что так поступил. Понимал, что поступок этот фактически поставил его вне среды сослуживцев и друзей, но почему-то больше думал не о себе, а именно об этих людях, и приходил к выводу, что удивительное и даже страшное произошло не с ним, а с ними.

Дорога от станции шла по пустынному выгону. Шольц медленно перешел его напрямик и оказался напротив переулка, где дотлевало жилище Федора Непорожного. Он вспомнил о рюкзаке, который привалил камнем в соседнем дворе, но вдруг подумал о Ксене: не пришла ли она? Ведь могла вернуться. А Брунер или кто-то другой ждет близости... Это его очень встревожило, и Шольц бросился в переулок.

Пламя вспыхивало уже только изредка и ненадолго. Хата сгорела, и на пожарище дотлевала лишь куча углей. Шольц старался идти медленно, чтобы не привлекать внимания. Но стоило ему поравняться с толстенной старой осиной, как из-за ствола вынырнула фигура с автоматом наперевес.

— Хальт! — услышал он голос Брунера.

Шольц еще не успел ответить, как тот узнал его.

— Это ты, Курт? Чего шляешься так поздно?

— А куда деваться? — не сразу ответил Шольц. — Квартиры нет.

— Валяй в комендатуру. Там свободная койка. — Брунер перебросил автомат на плечо и вынул из кармана пачку сигарет: — Кури, дружище.

Шольц молча взял сигарету и щелкнул зажигалкой.

— Понимаешь, нет проклятой! — с досадой проговорил Брунер, давая понять, что речь идет о Ксене.

Шольц успокоился: раз не появилась до сих пор, значит, уже не появится и не попадет в когти Брунера.

— Хорошо, пойду спать, — сказал Курт.

Завернул за угол разрушенного дома, отодвинул камень и взял свой рюкзак. Брунер не обратил внимания ни на то, что ефрейтор зашел в соседний двор, ни на то, что он вышел оттуда со своими вещами.

— Спокойной ночи, — крикнул он вслед, и Шольц, не оборачиваясь, махнул в ответ рукой. — Я еще немного подожду, может, явится, — крикнул Брунер, но Курт, не ответив и на это, пошел по улице...

Фельдфебель Крафт резался в карты с одним из часовых, которому, как видно, надоело мерзнуть у калитки.

— Курт, садись и ты, — предложил он Шольцу.

— Пойду спать, — отказался тот и пошел по коридору бывшей школы к пустой комнате, где стояла свободная кровать.

Он уже успокоился, но сон не приходил. Низенькая солдатская койка впивалась железными ребрами в спину, словно была не застлана, промозглая стужа давно не топленного помещения проникала сквозь застегнутый на все пуговицы китель, но не спалось по другим причинам. Во мраке, заполнявшем комнату, беспорядочно толпились знакомые лица — то отцовское, с обвислыми усами и аккуратной бородкой, присыпанное мукой из его маленькой пекарни в Гамбурге, то мраморное личико Эльзы, обрамленное пышными белокурыми волосами, то еще какие-то полуприкрытые большими роговыми очками и торчащие на длинных шеях лица бывших школьных товарищей. Отец смотрел рассудительно, он все понимал. Эльза — наоборот — почему-то капризно оттопыривала губки и смотрела требовательно, словно ничего не хотела понимать. А крикливые и восторженные юнцы орали на футбольном поле, как бешеные, налетали на мяч и хором кричали «хайль», когда мяч попадал в ворота. В глазах отца и сейчас светилась чуть заметная улыбка, с которой он медленно проговорил, провояя Курта на восточный фронт: «Я уже побывал там и хорошо знаю: если хочешь, чтобы враг не попал в тебя, стреляй и ты выше его головы». Эльза тоже умоляла его быть осторожным, но считала, что эта осторожность заключается в умении выстрелить первым и не дать себя убить. Футболисты же не задумывались ни над чем — носились по стадиону и забивали мячи в ворота соперников, они молились на своего инструктора, почитали его чуть ли не богом, во всяком случае, единственным, кто может привить им черты настоящего рыцарства.

Шольц больше года не был в отпуске — теперь он уже с трудом представлял отца возле его маленького столика в крохотной конторе пекарни или личико Эльзы, которая полулежит на своей голубой тахте или, положив ногу на ногу, сидит в вагоне, где они случайно познакомились. Что касается футболистов, то напрягать воображение

не приходилось — таких точно он каждый день видел вокруг. Часть из них убита, остальные до сих пор убивают других. Если война будет продолжаться, погибнут и они. Ведь почти никто из них не стрелял выше головы в надежде, что тот, в кого они стреляют, сделает то же самое! Да и война кое в чем изменилась с тех пор, как воевал отец, и его простодушное напутствие звучит сейчас несколько наивно.

Шольц заснул только перед рассветом, а проснулся оттого, что возле кровати кто-то стоял. Он вскочил и увидел Гната Голубничего. Полицай смущенно улыбался, поддерживая здоровой рукой раненую.

— Простите, господин ефрейтор, — сказал Гнат. — На новую квартиру хочу вас определить.

Шольц еще с минуту лежал, опершись на локоть, и поднялся. Он что-то недовольно проворчал, — дескать, не дают выспаться. Потом застегнул воротник, достал из рюкзака кусок шинельного сукна и протер сапоги, чтобы блестели.

— Что же вы не разделись? Так не выспишься, — вздохнул полицай. — Фронт еще далеко, можно раздеваться: по тревоге не поднимут.

Курт поглядел на Голубничего — тот и впрямь улыбался, но улыбка была угодливая, даже льстивая. Шольц закинул за спину рюкзак, взял автомат и пошел по коридору.

Он не хотел вступать в разговор: только сейчас, увидав полицая, понял, что с прошлой ночи оказался от него еще дальше, чем от своих товарищей. От них, собственно говоря, и требовать что-либо трудно — для того пришли, чтобы чинить суд и расправу. А этот — изменник. Ведь его никто не заставлял — сам согласился. Пришел в комендатуру, как только она появилась в Калитве, и заявил:

— Вы победители, хочу быть вам полезен.

Но что заставило его так поступить? Враждебность к государственному строю, желание видеть свою страну другой?

Шольц остановился на углу, молча спрашивая Гната, куда идти дальше. Голубничий махнул рукой направо. Не дожидаясь, пока полицай догонит его, Курт круто повернул за угол и пошел по улице.

Нет, этот коренастый мужик не похож на политика. Предать своих односельчан его скорее заставила жажда отомстить кому-то или желание сытно и без забот пережить тяжелое время. Да еще и покинуться своей властью и близостью к новому начальству...

Когда Шольц был уже возле дома Тymiша Непорожнего, Гнат крикнул:

— Господин ефрейтор, пришли!

Курт остановился у калитки. Полицай бегом нагнал его, открыл калитку и первым вошел во двор. На двери висел замок. Гнат замахнулся прикладом и ударил по щеколде, но это не помогло.

— А хозяина нет? — спросил Шольц, не глядя на полицая.

— Явится, — предупредительно успокоил его Гнат и пошел к старому передку телеги, что стоял у сарая. Здоровой рукой вытащил железный шкворень, вернулся к двери, просунул железяку под зад-

вижку и дернул изо всей силы. Задвижка отлетела, и Голубничий чуть не упал.

— Тут безопасно. Хозяин — человек свой. Единственного сына не пожалел, чтобы выслужиться перед рейхом... — разглагольствовал Голубничий.

Только теперь Шольц понял, куда его привел полицай, и лицо ефрейтора передернулось от отвращения. Но выдать своих чувств он не мог и молча вошел в дом.

А Гнату только это и требовалось: у немца можно будет ненароком узнать, вернулся ли Тымнш, потому что специально выслеживать предателя и сложно, и опасно...

8

Среди ночи в хате зазвенели стекла, потом раздался глухой взрыв и вслед за ним все задрожало. Гнат вскочил с кровати и, не одеваясь, выбежал на крыльцо. Издалека, откуда-то со стороны Корсунского шоссе, доносился треск непрерывной перестрелки. Гнат стоял босиком на запорошенном снегом крыльце и только шевелил пальцами, обожженными морозом, но, поглощенный тем, что слышал, холода не чувствовал.

Пулеметы, как он понимал, били из леса. Они строчили длинными очередями, как бывает, когда тем, кто стреляет, хорошо видна цель, и они жарят вовсю, не жалея патронов. Очевидно, лесовики неожиданно застучали кого-то, и те беспорядочно отстреливаются, стараясь удрать.

Гнат не понимал, что это все могло означать. Лейтенант Бош всегда предупреждал подчиненных, когда через Калитву должна была пройти какая-либо воинская часть, а накануне ничего не сказал. Правда, Гнату, человеку местному, не всегда доверяли то, что немцам, но даже если что-то сообщали своим, ему чаще всего удавалось разузнать.

Выходит, и лейтенант Бош не ждал гостей. И вдруг — эта стрельба, по ней можно понять, что удар наносят по большой колонне: пулеметные очереди не только не смолкали, а, наоборот, усиливались, — а это значило, что колонна длинная.

Наконец Гнат почувствовал, что ноги совсем застыли. Он влетел в комнату и стал быстро одеваться.

Вскоре на улице появились первые грузовики. В это время как раз началась метель, брезентовые тенты на машинах залепило белым, и казалось, что грузовики нагружены сугробами. У ворот раздалась немецкая речь, а через минуту на пороге появился высоченный лейтенант.

— Вег, вег из дому! — крикнул он Гнату. — Здесь биль перевязочный пункт.

Голубничий попробовал объяснить, кто он такой, но на лейтенанта это не произвело никакого впечатления.

— Шнеллы! Вер!

Гнат позвал мать, которая с испугу забилась в угол, и повел ее к погребу, а когда вернулся в хату, чтоб забрать подушки, на кровати уже лежали двое раненых, а на лавке — третий. Их не успели еще забинтовать, на лицах были следы свежей крови, и Голубничий понял, что Сиволап и впрямь застал их врасплох.

В комендатуре уже никого нельзя было найти. Впрочем, в дом Гната и не пустили — даже когда он показал свое удостоверение. На школьном дворе происходило бог знает что — ревели и бужевали огромные машины, из них выгружали и вносили в помещение какие-то сундуки и пакеты. Вокруг шумели, ругались, у стен валялись брезенты, только что снятые с груженных кузовов. Гнат стоял в своем дубленом полушубке с винтовкой через плечо, но никто не обращал на него внимания. Все суетились, одни что-то волокли в дом, другие с руганью подталкивали машины... Несколько солдат стояли в стороне, из их разговора Гнат понял, что железная дорога перерезана — поезда через Калитву уже не идут. Это его обрадовало: значит, парней и девушек, запертых в пакгаузе на станции, в Германию не отправят!

Но, обрадовавшись, он сразу же заволновался: знает ли об этом Сиволап? Ксения для того и подалась в лес, чтобы передать, что эшелон где-то задержался! Мог же Микита Харитонович отправить людей, чтобы перехватили поезд, а те эшелон не встретили, да еще, чего доброго, нарвались на немцев!..

Гнат постоял, подумал, потом неторопливо, с безразличным видом пошел к калитке. И сразу же наткнулся на Шольца, который только что прибежал.

— Господин ефрейтор, наших никого нет! — крикнул Гнат почти прямо ему в лицо.

— Как так нет? — удивился Шольц.

— Правда, в дом меня не пустили...

— Меня пустят, — уверенно заявил Курт.

И тут Голубничего осенило:

— Жаль, что вы из квартиры ушли, могут занять.

— Хозяин предупредит, что у него на постое немецкий солдат, — кивнул тот и направился к дому.

Это Голубничий и надеялся услышать. Значит, старик Непорожный все же вернулся. Гнат уже несколько раз старался разузнать это у Шольца, но немец все время жаловался, что некому убрать в доме. Значит, до сих пор не было, а теперь вернулся!

Гнат шел по улице, прижимаясь к заборам, и размышлял: после истории с Кнышем он с лесовиками сам не встречался и о том, что происходит на фронте, знал мало. Правда, последнее время в комендатуре часто говорили о «выравнивании линии фронта» — этим-де, мол, и объясняется то, что приходится отступать. Всего лишь два дня назад лейтенант Бош собрал своих подчиненных и беседовал с ними именно по этому поводу. Голубничий тоже попросил разрешения присутствовать, и лейтенант милостиво разрешил послушать и ему. Вроде

бы и не дурак этот Бош, а объяснял по-глупому. Взял несколько канцелярских кнопок, беспорядочно наткал в стол, потом опоясал их шпагатом, вычертив длинную кривую. «Видите, фольксгеноссе,— провозгласил он,— это наш фронт теперь». Потом он снял бечевку, зацепил ее за две крайние кнопки и натянул: линия стала прямой и оказалась вдвое короче. Бош отхватил большой кусок шпагата ножами и торжественно проговорил: «Вот сколько мы сэкономим сил, если выровняем фронт! Ясно?» Брунер поднял руку: «Но тем самым мы укорачиваем фронт и большевикам!» — сказал он. Бош рассвирепел. «Большевики меня не интересуют!» — закричал он. Лицо у него стало свекольного цвета, и он достаточно прозрачно намекнул: «Что-то вы чересчур интересуетесь большевиками, Брунер!»

Там, у коменданта, Голубничий сидел в углу и только внутренне потешался, а здесь, на ночной улице, он уже многое понимал. Машины все прибывали и прибывали, дворы были уже забиты солдатней, у заборов всюду слышались громкие разговоры... Из них становилось ясно, что речь идет о катастрофическом отступлении, а не об укорачивании шпагата на комендантском столе. Напугали их, видать, так, что до сих пор не опомнятся.

На полиция никто и теперь не обращал внимания. Он шел с винтовкой через плечо и думал о том, что в такой суматохе мог бы совершенно спокойно явиться и Микита Сиволап со своими ребятами. Явиться, наделать шума и снова исчезнуть. Вот была бы комедия, если бы вдруг, ни с того ни с сего застрочить с четырех концов,— верно, немцы не знали бы, куда и деваться.

Но Сиволапа не было, и Гнату приходилось самому решать, что делать.

В переулке у хаты Непорожного никого не было. В этот край села немцы еще не сунулись. Полицей вошел во двор, взялся за щеколду — дверь изнутри была заперта. Гнат с размаху ударил по ней сапогом, и в ту же минуту в сенях послышался шорох.

— Чего запираешься? — спросил он, когда дверь открылась. — Порядка не знаешь?

Тымиш не ответил, только исподлобья глядел на полиция.

— Одевайся, пошли, — приказал Голубничий.

— Куда? — хрипло спросил старик.

— А чего ты испугался? — хохотнул полицей. — Греха на душе нет, значит, и бояться нечего.

— Пришел убивать, так убивай здесь! — Тымиш словно еще больше охрип.

— Вот чудак! — почти добродушно проговорил Гнат. — Да за что же мне тебя убивать?! Ты человек свой. — Он отстранил Тымиша и вошел в комнату. — Оружие есть?

— Есть, — ответил старик.

— Клади в карман, по дороге пригодится.

Это как будто успокоило старика, голос его сразу окреп.

— А оно при мне.

— Вот и хорошо,— сказал Гнат. — Одевайся, пошли.

Тымиш молча накинул тулуп и пошел к двери. Полицей последовал за ним.

В сенях старик остановился.

— Чистую рубаху брать?

— Зачем?

Непорожний запер дверь и пошел к калитке. Выйдя на улицу, он повернул налево, в сторону комендатуры, но Гнат бросил ему вдогонку:

— Нам не туда.

Тымиш на миг остановился, словно опять почувствовал недоброе. Но покорился и повернул. И тут Гнат, словно невзначай, спросил:

— А разрешение на оружие есть?

— Откуда ему взяться... — буркнул старик.

— Непорядок,— обеспокоился Голубничий.— По дороге патруль спросит, а разрешения нет... Так что лучше отдай мне, а когда понадобится, я верну.

Непорожний приподнял полу, собираясь достать оружие, но Гнат опередил:

— Не надо. Я сам.

Он засунул руку под тулуп и вытащил парабеллум. Привычно дунул в ствол, словно собираясь свистнуть, засунул пистолет за пазуху и подумал: «Не будь старик глуп, мог бы огреть кулаком, пока я шарил у него в кармане». Но Тымиш хоть и предчувствовал недоброе, но по-настоящему все же не догадывался, что будет. Он продолжал идти дальше молча, как приговоренный, которому все безразлично, не глядел даже на дорогу, по которой взад и вперед сновали легковушки и натужно гудящие грузовики.

На них и здесь никто не обращал внимания, хотя уже светало и из машин было видно, что идут двое штатских. Гнат не волновался — документ с гербовой печатью в кармане, а что полицей кого-то ведет — в этом не было ничего удивительного. Шли по Корсунской дороге; когда появлялись машины, сходили на раскисшую обочину, пережидали, пока они прогудят мимо, и шли дальше.

У Соленого яра Гнат заметил, что этот отрезок дороги машины обходят. Здесь, в долине, лес подступал почти к самому грейдеру, и полицей догадался, что именно тут Сиволап ночью встретил немцев. Увидав, что машины сворачивают на целину, понял это и Непорожний. Но полицей делал вид, что ничего не замечает, и, беззаботно болтая, стал спускаться. Старик лишь на миг замедлил шаг, покосился на Гната, но пошел дальше.

Внизу, возле разбитого деревянного мостика, валялись сожженные и опрокинутые машины. Видно, здесь Сиволап их и накрыл. Теперь вокруг не было ни единой живой души — немцы тщательно обходили это место, а партизаны, завершив свое дело, ушли в лес.

Гнат остановился.

— Сворачивай.

Тымшш тоже остановился. Внимательно поглядел на полицая. Хотел что-то сказать, но промолчал.

— Иди, иди. — Гнат легонько подтолкнул его в спину винтовкой.

Теперь старик уже понял все. Он круто повернул и пошел в лес, утуть ли не по колено проваливаясь в снег, смешанный с грязью.

9

В партизанском центре об отряде Микиты Сиволапа узнали сторуной: по некоторым данным стало известно, что поблизости от Калитвы кто-то действует, но много ли там людей и кто ими руководит, не знали. Как-то даже в немецкой газете появилась маленькая заметка, из которой можно было сделать вывод, что в районе Корсуня орудует «банда». После этого партизанский центр несколько раз пытался связаться с Сиволапом. Радисты особенно внимательно прослушивали этот район, а киевским подпольщикам даже дали задание разузнать. Но в эфире не было слышно голоса Калитвы, и киевляне не смогли толком ничего разведать.

Сиволапа тоже волновало, что он ни с кем не связан. В отряде был плохонький приемник, правда, сообщения Советского Информбюро удавалось принимать почти регулярно. Хотя с батареями было очень трудно, но иногда все же удавалось их достать. А вот передатчика не было, да если бы он и был, все равно партизаны не знали ни позывных, ни шифров. Именно поэтому Сиволап решил воспользоваться первым удобным случаем и отправить связного в какой-нибудь большой город — там, он думал, легче будет связаться с подпольщиками, чем разыскивать своих по лесам, — и, как только представилась возможность, послал человека в Запорожье.

Но хоть мир мало что знал об отряде Сиволапа, сам Сиволап внимательно прислушивался к хриплому голосу своего плохонького приемника и отлично знал, что происходит вокруг. Карта его пестрела красными и синими пометками, как у настоящего начальника штаба военной части, и в сравнении с картами штабов регулярной армии серьезных ошибок в обозначении линии фронта на ней не было. Особенно внимательно относился Сиволап к участку фронта, который интересовал его больше всего: то есть к той местности, где действовал отряд. Здесь на его карте линия фронта была нанесена почти точно. И хотя он сам был всего лишь председателем колхоза, а не ученым стратегом, но, глядя на вытянутый, напоминавший язык, кусок знаковой территории вокруг Корсуня, который в феврале сорок третьего еще оставался в руках противника, Сиволап понимал, что поблизости назревают немаловажные события. Здесь фланги у немцев были на больших отрезках оголены, и, с точки зрения Сиволапа, только дурак мог не понять, что срезать такой язык у самого основания не столь уж трудная задача, особенно если одновременно ударить с двух противоположных концов, имея в своем распоряжении достаточно сил. Удивляло Сиволапа одно: неужели немцы этого не понимают?! Они

ведь в сорок первом использовали каждую такую ситуацию, а потом в сорок третьем не раз сами попадали в западню! Удивлялся, но знал, что иногда и самый горький опыт мало чему учит. И по мере того как кольцо вокруг немецких войск все сильнее сжималось, Микита Харитонович все с большим нетерпением ждал дня, когда и здесь, возле скалистых берегов Роси, повторится то, что произошло под Сталинградом.

Отряд у него был небольшой — двадцать два парня и шесть девчат. Правда, вооружены они были хорошо и патронов хватало. Еще в сорок первом, во время отступления, во многих местах закопали винтовки и пулеметы, да и у немцев порой удавалось кое-что раздобыть, так что и автоматы были почти у всех.

А жилось отряду нелегко. Вначале, пока могли держаться поблизости от Крутоярского лесничества, у них были и крыша над головой, и колодец, и даже несколько голов скота. Все это сохранилось еще с довоенного времени и отлично служило партизанам. Но зимой сорок второго пришлось покинуть благодатные места: после того как отряд попробовал напасть на продовольственный склад, размещившийся в Безрадычах — километрах в двадцати от Калитвы, — немцы послали на лесничество самолеты и разбомбили все до основания. Пришлось искать новые места в глубине лесного массива.

Сюда уже немцы не совались. И все же после каждой операции Сиволап приказывал сниматься и переносить шалаши. В основном это делалось из соображений тактических. Но случалось и так, что отряд оказывался слишком далеко от окрестных сел, и тогда возникали трудности с продовольствием, усложнялась связь с людьми, которые выполняли задания отряда в селах. Особенно трудной оказалась зима сорок второго года — в отряде тяжело заболели четверо бойцов, а врача не было. Тогда-то и погиб Микола Сом — бывший председатель Калитвинского сельсовета: он пошел в село, чтобы через Голубничего разузнать у немецкого фельдшера, что это за болезнь и как ее лечить, а вместе с тем и разжиться нужными лекарствами, но наткнулся на немецкий патруль. Погиб он, и умерли двое больных: отряд потерял сразу трех бойцов.

Сиволап целый месяц не находил себе места. С тех пор он решил для себя раз навсегда: по-глупому не рисковать людьми — и ради них самих, и в интересах дела.

На операции, в которых он был не уверен, Сиволап бойцов не посылал. Храбрый, иногда суровый, он всегда повторял приказку о синице, попавшей в руки, и журавле, что летает в небе. Конечно, война есть война — на ней приходится рисковать. Но когда воюешь с коварным врагом, его надо уничтожать всеми доступными средствами, и тут честный поединок не годится — надо драться с каина десять шкур, а свою не подставлять. Тут хороши все средства — и граната в звериное логово, когда зверь спит, и даже яд в колодец, если уверен, что воду из него берет только враг. А главное — не отдать ни одного своего даже за сотню захватчиков, а в такое дело, где есть хоть малейший риск потерять кого-то, лучше не вступать вовсе.

Предателей Сиволап всегда считал во сто крат большими мерзавцами, чем прямых врагов. Голубничему он так и приказал: приклей на дверях комендатуры плакат и черным по белому напиши: фашистов будем расстреливать, а полицаев вешать за ноги.

Что за полицай Голубничий, в отряде было известно не всем. Знал, конечно, сам Сиволап, бывший сержант Гонтарь, который был в отряде за начальника штаба, и еще трое парней из Калитвы, которых посылали к старой вербе за записочками Гната. Но Гнат был уверен: если он и встретит кого-либо другого из отряда, они все равно убивать не станут — будут рады угодить Миките Харитоновичу и приветствовать на расправу живого полицай. Поэтому он спокойно шел с Тымишем Непорожним: кто бы в лесу ни встретил их, до Сиволапа они дойдут живыми.

Так и случилось: как только миновали развалины Крутоярского лесничества и снова углубились в лес, из-за деревьев сразу выскочили двое:

— Стой! Бросай оружие!

Гнат бросил винтовку на снег. Когда те приблизились, пригляделся: оба незнакомые. Видно, из бывших пленных, о которых он слышал от деда Кныша. Когда вязали руки, Гнат перехватил нечто похожее на злорадную усмешку на лице Тымиша: ага, как бы говорила она, привел на собственную гибель. Но Гнат улыбнулся в ответ, и это разочаровало Непорожного.

Партизаны подтолкнули обоих в спину и приказали идти, но глаз не завязали. Это означало, что обратного пути не будет — там в лесу и окочурятся, так что таиться нечего. Это отметили оба — и Гнат, и Тымиш, но отнеслись к этому по-разному. Непорожный поглядел на обоих конвоиров и подумал о своем добротном тулупе: на этих двух тесноват, — значит, перепадет кому-то другому.

Они все дальше уходили в глубь грабового леса, поросшего молодым орешником. Мокрые ветви больно хлестали по лицам. На утопанном снегу кое-где попадались рыжие капли крови. Заметив эти капли, Голубничий впервые усомнился: правильно ли он поступил, что привел Непорожного в отряд? Кто знает, как повернет дело Микита Харитонович, а Гнат уже раскрыл старому свою связь с лесовиками и вернуться в Калитву больше не сможет. А ведь он даже домой не забегал, даже матери ничего не сказал...

Еще больше обеспокоился он, когда у самого лагеря их встретил сержант Гонтарь. Этот полицай знал — еще бы, правая рука Сиволапа! Но виду не подал, что знает Голубничего, — значит, раскрывать перед Непорожным не хотел. Выходит, не был уверен, что Сиволап расстреляет Тымиша, только сердито приказал часовым:

— Этих ведите прямо к командиру отряда.

— Знаю, — буркнул в ответ один из них.

А второй почему-то рассмеялся:

— Да уже доведем как-нибудь...

И Голубничий снова подумал: «Дурак, что так поступил. Убрать старика надо было еще там, в Калитве».

Но все его опасения оказались напрасными. Гнат еще издали увидел Сиволапа — тот как раз выглянул из палатки. Пригляделся, словно не веря своим глазам, и лицо его расплылось в улыбке.

— Вот это да! — крикнул он еще издали и пошел навстречу Гнату. — Ну и молодец! Привел-таки гада!

Сиволап сам развязал полицаю руки, несколько раз весело хлопнул его по спине и повел к палатке, из которой только что вышел.

— Прикажете ребятам, чтоб были повнимательнее, — улыбнулся Голубничий и, засунув руку за пазуху, достал парабеллум Тымиша. — Полиция схватила, а обыскать как следует не догадались.

— Вот оболтусы! — весело ругнулся Сиволап, но отчитывать конвоиров не стал. — Ну пошли, расскажешь, что там и как.

Гнат пошел вперед, а Сиволап оглянулся на старика Непорожного. На миг их взгляды скрестились, и Тымиш отвернулся. Сиволап тоже ничего не сказал, резко повернулся и пошел вслед за Гнатом.

Тымиш остался с часовыми, чувствуя позади себя дула двух карабинов. Но ему все было безразлично. После гибели Федора, к которой он сам его привел, легче было умереть самому, чем жить...

10

О том, что старик Непорожный в лагере, Ксения узнала от Любки Хворостяной. На новом месте, куда они пришли после нападения отряда на колонну противника, не было еще ни землянки, ни палатки, и женщины устроились пока под кустами, набросав ветки прямо на снег. Все разошлись — кто к ручью за водой, кто к кухне, еще весной отбитой у немцев, — и только Ксения осталась с Оленкой под кустом без дела.

Любка бежала по тропинке, лицо ее пылало, русые волосы выбивались из-под замасленной ушанки, делавшей девушку похожей на трактористку, только что соскочившую на пашню.

— Привели связанного, — взволнованно кричала она на бегу.

— Кого? — поднялась ей навстречу Ксения.

— Деда Тымиша привели!

Ксения с тревогой взглянула на девочку — хоть бы не услышала. Любка перехватила этот обеспокоенный взгляд, подбежала поближе и уже тихонько, почти в самое ухо Ксении прошептала:

— Привели, говорю, старого Тымиша!

Ксения была уверена, что Федора выдал Шольц, и появление старика Непорожного в отряде с гибелью Федора не связывала. Подумала, что старик пришел за внучкой, и заволновалась, не зная, как теперь быть, поэтому и старалась скрыть Любкину новость от Оленки.

Они отошли в сторону, и Ксения спросила:

— А зачем он пришел?

— Да, видно, натворил что-то, раз привели вместе с полицаем и у обоих руки связаны.

Услыхав о полицае, Ксения оживилась:

— С полицаем? С каким?

— Да с Гнатом Голубничим, — ответила Любка.

Это успокоило Ксению, и она даже улыбнулась. Если вместе с Гнатом, значит, все хорошо. А что руки связаны и под конвоем привели, в этом нет ничего странного — и ей связали руки, когда встретили в лесу.

Девушка увидела, что Ксения успокоилась, — и это ее даже немного удивило. Она притихла, смущенно улыбнулась Ксении и убежала.

Оставшись с Оленкой, Ксения снова опустилась на хворост и собралась было сказать девочке, что дедушка тоже здесь, но сдержалась. За время своего пребывания в Калитве она только раз встретилась с отцом Федора — в доме у Гната. Пока Федор воевал, девочка жила с дедом, значит, и теперь придется отдавать ребенка ему. Это, может, и к лучшему, а то как ей быть с чужим ребенком в водовороте того неведомого, что ожидает ее теперь? Но, подумав так, Ксения ужаснулась: все, что связывало ее со всем недавно пережитым, воплотилось теперь в этой девочке. Ксения обняла Оленку, и та доверчиво прижалась к ее плечу, словно тоже чувствовала, что у нее нет никого на свете, кроме Ксении.

Да, все оказалось напрасным! Спасла человека на том колхозном дворе, а уберечь не сумела. Тешила себя мыслью, что совершила хоть и маленький, хоть и незаметный, но подвиг, — значит, способна на что-то. После самоубийства Славчука и ошеломившего ее воскрешения Харкевича, после всего, что было пережито в Запорожье накануне войны и что так унизило ее в собственных глазах, неожиданное и бескорыстное спасение незнакомого человека было утешением. Увы, небольшим — ведь и этого спасенного она до конца не спасла...

Ксения сидела, обняв девочку и склонив голову набок. Она с горечью думала обо всем этом, а глаза ее были устремлены в снежную стену, на фоне которой ярко выделялись голые кусты и зеленоватые стволы грабов. Девочка молчала, устав от утреннего перехода в глубь леса. Она вообще была молчалива, только во сне испуганно вскрикивала, а если неожиданно просыпалась, то дрожала от страха, не понимая, что с ней и где она. Ксения с болью думала: похожа на отца. Таким был и Федор — неразговорчивым, сдержанным, а по ночам вдруг вскрикивал, пугался — особенно в сорок первом, когда пробирались в Калитву и по очереди спали в скирдах...

В лесу было тихо. Только правее — там, где размещался своеобразный центр нового партизанского пристанища, — чувствовалось какое-то движение, но голоса оттуда не долетали. Вдруг в густом подлеске слышался глухой шорох. Ксения повернулась лицом в ту сторону и увидела за деревьями Сиволапа и еще кого-то в белом полушубке. И мигом узнала Гната Голубничего — это был он.

Ей не хотелось знать подробности беды, обрушившейся на Федора, но она понимала, что этого не миновать. Ксения осторожно отстранила от себя девочку и ласково сказала:

— Ты, маленькая, посиди, я сейчас вернусь.

Голубничий еще издали улыбнулся и помахал ей рукой. Ксения

быстро пошла им навстречу, словно спешила поскорее увидиться с близким человеком, которого давно не видела. Только теперь она поняла, что и Гнат был живой ниткой, которая связывала ее со всем, что пережито в Калитве.

— Микита Харитонович, что ж это у вас партизанки без оружия?! — попробовал пошутить Голубничий, протягивая Ксене руку.

Сиволап на шутку не ответил и спросил:

— Ну как? Оклемались?

Вместо ответа Ксения неуверенно пожала плечами.

— Время такое, что сердце надо держать в руках, — произнес он. — Вот и сегодня Гриня Бондаренко тяжело ранен, — верно, помрет.

Ксения продолжала молчать. Она понимала. Но как взять сердце в руки, не знала — ни прежде, ни теперь.

— Значит, вот какое дело, — начал Сиволап. — Верно, слышали уже, что Гнат привел старика Непорожного. Тянуть сейчас не время, так что придется кончать с ним сегодня.

Видимо, Ксения побледнела или лицо ее как-то иначе отразило то, что она вдруг поняла. Сиволап пристально взглянул на нее и спросил:

— Вы что, не знаете, кто виноват в гибели Федора?!

— Не может этого быть... — прошептала она. — Не может!

— Почему же? — улыбнулся Сиволап. — Всякое бывает.

— Так он же любил Федора, — чуть не крикнула Ксения. — Сам же Федор мне рассказывал!

— Любовь бывает умная, а бывает и глупая, — ответил Сиволап. — Да и не мое дело разбираться — из любви или еще по какой причине он предал Федора. Да и некогда разбираться-то — враг на пятки наступает.

— Он не его хотел погубить, а вас, — вмешался Голубничий, считая, что это скорее убедит Ксению.

Но она не слушала. Ей не верилось. Не мог же не понять старик, что, если выдаст ее, — погибнет и сын! Немец же в доме стоял — кого же подозревать прежде всего, как не немца?

— Значит, так. — Сиволап снова вернулся к тому, с чего начал. — Можно бы его сейчас просто отвести подальше в овраг и там... Но без суда не годится. Допрос по всей форме, чтобы знал, за что и почему. А чтоб не сомневались и вы, побудьте при этом.

— Нет, нет, ради бога! — прошептала Ксения. — Поступайте, как знаете, а меня от этого увольте. Не могу я...

Сиволап помолчал.

— Ладно, — согласился он. — Обойдемся! — Он круто повернулся и пошел, но, сделав несколько шагов, остановился: — Я скажу часовому, чтоб пропустил в палатку. Если надумаете, приходите. — Он снова помолчал и довольно сухо прибавил: — Нынче твердость нужна! А для этого нет лучшего способа, чем суровая правда.

И он широко зашагал прочь. Голубничий пошел следом. Оба скрылись, ни разу не обернувшись, как бы сознательно подчеркивая этим свое недовольство. Ксения смотрела им вслед и с болью думала, что не только не уберегла Федора, а стала еще и причиной его смерти.

Может, будь она в эту минуту дома, взяли б только ее... А если б даже взяли обоих — все-таки легче... Так думать бессмысленно — она это понимала, особенно здесь, где дороже всего руки, способные держать оружие, даже такие хрупкие, как у нее, — с тонкими подвижными пальцами... И все же она не могла себе простить, как не могла поверить и в то, что сказал Сиволап.

Ксения даже не слышала, как к ней подошла Оленка, взялась за юбку маленькой ручкой и тихо прошептала, заглядывая ей в лицо большими испуганными глазами:

— Мама...

11

Минут через десять, после того как ушли Сиволап и Голубничий, прибежала Любка Хворостяная с большим ломтем ржаного хлеба в одной руке и солдатским котелком в другой. Из котелка шел пар, от него пахло картофельной похлебкой, заправленной салом. Неся его впереди себя, Любка еще издали приговаривала:

— Вот поешьте горяченького да девочку накормите, а то, верно, совсем продрогла, сердешная, вон как губки посинели, и глазенки совсем запали. — И она ласково склонилась к Оленке: — Ешь, голубонька, вот и ложка — у ребят выпросила, — ешь.

Девушка, как видно, не замечала состояния Ксени, не видела ее широко раскрытых, словно испуганных глаз. Она отдала хлеб ребенку и заботливо пристраивала котелок, — чего доброго, не опрокинулся бы.

— Люба, ты можешь остаться с Оленкой? — спросила Ксения. — Я скоро вернусь.

— Отчего ж, посижу, — согласилась девушка. — Мы уже Гриню перевязали, ему вроде полегчало. Девчата от него не отходят, так что я могу побыть.

Ксения убежала, не дослушав. Только теперь ее волнение передалось девушке. Любка подняла голову, с тревогой поглядела ей вслед.

До палатки оставалось шагов двадцать, когда из-за деревьев появился Тымиш в сопровождении часового. Ксения метнулась в сторону и прижалась к толстому стволу. Сердце билось учащенно, и тело сковала слабость.

Тымиш шел с опущенной головой. Руки за спиной, издали не разобрать — связаны или просто так заложены, как обычно. Тулуп распахнут, ворот рубашки расстегнут, на ногах сапоги — еще крепкие, но передки совсем порыжели. У палатки он остановился, посмотрел на часового, словно спрашивая: сюда ли? Потом наклонил голову еще ниже и скрылся за брезентом.

Ксения вцепилась в ствол обеими руками, боялась, что вот-вот упадет. Она видела серый брезент палатки с грязными потеками, видела часового, который ввел старика внутрь, сразу же вышел и направился куда-то в лес... Держась из последних сил, Ксения оторвалась от ствола и пошла, стараясь ступать как можно спокойнее и тверже.

Вокруг никого не было. В лесу стояла такая тишина, словно и поблизости не было ни души. Только вытоптаный снег говорил, что здесь совсем недавно побывало много людей.

Ксения пошла прямо к палатке. Оглянулась, села на пень, возле которого торчал толстый, свернутый в жгут брезент, прикрепленный проволокой к корневищу. Она не прислушивалась, но из-за тоненькой полы брезента доносилось каждое слово.

— Ну что, заговоришь, или еще поиграем в молчанку? — услышала она бас и поняла, что спрашивает Сиволап.

— На чьей свадьбе гуляешь, того и песню пой!.. — хмыкнул Непорожний.

— Свадьба твоя собственная, так что дурака строить нечего. За брезентом наступила тишина.

— Садись, не мозоль глаза, — послышалось через минуту.

— Ты бы мне руки развязал, — сказал Тымиш. — Или, может, боишься — сбегу? — В голосе старика прозвучала насмешка.

— Если б я таких, как ты, боялся, давно бы уже на немецкую виселицу угодил, — бросил Сиволап. В палатке затопали, потом зашуршали, — верно, Микита Харитонович подошел к старику и развязал веревку.

— Ну ладно, — послышалось вскоре. — Теперь рассказывай, как было дело.

— А ты будто не знаешь...

— Знаю или не знаю, а ты — говори.

— Ну и дурак же ты, Микита! — выругался Непорожний.

— Может, Гната стесняешься? — засмеялся Сиволап, не обращая внимания на то, что Тымиш назвал его дураком. — Ты его не стесняйся, Гнат — свой человек.

Старик помолчал. А когда заговорил, голос его дрожал и звучал умоляюще.

— Долго ты из меня воду качать будешь? Мало тебе того, что сына моего расстреляли и теперь я на свете — один?

— Ты свои фигли-мигли брось! — крикнул Сиволап. — Напрасно стараешься слезу выжать. И казанскую сироту из себя не корчи.

— Ну что ж, коли охота есть, тяни из меня жилы... — почти равнодушно произнес Непорожний. — Твоя власть...

— А ты как думал? — уже гневно крикнул Сиволап. — Думал, их власть теперь вечно будет? Думал, он и властвовать будут, а ты в гестапо бегать, наших людей выдавать?

— Гестапо в Калитве нет... — едва слышно произнес Тымиш, словно это снимало обвинение Сиволапа.

— Нет, значит? — рассмеялся тот. — А что же есть?

— Комендатура. Вон, спроси Гната.

— Гляди какая точность! — рассмеялся Сиволап. — Не сдох Данила — болячка задавила! Точно они не одним мылом веревку мылят для таких, как я!

Из-за деревьев вышел тот самый парень, который привел Непорожного в палатку. Ксения испуганно поглядела на него, но не встала.

Он прошел мимо и ничего не сказал,— как видно, Микита Харитонович не забыл предупредить. Парень отошел подальше, оперся о ствол и стал свертывать самокрутку. Вынул из кармана кремь и прикурил.

Ксения видела все это, но не воспринимала. Из палатки доносились голоса — она слышала, но была далека от окружающего. «Не может этого быть, не может, не может! — кричало все у нее внутри. — Не мог отец донести на Федора, поэтому не мог выдать и меня!» Она бессмысленно, широко открытыми глазами смотрела в пространство и слышала только этот свой внутренний крик, только эти гневные возражения.

Вдруг она вскочила, метнулась к палатке, парень, что стоял у входа, как бы нехотя преградил ей дорогу, но она оттолкнула его, вбежала и увидела Сиволапа, умолкшего на полуслове, и Гната, тотчас вскочившего с кучи сена. Только Непорожный не шевельнулся — стоял опустив голову.

— Быть этого не может,— едва слышно прошептала Ксения, хотя ей казалось, что она кричит. — Быть этого не может!..

Верно, по ее виду Сиволап понял, против чего она возражает. Он помолчал, усмехнувшись Тымишу, укоризненно сказал:

— Видишь, канн, кто тебя защищает? Ты ее собирался погубить, а она в это не верит... Да я бы от одного стыда перед нею не посмел больше землю топтать!

Старик и теперь не поднял головы. Так и стоял потупясь, словно и впрямь стыдился.

В палатке воцарилась тишина.

— А вы идите,— сказал Сиволап спустя минуту, уже обращаясь к Ксене, и вдруг вздохнул: — Пожалуй, это не вашего ума дело... — Он глядел исподлобья и, как видно, едва сдерживался.

Ксения постояла еще миг и вышла. Ноги у нее подкашивались: когда выходила, партизан, который стоял у самой двери и, очевидно, прислушивался к тому, что происходило в палатке, отшатнулся и пропустил ее. Ксения едва доплелась до пня, на котором сидела перед тем. В палатке было тихо, но вскоре донесся гневный, даже яростный, крик Сиволапа:

— Я тебе Федора не прошу. И никто не простит. И народу нашему измученному твои переживания ни к чему. Народ наш кровью обливается из-за таких, как ты, он каждый день своих сыновей теряет, и он не простит предателей.

— Федор — мой сын! — чуть слышно прохрипел старик.

— А вот теперь и я скажу тебе: дурак! — продолжал Сиволап, и голос его уже звучал ровно, почти спокойно, будто он не судил, а размышлял и речь шла не о жизни человека, а о чем-то обычном, будничном. — Нет у тебя сына и не было. Да и откуда бы он у тебя взялся?! Ты предатель, а предательство — бесплодно, словно курица, которая кукарекает, как каплун. И это счастье! А то плодись предательство — так народу давно бы и совсем не осталось. А народ чист, верит в правду и подлости не терпит.

— Ты сына не потерял, потому и рассуждаешь так,— попрекнул старик, но чувствовалось, уверенности в его словах нет.

— Я Федора потерял, а не ты! — гневно процедил Сиволап сквозь зубы. — Я сына потерял! А выгори твое дело и погибни не он, а она, ты бы не только не переживал, а выпил бы на радостях пол-литра. А я переживал бы, потому что и она моя дочка, и все такие, как они оба, над которыми меня народ поставил, чтоб отвечать за их жизнь и быть над ними старшим. Так что ты не примазывайся и в чужую семью не лезь. Предатель ты, а не отец, потому что нет и не может быть детей у предателя!

Ксения сидела съежившись, будто слова эти адресовались ей, и каждое, тяжелое как камень, попадало в нее. Казалось, Сиволап, охваченный справедливым гневом, судил не кого-нибудь, а ее — ее мягкотелость, ее чувствительность. Она ощущала, какая неумная ненависть переполняла сердца двух людей, которые там, в палатке, сошлись в смертельном поединке. И ей становилось не по себе перед одержимостью Сиволапа, взвалившего на свои плечи тяжелую ответственность за ее жизнь. И помимо ее воли в глубине сознания возникало волнующее понимание своей причастности к тому, что творилось вокруг, к тому, о чем с такой страстью говорили по ту сторону брезентовой стенки, которая лишь условно отделяла Ксению от этих людей. Она все еще не верила, что старик виноват, просто не могла поверить, но и против того, что говорил Сиволап, возразить не могла.

Из палатки прозвучало властно:

— Ищук!

Часовой рывком отскочил от дерева, около которого стоял, бросил на землю окурок и притоптал сапогом. Передвинул на груди автомат и стал медленно застегивать воротник, будто вызов застал его врасплох и взволновал, а он хотел переждать, пока волнение уляжется.

— Ты что, оглох? Ищук! — нетерпеливо крикнул Сиволап еще раз.

Часовой рысцой побежал к палатке и исчез за брезентом.

Ксения понимала, зачем Сиволап звал часового, и сердце ее забило быстро-быстро. Хотелось во что бы то ни стало сорваться с пенька, убежать куда глаза глядят, чтобы только не встретиться взглядом со стариком Непорожним. Но ноги и теперь не слушались, тело отяжелело, подняться не было сил. Сдерживая дыхание, словно прикованная к пню, она сидела, тупо уставясь на скошенный угол палатки.

Старик появился первым, за ним вышел Ищук; Тымиш, как и раньше, вопросительно поглядел на него, словно не знал, куда идти. Парень легонько подтолкнул его дулом, и они пошли направо, вниз, и скрылись за деревьями. Ксения успела увидеть только их спины: одну — широкую, но чуть сгорбленную, и вторую — узкую, ровную. Через минуту из палатки вышел и Сиволап. Ксения съежилась еще больше, боялась, что он подойдет к ней. Микита Харитонович действительно прошел почти рядом, он, безусловно, видел ее, но не остановился. Лишь на миг замедлил шаг, но голову к Ксене не повернул. Благодарная Сиволапу за то, что он не подошел, не заметил, она глядела на его крепкую, приземистую фигуру, словно впервые видела ее...

Потом с трудом поднялась и, не помня себя, не замечая ничего вокруг, пошла по просеке. Ладони сами собой прижимались к вискам, словно Ксения боялась услышать далекий выстрел и зажимала уши, надеясь, что это спасет ее.

Перед рассветом грохот усилился и, главное, приблизился. Сиволап поднялся с охапки слежавшегося сена, служившей ему постелью, набросил на плечи тулуп, которым всегда укрывался ночью, и вышел из палатки.

Земля под ногами дрожала, ветви на деревьях вздрагивали, словно их трясли.

Несколько часов назад, в полночь, Микита Харитонович вместе с начальником штаба Гонтарем принял последнее сообщение Информбюро. Батарей в приемнике почти совсем сели, голос диктора хрипел чуть слышно, но привычное ухо Сиволапа уловило главное. На курсунском участке фронта завершалось полное окружение частей противника, и, когда Гонтарь по окончании передачи обозначил на карте красным занятые на протяжении этого дня советскими войсками населенные пункты, перед глазами возник почти замкнувшийся круг, в пределах которого оставался и их отряд.

— Хорошо, хоть нас не отчекрыжили,— бормотал Сиволап, изучая карту, разостланную на толстой сосновой колоде.— В котле мы еще потрепем немцев изнутри, а окажись мы в своем тылу, только переводили бы солдатский хлеб да мешали фронтовикам.

Сейчас небо поблескивало и светилось и справа, и слева. Это означало, что немцы прорываются двумя группами навстречу одна другой, а грохот, который все усиливался и приближался, свидетельствовал о том, что если все и дальше так пойдет, то вражеские колонны, чего доброго, соединятся и вырвутся из котла.

Сиволап натянул тулуп, как положено застегнулся и пошел к кустам, за которыми стоял небольшой, покрытый дубовыми ветками шалаш Гонтаря. Начштаба тоже не спал, он как раз разговаривал с дедом Кнышем, который только что вернулся из южной части леса, где возле грейдера, за пригорком, ночевал наблюдатель. Выяснилось, что там недавно прошло тридцать семь танков; похоже было, что враг собирается прорваться по грейдеру и там стягивает танковый кулак.

— Если им это удастся, то в прорыв хлынет пехота,— задумчиво проговорил Сиволап.— А она пойдет на исходные позиции не по дорогам, а скрытно, через лес! Наше дело — встретить ее и хорошенько пугнуть, чтобы заставить двигаться по грейдеру. Там место открытое, ее без нас исколошматят.

— Маловато у нас сил, чтобы встретить как следует,— усомнился Гонтарь.

— В лесу мышь зашуршит, а кажется — волк,— улыбнулся Сиволап.

— Истинная правда,— хихикнул дед Кныш.— В лесу, да еще с непривычки, и гриб на мину похож!

— Значит, так,— заговорил Сиволап тоном приказа.— Три пулемета немедленно на тот участок. И сам за ними ступай — поставь их метрах в трехстах друг от друга. Да так, чтобы, когда ударят, очереди скрещивались, будто там целый фронт. Ясно? А я с тремя на другой край подамся, потому что, видать, прорываться они будут с двух сторон: вот и сейчас уже грохочет и оттуда, и отсюда.

— Ясно,— согласился Гонтарь и наклонился, чтоб вылезть из шалаша.

— А мне что ж, назад возвращаться? — заволновался дед Кныш.

— Ты передай женщинам, что на кухне, и Любке Хворостяной с девочками, пусть будут наготове: может, придется быстро перекачтовываться на новое место.— И вдруг вспомнил:— Там ведь дочка Федора... — И снова тоном приказа:— Ну, иди!

Дед Кныш засуетился и побежал. Гонтарь собрался было тоже идти, но навстречу ему в шалаш вошла Любка Хворостяная. Она выпрямилась, и при дрожащем свете коптилки Сиволап увидел ее заплаканное лицо. Она молча всхлипывала и вся дрожала от сдерживаемых рыданий.

— Ты что? — спросил Микита Харитонович.

— Гриня... — прерывисто сказала девушка, и плечи ее задрожали еще сильнее.

— Что Гриня? — спросил Сиволап, хотя все уже понял.

— Умер,— зарыдала Любка в голос. Она закрыла лицо большими ладонями и тряслась как в лихорадке.— Умер Гриня, умер!..

Сиволап тяжело опустился на колоду у самой коптилки.

— Так... — Он горестно вздохнул, и от этого долгого и глубокого вздоха пламя коптилки метнулось и чуть не погасло. Перед глазами возник высокий, статный парень с пышными кудрями и большими цыганскими глазами, безответно влюбленный в Любку. Сиволап знал и это. Теперь девушка стояла перед ним и рыдала. Микита Харитонович понимал: девушка чувствует себя как бы виноватой перед человеком, которого уже нет.— Выходит, не довоевал... Эх, еще бы чуточку! Немного и осталось... — Он поднялся, опустил голову и вышел из шалаша, а Любка заплакала еще громче.

Женщины остались копать могилу, а Микита Харитонович, взяв шестерых ребят, нагрузил на трех лошадей пулеметы и отправился на южную окраину леса, как и было условлено. Он не мог ждать, был уверен, что раз немцы прорываются танками, то вскоре двинется и пехота. Сиволап молча шагал впереди, а следом шли люди с лошадьми, пробираясь сквозь орешник, разросшийся среди деревьев. Он раздвигал мокрые ветви, которые стегали его по лицу, а Гриня все не выходил из головы — ловкий, порой отчаянный, он, как говорится, лез на рожон. Вот и в то утро можно было не высовываться из ямы, где он прекрасно устроился со своим ручным пулеметом. Дорога и так была хорошо видна, и немцы суетились возле подожженных машин, как на ладони... Так нет же, захотелось еще шархнуть их гранатой,

словно мало ему пулемета!.. Эх, молодая кровь, горячая... А сколько недолюблено, сколько недовоевано и недоделано из-за этой безрассудной удали и равнодушия к собственной жизни!

Сиволап тяжело шагал, то и дело спотыкаясь о поваленные деревья, и не мог отрешиться от грустных мыслей. Он и на войне рассуждал, как хозяин, который привык в своем колхозе заботиться обо всем. Но и там случались огрехи, и тут, на войне, тоже за всем не углядишь, вот и выходит, что можно было и лучше сделать, да не всегда получается... Плохо только, что там, в колхозе, допустишь, бывало, ошибку, и хоть трудно, да выправить можно, а здесь расплачиваешься кровью, своей жизнью...

Два пулемета уже стояли на удобных позициях, когда вдали что-то затарахтело. Сиволап бросился к третьему пулемету, еще не снятому с буланой кобылы, — его надо было установить метрах в трехстах, там, где лес мысом глубоко врезался в чистое поле. Удобное место: когда этим двоим придется туго, можно ударить с фланга.

— Только никаких вторых номеров! — крикнул он, таща кобылу за повод. — По одному у пулемета. Вторые номера, берите автоматы и располагайтесь неподалеку! — Он рассчитал точно: если станут бить не с трех огневых позиций, а с шести, легче обмануть фашистов, сделать вид, что людей намного больше, чем в действительности.

— Вроде танки идут или бронетранспортеры, — откликнулся кто-то из темноты, и Сиволап почувствовал в голосе неуверенность.

— Вот и хорошо, что техника! — бросил он, не останавливаясь. — Танк в лес не ползет.

Сиволап вместе с двумя парнями едва успел установить пулемет и отвести подальше кобылу, как над степью повисло несколько ракет, и их яркий мертвенный свет выхватил из тьмы несколько глубоких овражков, по склонам которых в долину спускались машины. Еще людей, сидевших в них, не было видно, но Сиволап понимал — это не танки. Какой же дурак сунется с танками, если впереди лес! Ясно, враг подбрасывает пехоту на бронетранспортерах поближе к месту, где намечается танковый прорыв. Сиволап побанвался одного — только бы два его пулемета не застрочили раньше времени... Правда, там ребята опытные, утром показали себя. И все же он решил сбегать к ним, предупредить, чтобы подпустили к лесу.

— Только не выглядывать, как суслики из нор! — крикнул он, не отрывая глаз от машин, которые сползали с пригорка. — Утром один уже выглянул... Хватит... — Сиволап схватил свой автомат и побежал.

Грохот нарастал. Машины катились с горы на холостом ходу, но гусеницы при этом громыхали еще сильнее, чем при включенных моторах. Внезапно они остановились — до первых деревьев оставалось не меньше километра. Сиволап едва успел добежать до среднего пулемета, как вокруг воцарилась полная тишина. И вдруг одновременно застрочило несколько пулеметов. Сиволап понимал, что остановились немцы из предосторожности, а стреляют наобум, чтобы вызвать на себя огонь из лесу, если там кто-то есть. Пулеметы противника били недолго, потом снова все затихло: из лесу никто не откликнулся. Ма-

шины, постояв несколько минут, двинулись дальше и не останавливались уже до самой опушки. Сиволап даже испугался, не слишком ли близко подпустил их: чего доброго, какая-нибудь машина проскочит в лес, — а это может лишить его ребят главного преимущества. Но до машины оставалось еще метров сто — такого расстояния вполне достаточно, если не растеряться и ударить вовремя. Как только ракеты погасли, немцы стали соскакивать с машин. Над поляной нависла тьма, особенно густая и непроницаемая после яркого света, и немцы вслепую двинулись вперед. Минут через десять они дошли до первых деревьев, и тут заговорили все три партизанских пулемета, которым скороговоркой стали подтатакивать еще и четыре автомата. Для немцев это было полнейшей неожиданностью, и, когда передние попадали, те, кто шел позади, бросились бежать. Поднялась паника, и только минут через пять их пулеметы открыли огонь, но никакого ущерба нанести они не могли, потому что молодняк, густой стеной стоявший перед поляной, надежно прикрывал бойцов, а партизанские пулеметы били в маленькие просветы между деревьями.

Из лесу почти не было видно, что происходит впереди, но ребята Сиволапа приготовились заранее и знали, куда бить. Впереди стоял неистовый гам, солдаты сгрудились возле своих транспортеров, которые, разворачиваясь впотьмах, давили своих, а тот, кто, ошалев, метался, стараясь спастись от партизанского огня, попадал под огонь своих же пулеметов.

Сиволап неистово палил, едва успевая менять диски. Деревья, темневшие впереди, ограничивали поле обстрела, но он не менял позиций, понимая, что врагов так перебьет меньше, но все равно главное свое задание выполнит, потому что пехота уже задержана и так или иначе опоздает, а танки, если им и удастся прорваться, останутся ни с чем.

Грохот транспортеров, которые увозили за холмы остатки обезумевшего батальона, постепенно утихал. Позади, в отдалении, перекатывался приглушенный гул фронта, но тишина, которая вдруг наступила вокруг, была как бы сама по себе, и этот глухой гул не нарушал ее. Сиволап прислонился к дереву: тело после нечеловеческого напряжения отяжелело, сердце едва билось. Он стоял долго, никто не окликал его, можно было подумать, что у пулеметов нет никого в живых. Но командир отряда был спокоен, он помнил, что все три пулемета отчаянно строчили и смолкли, лишь когда враг уже скрылся за холмами... Надо было выйти из-за деревьев, осмотреть место боя и собрать оружие противника. Но сил не было.

Только немного придя в себя и почувствовав, что твердо стоит на ногах, Сиволап вышел на опушку и убедился, что операция удалась...

К рассвету мороз заметно усилился. Большие хлопья снега мельчали, словно усыхали на глазах, и превращались в колючую ледяную крупу. Северный ветер кружил их, быстро нес над полем, недавние

лужи стекленели, и окружающий степной простор становился похожим на пустыню, запыленную белым песком.

Ветер дул порывистый, направление его ежесекундно менялось, а молочная пороша, повисшая в воздухе, покачивалась, словно волнующаяся толща воды. Смотреть вперед становилось все труднее — и от этой постоянной головокружительной качки, и от резких уколов обледеневших снежинок.

Танки ревели за селом, но рассмотреть их было невозможно. Шмаков припал лбом к прицельной панораме и, прищулив левый глаз, напряженно всматривался в маленькое синеватое стеклышко, но видел лишь белое движущееся пятно, перекрещенное двумя яркими измерительными черточками.

Лейтенант Татаринов растерялся. Он бежал от одного орудия к другому и не знал, что делать: танки противника близко — в селе или по ту сторону села, до которого не более полутора метра, но прямой наводкой стрелять невозможно, а бить по площади — значит только преждевременно выдать себя. Бледное удлиненное лицо лейтенанта подергивалось, он понимал, что расчеты с надеждой поглядывают на него, и от этого волновался еще больше. Он уже было повернул к траншее, которая вела в окоп связистов, чтоб доложить обстановку командиру дивизиона и получить приказ, что делать, как вдруг рев моторов оборвался. От неожиданности Татаринов замер на месте, прислушался, но ничего не услышал — ни тяжелого стрекота металла, ни глухого натужного рева.

— Заправляются горючим, — чуть не пропел чей-то высокий голос, в котором улавливалась легкая дрожь.

Татаринов хоть и не видел бойца, но цыкнул на него и снова прислушался: вокруг только легонько посвистывал ветер и шуршала снежная крупа.

Ясно, фронт прорван, если танки оказались перед оборонительным рубежом дивизии, которая стоит во втором эшелоне! Но почему они вдруг остановились — ведь батарея только что заняла позицию и они не могли ее засесть? Может, и впрямь заправляются горючим? Знай он это наверняка, можно бы и рискнуть: ударить по площади из всех орудий, обнаружить себя, но зато оставить их без горючего, надеть шуму и, возможно, подбить несколько танков! Такое решение было вполне логичным и вытекало из правил ведения боя, которые лейтенант недавно усвоил на ускоренных курсах артиллеристов в Новосибирске. Только знать бы точно, что танки, как волю на водопое, сгрудились вокруг цистерн и не могут рассыпаться в разные стороны, потому что баки их пусты...

Татаринов еще не успел додумать это до конца, как вдруг услышал рев мотора и понял, что танк приближается прямо к его батарее. Сбитый с толку лейтенант замер на месте: почему один? Ведь только что их ревели не менее десятка.

Он кинулся назад, к первому орудью, которое едва виднелось сквозь порошу, и увидел весь расчет — бойцы притихли, будто замерли в тех позах, в которых он их застал. Все четверо тоже напряженно

прислушивались, и только Шмаков, наклонясь, припал к стеклышку прицела в надежде поймать невидимую цель.

Танк вынырнул неожиданно, словно сразу проломил стену снежного вихря, но оказался значительно ниже, чем ожидал Шмаков, и поэтому увидеть его своевременно в глазок прицела он не мог. Но оглушительный грохот стальной громадины и резкий окрик Татарина заставили Шмакова отшатнуться от прицела, и в ту же секунду из задранной вверх пушки вражеского танка вырвалось пламя. Снаряд пролетел слишком высоко и никого не задел, но воздушной волной повалило на землю весь расчет, а Шмакова отбросило от щитка. Впрочем, он мгновенно вскочил на ноги и быстро стал крутить колесико, направляя ствол вниз, хотя и понимал, что до нужного уровня опустить орудие не сможет.

Лейтенант Татарин был в эту минуту на полпути между первым и вторым орудием своей батареи, он бежал и кричал: «Не стрелять!» — понимая, что попасть в танк, который стоит так низко, нельзя, а выстрелы лишь демаскируют батарею. Шмаков услышал крик своего командира и не выстрелил, а танк стал бить вверх, хотя немцы не могли не понимать, что тратят снаряды зря. Это продолжалось несколько минут, и, только добежав до первой пушки, Татарин понял, чего добивались немцы: они стреляли, чтобы заглушить грохот второго танка, который под прикрытием вьюги тянули на буксире. Через минуту этот танк развернулся, быстро пополз влево и метрах в тридцати от батареи стал взбираться на гребень холма. Татарин понял: сейчас танк зайдет с тыла и начнет крушить орудия и давить людей.

— Все в укрытия! Гранаты! — приказал лейтенант.

Трудно сказать — услышали бойцы команду или сами догадались, но, когда танк перевалил через хребет и с ходу развернулся во фланг батареи, все расчеты были уже в траншее. Над головами один за другим просвистели три снаряда, а длинные пулеметные очереди взметнули тучу снега. Татарин видел, как первое орудие накренилось, — очевидно, снаряд угодил в колесо и танк на полном ходу перевалил через окоп, чуть ли не до половины засыпав его землей и снегом. Гусеницы уже скрежетали о сталь первого орудия, когда лейтенант швырнул вслед танку тяжелую гранату. Раздался взрыв — машина остановилась и сползла немного вниз, но тотчас же во внезапно наступившей тишине послышался отдаленный рев мотора с другой стороны, — это навстречу подбитому танку двигался тот, который только что стоял внизу и, как видно, воспользовавшись суматохой, теперь выполз наверх и давил позицию батареи с другого фланга.

Выглянуть из окопов было невозможно — танк бил из обонх пулеметов. Он перевалил через левофланговое четвертое орудие, чуть ли не целиком вдавив его в раскисший грунт всей своей шестидесяти-тонной тяжестью, уперся лбом в третье и столкнул его с холма. И когда уже подходил ко второму, последнему, позади него что-то тускло вспыхнуло — и внутри раздался глухой взрыв: кто-то успел

бросить ему вслед гранату. Взрывом сорвало башню, и она боком сдолзла с косогора вниз.

Вокруг наступила тишина. Впереди танка, который застрял на первом орудии, горел другой танк. Из него клубами валил жирный дым, а внутри глухо рвались снаряды. Шмаков понимал — оттуда больше стрелять не будут. Он стянул с себя комья земли, которыми засыпало его чуть ли не с головой, быстро выбрался из окопа и сзади вскочил на танк. Следом вскочили на броню Татаринов и еще один боец, все трое стали колотить по броне прикладами автоматов:

— Вылезай!

Изнутри никто не откликнулся. Но было ясно, что вражеские танкисты только притаились, и Татаринов нарочито громко приказал своим:

— Подкладывай гранаты!

Танкисты, очевидно, сообразили, что это не шутка: еще с минутой не откликнулись, потом внутри что-то щелкнуло, и крышка немного приподнялась. В щелке блеснули два выпученных зеленых глаза.

— Ну, ну, вылезай! — крикнул Татаринов и ткнул дулом автомата в щель. Крышка стукнула о броню, и из люка один за другим вылезли четыре танкиста.

Немцы, боязливо озираясь, сползали на снег, когда справа послышался отдаленный рев множества моторов. Татаринов резко обернулся в ту сторону, и, хоть ничего не увидел сквозь густую пелену снега, в голове мелькнуло: пользуясь тем, что батарея разгромлена, вражеские танки ринулись вперед.

Пленные тоже услышали этот рев, и в перепуганных глазах рыжего юнца, который сползал с танка последним, промелькнуло нечто похожее на усмешку. Он знал, что послан именно затем, чтобы подавить батарею и ценой этих двух танков уничтожить ее. И вот — задание выполнено, можно только пожалеть, что слишком рано они открыли люк, ведь вслед за теми, кто ринулся в прорыв, должна пойти пехота, которая при благоприятных условиях могла бы их освободить. Шмаков перехватил эту растерянную, неуверенную улыбку и толкнул юнца в спину — немец не удержался и полетел в снег.

— Савченко, отведи их на пункт! — крикнул лейтенант, а сам соскочил с танка и скомандовал: — Ребята, ко второму орудию!

Боец Савченко, уже немолодой, костлявый и приземистый, остался с четырьмя пленными, а весь расчет первого орудия бросился вслед за командиром батареи. Второе орудие осталось цело, и его можно было развернуть на сто восемьдесят градусов, чтобы стрелять по танкам. Татаринов мчался и видел, что навстречу ему бегут пятеро бойцов из прислуги раздавленных орудий.

— Что там у вас? — спросил он, не останавливаясь.

— Это все, — ответил сержант Крыхта, и Татаринов понял, что больше никто не спасся.

— Разворачивай! — командовал лейтенант, и они, все восемь, навалились на припорошенный снегом леденящий металл, к которому примерзали пальцы.

Ни бойцы, возбужденные и разгоряченные недавним боем, ни лейтенант Татаринов не заметили, как из неглубокого хода сообщения вышли двое: командир дивизиона майор Харитон и полковник Штукаренко. Майор шел впереди, как бы прокладывая путь полковнику своей массивной фигурой в блестящей кожаной куртке, подпоясанной широким ремнем. Запорошенные снегом пышные бронзовые усы, которыми он откровенно гордился, хотя это и вызывало проницательные улыбки старших товарищей, делали его лицо суровым, почти хищным.

Оба подошли сзади, стали помогать, и Татаринов заметил их, когда орудие уже было повернуто жерлом на восток. Лейтенант попытался было вытянуться и доложить, но Штукаренко отмахнулся:

— Ладно, лейтенант. Сам вижу.

Татаринов виновато пожал плечами — он понимал, что полковник ни в чем его не винит.

— Это — все? — спросил Штукаренко.

— Разрешите доложить, товарищ полковник, я еще не успел...

Штукаренко не дал закончить:

— Поручите выяснить. А сами займитесь организацией обороны. С минуты на минуту может появиться вражеская пехота. Всех тыловиков батареи — на передовую.

— Есть, — козырнул Татаринов.

— Связь у тебя — как? — спросил майор Харитон.

— Связь есть, товарищ майор, — ответил лейтенант. — Танки прошли левее, думаю, тылы не задела.

— Ну ладно, делай свое дело, — приказал майор и обратился к Штукаренко: — Разрешите пройти к аппарату?

— Пошли вместе.

Отойдя шагов десять, Штукаренко остановился возле застрявшего танка. Рядом стояли несколько бойцов. Их дубленые полушубки, еще час назад беленькие и чистенькие, покрылись черными масляными пятнами. Сразу же вспомнился вчерашний разговор с Шумаковым о необстрелянных ребятах из резервного полка. «Причастились, — подумал Штукаренко. — Быстро догнали остальных. И теперь такие, как все!»

— Танк кто угостил? — спросил он, и ветер забил ему дыхание.

— Этот подбил — Шмаков, — ответил кто-то из бойцов.

Штукаренко хорошо расслышал фамилию и вспомнил разговор с комдивом.

— Жив? — спросил он.

Вперед вышел Шмаков.

— Гранату бросил не я, товарищ полковник.

— Ладно, разберемся, — проговорил Штукаренко и внимательно взгляделся в лицо бойца: он хотел запомнить того, о ком уже кое-что знал.

Штукаренко снова зашагал сквозь вьюгу, нагоняя майора, уже окутанного порошей. Сейчас было не до Шмакова, но полковник радовался, что представился случай познакомиться с ним, теперь не придется специально расспрашивать и привлекать чье-то ненужное внимание.

14

Штукаренко остался в окопе связистов, он во что бы то ни стало должен был связаться с комдивом или хотя бы с Лемешко и посоветоваться, как быть. К участку прорыва немедленно следовало подтянуть достаточно сил, чтобы отсечь пехоту противника от танков, которые вырвались далеко вперед и скоро останутся без горючего и боеприпасов. Но у связистов батареи не было прямой связи с дивизией, пришлось все разговоры вести через штаб артдивизиона.

Это требовало времени, и Штукаренко приказал майору Харитону пока заняться обороной, исходя из собственных возможностей.

Минут через двадцать позицию разгромленной батареи кроме Татаринова и его восьми уцелевших бойцов заняли еще одиннадцать человек: водители автомашин, сержант и три бойца из склада боеприпасов, плюс две девушки — санинструкторы. Станковых пулеметов не было — только два ручных и одно противотанковое ружье. Правда, в немецком танке, откуда был снят экипаж, были целыми два пулемета, но танк стоял боком, и в случае наступления немцев стрелять можно было только во фланг.

— Размонтировать и установить как следует, — приказал майор.

Среди тех, кто находился в траншее, были механики ремонтной мастерской. Они влезли в танк — под сиденьем водителя лежала сумка с инструментами. Но когда вытащили первый пулемет, выяснилось, что его никак нельзя установить.

— Болваны! — орал майор, и усы его шевелились, как живые. — Отворачивай этот болт! — Он указал на большую гайку, на которой держалась рама от кассеты с канистрами: — На этот болт крепи пулемет!

Это было остроумное решение, но поржавевшая гайка не поддавалась. Нужно было удлинить ключ ломом и налечь втроем. К сожалению, второй такой гайки на виду не оказалось, и пришлось ограничиться одним пулеметом. Зато этот стоял очень удобно, даже поворачивался, словно на турели, а будущего пулеметчика защищала танковая броня.

Пока майор подгонял Татаринова и покрикивал на бойцов, Штукаренко связался с начальником штаба. Выяснилось, что один батальон из полка Терещенко и один из состава соседней дивизии, расположенный слева, уже спешат форсированным маршем на этот рубеж. Правда, вражеская пехота могла их опередить, и это волновало, но пока ее не было, и полковник решил ждать здесь. Он прошел к позиции четвертого орудия посмотреть, что натворил там вражеский танк.

Зрелище было страшное. Трое убитых бойцов лежало возле ящиков со снарядами, их уже почти занесло снегом. У орудия, наполовину вдавленного в землю и тоже сильно заметенного снегом, санитарструктор перевязывал командира орудия, старшего сержанта. В этом дивизионе Штукаренко никого не знал — все были новички, только что прибывшие из глубокого тыла.

— Почему вы в траншею не спрячетесь? Или хотя бы под куст? — спросил полковник. — Все-таки спокойнее!

— Двигать его нельзя, — ответил санитарструктор — пожилой человек с аккуратными усиками. — Сам я ранен в руку, осторожно не перенесу.

— Давайте я попробую, — предложил Штукаренко.

Он наклонился, соединил оба конца плащ-палатки, поперек которой лежал раненый, и попробовал поднять. Тот глухо застонал.

— Ноги надо поддержать, тогда легче будет, — поднялся санитарструктор. Он не сказал, кому будет легче, если поддержать ноги, но полковник понял, что и ему, и раненому.

Когда они вдвоем подняли сержанта, снова послышался стон, но тотчас утих. Лицо старшего сержанта, обескровленное, почти синее, казалось мертвым.

Штукаренко выбрал место в траншее, прыгнул, разгреб снег доской от снарядного ящика и, не поднимаясь наверх, осторожно потянул к себе раненого.

— Теперь спускайтесь и вы, — сказал он санитарструктору.

Здесь действительно было спокойнее. Раненый не шевелился. Штукаренко взял его руку, нащупал пульс.

— Не волнуйтесь, товарищ полковник, — сказал санитарструктор. — Это он от боли потерял сознание, все будет в порядке.

Штукаренко выпрямился.

— Надо в медсанбат.

— Скоро подвода придет. Двоих уже забрали. А этого надо отдельно, иначе не довести.

— Ну, ладно. — Полковник полез наверх, обламывая руками снежную глыбу, нависшую над траншеей, как козырек.

Тропинку почти замело, виднелась лишь неглубокая рытвинка. Он пошел вперед, загребая сапогами рассыпчатый снег. Можно было поверху пройти до самого майора Харитона, фигура которого маячила возле второго танка, но хотелось перекинуться словечком со Шмаковым, чтобы потом не разыскивать его специально, и полковник спустился в траншею, где мог как бы случайно встретиться с ним.

Шмаков, устроившись на куче цинковых ящиков с патронами, что записывал в книжечку с зеленой обложкой. Занятый этим, он не заметил, как приблизился полковник.

— Письмо домой? — услышал Шмаков почти над ухом и попытался подняться. — Сидите, сидите. — Штукаренко легонько коснулся его плеча. — Я тоже посижу. Устал.

Они с минуту молчали, сидя почти рядом, — Шмаков несколько растерянно, а Штукаренко действительно отдыхая. Наконец полковник заговорил первый:

— Если письмо домой, можете отдать мне — из политотдела уйдет быстрее. Теперь, пока сюда доберутся почтальоны, новости, о которых вы пишете, могут устареть.

— Спасибо, товарищ полковник, это не письмо — скорее, материал для будущего письма.

— Понимаю, — улыбнулся Штукаренко. — Впечатления от первого боя вашей батареи. Да еще такого печального боя... — И, внимательно взглянув на Шмакова, спросил: — Вы уже в таком бывали?

— Я впервые в бою.

— Вообще? — Полковник поглядел на него так, словно услышал новость, которая удивила его.

— Вообще.

— Значит, прямо с тыловой работы?

— Да.

— И где работали?

— Валил лес.

— Где именно?

— В тайге. Далеко.

— Вот как! Значит, коренной сибиряк?

— Не совсем, — улыбнулся Шмаков. — Хотя теперь уже можно считать...

— Говорят, тайга очаровывает, — заметил Штукаренко как бы между прочим. — Мне, к сожалению, не пришлось пробывать...

— А мне, к сожалению, пришлось, — вздохнул Шмаков.

— Как это понять?

— Я валил лес в тайге не по собственной воле, — ответил Шмаков, и лицо его помрачнело.

— Вот оно что! — Штукаренко продолжал расспрашивать: — И за какую же провинность вам пришлось его валить?

— Да как сказать... — улыбнулся Шмаков.

— Разве бывают провинности, которых не может определить виновный?

— Вероятно, бывают. Если считать, что вообще-то в жизни возможно все. — Шмаков смотрел прямо в лицо Штукаренко.

Для первого знакомства полковнику было достаточно. Шмаков понравился ему своей прямой и незлобностью, особенно приятной у человека, много пережившего. Привлекала и независимость в его поведении; Шмаков несколько подчеркивал ее, но все равно она свидетельствовала о том, что человек сохранил свое достоинство и способность самостоятельно мыслить. Штукаренко, как ученый историк, эту разумную самостоятельность ценил превыше всего, она его радовала.

— Значит, вы повалили отмеренное вам количество деревьев? — все-таки спросил он напоследок.

— Нет, я попросился на фронт, и мою просьбу удовлетворили.

— Все это очень любопытно, — подытожил полковник и поднялся.

Шмаков тоже поднялся, все еще держа в руке зеленую записную книжечку.

— Вот что,— заговорил Штукаренко после недолгого молчания,— завтра явитесь в политотдел дивизии и найдете меня.

— Слушаюсь, товарищ полковник. — Шмаков опустил руку, в которой держал записную книжечку, и вытянулся.

— Командира батареи я предупрежу. — Штукаренко пошел вдоль траншеи.

Именно в эту минуту позади него и немного правее послышался быстро нараставший грохот. Полковник выскочил из траншеи и увидел майора Харитона и лейтенанта Татарина уже на уцелевшей позиции.

— Шмаков,— крикнул лейтенант. — К орудию!

Шмаков выскочил из траншеи и побежал, на ходу засовывая в карман записную книжечку. Через минуту прозвучал выстрел — орудие теперь было повернуто именно в ту сторону, откуда нарастал гул. Вслед за первым выстрелом землю тряхнуло еще дважды, но Шмаков стрелял вслепую — танков он не видел.

А еще через несколько минут почти под самым холмом, на котором стояла пушка, полным ходом промчались назад два вражеских танка, и Штукаренко различил на солдатах, припавших к броне, черные комбинезоны и шлемы танкистов. Гусеницы вздымали гигантские снежные фонтаны, второй танк почти целиком заволокло густой белой порошей, но он ошалело мчался, каждую минуту рискуя налететь на передний, если бы тот затормозил. Черные комбинезоны лишь на мгновение промелькнули сквозь метель, из траншеи ударили по ним из всех пулеметов и автоматов, но сплошная, непроницаемая мгла сразу поглотила танки, и нельзя было сказать, попал ли хоть один выстрел в цель. Через минуту от них остался лишь металлический скрежет, который удалялся так же быстро, как и нарастал.

— Туда их как будто прошло больше, чем оттуда? — рассмеялся майор Харитон, и его роскошные усы, облепленные слоем обледеневшего снега, комически зашевелились. — Выходит, и там их кто-то славно угостил.

— Не дождалась своей пехоты,— высказал предположение Штукаренко.

— Верно, остались без горючего. Подобрали уцелевшие экипажи — и деру,— прибавил майор.

Они пошли по траншее до лесной посадки, где разместился штаб артдивизиона, и уже почти у первых деревьев их нагнали сани с раненым старшим сержантом, которого везли в санбат.

Трудно приходится человеку, несущему непомерный груз ответственности за жизнь других людей, когда его самого отягощают еще и личные заботы. Но стократ труднее, когда эти личные заботы еще вызваны муками совести, от которых нет избавления.

Как-то, еще в сорок первом, во время боя на западном берегу Днепра, Шумаков был свидетелем того, как капитан вынес с поля боя своего раненого командира. Командир понимал, что капитан спас ему жизнь, и был ему искренне благодарен. Но все же вскоре устроил так, что этого капитана откомандировали из дивизии в армейский резерв, потому что считал, что начальник не вправе иметь подчиненного, которому чем-то обязан: ему казалось, что это создавало ненормальную для армии моральную зависимость старшего по службе офицера от своего подчиненного.

Хорошо зная обоих, Шумаков уже тогда понял, что дело не в высоких материях. Человек не хотел вообще быть обязанным, а поскольку это касалось офицера низшего по званию и служебному положению, считал, что лучше избавиться от него совсем. И разве имело значение, как это расценит капитан? Важно было прикрыть свою неблагодарность соображениями высшего порядка, ибо ничто, кроме чести мундира, для него не имело значения.

Шумаков со Шмаковым так поступить не мог — тем более что его обязывала не благодарность.

Таким образом, появление его в дивизии осложняло положение комдива. И уже не имело особого значения — останется Шмаков в резервном полку или перейдет работать в политотдел, где будет значительно больше шансов встретиться с ним с глазу на глаз, главное — Шумаков знал, где тот находится, и уже не мог избавиться от желания хоть чем-то помочь ему.

С самого утра он ловил себя на том, что с особым нетерпением ждет возвращения Штукаренко из резервного полка. Там, правда, и ситуация сложилась более тревожная, чем в других полках, — комдив мог волноваться и о самом Штукаренко, который, как ему доложили, прибыл в артдивизион майора Харитона именно в тот момент, когда на одной из его батарей произошла катастрофа. Но на этой батарее был и Шмаков, и комдив нет-нет да и ловил себя на том, что волнуется о нем не меньше, чем о своем заместителе.

Все это отвлекало от главного — от того, что происходило вокруг. После бешеного натиска вражеских танковых частей изнутри корсунского котла — натиска, который не прекращался на протяжении всей прошлой ночи, советские части на этом участке фронта понесли значительные потери, и дивизия Шумакова фактически уже превратилась из тылового заслона в составную часть общего кольца. Что и говорить, подумать было о чем!

Он уже был в своей землянке, когда вернулся Штукаренко. Поблудневший и усталый, еще больше ссутулившийся, замполит не сел, как обычно, а повалился на свои шаткие нары и вяло, почти жалобно улыбнулся.

— Знаешь, когда я еще был мальчонкой, к нам на луг забрел волк. А лошади паслись спутанные, к ним он и подбирался. Вокруг ни души, представляешь, что мне пришлось пережить? Тогда я вернулся домой приблизительно в таком же состоянии, как сейчас.

— А лошадей все-таки спас? — спросил комдив без особого интереса.

— Спас!

— Как же тебе удалось?

— Понимаешь, я тогда был не в себе, так что подробностей не помню. Кинулся к лошадям как сумасшедший, а волк постоял на полянке, повернулся и ушел. Медленно так, неохотно... Только один раз оглянулся — презрительно поглядел на меня и побрел в лес. Я тогда не знал еще, что волк в большинстве случаев избегает нападать на людей, так что в субъективной стороне моего личного героизма можешь не сомневаться, — пошутил полковник, и лицо его оживилось.

— А почему ты вдруг об этом вспомнил? Вроде в чем-то оправдываешься...

— В чем мне оправдываться? — брови Штукаренко сурово сошлись над горбатым носом, а глаза блеснули.

— Сам удивляюсь: почему ты вдруг заговорил о своем героизме? — громко рассмеялся Шумаков.

— Да ну тебя, — добродушно ругнулся полковник и стал раздеваться. Швырнул в угол пояс с портупеей, на котором тяжело повисла кобура, снял шинель и лег.

С минуту оба молчали — Шумаков сидел, а Штукаренко лежал, долговязый и тонкий, как жердь. Глаза закрыты, — похоже, уснул.

— Уничтожили батарею, дьявол бы их побрал! — неожиданно заговорил полковник и резко поднялся. — Точнехонько как под Медведкой, помнишь? Измолотили гусеницами.

— Командир батареи жив? — спросил комдив, не желая выдать своего нетерпения — скорее узнать о Шмакове: он непрерывно думал о нем и все ждал от Штукаренко хоть упоминания.

— Жив, — ответил полковник. — Не растерялся. Трое убитых, двое раненых, а мог и сам погибнуть и всех потерять.

Шумакова такой ответ не удовлетворил, но расспрашивать он все же не решился.

— Чаю выпьешь? — спросил, и только. — Щеки у тебя совсем запали.

— Давай, — равнодушно согласился полковник.

Шумаков протянул руку к дверке и, не поднимаясь, приоткрыл ее. В землянку ворвался холодный воздух со снегом.

— Приходько! — крикнул комдив. — Как у тебя с чаем?

Из хода сообщения никто не ответил, но Шумаков знал, что ординарец где-то поблизости и наверняка слышит. Подняться и убедиться в этом не было сил.

— Я вот о чем думаю, — заговорил Штукаренко. — Почему они ударили танками без поддержки пехоты? Воистину, кого бог хочет покарать, того лишает разума.

— Какая-то подозрительная стрельба была у них сегодня в тылу, — ответил комдив. — Как раз напротив позиций резервного полка — километрах в пяти от передовой. Что там произошло — неизвестно, но стрельбу, и очень интенсивную, наши разведчики слышали.

— Вот оно что! — заинтересовался Штукаренко. — А что там у них в котле вообще происходит?

— Ты что, сам не был в окружении в сорок первом? Не знаешь, как в котлах весело?

— Представь себе, не приходилось! — устало улыбнулся полковник.

— Твое счастье, — сказал комдив. — В котле, особенно когда температура достигает критического градуса... — Он не договорил, но что происходит в окружении при таких обстоятельствах, было ясно.

Появился Приходько. Он нес перед собой железный поднос, на котором стояли два стакана и тарелочка с печеньем. У ординарца был весьма торжественный вид, и только прозаический алюминиевый чайник с ручкой, обмотанной толстой веревкой, чтоб не жгло руку, снижал эту торжественность.

— Простите, товарищ комдив, столовая наша засела где-то в заносах, так что... — Он поставил поднос на нары перед Шумаковым.

— К тому же, — продолжал комдив, не обращая внимания на жалостные слова ординарца, — кипит их котел на чужой земле, а это, верно, немного посложнее, чем попасть в окружение у себя на родине.

— Странно... — буркнул Штукаренко, имея в виду эту стрельбу во вражеском тылу, и поднес к губам горячий стакан.

Приходько потоптался на месте и вышел.

Оба молча пили чай. Вдруг Шумаков словно невзначай спросил:

— Ага, чуть не забыл! А как там мой подопечный?

Полковник сразу понял, о ком речь. Он уже несколько раз сам хотел рассказать о своей встрече со Шмаковым, но боялся показаться благодетелем, который оказывает товарищу личную услугу, да еще и сам напоминает о ней, как бы требуя за это благодарности.

— А знаешь, он произвел на меня неплохое впечатление, — сказал Штукаренко.

У Шумакова отлегло от сердца.

— Когда-то был веселый парень, шутник... — проговорил комдив, стараясь сделать вид, что все это его не так уж интересует.

— Правда? А мне он показался достаточно мрачным, во всяком случае, не весельчаком.

— Что ж, в жизненных переплетах люди часто утрачивают эту прекрасную черту, — тихо ответил комдив и, допив чай, поставил стакан на поднос.

— Возможно, — так же тихо произнес полковник, встал и стал застегивать шинель.

— Ты куда?

— Зайду к своим. Надо подписать политдонесение и еще кое-что.

Штукаренко вышел. В землянку снова ворвался холодный воздух. После выпитого чая он приятно остужал лицо. С минуту комдив посидел, раскачиваясь всем туловищем, как магометанин во время намаза, потом тоже поднялся. Следовало зайти к начальнику штаба, обсудить

текущие дела. Идти не хотелось, но надо было. Шумаков рывком встал, как всегда забыв о раненой ноге, и чуть не вскрикнул от боли, пронзившей его, как электрический ток. Постоял, пока боль утихла, медленно надел папаху, как положено, немного заломил ее назад. Взял в углу палку и, стараясь идти как можно ровнее, шагнул в ход сообщения. Приходько сидел на ящике, как видно дожидаясь, когда можно войти и убрать стаканы. Он поднялся, прижался к стене неглубокой траншеи, пропуская комдива, и Шумаков увидел его немолдое, поросшее седыми волосами круглое лицо. На нем тоже лежала печать усталости, и комдив, не останавливаясь, коснулся рукой его плеча.

— Иди, старина, можно убрать,— дружески кивнул он ему и заковылял по траншее, опираясь на палку.

16

Вечером положение на фронте резко изменилось — после двух неудавшихся попыток окруженных частей противника прорваться к своим советские войска перешли в наступление на нескольких направлениях и рассекли огромный немецкий котел поперек. В большей его части оказались основные базы снабжения боеприпасами и горючим, которого, собственно говоря, там оставалось в обрез, а в меньшей — танковые и артиллерийские подразделения, у которых к этому времени уже совсем нечем было заправлять машины и заряжать стволы. Таким образом, окруженные части противника потеряли всякую надежду вырваться, потому что ни танкисты без горючего, ни пехота без орудий не могли разомкнуть железные клещи советских частей, у которых было и горючее, и боеприпасы, и, главное, там, где им положено быть.

Немецкие генералы с мольбой поглядывали на небо — только оно и могло их спасти. Из Берлина шли шифровки с обещаниями и приказами, похожими на заклинания. Положение, в котором оказались войска Гитлера, окончательно вытесненные с Правобережной Украины, вошло бы в критическую фазу, если бы на Днепре повторился Сталинград.

Но выюга не прекращалась, тяжелые серо-синие тучи обложили все небо, уже не первый день ветер гнал их с юго-запада на северо-восток, и снег сыпался из них, словно из бездонного резервуара. Сырая поземка подхватывала и крутила его в неистовом вихре. Тяжелые транспортные самолеты не могли оторваться от занесенных снегом степных аэродромов, а если пилоты и отрывали их, то летели вслепую, не уверенные, что груз попадет по назначению.

И он действительно попадал не туда, куда хотелось бы немцам. С самого утра Шумакову стали докладывать из полков о том, что контейнеры с горючим падают в места их расположения, а из артдивизиона сообщили, что возле третьей гаубичной батареи упали два огромных ящика с колбасами, галетами и шоколадом. Это означало,

что у врага нет и харчей,— стало быть, дня через два-три в его частях начнется голод.

Дивизия еще с вечера стала сниматься с заснеженных степных оврагов и голых обветренных холмов. Шумаков получил приказ вести ее в полосу прорыва, разрезавшую вражеский котел на две части,— там войск было немного, и враг мог попытаться ликвидировать щель в середне котла. В поле до сих пор мело, иногда ветер стихал и вьюга ослабевала, но мокрый снег все валил и валил. На перекатах бойцы преодолевали высоченные сугробы, брели в снегу, как в воде, а когда выходили на ровное место, в валенках хлюпало.

Штаб дивизии был уже в Городище. В поле, на старом месте, оставались только некоторые подразделения обеспечения и связисты, остальные ждали, пока войдет в строй новый узел связи. В неудобной землянке комдива остался Приходько — Шумаков должен был захватить на несколько минут, возвращаясь из полков, чтобы вместе со своим ординарцем привести в порядок вещи и бумаги.

Выйдя из газика, комдив сразу увидел у входа в землянку своего ординарца и еще кого-то с санитарной сумкой через плечо. Подойдя поближе, он услышал высокий женский голос и узнал Аню Хохол, которая строго отчитывала Приходько. Ветер относил ее слова в сторону, и расслышать их было невозможно, но ее возмущение, резкие взмахи рук, наступательная, даже агрессивная поза развеселили Шумакова.

Он понимал, зачем она здесь. Ногу следовало перевязывать по крайней мере через день, а он уже третьи сутки не был в санбате. Теперь, когда после ранения прошло больше двух недель, возможно, это было уже не так важно, но в нем шевельнулось чувство острой вины перед этой женщиной, которая тогда в коридоре санбата спасла его ногу от ампутации. Как он смел после этого не явиться на перевязку, раз она этого требовала?

Аня немного смутилась, увидев Шумакова, но сердиться не перестала, и на ее бледном личике с нежной кожей было написано возмущение.

— Товарищ комдив, ну как же так? Это безобразие! — Она моментально перенесла свой гнев с Приходько на Шумакова.

— Здравствуйтесь,— приветствовал ее комдив.

— Так же нельзя! — не унималась она. — Неужели вы не понимаете...

— Заходите, пожалуйста. — Шумаков гостеприимно указал ей на выщербленные ступени в траншее, ведущие к землянке.

Его вежливость обезоруживала. Аня готова была улыбнуться, но сдержалась и осторожно стала спускаться. Приходько чуть заметно подмигнул комдиву,— дескать, попались. Но Шумаков не ответил на его лукавую улыбку и осторожно встал на скользкую глиняную ступеньку.

В землянке теперь было просторнее — нары Штукаренко уже разобрали и увезли на новое место вместе с его вещами. Остались лишь

четыре столба, вбитые в глиняный пол. Копилка тускло горела в небольшой нише наверху.

— Простите, только тут и можно сесть. — Шумаков указал на свои еще застеленные одеялом нары. Он почему-то терялся в ее присутствии, и ему казалось, что приглашать женщину сесть на кровать — не очень прилично.

Аня не ответила, положила на нары свою сумку и стала доставать из нее все необходимое для перевязки. Огляделась, искала, где помыть руки, не нашла и стала откупоривать бутылочку со спиртом, чтобы протереть их. И вдруг предложила:

— Давайте я помогу вам разуться.

— Не беспокойтесь, я сам, — возразил Шумаков.

— Нет, нет, садитесь.

Ему и впрямь было трудно сделать это самому. Белые бурки с широкими голенищами, в которых удобно умещалась раненая нога, не сгибались, и всякий раз, когда приходилось их снимать, он звал Приходько.

— Не стесняйтесь, я врач! — впервые улыбнулась она.

Шумаков подчинился, но ногу протянул ей не без страха. Аня заметила это и громко рассмеялась:

— Не бойтесь, я врач!

Аня смотрела на Шумакова снизу, и глаза ее светились покровительственной добротой взрослого человека, который успокаивает малыша перед тем, как сделать ему больно. И дважды повторенное «я врач», и уговоры не стесняться и не бояться, потому что врач боли не причинит, — все это, разумеется, были привычные слова, но звучала в них и трогательная забота, и она действовала обезоруживающе.

Когда она дернула бурку, Шумаков почувствовал резкую боль, но сдержался.

Впрочем, она заметила:

— Неправда, вам не больно. Вы сейчас не должны испытывать боли.

— Ах, не должен! — Его рассмешила ее наивная непосредственность. — Ну, раз не должен, значит, и не чувствую.

По тому, как Аня отвернулась и спрятала лицо, Шумаков понял, что она тоже смеется, но не отвечает на его шутку, чтобы не показать, что собственная категоричность рассмешила и ее. Сидя на корточках и разматывая бинт, она делала вид, что занята и даже не расслышала его насмешливого, но дружеского замечания. А он смотрел сверху на ее маленькую аккуратную головку, на черные волосы, собранные на затылке в тугий узел, и чувствовал, как к сердцу подкапывается внезапная волна нежности и обдает его каким-то необычным теплом. Его трогала жесткая грубоватая шинелька на почти детских плечиках, хотя и сшитая, как видно, специально для нее, но все же слишком грубая и неуютная для ее хрупкой фигурки, которая угадывалась под солдатским сукном. Он молча глядел на ее ловкие руки, осторожно и точно делавшие свое дело, и думал о том, что судьба почему-то именно в таких обстоятельствах вот уже вторично дарит

ему волнующее чувство нежности — тогда, в тридцать шестом, в светлой палате мадридского госпиталя, и теперь, здесь, в полутемной землянке под Корсунем. В памяти возникло лицо Сабинны — такое, каким оно было на фотографии, лежавшей в кожаном чемодане. Ее широко раскрытые глаза не укоряли. На миг в нем шевельнулось сомнение, но неосознанное раскаяние уплыло, пропало, словно сама Сабина сняла его с сердца невидимым взмахом руки. И снова видение растаяло так же внезапно, как появилось, и Шумаков увидел светлую полосочку пробора и тугой узел, который спускался на жесткий, торчком стоящий воротник.

Аня туго завязала кончики бинта и выпрямилась.

— Я же сказала, что не будет больно! — Она впервые поглядела прямо в лицо комдиву, и во взгляде ее была затаенная улыбка.

Хотелось сказать ей что-то ласковое, нежное, но Шумаков не посмел.

— Спасибо! — произнес он и поднялся. — Я действительно не чувствовал боли.

Уже стоя в дверях, Аня сказала:

— Послезавтра надо перевязать еще раз.

— Хорошо, — ответил комдив. — Только обстановка сейчас такая.. Не знаю, смогу ли попасть в санбат.

— Я приеду сама. — Она взялась за щеколду.

— О вашем оформлении в штат санбата я не забыл, — сказал Шумаков ей вдогонку. — Станет немного легче на фронте, я этим займусь.

— Спасибо, — обернулась Аня. Она задержалась еще на минуту, словно колебалась, и спросила: — Простите, товарищ комдив, я знаю, что вы представили моего бывшего мужа... Еще ничего не слышно?

— Думаю, указ будет в ближайшие дни.

— Да, да, — сказала Аня. — До свидания. — И вышла.

Шумаков стоял, легонько опираясь на разутую ногу и глядя на маленькую дверку, за которой скрылась Аня.

17

Днем майор Харитон позвонил начальнику штаба Дивизии и доложил, что почти целиком потерял три батареи и не может обеспечить огневую поддержку двум стрелковым полкам, как от него это требуют. Лемешко спокойно выслушал и так же спокойно ответил, что оставшихся в целости орудий у Харитона немало, а за невыполнение приказа его предадут военному трибуналу.

Такой ответ взбесил майора. Усы его гневно зашевелились, и он процедил сквозь зубы:

— Я буду жаловаться командиру дивизии!

— Вам надлежит просить разрешения обратиться к старшему начальнику, а не грозить мне, — спокойно, как и раньше, произнес Лемешко. И прибавил: — Разрешаю обратиться к комдиву. — И повесил трубку.

Впрочем, подумав с минуту, решил, что не стоит ждать, пока майор пожалуется комдиву и тот вызовет его, а лучше самому пойти к Шумакову. Полки требовали артиллерийской поддержки, они тоже понесли немалые потери, но не жаловались, а шли вперед, не ожидая, пока их пополнят. Его возмущал самый тон артиллерийского майора и в то же время волновало положение двух полков, которым предстояло выполнять задачу без необходимой поддержки.

Лемешко появился в ходе сообщения в тот момент, когда Шумаков вышел из блиндажа и направился к связистам. Начштаба понял, что он опоздал,— боец уже держал трубку и ждал, пока подойдет полковник.

Шумаков выслушал жалобу командира артдивизиона, и по тому, как ответил, Лемешко понял, что комдив отнесся к майору благосклоннее, чем он сам.

— Надо немедленно связаться с начальником артиллерии и все же доукомплектовать дивизион,— обратился он к Лемешко.

— Разрешите заметить, товарищ комдив. Майор Харитон безответственно относится к делу.— И хоть говорил Лемешко резко, речь его, как обычно, звучала спокойно.— Надо ремонтироваться на месте, для этого у него есть походные мастерские. Орудия не игрушки, и начальник артиллерии не нянька, чтобы поставлять новые, если их не умеют беречь.

Шумаков с любопытством поглядел на своего начштаба. То, что он говорил, было совершенно правильно, но одновременно с тем получалось, что не майор Харитон, а комдив, который обещал ему помочь, не понимает, что орудия не игрушки, а начальник артиллерии не нянька и что он, подполковник Лемешко, заботится о сохранении материальных ресурсов армии, а командир дивизии — нет.

— Вы, кажется, в чем-то обвиняете меня? — едва сдерживаясь, заметил Шумаков.

— Что вы, товарищ комдив. Разве я не прав, когда речь идет о таких, как командир артдивизиона?

Шумаков помолчал.

— Хорошо. Этим я займусь сам,— тихо проговорил он. И через минуту спросил: — Что у вас?

— Ничего особенного.

— Без особой необходимости во время боя не стоит уходить со своего места,— бросил Шумаков и пошел обратно к своему блиндажу.

— Простите.— И Лемешко вдогонку щелкнул каблуками.

Через несколько минут Шумаков снова вышел из блиндажа, уже одетый. Три оседланные лошади ждали у хода сообщения, рядом стояли лейтенант Сердюк и коновод Храпченко. До командного пункта артдивизиона можно было добраться и на машине, но тогда пришлось бы сделать немалый крюк и ехать значительно дольше, чем напрямик на лошадях. Впереди — Шумаков, справа и, как положено, немного сзади — лейтенант Сердюк; Храпченко отстал метров на тридцать — тоже как положено коноводу. Поле, покрытое подтаявшим снегом,

пестрело следами солдатских сапог и причудливым переплетением разбитых дорог. Оно напоминало огромное стойбище, по которому после ливня прошло стадо, или разъезженную, только что опустевшую ярмарочную площадь.

Шумаков знал — перед рассветом здесь прошла кавалерийская бригада. Ее подвели к самому горлу танкового прорыва, который перерезал пополам вражеский плацдарм, и держат наготове, чтобы бросить в бой, если враг не примет последнего ультиматума. Значит, после того как здесь прошли сотни коней, можно ехать напрямик, не рискуя наскочить на вражескую мину.

Когда миновали неглубокий овражек и поднялись на бугор, Шумаков остановился.

— Храпченко! — крикнул он, обернувшись в седле, и коновод погнал вперед свою гнедую кобылку. Когда Храпченко подъехал, Шумаков спросил: — Деревья видишь? — И показал на небольшую темную кучу, маячившую километрах в двух, в долине.

— Так точно, вижу, — петушиным голоском ответил Храпченко.

— Мчи туда, к майору Харитону, передай — пусть до моего прибытия обеспечит связь с триста пятнадцатым и четыреста восемьдесят девятым полками и их командиры ждут у аппаратов.

— Есть! — взмахнул рукой Храпченко, чуть не сбив с головы ушанку, и погнал кобылу вперед.

Комдив понимал, что с таким поручением посылают адъютанта, а не коновода. Но Сердюк и верхом ездит не очень уверенно — чего доброго, вылетит из седла, если конь оступится, да и застенчивый он какой-то, будто не командовать обучался в военной школе, а только выполнять чужие приказы. Правда, с писаниной справляется отлично, немецким владеет свободно, немного знает английский и даже французский... Шумаков из-за этого и взял его к себе. После покойного Голобородько, ловкого и остроумного, но не очень воспитанного здоровяка, хотелось иметь возле себя человека интеллигентного и небогатого.

Храпченко был уже далеко, как вдруг разорвался снаряд, и Шумаков увидел, что коновод слетел с лошади, а та поднялась на дыбы и повалилась в снег. Комдив пришпорил коня. Подъехав, он увидел, что лошадь мертва, а Храпченко корчится на снегу, как видно, тяжело раненный.

Пока Шумаков расстегивал на нем полушубок, а потом гимнастерку, подъехал и Сердюк.

— Оставайтесь возле него, я сейчас пришлю санитаров. — Шумаков вскочил на коня и галопом помчался на хутор. Он летел, не помня себя от ярости: в потрепанных батареях Харитона все-таки осталось по одному, а то и по два орудия, не говоря уже о тех, что были полностью боеспособны. А майор позволяет окруженному врагу, у которого к тому же снарядов в обрез, обстреливать даже одиночных бойцов!

Запах жареного мяса ударил ему в нос, еще когда он спускался в блиндаж командира артдивизиона. На самодельном столике, сбитом

на скорую руку, выслалась огромная гора котлет и несколько бутылок французского коньяка. Майор Харитон сидел в расстегнутом кителе и держал полную рюмку. Видно, собрался провозгласить тост, а трое других офицеров с разгоряченными, как и у него, лицами держали пустые рюмки, которые ординарец наполнял из пузатой бутылки.

Шумаков остановился в дверях, несколько оторопев от этого зрелища. Тем временем Харитон увидел неожиданного гостя, лицо его расплылось в беспомощной улыбке, за которой нетрудно было разглядеть внезапную тревогу.

— Встать! — приказал он, быстро поставил рюмку на стол и стал застегивать китель. — Товарищ комдив, разрешите доложить... — начал он, но язык его явно заплетался.

— Майору Харитону остаться, остальным выйти, — тихо проговорил Шумаков, не давая ему закончить. — Где замполит?

Майор стоял ни жив ни мертв, он понял, что пропал, думал только об этом и уже не в силах был ответить на вопрос комдива.

— Капитан Семипол поехал в триста пятнадцатый, — успел доложить ординарец, выходя из блиндажа.

— Сюда его немедленно!

— Есть, — ординарец убежал.

— От командования арtdивизионом я вас отстраняю, — твердо, не повышая голоса, проговорил Шумаков и раскрыл дверь. — Ординарец! — крикнул он в глубь хода сообщения. И прежде чем тот влетел в блиндаж, спросил: — Где разведкарта?

Только теперь майор опомнился. Бросился в угол, вынул из планшетки карту, подал комдиву. Шумаков развернул ее, но на столе нигде было ее расстелить.

— Убрать, — приказал Шумаков ординарцу, который стоял у двери, и глаза его гневно сверкнули. — И немедленно вышлите санитаров — в полутора километрах севернее ранило моего коновода. Мигом!

Ординарец сбросил бутылки на пол, подхватил поднос с котлетами и молча выбежал. Шумаков расстелил на столе карту и стал изучать ее. Две немецкие батареи, еще способные обстреливать передовую триста пятнадцатого полка, были обозначены синим. Они стояли на холмах, у них были удобные позиции с хорошим обзором и широким полем обстрела; было ясно, что снаряд, которым ранен Храпченко, тоже выпустила одна из них. Между тем даже те батареи арtdивизиона, которые понесли наибольшие потери и были разбросаны по полкам, в основном состояли из орудий среднего калибра, так что и самые дальние из них могли достать врага. Если же огонь сконцентрировать, последние немецкие орудия давно бы замолкли.

— Товарищ комдив, — забормотал майор Харитон. — Победа ведь, мы ж хотели отметить... И как раз корову убило, не пропадать же...

Шумаков на миг оторвал взгляд от карты и поглядел на майора снизу.

— Снимите погоны!

Лицо майора сразу перекосилось, и глаза наполнились слезами.

— У меня дети...

— А у бойцов, которых немцы убивают по вашей вине, нет детей? — гневно бросил комдив.

— Клянусь! — закричал майор.

— Снять погоны! — еще тише, чем раньше, проговорил Шумаков и снова склонился над картой.

Когда он выпрямился, майор уже держал погоны в руке и тихо плакал. Шумаков сложил карту и вышел из блиндажа. Неподалеку, у хода сообщения, возле аппаратов на корточках сидели телефонисты. Комдив вынул из кармана линейку и, держа перед собой полуразвернутую карту, стал измерять координаты.

— Командиров батарей к аппаратам! — приказал Шумаков телефонистам.

Через минуту ему уже протянули пять трубок. Комдив взял первую и стал передавать координаты, после чего приказал навести все имеющиеся в наличии стволы, чтобы они были готовы беглым огнем ударить по его сигналу. И тут сзади, из блиндажа, послышался приглушенный выстрел. Шумаков вздрогнул: он понял, что означал этот выстрел. «Эх, не отобрал у него пистолет!» — огорченно подумал он. С минуту постоял молча, держа трубку в руке, потом взял вторую и тоже стал передавать координаты.

А когда сигнал был подан и с разных концов фронта дивизии загрохотало, Шумаков подумал: «Все-таки Лемешко был прав. Вернусь в штаб, вызову и откровенно скажу ему это».

18

Ксения еще сидела возле Оленки, а Любка Хворостяная лежала позади них на куче хвороста, притихшая, убитая горем после смерти Грини. Она, верно, задремала, потому что не шевельнулась, когда из-за кустов вышел Гнат Голубничий.

— Прощаться пришел, — сказал он тихо и как бы виновато. — Надо возвращаться в Калитву...

Ксения резко поднялась. Перед этим она сидела угнетенная, равнодушная ко всему и никак не могла прийти в себя после выстрела, которого так и не услышала. Но, когда Гнат подошел, встрепенулась. Широко раскрытые глаза глянули испуганно, дико, и она прошептала едва слышно:

— А как же я?

Голубничий смутился, точно Ксения боялась оставаться здесь, потому что его не будет рядом.

— Вы среди своих. Тут безопасно. Да и дело для вас, надо думать, найдется. — Гнат говорил, словно оправдываясь.

— Нет, нет, — чуть не вскрикнула она. — Где Микита Харитонович? — И, не ожидая ответа, побежала.

Голубничий растерянно поглядел ей вслед, потом тоже пошел по узкой просеке обратно, туда, где скрылась Ксения.

После ночного нападения на колонну вражеской пехоты Сиволап быстро погрузил пулеметы на лошадей и вернулся в лагерь. Теперь он отдыхал у себя в палатке. Проснулся, услышав быстрые шаги на поляне, и, когда Ксения откинула брезент, уже сидел на соломе и ждал.

Утомленный, правда коротким, но очень напряженным босм и тяжелым переходом с северной окраины леса на южную, Сиволап никак не мог стряхнуть с себя тяжелую дремоту. Впрочем, он понял: Ксения хочет вернуться в Калитву. Из ее торопливых слов, которые Ксения не успела ни обдумать, ни взвесить, до Сиволапа постепенно доходило, что она возмущена расстрелом Тымиша Непорожного, называет этот расстрел расправой и требует дать ей возможность доказать, что родной отец не мог выдать сына, а донес на Федора — Шольца.

Микита Харитонович слушал и едва сдерживался, чтобы не выгнать ее из палатки. Фактически Ксения обвиняла его в убийстве невинного человека, а стало быть, не верила и Голубничему, который сам слышал, что говорил Тымиш коменданту. А Сиволап знал Гната, знал и старого Тымиша, да и из допроса было ясно, что виновен во всем старик. Сиволап понимал, что если отпустить Ксению в село, где ее, безусловно, ждут, то она погибнет ни за понюшку табаку. Но он и сам был взбешен. Ведь запретить ей уйти он тоже не имел морального права — Ксения обвиняла его, а не кого-нибудь другого. Он знал — злость плохая советчица, а все же подумал: «Что ж, попробуй, раз такая горячая, докажи!» Но вслух сказал:

— Ну а где же вы собираетесь прятаться?

— Гнат что-нибудь придумает,— сверкнула она глазами на Голубничего, словно приказывала ему не возражать.

— А если не сможет? — Сиволап презрительно усмехнулся. — Ты, Гнат, что скажешь? — обратился он к Голубничему.

— Спрятаться можно... — неожиданно для Сиволапа согласился Гнат. — Да и провести без документов в село не трудно, а свой человек мне и для связи пригодился бы...

— Свой человек,— пробормотал Микита Харитонович. Он хотел спросить: как же ты полагаешься на этого своего человека, если он тебе не верит, если он убежден, что ты оговорил Тымиша? Но вслух сказал:

— А ребенок?

— Девочка с Любой останется. Сейчас ей лучше у вас.

Сиволап медленно поднялся, взял самокрутку, свернутую еще перед тем, как лечь спать,— тогда не было сил даже курить,— высек огонь и глубоко затянулся.

— Ладно,— сказал он тихо. И повернулся к Голубничему: — Только ты смотри мне!

— Ясно! — ответил Гнат, понимая, что означает это предупреждение. Дескать: «За ней смотри, глаз не спускай!»

Когда выбирались из чащи, Гнат шел впереди, раздвигал мокрые

ветки, словно прокладывал Ксене дорогу. Перед тем как выйти на подяну, выглянул из-за кустов. В занесенной снегом низине было безлюдно. Грохот моторов доносился издалека, из-за холма: после утреннего нападения на тыловиков машины делали крюк, чтобы не проезжать близко к лесу. Убедившись, что все в порядке, Гнат пропустил Ксению вперед, взял винтовку наперевес и повел женщину по Корсунской дороге.

Пока пробирались лесом, Ксения успокоилась. Внезапное возбуждение улеглось, но решительность, с которой она держалась у Сиволапа, осталась, и она шла спокойная, уравновешенная.

Над долиной висел туман. Издали доносился глухой гул, словно раскаты грома после дождя. Под ногами проваливалась непрочная корка влажного нетронутого снега, который покрыл всю поляну ровным толстым слоем. Проваливаясь, ноги окунались в холодную жижу, и Ксения чувствовала, как в больших для нее сапогах между пальцами хлупает вода.

Когда перебрались через низину, из тумана возникли темные тени сгоревших машин, а возле них уже наполовину припорошенные снегом трупы фашистских вояк. Скрюченные, окоченевшие, они лежали на дороге и в кюветах, и Ксения перешагивала через них со страхом и отвращением. Она впервые видела подобное и чувствовала, как по спине пробегает дрожь, а лоб покрывается потом.

Наконец они миновали место недавнего побоища, и Ксения попробовала думать о другом. Разбитая дорога полого поднималась в гору, свежей колеи на ней не было, а старые почти все замело. Значит, машины тут не ходят. Ксения снова успокоилась, и зрелище, следовавшее ее все время, исчезло.

Они шли и тихо переговаривались. Гнат вслух перебирал фамилии людей, у которых можно укрыть Ксению. Ведь ей по крайней мере еще хоть раз предстояло вернуться в отряд: Сиволап приказал во что бы то ни стало разузнать, где держат немцы невольников, которых собирались отправить в Германию. Кто знает, как обернется дело, если советские войска подойдут еще ближе, а окруженным немцам некуда будет податься, они могут просто расстрелять этих людей.

Ксения слушала и только изредка переспрашивала.

Перебрав самых верных людей, Гнат решил устроить Ксению у Мирона Сагайдачного. Сам Мирон инвалид еще прошлой войны, а на этой потерял трех сыновей: на двух получил похоронки еще в сорок первом, а младший пропал без вести, — может, где-то в плену. У них и чердак хороший, и подвал потайной под хатой, а жена у Мирона — золотой человек.

— Обойдется, — успокаивал ее Гнат.

Ксения улыбнулась уголками губ и не ответила: она была спокойна. Повязка полица на рукаве Гната почти полностью гарантировала ее от неприятных неожиданностей на дороге.

Она шла, ощущая непривычную бодрость — впервые за последние дни. Со всех сторон долетал приглушенный гул дальнего боя, но

отдельных разрывов не было слышно, хотя земля то и дело вздрагивала сильнее, чем обычно, потому что где-то рвался особенно большой снаряд.

Уже темнело, когда они взобрались на гору. Здесь в Корсунское шоссе вливалась и та боковая дорога, по которой немцы теперь объезжали опасную поляну. И сразу, как только поднялись на холм, увидали колонну людей, которых вооруженные конвоиры, как видно, гнали в Калитву.

Колонна стояла на месте, а по ту сторону виднелся полузаслоненный людьми полосатый броневик и несколько военных.

Ксения резко остановилась. На миг остановился и Голубничий, но только на миг. Он сразу понял, что отсюда их тоже могли увидеть, и, если они попробуют свернуть на боковую дорогу или повернуть назад, немцы бросятся вдогонку либо начнут стрелять.

Ксения повернулась к Гнату, молча спрашивая, как быть.

— Идите, бояться нечего,— сказал Голубничий и для видимости легонько подтолкнул ее винтовкой в спину. — Если что, задержал на дороге — из Корсуня вы шли.

До колонны оставалось еще шагов тридцать, когда Гнат догадался, что это и есть те парни и девушки, которых не смогли отправить в Германию. А когда совсем приблизились к немцам, на дорогу вышел какой-то коротконогий лейтенант.

— А, полициант! — почти радостно воскликнул тот. — Где бить? Голубничий вытянулся.

— Патрулировал на дороге, господин лейтенант,— доложил он и козырнул.

Это было первое, что пришло в голову,— главным образом потому, что проверить на месте, жмет ли полицей, было невозможно.

— А это кто? — кивнул немец в сторону Ксени.

— Задержал на дороге, господин лейтенант,— так же четко отпартовал Гнат. — Без документов.

Ноги у Ксени подкашивались, она держалась из последних сил. Лейтенант подошел, оглядел ее с ног до головы своими круглыми глазами.

— Кто есть? — спросил он.

— Я из Корсуня,— заставила она себя ответить. — Шла в село раздобыть каких-нибудь продуктов.

— Марш в колонн! — приказал лейтенант, указав на парней и девушек, которые прижимались друг к другу, чтоб хоть немного согреться.

И Ксения, и Гнат понимали: выхода нет! Он не мог возражать, а она просить: немец еще начнет приставать или заберет в броневик. Гнат подтолкнул ее винтовкой в спину. Видел: пока чинить расправу над людьми не собираются, а там видно будет,— может, удастся и помочь. Как-никак в толпе легче затанься, а начнут допрашивать одну, спасения не будет.

— Полициант! — обернулся лейтенант к Голубничему. — Проводить арестованных с конвоем в Калитву, на вокзаль.

Гнат молча козырнул, а лейтенант сел в броневик и уехал.

Голубничий шел впереди колонны, рядом с незнакомым фельдфебелем, насупившийся, злой. Произошло самое худшее, и Гнат понимал — в том, что так получилось, виноват он сам: надо было подождать ночи.

Но теперь было поздно раскаиваться и упрекать себя, и он стал думать о другом: как выкрутиться из беды.

19

Пока шли по степи, а потом боковой дорогой вокруг Калитвы, совсем стемнело. Ксения незаметно забилась в середину колонны, чтобы смешаться с людьми, не попадаться на глаза часовым и заставить позабыть о себе. Пока было светло, она успела рассмотреть других девушек и молодых женщин; ее отличало от них пальто, перешитое из шинели Федора. Это рождало подозрение: казалось, Ксения причастна к тем, кто воевал с немцами, или сама воевала с ними.

В середине молчаливой колонны Ксения чувствовала себя спокойнее. Несколько раз, когда часовые отворачивались, она приподнималась на цыпочки и поглядывала на Голубничего. Он шел впереди и не старался подойти к ней поближе — это означало, что либо не нужно, либо нельзя. Понятно — ему виднее, он знает, как лучше.

Рядом тихо переговаривались, и Ксения узнала, что ее соседи не из Калитвы. Они еще не были ни истощены, ни измучены вконец — их забрали всего неделю назад, кормили, конечно, плохо, но на ногах молодежь еще держалась. Напряженно прислушиваясь к близкому грохоту фронта, они волновались: что будет?

К станции подошли уже ночью. Миновали забитые вагонами железнодорожные пути и груженные машинами платформы и остановились у большого пакгауза. Загремели широкие двери на железных полозьях, и часовые, гогоча, словно гуси, загнали всех в промерзшее насквозь пустое помещение. Потом двери с грохотом захлопнулись, и донеслось щелканье ключей.

Ксения ощупью вдоль стены пробралась в самый дальний уголок. Опустилась на цементный пол и стала переобуваться. Ноги оконечели, шерстяные носки, которые она связала прошлым летом, были насквозь мокрые. Она выжала их, кое-как согрела ноги под пальто и снова обулась. И вдруг вспомнила Шольца и Брунера — немцев, которых хорошо знала и которые знали ее: а что, если заглянут в пакгауз и увидят? Здесь от них не спрячешься, как в селе...

За стеной раздавались выкрики и приглушенные голоса. Волокли что-то тяжелое, потом что-то катили. Ксения прислушивалась, но не могла понять, что там происходит. Дважды ей послышалось «канистер» и «минен». Она не была уверена, что правильно разобрала слова, которые доносились снаружи, но вскочила, и сердце ее тревожно забилось. Канистры, — значит, пакгауз собираются облить горячим. Но при чем тогда мины?

Она отошла от стены, уселась в уголок и погрузилась в размышления. Если вокруг пакгауза закладывают мины, значит, не собираются покончить с собранными здесь людьми сразу. Мины — это от нападения извне. Да и зачем было вести их сюда, если хотели сжечь, ведь можно было просто расстрелять на дороге. Должно быть, проредят здесь до тех пор, пока не прояснится обстановка на фронте, а тогда — либо вывезут, либо сожгут пакгауз вместе с людьми.

Значит, есть еще немного времени. Придя к такому выводу, Ксения успокоилась. Прислонилась к стене и почувствовала, как по телу растекается усталость. Перед глазами замелькали события минувшего дня, и Ксения невольно закрыла лицо руками, вспомнив старика Непорожного, каким видела его в последний раз. Она старалась отогнать это видение, но напрасно. Пробовала думать о своем отце, но не могла.

Голова раскалывалась, кровь неистово пульсировала в висках, словно старалась пробить их. Надо во что бы то ни стало заснуть хоть ненадолго, утром потребуются силы — много сил. Но сон не приходил, и в мозгу роились мысли, с которыми Ксения не могла совладать.

Кто-то в потемках тронул ее за колено.

— Оляка, это ты?

— Нет, нет...

— А кто же, не Степанида?

— Вы ошиблись.

В непроглядной тьме зашуршали, кто-то ползком приблизился к сел.

— Боже, ребенок целую неделю один в хате, — застонал женский голос. — Кто ж его накормит, кто спать уложит? — Женщина больше ни о чем не спрашивала, она уже обращалась не к Ольге и не к Степаниде, а ко всему свету, словно он мог услышать ее и помочь.

— Сколько вашему ребенку? — взволнованно спросила Ксения.

— Четыре минуло, совсем еще маленький. Кто же его спать уложит, кто накормит, коли матери нет? — Женщина опустила голову на колени, и плечи ее затряслись в неслышном плаче.

Ксения положила руку на плечо соседки, готовая вот-вот тоже расплакаться.

— Люди накормят, не горюйте.

— Люди, боже мой, люди! — прошептала та и подняла голову.

Напрягая зрение, Ксения с трудом разглядела плачущую женщину. Она подумала об Оленке, та ведь тоже останется одна, если с нею, с Ксеньей, что-нибудь случится...

Может, горе этой женщины удалось бы немного облегчить, расскажи ей Ксения об Оленке. Но у нее не было сил. Пришлось бы слишком много объяснять, иначе женщина не поняла бы, что за ребенок и при чем здесь Ксения. В нескольких словах это не передашь...

Непокрытая голова женщины размеренно покачивалась. Может, та в воображении баюкала ребенка, которого вот уже неделю не было с ней.

Мысли стали путаться и угасать. Ксения прижалась к деревянной стене и сразу заснула. Во сне все время чувствовала боль в спине и боролась сама с собой, стараясь сесть поудобнее, но не могла ничего поделывать — спала. Проснулась от какого-то глухого стука, открыла глаза и увидела, что во все щели пробивается день. Синие лучики света неподвижно повисли в сплошном мраке, заполнившем огромный пакгауз, и в них медленно плавали мелкие пылинки, словно в стоячей воде. Впереди все зашевелилось — люди просыпались от стука, который разбудил и Ксению. Через отдушины под самой крышей в помещение летели буханки хлеба — неужели эти нелюди решили накормить арестованных? Но люди, хоть и были голодны, не бросались на хлеб — медленно разламывали его на ломти, следили за тем, чтобы всем хватило. Прежде всего передавали из рук в руки тем, кто сидел далеко, именно поэтому Ксения и получила свою пайку одной из первых.

Прислонившись к стене, она жевала скользкий, словно вылепленный из глины, овсяный хлеб, который никак не лез в горло. Голова была тяжелой от пережитого накануне, от кратковременного и беспокойного сна.

И вдруг до нее докатились слова, шепотом передаваемые друг другу:

— Ксения... Кто тут Ксения?

Услышав свое имя, она на миг испуганно замерла, не зная, как вести себя. И наконец шепнула девушке, которая повернулась к ней лицом:

— Я...

Девушка, теперь повернувшись к кому-то другому, передала ее ответ, и он поплыл в середину пакгауза. Ксения все еще сидела неподвижно, словно окаменев, словно ожидая удара. Дверь была закрыта, никто не заходил, — значит, ищет ее кто-то из этих людей...

Через минуту лица одно за другим стали поворачиваться в ее сторону. Наконец девушка, которая только что ~~пронесла~~ принесла ее имя, что-то тайком передала Ксении. Это была записка. Она поднесла ее к щели, сквозь которую пробивался лучик, и прочитала: «Следующей ночью». И на обороте — «Ксене». Подписи не было, только крошки хлеба прилипли к бумажке.

Сердце тревожно забилося. Неужели завтра ночью конец? Но она тотчас сообразила, что записка могла прийти только от Гната. Зачем же ему предупреждать ее, что их ночью расстреляют или сожгут живьем?.. Значит, речь о другом... Она свернула бумажку в тугий шарик и бросила в рот. Откусила кусок хлеба и проглотила все вместе.

А когда снова взгляделась в темноту, которая уже немного рассеялась, увидела несколько пар глаз, с надеждой устремленных на нее.

Под вечер над лесом пролетел вражеский самолет. Он гудел долго и натужно, очевидно, летел невысоко и медленно, но его не было видно. Среди деревьев клубился тяжелый туман, он окутывал кроны и поднимался к небу, а там, в вышине, сливался с облаками, отгораживая землю от неба плотной, словно войлочной, пеленой.

Через минуту гул затих, а еще через минуту совсем прекратился, и над лесом появились два парашюта.

Сиволап стоял под кустом, следил за белыми зонтиками, которые медленно увеличивались, как бы разбухая.

— Не десант ли? — спросил Данило Ищук, поглядев на Микиту Харитоновича большими темными глазами.

Сиволап не ответил. Парашюты медленно спускались, словно на чем-то повисли или тащили что-то за собой.

— Может, наши? — не удержался Ищук от нового вопроса и умоляюще поглядел на командира, но тот только покосился на него, как бы говоря: помолчи!

Парашюты исчезли среди деревьев недалеко — метрах в двухстах.

— А ну прихвати кого-нибудь — и тащите их сюда, — приказал Сиволап, и Данило бросился к просеке. — Финку возьми, может, на дерево придется лезть обрезать, — крикнул ему вслед Микита Харитонович.

Минут через двадцать Ищук с дедом Кнышем притащили два брезентовых мешка, запертые медными защелками. Попробовали нести на себе, но поклажа оказалась тяжелой, тогда сломали две ветки и по мокрому снегу волокли мешки, как на полозьях.

Пока открывали мудреные замки, вокруг собралось много людей. Стояли молча и с любопытством наблюдали за руками Сиволапа, который старался открыть замки, а когда открыли первый мешок, несколько голосов удивленно воскликнули: «Колбаса!»

— Ух ты! — пританцовывал и потирал руки дед Кныш, с жадностью поглядывая на твердые, словно долбленные из дуба, коричневые круги. — А ну дай попробую, какие они?

— Зубы сломаешь, — рассмеялся кто-то.

Кныш раскрыл было беззубый рот, чтоб ехидно ответить, но в это время заговорил Микита Харитонович, и старик замолчал.

— Никто не трожь, — приказал он. — Может, отравлены, кто знает. — И, обращаясь к Даниле, приказал: — Давай сюда Серого.

Вскоре все плотным кольцом окружили партизанского барбоса, который лежал на животе и, словно кость, грыз кусок колбасы, зажав его передними лапами.

— Если через час не сдохнет, разбирайте по своим мешкам, — приказал Сиволап. — А до этого никому не смей трогать, ясно?!

В ответ все зашумели, а Микита Харитонович пошел к палатке начальника штаба. Гонтарь, сидя на соломе, пришивал пуговицу к шинели. Он хотел подняться, когда увидел командира, — больше года

уже партизанил, а избавиться от армейской привычки не мог,— но Сиволап махнул рукой и буркнул:

— Сиди, сиди...

Гонтарь все же встал, воткнул иголку в шинель, которая осталась на соломе, расстегнул кармашек застиранной гимнастерки и достал бумажку.

Это была записка от Гната, которую тому самому пришлось перед рассветом отнести к старой вербе и опустить в дупло в надежде, что кто-то из лесовиков своевременно заглянет туда.

Всю прошлую ночь он помогал солдатам закладывать мины вокруг пакгауза. Мины были маленькие — противопехотные и большие — противотанковые: Бош приказал закопать и те и другие вперемежку — на случай если советские войска прорвутся раньше, чем пакгауз успеют поджечь, и попытаются таранить двери танком или бронемашинной. Полицай мог и не участвовать в минировании, но, услышав приказ Боша, понял: хоть и устал, хоть и надо сходить домой, показаться матери, но все это после, а сейчас необходимо быть здесь и собственными глазами увидеть, как будут минировать. Он сразу сообразил: если перед дверью закопают только противотанковые мины, они под людьми не взорвутся, надо лишь успеть передать Сиволапу, и тот со своими ребятами попробует освободить пленных.

В лес некого было послать, пришлось рискнуть и написать записочку в надежде, что немцы ее не перехватят. Писал осторожно, полупламеками, но так, чтобы Сиволап все понял.

Микита Харитонович взял из рук Гонтаря записку, написанную синим химическим карандашом на клочке измятой бумажки, и еще раз перечитал.

— Значит, так,— сказал он, подумав с минуту.— Много людей посылать не надо — если все выйдет так, как предполагает Гнат,— шестерых достаточно. Меньше людей — меньше шума.

— А кто с ними пойдет — вы или я?

— Пожалуй, я. Когда-то работал на станции, знаю там каждую дырку,— сказал Микита Харитонович.

Вышли из леса по двое с небольшими интервалами и разбрелись в разные стороны. Условились в два часа ночи сойтись в посадке, за пакгаузом. Пакгауз почти новый, обшит сороковкой снаружи и изнутри — крепкое сооружение, так что, возможно, позади и часового нет. А если он и будет стоять, Голубничий о нем позаботится — сам об этом пишет. А может, Гнат и будет там караулить, ведь пообещал нас встретить. Значит, сомневаться нечего. А дальше будет видно — действовать придется в зависимости от обстановки. Одно ясно: если пакгауз минирован, значит, солдат там немного. Да и не до того теперь немцам, чтобы выставлять целый взвод для охраны парней и девочек.

В поле началась метель, снег стал посуше,— значит, похолодало. Ветер дул с севера, и грохот фронта доносился оттуда громче, чем

с других направлений. Но и на юге гремело, и, несмотря на встречный ветер, сюда долетали отголоски. По временам там что-то вспыхивало, отблески окрашивали небо в алый цвет, пробиваясь даже сквозь выюгу.

Больше всего Сиволапа беспокоили Данило Ищук и Мишко Глинский. Сам он со своим напарником Репьяхом мог укрыться до назначенного времени в овраге в полукилометре от железнодорожной посадки, да и добираться до нее по глубокой ложбине было нетрудно, она хорошо маскировала. Гонтарь, который тоже пошел в паре с уже пожилым, но достаточно еще крепким Сулимой, мог чуть ли не до самой станции добраться по скалистому берегу Роси, где тоже можно в случае необходимости хорошо укрыться. А вот Ищуку и Глинскому выпала голая, как стол, равнина... А оба молодые, Мишко еще ничего, а Ищук безрассуден — сгоряча еще натворит глупостей. Надо было его посылать ложбиной или берегом, а самому идти по полю.

Микита Харитонович упрекал себя за такую неосторожность. Но все обошлось — именно Ищук и Глинский первыми пришли к назначенному месту. Спрятались за разрушенной будкой стрелочника и переполошились: возле пакгауза лаял пес. На таком расстоянии он, конечно, почуять их не мог, но, если подойти поближе, поднимет тревогу.

Решили, пока есть время, пробираться в овраг, к Сиволапу. О собаке он им ничего не говорил, очевидно и сам не предвидел ничего подобного.

Условились, что поползут по одному вдоль железнодорожного полотна. Так было дальше, потому что колея здесь изгибалась дугой. Зато и от пса подальше, да и насыпь, отлого подымавшаяся вверх, надежно прикрывала их.

Сиволап насторожился, услышав, что кто-то шуршит в овраге, но Данило тихонько свистнул, давая о себе знать, и Микита Харитонович успокоился.

Да, этот пес беспокоил и Сиволапа. В овраге его раскатистый, басовитый лай был еще слышнее, чем возле разрушенной будки стрелочника. А главное — Гнат в записке не упоминал о собаке, а пес действительно мог все испортить.

Пока ждали Мишка Глинского, который полз где-то позади, все время прислушивались к хриловатому лаю. Вдруг собака жалобно заскулила, вернее, даже не заскулила, а завизжала, завывала, словно в предсмертных судорогах. Жалобный вой слышался долго, потом стал ослабевать, словно удаляясь, и наконец совсем прекратился. Потом Голубничий рассказал, что, увидев возле часовых Икара, появление которого и для него было полной неожиданностью, он как бы нечаянно толкнул на собаку дрезину, которая раздробила Икару ногу. Пса с трудом вытащили из-под колес и увезли в село.

Но пока Сиволап еще не знал, что произошло с собакой. Впрочем, как ни прислушивался, лая уже не слышал и немного успокоился.

Минут за десять до двух часов все шестеро уже были наготове. Микита Харитонович выглянул из-за кустов и увидел часового, который медленно прохаживался вдоль задней стены пакгауза. Вскоре появился еще один, и Сиволап узнал белый полушубок Голубничего. Оба дважды прошли вдоль стены, потом остановились, закурили. Вдруг часовой повалился — Гнат ударил его ножом. В ту же минуту Сиволап выскочил из посадки, а следом за ним и пятеро остальных.

Голубничий вытащил у часового из внутреннего кармана шинели ключ от большущего замка. Все осторожно прошли по противотанковым минам и отодвинули тяжелую дверь, стараясь не шуметь. Заключенные заволновались, вскочили, но Сиволап прикрикнул на них, и все стихло.

— Значит, так, — заговорил он тихо, но приказ услышали все. — Выходить не больше чем по трое в ряд — тут мины. Это первое. И второе — этой ночью никому в свои села не соваться: прячьтесь где угодно, и обязательно поодиночке. — И скомандовал: — Выходите! И ни гугу!

Деревянный пол задрожал под десятками ног — выходили, осторожно ступая, словно боясь провалиться. Сиволап стоял по одну сторону опасной зоны минного поля, Голубничий — по другую. Пятеро остальных охраняли пакгауз, на случай если неожиданно кто появится.

Когда все вышли и разбрелись по посадке, а первые уже были в овраге, к Голубничему подошла Ксения. Прижалась к нему головой и тихо заплакала.

Сиволап довольно резко отстранил ее и сказал Гнату:

— Значит, так: пока никто не явится, притансь здесь и сиди. Если через час не хватятся, подымай тревогу.

Он взял Ксению за руку и побежал мимо пакгауза, через лесополосу — в овраг. Впереди на снегу уже темнели одинокие фигуры: разбегались узники.

21

Когда Гнат прибежал и доложил о налете партизан, Бош был у себя. Он рассвирепел не на шутку.

— А ты почему жив? Немцев убили, а ты убежал — странно!

— Знаю, что виноват, — слукавил Гнат. — Я повязку с рукава сорвал и винтовку бросил, чтоб не приняли за часового...

— Позор! — крикнул Крафт.

— А что было делать? Их не меньше полсотни, а я остался один, — жалобно и покаянно оправдывался Голубничий. — Пристрелили бы и меня на месте.

Еще неделю назад за такое расстреляли бы, но сейчас было не то время — Гнат это понимал. Людей в комендатуре в обрез, а полицай только один — не захотят лишиться последнего, да еще если честно признал свою вину.

Бош долго стыдил его и заявил, что немецкий солдат не мог бы так поступить, а если и струсил бы, то не миновать ему передовой. Голубничий стоял понурый и все выставлял напоказ раненую руку, стараясь напомнить коменданту, что кроме сегодняшнего позора у него есть и заслуги. Может, Бош и вспомнил о его ранении, потому что отпустил. Только предупредил, что больше не помилует, если подобное повторится.

Комендатура теперь занимала только одну комнату. Школу захватили тыловики. У входа толпились интенданты, а во двор каждую минуту влетали мотоциклисты — прямо с фронта. Гнат направился к воротам, лавочка у входа служила теперь своего рода караульным помещением: тут находился рядовой состав комендатуры в ожидании вызова или приказа.

На скамейке сидел Шольц.

— Здравствуйте, господин ефрейтор,— поздоровался полицай.

Шольц в ответ что-то мрачно пробурчал, но подвинулся, давая место Голубничему. Он был плохо выбрит, и вообще похоже было, что он не выспался или заболел.

— Вроде распогодилось,— сказал Гнат, одним глазом взглянув на небо. Вверху клубились облака.

— Вы так думаете? — удивленно поглядел на него Шольц.

— Да вроде немного посветлело.— Гнат сделал вид, что не замечает его удивления.— А может, это настроение такое: когда человек не грустит, ему все кажется светлее, чем есть?

— Почему ж вам так весело? — хмыкнул Шольц.

— А о чем тужить? — спросил Голубничий.

— Правда, особенно не о чем,— отчеканивая слова, произнес немец. Он всегда относился к местным полицаям с отвращением, а теперь, когда кольцо советских войск сжималось, его интересовало, что может чувствовать предатель, которому, когда придут красные, не миновать пули или виселицы.

— Хотел попроситься у господина коменданта на передовую,— продолжал Голубничий,— да рука не пускает — заживает, проклятая, а болит. А с одной рукой фюреру как следует не послужишь. Решил месяца два подождать, а там, наверно, попрошусь.

Гнат говорил по-свойски, почти дружески, голос звучал доверчиво, казалось, он и сам верит в то, о чем говорит. Шольц даже рот разинул, слушая его разглагоствования, и никак не мог взять в толк, кто перед ним: дурак, который не понимает, что творится вокруг, или продажная шура — подлизывается к нему, чтобы что-то выпытать, а потом донести?

— Сейчас на фронте туговато, и с одной рукой солдат пригодится.— Немец решил немного отпустить удила.— Через два месяца можно и опоздать.

— Думаете, фронт прорвут? — напрямик спросил полицай. Он нарочно не сказал, кого имеет в виду, потому что пытались прорвать фронт и немецкие войска и советские. Ему было интересно, как истолкует его вопрос Шольц.

— Что же, в нынешней войне даже час может решить все,— лукавил и немец.

— Не так страшен черт, как его малюют. — Гнат решил именно сейчас припереть немца к стене. — Немецкая армия непобедима — это сказано не зря.

— А я вовсе и не думаю, что прорвут красные! — воскликнул Шольц, застигнутый врасплох.

Голубничий рассмеялся:

— Вот видите, а я уж было подумал, что вы именно их имеете в виду. Даже удивился: солдат великого фюрера, а в победу не верит!

Шольц почувствовал себя пойманным на чем-то очень существенном, хотя ничего особенного полицая не сказал. Нет, видно, Голубничий не дурак и не может не понимать того, что происходит. Слышит ведь, что фронт грохочет вокруг и с каждым днем подступает все ближе и ближе, а болтает о каких-то двух месяцах, чтобы потом попроситься на передовую. Значит, понимает, что красные могут ворваться в Калитву через день-два, а веселый — не боится, что повесят!

Шольц сидел ошеломленный таким выводом, не зная, что и подумать. А что, если полицай не тот, за кого он его принимал? Пораженный, он даже забыл, на чем оборвался разговор и что последняя фраза и была его поражением. Не заметил он и того, что молчание слишком затянулось и полицай может истолковать это именно так, как и есть на самом деле.

А Голубничий так и истолковал. Он давно обратил внимание на этого ефрейтора — еще до того, как поселил его у Федора. Гнат потому и привел его туда, что среди оккупантов Шольц казался белой вороной. Особенно это бросилось ему в глаза, когда в засаду попал Микола Сом. На следующий день бывшего председателя Калитвинского сельсовета должны были повесить, и Голубничий ясно видел, что Шольц не хотел при этом присутствовать. В комендатуре, верно, не придали этому ни малейшего значения — ну, попросился вне очереди в караул — немца в этом никто обвинить не мог. Но Гнат присматривался ко всем придирчиво и внимательно, потому что знать, чем дышат те, кто живет с ним бок о бок, было не только необходимо, но и прямым его заданием. И он видел, как Шольц избегал и выкручивался: ни с того ни с сего предложил заменить Брунера и постоять смену часовым возле комендатуры. По всему чувствовалось, что он просто не хочет идти на площадь, значит, не хочет быть к этому причастен даже как обычный зритель. И сейчас, сидя на лавочке и чувствуя, как растерялся немец, Гнат радовался, что не ошибся в нем ни тогда, ни теперь.

Он решил больше не наседать, чтобы Шольц от страха не отшатнулся от него. Но шутя, как бы между прочим намекнуть на кое-что совсем невинное считал все-таки нужным — в этом, думалось ему, нет ничего опасного.

— Вы, верно, удивляетесь, господин ефрейтор,— хихикнул Гнат,— что я не тужу и даже кажусь веселым? Руку ему, дескать, партизан прострелил, прошлой ночью у пакгауза чуть не схватил партизанскую пулю... И вообще — обстановка, а он, вишь, подсмеивается! А на кой черт, простите на слове, нам с вами тужить? Главное, скажу я вам, в любой обстановке правильно повести себя. Если совесть у человека чиста, ему ничего не страшно.

Голубничий поднялся. Поглядел на Шольца, который сидел сбитый с толку и сосредоточенно слушал, словно боясь пропустить хоть слово. По тому, как тот глядел в затуманенный простор знакомой улицы, как тяжело опирался на руки, вцепившись в скамейку, отшлифованную раньше детскими штанишками, а теперь солдатскими штанами, Гнат догадывался о том, что происходит в душе немца.

— Не горюйте, господин ефрейтор,— уже серьезно проговорил Гнат. — Обойдется! Главное, держаться друг за друга. Если мое веселье соединить с вашей тоской, а потом поровну поделить на двоих, нам с вами как раз хватит и того и другого,— таинственно добавил он.

Полицай пошел по улице и, не оглянувшись, скрылся за углом. Надо было зайти домой — к матери. Второй день, как не виделась, она, может, уже и распрощалась с ним навеки.

Во дворе толпились санитары, заходили в хату и выбегали обратно. Перешептывались, прислушиваясь к близкому грохоту фронта. Поворачивались то в одну сторону, то в другую — грохотало везде.

На Гната никто не обращал внимания. При других обстоятельствах спросили бы, кто такой, хотя на рукаве и была повязка полицая. Выходит, не до того. Голубничий хмыкнул и, даже не поздоровавшись, как положено при тех, «других обстоятельствах», пошел прямо к соседскому погребу — за сарай.

Дверь была открыта, возле нее на колоде сидели мать и соседка Ганна Мельничиха — чистили картошку. Обе в ватниках, головы закутаны по самые глаза, а мать еще и подпоясана полотенцем. Гнат издали увидел, как медленно, словно сами по себе, двигались посиневшие от холода руки матери. Ни она, ни Мельничиха не глядели в его сторону да и шагов не услышали — обе задумались о чем-то своем. Гнат с минуту постоял в отдалении, потом подошел.

Первая вскочила на ноги Ганна.

— Гнат! — закричала она, и в голосе ее послышались и удивление, и страх.

Мать уронила картофелину и тоже медленно встала.

— Боже... Где же ты так долго был? — проговорила она, и нож, выпавший из ее руки, жалобно звякнул.

— Где же мне быть? — весело ответил Гнат. — Дел теперь, сами понимаете, сколько.

— Думала, больше не увижу... — Старческое лицо матери горестно искажилось, она медленно, спотыкаясь, приблизилась к сыну, прижалась к нему головой и затряслась.

— Ну куда это годится? — воскликнул Гнат. — Ну чего плакать?

Мать подняла на него заплаканные глаза:

— Думала уже — нет в живых.

— Эх, господи! Уже и похоронили! — махнул рукой Гнат. — Лучшее пойдете, я вам что-то скажу.

Она оперлась на его плечо и заковыляла с ним за сарай, а Ганна осталась стоять — только обеспокоенно и сердито глядела им вслед.

Когда остановились за стеной, мать снова заплакала.

— Что ж теперь будет, сыночек?

— А что ж будет? — искренне удивился Гнат.

— Да гремит же кругом, наши вот-вот придут!..

— Ну и что ж? — спросил он.

— Говорила ж я тебе — не ходи. — Мать не замечала его веселости. — Пересидел бы... Может, и беда обошла бы стороной. Не послушался ты меня.

Гнат оглянулся — поблизости никого не было.

— О том, что было, сейчас говорить нечего, мама, — сказал он тихо, но твердо. — А где был так долго, скажу. — Он снова огляделся, словно боялся посторонних ушей. — В лесу я был.

Мать встрепелась и оторопело поглядела на сына.

— Только, мама, смотрите, — предупредил, — не дай боже...

Мать, ничего не понимая, глядела на Гната, словно не узнавала его. Вдруг по лицу ее прошла судорога, и она снова припала головой к сыну. Гнат гладил ее дрожащие плечи и так же, как недавно, сказал:

— Не горюйте, все будет хорошо...

22

Под вечер фронт подошел к Калитве почти вплотную, батареи стояли на платформах возле станции и ухали беспрерывно. Длинная колонна машин, крытых брезентом, медленно проползла через село и выбралась на Корсунское шоссе, но вскоре вернулась и поползла в обратном направлении. Прошел еще час, и та же колонна появилась в Калитве в третий раз, но теперь уже остановилась здесь и забила улицу и площадь перед бывшим сельсоветом.

В то же время на тяжелые грузовики, стоявшие во дворах, грузили раненых и разное имущество, но, когда машины стали выезжать на улицу, выяснилось, что развернуться и проехать невозможно. Офицеры бегали с пистолетами в руках, кому-то угрожали, отчаянно ругались и кричали. Другие, из колонны, что заняла все село, объясняли, что ехать все равно некуда, дороги повсюду перерезаны. На улице стоял крик, все суетились, и никто не знал, что делать и куда деваться.

Через несколько минут по колонне передали приказ заглушить моторы, чтобы не тратить горючего зря. Суета прекратилась. Над селом

повисло облако едкого дыма. Солдаты прислонились — кто к заборам, кто к кузовам своих машин; все стояли мрачные, молчаливые, словно обреченные.

А еще через несколько минут в самой гуще немцев разорвался первый снаряд. Послышались крики раненых, к ним побежали санитары, но сразу же загрохотало со всех сторон, солдаты кинулись враспылку подальше от машин, и снова началась страшная суматоха и беготня.

Перед тем Гнат, вновь сидя с Шольцем на лавочке у комендатуры, наблюдал за маневрами этой колонны. Было ясно, что дороги перерезаны. Подсчитав, сколько времени проходило между каждым выездом и возвращением колонны в село, Гнат понял, что советские войска вот-вот появятся в Калитве. Пора ему было скрыться и переждать, пока не придут свои.

— Ну, а дальше что, господин ефрейтор? — спросил Гнат.

— То же самое я бы мог спросить у вас, — проговорил Шольц вместо ответа.

— Я пойду домой. У соседей хороший погреб, — сам ответил на свой вопрос Голубничий. И вдруг решил: — Если хотите, пошли.

Шольц оглянулся на здание комендатуры, где еще находился Бош со своими подчиненными. Те на скорую руку рвали и жгли бумаги, чтобы их не нашли, если немцы сами попадут в плен. Шольц убедился, что во дворе никого из своих нет, и молча пошел за Голубничим.

Гнат шел быстро, немец едва поспевал за ним. Уже стемнело, у обоих в карманах лежали фонарики, и оба, не сговариваясь, их не вынимали. Снаряды рвались на главной улице. Оттуда доносились крики и стоны, там творилось бог знает что. Но тут, на околице, было спокойно. Голубничий перепрыгивал через знакомые соседские плетни, шагал по огородам все быстрее и быстрее, а Шольц цеплялся шивелью за жерди и все больше отставал.

Гнат еще не мог сорвать повязку с рукава — если б наткнулся на немцев, только она и могла спасти. Но он побаивался, что с минуты на минуту могут появиться свои и, застав его с повязкой лица, расстреляют на месте. Надо было побыстрее укрыться в погребе, но он оглянулся и подождал: Шольц в темноте мог потерять его.

Погреб был заперт изнутри. Гнат постучался, но никто не ответил. Он стукнул посильней, и наконец стал дубасить кулаками изо всех сил. И тогда до него донесся приглушенный голос матери:

— Кто там?

— Это я, мама. Пустите.

Должно быть, она не сразу узнала его, и Гнат стукнул еще раз. Открыв дверь и увидев немца, мать перепугалась насмерть. Но объяснять было некогда, и Гнат молча подтолкнул Шольца к ступенькам. В потемках, нащупывая руками стены, спустились вниз. Здесь можно было и посветить. Голубничий достал из кармана фонарик и

повел лучиком света по знакомым женским лицам — притихшие, испуганные женщины прижимали к себе детей, которые исподлобья поглядывали на пришедших сердито и в то же время с любопытством.

Шольц прислонился спиной к стене, он чувствовал, что его встретили враждебно. Даже мать Гната стояла держа сына за рукав, словно ждала объяснений. Ее пугал немец, а женщин, которые замерли на глиняном полу, пугал и Гнат — хочешь не хочешь, а подозрение падет на всех.

— Вы его не бойтесь, — проговорил Гнат. — Мы спасем его, а может, и он спасет нас.

Женщины это истолковали по-своему. Оба, мол, одного поля ягоды, какое от них спасение! Но мать Гната поняла, и у нее отлегло от сердца.

— А если вдруг немцы наведаются, что тогда будет? — спросила она.

Гнат подумал об этом еще до того, как предложил Шольцу идти вместе. Немец и сам спасется, и их спасет.

Погреб был скрыт в глубине двора и зимой почти не заметен. Но санитары, которые третий день жили в хате, могли прибежать сюда, спрятаться от снарядов. Кто-то должен дежурить наверху у входа, и, пока в селе полно немцев, лучше, если это будет немец. Охраняю, дескать, арестованных, приказано никого не пускать.

Шольц забился в угол, невидимый, словно его поглотила тьма. Он дрожал как в лихорадке. То, на что он решился при первом же удобном случае, было, как он теперь понимал, ненадежно и рискованно. Кто такой Голубничий на самом деле? Что означают его туманные обещания и намеки — таинственные недомолвки полицая, который предал своих? Ведь тот старый партизан выстрелил в него, выходит, знал, с кем имеет дело. Как можно было положиться на него и прийти сюда?!

Шольц стоял в углу, взвешивая все это, и не мог понять, как совершил столь легкомысленный поступок. Путь, на который он вступил, был выводом из всего, что он видел, о чем думал, что пережил за последнее время. Как же он мог так опрометчиво довериться сомнительному человеку?!

Шольц был зол на самого себя. Следовало на что-то решиться, пока не поздно, пока советские войска не вошли в село и не нашли его здесь, в этом погребе, где прячется предатель. Его порыв был честен, Шольц не хотел запятнать себя ни перед кем.

Он отшатнулся от стены, собираясь пройти к лестнице, но остановился. Ясно, как только он попробует уйти отсюда, полицай выстрелит ему в спину... Да и странно было бы, если бы не выстрелил, увидав, что немец сначала пошел за ним, а потом вдруг передумал! Предатель не станет рисковать своей шкурой, лучше сдерет чужую!

Но и ему самому не хотелось рисковать. И Шольц остановился в растерянности, не зная, что предпринять.

И тут к нему подошел Голубничий. Он осветил фонариком на пол, чтобы не наступить на чьи-нибудь ноги, и, когда луч уперся в сапоги Шольца, выключил фонарик.

— Так опасно,— прошептал Гнат.— Могут прийти и выгнать людей из погреба. Во дворе пропадут от осколков.

Шольц слушал и молчал — ждал, что Гнат скажет дальше.

— Я думаю, что кому-то из нас надо подняться наверх и покараулить. Если что — не пускать: сказать, что в погребе арестованные.

Немец все еще молчал, не понимая, куда гнет полицай — то ли и впрямь боится, что могут захватить погреб, то ли задумал еще что-то. Озабоченный Гнат говорил мягко, и голос его звучал дружески, доверчиво, но немцу даже в этой мягкости чудилось старание усыпить его бдительность. «Он хочет дежурить снаружи, чтобы удобнее было отрезать мне путь», — соображал Шольц и все больше убеждался, что должен вырваться из погреба.

Услышав предложение Голубничего, он не поверил собственным ушам. Полицай считал, что караулить погреб снаружи лучше не ему, а Шольцу. С полицаем сейчас никто не станет считаться: оттолкнут или пристрелят, если начнет спорить. Гнат не сказал, что лучше, если часовым будет немец, но это было ясно без слов.

Такое предложение сбilo Шольца с толку. Выходило, что Голубничий доверяет немцу, который хотел сдаться в плен. Но все равно ни думать об этом, ни тратить зря время Шольц больше не хотел.

— Яволь,— сказал он и, легонько отстранив* Гната, шагнул вперед. Передвинул автомат на груди, взял наперевес и пошел наверх по глиняным ступенькам, которые Голубничий освещал фонариком.

Снаружи грохотало, где-то за бывшим сельсоветом что-то горело. Взрывы раздавались один за другим.

Шольц понимал — времени оставалось мало. И все-таки решил бежать не сразу, а немного постояв у двери. Гнат мог выглянуть, увидеть, что его нет, и попробовать догнать. Лучше пусть увидит, что он на месте, и, успокоившись, вернется в погреб, тогда можно не бояться, что получишь пулю в спину.

Через несколько минут Гнат действительно выглянул. Когда он вышел второй раз, наверху бушевала метель и воздух сотрясался от непрерывных взрывов. Шольца не было. Гнат несколько раз позвал его, но ответа не услышал. Он наклонился к земле, надеясь увидеть следы и по ним узнать, в какую сторону пошел немец, но снега намело столько, что никаких следов не было видно.

Значит, ошибся — хотел спасти человека, а он этого не стоит. Чего доброго, выдаст, заплатишь головой за то, что спасал. Гнат подумал, что, верно, лучше было уйти в лес, чем отсиживаться в погребе, но вспомнил о матери — не дошла б, ноги большие, едва волочит. А оставить в селе одну...

Он запер дверь на засов и спустился в погреб.

Всю ночь земля содрогалась, а на головы падали комочки сырой глины. В погребе никто не спал, даже трое детей, которых матери держали на руках и все время старались укачать, всхлипывали и не смыкали глаз,—верно, им передалась тревога взрослых.

И только на рассвете с потолка перестало сыпаться, и это всех удивило и насторожило. Гнат лежал в углу на куче соломы, в погребу было темно, и, хотя глаза привыкли к темноте, он ничего не видел, но чувствовал, что все на него смотрят. Он с трудом поднялся и, осторожно ступая по глиняным ступенькам, пошел наверх. Прижавшись ухом к двери, услышал приглушенный лязг и понял, что это танки.

Он еще немного постоял наверху, раздумывая: выглянуть во двор или не стоит? Решил, что не стоит, и медленно спустился вниз.

— Наши в селе,—проговорил он во тьму.

Женщины вскочили.

— Посвети, сынок,—попросила мать, с трудом поднимаясь.

— Подождем, еще рано выходить.

— Боишься? — хмыкнула соседка Ганна, и Гнату показалось, что она злобно улыбнулась.

— А чего мне бояться? — ответил Гнат на ее скрытое злорадство.

— И то правда,—согласилась Ганна и снова насмешливо улыбнулась.

— Посвети, Гнат, посвети,—услышал он за спиной голос Мотри Савченко. — Насиделись по погребам, хватит.

— Чтобы напоследок схватить осколок? — оглянулся Гнат, но Мотрю не увидел, а только услышал рядом ее тяжелое дыхание.

— Да вы что, ума лишились? — стала умолять мать Гната. — Полтора года по погребам прятались, так подождите же, пока стихнет в селе!

— А если мой Василь с нашими пришел? — решительно отстранила Гната Мотря Савченко и пошла по лестнице. — Танкист же! Домой пойдет, а меня нет — что подумает?

— Так прямо и придет,—рассмеялся Гнат. — ~~Только~~ и танкистов на всю армию что из нашего села.

— А ты не бойся,—отрезала Мотря. — Он тебя не тронет. Скажу, что вместе в погребу прятались,—простит. — Она откровенно издевалась, но в словах ее звучала и угроза.

— Гната прощать не надо. Он не виноват,—сказала мать.

— Молчите, мама,—посоветовал Гнат. Он не был уверен, что в селе немцев нет, и считал, что говорить лишнее еще рано.

— А коль не боишься, так чего тут сидеть? — подошла к лестнице и Ганна. — Отпирай, Гнат. Пошли. — Она стала осторожно взбираться по ступенькам, правой рукой обхватив ребенка, а левой нащупывая стену.

Гнат промолчал и пошел отпирать. Осторожно отодвинул засов, стараясь не шуметь, и выпустил женщин.

Метель уже прошла, но снегу намело много, и пришлось с силой приналечь на дверь, чтобы открыть ее. Выстрелов не было слышно, только с улицы доносились голоса. Уже светало, мглистый воздух был бел как молоко.

Гнат постоял с минуту во дворе, прислушался к голосам, но не разобрал, свои или немцы. Снова запер дверь на скобу и спустился в погреб.

— Ну что, Гнат? — с тревогой спросила мать. Внезапная враждебность соседок, у которых она пряталась, больше обидела ее, чем обеспокоила.

— Вроде ничего не слышать, — буркнул Гнат и опустился на солону.

— Так, может, и мы... — начала было мать.

— Рано еще. Подождите. — В голосе Гната чувствовалось раздражение.

Мать постояла и тоже опустилась на пол. Хотела спросить, почему он волнуется, но не посмела. После свежести, которой повеяло сверху, когда выходили женщины, в погребе снова стало душно. Было тихо, и мать только слышала, как беспокойно дышит сын.

Лишь теперь, после того что услышал минуту назад, Гнат вдруг понял, что выйти из погреба и появиться перед людьми для него не такая уж простая задача. Что они о нем знают? Полицай, ходил с винтовкой и повязкой на рукаве. Ну, пусть не избивал людей, пусть не видели его во время экзекуций на площади, перед домом бывшего сельсовета... Но кому известно, почему его там не было? И так ли уж внимательно следили те, кого сгоняли на площадь, кто именно из полицаев вешал, а кто этого избегал? Ведь никто, кроме Сиволапа и еще нескольких лесовиков, не знал, почему он стал полицаем и каким именно. А где сейчас Микита Харитонович? Не соединился ли с войсками и не ушел ли вместе с ними? И жив ли? Ведь мог и погибнуть.

Гнат лежал в углу, мысли роились в голове, и он все больше волновался. Если уж Ганна и Мотря Савченко, которые знают его с детства, так отнеслись к нему, то чего ждать от других?

Мать была спокойнее, но чувствовала, что сын взволнован, и это тревожило ее. Но спросить не решалась — лежала молча, только прерывисто дышала, словно боялась, что не услышит, когда Гнат заговорит. И как только услышала его голос, вскочила и придвинулась поближе.

— Мама, вы бы сходили узнали — Сиволап в селе?

— Микита Харитонович? — переспросила она, хоть и поняла, о ком речь. Старуха выпрямилась и не по годам проворно встала на ноги.

— А чего ж, схожу, сынок, сейчас пойду. Если надо, поищу.

— Только осторожнее. — Он хотел сказать, чтобы лишний раз не попадалась людям на глаза, но не сказал, постеснялся, да и не хотел волновать. — Если найдете, скажите, что я здесь. А никому другому знать об этом не надо.

— Хорошо, сынок, хорошо,— мать закивала головой. Хоть до конца и не понимала его тревоги, но согласилась.

На дворе было совсем светло, когда Гнат выпустил из погребца мать. Хотелось зайти в хату, поглядеть, что там, но он сдержался и вернулся в погреб. Снова заперся, стараясь не звякать скобой, спустился и сел на солому.

Вот как все обернулось — своих приходится бояться. Полтора года ходил в маске, ненавидел ее, а носил, надо было. И прикипела она к коже так, что и не отдерешь! Гнат беспомощно улыбнулся сам себе. Положение, в котором он оказался, было не из веселых.

Поглощенный своими мыслями, он не сразу вскочил на ноги, когда погреб вдруг наполнился грохотом — в дверь били сапогами. Руки Гната невольно схватили винтовку. Но он тотчас положил оружие. Если бы мать привела Сиволапа, так бы не дубасили. А может, на радостях и выпили по маленькой... Он бегом поднялся по лестнице и крикнул:

— Кто там?

Но теперь уже в дверь били не сапогами, а бревном, ударяли раз за разом по доскам, стараясь их разбить.

Гнат понял: там не надеются, что он откроет добровольно. Не подумали только, что он вооружен — мог бы выстрелить и через дверь. Но он не сбежал вниз, не взял оружие. Вместо этого отодвинул застав, и скоба ударила его по ногам, чуть не свалив с лестницы.

Дверь распахнулась. Бревно, как раз в этот миг пущенное вперед, вырвалось из рук, которые его направляли, и пролетело мимо Гната. Наверху стояло человек пятнадцать женщин, а впереди Ганна Мельник и Мотря Савченко. От неожиданности женщины отшатнулись и с минуту молча глядели в черное отверстие, удивленные тем, что перед ними появился тот, за кем они пришли.

— Вы — что? — спросил Гнат. Он стоял, упершись обеими руками в косяки, словно распятый.

— Что, повластвовал? — первой заговорила Мотря.

Гнат побледнел. Губы у него задрожали, глаза широко раскрылись. Но он пересилил себя и чуть заметно улыбнулся:

— Спятели, что ли?

— Ишь, анафемская душа, последыш немецкий! — в бешенстве завопила Ганна и схватила его за рукав. Полушубок затрещал и лопнул на спине.

— Выходи, идол! — приказал кто-то, и в ту же минуту его схватили и выволокли во двор. Вылетая из разорванного полушубка, Гнат с размаху упал в снег. Когда он поднялся, шапки на нем не было, по лбу текла кровь. Женщины снова примолкли, наблюдая, как он медленно поворачивается и бессознательно отряхивает с себя снег. Похоже было, что на миг они сами испугались того, что творят. Он пощупал голову, поискал глазами шапку, но не нашел.

И вдруг одна из женщин снова саданула его сапогом в спину. Гнат пошатнулся, но устоял на ногах.

Его подхватили под руки и поволокли по улице...

Шмаков издали увидел небольшую колонну машин, груженных шкафами и стульями, и понял, что опоздал,— политотдел дивизии переезжает. Он встревоженно остановился: если не успеет добежать и они уедут, куда же тогда податься? Остатки батареи Татаринова тоже снялись с позиций и направились в тыл,— значит, он не будет знать, ни где его батарея, ни где искать политотдел.

До машин оставалось метров двести, и Шмаков напрямик побежал к лесополосе, возле которой стояли машины. Верно, потому что бежал, его заметили, и он увидел, что люди, суетившиеся возле машин, стали присматриваться. Это успокоило Шмакова: заинтересовались,— значит, подождут.

Поле перед лесополосой лежало ровное, снег не тронутый — ноги глубоко проваливались, бежать было трудно. Сердце забилось с перебойми, глаза заливал пот. Шмаков замедлил шаги.

— А, это вы... — почти равнодушно и даже немного разочарованно произнес Штукаренко, когда Шмаков подошел и приготовился доложить о своем прибытии. — Садитесь в мою машину.

Шмаков козырнул, подошел к газику, но в машину не сел, а только привалился к крылу, чтобы отдышаться после тяжелого марафона. Штукаренко стоял в стороне и, как показалось Шмакову, нетерпеливо, даже раздраженно наблюдал, как толстяк старший лейтенант и двое младших окоченевшими руками сворачивали огромный брезент, как видно намокший и здорово задубевший.

Наконец с брезентом справились, связали его телефонным проводом, подняли и бросили в кузов. Штукаренко молча сел рядом с шофером, Шмаков — сзади, и полковник бросил водителю:

— Давай.

Газик резко рванулся, перевалил через сугробы и, воя обоими своими дифференциалами, выскочил на подтаявшую целину. В ту же секунду один за другим тронулись грузовики, и колонна двинулась к грейдеру.

Несколько часов назад Штукаренко узнал, что танки соседней танковой бригады прошли через Калитву и с ходу прорвались вперед километра на четыре. Два полка Шумакова должны были немедленно заполнить брешь, оставшуюся после танкового прорыва, и укрепиться на новом рубеже. Взглянув через плечо Штукаренко на карту, разложенную у того на коленях, Шмаков сразу понял, что фронт сейчас больше похож на пирог, в котором тесто смешалось с начинкой. Синие значки пестрели спереди, сзади и по бокам, рассыпанные по всему пустынному снежному полю так же густо, как и красные. Шмаков не знал, что накануне советские парламентарии вручили ультиматум командованию противника и что именно теперь два фронта выполняют свою угрозу — окончательно уничтожить окруженную группировку, если она не капитулирует.

Когда выехали на грейдер, Штукаренко боком повернулся к Шмакову.

— Не помню, намекал ли я, что именно хочу предложить вам,— заговорил Штукаренко. — Я считаю ненормальным, что бывший командир служит рядовым бойцом.

Шмаков внутренне содрогнулся. Когда они разговаривали на позициях разгромленной батареи, ни единого упоминания о его военном прошлом не было. Как же узнал об этом начальник политотдела? Рассказать мог только Шумаков. Значит, и то, что происходит сейчас, не без его ведома.

Тем временем замполит продолжал:

— Человек во время войны должен отдавать все, на что он способен. Конечно, рядовой боец, как говорится, главная фигура. Но тот, кто ими командует, тоже принадлежит не ко второму сорту. — Теперь он смотрел Шмакову прямо в лицо, и тот увидел улыбку доброжелательную — почти дружескую.

Шмаков напряженно молчал, как бы ожидая еще чего-то — самого главного. И так, его убеждают, даже уговаривают, к тому же обосновывают общими соображениями. Но подчиненных в армии не уговаривают, им приказывают. Чего же хотят от него, если вместо того чтобы заставить, такой высокий начальник, как Штукаренко, приглашает в свою машину и убеждает, как старый друг?

За последние несколько лет жизнь научила Шмакова быть осторожным. Прежнее легкомыслие исчезло, и он приучил себя прислушиваться к каждому слову, выискивать в нем скрытый смысл. И сейчас, глядя на улыбающееся худощавое лицо полковника, вдоль и поперек изрытое глубокими морщинами, он возмущался не только мелким коварством командира дивизии, но и поведением его заместителя, который, вместо того чтобы самому руководствоваться своими общими соображениями, находит время вмешиваться в чужие отношения и участвовать в сведении чьих-то личных счетов.

Теперь Шмаков понимал, почему во время встречи на грейдере Шумаков не подошел к нему. Значит, не только узнал, но и выказал свое высокомерие!

— Так вот,— перешел к делу Штукаренко. — Я хочу предложить вам должность в политотделе дивизии. Каковы ваши взаимоотношения с пером и художественным словом?

— Я не пойду в политотдел,— сказал Шмаков: если не приказывают, а спрашивают, можно и отказаться.

Изогнутые брови полковника взметнулись.

— Почему же?

Шмаков сейчас хотел лишь одного — не выделяться среди других, быть таким, как все, выполнять свой долг и оставаться самим собой. Так он решил для себя еще в тайге и отступить от этого не хотел. Раствориться, исчезнуть в людском море.

— Если говорить серьезно,— начал он после паузы,— то я не способен ни на что большее, чем быть рядовым бойцом. Да и с художественным словом, как вы сказали, у меня не все в порядке... — Шмаков старался говорить как можно естественнее, но чувствовал, что

Штукаренко сердится: полковник уже сидел спиной к нему и отрешенно смотрел вперед.

Колонна двигалась медленно; на разбитой дороге, припорошенной снегом, было скользко, машину бросало из стороны в сторону. Снова начиналась метель. Воздух сотрясался от внезапных взрывов, но ни один снаряд не разорвался поблизости.

— Товарищ полковник, где нам сворачивать? — спросил водитель. Его молодое, еще мальчишеское, лицо было напряженно.

Штукаренко посмотрел на карту, провел пальцем вдоль линии грейдера.

— Спустимся в балку, повернешь налево.

Некоторое время ехали молча. Штукаренко несколько раз оглядывался, чуть приоткрывая дверцу, убеждался, что все машины идут следом, и снова всматривался в белую муть.

Ему было обидно и неприятно, что все так случилось. Он злился и на себя, что влез во все это, а еще больше на Шумакова. Конечно, чувствуешь что-то похожее на вину, если человек из-за тебя пострадал... Но время ли сейчас для подобных сантиментов? Сейчас Шмаков тут, все для него, в конце концов, решилось к лучшему. Вот и отложить бы свои личные заботы до лучших времен. А главное, не впутывать в это посторонних людей, даже если они близкие друзья!

— Товарищ полковник, впереди не видно никаких следов, — вдруг заволновался водитель.

— Каких следов? — рассеянно спросил Штукаренко, оторвавшись от своих мыслей.

— Вроде никто тут перед нами не проезжал.

— Ты что, по асфальту соскучился? — рассмеялся полковник. — Не видишь, как метет!

— Может, и замело, — согласился водитель, побаиваясь, что его предусмотрительность полковник может истолковать как преувеличенную осторожность.

— Наши танки уже Калитву проскочили, — успокоил его полковник. — Еще вчера ночью.

Дорога спускалась с вершины пологого холма в неглубокую низинку. Газик на скользком спуске стало заносить в сторону и разворачивать. Водитель включил вторую скорость, и машина натужно загудела. Штукаренко смотрел вперед, почти касаясь лбом заснеженного стекла, по которому быстро сновали «дворники», а ногами упираясь в металлический пол, словно так мог удержать машину.

— Внизу должен быть мостик, передем, и сворачивай налево, — сказал он водителю.

Парнишка не ответил — он легонько нажимал на тормоза и, навалившись на руль, был совершенно поглощен своей работой.

Неожиданно Штукаренко повернулся к Шмакову:

— Раз так, вернетесь в свою батарею.

— Слушаюсь,— ответил Шмаков.

Мостик уже виднелся внизу. Полковник прижался к лобовому стеклу, стараясь разглядеть дорогу, на которую предстояло свернуть. Но ничего не было видно — только снег, который падал здесь медленнее, а впереди нависал сплошной пеленой.

25

Очередь прозвучала слева, из-за шума мотора в машине, плотно затянутой брезентовым тентом, почти ничего не было слышно. Водитель успел лишь заметить, как из пробитого радиатора фонтаном во все стороны брызнула горячая вода. В тот же миг он выпустил из рук руль, и машина, круто свернув в овражек, врезалась в сугроб.

Шмаков еще не осознал того, что произошло,— видел только, что машину занесло и на лобовом стекле белеют дырочки от пуль. Он прыгнул вперед, резко оттолкнул Штукаренко, надеясь, что дверца откроется и полковник выпадет из машины. И в ту секунду, когда полковник уже почти лежал на сиденье, а Шмаков не успел еще укрыться за спинку, его сильно ударило в грудь и отбросило назад. И уже полулежа он заметил несколько новых кругленьких дырочек, которые прошли лобовое стекло, но уже не возле водителя, а над самой папачкой полковника.

Не поднимая головы, Штукаренко вывалился в снег, ползком добрался до задней дверцы и, открыв ее, увидел побледневшего Шмакова. Только широко раскрытые, изумленные глаза говорили, что он жив. Не раздумывая, Штукаренко вытащил его на снег и сразу же бросился к водителю.

Тот был мертв. На лбу виднелось небольшое красное пятнышко, круглое и почти сухое.

Вокруг уже шла беспорядочная стрельба, но полковник не видел ни тех, кто нападал, ни тех, кто отстреливался. Он искал глазами безопасное место для раненого. Шмаков полулежал, опершись спиной на сугроб, как раз напротив просвета между передними и задними колесами газика. Когда Штукаренко подхватил его под мышки, чтобы перетащить в канаву, лицо раненого перекосилось от боли.

— Они стреляют снизу,— проговорил он медленнее, чем обычно, но очень четко. — Наверх!.. Быстрее!.. — Шмаков покачнулся и упал бы, но полковник подхватил его, осторожно повел к канаве и уложил. — Скорее вверх... — все еще повторял Шмаков.

Штукаренко не понимал, что тот имеет в виду, но вдруг почувствовал, что должен подчиниться приказу своего спасителя. Похоже было, что Шмаков теперь старший и нельзя ни рассуждать, ни колебаться. Взгляд полковника скользнул по белой стене откоса, который казался отвесным и неприступным, как утес.

Возле остальных машин лежали водители и офицеры политотдела и вслепую стреляли короткими очередями из автоматов. Штукаренко быстро оглянулся и понял, что с мостика на дорогу успел свернуть

только его газик — три другие машины еще стояли на грейдере. Значит, очереди противника не случайно попали именно в эту машину — Шмаков прав, немцы бьют снизу и искать их надо там. Он крикнул своим, чтоб лезли наверх и попытались зайти немцам во фланг, но ветер был такой сильный, что услышать его не могли.

Не пригибаясь, полковник бросился в сторону, теперь уже совершенно уверенный, что Шмаков прав, — надо было помешать противнику подняться на гору и любой ценой опередить его. Бежать к машинам, чтобы повести за собой остальных, означало потерять секунды, а это теперь могло стоить жизни.

Грейдер в этом месте спускался в низину. Снег, нанесенный северным ветром, облепил косягор толстым слоем, и Штукаренко сразу же провалился чуть ли не по грудь. К счастью, оттепель накануне кончилась, воды под снегом не было. Штукаренко поднимался вверх, чем выше он взбирался, тем меньше становилось снега. На самой вершине виднелась голая каменная глыба. Полковник устремился туда, на самую верхушку. Но, еще не добравшись до камня, увидел впереди себя множество фонтанчиков. Его обстреливали. Он прижался к земле и оглянулся, стараясь угадать, откуда бьют, но впереди высился гребень бугра, а заглянуть вниз было нельзя. Переждав с минуту, он пополз к каменной глыбе и пританлся за ней.

В это время внизу, возле газика, появился тучный старший лейтенант и бросился к Шмакову, который лежал в канаве.

— Где полковник? — взволнованно спросил он.

— Немцы в низине, — вместо ответа чуть слышно прошептал Шмаков.

— Я спрашиваю, где полковник?! — повторил лейтенант.

— Наверх... живее, — прошептал Шмаков.

Лейтенант бросился к газику, раскрыл дверцы и убедился, что Штукаренко там нет. Взглянул направо и увидел длинный след, который вел в гору. Бросился было по нему, но вернулся и побежал к машинам. Приказал всем залечь впереди газика, чтобы не дать немцам выбраться из низины, а сам вернулся к газику и стал карабкаться на откос.

Он увидел Штукаренко, который прижался к земле, за каменной глыбой, но и перед старшим лейтенантом уже взметнулось несколько фонтанчиков. И в ту же минуту полковник выпустил длинную автоматную очередь, точно определив наконец, где спрятались немцы, заметившие старшего лейтенанта. Четверо немцев вскочили и побежали низиной, они уже почти достигли поворота, за которым стоял газик, когда полковник снова дал очередь: двое передних упали, задние залегли.

Немцы лежали внизу метрах в пятидесяти от Штукаренко и, как видно, не могли понять, откуда по ним стреляют. Полковник притих, но не спускал с них глаз. Так продолжалось несколько минут. Только теперь, взглянув направо, он заметил старшего лейтенанта — тот как раз зашевелился, пытаясь переползти к нему. Штукаренко махнул

рукой, приказывая ему оставаться на месте, и снова стал следить за двумя гитлеровцами, которые лежали внизу.

Он боялся, что сзади к ним может подоспеть помощь,— камень заслонял от него низину слева, а переползти, чтобы поглядеть и туда, он не решался. Полковник лежал и ждал, но к тем двум никто не присоединялся. Тогда Штукаренко тщательно прицелился и выпустил две длинные очереди — сначала в переднего, потом в заднего.

Задний даже не шевельнулся, а передний прыгнул и снова упал. Полковник переждал еще минуту — вокруг было тихо.

Он переполз на левую сторону каменной глыбы и выглянул из-за нее — внизу больше никого не было. Должно быть, эти четверо просто заблудились в степи, отстав от своей разгромленной части.

Штукаренко поднялся во весь рост и стал спускаться к старшему лейтенанту. Никто по нему не стрелял. Значит, их и в самом деле было только четверо.

Когда спустились вниз, Шмаков лежал на снегу, вытянувшись, неестественно длинный. Над ним склонилось несколько человек, а остальные — те, кто уже покинул позиции у поворота, за которым лежали убитые немцы, — толпились вокруг. Когда появился Штукаренко, они расступились, и полковник склонился над раненым. Шинель на нем распахнулась, под окровавленной гимнастеркой белела расстегнутая рубашка, а на груди виднелось пятнышко. Глаза полуприкрыты, на бледном лице чуть заметные розовые лихорадочные пятна.

Шмаков узнал полковника, разжал губы и чуть слышно спросил:

— Что там?

— Вы были правы, — ответил Штукаренко, словно хотел порадовать его. — Они стреляли из долины. — И наклонился еще ниже. — А вы как?

Шмаков вяло улыбнулся, тихо сказал:

— Идиотская история.

— Все будет хорошо. — Полковник тоже улыбнулся. Потом выпрямился и громко спросил: — Кто водитель задней машины?

— Я тут, — откликнулся кто-то.

— Машина в порядке?

— Так точно, товарищ полковник.

— Развернитесь и дайте назад.

— Есть! — Невысокий водитель в замасленном ватнике и кожаном танкистском шлеме побежал к своей машине.

— Снежко, — полковник повернулся к дородному старшему лейтенанту, — вы поедете в санбат с товарищем Шмаковым. Знаете, где санбат?

— Знаю, товарищ полковник, — ответил Снежко. И нерешительно спросил: — А кто это — Шмаков?

Вопрос прозвучал бессмысленно: ясно, что речь шла о раненом, но старший лейтенант впервые услышал эту фамилию и почему-то не связывал ее с раненым, а Штукаренко показалось, что его подчиненный интересуется подробностями.

— Ваше дело отвезти раненого, а кто он — вас не касается,— раздраженно бросил он.

— Простите. — Старший лейтенант козырнул.

Машина спускалась с горы задним ходом. Вчетвером они осторожно подняли Шмакова. Когда поднимали, полковник отстранил старшего лейтенанта — ему самому хотелось нести своего спасителя.

Из кузова выбрасывали мебель. Пришлось снова опустить Шмакова на снег, пока для него освободят место в машине. Он глухо застонал, глаза раскрылись и встретились со взглядом Штукаренко. Полковник наклонился, тихо сказал:

— Пожалуйста, потерпите. Ехать недалеко.

Шмаков не ответил и закрыл глаза.

— Как только привезете, немедленно сообщите комдиву,— обратился Штукаренко к старшему лейтенанту. — Лучше — лично. Скажите, что я с политотделом, как только прибуду на место, приду и обо всем доложу.

— Слушаюсь,— козырнул Снежко.

Машину швыряло то вправо, то влево. Шмаков лежал на дне, кое-как застеленном брезентом. Старший лейтенант сидел рядом, вытянув толстые ноги. Он не знал, кого везет, как должен доложить об этом человеке,— видел только, что полковник все время относился к нему как-то по-особому, поэтому лейтенант считал, что Шмаков не просто рядовой солдат, как можно было судить по его форме. Снежко все время сидел молча, искоса поглядывая на бледное лицо раненого. И только время от времени стучал кулаком по кабине водителя и кричал:

— Газку! Газку!

26

Ультиматум, врученный генералу Штеммерману от имени командования советских войск, был отклонен, и из двух путей — в плен или в могилу — генерал выбрал последний. Некоторым офицерам его штаба посчастливилось все же попасть не в могилу, а в плен, и они впоследствии утверждали, что генерал готов был принять ультиматум, спасти себя и свою армию, но Гитлер обещал выручить, да, как и следовало ожидать, обманул. Так или иначе, а ультиматум был отклонен, и судьба окруженных под Корсунем фашистских войск была предопределена.

В середине января остатки разгромленных немецких дивизий беспорядочно металась по заснеженным степям, беспомощно барахтались в железных клещах окружения, а кольцо сжималось все плотнее и плотнее. С каждым днем обезумевшие и обессиленные солдаты теряли последние крупницы веры в освобождение. Застигнутые врасплох на занесенных снегом степных дорогах, колонны бросались врасыпную, машины и подводы съезжали на целину, застревали в занесенных снегом канавах, в глубоких сугробах, и советские танки давили их, как мошкору.

519

Природа словно обезумела, вьюга не стихала ни на минуту. Вокруг скрежетали гусеницы, свистели снаряды, пулеметные очереди смешивались с непрерывными разрывами, и, когда что-нибудь вспыхивало в дрожащей тьме, она окрашивалась кровавым багрянцем.

Шумаков не спал уже вторую ночь, но даже появился такая возможность, не уснул бы. Все время переходил от одного аппарата к другому, выслушивал донесения из полков и выкрикивал свои приказы. Голоса тех, кто докладывал, доносились словно позывные с далеких планет, он знал, что и его голос звучит как со дна океана, и орал в трубку, стараясь перекрыть грохот, стоявший вокруг. В тесном немецком блиндаже разместились и комдив, и начальник штаба, тут же пристроились несколько телефонистов. Когда Приходько вносил термос, чтобы подать Шумакову чай, он перешагивал через их ноги и телефонные аппараты.

Связь все время нарушалась. Разрозненные группы немцев метались по степи, задевали за телефонные провода, рвали их нечаянно или перерезали нарочно. Слепу они натывались и на блиндажи, офицерам штабов приходилось вступать в жестокие перестрелки и отбиваться. Именно поэтому и в блиндаже Шумакова в углу стоял ручной пулемет, а рядом — несколько автоматов и ящик с гранатами.

Передовые части дивизии уже вырвались километров на пять вперед, а политотдел до сих пор не прибыл к месту нового расположения, и это волновало комдива.

Лемешко его успокаивал:

— Не волнуйтесь, товарищ комдив: в нашем политотделе люди боевые.

— Конечно, — проворчал Шумаков. — Но, к сожалению, они вооружены почти только идейным оружием.

Лемешко хотелось спросить: а почему же тогда не придать политотделу хоть плохонький взвод? Он понимал всю бессмыслицу этого, знал, что сейчас каждый боец на счету и об особой охране дивизионных идеологов не может быть и речи. И все же сказать об этом хотелось — хотя бы потому, чтобы комдив не подумал, будто он иронизировал, говоря о боевитости политотдельцев.

Но Лемешко промолчал, склонился над картошкой, делая вид, что очень занят, и слушал, что комдив кричал в трубку майору Терещенко:

— По Лысянке вслепую стрелять запрещаю! Это земля Тараса Шевченко — можете вы это понять?

Начальник штаба едва сдержался, чтоб не возразить. Легко сказать — не стреляйте! Самое время заботиться о реликвиях! Ладно бы уж Штукаренко со своими гуманитарными штучками, а Шумаков — человек военный!

— Черт бы их побрал... — Шумаков швырнул трубку и тяжело опустился на табуретку. — Не понимают, что бывают объекты, по которым нельзя бить из шестидюймовок!

— Что случилось? — нарочито всполошился Лемешко.

— Терещенко бьет батареей по Лысянке,— ткнул Шумаков в карту, которая лежала перед начальником штаба.

— Это, кажется, историческое село? — спросил Лемешко.

— Историческое.

— И что же, он собирается брать его в лоб?

— Пусть попробует...

— Разрешите приказать триста пятнадцатому поддержать его с фланга?

— Не надо. Справятся сами.

— Хорошо, что нет полковника Штукаренко,— хитро хихикнул Лемешко. — Он бы за это ему всыпал по первое число.

Упоминание о полковнике снова взволновало Шумакова. Он посмотрел на часы — без пяти минут пять. Приказал телефонисту соединить его с политотделом. Пока тот крутил ручку и алекал, полковник молча стоял, опершись на палку, чтоб отдохнула раненая нога. Выяснилось, что машины политотдела на новое место еще не прибыли, а на старом уже никто не отвечал, — значит, снялись. Шумаков открыл дверь — в блиндаж ворвался ветер со снегом. Снаружи уже стемнело.

Комдив прикрыл дверь и тяжело сел. Надо принимать какие-то меры — но какие именно? Съездить на старое место, может, политотдел еще там? Никто не отвечает... Но, может, просто повреждена линия? Он понимал, что это нелепость — сняться с места они должны были в четырнадцать ноль-ноль и аппарат не отвечает потому, что в лесополосе давно уже сняли все кабели. Но больше ждать он не мог: от лесополосы до места назначения всего двенадцать километров, и дорога очищена от врага еще вчера, значит, даже в такую погоду Штукаренко давно добрался бы туда. Прибыл бы и доложил или просто появился в этом блиндаже, где для него приготовлено место.

— Адьютанта ко мне! — приказал комдив, не поворачиваясь.

Кто-то из телефонистов выскочил в ход сообщения. В блиндаж снова ворвался холодный воздух, и Шумаков почувствовал на затылке острые прикосновения колющих снежинок.

Через минуту позади него щелкнул каблуками лейтенант Сердюк: — Слушаюсь, товарищ полковник!

Шумаков быстро обернулся к нему. Лейтенант был весь в снегу, а на ушанке у него лежал сугроб, словно его кто-то нарочно налепил. Взглянув на бледное лицо юноши, комдив подумал, что кому-кому, а этому пареньку с лицом стыдливой девушки достается больше всех: все время на морозе, в траншеях перед землянками и блиндажами комдива — вот уже две недели эта заварушка, а ему даже негде голову приклонить, да еще гоняют днем и ночью, как соленого зайца...

— Поезжайте в лесополосу, где стоял политотдел,— сказал Шумаков, словно не приказывал, а просил. — Передайте полковнику Штукаренко, чтоб немедленно явился. — И прибавил: — Может, просто нарушена связь, и они еще там.

— Слушаюсь! — козырнул Сердюк.

— И лучше на мотоцикле. На машине, наверно, не проехать.

— Может, сходить пешком, ведь и мотоцикл не пройдет, — попросил разрешения лейтенант. — Тут всего три километра.

— Нет, лучше на мотоцикле, — возразил Шумаков. — Сколько можно, проедете, а потом — пешком.

— Разрешите идти?

— Идите!

Сердюк повернулся и вышел. Ясно, что все это ни к чему. И лучше всех это понимал начальник штаба. Может, если бы он вмешался, комдив не послал бы Сердюка в такую метель. Но этот тип горланит в телефон и делает вид, что ничего вокруг не замечает...

Только Лемешко закончил разговор с начальником боеснабжения, как снова послышался зуммер. Телефонист протянул руку к трубке, но подполковник снял ее сам. Он послушал, секунду помолчал и растерянно переспросил:

— Кто, кто?

Услышав второй раз фамилию того, о ком ему докладывали, Лемешко отодвинул трубку как можно дальше и сбивчиво проговорил:

— Товарищ полковник, тяжело ранен какой-то... рядовой Шмаков.

Комдив замер на миг, медленно поднялся и подошел к аппарату. Слушал и молчал, и даже когда Снежко спросил, слушает ли он, у него не хватило сил ответить. Не глядя, протянул трубку телефонисту и опустился на табурет.

— Что-нибудь случилось? — спросил начальник штаба, и в голосе вдруг послышалось искреннее беспокойство.

Шумаков посмотрел на него, не зная, что ответить.

— Напали на политотдел... — проговорил он. — Есть убитые и раненые.

— Кто? — В голосе Лемешко звучало все то же искреннее беспокойство, которое только что так удивило Шумакова. Начальник штаба никогда не выказывал такой чувствительности.

— Убит водитель... тот, что возил полковника, и ранен один боец... Старый мой приятель — еще по Чите, — проговорил ~~комдив~~, стараясь не выдать своего волнения.

— Вот как! Может, вам надо поехать... — Лемешко увидел, что комдив заколебался. — Не волнуйтесь, все будет в порядке.

— Спасибо.

— Машину комдива! — приказал Лемешко телефонисту, и тот выскочил из блиндажа.

Шумаков подошел к стене, на которой висела шинель, но начальник штаба опередил его. Снял с гвоздя и подал. Открыл дверь, пропустил вперед комдива и, когда тот вышел, сказал кому-то в темноту заснеженного хода сообщения:

— Догоните лейтенанта Сердюка. Пусть возвращается.

Машины с ранеными подходили одна за другой. Легкораненых быстро перевязывали в брезентовой палатке, грузили на те же машины, что привезли их с поля боя, и отправляли дальше в неглубокий тыл; тяжелораненых переносили в единственную уцелевшую на степном хуторе хату. По количеству машин, выстроившихся вдоль единственной улицы, Шумаков мог представить себе подлинные размеры потерь, о которых в штабе дивизии еще не было точных данных. Не останавливаясь, он печально поглядел на машины, миновал огромную брезентовую палатку, возле которой сустились санитары и водители, и пошел к крыльцу.

У двери, опершись на косяк, стоял старший лейтенант Снежко. Он растерянно вытянулся, увидев комдива, и не сводил с него глаз, пока тот не скрылся за дверью.

В сенях, хотя и освещенных маленькой электрической лампочкой, было темно. Три девушки в халатах перешептывались в углу — они не оглянулись, когда скрипнула входная дверь. Шумаков поздоровался хриловатым голосом, и одна из них испуганно вскрикнула:

— Ой, товарищ полковник!

Это была Оля Тимченко — санитарка, которую прикрепили к Шумакову, когда он лежал в санбате.

— Оля, будьте добры, позовите, пожалуйста, доктора Хохол.

— Слушаюсь, товарищ комдив. Сейчас.

Она пошла направо, а две санитарки, с которыми она только что шепталась, незаметно исчезли, и Шумаков остался в сенях один.

Боль в ноге давала о себе знать сильнее, чем обычно. Комдив прислонился к стене и замер, прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за двери. Несколько человек стонали на разные голоса, кто-то вскрикнул и замолчал: как видно, отдирали бинт от раны. Пахло йодом и чем-то резким, от чего першило в горле.

Несколько дней назад, когда он заезжал сюда по дороге, Аня Хохол перевязывала ему ногу в операционной, вот здесь рядом, в небольшой комнате напротив входных дверей. Может, сейчас там оперируют Шмакова? Санитарка побежала за Аней не туда, значит, оперирует не она, а Васадзе. Шумаков вспомнил юное, растерянное лицо начальника дивизионного санбата, готового ампутировать ему ногу. Не появившись тогда Аня Хохол и не удали осколок собственноручно... Шумаков невольно шевельнул раненой ногой, словно хотел еще раз убедиться, что она есть.

Задумавшись, Шумаков почти испуганно отпрянул от стены, когда появилась Аня. Она удивленно улыбнулась, словно не знала, что вызвал ее именно Шумаков. Она была уверена, что комдив приехал на перевязку, а так как это был первый случай, когда ему не пришлось напоминать, то она уже приготовилась посмеяться по этому поводу.

— Как он? — спросил Шумаков, вместо того чтоб поздороваться.

Улыбка сбежала с ее лица, брови удивленно шевельнулись:

— Кто?

«Только теперь Шумаков догадался, что она и представления не имеет о Шамакове, и смутился.

— Здравствуйте, Анна Семеновна,— улыбнулся он и пожал теплую руку. — К вам привезли раненого — его фамилия Шамаков.

— Да, я обратила внимание на его фамилию,— вырвалось у Ани, но она не сказала, что в этой фамилии ее заинтересовало, и покраснела.

— Его уже оперировали?

— Нет.

— Что, может, обойдется? — с надеждой спросил Шумаков.

Женщину удивляла его заинтересованность, и все же она сказала:

— К сожалению, нет...

Аня заметила, как что-то погасло в глазах комдива, и внезапная нежность сжала ей сердце.

— Когда будут оперировать?

— Надо подготовить,— заговорила она, глядя ему прямо в глаза, все же стараясь распознать причину его особого беспокойства. — Пуля застряла очень близко от сердца, а оно у него...

Шумаков помолчал.

— Анна Семеновна, он не должен умереть.

Ее поразил этот шепот. Она посмотрела на Шумакова и невольно взялась за пуговицу на его шинели.

— Боже, если бы это зависело от меня. — Аня заметила, что держится за пуговицу, опустила голову, но руки не отняла. — Неужели вы сомневаетесь, что все возможное будет сделано?

— Я хочу, чтоб оперировали вы.

Она снова посмотрела на него — проникновенно и одновременно ласково, с чуть заметной улыбкой.

— Но ведь мой хирургический опыт невелик.

— Меня вы оперировали.

— Разве можно сравнить! Вы были ранены в ногу, а он...

— Если б не вы, мне бы ее ампутировали.

Она ответила, словно объясняла ребенку:

— Ногу можно ампутировать, а сердце — нет!

— Аня, спасите его! — повторил Шумаков, впервые назвав ее просто по имени.

Она заметила это, но не ответила. Пуля застряла рядом с сердцем, а сердце слабое. Да если и здоровое, достать ее из груди сумел бы, пожалуй, только подлинный виртуоз, да и то не в условиях сабата. Здесь можно надеяться только на чудо. В чудеса Аня не верила, хотя и встречалась с ними не раз.

— Вы побудете здесь?

— К сожалению,— вздохнул Шумаков,— я должен ехать. Дивизия — в боях.

— Поезжайте,— сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал ласково и ободрительно. — Будем надеяться.

Он пожал ее тонкую, маленькую руку, на миг задержал в своей и молча вышел.

После тусклого света в сених тьма во дворе показалась непроглядной: Шумаков остановился, ожидая, пока глаза привыкнут к ней, и медленно натянул рукавицы. Потом увидел старшего лейтенанта Снежко и вздрогнул от неожиданности.

— А, вы тут? Что ж, поехали.

Снежко заколебался.

— Спасибо, товарищ полковник. У меня тут машина.

— Отправьте ее,— сказал Шумаков. Ему сейчас не хотелось оставаться вдвоем с Покотило, снова говорить о преимуществе трофейной машины над бывшей эмкой или теперешним газиком. Старшего лейтенанта он почти не знал, но с ним можно будет хоть помолчать.

— Слушаюсь.— Снежко козырнул и побежал к полуторке.

Шумаков постоял у калитки, ожидая, пока вернется старший лейтенант. В ушах еще звенел детский голосок Ани Хохол, перед глазами стояло ее бледное, удивленное лицо. Только теперь он понял, как взволновалась она, почувствовав его тревогу, и подумал, что надо было хоть намекнуть, в чем дело, а не оставлять ее в полном неведении. Что-то роднило его с этой женщиной, что-то привлекало в ней и подсказывало, что она своя, и подсознательно в нем шевельнулось раскаяние, будто он действительно был в чем-то виноват. Приехал, заронил в душу тревогу о неизвестном ей человеке, а не объяснил, кто он, этот человек, и почему его судьба так беспокоит комдива! «Что ж,— подумал Шумаков,— раз уж так случилось... Объясню как-нибудь потом...» Он почему-то верил, что еще представится случай для откровенного разговора об этом...

Снежко быстро вернулся и, когда Шумаков уже уселся на заднем сиденье, нерешительно спросил:

— Товарищ комдив, может, мне остаться?

— Чем вы поможете...— вздохнул полковник, понимая, что именно Снежко имеет в виду.

Старший лейтенант взялся за ручку передней дверцы, не решаясь сесть рядом с комдивом, но Шумаков сказал:

— Садитесь лучше сюда.

Некоторое время ехали молча. Покотило поглядывал в зеркальце, стараясь рассмотреть комдива, который почему-то забился назад, вместо того чтобы сидеть, как обычно, рядом с ним.

— Как это произошло?— неожиданно спросил Шумаков лейтенанта.— Вы при этом присутствовали?

Снежко рассказал. Хоть он и был в ту минуту не рядом, но успел все увидеть. Просто чудо, что полковника Штукаренко не задело. Больше всего попаданий было в лобовое стекло, именно против того места, где он сидел, а пуля угодила в товарища Шмакова, хотя он сидел позади и его прикрывали полковник и водитель... Старший лейтенант так и сказал, уверенный, что это не простой человек. Впрочем, он сразу спохватился, получалось, будто он жалеет, что Штукаренко не задело, а сочувствует Шмакову.

— Какое счастье, что полковник жив! — поспешил Снежко снять возможность такого впечатления.

Шумаков заметил, что старший лейтенант не знает, как вести себя. Естественно, причина повышенного внимания комдива к рядовому солдату интересует и этого беднягу. Но в конце концов, командир дивизии не обязан объяснять каждому свое поведение. Шумаков продолжал расспрашивать, уточняя подробности, и, когда подъезжал к командному пункту, уже совершенно точно представлял, как все было в действительности.

У хода сообщения из тьмы вынырнул лейтенант Сердюк.

— Полковник Штукаренко уже здесь, — поспешил он обрадовать комдива.

— Хорошо, — проговорил Шумаков. И, обращаясь к Покотило, приказал: — Довезите старшего лейтенанта до политотдела.

Лемешко в блиндаже не было, а замполит стоял у аппарата, одной рукой прижимая к уху трубку, а в другой держа жестяную кружку с дымящимся чаем. Он кивнул Шумакову, но телефонного разговора не прервал.

— Теперь вы сами видите — святяни надо беречь, — продолжал Штукаренко, и комдив понял, что на проводе майор Терещенко. — Если б брали в лоб, то потерь было бы в десять раз больше, а так и козы сыты и сено цело. Вот так-то. — Он положил трубку и уже тише сказал Шумакову: — Терещенко все-таки сохранил Лысянку. Вошел, не разрушив.

Шумаков молча раздевался. Штукаренко хотел спросить о Шмакове, но промолчал и хлебнул из кружки. Он еще не успел отойти от аппарата, как послышался зуммер, и телефонист снова протянул ему трубку.

Комдив как раз вешал шинель и невольно замер, услышав знакомый женский голос, который звенел в трубке, повторенный вибрирующей мембраной. Штукаренко выслушал, положил трубку и с минуту помолчал.

— Так, — только и протянул он.

— Умер?.. — спросил Шумаков.

— Да, брат, ничего не поделаешь... — Штукаренко вздохнул.

28

В последнюю ночь перед окончательным уничтожением курсуншезченковский котел напоминал закопченный солдатский котелок с прогнутыми во многих местах боками. Десятки тысяч людей, множество танков, бронетранспортеров, орудий и машины, зажатых вокруг Корсуня и нескольких небольших сел, превратились в сплошную мишень, в которую не нужно было целиться, чтобы попасть. Вьюга, не стихавшая несколько дней и ночей, перешла в снежную бурю; степные дороги замело, овраги и канавы сровняло, и машины, которые сворачивали с дороги хоть на метр, останавливались без всякой надежды снова выбраться на дорогу.

Но даже если им удавалось выбраться, спасения все равно не было. Окруженные в отчаянии метались по степи не потому, что надеялись на чудо. Очумев от голода, промерзшие до костей, одичавшие от крови и смерти, которая подстерегала их каждую минуту, немцы бессмысленно барахтались, как рыбы, попавшие в сеть.

Тысячи стволов извергали металл и огонь, и каждый снаряд или пулеметная очередь попадали в цель. Земля содрогалась, степь стала багровой от крови и огня. Угроза тотального уничтожения, о котором было сказано в последнем абзаце отклоненного советского ультиматума, воплощалась в действительность.

В полночь все стихло. Раскаленные орудия шипели, когда на них падал снег. Из тыловых лесополос и реденьких перелесков высыпали кавалеристы. Во внезапно наступившей тишине слышался только звон шашек. Но вскоре и конники вернулись на свои позиции — сопротивления больше не было, врага как организованной военной силы больше не существовало.

Когда все стихло, Шумаков по очереди вызвал к аппарату всех командиров своих полков. Надо использовать временное затишье и дать солдатам передохнуть. Если утром те, кто уцелел во вражеском котле, не сдадутся, придется снова наступать. Особого сопротивления ожидать не приходится, но все же речь идет о нескольких тысячах вооруженных фашистов, хоть они и деморализованы и разбросаны по снежной пустыне.

Измученный вконец, Шумаков тоже решил немного передохнуть. Приходько внес ватный матрас, расстелил в углу, и полковник лег, укрывшись шинелью.

Впервые за две недели непрерывных боев в траншеях спали почти все, кроме дозорных и разведчиков. Но вдруг перед рассветом на участке одного из батальонов майора Терещенко произошло нечто странное и непонятное — послышался отчаянный вопль сотен людей, лязг гусениц и треск, словно буря ломала десятки толстенных стволов. Все это продолжалось несколько минут. И солдаты напряженно прислушивались, улавливая даже отдельные отчаянные крики, звучащие на фоне какого-то невероятного грохота.

Через несколько минут мерцающую снежную завесу разорвали десятки ярких лучей и к позиции батальона на огромной скорости помчались один за другим около двадцати танков и бронемашин. Орудия и пулеметы стреляли только с передних, и стало ясно, что это не развернутая атака, а отчаянный прорыв, безумная попытка вырваться из кольца или умереть. И когда опомнившиеся артиллеристы открыли огонь и подожгли два танка, остальные не остановились, с дороги не сошли и, не сбавляя скорости, пронеслись через траншею батальона.

Вскоре они были далеко в полковом тылу, но немецкая пехота не ринулась в атаку вслед за внезапным и ошеломляющим прорывом. Когда грохот стих и бойцы бросились к сожженным вражеским машинам, оказалось, что рядовых солдат там нет — только генералы и старшие офицеры. Майор Терещенко понял, что командиры немецких ча-

стей бросили свои войска на произвол судьбы и помчались прочь, спасая свою шкуру.

Немного поредев и став короче, безумная колонна промчалась мимо блиндажа Шумакова не более чем в ста метрах. Побледневший лейтенант Сердюк, увидев зажженные фары неизвестных машин, вбежал в блиндаж, когда Лемешко уже выслушивал беспорядочное донесение майора Терещенко об удивительном происшествии. Сердюк кинулся было будить Шумакова, но начальник штаба зашипел на него, он и так очень плохо слышал, что докладывал Терещенко. Комдив вскочил и выхватил из рук начальника штаба телефонную трубку. Майор как раз говорил о треске и воплях, раздававшихся перед тем, как колонна с генералами рванулась вперед. Не дослушав до конца, Шумаков сказал:

— Они давили своих, пробивая себе дорогу.

Терещенко узнал голос командира и спросил:

— Разрешите поднять полк?

— Да,— сказал Шумаков. — Немедленно бросьте два батальона вдоль дороги, третий — поперек, чтобы зажать остатки немцев в яру. Выполняйте. Я сейчас прибуду.

Он положил трубку и быстро оделся.

— Если командование бросает свои войска на произвол судьбы, значит, им конец,— сказал он, словно размышляя вслух. И продолжил, обращаясь к начальнику штаба: — Прошу вас доложить командующему.

— Слушаюсь. — Лемешко щелкнул каблуками.

— Поехали, Сердюк,— сказал Шумаков. — Давайте лошадей.

Лейтенант первым выскочил из блиндажа, почти следом вышел и комдив. Над ходом сообщения бушевала пурга, ветер выл и сметал с земли снежную крупу. В неглубоком ходе сообщения снега было по колено, и приходилось опираться на палку чаще чем обычно.

Шумаков как раз подошел к ступенькам, когда два коновода бегом подвели оседланных коней. Три автоматчика ехали следом.

Поле бушевало, словно пенилось. Лошади то проваливались в сугробы чуть ли не с головой, то сразу вырывались на темные лысины, с которых ветер смел весь снег. Ветер дул пронзительно и неистово, и, когда на миг ослабевал, лошади резко клонились набок.

Терещенко на запыленной снегом лошади возник из вьюги неожиданно, как призрак. Он доложил, что батальоны продвигаются, не встречая никакого сопротивления. Слова трудно было разобрать, казалось, что человек говорит с полным ртом.

— Понятно! — не дал ему закончить Шумаков. — Поехали.

Не прошло и десяти минут, как они перескочили через брошенные траншеи и оказались на дороге. Ее можно было узнать лишь по остаткам разбитых машин, которые заполнили неглубокий овражек и стояли уже почти сплошь засыпанные снегом. Раскиданные танками в разные стороны, а нередко и смятые гусеницами, машины ясно рассказывали о том, что произошло здесь час назад и о чем комдив сразу догадался, слушая доклад Терещенко по телефону. Да, очевидно, вра-

жеская колонна, заблудившись, металась по степи, не зная, куда падать, и вдруг оказалась на пути бегства своих начальников, а те безжалостно раздавили ее, чтобы самим вырваться из пекла!

— Убежал борщ,— пожалел Терещенко. — Навар пропал...

— За это нам с вами еще придется ответить... — сказал комдив.

— За что? — удивился майор. — Армию без генералов можно брать голыми руками, как отару! Нашим людям жизнь сбережем — за что ж отвечать?!

И то правда. Но Шумаков молчал. Ветер не давал говорить, и, чтобы расслышал Терещенко, надо было кричать. Да и думалось о другом — в памяти возник сорок первый год. Ведь сам попадал в окружение, сам варился в адском котле под Смоленском. Но чтобы командиры бросили своих солдат, как это сделали сейчас немцы, сбегали, оставив их на бесславную смерть... Нет, такого не было, это даже представить себе нельзя.

Впереди послышался глухой, ритмичный топот. Лошади брели шагом, с трудом преодолевая сопротивление ветра, и Шумаков сразу заметил, как они настороженно запрядали ушами, ловя этот звук. Терещенко натянул повод, но конь Шумакова тоже остановился, будто приказ был передан и ему.

Через минуту из снежной завесы вынырнул сержант. Узнав своего командира полка, он что-то крикнул назад, и монотонный топот прекратился. Парень подбежал к Терещенко и, неуклюже козырнув, доложил:

— Колонна военнопленных фрицев препровождается на сборный пункт. Начальник конвоя — сержант Полуница.

— Ты что, не знаешь, кому надо докладывать? — сердито буркнул Терещенко.

Сержант растерянно замигал опущенными инеем ресницами, но тут вмешался комдив:

— Ладно, ладно. Сколько военнопленных?

— Не считали, товарищ полковник. До черта.

— Ну ведите,— улыбнулся комдив, съезжая с дороги, чтобы пропустить колонну.

Уже совсем рассвело. Шумаков и Терещенко стояли, молча глядя на длиннющую колонну, которая, извиваясь, как змея, медленно выползала из синего марева степной пустыни. Мареву было густым, и казалось, что змея эта выжимается из него, как паста из тюбика. Шумаков не различал отдельных лиц — сгорбленные, чуть ли не согнутые пополам, с головой закутанные в грязные отрепья, человекоподобные существа вызывали одновременно отвращение и затаенную жалость. Отвращение рождало все, что Шумаков знал о них, все, что они в своей слепой покорности натворили в мире и в чем, быть может, подсознательно раскаивались теперь, когда предводители их бежали; жалость вызывала человеческая слепота, духовное убожество, которое можно так легко толкнуть на любое преступление ради жирного куса. Что это были за люди? Зачем они пришли сюда? Осталось ли что-либо человеческое в душах, еще так недавно преисполненных нена-

висти и злобы? Способны ли они воспринять другое, совсем новое для них, после того как все, что привело их сюда, уничтожено догла?

Глядя на бесконечную колонну, одновременно похожую и на гадюку и на мутный поток, Шумаков думал о том, сколько всяческой грязи нанесли эти чужаки на нашу землю своими измазанными сапогами и сколько потребуется сил и стараний, чтоб на ней и духа поганого не осталось! И все же это было утешительное зрелище. Шумаков подумал о Шмакове: жаль, что он уже не увидит этого. Длиннюшая колонна пленных порадовала бы его: как человек военный, он бы убедился, что, пока его на войне не было, Шумаков не бил баклуши.

29

Впереди шел Сиволап, чуть позади — сержант Гонтарь и Ишук со знаменем. Следом, покачиваясь и тихо переговариваясь, тянулась небольшая колонна — человек сорок мужчин и женщин, половину из которых составляли те, что присоединились к отряду после побега из калитвинского пакауза.

И хоть возвращались в свое село и впервые за полтора года шли, не опасаясь неожиданного нападения, но выглядели все хмурыми: теперь, когда для одних кончилось нечеловеческое напряжение, в котором они жили в лесу, а для других — постоянное ожидание смерти в немецкой неволе, всеми овладела страшная усталость и апатия. Даже Сиволап, который, несмотря на свой возраст, все время держался, понимая, что остальные берут с него пример, — даже он теперь ссутулился и казался угрюмым, особенно если смотреть сзади, из середины колонны, откуда поглядывала на него Ксения.

Порывистый ветер налетал с юга, сплошная завеса, долгое время отгораживавшая небо от земли, разорвалась во многих местах, и из синих просветов пробивались солнечные лучи, освещая снежные сугробы вдоль грейдера. Снег подтаивал, и верхний слой его, намокая, тут же подмерзал, одевая степь ледяным панцирем сверкающего наста. Поле ярко серебрилось, слепило и ранило взор; чтобы избежать острой боли, приходилось смотреть не вперед, а себе под ноги, и люди шли, опустив головы, что еще больше подчеркивало их грустное настроение.

Для Ксени и Сиволапа смерть Гната Голубничего была тяжким ударом. Большинство из тех, кто шел сейчас по степной дороге, либо никогда не встречались с ним и поэтому не переживали его гибель как личную утрату, либо если и были родом из того же села, то привыкли к тому, что он служил в немецкой комендатуре, и, даже зная теперь, кому он служил на самом деле, не могли до конца избавиться от впечатления, которое производила на них повязка полицая. И только трое — Ксения, Сиволап и Кныш — знали о Голубничем все, встречались с ним чуть ли не каждый день и теперь по-настоящему понимали, кого потеряли.

Угнетенный, бесконечно усталый, Микита Харитонович с трудом передвигал отекавшие ноги и думал, думал. Он знал, что, кроме него, в Калитве нет еще никакой власти, даже не прибыло командование тех воинских частей, что, разгромив немцев, прорвались дальше, на Корсунь. Значит, все произошло по его вине.

Накануне, узнав о гибели Гната, Микита Харитонович пришел в ярость. Но, немного поостыв, понял, что нельзя обвинять обезумевших женщин, перенесших столько горя и унижений во время оккупации и наконец получивших возможность отомстить полиции. Откуда они могли знать, что это за полицией? И что бы он сам ни говорил, могли ли они поверить человеку, который служил в комендатуре? И если кто и повинен в том, что произошло, то не эти несчастные женщины, а он, Сиволап, который должен был предвидеть возможность такой расправы. Должен был, но не предвидел.

— Ищук,— окликнул он и оглянулся. — Выходи со знаменем вперед. — Приказ этот вырвался у Микиты Харитоновича неожиданно для него самого, словно прорвался сквозь мысли, от которых он не мог избавиться. — И чего вы нахмурились? — обратился он уже ко всем. — Домой ведь возвращаемся, с победой!

Он остановился, пропустил вперед Ищука, а сам пошел рядом с Гонтарем. В колонне зашумели, на лицах замелькали улыбки. А Ксения, увидев осунувшееся лицо Сиволапа, вдруг подумала о своем отце и еще больше загрустила...

Она всегда, встречая пожилых людей, вспоминала своих родителей. А сегодня тем более, потому что с самого утра думала, как ей быть дальше, куда пробираться — в Запорожье или в Киев? Родителей надо искать в одном из этих городов, ведь Киев давно уже освобожден — это еще в начале ноября говорил ей Гнат Голубничий. Об Олеге Харкевиче она не подумала — он ведь где-то на востоке или в Москве. Родители — это ее единственное пристанище, единственный приют.

В поле стояла тишина, ее нарушал лишь скрип сапог да негромкие разговоры в колонне. Похоже было, что люди и впрямь повеселели после того, как Сиволап напомнил, кто они и куда идут. Ксения посмотрела на Оленку, которая бежала рядом, едва поспевая за взрослыми, хоть те и шли медленно. Детская ручка, доверчиво лежавшая в Ксениной ладони, была горячей, а личико, еще недавно такое бледное, пылало.

— Давай я тебя на руки возьму, маленькая, — пропела Любка Хворостяная. Она держала девочку за другую ручку. — Умаялась поди, сердешная. Иди, маленькая, ко мне, иди. — Не останавливаясь, чтобы не сломать строй, она подхватила Оленку на руки.

Ребенок — самая большая забота Ксени. Как быть с ней? Оставить у кого-нибудь в Калитве? Охотники приютить сиротку, безусловно, найдутся, хотя и самим туго приходится. Но расстаться с Оленкой навсегда — это означало порвать связь со всем, что стало для нее таким дорогим за эти полтора года...

Девочка покачивалась на руках у Любки, ножки ее чуть не касались земли — вытянулась, стала длинноногая. Ксения дотронулась до

ее головки, словно хотела поправить платок, чтобы не налезал на глаза. На самом деле ей просто хотелось прикоснуться — сроднилась. Единственное, что осталось после полутора лет жизни в селе, преисполненных мук, невзгод и борьбы. Нет, она не оставит ребенка в Калитве — не сможет оторвать от сердца все то, что связывало ее с этим селом.

Дорога поднималась в гору, шаги замедлились, разговоры в колонне стихли, и над ней поднимался пар от дыхания десятков людей. Две гнедые лошаденки тащились позади своих коноводов, груженные — одна пулеметами, а вторая немудреным хозяйством партизанских поварих. Над ними тоже плыл синеватый пар: гора крутая — и лошаденкам нелегко было тащить на себе этот груз.

Поднявшись на холм, Сиволап снял шапку и отер ею вспотевший лоб. И как только надел ее, увидел газик и людей вдалеке, у сожженной ветряной мельницы. Микита Харитонович невольно пошел медленнее, потом совсем остановился, присматриваясь.

— Свои! — улыбнулся Ищук. — Не немцы.

— Вижу, что не немцы, — бросил Сиволап и пошел дальше.

Верно, и те у ветряка заметили колонну, потому что сразу двинулись навстречу.

Через несколько минут газик остановился шагах в двадцати от Ищука, и двое военных вышли на середину грейдера. Они подождали, пока колонна приблизилась и остановилась. Сиволап не знал, как вести себя, видел только, что перед ним свои, и горло перехватила радостная судорога.

— Здравствуйте, товарищи, — поздоровался военный — тот, что был пониже ростом. — Кто такне? — Не ожидая ответа, он подошел к Ищуку и протянул ему руку.

Ищук переложил древко на левое плечо и протянул свою.

— Микита Харитонович... — он оглянулся на Сиволапа.

Сиволап понимал, что должен выйти вперед и, как командир отряда, ответить на вопрос военного, но он все еще не мог справиться с волнением и с удивлением разглядывал высокие папахи и погоны, которых никогда раньше не видел. Пока он приходил в себя, тот, кто спрашивал, взялся рукой за край красного полотнища и прочитал написанные на нем золотом, но уже почти стершиеся слова: «Мионовское лесничество».

— Лесники, значит? — рассмеялся военный.

Колонны больше не было — люди окружили машину. Завороженные, глядели и шупали зеленоватый газик, будто живое существо, стараясь убедиться, действительно ли он живой. Любка спуетила Оленку на землю и заплакала.

— А ну, по местам! — сердито scomандовал Сиволап и, когда толпа построилась и превратилась в колонну, обратился к военному, приложив руку к ушанке: — Товарищ... Простите, не знаю, как величать...

— Командир семьдесят восьмой стрелковой дивизии полковник Шумаков, — отрекомендовался военный.

Только теперь Микита Харитонович объяснил, кто такие он и его товарищи, стараясь произносить слова громко и торжественно. Ксения глядела на него, слушала, о чем он докладывал, и вдруг разрыдалась, опустив голову на грудь Любки.

Сначала Микиту Харитоновича обнял Шумаков, потом Штукаренко. Оба долго не выпускали его из объятий. А когда полковники пошли по рядам и стали здороваться с каждым в отдельности, колонна снова рассыпалась и люди уже не скрывали своих чувств — все громко плакали и смеялись.

— А мы не знали, что вы действовали у них в тылу, — проговорил Штукаренко, поздравившись с последним бойцом и возвращаясь к машине.

— Откуда ж вы могли знать? — Сиволап уже успокоился. — Нам мало, воевали, как могли. Дважды, правда, здорово им наподдали.

Штукаренко насторожился.

— Когда это было?

— Один раз — с неделю назад перестреляли тыловиков, а второй — позавчера, когда их пехота спешила за танками.

— Вот оно что! — Штукаренко посмотрел на комдива. Он вспомнил бой вражеских танков с батареей лейтенанта Татарнинова и то, как ждали появления немецкой пехоты, а она не явилась, и танки вынуждены были уйти обратно. — Мы не знали, что вы действуете в тылу, но один раз это почувствовали, — сказал он Сиволапу, как бы оправдываясь за то, что сказал раньше.

— Ну что же, поздравляем вас с победой! — громко обратился ко всем Шумаков. И потом — Сиволапу: — Подавайте команду — в село надо вступить по-боевому.

— По-боевому... — вздохнул Микита Харитонович. — На похороны мы идем. Товарища нашего хорошего хоронить.

Он не подал команды, а просто вышел вперед и зашагал рядом с Шумаковым и Штукаренко. Колонна сама выстроилась и двинулась вслед за ними, а Покотило развернул газик и поехал сзади на первой скорости.

Сиволап шел и рассказывал о Гнате Голубничем — как тот все время был своим человеком в комендатуре и сколько он спас людей... А вот его спасти не смогли...

— Первыми гибнут спасители... — вздохнул Шумаков, вспомнив Шамова, которого они со Штукаренко только что похоронили у ветряка. — Ваш Гнат — герой, и люди его не забудут.

Эти слова будто подтолкнули Сиволапа. Он решил про себя: похоронить Гната на горе, чтоб высился над селом, чтоб издали была видна могила бесстрашного партизанского разведчика.



Часть
третья

1

Перед тем как позвонила Аня Хохол, Шумаков, полуодетый, сидел на постели и, ни о чем не думая, курил. Но, услышав, что она скоро придет, поспешил обуться и надеть китель. Обуваться было и вовсе ни к чему, ведь Аня сказала, что придет именно для того, чтобы окончательно снять с ноги повязку; значит, хочешь или не хочешь, а сапог все равно снимать придется. Но сама мысль — появиться перед Аней в тапочках — пугала, словно приехать должен был не врач, а командарм.

На большом сундуке, покрытом рядном, еще стоял поднос с остатками завтрака. Шумаков позвал Приходько и приказал немедленно все убрать. Ординарец недовольно ворчал — то ли упрекал за что-то, то ли жаловался на кого-то, но Шумаков не слушал. Он был непривычно возбужден, суетливо приводил в порядок бумаги на сундуке, служившем рабочим столом, вновь и вновь ощупывал пуговицы на кителе, проверяя, хорошо ли застегнуты, и, когда Приходько наконец вышел, остановился посредине большой комнаты и задумался.

Ощущение было такое, что сейчас должно произойти нечто особенное, необычайное. На протяжении трех недель после ранения Аня не раз приезжала перевязывать его, он в сам навевался к ней, все больше и больше волнуясь перед каждой встречей, но никогда еще волнение не было столь сильным. Возможно, потому, что тогда и ему и ей все было некогда, а теперь война гремела далеко, после разгрома вражеской группировки она вроде бы вообще закончилась: на много километров вокруг затих грохот боев и наступила необычайная тишина. Дел стало меньше, они приобрели иной, почти прозаический характер, и тогда на поверхность всплыло вот это, потаенное, силой загнанное внутрь.

Шумаков не знал, как он выскажет то, в чем хотел признаться Ане. Да и пришло ли уже время? И как она к этому отнесется, когда

услышит? Не покажется ли ей признание неуместным или даже смешным? Он замечал, он знал, что и Аня к нему равнодушна, но разве милая, ни к чему не обязывающая благосклонность и глубокое чувство — одно и то же? А если Аня испытывает нечто похожее на то, что испытывает он, не напугает ли ее его неожиданное признание?

В дверь постучали — Шумаков весь напрягся, хотя понимал, что Аня едет на газике по разбитой, занесенной снегом дороге, а не летит на самолете и не может прибыть так скоро.

— Войдите,— тихо сказал Шумаков и заметил, что голос его дрожит.

В сенях, впрочем, услышали, и на пороге появился Сиволап.

— Можно? — переспросил он уже в комнате и заячьей ушанкой, которую держал в руке, стал стряхивать снег с потертого тулупа. — Снова метет, товарищ полковник, простите, наслезу у вас... — Микита Харитонович несколько раз притопнул валенками.

— Пустое. Проходите. — Комдив овладел собой, протянул руку и так, не отпуская, повел Сиволапа к стулу.

— Может, не ко времени? — смутился партизан и стал оправдываться: — Я спросил адъютанта, говорит — комдив на месте и вроде бы не занят.

— Солдат занят, пока перед ним враг, — весело проговорил Шумаков. — А перед нами — никого.

— Что так, то так. Впереди — ни черта, — улыбнулся Сиволап. И прибавил, будто подтверждая и спрашивая одновременно: — Перед вами ненадолго, а перед нами вроде бы навсегда?..

— Перед вами — навсегда, можете не сомневаться, — уловил Шумаков мысль партизана. — Для вас война кончилась.

— Я тоже так думаю, — снова оживился Микита Харитонович, — потому и решил побеспокоить.

Шумаков медленно зашел за сундук, подвинул скамью поближе к стене и сел в красном углу под иконой, которая так и осталась на своем месте, когда хозяева перешли на другую половину, а светелку отдали полковнику.

Вначале, когда вошел не тот, кого он ждал, в душе Шумакова шевельнулось недовольство. Теперь подумал: может, даже и хорошо, что ждать придется не в одиночестве. Уж если разговаривать с кем-то, кроме Ани, так лучше с этим малознакомым человеком, чем, к примеру, с начальником штаба.

— Слушаю вас, — проговорил Шумаков, усевшись.

— Не знаю, с чего начать, — беспомощно улыбнулся Сиволап. — Вот вернулся из леса, прошелся по колхозной усадьбе, где когда-то были фермы и конюшни, поглядел на развалины и растерялся: что делать, с какого бока подступиться?

— Я вас понимаю, — посочувствовал Шумаков.

— Ни лошадей, ни инвентаря, ни зерна для посева, — продолжал Сиволап. — А весна не за горами, еще неделю, ну, полторы пометет, а там и припечет!

В словах бывшего председателя колхоза звучала озабоченность и тревога за будущий урожай, и она передалась Шумакову. Он ясно представил себе положение недавнего партизанского командира, которому надо начинать все сначала, на пустоши, где когда-то было колхозное хозяйство.

— Да, да... — грустно поддакивал Шумаков. И вдруг улыбнулся: — Сами понимаете, сеялок у меня нет. — И через секунду добавил серьезно: — Несколько трофейных автомашин — вот все, чем я могу вам помочь.

— Сеялки — дело такое. Сломанные валяются, как-нибудь сколотим. Вот только сколачивать некому — одни бабы.

— А вот мастера, верно, найдутся... — прищурился Шумаков, что-то взвешивая. Несколько механиков он мог ненадолго снять с артиллерийских мастерских или попросить в смежной танковой бригаде — для этого дадут.

— А за трофейные машины спасибо, — Сиволап только теперь сообразил поблагодарить. — Да если еще немного горючего к ним, так мы, можно сказать, в первое же время на коне будем! — Миките Харитоновичу понравился собственный каламбур, и он поднялся довольный.

Комдив через сундук протянул ему руку, а сам подумал: вот кому можно позавидовать! Армия — конгломерат: один из Сибири, другой из Крыма, третий из Архангельска. Окончится война — разбредутся кто куда... А партизаны отвоевались — и все вместе, как жили в лесу, вернулись в родные места. Шумаков вздохнул: им не приходится, как нам, разлучаться с боевыми друзьями!

В дверь снова постучали, и на пороге появился лейтенант Сердюк.

— Товарищ комдив, врачиха приехала, — козырнул он.

Шумаков почувствовал, как в голову ему ударила волна внезапной тревоги.

— Просите.

Сиволап поспешил к двери, но остановился:

— Да, чуть не забыл...

— Пожалуйста, — проговорил Шумаков рассеянно.

— Здесь есть одна женщина, надо бы ее отправить в Киев. Не могли бы вы помочь, а то поездом, сами знаете, как теперь ехать, а она с ребенком...

— Я узнаю, — сухо пообещал Шумаков. — Если представится случай, сообщу.

Сиволап, верно, заметил внезапную перемену, происшедшую с комдивом, когда тот узнал о приезде врача, — он хотел сказать еще, что женщина пришла с ним и ждет во дворе, но только благодарно кивнул на прощание и молча вышел.

Аня поздоровалась очень сдержанно, но Шумаков заметил улыбку, промелькнувшую на всегда бледном, а теперь чуть порозовевшем лице, и почувствовал, что она тоже рада встрече. Он до сих пор стоял по ту сторону сундука, словно не было сил подойти и помочь ей снять шинельку, повесить на гвоздь. Аня поставила санитарную сумку с ин-

струментами возле кровати. Наклонилась, открыла ее. А Шумаков продолжал стоять за сундуком, словно окаменев, и только растерянно следил за тонкими пальцами, которыми Аня что-то брала и снова клала на место, чтобы скрыть свое волнение и отдалить минуту, когда придется взглянуть в глаза или заговорить.

И все же она первая взяла себя в руки — выпрямилась, невысокая, стройная, одернула белый халатик, надетый еще в санбате, и снова улыбнулась, но теперь уже открыто, приветливо:

— Товарищ полковник, наступает торжественный момент!

Она смотрела на Шумакова темными глазами, которые только что казались ему холодноватыми, а теперь сияли доверием и теплотой. И все это еще больше украшало ее.

Комдив вышел из-за сундука, сел на кровать и, все еще не проронив ни слова, приготовился разувать раненую ногу.

Она уже опустилась на колено, когда зажужжал зуммер. Шумаков не хотел брать трубку, но Аня посоветовала:

— Лучше ответить, все равно будут звонить еще.

Шумаков взял трубку и сразу понял, что Аня была права: звонил адъютант командарма.

Полковник молча выслушал, тихо ответил: «Сейчас выезжаю» — и некоторое время еще держал трубку, соображая, как поступить. Ему было приказано немедленно явиться к командующему, и по тону, каким передавали приказ, комдив понял, что дело срочное. Конечно, можно задержаться на несколько минут, быстренько снять повязку, но тогда Аня уедет, а этого он хотел избежать. И, только решив, как добиться своего, Шумаков положил трубку.

— Мне надо сейчас ненадолго отлучиться. Вы могли бы подождать? Я скоро вернусь,— проговорил он почти умоляюще.

Он боялся не отказа, а уверений, что повязку можно снять за несколько минут. Но Аня ответила:

— Хорошо, я подожду.

Шумаков надел шинель и, подойдя к двери, благодарно коснулся Аниного плеча. На пороге оглянулся, приветливо кивнул.

Вышел окрыленный и быстро зашагал через двор к газнику, не заметив ни Сиволапа, ни молодой женщины, которые стояли у ворот.

Волнующее чувство радостной окрыленности исчезло, как только машина покатила по улице. Шумаков вспомнил, что не виделся с командармом с начала боев по уничтожению курсунской группировки врага, вспомнил и неприятный телефонный разговор по поводу вызова в Москву, которого он добивался в свое время без разрешения командующего. Тогда генерал-полковник дал ему понять, что недоволен, и, хотя не употребил при этом ни одного резкого слова, а только пообещал вернуться к обсуждению вопроса позднее, в устах недавнего профессора военной академии и это звучало угрозой.

Обращение в Москву через голову непосредственного начальника было прямым нарушением воинской дисциплины. Конечно, можно сослаться на то, что обращался он не в военные инстанции, а в ЦК партии... Но такая ссылка была бы лишь формальным оправданием, к

которому Шумаков прибегать не хотел. А он не сомневался, что командарм именно теперь вспомнил об этом вызове и, хочешь не хочешь, придется объяснять, а может быть, и ворошить то, к чему не хотелось возвращаться.

Он сидел рядом с Покотило, мрачный, угнетенный. Водитель, уже привыкший читать на лице своего комдива таинственные письмена меняющихся настроений, только искоса поглядывал на него, не решаясь заговорить.

К зданию бывшей школы, где еще недавно была немецкая комендатура, а теперь расположился штаб армии, Шумаков подъехал почти одновременно с двумя другими командирами дивизий — полковником Шостопалом и генерал-майором Прониным: первый на шикарном трофейном «мерседесе», второй — на большом, еще более роскошном «хорхе». «Значит, вызвали не только меня», — подумал Шумаков, и это его немного успокоило. Ведь не мог же командарм созывать совещание, чтобы при всех отчитывать его! Шумаков перестал волноваться, а увидев, каким завистливым взглядом Покотило окинул машины его коллег, совсем развеселился.

— А, привет! — еще издали воскликнул тонкий, словно юноша, полковник Шостопал и, на ходу снимая желтую лайковую перчатку, пошел навстречу Шумакову. — Не знаете, по какому случаю сабантуй?

— Представления не имею. — Шумаков пожал его худощавую, но сильную руку.

Пронин тоже не знал, зачем их вызвали, и, молча выслушав несколько предположений, сделанных живым и разговорчивым Шостопалом, солидно и довольно равнодушно подытожил:

— Нечего морочить себе голову. Скажут.

В приемной посетителей не было, и это удивило даже солидного Пронина. Стало быть, из всех командиров частей вызваны почему-то только трое, — это кое-что значило. И когда адъютант предложил им раздеться, а сам скрылся в кабинете командующего, все трое многозначительно переглянулись. Но Пронин снова повторил свою философскую формулу спокойствия:

— Говорю, не морочьте себе голову: через минуту узнаем.

Полковники подмигнули друг другу, чуть заметно улыбнулись, не решаясь высказать вслух того, о чем подумали в связи с замечанием старшего по званию. В этот момент дверь открылась, и адъютант щелкнул каблуками:

— Командующий ждет.

Войдя в комнату, все посмотрели на стол, накрытый на четыре персоны, и вытянулись перед командующим. Высокий, к тому же довольно тучный, генерал-полковник тяжело поднялся и пошел им навстречу.

— Я вызвал вас, чтобы сообщить: Указом Президиума Верховного Совета сегодня вам присвоены очередные воинские звания. Поздравляю и предлагаю по этому случаю выпить.

Этого Шумаков никак не ожидал, хотя, второй год командуя дивизией, имел основания надеяться, что станет генералом. Он понимал,

что ликвидация курсунь-шевченковской группировки войск противника может ускорить появление такого Указа, и все же обрадовался, как приятной неожиданности. У него перехватило горло, и свое «Служу Советскому Союзу» он произнес хрипло, прерывисто: к высокому ордену, о награждении которым он уже знал раньше, генеральское звание было весьма приятным дополнением.

Стол был накрыт, но командующий к столу не пригласил, а предложил выпить шампанское стоя. И, только взяв бокал с подноса, который протянула каждому хорошенькая официантка из столовой Военного совета армии, Шумаков догадался, что очередное звание, очевидно, присвоено и самому командующему и стол накрыт для других.

Пронин и Шостопап, как видно, были этим разочарованы. А Шумаков обрадовался, что не придется засиживаться у командующего. Аня ждала, и ему хотелось как можно скорей увидеть ее. Он был уверен, что день, так удачно начавшийся, должен закончиться так же счастливо. Командующий пил медленно и молча, иногда поглядывал на прозрачное вино, что искрилось и играло в хрустальном бокале, и наконец спросил:

— Надеюсь, никто из вас не приехал без водителя?

— Нет, товарищ генерал-полковник,— поспешил ответить Пронин, догадываясь, что командарм собирается предложить еще по бокалу.

— Можете называть меня генералом армии,— улыбнулся командующий.

— Поздравляем! — радостно воскликнул Пронин. — В таком случае...

— Именно это я имел в виду, спрашивая, не поведет ли кто из вас машину?

Все снова чокнулись с ним и по очереди поздравили.

— Что ж, вы можете быть свободны,— сказал генерал армии. — Кроме вас, Шумаков.

Это его обеспокоило. Значит, невзирая на торжественность момента, командарм не забыл о его телеграмме в ЦК. Теперь комдив был уверен, что неприятного разговора не миновать.

Когда Пронин и Шостопап вышли, командарм вернулся к своему столу, взял бумажку и протянул Шумакову.

— Вот как бывает,— сказал он. — Повоевали вместе, а теперь приходится прощаться.

Шумаков прочитал телеграфные строчки, аккуратно наклеенные на листок бумаги, и похолодел:

— Товарищ генерал армии, я уже докладывал вам, что моя просьба о вызове в ЦК устарела и необходимость в этом отпала.

— Значит, не забыли? — рассмеялся командарм. — Вы невнимательно прочли: речь идет о вызове не в ЦК, а в Генштаб.

Шумаков второй раз пробежал телеграмму глазами.

— Простите, товарищ командарм, я действительно плохо прочел.

— Рад, что вы не забыли о том случае. Но, как я понимаю, теперь вас навсегда забирают из моей армии, так что наказывать уже нет смысла.

— Забирают навсегда?

— Я разговаривал с Генштабом: вам хотят предложить корпус.

Этого Шумаков не ожидал.

— Не знаю, товарищ генерал армии, справлюсь ли... — искренне растерялся он.

— То же самое я говорил, когда мне поручали армию, — заметил командарм, и его большое, но с тонкими чертами лицо расплылось в улыбке: — Уверен, когда вам предлагали дивизию, вы тоже испугались!

— Нет, товарищ командарм, я действительно...

— Понимаю, понимаю... — не дал тот закончить Шумакову. — И все же, как показала только что завершенная операция, и я, и вы не так уж скверно командовали соединениями, масштабов которых в свое время побавались.

Он взглянул на часы и спохватился:

— Так вот. Пока оставьте вместо себя Штукаренко, а сами — как можно скорее — в Москву. Там кое-что затевают, и вы нужны. Я обещал, что через три дня вы доложите о своем прибытии.

— Слушаюсь! — вытянулся Шумаков. — Разрешите идти?

— Идите, — командарм протянул руку. — Перед тем как улететь, зайдите.

Шумаков кивнул, четко повернулся и вышел.

Машин Пронина и Шостопала у ворот уже не было, и Шумаков обрадовался, что ничего и никому не надо объяснять. Даже Штукаренко не хотелось видеть — ждала Аня, а с нею что-то тревожное и радостное.

Он посмотрел на Покотило — шофер устался в разбитую дорогу, покрытую утоптаным снегом. Вот кто загрустит, когда узнает. Приходько можно взять с собой, может, и Штукаренко со временем удастся перетащить, а этот останется... А впрочем, новый комдив, наверно, пересядет на трофейный «мерседес», и Покотило тайком будет посмеиваться над бессмысленным упрямством своего предыдущего начальника, который уцепился за обшарпанный газик, словно овод за воловий загривок, когда даже лейтенанты ездят уже на трофейных машинах и меняют их чуть не каждый день.

Шумаков взглянул на сосредоточенное, изрытое оспой лицо своего водителя, хотел что-то сказать, но промолчал. Формально приказа командующего еще нет, зачем же разглашать то, что может еще не состояться? Правда, когда Приходько начнет упаковывать чемодан, сослужи все равно поползут. Но нельзя, чтоб они исходили от самого Шумакова.

Ехать было недалеко — с одного конца Калитвы на другой. На улицах еще чернели неубранные немецкие машины и сожженные танки, их приходилось объезжать, и это задерживало. Но Шумаков был спокоен — чувствовал себя легко, уверенно и бодро. Нога не давала себя знать: когда газик переваливал через сугроб или перепрыгивал канавку, боль не пронизывала, как раньше. Он даже не вспомнил о своем ранении, значит, нога действительно зажила, повязку можно снимать.

Возле станции, в забитом машинами переулке, чуть не столкнулись с полторкой, которая шла навстречу и тоже выползла на узкий объезд. Водитель ее остановился, выглянул из кабины, собираясь выругаться, но узнал силуэт комдива за лобовым стеклом, и машина стала пятиться. Покотило так же медленно продвигался вперед, а когда поравнялись с полторкой, Шумаков узнал старшего лейтенанта Снежко, который выскочил из кабины и вытянулся.

— Где полковник Штукаренко? — спросил Шумаков.

Старший лейтенант подбежал и, все еще держа пухлую ладонь возле уха, доложил:

— В триста пятнадцатом, товарищ комдив. На полковом совещании политсостава.

— Когда вернется, передайте, чтобы в восемь прибыл ко мне.

— Есть! — отчеканил старший лейтенант, выпятив свой животик.

При других обстоятельствах Шумаков, наверно, нахмурился бы, а может, и сделал бы замечание офицеру политотдела, который стоял перед ним с опущенной на рукав портупеи и плохо застегнутым ремнем, но теперь лишь едва заметно кивнул и приказал Покотило:

— Давай!

2

В комнате было тепло. Аня посидела на стуле, опершись локтем на сундук, потом подошла и прислонилась к горячей печке, от которой тянуло отсыревшей глиной. Сегодня исполнилось ровно полтора месяца с того дня, когда она почти бежала из уфимского тылового госпиталя на фронт. За это время ей пришлось сменить чуть ли не десяток квартир, но все они скорее были временным убежищем, чем человеческим жильем, — палатки, землянки, отвоеванные немецкие блиндажи, в которых набивалось по четыре, а то и больше женщин-врачей и медсестер, чтобы хоть несколько часов отдохнуть от непрерывных операций, перевязок, отчаянного стога и крика искалеченных людей. Даже когда она приезжала менять повязку командиру дивизии, то и его заставляла в такой же затхлой землянке или в полуразрушенном немецком блиндаже. Сейчас, пожалуй, Аня впервые оказалась в просторной чистой комнате, залитой ярким светом с заснеженного двора: в комнате было четыре окна, в которых чудом уцелели все стекла. В окнах ее уфимской каморки, похожей на келью, стекла тоже были целы, и стены были так же чисто выбелены, но там не хватало подлинного уюта, приятного тепла. Аня стояла у печки, жар от раскаленной стенки проникал сквозь халат и тонкую шерстяную ткань старенького платья, сшитого бог весть когда — задолго до войны, в Ленинграде. Когда становилось очень горячо, она медленно поводила плечами, но от печки не отходила, словно старалась впитать как можно больше тепла, чтобы оно надолго сохранилось и согревало, когда она вернется в санбат, в брезентовую палатку, где продувает насквозь, даже если топят непрерывно круглые сутки.

Тело нежилось, вбирая тепло, а с ним и еще нечто, чему названия Аня не знала. Может, и не было у него ни названия, ни формы, ни запаха, ни каких-либо других осязаемых признаков материальности, но, невидимое, оно носилось в воздухе, жило в этой комнате, рождало неясное и радостное ощущение. На протяжении месяца она не раз и не два встречалась с Шумаковым. Женский инстинкт, присущий ей не больше, но и не меньше, чем всем женщинам на земле, отмечал и фиксировал перемены в отношении к ней. Полковник не обмолвился ни единым словом, но то, о чем он молчал, она отчетливо улавливала. И как раз именно вот это умение чувствовать и молчать больше всего и привлекало в Шумакове. Аня не раз спрашивала себя — чем отвечает ему, но ничего определенного не могла себе сказать. Она не принадлежала к тем, кто вспыхивает внезапно. После разрыва с мужем за нею в Ленинграде и в Уфе не раз ухаживали, но всякий раз ее отталкивало это внезапное мужское влечение, рассчитанное на немедленный ответ. За время пребывания на фронте она немало наслушалась от своих санбатовских коллег о подобных вещах, знала, что здесь, в самом пекле войны, люди зачастую относятся к интимной стороне жизни проще, чем там, где смерть не нависает над головой. Но Шумаков, очевидно, был не такой, и это уже кое-что значило.

Она прониклась к нему доверием, но ничего более значительного в себе не ощущала. Правда, для нее и это было уже много.

Аня еще чуть-чуть постояла, прогревая свои узенькие плечики до самых костей, вдыхая успокоительный дух домашнего уюта и еще чего-то, не имевшего названия, потом решила прогуляться по двору. Надежда шинель и вышла.

После домашнего тепла холодный ветер пронизывал насквозь. На миг она даже съежилась, но дышалось ей легко. Аня прошла мимо часового у ворот и сразу увидела на лавочке молодую женщину в пальто, перешитом из шинели. С минуту Аня стояла молча, оглядывая улицу, потом услышала:

— Не знаете, полковник скоро вернется?

— Сама жду, — сказала Аня. — А вы к нему?

— Да, — ответила та. — Вы — жена?

— Чья? — насторожилась Аня.

— Простите, — проговорила женщина и покраснела. — Вы вышли из его квартиры, и я подумала...

— Нет, нет... — улыбнулась Аня и присела на лавочку рядом с незнакомкой. — Я врач, жду полковника, чтобы снять повязку с раненой ноги. — Неожиданное предположение, что она жена Шумакова, к тому же высказанное столь непосредственно, развеселило ее. — А вы местная?

— В том-то и дело, что нет...

Аня поглядела на незнакомую молодую женщину с любопытством. «В том-то и дело... В чем же, собственно?» — спрашивали ее глаза.

Через полчаса они уже знали, что одну зовут Аня Хохол, другую — Ксения Стороженко, что Аня родилась в Ленинграде, а Ксения — в Киеве. Ксения рассказала, как попала в Калитву, как оказалась в

пакгаузе, вон в том, который хорошо виден отсюда. Аня огорчалась и сочувствовала молодой красивой женщине, пережившей столько невзгод. Правда, о своей прежней жизни Ксения не рассказала, так что ни о самоубийстве Славчука, ни о сложных взаимоотношениях с Олегом Харкевичем, ни даже его фамилии Аня не слышала. Все это для Ксени было слишком личным. Маленькая, хрупкая, но, видно, волевая, врач нравилась ей своей участливостью, тем, как она искренне заинтересовалась ее судьбой. Похоже было, что за пристальным вниманием к чужому горю стоят собственные переживания, но расспрашивать Ксения не решилась. «Да и с чего бы,— подумала она,— военный врач — человек, который бывает у командира дивизии,— стал бы по-бабьи делиться переживаниями с незнакомым человеком?» Ведь и она, Ксения, рассказывала лишь о внешних событиях своей жизни во время войны. Какие же у нее основания требовать большего от Ани?

— Ну, а к полковнику вы по какому делу? — спросила Аня. — Конечно, если это не секрет.

— Необходимо выбраться отсюда... — вздохнула Ксения. — Командир нашего отряда уже просил полковника, но сказал, чтобы я попросила сама. Может, пойдет машина или самолет...

— А вам куда?

— Хорошо бы в Киев, в крайнем случае — в Запорожье.

— В Запорожье вряд ли,— сказала Аня. Она знала, что тыловики еще неделю назад ушли из Запорожья и стоят во втором эшелоне, километрах в двадцати от Калитвы. — А вот на Киев больше надежд...

— Не знаю, куда податься... — вздохнула Ксения. — Поезда еще не ходят, а выйти на дорогу с ребенком... Может, кто и поедет, да только возьмет ли...

Аня взглянула на истощенное, но красивое лицо Ксени, на старенькую ушанку, из-под которой выбивались светлые волосы, и ей стало жаль молодую женщину, которая оказалась так далеко от дома и теперь не представляет, как добраться туда. Да еще с ребенком...

— Жаль, что не встретила вас раньше,— сказала Аня. — Только вчера мы отправили последних раненых, как-нибудь дристроили б и вас. Правда, не в Киев и не в Запорожье, но это неважно — лишь бы до станции, где уже ходят поезда.

Ксения вяло улыбнулась: если она и попадет на станцию, билет все равно не на что купить. Но об этом она решила не говорить: новая знакомая, пожалуй, еще примет это за намек и предложит одолжить денег!

— Я разузнаю. — Аня попробовала ободрить Ксению, хотя в санбате сама скорее была гостем, чем полноправным врачом, и практически помочь не могла. — А где вас искать в случае чего?

Ксения поднялась и пробежала глазами по хатам, тянувшимся вдоль улицы, потом перевела взгляд в глубь села и отыскала соломенную крышу, под которой жила теперь.

— Вон там тополь видите? — Аня тоже встала. — Голубничего в ссле все знали, там я и живу.

— Хорошо, я найду вас,— сказала Аня. — Идите спокойно.

Ксения заколебалась: а может, надо все же поговорить с Шумаковым? Но неловко было выказать недоверие к этой женщине, к ее искреннему обещанию и сочувствию. Да и неизвестно: скоро ли вернется полковник? А когда вернется, ему будут делать перевязку и вряд ли он сразу после этого примет ее. Ксения чуть заметно поклонилась и пошла по улице направо.

Аня проводила ее взглядом и, когда Ксения обернулась, помахала на прощание рукой. Потом села на лавочку, все еще глядя в ту сторону, пока Ксения не скрылась за углом.

То, что она услышала от Ксени, тронуло Аню. Она все больше узнавала в ее судьбе свою, хотя между работой в уфимском тыловом госпитале и пребыванием в железнодорожном пакгаузе Калитвы было мало сходного, но за спокойным рассказом Ксени чувствовалась беспомощность маленькой щепки, которую подхватил бешеный водоворот.

Вспомнилась Уфа, малюсенькая комнатуха, где по вечерам Аня чуть ли не билась головой об стенку, возбужденная, почти обезумевшая от постоянного ощущения вины перед Хохлом, который давно уже не был ее мужем. Воображение так ярко нарисовало все это, что женщина и сейчас почувствовала давно знакомое лихорадочное возбуждение. Испугавшись, что оно подхватит и понесет ее бог весть куда, она быстро достала из кармана стеклянную трубочку с таблетками. Запить было нечем, а идти в дом за водой не хотелось. Аня разжевала горькую таблетку и проглотила. Рот обожгло, отвратительная горечь опалила горло. Некоторое время Аня внимательно прислушивалась к тому, что творит у нее внутри каверзная таблетка, потом не выдержала и схватила из-под забора горсть слежавшегося снега. Пососала его, во рту перестало жечь, но привкус отвратительной горечи остался надолго.

Аня улыбнулась: она не раз глотала эти таблетки, но никогда не думала, что так обожжет, если разжевать сухую. Между тем она успокоилась, сердце забилось ритмичнее.

Часовой прогуливался у ворот. Вдруг он одернул полушубок и вытянулся. Аня посмотрела налево и увидела Шумакова, который шел по узенькой тропинке, протоптанной у самого забора. Аня поднялась. Комдив увидел ее издали и помахал рукой. Потом крикнул часовому:

— Чумак, там за углом моя машина забуксовала!

Часовой побежал к соседнему забору, тоже что-то крикнул, и через минуту на помощь Покотило выбежали несколько бойцов.

Тем временем Шумаков подошел к Ане.

— Простите, что заставил так долго ждать.

— Пустяки.

— Так и просидели здесь одна?

— А кто мне нужен?

Комдив поглядел на нее многозначительно, дотронулся до ее руки, пропуская во двор, а когда вошли в дом, приказал лейтенанту Сердюку, который сидел в просторной кухне:

— Сейчас врач будет снимать повязку: меня нет.

— А знаете, Анна Семеновна, на днях я уезжаю в Москву, — неожиданно для самого себя сказал Шумаков, когда они вошли в комнату и он закрыл за собой дверь.

— Правда? — спросила Аня почти равнодушно и вдруг резко повернулась к нему, словно разом осознав то, что он сказал. — И надолго?

Озабоченность, даже тревога, с какой она спрашивала, чувствовалась и в голосе, и в том, каким строгим и напряженным стало ее лицо. Шумаков сразу понял, что глубоко встревожил ее.

— Надолго ли? — тихо переспросил он, смутившись. — Не знаю, как бы не навсегда.

— Вот как. — Она попробовала взять себя в руки. — Обидно.

Сперва в ее отрывистом замечании Шумакову послышалась скрытая боль от предстоящей разлуки с ним, но он тотчас подумал, что это «обидно» могло вырваться и по другой причине. Ведь в санбате она не оформлена. Комдив не раз обещал ей похлопотать и получить официальное назначение главного сануправления, но до сих пор ничего не сделал. Конечно, во время боев нельзя было урвать ни минуты, но обещание не выполнено, и теперь, когда он уезжает, она остается ни с чем. Ведь в санбате нет ни одной свободной единицы, да и не может санбат никого принять без назначения.

— Анна Семеновна, не подумайте только, что я оставляю вас на произвол судьбы, — заговорил он виновато и просительно. — Я обязательно свяжусь, как обещал, с санитарным управлением и все устрою, — заверил Шумаков, хотя это было и неуместно, и неумно.

Аня не поблагодарила, только внимательно посмотрела на него и сухо сказала:

— Хорошо, давайте ногу.

Она стала снимать шинель, и Шумаков не решился ей помочь. Молча расстегнул пояс, тоже снял шинель и повесил на гвоздь. Анна легла на стуле, переброшенная через спинку, а сама она склонилась над санитарной сумкой, которая стояла в дальнем углу. Полковник опустился на кровать и стал разуваться. Настроение испортилось. Приятно было, что сообщение об отъезде опечалило ее, но ясно: начав разговор именно с этого, он обидел Аню. Нехорошо: не выполнил обещания, а теперь навсегда собирается уехать, да еще и говорит об этом так, словно это его совершенно не касается.

Шумаков украдкой посмотрел на тоненькую фигурку, склонившуюся над сумкой, и сердце его сжалось. Захотелось подняться, подойти к ней, сказать что-то ласковое, нежное, высказать ей все, что у него на сердце. Сапог не слезал, мягкое хромовое голенище плотно облегло ногу, и полковник даже покраснел от напряжения.

Аня долго копалась в сумке, но наконец выпрямилась и повернулась к нему.

— Давайте я помогу, — сказала она, и ему показалось, что в ее предложении слышатся нотки легкого пренебрежения или даже скрытого превосходства.

Но отказаться он не посмел. Чувствовал, что он это заслужил, хотя и не понимал, как все случилось. Аня опустилась на колени, резко рванула сапог, и оба чуть не полетели — она на пол, а он на кровать.

Это развеселило и его, и ее, но оба промолчали. Однако маленькое происшествие сделало свое дело, и напряжение улеглось.

Аня осторожно сняла повязку, открыла длинный посиневший шрам и ощупала его.

— Не больно?

— Нет.

— Хорошо, можете одеваться. — Она поднялась и выпрямилась. — Я следила, когда вы шли по улице: не бойтесь нормально наступать на ногу. Забудьте о ранении и выбросьте свою палку. — Аня снова отошла к стене и склонилась над сумкой.

Шумаков проворно натянул сапог, подошел к ней. Тоже наклонился и стал нервно гладить ее собранные на затылке волосы.

— Милая... милая... Как вы могли подумать, что я вас оставлю!

Аня резко выпрямилась и остолбенела, удивленно глядя на него. Он выдержал этот взгляд, порывисто притянул ее к себе и поцеловал в губы. Аня оттолкнула его, вырвалась из объятий и, размахнувшись, ударила по щеке.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что оба замерли ошеломленные. Шумаков стоял смущенный, беспомощный и, бессмысленно улыбаясь, смотрел на Аню — на ее разгоряченное лицо, на глаза, которые наполнились слезами.

А через миг Аня, не помня себя, бросилась к Шумакову, прижалась к его груди и стала целовать щеки, глаза, губы. Он все еще стоял ошеломленный, а она целовала и лепетала что-то неразборчивое. Наконец он овладел собой, обнял ее и тоже поцеловал.

Только теперь Аня легонько отшатнулась.

— Кто-нибудь может войти...

— Милая моя... милая... — проговорил он, глядя в ее глаза, еще полные слез. — Никто не войдет.

Она схватилась за голову.

— Что же это такое... боже... Что же это такое?

Шумаков хотел обнять ее, но она мягко отстранилась.

— Не надо.

Он не настаивал. Знал, что никто не войдет без его разрешения, мог повторить ей это, но молчал. Отошел к сундуку, опустился на скамью и молча наблюдал, как Аня приходила в себя и наконец шагнула к стулу, на котором висела ее шинель.

Шумаков сорвался с места и положил свою руку на Анину.

— Подождите. Посидите еще.

Она помолчала, потом медленно опустилась на стул и подняла глаза, теперь уже внимательные, даже покорные.

— Послезавтра мы летим в Москву, — сказал он, и голос его теперь звучал уверенно. — Там уладим все дела.

— Какие?

— И мои, и ваши! — И добавил: — И наши общие.

Она удивленно посмотрела на него и, неожиданно улыбнувшись, лукаво спросила:

— Разве у нас есть общие дела?

— Я хочу, чтоб они были, — ответил он, сбитый с толку тоном ее вопроса.

— Боже, да что ж это такое? — Лукавая улыбка сползла с ее лица так же неожиданно, как и появилась. — Я ничего не понимаю.

— А что понимать, если я вас люблю? — Он стал гладить ее волосы. — Милая, милая моя...

Она сидела молча, как бы прислушиваясь к нежным прикосновениям и вбирая их всем существом. Боялась шелохнуться, словно могла спугнуть его руку и развеять счастливый сон. Так и сидела, пока он не прикоснулся губами к ее виску и не отошел.

— О моем отъезде никому не говорите, а о своем предупредите капитана Васадзе, — проговорил он, помолчав. — Доктор вас не задержит — назначения у вас все равно нет. Скажите, что едете в Москву урегулировать свое положение. Если что, сошлитесь на мое решение.

Она посидела еще с минуту, потом подошла к нему и поцеловала в щеку. Молча оделась, взяла сумку и, не оглядываясь, вышла.

Комдив сел у сундука и закрыл лицо ладонями. Он побаивался одного — как бы Сердюк не доложил, что кто-то ждет приема. Испуганно посмотрел на дверь, словно она вот-вот откроется и кто-то войдет.

Когда прозвучал зуммер, полковник враждебно посмотрел на телефонный аппарат, но после третьего сигнала все же снял трубку.

— Тринадцатый слушает, — устало ответил он. И сразу оживился, услышав хриловатый бас Штукаренко. — Да, да, это я. Тебе передали?

— Что там у тебя стряслось? — звенело в трубке. — Я собирался на ночь остаться в полку.

— Ни в коем случае! — крикнул комдив, приложив ладонь к трубке. — Непременно приезжай!

— Да что случилось? — допытывался Штукаренко.

— Приезжай, расскажу.

Замполиту, как видно, очень не хотелось возвращаться, а может, и дела задерживали, но комдив настаивал, и он в конце концов проstonал:

— Вот беда! Ну ладно!

Положив трубку, Шумаков почувствовал себя увереннее, как будто он закончил деловой разговор, который вернул ему обычное равновесие. До отъезда надо было завершить немало дел. Он не мог оставить дивизию просто так, надо было привести все в порядок, чтобы его преемник был доволен. А после двух недель тяжелых боев было над чем задуматься и о чем позаботиться...

Шумаков снял трубку и приказал соединить его с начальником штаба. Когда подполковник Лемешко откликнулся, он попросил немедленно пойти к нему, захватив с собой ведомости о наличии бойцов в полках и окончательный подсчет потерь за время боев на корсунском плацдарме.

4

Приказ об откомандировании Шумакова в распоряжение Генерального штаба пришел за час до появления Штукаренко. Дочитывая приказ, Шумаков впервые увидел рядом со своей фамилией звание «генерал-майор», напечатанное на машинке, оно приковывало к себе взгляд, словно было новостью. Достаточно равнодушный к почестям, он на этот раз довольно улыбнулся и дважды не без удовольствия промурлыкал себе под нос: «генерал-майор» — слова, которые с этих пор станут неотъемлемой частью его официального военного наименования.

Шумаков представил себе, как эта новость поразит подполковника Лемешко, и чуть не рассмеялся вслух. И тут же удивился, а почему самого начальника штаба не повысили в звании? Будет думать, что это все происки комдива... «Но разве я сам до сих пор не был в таком положении?» — подумал Шумаков. Полковник на посту командира дивизии — так же ненормально, как и подполковник — начальник штаба.

В дверь постучали.

Шумаков не ответил, а пошел открывать. Открыл дверь и увидел перед собой подполковника Лемешко.

— Заходите.

— Явился по вашему приказанию, товарищ полковник, — отрапортовал начальник штаба. И, переступив порог, удивился: — Что это вы в потемках?

— Как раз собирался зажечь свет. — Шумаков чиркнул спичкой и зажег лампу.

Из доклада начальника штаба выходило, что за время боев на корсунском плацдарме части и подразделения дивизии понесли значительно большие потери, чем предполагалось. Правда, полки были полнокровными и боеспособными, но некоторые подразделения следовало немедленно пополнить людьми и техникой.

Шумаков попросил Лемешко подготовить соответствующий документ для штаба армии и отпустил его. Приходько, очевидно, ждал за дверью, пока начальник штаба уйдет. Старик сразу вошел и спросил, подавать ли ужин, но комдив сказал, что подождет полковника Штукаренко и будет ужинать с ним.

— Он уже приехал, — сообщил Приходько. — Только что сам видел. Сейчас явится. — И недовольно пробурчал: — А почему не предупредили? Я на вас только приготовил.

— Ну, это дело твое, — бросил Шумаков. — Ужинать будем вдвоем.

Ординарец потоптался у двери, все еще недовольно ворча, вышел

и сразу же вернулся с подносом, на котором стояли тарелки и два стакана.

Приходько еще не закончил «накрывать сундук», как шутил Шумаков с тех пор, как поселился в этой комнате, когда Штукаренко по своей обычной привычке сперва открыл дверь, а потом спросил, можно ли войти. Замполит сразу заметил на сундуке два стакана, а в руках у Шумакова бутылку и, прежде чем поздороваться, спросил:

— По какому случаю?

— Была бы бутылка, а случай всегда найдется,— ответил комдив и пожал руку полковнику.

— Верно, долго не придется искать, раз оторвал меня от работы.

— Ты, как всегда, видишь сквозь землю,— пошутил Шумаков и стал откупоривать бутылку.

— Ну, что случилось?— спросил Штукаренко, раздеваясь.

Шумаков взглянул на Приходько, который уже закончил свое нехитрое дело, подождал, пока ординарец вышел, и, достав из папки, лежавшей на краю сундука, приказ, подал Штукаренко.

— Читай!

Штукаренко взял бумагу, подозрительно посмотрел на Шумакова и пошел к стулу. Сел, положил одну на другую свои журавлиные ноги и, откинувшись на спинку стула, стал читать.

Шумаков стоял в сторонке и украдкой посматривал на своего товарища. Худошавое, удлиненное лицо Штукаренко чуть заметно поворачивалось вслед за строчками приказа, но ничем не выдавало его отношения к прочитанному. На лице его не дрогнул ни один мускул, будто речь шла не о новом звании Шумакова и распоряжении ему, Штукаренко, принять командование дивизией, а о чем-то, что его совершенно не интересовало. Дочитав, он медленно опустил бумагу на свои острые колени и еще с минуту молча смотрел мимо Шумакова, а потом сказал:

— Я часто думал о такой возможности и всегда боялся ее.

Шумаков понял, и это его тронуло.

— Ничего не поделаешь— под богом ходим.— И стал разливать вино. Оно отражало пламя маленькой лампы, стоявшей посредине сундука, и сверкало, как рубин.

Штукаренко взял свой стакан и, словно в сердцах, залпом выпил.

— Невежливо,— пошутил Шумаков.— Так с генералами не пьют. Мог бы и поздравить.

— С чем?— спросил Штукаренко.— С тем, что покидаешь свою дивизию, а заодно и меня?

— Говорю ж, под богом ходим...

— Ходим, конечно...— проворчал Штукаренко.— Но кое-что и от нас зависит, это тоже факт.

— Думаешь, надо отказаться?

— Смотря на что меняешь свое шило,— отрезал Штукаренко и налил себе еще.

— Предлагают корпус,— как бы нехотя признался Шумаков.

— Вон оно что! — этого Штукаренко не ожидал. — Ну, в таком случае... — Он поднял стакан и чокнулся с Шумаковым. — Если это серьезно, то — компривет.

— Насколько серьезно, не знаю, за что купил, за то и продаю, — улыбнулся Шумаков.

— А купил задорого?

— Командующий сообщил.

— Цена подходящая. Ну, будь! — Штукаренко отхлебнул и поставил стакан на сундук.

Потом он поднялся. Зашагал из угла в угол. Руки он, как обычно, заложил за спину, и от этого сутулость его меньше бросалась в глаза.

— Ты — хочешь, обижайся, хочешь, нет, — не такой чувствительный, как я. Факт. Мы, украинцы, вообще народ сентиментальный. Поэтому, не стыдясь, говорю: мне жаль, что ты уезжаешь.

— А мне, думаешь, нет?

— Не стоит в этом соревноваться. — Штукаренко на миг остановился. — Если ты когда-нибудь читал Гоголя, вспомни, как он описывает казацкую дружбу, а потом делай вывод — кому хуже: тебе или мне?

Это было сказано шутя, но за словами легко угадывалась подлинная боль. Провозгласив свою тираду, Штукаренко снова сел, долил себе вина и протянул стакан Шумакову:

— Ну, желаю счастья.

Комдив выпил до дна.

— А я попробую перетянуть тебя к себе, на новое место.

— Забудешь! — улыбнулся полковник.

— Что ты? — удивился Шумаков. И рассмеялся: — Первый выпил, будто забыл, что я генерал, а теперь разговариваешь со мной так, словно я еще полковник!

— Ну прости, — буркнул Штукаренко, не реагируя на шутку.

С минуту они помолчали, потом заговорил комдив:

— Был у меня сегодня местный партизан. Просил помочь техникой и так далее. Странно — я тогда не знал еще, что уезжаю, а ему позавидовал. В том наша солдатская беда и заключается, что для каждого наступает минута, когда он должен покинуть товарищей. А партизаны...

— Понимаю, — перебил Штукаренко. — Не очень глубокое наблюдение, но верное.

— Кстати, — спохватился Шумаков, не расслышав саркастического замечания Штукаренко. — Я ему обещал прихватить с собой кого-то из их отряда. Не забыть бы... — Комдив взял карандаш и записал в блокнот.

Бутылка была почти пуста, когда Шумаков вдруг вспомнил о начальнице штаба.

— Не возражаешь, если я позову Лемешко?

Штукаренко вместо ответа заметил:

— Все-таки правильнее было бы вместо тебя назначить не меня, а его. — Он сказал это уверенно, считая, что Лемешко как офицер

больше подходит к должности комдива. Но, вспомнив, сколько усилий приложил тот, чтобы занять это место во время боев за Днепр-гэс, когда Шумаков был ранен, улыбнулся: — А впрочем, Лемешко слишком уж горячо об этом мечтает. Нет, командующий знает, что делает.

Шумаков позвонил начальнику штаба и убрал пустую бутылку: все-таки неловко — Лемешко поймет, что его пригласили к концу ужина. Он быстро открыл чемодан и вытащил новую — такую же самую бутылку. Откупорил, доверительно подмигнул Штукаренко и быстро сел, на случай если начальник штаба появится раньше, чем можно ожидать. Его озорная возня походила на детскую игру, и чуть опьяневший Штукаренко, довольный улыбаясь, снисходительно наблюдал за шалостями свеженспекенного генерала.

Когда Лемешко появился на пороге, Шумаков вышел ему навстречу с полным стаканом и, остановившись посреди комнаты, провозгласил:

— Товарищ/начальник штаба, можете поздравить меня с получением очередного воинского звания!

В первую минуту Лемешко опешил, казалось, он забыл, какое именно звание является для полковника очередным. Потом растерянно улыбнулся, вытянулся, взял из рук Шумакова стакан и торжественно произнес:

— Разрешите вас поздравить, товарищ... — Он запнулся, чуть не сказал по привычке «полковник», но быстро овладел собой и четко проговорил: — Простите — генерал-майор!

5

Ксения не возлагала больших надежд ни на договоренность Сиволапа с командиром дивизии, ни на обещания Ани Хохол. Пойдет ли машина, еще не известно, а если и пойдет, могут забыть: люди занятые — не удивительно. Поэтому она очень обрадовалась, когда со станции донесся приглушенный гудок, а потом и глухое пыхтение паровоза. Неужели закончился ремонт путей и пустили поезда? Ксения торопливо накинула пальто и побежала. Пыхтение слышалось все отчетливее, но когда Ксения прибежала на станцию, то увидела маленький паровозик, тащивший платформу со шпалами к месту, где солдаты укладывали новое полотно. Паровозик шел с юга, — значит, там дорога готова. Но севернее, где начиналась насыпь и довольно крутой подъем, виднелась длинная песчаная полоса, ощерившаяся голыми шпалами до самого взорванного моста. Выходит, не скоро.

Ксения постояла и пошла обратно. Остановилась у длинного пакугауза. Железные двери были распахнуты, — должно быть, так и остались с той ночи, которую ей никогда не забыть. Она остановилась напротив черного квадрата тьмы, хотела заглянуть внутрь, но передумала и пошла дальше.

Голова гудела — третью ночь Ксения почти не спала. Старуха Голубничая все время вскрикивала и стонала, ложилась одетая, за-

кутавшись с головой, среди ночи вскакивала и сидела на лежанке, горестно покачиваясь из стороны в сторону. Ксения просыпалась, подолгу глядела на беспокойную тень убитой горем женщины, а потом, когда старуха снова укладывалась, больше не могла уснуть. И лишь тихое посапывание маленькой Оленки и тепло, исходившее от нее, немного успокаивали. Но старуха снова вскакивала, начинала глухо стонать, и в сгустившемся сумраке медленно и однообразно колыхалась расплывчатая тень.

Ксения устала от нервного напряжения. Надо было что-то делать, к кому-то пойти, чтобы успокоиться. Так она оказалась на площади возле бывшего сельсовета. И, как только вошла в сени, услышала голос Сиволапа:

— Вот и хорошо! А я хотел посылать за вами. Тут один майор прибыл из Москвы, из редакции. Должен возвращаться и говорит, что самолеты обязательно садятся в Киеве, заправляются горючим. Так что будьте готовы — обещает вас прихватить.

Ксения бегом помчалась домой, будто лететь предстояло немедленно. Заметалась по хате: что паковать? Одежда вся на ней, ни вещей, ни денег.

Старуха горько разрыдалась, услышав, что Ксения уезжает.

— Девочку оставь,— просила она. — Зачем тебе девочка? Ты молодая, а ребенок чужой. Ей лучше в селе, а тебе легче без нее.

Услышав это, Оленка кинулась к Ксене. Плечики ее, узенькие, костлявые, обтянутые почти прозрачной кожей, так и затряслись. Ксения прижала к себе дрожащее, беспомощное тельце, и на глазах у нее блеснули слезы. Нет, нет, она не оставит ребенка. Не только ради девочки, но и ради себя самой. Ради всего горького и ужасного, что пережила в Калитве. Оставить — это все равно что силой вырвать все это из памяти, а оно — часть ее самой, ее души. Нет, нет, она не может, не смеет так поступить!

Оленка постепенно успокоилась, но Ксения не отпускала ее от себя. Она так и сидела, прижав девочку к груди, когда в дверь тихо постучали и на пороге появилась Аня.

Она не сразу узнала Ксению — без пальто и платка, сгорбившуюся, на низенькой кровати, да еще с девочкой, которая словно слилась с ней воедино. А Ксения от неожиданности не могла встать и молчала.

— Так это все же вы! — воскликнула наконец Аня. — Едва пришла. Когда вы вчера показывали, я подумала о соседнем доме, но он оказался пустым.

Только теперь Ксения отстранила Оленку и поднялась.

— А я, честно говоря, не думала, что вы станете разыскивать меня,— улыбнулась она. — Проходите.

Аня вышла на середину просторной кухни с большой печью, и взгляд ее невольно остановился на старухе, которая молча раскачивалась из стороны в сторону. Она сидела на лежанке, закутанная с головой, в своем тупом отчаянии глухая и равнодушная ко всему. Взглянув на нее, Аня вздрогнула и поспешила отвести взгляд. И хоть

старалась не думать о несчастной, но та все время стояла у нее перед глазами.

Утром в санбат позвонил лейтенант Сердюк и сообщил, что они вылетают на следующий день в восемь утра. Сам Шумаков не звонил. Аня не видела его со вчерашнего дня, понимала, что перед отъездом он занят, понимала и то, что подчеркнутое внимание командира дивизии к ней может вызвать нежелательные пересуды среди персонала санбата. И все-таки ждала, все время забегала в палатку, где был телефон, интересовалась, не звонили ли ей, и это никого не удивляло — все уже знали, что она уезжает.

Узнав о самолете, Аня решила предупредить Ксению, адъютант сказал, что маршрутом предусмотрены две остановки — в Киеве и Орле.

Аня погладила черноволосую детскую головку и поглядела на пышные белокурые Ксенины волосы, казавшиеся в предвечернем свете, падающем из окошка, почти золотыми.

— На отца/похожа? — спросила Аня.

Ксения не ответила и обратилась к девочке:

— Ты б оделась, маленькая, и побегала во дворе.

Оленка покорно согласилась, и Ксения помогла ей одеться.

— Не родная она мне, — прошептала Ксения, когда дверь за Оленкой закрылась. — Сирота. Теперь мы вдвоем.

— Говорю — оставь в селе, не тащи с собой, — прохрипела старуха, и Аня испуганно оглянулась, услышав выплаканный, уже не человеческий голос. — Погубишь, коли не ее, так себя.

— Не могу я, говорю вам — не могу... — Слова Ксени звучали одновременно нетерпеливо и умоляюще.

Аня вспомнила своего умершего сыночка: вот эта маленькая и войну перенесла, а жива. А он погиб на тихой ленинградской улочке, когда вместе с отцом ехал на рыбалку... В тот день ее жизнь сломалась, с тех пор она одна. И Аня вдруг поняла это хриплое: «Погубишь и себя». Может, старуха и права.

Аня не решилась вмешиваться. И только спросила:

— Вы берете девочку с собой?

— Беру.

— Завтра в восемь самолет.

— Неужели? — Ксения всплеснула руками и зарделась.

— Могу заехать за вами в семь.

Старуха всхлипнула, затряслась и снова стала раскачиваться. Аня испуганно оглянулась на несчастную женщину.

— Боже, как же я уеду? — тихо спросила Ксения, глядя на старуху, которую покидала наедине с ее горем.

С минуту стояла гнетущая тишина.

— Я выйду ненадолго, — сказала Ксения тихо и кивнула Ане, давая понять, чтобы та вышла с нею.

Аня ничего не знала о Голубничем — ни о том, кем он был, ни о его трагической гибели. Ксенин рассказ глубоко поразил ее. Уже смеркалось, кое-где в окнах мерцали огоньки, морозный воздух

синел и темнел. Снег мелодично поскрипывал под ногами двух женщин — сперва в переулке, потом на широкой улице.

Увлеченная рассказом Ксени, Аня не заметила, как они оказались напротив дома, где жил Шумаков. В окнах горел свет, у ворот стояло несколько машин, а рядом — две оседланные лошади, привязанные к столбу. У комдива, как видно, шло какое-то совещание: «А может — проводы?» — промелькнуло у Ани в голове. Это почему-то обеспокоило, даже немного обидело ее, будто там действительно была вечеринка, на которую Шумаков сознательно ее не пригласил. Аня невольно дотронулась до Ксениной руки, понуждая ее идти быстрее, а сама чуть ли не бегом пустилась вперед по узенькой тропочке, протоптанной у забора напротив шумаковского дома.

— Возвращайтесь, вы уже далеко зашли,— сказала она, боясь, что Ксения заметит ее волнение.

— Мне еще надо в сельсовет,— ответила Ксения. — А вы идите осторожно. Здесь очень скользко.

Аня заставила себя замедлить шаг, хотя сердце у нее еще колотилось не от быстрой ходьбы, а от неосознанного страха. Ею снова овладело знакомое и неотвратимое возбуждение, которое снимали только таблетки, всегда лежавшие у нее в кармане. Но сейчас она не доставала их — стеснялась. И даже обрадовалась, когда Ксения спросила:

— Так вы обо мне не забудете?

— Нет, нет. До свидания!

Сиволапа в сельсовете не было, но за столом сидел майор, маленький, белокурый, совсем безбровый. Оказалось, что он и есть тот самый, из Москвы. Он что-то записывал в блокнот и, когда Ксения назвалась, предложил подождать несколько минут. Равнодушие, с каким он ее встретил, сперва обескуражило ее, но вскоре она убедилась, что ошиблась. Покончив с писанием, он стал расспрашивать ее об отряде Сиволапа и пожалел, что ей надо не в Москву, а только в Киев.

— Жаль, в Москве я бы прочитал вам свою корреспонденцию, прежде чем напечатать.

Майор тоже подтвердил, что вылетают они в восемь,— значит, речь шла о том же самолете, на котором полетит Аня. Ксения поблагодарила и поднялась. Надо было зайти еще к Миките Харитоновичу — попрощаться с ним самим и с тем, что пережила в Калитве, со всем, что ее так изменило.

Люди ошибаются, считая события или поступки, вызванные стечением обстоятельств, случайными. Поделись, например, Ксения во время доверительного и дружеского разговора с Аней и назови ей имя Олега Харкевича, новая ее знакомая наверняка вспомнила бы, что видела его на Днепрогэсе, в комнате своего бывшего мужа. Но

Ксения не склонна была к чрезмерной откровенности, когда речь шла о том, что она считала своим личным, да и могло ли ей прийти в голову, что именно военный врач знает что-то об Олеге,— ведь она была уверена, что он где-то далеко на востоке, в глубоком тылу...

Нельзя считать случайностью и то, что Харкевич и Любовь Степановна оказались в одной и той же Октябрьской больнице, ибо больница эта была пока первым и единственным лечебным учреждением в недавно освобожденной столице. И что удивительного в том, что их поместили в один корпус, хотя на территории больницы расположено немало и других корпусов,— ведь хирургия размещалась именно здесь. Никого не должно удивлять и то, что оба они лежали на одном этаже, только в разных концах длинного коридора: на других этажах не было стекол, а на дворе свирепствовала зима, вот и приходилось тесниться здесь, на одном конце женщинам, на другом — мужчинам.

В тот день, когда самолет противника, не целясь, швырнул бомбу неподалеку от Фастова, случайно угодил в железнодорожное полотно и сбросил с рельсов именно тот вагон, в котором Стороженко ехали в Киев, Харкевич еще живой и здоровый бродил по плотине со Шнейдером, не думая, что свалится, да еще так неудачно, что сломает руку и получит сотрясение мозга. Но в длинном коридоре киевской больницы Харкевич и Любовь Степановна оказались почти одновременно, потому что Кузьма Иванович чуть ли не целую неделю добирался до Фастова, а потом двое суток вез свою раненую жену в Киев, Харкевича же доставил туда санитарный самолет.

Сколько раз Кузьма Иванович пробегал мимо палаты Харкевича, спеша в другой конец коридора, где лежала Любовь Степановна, и ни разу не заглянул в открытую дверь, у которой стояла кровать его бывшего зятя! Да и зачем бы он заглядывал туда? Всегда озабоченный, до сих пор еще оглушенный несчастьем, свалившимся на его жену, он бежал по коридору, запахивая застиранный коротенький халатик, ничего не замечая вокруг. К тому же и забегал он всего на несколько минут — заново созданный университет уже раскрыл свои двери перед первыми студентами, а Кузьма Иванович еще как следует не устроился на новом месте.

Харкевич понемногу выздоравливал. Голова еще гудела, но сознания он уже не терял, как часто бывало в первые дни после падения на плотине. И только в ушах все еще стоял непрерывный монотонный шум, словно в оба уха набились мошки и непрерывно там жужжали и хлопали крылышками. Хирурги, больше разбиравшиеся в переломанных костях, чем в процессах, происходящих в голове, объясняли этот шум большим количеством проглоченного стрептоцида. Но Харкевичу от таких объяснений легче не становилось: голова гудела, трудно было на чем-либо сосредоточиться.

Попытка найти чету Стороженко ни к чему не привела. Еще в начале своего пребывания в больнице, когда после тяжелых и продолжительных провалов сознания Харкевич впервые открыл глаза и понял, что находится в Киеве, он схватил карандаш, написал коротень-

кую записочку и дождался вечера, когда санитарка собрала по палатам письма и отнесла на почту. Но с того дня прошла неделя, началась вторая, а Стороженко не пришли. Конечно, и на почту еще трудно было полагаться, да и довоенный адрес, который помнил Олег, мог теперь измениться. Кто знает, уцелел ли дом на Кузнечной, а если и стоит, то не поселились ли там другие люди, пока профессора не было в Киеве!..

Вытянув вперед загипсованную руку и цепляясь то за чью-то кровать, то за стену, Олег Иванович добирался до окна и смотрел на город. Он неясно виделся в синеватой морозной дымке, тихий и безлюдный, совершенно непохожий на тот город, что так нравился ему, когда Олег перед войной впервые приехал в Киев. Тогда был май, улицы и парки недавно оделись в зеленый наряд, и все вокруг казалось торжественным, праздничным. Теперь он уже не знал — так ли это было на самом деле или таким видели город его ослепленные счастьем глаза: ведь приезжал Харкевич с Ксеной — они только что поженились — и был он гостем и молодым зятем, а не одиноким человеком со сломанной рукой и головой, гудевшей, как колокол. Сейчас город не радовал глаз, а навевал печаль, хотя с высокой горы, где находился хирургический корпус, не было видно ни развалин, ни пожарищ, о которых Харкевич знал из газет и сообщений радио.

Морозный туман, нависший над расплывчатыми кварталами, густел, короткий январский день кончался. Где-то в этой сгустившейся синеве жили его бывшие родственники, правда, теперь, после того что произошло между ним и Ксеной, чужие и все-таки родные Стороженко. Что они здесь — он не сомневался: ведь сам провожал их в дорогу. А что они могли не доехать, не приходило в голову — этого он и представить себе не мог. Верно, придется ждать, пока выпишут из больницы, и тогда искать самому, не писать же второй раз по тому же адресу, раз первое письмо не дошло!

Он еще смотрел в окно, когда позади него началась какая-то возня. Оглянувшись и увидел у дверей целую толпу. Один санитар подсаживал другого, тот тянулся рукой к задвижке на высоченной двери, наконец открыл ее и соскочил, тяжело топнув сапогами об пол. Обе створки распахнулись. В палату вкатили длинную площадку на велосипедных колесах, уложили на нее пожилого человека с исхудалым желтым лицом, того, что лежал на кровати в углу, а на его место затем положили мальчика, очевидно после операции. Мальчик еще не пришел в себя после наркоза, а мать его, молодая, плотная женщина в тесном халате, наброшенном поверх ватника, спешила за санитарями, жалобно причитая.

Олегу пора уже было ложиться — ноги ослабли, тело устало, он с трудом стоял. Но к кровати невозможно было пройти. Наконец санитары вышли, около мальчика остались только мать и медсестра, и Олег осторожно пошел от окна к кровати.

— Так это вы наш сосед? — радостно воскликнула женщина, подняв на Харкевича заплаканные глаза. — Может, скажете моему Петрику ласковое слово, когда придет в себя, а то мне на смену, а он

проснется, матери рядом нет, заплачет, бедняжка, ведь ребенок еще, хоть и тринадцатый пошел... — Женщина тарыхтела без умолку, словно боясь, что не договорит самого главного и Харкевич откажет, — что ж ей тогда делать?

— Конечно, присмотрю,— сказал Олег, и женская благодарность обернулась еще более обильными слезами, будто он не соглашался, а отказывал. — Муж на войне? — спросил он, чтобы женщина больше не благодарила.

— Где же ему быть! Там, где все! Второй год ничего не слышно, может, уже... — Она не договорила и залилась тихим плачем, как ребенок, прижав к губам кулак.

И Харкевича вдруг осенило: а что, если попросить ее? Мысль возникла столь неожиданно, что он не успел подумать, как в таких обстоятельствах она воспримет его просьбу, ведь она могла решить, что Олег требует от нее услуги за услугу, своеобразной платы за то, что присмотрит за ее ребенком!

— В каком районе вы живете?

— На Коминтерновской, у вокзала,— удивленно ответила женщина и сразу перестала плакать.

— Вы, пожалуйста, простите меня, я хочу попросить...

— Господи, да что угодно! — Она молитвенно сложила руки. — Может, белье простирнуть или на базар сходить — что угодно, мне нетрудно, я утром сменюсь — и с дорогой душой! Только вы тут моего Петрика... — затарыхтела она снова.

— Что вы, что вы! — смутился Олег, только теперь поняв, что нельзя было просить. — Я и так присмотрю за вашим мальчиком, благодарить меня не надо.

— А почему не услужить человеку, раз он тебе помогает, да и времени у меня хватает: когда не на работе, совсем свободна... Что хотите, сделаю!

— Ладно, ладно,— перебил ее Харкевич, недовольный собой. Ему было стыдно, но и отступать он уже не мог.

Неумело орудуя одной рукой, к тому же левой, он кое-как вырвал из тетради листочек и огрызком карандаша написал записку. Когда объяснял, где искать Стороженко, женщина внимательно глядела ему прямо в глаза, покорно кивая головой, но готовность ее раздражала, потому что похожа была на благодарность, а именно этого Олег и не хотел.

Он отдал записку и спросил:

— Как вас зовут?

Но женщина и это истолковала по-своему:

— Да вы не волнуйтесь, я не обману! Найду и передам.

— Боже мой, да разве я поэтому спрашиваю...

— Катерина меня зовут, а фамилия Городовенко. На Коминтерновской я живу, у самого вокзала, последний дом на углу, там кого ни спросите, каждый скажет — там меня все знают.

Харкевич больше ни в чем не убеждал ее, а когда она наконец ушла, сел возле мальчика и задумался. Перед глазами у него все

время маячил круглый кулачок, набрякший и красный. Что делает она своими натруженными руками — стирает белье или носит воду? Почему они такие красные? Ему стало жаль этих рук, и раздражение, вызванное ее простодушной практичностью, исчезло.

В противоположном углу стонал светлоголовый подросток, ему раздробило ногу каменной глыбой, когда он разбирал завалы на улице. А вокруг стола при копилке четверо остальных отчаянно забивали «козла». Все это — и тихий болезненный стон, и равнодушный стук костей о стол — было различными проявлениями одной и той же жизни в палате полуразрушенной больницы, а может, и во всем мире, похожем на эту палату. Задумавшись, Олег молча смотрел на худенькое тельце мальчика, накрытое стареньким солдатским одеялом, ребенок дышал ровно и спокойно, хоть и не пришел еще в сознание.

Впервые за две недели Харкевич почувствовал, что шум в голове стал слабее, а мысли больше не путаются и не мешают одна другой.

7

С первого дня своего пребывания в Киеве Стороженко жил у профессора Кобченко. Устроив Любовь Степановну в Октябрьской больнице, он отправился на свою родную Кузнечную, где родился и жил до войны. Дом уцелел, но стоял без окон и дверей. Кузьма Иванович побродил по комнатам своей бывшей квартиры, по которым теперь гулял ветер, гоняя пыль и клочки немецких газет, и пошел разыскивать кого-либо из старых друзей. Выяснилось, что одни еще не вернулись из эвакуации, другие теснились в маленьких комнатенках, потому что не было топлива, или пустили к себе людей из разрушенных домов. Вечером он добрался до Кобченко — у него и остался.

Мелентий Петрович свою квартиру сберег. Стороженко не спрашивал, почему он не эвакуировался с университетом и как удалось ему сохранить не только помещение, но даже мебель и книги, он молчал не только из соображений элементарного такта, но и потому, что пришлось бы рассказать и о себе то, о чем не хотелось вспоминать. Но Кобченко сам объяснил: ему повезло — у него поселился старший немецкий офицер, в прошлом историк, а во время оккупации — значительная персона в городской комендатуре. Немец вел себя на квартире довольно сносно, хоть и не стеснялся в присутствии хозяина отдавать приказы о расправах. Слушая этот рассказ, Кузьма Иванович представил себе, как вечерами, после трудов праведных в комендатуре, бывший немецкий историк, удобно развалившись в одном из кожаных кресел, вел с Кобченко научные беседы на немецком языке, который Мелентий Петрович, будучи известным германистом, знал в совершенстве. Наверно, именно профессия спасла и квартиру, и библиотеку, и самого Мелентия Петровича: немцу, очевидно, импонировало, что где-то в далеком Киеве есть человек, который знает о немецком языке больше, чем он сам.

У Стороженко еще не было продовольственных карточек, да он и не пытался их получить. Знал, что для этого надо иметь справки с постоянного места жительства и с работы, но пока ни того ни другого у него не было. В университете, который только-только начинал заново формироваться, о восстановлении кафедры романской филологии пока нечего было и думать. Шла речь об организации объединенной романо-германской кафедры, руководить ею уже пригласили профессора Кобченко, который метко назвал ее вавилонской башней. Но пока и эта кафедра состояла только из руководителя. Приходилось ждать. Кузьма Иванович тайком от гостеприимного хозяина продавал на базаре кое-какие вещи: и свои, и жены — ведь надо было не только кормиться самому, но и носить передачи Любови Степановне.

По вечерам оба профессора располагались в тех самых кожаных креслах, в которых, как представлял себе Стороженко, во время оккупации не раз сиживал и жилец Кобченко, и величественный разговор. Кобченко пытался предположить, как мог повлиять немецкий язык на славянские, если б — не приведи господи! — Германия победила, и что бы из этого в конце концов вышло. Право, повторился бы тот же самый процесс, что произошел с долматинским языком в Истрии и ретороманским в Тироле, которые под натиском латыни вообще стали отмирать. Стороженко возражал: не то соотношение сил, другой темп и масштаб воображаемого влияния! Да и не реальнее ли сейчас говорить об обратном процессе? Какой смысл раздумывать над этим, когда о победе Германии уже и речи нет? Не лучше ли подумать, что произойдет с немецким языком и устоит ли он против могучего влияния языков победителей?

Тон, каким возражал Стороженко, несколько обидел Мелентия Петровича. Неужели невинное допущение могло задеть гражданские чувства? Уж не показалось ли Кузьме Ивановичу, что профессионал германист Кобченко готов пожертвовать своими патриотическими чувствами во имя подобного филологического эксперимента? Правда, вслух он своей обиды не высказал, а только поглядел на часы и сказал, что пора ложиться.

Устроившись на диване в большой холодной столовой, Кузьма Иванович вдруг понял, что вел себя не очень тактично, но, поразмыслив, горячность свою не осудил. С какой стати? Кобченко пережил два ужасающих года в собственной квартире, терпеливо выслушивая бессмысленную болтовню ученого-кровонийцы, распорядившись в комендатуре и посылавшего людей на смерть. И хоть Стороженко признавал, что и сам не проявил особого героизма во время оккупации, но с гордостью отметил, что жил, как все, а не прятался за широкой спиной ученого немца и не развлекал пришельца научно-образной болтовней. Утром он заметил, что хозяин мрачнее обычного, но извиняться не стал, а просто ушел из дому...

Но Мелентий Петрович обиды не затаил, и, когда на следующий день ректор попросил наметить состав преподавателей будущей объединенной кафедры, он первым назвал профессора Стороженко.

В тот же день Кузьму Ивановича вызвали в ректорат. Утром он успел побывать на базаре — купил бутылку молока, пяток яиц и передал все это Любови Степановне. В этот день навещать больных не полагалось, и он подумал, что так даже лучше, ведь завтра он уже сможет рассказать жене о разговоре с ректором. До назначенного срока оставалось больше часа, и Кузьма Иванович медленно шагал, обдумывая предстоящий разговор.

Он собирался поставить перед ректором вопрос о нецелесообразности создания объединенной кафедры и о срочной необходимости отдельного изучения романской филологии. Аргументацией могли послужить два соображения, но, к сожалению, изложить ректору он мог только одно: потребность для послевоенного контингента учащихся изучать языки тех романских стран, которые принимают участие в войне против Германии и станут участниками всеобщей победы.

Вторая причина для Стороженко как ученого была не менее важна: научное лицо самого Кобченко, уже назначенного руководить кафедрой, который хоть и был известным исследователем, но все же узким специалистом по германской филологии. Кобченко посвятил свою жизнь изучению одной отрасли и, призванный руководить несколькими, невольно будет отдавать предпочтение именно своей, в то время как более важными станут остальные.

Но, поразмыслив, он решил этого не говорить. Могло сложиться впечатление, что Стороженко выдвигает свою кандидатуру. Да и достаточно ли одних опасений, чтобы переубедить ректора?

Впрочем, выяснилось, что хотя Кузьму Ивановича вызывали к ректору, но разговаривать с ним собирался заведующий отделом кадров. Человек среднего роста, русский, с худощавым, но приятным лицом, заведующий оказался очень вежливым. Он сам вышел в приемную, чтобы пригласить к себе профессора. На свое место у стола не сел, а предложил расположиться рядом на стареньком диванчике.

— Вы еще не ангажированы? — спросил он, мило улыбнувшись.

— То есть? — удивился профессор.

— Ну, я имею в виду — не дали согласия работать в каком-либо другом учреждении, кроме университета?

— Мое учреждение — университет, — строго ответил Кузьма Иванович.

— И прекрасно, — обрадовался заведующий отделом кадров, хоть и знал, что в Киеве пока нет другого учебного заведения, где бы мог работать ученый-филолог. — Не знаю, сообщили ли вам о нашем желании пригласить вас на работу? — Он посмотрел на профессора, но тот молчал. — Итак, можем ли мы на вас рассчитывать?

— На протяжении всей своей трудовой жизни я преподавал в Киевском университете... — начал было Кузьма Иванович, возмущенный тем, что его, словно совершенно постороннего, приглашают в его университет.

— Да, да, я знаю, — поспешил успокоить Стороженко заведующий отделом, почувствовав, как разволновался Стороженко... — Но обстоятельства заставляют... Ну как бы вам объяснить?.. Нам бы хотелось

знать, почему вы в свое время не эвакуировались с университетом, где были и что делали, когда нас здесь не было?

Кузьма Иванович невольно пощупал карман пиджака, где и до сих пор лежала бумажка со штампом и печатью запорожского партизанского штаба и подписью Ярошенко, но отдернул руку. Конечно, можно ее показать, и все объяснится само собой. Но пользоваться этим документом не хотелось, он ведь не считал себя партизаном. Правда, несколько дней он с оружием в руках участвовал в перестрелке с немецкими пулеметчиками возле Днепровской плотины, но не считал это героическим подвигом, как не считал предательством и то, что полтора года изготовлял спички и продавал их на базаре в Запорожье.

— Я был вместе с десятками миллионов таких же советских людей, как я, и делал то, что делали они,— довольно резко ответил Стороженко.

— Мой вопрос, кажется, обидел вас, и это уже в какой-то мере ответ на то, что меня интересует,— улыбнулся блондин. — Но ответ чисто эмоциональный, хотя, повторяю, достаточно ясный.

— Я делал спички и носил их на базар. Это вас устроит?

— До некоторой степени,— рассмеялся хозяин кабинета. — Надеюсь, немцы ваших спичек не покупали, так что ваша химическая деятельность не лила воду на мельницу врага.

— Ах, вот что вас волнует,— улыбнулся и Кузьма Иванович. — Нет, коллаборационистом я не был. Хотя и героем — тоже.

— Ну, героизм для человека вашего возраста не обязателен,— сказал тот и подошел к своему столу. Это означало, что беседа окончена. Стороженко холодно поклонился и вышел.

Взволнованный и раздраженный, он стоял в приемной, у самого входа в кабинет, из которого только что вышел. И не заметил, как секретарша подошла к женщине, сидевшей в углу, и что-то шепнула ей на ухо.

Женщина вскочила и подбежала к профессору.

— Вам записка,— сказала она и стала доставать что-то из-под ватника.

— Мне? — удивился Кузьма Иванович.

— Вы же профессор? — Женщина растерянно взглянула на секретаршу.

Простодушный вопрос развеселил Стороженко.

— Честно говоря, не знаю,— улыбнулся он. — Кажется.

— Это профессор Стороженко, отдайте ему записку,— ответила секретарша на растерянный взгляд женщины.

Кузьма Иванович взял измятую бумажку, на которой кое-как была нацарапана его фамилия.

С трудом разобрав первую строчку, он вопросительно посмотрел на женщину, но, прочитав в ее глазах тревожное ожидание, стал разбирать дальше, пока не дошел до подписи: «Ваш Олег». Но и теперь он не сообразил, что речь идет о Харкевиче,— сбивал с толку и

неуклюжий, почти детский почерк, и невероятность самого предположения, что Олег в Киеве.

Женщина оказалась догадливой.

— Так он же, бедняжка, левой писал. Правая ранена.

Только теперь профессор понял.

— Где он?

— Да в Октябрьской же, в хирургии. Там и сынок мой рядом с ним лежит. Я еще вчера хотела передать, да на смену опаздывала.

Но Стороженко уже не слушал. Он схватил пальто и побежал.

Его не задержали ни у ворот, ни в проходной — таким сосредоточенным и деловым он казался: верно, подумали, что кто-то из консультантов. И только в коридоре на него с удивлением взглянула медсестра, но и она не успела его остановить: он свернул в раскрытую дверь и скрылся в палате, где лежала Любовь Степановна.

8

Сдвинув стулья и склонившись друг к другу, они сидели втроем в полутемном уголке коридора у самой уборной и тихонько разговаривали. Из уборной несло карболкой и хлоркой, дверь все время хлопала на слишком тугой пружине, но ни Харкевич, ни супруги Стороженко этого не замечали. Уголок возле уборной был единственным местом в длинном коридоре, где никто никому не мешал. Здесь можно было поговорить, не рискуя, что кто-то из персонала заметит несвоевременное появление профессора, который к тому же проскочил в больницу без халата.

— Боже мой, боже мой, я ведь все надежды возлагала на тебя! — убивалась Любовь Степановна, обращаясь к Олегу. — Что, если Ксения вернется в Запорожье, а ни тебя, ни нас нет?

— Там Клавдия Харитоновна, она знает, что и я, и вы в Киеве! — успокаивал ее Харкевич.

— Если бы Ксения уже была в Запорожье!.. — вздохнул Кузьма Иванович. — А что, если она до сих пор где-то там... — Он имел в виду Корсунь или одно из прилегающих к нему сел. — Что, если... — Он не договорил, жена посмотрела на него, и в глазах у нее заблестели слезы.

— Боже, — заломила она руки. — Я этого не переживу...

Олег попробовал заговорить о другом, спросил, как идут дела у самого Кузьмы Ивановича. Стороженко отделался несколькими фразами о том, что его вызывали, предлагают работу. Но ничего определенного. После неосторожного намека на то, что Ксения, может быть, до сих пор еще находится в районе боев, не хотел еще и этим волновать больных. Со своими делами он как-нибудь справится и сам, а вот — Ксения!.. Ксения!..

Они знали, что творилось под Корсунем, — об этом все время передавали по радио и писали в газетах. Но самое худшее, что, безус-

ловно, могло случиться с Ксеной в раскаленном и кипящем котле,— это самое худшее приходило в голову только Олегу. Родители хоть и понимали, что там убивают, однако не могли представить себе, что это может случиться и с их дочкой. Они были озабочены одним: как найти ее, как дать знать, что они сами живы, как приблизить минуту встречи...

— Ты должен немедленно ехать в Корсунь,— решительно заявила Любовь Степановна мужу.— Там вот-вот закончатся бои, ты это знаешь не хуже меня. Надо ее искать, надо ее найти!

— Ты же сама сказала, что Ксения, возможно, уже в Запорожье...— пробормотал профессор, и усы его шевельнулись, словно в них затаилась усмешка.

Любовь Степановна уловила эту скрытую улыбку, и она показала ей злорадной.

— Ты всегда ловишь меня на слове,— возмутилась она. Голос звучал приглушенно, как и прежде, но в нем чувствовалось нескрываемое и глубокое возмущение.— Лишь бы увильнуть, лишь бы не отвечать ни за что... Даже когда речь идет о единственном ребенке...

— Ну это уж — бог знает что! — возмутился и Стороженко.— Подумай только, в чем ты меня обвиняешь?!

— А ты не лови меня на слове, не говори глупостей.— Любовь Степановна уже поняла, что переборщила, и все-таки продолжала настаивать:— Немедленно иди на вокзал и поезжай!

— Будто так просто пойти на вокзал и уехать...— огрызнулся Кузьма Иванович, хотя сердце его разрывалось от сознания собственной беспомощности.

Жена, казалось, только и ждала проявления его нерешительности.

— Вот-вот. Только бы просто, только бы легко, только бы не прилагать усилий.— Она обращалась уже к одному Олегу — жаловалась ему. Потом опустила голову на руки и горько заплакала.

— Люба, да перестань! — взмолился Кузьма Иванович, стараясь успокоить жену.— Тебе же нельзя так...

Харкевич наблюдал эту сцену, одновременно трогательную и неприятную, он знал, что им обоим очень больно, и эта боль делает мать несправедливой, а отца беспомощным, хотя оба горячо жаждут одного и того же, только не знают, как этого достичь. Вдруг у него мелькнула мысль: Штукаренко! Ведь дивизия Штукаренко находится в районе Корсуня! Конечно, никто не станет искать там Ксению, ничего не зная о ней. Но помочь могут... Значит, главное — попасть в тот район.

Но как найти дивизию? Где взять номер полевой почты, чтоб связаться со Штукаренко или Шумаковым?

— Напрасно вы сердитесь, Любовь Степановна,— начал Харкевич, оторвавшись от своих мыслей.— Если бы даже Кузьма Иванович поехал, где же он станет ее искать? Там еще идут бои, а район огромный... Неужели вы думаете, что киевский профессор с палочкой может там кого-то искать и найти?!

Любовь Степановна подняла заплаканное лицо.

— Не кого-то, Олег, а свою единственную дочку.

— Я разделяю ваше волнение, но надо же рассуждать серьезно,— сказал Олег.— Ну подумайте сами — разве может Кузьма Иванович...

— Так что же, по-твоему, и пытаться не надо? — жестко спросила Любовь Степановна. Теперь возмущение относилось уже к Харкевичу.

— Я сам попробую,— решительно сказал Олег.

— Когда еще ты сможешь! — Любовь Степановна вздохнула и тут только заинтересовалась его больной рукой. Ей стало неловко, что, озабоченная судьбой Ксении, она до сих пор не проявила внимания к Олегу. Но он понимал ее состояние и не обижался. Действительно, кто знает, что с ее дочерью и жива ли она вообще, а он хоть и ранен, а все-таки — рядом.

Олег стал объяснять, что именно хочет сделать до того, как отправится в Корсунь, но прибежала медсестра, возмущенная, что Любовь Степановна надолго исчезла из палаты и приходится ее разыскивать.

— А вы кто такой? — набросилась она на Стороженко. — Кто вас сюда пустил?

Профессор смутился, что-то забормотал, оправдываясь, жена его вскочила и тоже стала что-то объяснять, но сестра не слушала. Высокая, решительная, она, холодно глядя на Харкевича, властно заговорила:

— Вы из какой палаты? Сейчас же по местам. Начинается врачебный обход.

Через минуту Любовь Степановна и Олег уже лежали на своих койках, а Кузьма Иванович был на улице. Они успели только условиться, что после обеда встретятся на том же самом месте и договорятся окончательно.

В ожидании утреннего врачебного обхода Харкевич думал о Стороженко. Милые, трогательные и такие беспомощные... Даже после всего пережитого в Запорожье во время оккупации не очерствели душой и так и не научились защищать себя и применяться к обстоятельствам. Как им удалось выжить и сберечь себя прежними, честными, чистыми и бескорыстными? Ему вдруг вспомнился рассказ Ярошенко о том, как они вдвоем с Кузьмой Ивановичем стреляли по немецким пулеметчикам у плотины, и Олег вдруг улыбнулся. Неужели такое возможно? Сколько Олег ни старался, а не мог представить себе профессора с автоматом в руках. Да, видно, и в таких натурах таится сила, делающая их несокрушимыми!.. Может быть, именно эта простодушная честность и кристаллическая чистота души, встретившись с которой даже сама жестокость теряется и удивленно отступает? Должно быть, так. Ведь и физически слабый человек нередко оказывается победителем, если за внешними признаками беспомощности стоит духовная сила и убежденность в своей правоте.

Главный врач еще был в полувоенной форме — хромовые сапоги, из-под коротковатого халата выглядывали колени, обтянутые синими диагоналевыми галифе. Худощавый, невысокого роста, он молча наклонил к Харкевичу лицо, сплошь усыпанное веснушками, пощупал

хрупкую гипсовую повязку на руке Олега и безапелляционно приказал:

— Послезавтра снять.

Он не спросил, как чувствует себя больной, — хирурги не интересуются самочувствием. Его одежда свидетельствовала о том, где и что он делал на протяжении двух с половиной лет, — опыт, очевидно, был достаточный, и он научился даже под гипсом распознавать состояние костей.

— И я смогу сразу выписаться? — спросил Харкевич, именно так истолковавший категорический приказ врача.

— Больные не сами выписываются, их выписывают, — бросил врач, уже подходя к соседней койке.

— Именно это и я имел в виду, — сказал Олег, задетый его тоном.

— Так нечего и спрашивать. Когда сочтем нужным, тогда и выпишем.

— Но я смогу по крайней мере выйти в город?..

Врач остановился, повернул к Харкевичу строгое лицо.

— Зачем?

— Мне нужно на телеграф.

— Отдадите телеграмму сестре, она отправит.

Харкевич хотел еще что-то сказать, но врач уже осматривал Петрика и не слушал. Разозлившись, Олег сел на койке. «Словно на полковом плацу перед шеренгой солдат, — подумал он. — Интересно, он и родился таким мрачным и резким или его таким сделала война?»

Олег не замечал, что сам, пробыв на войне всего две недели, тоже изменился. Сидя за своим маленьким дубовым столиком в Наркомате электростанций, он вряд ли отважился бы на то, что задумал сейчас. А задумал он, как только снимут гипс, бежать из больницы. обойдется без массажей и лечебной физкультуры — кость срослась, и то хорошо, а мышцы сами собой дойдут до кондиции. Удерет, потому что надо что-то делать; терпения больше нет, нечего отлеживаться, когда надо искать Ксеню, когда идут работы на Днепрогэсе, а он не принимает в них участия.

Возбужденный, он не подумал лишь о мелочах: на дворе мороз, а он в златанном халате и стоптанных тапочках. И если одежонку еще можно раздобыть — взять у профессора, одолжить у Катерины Городовенко, в крайнем случае обмануть нянечку, которая дежурит в гардеробе, и переодеться в свое — все равно документов не получить, пока не выпишут. Но разве думаешь о мелочах, когда в тебе трепещет каждый нерв и ты охвачен мыслью, которая не дает покоя?

9

Утром Олег проснулся совсем ослабевший. Все, что накануне казалось таким ясным и простым, вдруг предстало во всей своей сложности. Удерешь — еще подумают бог знает что. И приснилась еще всякая чушь, когда он наконец заснул после долгих тревожных часов бессонницы. Будто бежал он по улице, выставив вперед больную руку,

а за ним гнались и что-то кричали. Верховодил всем вчерашний врач, он-то и схватил Олега за халат, а потом подбежали остальные и связали кожаным ремнем руки — было так больно, что он даже кричал. Харкевич сел, нащупал ногами тапки. Петрик еще спал. Вошла сестра с градусниками и принялась ставить их больным. Она по одному вынимала градусники из стакана, где их было полно, и оттого, что она всякий раз попадала точно под мышку, ее однообразные движения выглядели механическими и равнодушными.

Томная расслабленность девушки чем-то напомнила Олегу Ксеню, когда она, проснувшись, сонно потягивалась и лениво закалывала пряди белокурых волос, прежде чем заплести косу. Эта медсестра уже не раз чем-то напоминала ему Ксеню — не лицом, а фигурой и тем, как она двигалась — медленно и горделиво. Сегодня он даже вздрогнул от этого пронзительного сходства и отвернулся: заглядываться на постороннюю девушку, когда неизвестно, что с Ксеньей, казалось ему не только грехом, но и преступлением.

Надо что-то предпринять. Во что бы то ни стало необходимо узнать, нет ли ее в Запорожье, не передала ли с кем-нибудь письма. Самое простое надоумить профессора позвонить Клавдии Харитоновне. Но вдруг она уже что-то знает и это что-то ужасно? Нет, если случилось самое страшное, нельзя, чтоб об этом первыми узнали родители. Они не выдержат. Значит, звонить должен он сам: он сильнее.

— Дядя Олег, — тихонько позвал Петрик.

— А, проснулся. — Все еще во власти своих мыслей Харкевич встал и подошел к мальчику. — Ну, как?

Петрик улыбнулся, личико его после сна порозовело. Вместо ответа он спросил:

— Мама сегодня придет?

— Думаю, придет. Сегодня четверг, пускают.

И сразу подумал: а что, если попросить мать Петрика? Она и на почту ходит и заплатит за телеграмму, а он потом отдаст...

Больные просыпались, кто мог, поднимался, другие кряхтели и с трудом поворачивались на койках. Из угла, где лежал белокурый паренек, донесся стон. Вошла старшая сестра — пожилая, полная, прошла к окнам, раздвинула простыни, служившие занавесками. В палате сразу посветлело.

— Ну, как спали, орлы? — спросила она громко, остановившись посреди палаты.

Почти все больные наперебой заговорили приглушенными головами, а Харкевич думал: даже если дать телеграмму, сможет ли Клавдия Харитоновна в телеграфном ответе как следует объяснить, что и как?

И вдруг сразу решил:

— Мария Петровна, в ординаторской есть телефон?

— Есть. А что? — не очень приветливо переспросила старшая сестра. — Больным звонить нельзя.

— А если позвонят больному?

— Зачем звонить? К больному можно прийти.

— Ну а если из другого города?

— А вам что, должны позвонить?

— Должны!

— Если кто-нибудь будет в ординаторской, позовут... — сказала старшая сестра. — Там только не всегда есть люди.

— Я сам побуду поблизости.

— А не чужая ли жена позвонит? — пошутила сестра.

Харкевич нахмурился.

— А какой номер телефона?

Она сказала и вышла. Он записал его левой рукой на обложке тетради. Так и надо сделать: дать телеграмму с номером телефона и попросить позвонить вечером, когда разойдутся врачи.

Остановившись на этом, Харкевич почувствовал облегчение. Умылся, позавтракал и принялся сочинять телеграмму в Запорожье, стараясь, чтоб вышло как можно яснее и короче. Спрятал под подушкой готовый текст, взял книжку и улегся, собираясь почитать. Но как только нашел нужную страницу, появилась Любовь Степановна.

— Олег, тебе письмо из Запорожья.

— Где? — Харкевич вскочил.

— Я получила записку от мужа. Сегодня он обязательно придет и принесет.

— А от кого? От Клавдии Харитоновны?

— Не знаю.

Она присела на его койку. Харкевич опустил рядом. Если письмо от Клавдии Харитоновны, то незачем посылать телеграмму. Любовь Степановна рассказывала, что ей сказал врач во время вчерашнего обхода, но Олег почти не слушал. Он побаивался, что Катерина Городовенко придет и уйдет раньше, чем появится Кузьма Иванович, и не известно — просить ее отправить телеграмму или нет, а потом выяснится, что письмо не от Клавдии Харитоновны, а посетителю завтра не пустят, и дело отложится. Это его волновало, он был невнимателен. Любовь Степановна с тревогой спросила:

— Ты чем-то взволнован?

— Откуда вы взяли?

— Олег, я вижу.

— Просто осточертело сидеть тут, — солгал он, хотя и это была правда.

— Умоляю тебя, если что знаешь, скажи!

— Да что вы, я ничего не знаю, — улыбнулся Харкевич, стараясь, чтоб улыбка была убедительной.

— Поклянись!

— Клянусь!

— Боже, я так волнуюсь!..

— Поглядим, что за письмо. Может, что-нибудь... любопытное.

Наверное, Олег ни разу еще не ждал профессора с таким нетерпением. Когда Любовь Степановна ушла, он снова улегся с книжкой, попробовал читать, но вскоре понял, что не понимает прочитанного. Он вообще давно не получал писем — писать было некому. К тому же

никто не знал ни его запорожского адреса, ни киевского адреса Стороженко. Даже Клавдия Харитоновне был известен только старый адрес профессора, но ведь в том доме теперь никто не жил, значит, туда письмо не могло прийти. Олег все больше и больше волновался, мерещилось самое невероятное, и, в конце концов, от всех этих раздумий разболелась голова.

Оказалось, что это не письмо, а целый пакет. В большом самодельном конверте из желтой бумаги лежал солдатский треугольник без марки, с печатью воинской части.

— Прости, Олег, я не знал, что внутри письмо тебе, и разорвал конверт,— виновато сказал Кузьма Иванович. — Пакет был адресован в университет на мое имя.

— Какое это имеет значение... — улыбнулся Олег, стараясь понять, что может означать соединение двух этих адресов. На треугольнике — «Управление Днепрогэса, Харкевичу», а на конверте, в который он вложен,— «Киев. Университет, профессору Стороженко».

В управлении никто не знал о его причастности к семье Стороженко, тем более о том, что профессор в Киеве и письмо надо переслать в университет. Это знала только Клавдия Харитоновна, значит, когда пришел с фронта этот треугольничек, его могли или передать Клавдии Харитоновне, или по крайней мере узнать, куда его переслать. Почему же в таком случае нет записки от Клавдии Харитоновны?!

Он рассматривал печати, сопоставлял числа, потом поглядел на стариков, решая, что им сказать. Но они сидели, наклонив головы друг к другу, о чем-то тихо разговаривая, и Олег понял: Стороженко не догадался, что пакет мог побывать в руках у Клавдии Харитоновны. Это его немного успокоило, и он распечатал треугольник.

Это было письмо от Амирадзе — маленького грузина, который там, на Днестре, став на плечи Харкевичу, дотянулся до кабеля, висевшего под самым потолком в потерне, и перерубил провод. Парень интересовался, как теперь дела на Днепрогэсе, спрашивал, начали ли его восстанавливать или нет? Спасителя интересовала дальнейшая судьба спасенного... «А скоро ли спасенный вспомнит о том, кто его спас? — подумал Олег. — Пока что на Днепрогэсе об этом не вспоминают.... А впрочем, может, еще и не время для заслуженных благодарностей?» Но, дочитав простодушное письмо, Харкевич чуть не вскрикнул от радости: в конце Амирадзе сообщал номер своей полевой почты! Это был только адрес его батальона или даже роты, но и по этому адресу можно написать Штукаренко или Шумакову, и письмо, безусловно, передадут!

Это упростило и облегчало задачу. Не надо удирать из госпиталя, идти в комендатуру города, просить, чтоб дали номер полевой почты военной части, к которой не имеешь прямого отношения. Да и дадут ли вообще такой адрес штатскому человеку?

Стороженко рассказывал жене о делах в университете. На кафедре зачислили, но перспектива работать на вавилонской башне не устраивала его. Впрочем, он согласился — иного выхода нет. Пробовал сегодня поговорить с ректором, хотя сам понимал — университет

разрушен, романо-германская филология не главная проблема. Что подделаешь, придется ждать. Всему свое время... Нет, он не догадывался, о чем думал Харкевич.

А минут через десять после того, как ушли Стороженко, в палату влетела Катерина Городовенко. Лицо ее пылало, она боялась, что не успеет в назначенное время, и, переступив порог, сразу же стала кормить Петрика испеченным еще накануне пирогом с горохом. Мальчик сидел на кровати и молча уплетал пирог, а Харкевич писал письмо Штукаренко и своим сослуживцам по Днепрогэсу.

Катерина положила кусок пирога на тумбочку Олега и, хотя видела, что он занят, все время громко извинялась, что ни вчера, ни сегодня не могла прибежать пораньше: с утра до вечера скребла и мыла замызганные полы в конторе, черт бы их побрал, а контора-то в Дарнице и, когда кончаешь работу, приходится чесать километров восемь пешком, трамвай-то не ходят и когда пойдут — неизвестно. Мост же немцы проклятушие взорвали, а деревянные мостки, которые наши положили, так и трясутся, когда по ним идешь, где уж им выдержать трамвай с людьми или автобус!

— Я сперва стеснялась людям говорить, что работаю уборщицей, — говорила Катерина старшей сестре, которая стояла рядом и ласково посматривала, как мальчонка уплетает пирог. — А потом подумала: ведь теперь все уборщиками будут, город разрушен и загажен, его прибрать надо, а сколько для этого рук потребуется! Это же не контора какая-то паршивая, а целый город!

— Ох, милая! — вздохнула старшая сестра. — Не город — весь мир испохабили, ироды! Все человечество теперь должно брать в руки ведра и тряпки, скрести да выгребать, а потом мыть, чтобы создать мало-мальски санитарные условия и уничтожить фашистские микробы!..

Харкевичу понравился этот женский диалог, и он улыбнулся. Потом сделал из листов школьной тетради конверты и пошел искать, чем бы их заклеить.

10

В четверг сняли гипс, назначили массаж и дважды в день лечебную физкультуру. А в субботу выписывали Любовь Степановну, и Олег побежал в гардероб, чтобы принести ей одежду, потому что профессора не пустили — ждал внизу. Харкевич поднимался по лестнице, накинув на плечи женское пальто, а в руках держал старенькие ботинки, как вдруг кто-то окликнул его по имени-отчеству. Он оглянулся и увидел своего недавнего начальника — Левчука.

Харкевич обрадовался, словно это был старый приятель, которого он тысячу лет не видел. Бросил ботинки на ступеньки и протянул левую руку, которой научился орудовать во время пребывания в больнице.

— Ну как? — спросил Левчук.

— Да вот — гипс сняли.

— А здороваются левой!

— Рука вроде бы и здорова, а все-таки страшно,— улыбнулся Харкевич.

— А я вчера с Днепрогэса. Шла райкомовская машина — удалось пристроиться,— объяснил Левчук. Он выглядел оживленным и более решительным, чем обычно, и смотреть на него было значительно приятнее, чем там, на плотине, когда он боязливо пятился по скользким ступенькам.

Впрочем, сейчас Олег даже не вспомнил о том случае. Обрадовался, что перед ним живой человек с Днепрогэса, который что-то может рассказать.

Он попросил подождать в коридоре, подхватил ботинки и побежал, но Левчук неожиданно крикнул вдогонку:

— Погодите, возьмите письмо!

У Харкевича все оборвалось. Он снова поставил ботинки на лестницу, теперь уже медленно, и взял письмо. Почерк был Клавдии Харитоновны. Пока Олег распечатывал конверт, все в нем замерло — каждый мускул, каждый нерв, словно он точно знал, что письмо таит в себе ужасающее известие.

— У нас теперь с Клавдией Харитоновной постоянная связь,— говорил между тем Левчук. — Еще до того, как мы получили ваше письмо, она несколько раз заходила — спрашивала, в какой вы больнице. А позавчера, когда стало ясно, что еду с документами в Госплан, я забежал к ней.

Харкевич слушал невнимательно. Из письма он понял, что о Ксене ничего не известно. Прямо, правда, Клавдия Харитоновна об этом не писала, но сокрушалась, что вот уже вторую неделю вокруг Корсуня идут бои и, кто знает, скоро ли закончатся. Письмо короткое — только об этом,— и лишь в конце просьба написать, как его рука.

— Что-нибудь неприятное? — спросил Левчук. Он заметил, что Харкевич нахмурился.

— Ничего особенного,— проронил Олег Иванович. Он снова извинился, попросил подождать и, схватив ботинки, убежал.

Пришлось не только помочь Любови Степановне одеться, но и вывести ее на улицу, передать мужу из рук в руки. Она была еще очень слаба — то ли от долгого лежания в больнице, то ли от полученной контузии,— едва держалась на ногах. Олег помог усадить ее в машину, наскоро записал адрес квартиры, которую стороженко получил накануне, распрощался и, когда машина тронулась, побежал назад.

Из разговора с Левчуком выяснилось, что управление на Днепрострое уже по-настоящему развернуло работу. Спешно составлялись планы восстановления. Пополняли штаты, с востока ожидалось первые эшелоны со строительным материалом. А приехал Левчук в поисках рабочей силы, которая в огромном количестве потребуется сразу, как только начнется восстановление.

— Так что поскорее латайте свои поломанные конечности и немедленно к нам! — весело, но с неприятным ударением на последнем

слове провозгласил он, покровительственно положив руку на плечо Харкевича. — Загрузим по горло, на всякую там лирику и тому подобное не хватит времени.

Олегу не понравилось ни это «к нам», ни положенная на плечо рука, ни сам тон, с которым свежейспеченный хозяин давал свои милостивые обещания.

— Пока я еще в распоряжении наркомата...

— Договоримся. Все будет в порядке. Вы — абориген Днепрогэса и его герой, вам не место в канцеляриях.

Это была правда, хотя и высказанная тем же покровительственным тоном. Лучше б извинился, ведь чуть не стал причиной его гибели. Но Харкевич не сердился — радовало то, что хоть и гремит еще война, а восстановление плотины началось.

Левчук пообещал, что непременно зайдет еще раз — в субботу, перед отъездом из Киева: расскажет о том, чего добился в Госплане. Попрощался, как старый приятель, и ушел.

А когда второй раз заглянул в больницу, оказалось, что Харкевича там нет — ушел на комиссию. Так Левчук и уехал в Запорожье, уверенный, что Харкевич вот-вот примчится на Днепрогэс.

Но вышло иначе.

В тот же день после обеда старшая сестра объявила Олегу, что утром его выпишут из больницы. А немного погода принесла конверт. Это было письмо от Штукаренко и официальный вызов на имя Харкевича из политотдела дивизии.

Полковник сообщал, что дивизия все время в боях, сам он день и ночь носится с одного участка фронта на другой, так что особого гостеприимства не обещает. Но пусть Олег приезжает, понюхает настоящего пороха, а поболтать время найдется, тем более что, пока он прибудет, бои, может, и закончатся.

Харкевич плохо спал эту ночь — все время вертелся с боку на бок, лихорадочно обдумывая, как добраться до Штукаренко. Попробовать поездом или выйти на дорогу и голосовать? Решил, что машиной удобнее: хоть и померзнет в кузове, зато быстрее доберется — ведь чем ближе к Корсуню, тем больше будет машин.

Но когда он на следующий день зашел в канцелярию за документами, секретарша порывлась в ящике и сказала:

— Вам на комиссию.

— На какую комиссию? — удивился Харкевич.

— Как это на какую? Вы не слышали, что теперь война? — возмутилась женщина.

Харкевич обескураженно захлопал ресницами.

— Но я же... — Он хотел было сказать, что у него броня Наркомата электростанций, но постеснялся и промолчал.

— Ваши документы уже там, — объявила секретарша.

Харкевич молча записал адрес военкомата, где заседала комиссия, и вышел на улицу.

Возле дома, где размещался военкомат, стояла толпа. Много военных, как и он, только что выписанных из госпиталей, но в основном

молодежь, которая подросла за время оккупации Киева и близлежащих районов. Военные стояли кучками — кое-кто еще опирался на палку, а некоторые на своих двоих. Они оживленно обсуждали военные операции, различные боевые эпизоды, хотя познакомились только здесь. Штатские держались в стороне, перешептывались, прислушивались, притихшие в ожидании неведомого будущего. Харкевич толкался к двери, попробовал войти в дом, но в коридоре было столько людей, что ступить некуда. С минуту он постоял у входа и обратился к пожилому лейтенанту с длинным посиневшим шрамом на щеке:

— На комиссию вызывают или надо пробиваться самому?

— А документы сдали?

— Документы где-то там.

— Тогда ждите, вызовут.

Харкевич отошел от двери, посмотрел на толпу и улыбнулся: людей собралось столько, что можно, верно, прийти и через день. Во всяком случае, не опоздаешь, если на часик забежать к Стороженко. Он достал блокнот, где был записан адрес, но, когда расспросил, далеко ли это, выяснилось, что надо идти почти через весь город. Раздумывая, как поступить, Олег прислонился к стене и закурил. И в это время в коридоре раздался голос:

— Врачи, инженеры и техники, прошу заходить со стороны двора!

Толпа зашевелилась, человек пятнадцать стали проталкиваться к калитке. Несколько военных вышли из коридора и тоже пошли во двор. Когда Харкевич подошел к крыльцу, там уже собралась небольшая группа людей — главным образом пожилые мужчины и несколько женщин.

То, что врачей и инженеров принимали вне очереди, могло означать одно: эти специальности сейчас самые нужные, их больше всего не хватает. Олег заволновался. Два месяца назад, узнав, что направлен в действующую армию, которая приближается к Днепрогэсу, он обрадовался: значит, примет участие в освобождении Днепровской плотины. К тому же надеялся, что там Ксения, и летел в самое пекло, почитая это величайшим счастьем. Теперь все выглядело иначе: Днепрогэс начинали восстанавливать, он был необходим там, потому что лучше его никто не знает плотину, а его, как рядового инженера, могут заслать в другую сторону. Конечно, можно телеграфировать в наркомат... Но не покажется ли это трусостью или желанием спасти собственную шкуру?

Он почувствовал, что им овладевает какое-то унижительное чувство растерянности. Может, уйти отсюда, пока не вызвали, прийти завтра, а тем временем обдумать, как вести себя, взвесить все обстоятельства, посоветоваться с кем-нибудь?! Но все это тоже походило на бегство, на ту же трусость, которая опозорила бы его в собственных глазах. «Ведь у всех этих людей, — подумал он, — есть свои неотложные дела и близкие, которые их любят и ждут, а вот стоят же у крыльца военкомата и домой никто не уходит. Чушь! Как только такое могло прийти в голову?!»

Врач пощупал его только что сросшуюся руку и сказал: «Ничего, логарифмическую линейку держать сможет». Харкевича снова охватило смятение, и он едва удержался, чтоб не напомнить о белом вкладыше в военном билете. Но тотчас подумал: врач не мог не видеть вкладыша, а говорит так, словно вкладыша нет! На миг ему показалось, что надо предъявить вызов от Штукаренко, ведь его вызывают в воинскую часть, которая ведет бои. Но язык не повернулся и теперь. Что значит вызывают? Разве воинская часть сама себя комплектует, разве не военкоматы поставляют ей солдат и офицеров? И что подумают врач и этот пожилой полковник за столом? Нет, нет... Так должно быть.

Он оделся и сразу же ощутил себя не таким беспомощным, как за три минуты до того, когда стоял перед комиссией. Подошел к столу, взял из рук полковника назначение и услышал:

— Явиться завтра в восемь утра. Иметь при себе две пары белья и пару носков про запас.

11

Эшелон отправлялся из-за Днепра — с того места, где когда-то был Дарницкий вокзал, а теперь посреди занесенной снегом площадки высилась груда битого кирпича, под которой угадывался асфальт привокзального перрона. Вокруг не было видно ни одного уцелевшего дома, только изредка попадались одинокие сосны, и Харкевич не понимал, где же здесь притаился барак, в котором работает Катерина Городовенко.

Уже темнело, когда колонна дошла до вагонов. Любовь Степановна, конечно, проводить не могла. Рвалась, но и Олег, и Кузьма Иванович категорически запретили. Хватит с нее слез, которые пролила накануне, да и чересчур слаба еще, чтобы идти через весь город в ногу с новобранцами. Она еще с вечера знала, что не пойдет, не спала всю ночь и каждую минуту вскакивала, чтобы поправить шинель, которой был укрыт Олег. Он лежал на полу, в углу почти пустой комнаты, всякий раз просыпался, когда Любовь Степановна наклонялась над ним, но, растроганный ее материнской заботой, не решался откликнуться.

Среди провожающих стоял Кузьма Иванович. Он пришел сюда еще днем, ведь никто не знал, когда отойдет эшелон, так же, как не знали, откуда именно колонна двинется на Дарницу: вначале новобранцев мыли на Пушкинской в бане, потом на Соломяке выдали обмундирование, а на Прорезной — паек.

Очень усталый, чуть живой после целого дня беготни по городу, Харкевич наконец занял свое место на жесткой полке в единственном на весь эшелон классном вагоне, предназначенном для специалистов, которые должны были стать офицерами. Олег еще долго смотрел в окно, а профессор стоял, прислонясь к покосившемуся чугунному столбу, и беспомощно улыбался, хотя по щекам текли слезы. Харкевич

больше не старался сказать ему что-то с помощью мимики — понимал, что у старика на душе. Кузьма Иванович терял в его лице единственного человека, способного помочь, выручить, разыскать Ксению... Олег заставлял себя улыбаться, чтобы Стороженко не догадался, о чем думает он сам...

Он несколько раз махал рукой, показывая в сторону города, и неслышно шептал: «Идите, не надо ждать, пока тронется поезд», потом перестал: кого же еще провожать старику, как не его, и как горько было бы уезжать, не будь никого на перроне.

Поезд тронулся неожиданно, когда все уже привыкли к ожиданию и потеряли надежду, что он вообще когда-нибудь тронется. Это произошло так внезапно, что Олег только успел заметить, как Кузьма Иванович отстранился от чугунного столба и, вместо того чтобы помахать рукой, снял шапку. Олег бросился к окну, но вагон уже проехал место, где стоял старик. «Почему он снял шапку? — подумал Харкевич. — Неужто думает, что мы больше не встретимся?»

Это его поразило. Ему самому ничто подобное не приходило в голову. Но теперь перед глазами стоял Кузьма Иванович, такой, каким он увидел его в последний момент — с шапкой, которую тот сорвал с головы, словно на похоронах. Неужели старик все время думал об этом? И не только думал, а так уверил себя, что даже снял шапку?

Олег прижался головой к деревянной стенке вагона и закрыл глаза. Перед ним все поплыло, будто он ехал на пароходе. Сказывался утомительный день, полный непрерывной беготни и мелких забот, связанных с отъездом. Да еще этот трудный пеший переход из города до самой Дарницы...

— Интересно, куда это мы едем? — слышался высокий мужской голос. — Вроде война на западе, а мы — на восток!

Харкевич открыл глаза и увидел седого человека, который смотрел в окно. Лицо скуластое, круглое, с маленькими седыми усиками, а глаза живые, даже веселые, в них вспыхивает тревожное любопытство, будто у человека есть билет, а он вдруг засомневался: в тот ли поезд сел?

— Вы, батенька, забыли, что воинские части формируют не на фронте, а в тылу, — засмеялся другой — худощавый, с аккуратным пробором, который делил пополам редкие волосы на непомерно большом для его комплекции черепе. — Верно, завезут, прежде чем попадем на фронт, в Казахстан или в Сибирь.

— Правильно, об этом я не подумал! — обрадовался круглолицый, получив разумное объяснение. — Вполне возможно, что и так.

Худощавый был не в гимнастерке, как все, а в кителе, с погонями и звездой майора, и это «батенька» прозвучало в его устах странно и старомодно. Харкевич чувствовал себя скверно, слушал невнимательно, но и его поразило это слово, чем-то напомнив о Кузьме Ивановиче.

— Пора бы ужинать, — произнес кто-то на верхней полке после недолгого молчания.

— А ведь и впрямь! — с готовностью поддержал круглолицый, будто только этого ждал, и обратился к Харкевичу:— Вы — как?

Тот не ответил, он сидел с закрытыми глазами, все еще откинувшись к стенке, и не знал, что обращаются к нему. На лбу у него выступили капли пота, его подташнивало и знобило.

— Вам нехорошо? — встревоженно спросил круглолицый и дотронулся до его плеча.— Дайте-ка руку.

Олег вздрогнул от неожиданного прикосновения, раскрыл глаза и вяло улыбнулся, но руку протянул.

— Просто устал, — сказал он едва слышно.— Я только из больницы, а сегодня был трудный день, — как бы оправдывался он.

— Похоже, что так, — согласился круглолицый, профессионально оценив хоть и слабый, но равномерный пульс Харкевича.— Вам лучше прилечь.

— Спасибо, я еще посижу.

— Можно и так, — разрешил круглолицый и стал вынимать еду из чемодана.

Олег снова закрыл глаза — так было легче. Голова не болела, но мысли путались. Дарница... Странное название... Кто-то когда-то кому-то что-то подарил... Как советовал Кузьма Иванович, Харкевич всегда искал в названии населенного пункта корень того слова, от которого оно могло произойти. Верный ли это метод? Что в таком случае означает Корсунь? Ах, Корсунь, Корсунь, как ты далеко теперь! Еще несколько дней назад ты был на расстоянии вызова Штукаренко, а теперь отдалился на целую жизнь... Нет, нет, теперь конец, он больше не увидит Ксению...

Соседи по купе с аппетитом ужинали. Они не открыли пакетов, полученных в Киеве на продпункте, — ели вареные яйца и домашние пирожки, запивали крепким чаем. Из их разговоров Олег узнал: тот, что с пробором, с самого начала войны служил в инженерной части какой-то саперной армии и ранен был во время переправы через Днепр, выше Киева. Круглолицый, что назвался врачом, остался в Киеве во время оккупации, если верить ему, случайно. Третий больше молчал. Сидел в углу, и Олег не видел его лица. Странно: едят, запивают чаем, рассказывают друг другу о себе и, видимо, совсем уже не думают о тех, кто их провожал на дарницком перроне? А кто их, собственно, провожал? Там, в Дарнице, Олег все время смотрел только на Кузьму Ивановича. И сейчас он подумал: верно, они такие спокойные, даже веселые потому, что все, кого любят, в Киеве или в эвакуации. А у него — Ксения... Жива ли она?..

Харкевич резко отшатнулся от стены, будто испугался, что те трое услышали, о чем он думает. Но они кончали ужинать, круглолицый уже аккуратно заворачивал в кусок газеты обеды, собираясь отнести их в конец коридора и выбросить в урну. Он взял пакет и пошел было к двери, но, взглянув на Харкевича, остановился:

— Ну как?

— Спасибо. Вроде получше.

— Может, причаститесь?

— Нет, я недавно ел.

Это была ложь. Он обедал тогда же, когда и они. Поесть было пора,— может, и слабость эта и пот на лбу совсем не от усталости, а от голода. Но не было сил пошевелиться, чтобы взять пирожок, за который он уже даже поблагодарил. Страшная вялость, дикая апатия подавляли его.

Нет, дело совсем не в голоде, совсем не в усталости... Ксения — вот в чем дело! Круглолицый только что рассказывал, как в сорок первом киевлян вели расстреливать в Бабий яр. А что, если и с Ксенией произошло то же самое под Корсунем? От этой мысли он содрогнулся. Ведь Ксения так долго была в аду, откуда же эта уверенность, что ее надо только разыскать?!

Поезд резко затормозил и остановился. Круглолицый выглянул в окно, но сквозь темень ничего не увидел.

— Все-таки любопытно, куда нас везут?

— Начальство знает,— ответил тот, что с пробором.

Третий молчал и теперь. И в самом деле — какая разница? Ведь теперь ясно, что Ксени он никогда не увидит. Да, из Корсуня поезда не ходят, может быть, оттуда не идут еще и письма и даже телеграммы... Но люди-то ездят! Там ведь десятки тысяч военных, уйма машин! Что же она, не сумела передать хоть несколько слов через кого-нибудь, кто ехал в Запорожье, где до сих пор могли жить родители, или в Киев, куда они могли переехать, или, наконец, в Москву, где работал он? Несколько кратких слов о том, что она жива. Конечно, сумела бы! Ведь два месяца назад передала же записку! Им овладело отчаяние — уверенность, что Ксения погибла, что ее нет. Он уже не думал о том, что может случиться с ним,— это теперь не имело значения.

Те трое готовились ко сну. Круглолицый стелил себе на верхней полке.

— Если хотите, ложитесь внизу,— предложил Харкевич.

— А вы? — удивился сосед.

— Я охотно лягу наверху.

— Конечно... Если вам удобно... А как вы себя чувствуете?

— Все хорошо.

— Ну, коли так... С моей комплекцией, да еще после ужина... К тому же мы еще хотели перекинуться в пятьсот одно.— Он виновато улынулся, снял свою постель и переложил на нижнюю полку.

Поезд мчался сквозь ночь. Сейчас уже невозможно было понять — куда именно. Может, на восток, а может, где-то уже и повернул. Впрочем, какая разница? Харкевич накинул шинель, подложил под голову узелочек, в котором ничего, кроме еды, не было, и удивительно легко вскочил на верхнюю полку.

Через пять минут он уже спал «черным сном», как говорил покойный отец, когда Олег был совсем маленький — застенчивый, белоголовый и молчаливый мальчик, которого мать шутя называла, как девочку: Оля.

Самолет был уже на полпути к Киеву, когда из кабины пилотов вышел бортовой штурман и двинулся к Шумакову. Сидя на железной скамейке в самом хвосте самолета, Ксения видела, как он наклонился к самому уху командира, что-то долго говорил ему, а когда снова скрылся в рубке, Шумаков повернулся к Ане и что-то ей пересказал.

Та сразу поднялась и, держась за бортовую стенку, которая все время накренилась то в одну, то в другую сторону, медленно пошла в конец самолета.

— Понимаете, какая неприятность,— сказала она, добравшись до Ксении и усаживаясь рядом.— Киев не принимает самолетов, там страшный туман.

Ксения не поняла, в чем дело, и подумала, что не расслышала. Сняла ушанку и подставила ухо поближе. Только второй раз услышав то же самое, она сообразила, что попала в новую беду и окажется от Киева дальше, чем была в Калитве.

Она не знала, как на это реагировать. Понимала одно — от нее ничего не зависит. Аня взволнованно объясняла, что вместо Киева самолет направится горючим в Харьков и, если Ксения хочет, можно сойти там. Но майор из московской редакции посоветовал лететь в Москву, а оттуда уже ехать в Киев.

— Расстояние почти одинаковое. Но Москва все-таки Москва, а Харьков только Харьков, — сказал он риторически, и Ксения не поняла, что он имеет в виду.

Она умоляюще посмотрела на Аню, словно просила решить все за нее.

— Конечно, из Москвы будет легче добраться: там все-таки будем и мы,— повеселела Аня.— Летим в Москву?

Ксения беспомощно улыбнулась в знак согласия: лучше быть далеко, но с друзьями, чем близко, да одной.

Но когда Аня и майор разошлись по своим местам, ею овладела тревога. Зачем все это? Переждала б в Калитве! Там восстанавливают мост через Рось, прокладывают железнодорожную колею,— очевидно, скоро пойдут поезда. Столько ждала, могла потерпеть еще недельку!

Тем временем между Аней и Шумаковым происходил решающий разговор. Самолет летел почти над самой землей, моторы отчаянно гудели. Шумаков почему-то лучше слышал ее, чем она его,— может, его басок сливался с рокотом моторов, а ее высокий голос выделялся на этом глухом фоне и звучал звонко и отчетливо.

— Мы заедем в гостиницу Дома Красной Армии,— крикнул он в маленькое Анино ушко, наполовину высунувшееся из-под темных волос.— Там для меня забронирован номер.

— Мы? — Она с веселым вызовом поглядела на него и улыбнулась.— Я — нет.

— Глупости, дорогая,— сказал он.— При нынешних транспортных условиях в Москве нам надо быть ближе друг к другу.

— Вот как! — нахмурилась она. — Вы ставите отношения между людьми в зависимость от транспорта?

— Особенно если это избавляет от необходимости говорить о своем чувстве! — продолжил он ее фразу и громко засмеялся.

Аня помолчала.

— И все-таки не стоит, — проговорила она уже серьезно.

— Почему?

Она опустила голову и стала тонкими пальцами комкать шерстяную варежку. Шумаков смотрел на ее нахмурившееся лицо, уже почти понимая, что взволновало ее.

— Прошло еще так мало времени... — Она говорила тихо, и он скорее догадывался, чем слышал.

Он понял, что она имеет в виду. Он и сам думал об этом, но сдержаться не смог. Хохол, бывший ее муж, погиб совсем недавно. Прошло только два месяца.

— Но ведь ты же говорила мне... — взволнованно начал он и замолчал.

— Да, да, мы расстались с ним давно. И все же... — Аня смотрела на Шумакова, словно извиняясь или умоляя.

Некоторое время оба молчали. Чем дальше уходили они от фронта, тем выше летел самолет, но очень высоко все же не поднимался: вражеский истребитель мог неожиданно появиться и здесь, — и лучше было не очень отрываться от земли.

— Где же ты остановишься? — спросил он.

— У меня в Москве подруга. — Аня вскинула на него глаза. Она была благодарна ему за то, что он не настаивает на своем, и лицо ее теперь выглядело спокойным, словно сразу посветлело. — Это удобно, почти в центре — на площади Дзержинского, у метро.

— Ну что ж, — согласился Шумаков.

Аня положила руку на его руку, и он повернулся к ней лицом.

— Вы только не сердитесь...

— Нет-нет, я понимаю.

— Спасибо, — растроганно сказала она.

— За что?

— Именно за это.

Газик, который Шумаков вызвал из гаража Генштаба, сначала помчал их на площадь Дзержинского. В квартире, где жила Анина подруга, телефона не было, да и самой подруги в Москве не оказалось. Но ее старенькая мать знала Аню и приняла ее с радостью.

Отсутствие телефона немного смутило Шумакова. Как же он сообщит ей свои координаты, когда устроится? Сама она из уличного автомата дозвониться не сможет — администратор военной гостиницы сведений о проживающих не дает. Значит, придется еще раз захватить, сказать Ане номер телефона, а времени нет, потому что надо немедленно явиться в Генштаб, доложить о прибытии. Да и как ей быть потом — сидеть целый день дома в надежде, что он, может быть, заедет? А что, если его не отпустят допоздна и ей придется ждать? Все

это промелькнуло у него в голове, пока Аня выходила из машины, но после разговора в самолете Шумаков не решился вторично предложить ей ехать с ним в гостиницу. Условились, что она побудет дома, а он непременно заедет по дороге в Генштаб.

Но вышло иначе.

Как только газик остановился у подъезда гостиницы, к Шумакову подбежал бравый майор и, коротко отрекомендовавшись, сообщил, что в четырнадцать ноль-ноль назначено совещание в Комитете обороны — машина ждет, ехать надо немедленно, не заходя в гостиницу.

Шумаков посмотрел на часы: тринадцать тридцать. Значит, ни устраниваться, ни заезжать к Ане времени нет. Он приказал адъютанту взять чемоданы и никуда не выходить из вестибюля, чтобы в случае чего он мог по телефону разыскать его там. Затем Шумаков пересел в «ЗИС» майора, и машина тронулась.

Они вошли в приемную, смежную с небольшим залом, минут за десять до начала совещания. И в приемной, и в коридоре было много людей — они собирались небольшими группками и тихо переговаривались.

— Если не возражаете, я вам представляю командиров частей вашего будущего корпуса, — предложил майор.

Шумаков согласился, и майор на некоторое время оставил его одного.

Знакомых как будто не было. Шумаков подошел к окну, облокотился на подоконник, достал папиросу и закурил. «Что подумает Аня, — размышлял он, — когда, прождав несколько часов, убедится, что уже не заеду? Решит, что обидела отказом поселиться неподалеку друг от друга?» Это его обеспокоило. Скверно, что не выполнил обещания, но еще хуже, что она может неправильно истолковать то, что произошло.

До начала заседания оставалось несколько минут, когда майор познакомил его с тремя командирами дивизий будущего корпуса.

— Посидим поговорим, — предложил Шумаков и, не ожидая согласия, первым пошел к небольшому столику, возле которого стояли диван и два кресла.

Он еще толком не знал, о чем говорить со своими будущими подчиненными. Ему не было известно ни место комплектования, ни даже армейский номер корпуса, которым он будет командовать, ни номера частей, из которых корпус будет состоять и которые ему, возможно, будут приданы. К тому же он никогда еще не командовал генералами. Впрочем, все это, конечно, его не пугало, тем более что разговор предстоял неофициальный и очень короткий.

— Прошу. — Он указал на диван, а сам сел в кресло. И когда все трое уселись, обратился к генерал-майору, чье имя часто встречал в приказах Верховного Главнокомандующего: — Вы, кажется, воевали на Брянском?

— Да, был и там. А в последнее время — на юге. Немного поцарапало, пришлось передохнуть.

— Ну, как теперь?

Генерал не успел ответить, только легонько махнул рукой — прозвучал голос подполковника, приглашавшего всех в зал.

Шумаков впервые участвовал в таком заседании. Большинство присутствующих были в генеральских мундирах с полевыми погонами — работники центральных учреждений Наркомата обороны и вызванные с фронта командиры боевых частей. В стороне — небольшая группа полковников, подполковников и майоров, — очевидно, адъютанты и помощники тех, кто должен был проводить заседание. Они почти все держали папки с бумагами и остались стоять, когда пожилой генерал армии предложил присутствующим занять места за длинным ореховым столом, перпендикулярно поставленным к более короткому, но такому же сверкающему и массивному, как тот, за которым сидел он сам.

Генерала армии знали все. Его портреты еще до войны часто появлялись в центральных газетах. Он тогда возглавлял военную академию. Теперь это был один из руководителей Генштаба, и многие присутствующие — его бывшие ученики — с горечью отмечали, как он постарел с тех пор. Волосы аккуратно подстрижены ежиком, небольшие, тоже тщательно подстриженные усы поседели, голос звучал глуше, и весь он стал как будто ниже ростом.

— План Верховного Главнокомандования, о котором я сейчас говорить не буду, — начал генерал армии в наступившей тишине, и хоть говорил он негромко, но каждое слово доносилось до всех, — предусматривает укомплектование ряда новых боевых частей ударного характера. Некоторые будут созданы вновь, другие сформированы из полков и дивизий, освободившихся в результате успешных боевых операций последнего времени. Соответствующие приказы и документы, касающиеся дислокации, личного состава и вооружения, сейчас будут розданы будущим командирам. На ознакомление с ними даю десять минут, после чего представители Наркоматов обороны и вооружения выслушают ваши претензии.

Он легонько кивнул группе офицеров, что стояли в стороне, те неслышно разошлись по всему залу, кладя перед каждым соответствующую документацию.

В зале зашелестели бумаги — все просматривали документы. Шумаков сразу понял: корпус, которым он будет командовать, совсем не похож на те, в состав которых когда-то на фронте входила его дивизия. Четыре полнокровных дивизии, три мотобригады, из которых две танковые, оснащенные тридцатьчетверками, два отдельных арtpолка и целый ряд подразделений специального назначения — совсем не то, что он видел перед этим. Имея в своем распоряжении такую силу, можно воевать! Но он тотчас отметил и отсутствие некоторых видов вооружения, например гаубичной артиллерии и понтонных средств для переправы через водные рубежи. И хотя он и не знал еще, на какой участок фронта бросят его корпус, но понимал — путь в Германию лежит через Збруч, Вислу, Дунай и множество больших и ма-

лых рек. Он решил сказать об этом. Ведь ясно было — речь пойдет именно о таком пути, и Шумакова не покидало радостное волнение при мысли, что ему выпало пройти этот путь, обладая такой несокрушимой военной мощью...

Когда заседание закончилось, генерал армии, сказав несколько сдержанных напутственных слов, отпустил присутствующих. Майор, который привез сюда Шумакова, уже ждал в коридоре с готовым генеральским удостоверением. Это было очень кстати: Шумакову предстояло побывать во множестве учреждений, где решались практические вопросы, связанные с его корпусом. Он взял из рук майора маленькую книжечку в мягкой кожаной обложке и с нарочитой небрежностью спрятал во внутренний карман, хотя и не прочь был раскрыть и посмотреть, как выглядит его фотография рядом со строчками, свидетельствующими, что он теперь генерал. Поблагодарив майора, он спросил, где здесь городской телефон. Надо было вызвать лейтенанта Сердюка, который ждал в вестибюле гостиницы, и поручить ему съездить на площадь Дзержинского.

С трудом дозвонившись, он приказал:

— Передайте капитану медицинской службы, что я заеду в шесть часов. До этого времени она может быть свободна.

Шумаков не хотел вводить адъютанта в курс своих личных дел, потому и назвал Аню ее воинским званием, не упомянув даже фамилии. Но адъютанты, как правило, информированы значительно лучше, чем считают их непосредственные начальники, — такова уж их служба, от них не утаишь...

13

Уже почти стемнело, когда Шумаков вышел на угол Арбатской площади и Гоголевского бульвара. На миг он остановился, раздумывая, куда идти — к Ане рано, а дел за оставшийся час никаких не сделаешь.

Площадь морозно поблескивала в сиреневом мареве мартовского вечера. Одинокие прохожие, появившиеся из прилегающих улиц, не приближались, а как бы выплывали из холодного сумрака, чтобы так же мягко раствориться в густой синеве узкого бульвара. После долгого пребывания в помещении на улице дышалось легко, хотя голова чуть кружилась от пьянящей свежести.

Шумаков посмотрел налево и вспомнил: за углом находится Главное политическое управление, куда надо непременно зайти. Он должен во что бы то ни стало забрать в свой корпус Штукаренко.

Через пятнадцать минут Шумаков стоял перед столом довольно молодого генерал-майора, от которого это зависело. Красивое лицо под копной кудрявых пышных волос казалось бледным в зеленоватом свете нависшей над головой лампы. Он не сразу оторвал взгляд от бумаг, лежавших перед ним, и Шумаков успел подумать, что по делам лучше ходить днем, когда в приемных сидят дежурные офицеры и докладывают своим начальникам, кто просит их принять. Тогда

не приходится торчать столбом у стола и ждать, пока на тебя обратят внимание.

— Я слушаю вас, товарищ полковник,— услышал он неожиданно тихий и глухой голос — голос уставшего человека.

Шумаков коротко отрекомендовался и, удивленный тем, что ему до сих пор не предложили сесть, стал излагать дело, ради которого пришел.

Генерал-майор выслушал Шумакова и медленно поднялся, словно наконец понял, что ведет себя негостеприимно, но счел за лучшее встать самому, нежели с таким опозданием предложить стул посетителю. Он вышел из-за стола и прошелся по комнате.

— Вы считаете, что офицеру разрешается воевать там, где он хочет, или там, где хотелось бы его товарищам? — спросил он так же тихо, как и раньше.

— Вам не кажется, товарищ генерал-майор, что с таким вопросом можно обращаться к человеку с меньшим боевым опытом, чем у меня? — спросил в свою очередь Шумаков, и хотя вопрос звучал достаточно язвительно, но задан был с легкой улыбкой.

Генерал-майор все еще прохаживался по комнате, сложив руки на груди. Он не посмотрел на Шумакова, но усмешку его почувствовал.

— Даже опыт может оказаться сомнительным,— сказал он почти весело,— если младший по званию офицер отвечает старшему вопросу на вопрос.

— Разрешите доложить, товарищ генерал-майор, что мы в одном звании,— опять улыбнулся Шумаков.

— Я этого не вижу.— Только теперь генерал остановился и повернулся к посетителю с доброжелательной улыбкой.

Шумаков уже понимал, что случайное и столь нежелательное направление разговора никак не способствует положительному решению вопроса, ради которого он пришел. Это его беспокоило, злило, и он едва сдерживался, чтобы не сказать еще что-то резкое.

Генерал-майор подошел ближе.

— Видите ли,— заговорил он,— если судьба дивизии, которой вы командовали раньше, не безразлична вам — а я думаю, что это именно так,— то вы должны признать, что, лишив организм головы, нельзя вытрясать из него и душу. Мы придерживаемся такого мнения, что все командование следует менять лишь в крайних случаях, и хорошо, если при новом командире остаются те, кто знает хозяйство и может ввести его в курс дела.

Все это было сказано приветливо, почти дружески, и внутренне Шумаков должен был признать, что генерал-майор прав. Что же касается замечания о «душе организма», которой Штукаренко действительно был в дивизии, то оно даже немного пристыдило Шумакова. Нет, судьба дивизии вовсе не была ему безразлична, и он понимал, что настаивать не следует.

Шумаков вышел из политуправления в плохом настроении. До шести оставалось пятнадцать минут, и он пошел через Арбатскую пло-

щадь вниз по улице Коминтерна. Угнетала и сама неудача, и сознание, что он не прав. Значит, Штукаренко рядом не будет. Впервые за долгое время.

Это была первая неудача за весь день — если не считать того, что не удалось заехать к Ане. В наркомате все шло как по маслу — и в артуровском управлении, и в отделе комплектования, и в Генштабе. Хорошее впечатление произвели и командиры частей будущего корпуса — люди как будто опытные и серьезные. А вот Штукаренко рядом не будет — к этому придется привыкать...

Минуты за три до шести Шумаков подошел к дому, где остановилась Аня. И тут оказалось, что он не знает, в какой из трех подъездов надо войти. На лестнице совсем темно, узнать, в каком подъезде пятая квартира, не у кого... Пришлось постучать в ближайшую дверь. Он постоял на темной площадке, уже не веря, что кто-то ответит, как вдруг за дверью послышался голос Ани! Шумаков так обрадовался, словно потерял ее навсегда и вот — случайно нашел. Войдя в неосвещенную прихожую, он прижал Аню к груди и сразу почувствовал, что и она тоже прильнула к нему.

— Что, уже не ждала? — шепотом спросил он, чувствуя на своей щеке ее горячее дыхание.

— Нет, почему же? Вы же прислали вестника.

— Не мог сам зайти, никак не мог, — оправдывался он. — Не сердись.

Она взяла его за руку и, как слепого, повела по длинным коридорам. В комнате тускло мерцала электрическая лампочка под розовым абажуром. Было тихо, казалось, они одни во всей квартире.

— Верно, целый день не выходила?

Она не ответила и улыбнулась:

— Почему вы разговариваете шепотом? Можно громко.

Они уселись за большой стол посредине комнаты, и Шумаков начал рассказывать о том, как прошел день. Ему казалось, что Аня сердится, но старается скрыть свое недовольство, и поэтому он говорил больше, чем нужно, объяснял с излишними подробностями то, что было ясно и так.

Наконец она сказала:

— Вы напрасно оправдываетесь. Разве я не понимаю, что у вас кроме меня масса дел?

Она сказала это без всякого умысла, но Шумакову и тут послышался скрытый упрек.

— Дел действительно много, — серьезно согласился он. — Но, поверь, меня все время мучило, что ты ждешь.

— Спасибо, милый. Я понимаю. — Она улыбнулась так непосредственно, что он понял — простила. — Но завтра, прошу вас, не забудьте — нам надо решить в сануправлении и мой вопрос.

Шумаков нахмурился и ответил не сразу. Да, он должен позаботиться, чтобы Аня получила официальное назначение в его корпус. Тревожило теперь то, что снова речь шла о личном деле, а после

разговора в политуправлении о Штукаренко не хотелось еще раз попадать в неловкое положение. К тому же Штукаренко как-никак заместитель по политчасти—они сблизились по работе, никого не удивит, что хочется и впредь служить вместе. А тут рядовой врач, с которым командир корпуса формально не имеет ничего общего... Каждому ясно, в чем дело, а это командиру не к лицу.

— Анечка, послушай, только не сердись, — ласково начал он. — Разве ты просто не можешь поехать со мной? Ведь мы любим друг друга, что ж еще надо?

— Я все же не хотела бы...

— Почему? — Он через стол дотянулся до ее руки.

— Разве я вам не объяснила?

Она посмотрела на Шумакова, и он понял — речь все о том же, слишком мало времени прошло с тех пор, как погиб Хохол.

— Зачем спешить? — продолжала она. — От нас ничто никуда не убежит. А сейчас лучше... Прошу вас... — Она не отняла руки. Шумаков чувствовал ее волнение.

— Не говори мне — вы.

— Какое это имеет значение? — Она улыбнулась.

— И все-таки прошу тебя.

— Сразу трудно...

— Разве то, что происходит, началось сегодня?

— Ну хорошо, ты! — произнесла она, делая ударение на последнем слове и глядя на Шумакова с милым вызовом.

— Вот и ладно. — Он поднялся, перешел на другую сторону, наклонился к Ане и поцеловал ее в губы.

Да, это началось не сегодня. Может, у Ани и позже, чем у Шумакова, но какое это имело значение! А впрочем, кто знает. Может, еще в коридоре дивизионного санбата, забитого ранеными, когда Шумакова привезли с простреленной ногой, может, уже тогда она не случайно подошла именно к нему и посоветовала не соглашаться на ампутацию. Не почувствовала ли она уже тогда в нем человека, с которым свяжет свою жизнь? Кто знает... Трудно бывает предугадать, чем обернется случайная встреча...

В коридоре что-то зашуршало, послышались медленные шаги. Аня легонько оттолкнула Шумакова, он немного отстранился, но остался стоять позади ее стула. Вошла высокая худощавая женщина с чайником в руке.

— Аня, давай пить чай, — сказала она и вдруг заметила Шумакова. — О, да ты не одна!

— Знакомьтесь, Танся Львовна, это мой будущий муж. — Аня поднялась и взяла у нее из рук чайник. — Я вам о нем рассказывала.

Женщина подошла ближе, и прежде чем подать Шумакову руку, подслеповато наклонилась к его плечу, посмотрела на погоны.

— О, да вы в чинах! — Она пожала ему руку. — Я знаю Аню с детства. Мы ленинградцы. Жаль, дочки нет, — продолжала она. — Надо бы ей поглядеть на будущего Аниного мужа. Они закадычные подруги с пятого класса. Да как только услышала, что кончилась бло-

када, бросилась домой.— И вдруг грустно добавила:— А остался ли там кто-нибудь живой?

Они немного посидели за столом, поговорили о Ленинграде. Когда допили чай, Шумаков поднялся.

— Я должен идти. Завтра у меня трудный день, а надо еще посмотреть кипу бумаг.

— Может, останетесь? — предложила женщина. — Места хватит. Квартира чужая, но просторная. Владельцы эвакуировались в Ташкент, так что мы хозяева.

Однако остаться Шумаков не мог: портфель с бумагами был в гостинице.

В темном коридоре он снова обнял Аню. С минуту они постояли молча, прижавшись друг к другу. Потом условились, что встретятся утром в девять возле санитарного управления. Шумаков шел по безлюдной площади Дзержинского и с волнением думал о том, как просто она сказала: «Мой будущий муж».

14

Приятно было идти по улице, держать маленькую Анину руку в своей и прислушиваться к вкрадчивому поскрипыванию утоптанного снега. Шумаков ловил на себе взгляды прохожих, которых, верно, удивляло, что двое военных идут, держась за руки, как школьники. Но его это радовало, и он крепче сжимал Анину руку, а она всякий раз отвечала ему коротким влюбленным пожатием.

— Куда мы сейчас?

— Положено переодеться в новую форму,— вдруг заволновался Шумаков,— а то, чего доброго, на патруль наскочишь,— пояснил он и тихо рассмеялся.— В двенадцать должны привезти.

— Тогда пойдем в гостиницу, подождем.

Этого он не ожидал. Хотел сам предложить, но не решался после того, как Аня еще в самолете решительно отказалась жить с ним в одном номере.

Идти пришлось далеко: свернули в переулок и с километр шли напрямик. Этот переулок Шумаков помнил с тех пор, как учился в тридцать четвертом на командирских курсах. Тогда он недели две жил в этой же военной гостинице, только не в отдельном номере, а с тремя другими курсантами, с ними же по вечерам ходил в кино на Первую Мещанскую. Боже, как давно это было! Он не помнил даже фамилий тех троих. Это тоже было зимой, снег в переулке чистили редко, идти приходилось гуськом, прижимаясь к стенам одноэтажных домиков, возле которых вилась ржавая дорожка. Теперь вдоль тротуаров тоже высились снежные сугробы, да и дорожка была узкая, но Аня и Шумаков шли рядом, тесно прижавшись друг к другу.

— Аня, я говорил тебе? — с нарочитой серьезностью спросил Шумаков после довольно долгого молчания.

— Что? — Она вскинула на него сияющие глаза.

- Что я тебя люблю?
- Вы повторяетесь, Иван Семенович.
- Я просил не говорить мне «вы».
- Ну, ты, ты!
- Правда, Аня, это уже серьезно.
- Ох, какой же ты глупенький!
- Вот теперь хорошо! — Шумаков крепче обнял ее и поцеловал в щеку.

— Вот это да! У самой военной комендатуры,— прозвучал сзади укоризненный женский голос, но трудно было понять — осуждение это или шутка.

Они не оглянулись и побежали, словно их и впрямь застали на месте преступления. Когда добежали до угла и оглянулись, позади никого не было,— видно, та женщина вошла в подъезд. Только теперь они громко расхохотались.

Это было похоже на детскую игру — радостное чувство счастливой окрыленности само рождало ребячливую беззаботность, игривую непосредственность двух влюбленных, для которых не существовало ничего вокруг. Так они шли — то медленно, степенно, то почти бегом, громко смеялись и тут же переходили на таинственный шепот.

Вдруг оба задумались и надолго замолчали.

— Я хочу, чтобы так было вечно,— тихо прошептала Аня. — Улица в снегу, и мы идем вдвоем...

— Вечного ничего нет,— улыбнулся Шумаков. — Только не знаю — к сожалению или к счастью.

— Почему нет? А жизнь?

— А что — жизнь?

— Разве ты не знаешь, что одноклеточные практически своей смертью не умирают? — удивилась Аня. — Так, может, бессмертными могут быть и люди, которые состоят из клеток? — Она засмеялась.

— А зачем? — спросил Шумаков. Он не знал того, что услышал, и это его заинтересовало. — Разве не лучше сделать свое дело и своевременно уйти? Оставить по себе память, которая всегда светлее и романтичнее тебя самого... Зачем задерживаться, если уже совершил свое?

— Боже, какой ты рассудительный! — Аня с наигранным испугом всплеснула руками.

— Ты можешь меня разлюбить за это?

— О нет! — успокоила она. — Ведь я буду рядом. Журавль в небе и синица в руках — какое прекрасное сочетание, не правда ли?

Шумаков рассмеялся и не ответил, только обнял ее за плечи и привлек к себе.

Гостиница выросла перед ними неожиданно. Шумаков выпустил Анину руку, и оба степенно вошли в вестибюль. Серьезно, почти строго Шумаков спросил у администратора, не вернулся ли его адъютант, хотя понимал, что еще слишком рано. Взял ключ и со сдержанной учтивостью пропустил свою спутницу вперед к лестнице.

Закрыв дверь, Аня лукаво улыбнулась, но лицо Шумакова оставалось сосредоточенным. Исчезла юношеская беззаботность, глаза погасли и смотрели озабоченно, почти мрачно. Аня заметила, что он не ответил на ее улыбку, но не спросила, что с ним. Сняла шинель, повесила в передней и вошла в комнату.

Именно здесь, отгороженный от посторонних глаз толстыми стенами и дубовыми дверями, Шумаков растерялся. Он понимал — идти в гостиницу Аня предложила сама, он не настаивал на этом, уважая причины, которые заставили ее вчера отказаться. И все же он не знал, как вести себя, — вдруг опять скажет что-нибудь невпопад. Хотелось быть самим собою, быть таким, каким он только и мог быть, а приходилось следить за каждым жестом, за каждым словом, и это его беспокоило и раздражало.

Аня удобно устроилась в стареньком кресле, с минуту посидела молча, зябко сложив руки на груди.

— Какие у тебя на сегодня планы? — спросила она.

Он как раз заглядывал в шкаф, словно искал что-то, а на самом деле просто старался придумать себе дело.

— Планы? — Он прикрыл дверцу шкафа и остановился у стола. — Думал до двенадцати управиться с твоими делами, потому что в два мне надо быть в штабе Сухопутных войск.

— А вечером?

— Вечером? А что бы ты хотела?

— Может, куда-нибудь пойдём? Конечно, если ты будешь свободен.

Предложение было неожиданное — о вечерних развлечениях в Москве Шумаков не думал. Да и не знал, есть ли какие-нибудь развлечения в затемненной, ограниченной комендантским часом столице.

— В вестибюле есть театральная касса, — вдруг вспомнил он. — Если хочешь, я узнаю. — Предложил и обрадовался: есть дело и не надо думать, как себя вести.

— А тебе хочется развлечься? — Она задорно улыбнулась.

— А почему бы и нет? Пока вечер свободен...

— Что ж, узнай.

— Я скоро вернусь, — оживился Шумаков и вышел.

Аня прошла по комнате и присела к письменному столу. Увидела телефон, вспомнила о Ксене. Она знала, что «редакционный майор», как успел окрестить его в самолете Шумаков, увез ее из аэропорта в гостиницу «Москва». Пока Аня звонила в справочную, а потом администратору «Москвы», вернулся Шумаков.

— Вот, пожалуйста. — Он торжественно положил перед ней два билета на вечерний спектакль. — Начало в половине седьмого, до комендантского часа можно успеть вернуться.

— Прекрасно! — обрадовалась Аня и громко прочитала на билете: — «Учитель танцев». Театр Красной Армии». — Она держала трубку в руке, и оттуда долетал приглушенный шорох мембраны.

— Танцы во время войны... Не странно ли? — пожал плечами Шумаков.

— Милый мой, если можно во время войны любить, почему же нельзя танцевать? — спросила Аня и положила трубку. Поднялась, обняла Шумакова и нежно поцеловала в щеку.

— Куда ты звонила? — спросил он, когда она снова устроилась в кресле, подобрав под себя ноги в хромовых сапожках.

— Хочу найти женщину, которая с нами прилетела. Очень славная. Да и надо узнать, все ли у нее в порядке.

— Помню. Кто она такая?

Аня рассказала о Ксене все, что знала. Шумаков внимательно слушал, но не столько прислушивался к рассказу, сколько глядел на Аню — на ее напряженное, сосредоточенное лицо с прямым тонким носом, над которым так мило сходились брови. Он наслаждался ее непосредственностью и, увлеченный, даже не расслышал какой-то обращенный к нему вопрос. Аня удивилась:

— Ты не слушаешь?

— Я смотрю.

— Не слишком вежливо, — хмыкнула она. — Тогда я буду молчать, а ты — смотри.

— Нет, мне нравится, когда ты говоришь.

— Все равно о чем?

— А если даже так?

— Безобразие! — Она с напускной строгостью выпатила губку. — Неужели тебя не интересует судьба человека, который...

— Меня интересуешь ты.

— Ты эгоист! — Она поднялась, но нога затекла, и Аня комично заковыляла к телефону и стала молча набирать номер Ксении.

Телефон не отвечал, и это ее обеспокоило.

— Неужели уехала? Обидно.

Когда в дверь постучали, Шумаков улыбнулся, представляя, как удивятся Приходько и лейтенант Сердюк, увидав у него в номере Аню. Ведь не подумают, что заболел!

Вошел лейтенант, а следом с огромным пакетом — Приходько.

— Что, получили? Молодцы, — сразу и спросил и похвалил их Шумаков, опережая официальный доклад адъютанта.

Ординарец положил пакет на стол и только после этого увидел Аню. Оторопело посмотрел на нее и растерянно спросил Шумакова:

— А как же вы переоденетесь?

— Я выйду, — рассмеялась Аня.

— Нет, нет. — Шумаков остановился у двери. — Давай в красный уголок, там в это время наверняка никого нет.

Лейтенант Сердюк, смущенный, топтался у двери. Его полудетское лицо, обычно бледное, теперь даже порозовело. Он понимал, что капитан медицинской службы Хохол находится в комнате Шумакова не для того, чтобы лечить генерала, и не знал, как себя вести.

— Я вижу, вы старательно опекаете своего генерала, — съязвила Аня.

— Опекать может старший младшего,— заметил лейтенант смного обиженно.— К тому же генерал не женат — кому ж о нем позаботиться, как не его ординарцу? А Приходько с ним на фронте с первого дня войны.

Аню рассмешила наивная нотация обиженного юнца, и в ней прозвучал игривый бесенок.

— А вы женаты?

Лейтенант что-то пробормотал в ответ, как видно не желая быть откровенным. С минуту Аня молча смотрела на него, не то ожидая ответа, не то любуясь его растерянностью, потом равнодушно поднялась и пошла к телефону. Набрала номер и долго слушала длинные гудки: Ксения не отвечала.

Положив трубку, Аня оглянулась и увидела Шумакова. В новом кителе, в бриджах с красными лампасами, он выглядел необычно и несколько отчужденно. Она улыбнулась, собираясь высказаться по этому поводу, но Шумаков деловито прошел на середину комнаты и, как видно стараясь избежать замечаний, приказал лейтенанту:

— От телефона ни на шаг. До четырех я в Генштабе.— И так же строго обратился к Ане: — Пошли, товарищ капитан.

15

В троллейбусе было почти пусто, и они уселись впереди, у самой кабины водителя. Когда выехали на Садовую, Шумаков наклонился к Ане и сказал:

— Обидно, но я не смогу сегодня пойти в театр. Только что позвонил из красного уголка — в шесть вызывает новый командарм, так что...— В голосе еще звучала недавняя отчужденность, но слышалось искреннее огорчение.

Она только взглянула на него и ничего не ответила.

— Где я найду тебя после театра? — спросил он мягче.

— Буду дома. Или у нашей попутчицы из Калитвы, если дозволюсь. Запиши на всякий случай ее телефон.

Шумаков записал.

— Сейчас заедем в санитарное управление, а потом я должен мчаться в Генштаб.

— Тебе очень хочется?

— Что?

— Ехать в сануправление?

Он удивленно посмотрел на нее, не зная, как ответить. Ехать туда ему действительно не хотелось, и его поразила Анина пронизательность.

— Может, в самом деле не стоит?...— Казалось, Аня сама еще ничего твердо не решила.— Если хочешь... Я имею в виду — если ты еще не передумал...— Она улыбнулась и вопросительно посмотрела

ему в глаза. — Я поеду с тобой и так. — И добавила: — Повторяю, если ты еще...

Шумаков успел снять перчатку, приложить руку к ее губам и не дал закончить.

— Что за глупости! Зачем ты так говоришь!

Она крепче прижала его руку к губам и поцеловала.

— Спасибо тебе, Аня.

— За то, что освободила от лишних хлопот?

— Нет. За то, что ты меня любишь.

Это было сказано серьезно, за словами чувствовалось искреннее волнение, и Аня сжала его руку тоже с благодарностью.

У Кузнецкого моста на остановке она заметила телефон-автомат и решила выйти из троллейбуса. Отсюда и до дому близко и гостиница «Москва» рядом: если Ксения ответит, можно будет зайти к ней.

Шумаков оглянулся и увидел, как Аня скрылась в толпе возле телефонной будки. Потом уселся поудобнее и задумался. Шел первый час, предстояло уладить несколько важных дел, возможно, придется спорить или доказывать, но он не мог заставить себя думать об этом. Отвлекала не столько сама Аня — маленькая, хрупкая женщина, так властно вошедшая в его судьбу, — сколько нечто более значительное — то новое и необычайное, что заполнило и в корне меняло его жизнь.

Это удивляло и даже беспокоило: во время войны он не думал ни о чем, кроме самой войны и того, что так или иначе с ней связано. А сейчас не мог. И тревожное чувство скованности, внезапной зависимости, неотвратимости происходящего и полнейшей невозможности уклониться, избежать одновременно и беспокоило, и радовало, и наполняло сердце давно уже не испытанным счастьем. Такого с ним еще не бывало. И быть может, именно поэтому возникало чувство особой ответственности перед Аней и самим собой.

Он уже успел понять ее, хотя еще многого не знал о ее прошлом. Впрочем, не докапывался, не расспрашивал, слушал только то, что рассказывала сама. Ему нравилось, что не допытывалась и она, да и так ли уж важно для двух сорокалетних людей знать, что было у них в прошлом? Да, было, ничего не поделаешь, никто не виновен в том, что судьба так поздно свела их, — это ни в коей мере не означает, что человек до этого не должен был жить. Жизнь ни у кого не спрашивает разумных советов, она сама навязывает свои решения, и они всегда к лучшему. Шумакова не волновало, что Аня просила не спешить, что ее сдерживает память о покойном муже. Наоборот, это говорило о ее духовной чистоте, душевной целомудренности. Она должна была отдать последний долг своему прошлому, и это вызывало уважение, убеждало, что и к будущему она отнесется столь же ответственно.

В Генштабе Шумакова принял тот же генерал армии, который накануне проводил совещание. Коротко подстриженные волосы, седина, отсвечивающая желтизной, морщинистое лицо оказалось мягким

и доброжелательным и не вполне соответствовало деловой точности его лаконичных фраз.

— Мне доложили о ваших претензиях. Сейчас их удовлетворить невозможно.

— Простите, товарищ генерал армии, но корпус без собственных специальных частей в условиях наступления...— попробовал возразить Шумаков.— Ведь предстоит уничтожить вражеские укрепления и форсировать водные рубежи.

— Вы еще не знаете, что предстоит.

— Разрешите доложить, товарищ генерал армии, география возможных направлений нам задана наперед, и вся она пересечена и перерезана водными рубежами. Это также касается и укреплений: безусловно, они есть повсюду.

— В случае нужды штаб армии обеспечит вас всем необходимым.

— Но ведь в условиях маневренной войны обстоятельства зачастую заставляют действовать и самостоятельно,— еще возражал Шумаков, уже понимая, что все напрасно.

— Возможно, хоть и нежелательно! — улыбнулся генерал армии.

— И все же возможно: у корпуса должна быть своя артиллерия для прорыва и собственные средства для переправ!

— Сейчас не могу.

Генерал армии сидел, но Шумакову было ясно, что аудиенция окончена. Он встал, собираясь прощаться. В ту же минуту поднялся и генерал армии. Он вышел из-за стола и подошел к Шумакову.

— «География возможных направлений» — это вы любопытно сформулировали. Может, не совсем точно, но по-своему. И вообще, стоя по эту сторону стола, должен признать, что и в своих требованиях вы, пожалуй, тоже правы. По-настоящему боеспособный корпус должен быть не только полнокровен, но и оснащен всеми видами оружия — готов как самостоятельная тактическая единица к самостоятельным действиям. Но это я говорю, стоя по эту сторону стола. А по ту сторону — нет, там другое дело. Там мною руководит не то, чего я хочу, а то, что я должен.

— Но ведь, товарищ генерал армии, разве то, что мы должны...

— Нет, друг мой, нет! Наши обязанности ни в коей мере не расходятся с нашими желаниями! — воскликнул генерал армии со страстью, которая казалась неожиданной для такого уравновешенного человека.— Но кроме обязанностей и желаний существуют еще возможности, которые тоже надо учитывать, чтобы выполнить и то, что должен, и то, чего хочешь.

— Понимаю,— тихо проговорил Шумаков.

— Это хорошо,— генерал армии улыбнулся.— Вот и приходится иногда выходить из-за стола, чтоб посетитель не считал тебя профаном в военном деле! — пошутил он.— Как говорится, для полноты картины.— Он пожал руку Шумакову и не сразу выпустил ее из своей.— Видите ли, мой друг, я несколько более информирован, чем вы. А от Днестра до Эльбы еще очень далеко,— сказал он так, будто делился

частью своей информации, в которую Шумаков не был посвящен.— По-хозяйски надо воевать, по-хозяйски...— Только теперь он выпустил руку Шумакова и быстро пошел к столу.— Ну что ж, можете быть свободны.

Шумаков вытянулся, козырнул и, четко повернувшись через левое плечо, пошел к массивной дубовой двери. Но, уже взявшись за ручку, на миг задержался и снова повернулся к столу.

— Товарищ генерал армии, разрешите обратиться по личному делу.

— Пожалуйста.— И генерал оторвался от бумаг, в чтение которых успел уже погрузиться. Теперь его голос снова звучал сухо — даже, казалось, нетерпеливо, будто и впрямь по ту сторону стола сидел другой человек, совсем не тот, с которым Шумаков только что разговаривал.

Шумакова сбила с толку эта внезапная сухость, он пожалел, что обратился к генералу армии с тем, что мог решить и значительно низший по рангу. Но отступить было поздно.

— Я прошу разрешения съездить к родителям.

— А где они живут?

— Под Смоленском.

— Гм... родители.— Генерал армии оперся обеими руками на стол и задумался.— Давно не виделись? — Голос его прозвучал хрипло и приглушенно.

— Три года.

Генерал армии помолчал.

— Доложите своему командиру, — голос его снова окреп, — сегодня пятница... в понедельник в девять ноль-ноль быть в Москве.

— Спасибо, товарищ генерал армии!

— Транспорт есть?

— Не беспокойтесь, товарищ генерал армии, достану.

— Зачем же доставать? — Голос генерала звучал ласково.— Передайте в приемной мое распоряжение дать машину. Идите.

Шумаков еще раз четко козырнул и повернулся. Пока открывал дверь, решил: не возьму с собой ни Приходько, ни Сердюка. На расвете еду за Аней и — в Смоленск. Родители должны познакомиться со снохой. После всего пережитого во время оккупации это будет для них радостью.

Он на минуту остановился по ту сторону двери, словно хотел отдышаться после хорошей головомойки. Волнение быстро улеглось. И только шагнул к столу, чтоб передать распоряжение генерала о машине, как прозвучал звонок — дежурного офицера вызывали в кабинет генерала армии.

Пришлось подождать. Шумаков подошел к окну и посмотрел на занесенный снегом бульвар. Со снежной горы на санках спускалась детвора, бабушки стояли в стороне и что-то кричали своим воспитанникам. Что скрывалось за этим: «Гм... родители...», произнесенным не то с упреком, не то с тоской? А впрочем, что могут означать эти сло-

ва в устах пожилого человека, у которого наверняка свои дети где-то воюют и так же, как Шумаков, редко вспоминают о том, что родители их ждут? Он смотрел в окно и больше не жалел, что с этой неожиданной просьбой обратился именно к генералу армии.

Отошел в угол, опустился на краешек дубового стула и замер в ожидании.

16

Ксения проснулась в маленьком номере гостиницы «Москва» и сонья не сразу поняла, где она. С минуту тупо смотрела в потолок, потом испуганно вскочила, чуть не разбудив Оленку, которая тихонько спала у стены. Посидела немного, уже понимая, что она в гостинице, и подошла к широкому окну.

По тротуару напротив спешили люди. Тепло одетые. Воротники подняты. Значит, холодно. Холоднее, чем в Калитве. Ксения подумала о стареньком Оленкином пальтишке.

Ей было интересно глядеть на огромный дом напротив — таких она давно не видела. Широкие, как и в гостинице, окна, но за ними никого не видно, — должно быть, какое-то учреждение.

Ксения уже однажды побывала в Москве с отцом, который приезжал на съезд лингвистов, или, как они тогда называли, «на всесоюзную жвачку». Когда она в детстве интересовалась, что делают лингвисты, Кузьма Иванович шутя говорил, что они «жуют слова». Тогда Москва напугала ее своими размерами, движением на улицах, суетой.

Теперь город казался притихшим и суровым — по улице за окном проезжали редкие машины, пробегали, куда-то спеша, люди. На мостовой у самого тротуара тянулся длинный снежный вал. Снег был свежий, незапыленный, — верно, сгребли его совсем недавно.

Ксения медленно отошла от окна и снова опустилась на кровать. И вдруг словно что-то толкнуло ее изнутри, и в мозгу запульсировало: боже, зачем я в Москве? Что мне тут делать? Мне же надо в Киев!

Она поспешно стала одеваться, как будто боялась опоздать на вокзал. Когда натягивала на себя платье, что-то треснуло. Ксения ужаснулась: последнее платье, разорвется, что тогда? Даже иголки нет, чтобы зашить...

Ксения надевала туфли, когда раздался пронзительный звонок. Ее даже в пот бросило от неожиданности. Оказывается, на столе стоит телефон, которого она вчера, войдя в номер, не заметила.

Ксения схватила трубку.

— Слушаю.

— Немедленно спуститесь к администратору, — произнес сердитый женский голос.

Оленка зашевелилась на кровати — не то от пронзительного звонка, не то от Ксениного «слушаю». Вскочила, приподнялась, прибор-

мотала что-то неразборчивое, глядя в пространство бессмысленными глазенками, но тут же снова упала на подушку личиком к стене и заснула.

Ксения растерялась. Идти к администратору и бросить ребенка одного? Еще проснется, расплачется, перепугается насмерть...

Но надо было идти. Склонилась над девочкой, прислушалась: спит крепко. Тихонько накинула пальто и на цыпочках, словно крадучись, вышла в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь.

У окошка администратора извивалась огромная очередь. Ксения встала в нее, но очередь не двигалась. Посмотрев на строгую женщину, которая сидела за стеклянной перегородкой и ничего не делала, Ксения поняла, что люди в очереди просто ждут номеров. Тогда она решилась и подошла к окошку.

— Ваш паспорт не действителен,— сказала строгая женщина, и Ксения узнала тот самый голос, который нетерпеливо звучал в телефоне.— Прописка кончилась два с половиной года назад. Придется освободить комнату.

Ксения рассердилась. Конечно, прописка кончилась. А где ее можно было продлить— в немецкой комендатуре в Калитве или в лесу, у Сиволапа? Но сдержалась и медленно проговорила:

— У меня девочка, она спит.

— Придется разбудить.

Ксения почти вырвала паспорт из рук администраторши. Когда она уже отошла, позади раздался мужской голос:

— Гражданка!

Ксения невольно обернулась и поняла, что зовут ее. Издали она увидела, что к строгой женщине наклонился какой-то лысый мужчина и что-то говорит ей на ухо. Потом он вышел из-за перегородки и подошел к Ксене.

— Принесите справку из редакции. Этот номер бронирован за «Известиями». Или, еще лучше, не справку, а письмо.

— А где находится редакция?

— Вы не знаете? — Лысый вдруг с недоверием посмотрел на нее, но все же объяснил: — Пушкинская площадь, пять.

— Спасибо.— Ксения пошла к лифту.

Пока она добралась до своей комнаты, решила, что, может, это и к лучшему. Сидеть в гостинице и ждать, пока придет майор,— только зря терять время. Лучше пойти самой и непременно сегодня же выехать.

Оленка еще спала, пришлось ее разбудить. Она открыла глаза, подскочила на кровати и прижалась к Ксене.

— Ну будет, маленькая, давай одеваться,— спохватилась Ксения и неохотно отстранила Оленку.— Съешь яичко, и пойдем.

— Куда? — спросила девочка. Ее бледное личико порозовело, голубые глазенки смотрели доверчиво и нежно.

— К дяде, который с нами летел.

Обе поели на скорую руку. Мать Голубничего дала им в дорогу каравай, кусок сала и десяток вареных яиц. Укладывая все это в узе-

лок, старуха приговаривала: «Оставь ребенка, чужая она. Повиснет гирей на шее. Зачем она тебе?» Вспомнив старуху, Ксения вздохнула. Нет, не чужая. Частица собственного сердца, собственной жизни. Такое не бывает чужим — это часть тебя самой.

На дворе сверкал снег, но воздух был такой холодный, что сразу стало нечем дышать. Солнце уже плыло над домами, и небо синело высоко, безоблачное и потому неподвижное, словно промерзло на всю глубину.

Ксения спросила у первого встречного, куда идти. Взяла Оленку на руки и перебежала широкую улицу, больше похожую на площадь. Дальше улица сужалась и поднималась в гору, и Оленка зашагала сама, крепко уцепившись за Ксенину руку.

На самом верху улицу пересекал длинный сквер, а слева стоял знакомый по книжкам памятник Пушкину. Ксения поняла, что это и есть Пушкинская площадь. Она снова перенесла Оленку через улицу и подошла к постаменту. На кудрявой голове поэта высилась снежная папаха, это ему не шло, искажался привычный облик.

Ксения невольно отвернулась и сразу увидела толпу перед щитом, на котором была приклеена газета. Задние заглядывали через головы передних, читали молча и сосредоточенно, и все новые и новые прохожие останавливались и тоже заглядывали в газету.

В это время какой-то военный отошел от щита, и Ксения протиснулась на его место. Отсюда тоже мало что было видно, прочесть она ничего не могла, но между головами людей виднелся кусок внутренней полосы, почти целиком занятый довольно большим снимком. И только Ксения взглянула — сердце у нее заколотилось, кровь ударила в голову. Она еще ничего толком не разобрала: видела лишь троих в немецких мундирах и четвертого — в советском, но какое-то тревожное чувство толкнуло ее вперед.

— Пропустите... Пропустите... — почти кричала она, и голос ее звучал так взволнованно и тревожно, что люди расступились.

На снимке за столом сидел пожилой немецкий генерал, к нему склонился еще какой-то немец, а чуть поодаль советский офицер пожимал руку Курту Шольцу... Да, это был Шольц!

— Что это значит? — вскрикнула Ксения, обращаясь к военному, который, стоя рядом, читал газету. Тот взглянул на нее, удивленный прозвучавшим в ее голосе возмущением и испугом.

— Что это?

Военный посмотрел на снимок и прочитал: «Комитет немецких пленных «Свободная Германия».

— Это палач! Палач! — Ксения ткнула пальцем в лицо Шольца. — Он выдал нас немецкой комендатуре...

— Вы его знаете? — насторожился военный.

— Из-за него расстреляли... — Она не договорила, слезы душили ее.

Люди перестали читать и окружили Ксению. Все тихо переговаривались, одни советовали обратиться к милиционеру, другие — «куда

следует». Оленка прижалась к Ксениным коленям и тихонько всхлипывала.

— Хорошо,— словно убедил самого себя военный.— Пошли.— Он легонько взял Ксению под руку и повел.

17.

Шольца не пришлось долго разыскивать: он первый увидел Ксению и сразу ее узнал.

— Фрау Ксения! — всплеснул он руками.— О, как я рад!

Она поднималась по лестнице дома, где разместился комитет «Свободная Германия», а Шольц бежал вниз. Услышав знакомый голос, Ксения остановилась. Шольц стоял и радостно улыбался, все еще сжимая ладони, как на молитве. На нем был знакомый китель, только лучше отутюженный, чем в Калитве, начищенные сапоги сияли и как будто тоже улыбались.

— Как мило, фрау Ксения, что вы меня нашол!

— Вы рады? — строго спросила Ксения.

— Ну как же, фрау Ксения. И вы, и Оленка, и все мы живы!

Девочка бросилась к немцу. Он подхватил ее на руки, поцеловал. Оленка радостно заверещала и, обернувшись к Ксении, воскликнула: «Дядя Курт!», словно сомневалась в том, что Ксения узнала его. Военный, который привел их, стоял в стороне и наблюдал.

Однако Шольца обеспокоила Ксенина строгость, хотя он истолковал ее по-своему.

— Я вас понимал, фрау Ксения. Но я не мог помогать. Я есть рядовой солдат и не мог спасти Федора. Я умел спасти Оленку и счастливый, что спасал хоть ее.

Ксения стояла и смотрела на него широко раскрытыми глазами. В голосе Шольца звучала искренняя горечь, похоже было, что он говорит искренне. Но она и теперь не верила и с тем же суровым вызовом спросила:

— Вы спасали? А кто ж в таком случае виноват... Кто выдал меня?

— Неужель вы думали, что я? — ужаснулся немец.— Неужели вы допускали...— Шольц опустил девочку на ступеньки и приблизился к Ксении.— Неужели вы не знали, кто виноват?!

Ксения схватилась за голову и замерла. Все, в чем тогда в лесу убеждал ее Сиволап, все, что она сама слышала, сидя у его палатки, встало перед ней, и казалось, она снова слышала голос и слова старика Непорожного. Шольц говорил еще что-то, она видела его быстро шевелившиеся губы, но слышала только приглушенный голос Непорожного, только жестокие и беспощадные вопросы Микиты Харитоновича и отчаянные признания старика. Ноги у нее подкашивались, Ксения уцепилась за перила, держась из последних сил и чувствуя, что вот-вот упадет.

И вздрогнула, неожиданно услышав вопрос военного:

— Думаю, я больше не нужен вам? Вот мой телефон, если что, позвоните.— Он размашисто написал свою фамилию и номер телефона в блокноте, вырвал листочек и протянул ей.

Лишь теперь она опомнилась. Но не поблагодарила, а только кивнула. Военный привычно козырнул и стал спускаться по лестнице.

— Значит, считаль, что это я...— упавшим голосом подытожил Шольц. И вдруг закричал— страстно и умоляюще:— Да неужели я похож на убийцу? Неужели вы меня мало знали?

Нет, она так не думала. Особенно раньше, когда он жил у Федора, в маленькой комнатке. Ей и потом, после всего, что случилось, трудно было в это поверить, но и в то, что виноват старик, тоже не верилось.

— Где у вас можно присесть?— тихо спросила Ксения и протянула руку Шольцу.

— Пошли, пошли,— заторопился он. Одной рукой взял ее под руку, а другой подхватил Оленку и повел их наверх.

Ксения сразу узнала седого человека, которого полчаса назад видела на газетной фотографии. Когда они вошли, он приподнялся из-за стола, и в ту же минуту Шольц затарахтел по-немецки, объясняя, кого он привел. Сосредоточенное лицо седого смягчилось.

— Герр Шольц рассказывал мне историю с вашим ребенком,— по-немецки обратился он к Ксении и протянул ей руку через небольшой дубовый стол.

Ксения протянула свою, но рука ее была как неживая, и пожатия почти не получилось. Седой снова нахмурился. Ксения смотрела на него, пораженная собственной терпимостью, тем, что подает руку, позволяет пожимать свою... «Куда привел меня этот военный,— лихо-радочно думала она,— зачем я осталась тут? Как Шольц попал в Москву и почему они так свободно чувствуют себя здесь?» Седой опустил в кресло, указал ей на другое, предложил кофе и, когда она молча отказалась, стал уверять, что это никому не причинит хлопот— буфет на третьем этаже, Шольц сбегает, принесет. Глаза ее гневно блеснули, и седой, удивленно взглянув на нее, больше не настаивал.

— Но конфетку малышке... Это наша с ней традиция...— улыбнулся Шольц и, подмигнув Оленке, убежал.

Седой заинтересовался, не из Москвы ли она родом, а когда она снова молча покачала головой, спросил, долго ли она здесь задержится. Ксения что-то отвечала, но сама не понимала что. «Конфеты— это традиция,— думала она.— Конфеты— это традиция». И отчетливо увидела те конфеты, завернутые в желтые и розовые бумажки, которые Шольц тайком приносил малышке из комендатуры. Это верно, конфеты действительно были... Да, да, конфеты были— правда. И выстрел, которого она так боялась, когда Тымиша Непорожного увели в чашу, и выстрел— тоже правда, хотя она и не слышала его. А этот седой человек в немецком мундире, спрашивала она себя, тоже правда? А может, это просто померещилось— Шольц, и этот седой че-

ловец, и то, что они оба в Москве? Ксения прижала руку к виску — то ли хотела проверить, нет ли у нее температуры, то ли вообще убедиться, что она жива.

— Вам нехорошо? — спросил седой.

— Нет, нет, — быстро возразила она, но смущенно улыбнулась, как бы извиняясь. — Мне надо идти.

— Вы очень спешите?

— Я хочу сегодня уехать в Киев.

— Ах так! — понимающе протянул он. — Еще несколько минут, Шольц сейчас прибежит.

Она обрадовалась, что не пришлось ждать и этих нескольких минут, потому что Шольц уже входил в кабинет с небольшим пакетиком в руке. Ее угнетала беседа с этим седым немцем, которую она не в силах была поддерживать.

Шольц торжественно протянул Оленке конфеты и провозгласил:

— Вот наша традиция... Конфеты ей я приносил всегда. Правда, Оленка?

Девочка улыбнулась, и Шольц стал рассказывать седому, как таился, чтоб другие солдаты не узнали об этом.

— Подрыв экономики вермахта — это тоже было политической борьбой! — пошутил седой и впервые по-настоящему рассмеялся.

Ксения с трудом уклонилась от настояний Шольца проводить ее. Она заставила себя вежливо распрощаться с обоими. Шольц поцеловал Оленку, и девочка прижалась к нему, как к давнему знакомому. Ксении нелегко было оторвать ее от немца. Наконец она взяла ребенка за руку и повела.

На улице она почувствовала себя совсем опустошенной. Медленно побрела направо, не задумываясь, куда идет. К горлу подступала тошнота, хотелось прислониться к стене и ни о чем не думать.

Оленка все время стрекотала, возбужденная и веселая после встречи с Шольцем. Во рту у нее таяла конфета, и то, о чем она щебетала озябшими на ветру губами, было трудно разобрать. Да Ксения и не прислушивалась. Видела только, что девочка счастлива, и это было еще одним доказательством, что Шольц говорит правду. Впрочем, она и сама уже больше не сомневалась в этом. И все же в ней нарастал хоть и молчаливый, но страстный отпор, бессильное, но упрямое нежелание мириться с этой очевидностью. Да, она верила теперь, что Федора выдал не Шольц. И хоть не признавалась в этом даже самой себе, но не могла простить ему этого, потому что тогда приходилось согласиться, что Федора выдал родной отец. Знала — нелепость, предубеждение, а глухой ненависти преодолеть не могла...

Боже, думала она, конечно же так нельзя: люди есть люди. Был же в Калитве Митько Дрозд, так почему в Гамбурге не мог появиться такой, как Шольц?

Только на углу она вспомнила, что должна зайти в редакцию. Верно, майор уже побывал в гостинице и удивляется, что ее нет с самого утра. Это ее на миг обеспокоило, но тотчас же ей стало безразлично: выехать из Москвы все равно не удастся, все равно она не

успеет получить обещанные деньги, а потом достать билет на поезд. Да и сил уже нет. К тому же она не знала, когда уходит поезд, он мог давно уже уйти...

Ксения решила отложить отъезд на завтра. Но, посмотрев на городские часы, всполошилась: прошло три часа, как она ушла из гостиницы, — администратор, пожалуй, уже и комнату ее отдал другим...

Она снова спросила у прохожих, как попасть на Пушкинскую площадь.

Оказалось, что надо пересечь улицу и пройти переулком налево. Ксения подняла Оленку, собираясь перенести ее через улицу, и услышала позади быстрые шаги: Шольц!

Он запыхался, догоняя ее.

— Простите, — сказал он по-немецки, — я не могу, чтоб вы так ушли... Понимаю ваше состояние и ваши чувства, но не могу... — Он волновался и даже на родном языке не мог подобрать нужные слова, а Ксения молчала, рассеянно глядя на него и все еще держа Оленку на руках.

— Разрешите мне хоть немного проводить вас. — Он протянул руки, и девочка бросилась к нему.

Ксения ничего не сказала, но девочку отдала. Они перешли улицу и молча свернули в переулок.

Шольц решился заговорить, только когда девочка захотела идти ножками и он опустил ее на тротуар.

— Вы хорошо знаете Москву? — спросил он.

— Нет. Я — киевлянка.

— Вот как? — Шольц поглядел на нее удивленно. Он хотел спросить, как и давно ли она попала в Калиуву, но не спросил.

Ксения тоже взглянула на него — теперь уже с лукавой усмешкой. Он, конечно, не догадывался, что Федор не был ее мужем и что Оленка не ее дочь. И она с радостью отметила, что хотя немец и долго пробыл с ними под одной крышей, а ничего не понял. Только теперь она разглядела, что на нем не немецкая, а советская шинель — совсем новая, из-под которой только выглядывал воротник немецкого кителя.

— Там, — сказала она, имея в виду дом, из которого только что вышла, — вы, кажется, были в другой форме...

— Ничего не поделаешь, — горько улыбнулся Шольц. И, нахмурившись, добавил: — Мы сумели так опозорить себя, что долго еще будем стыдиться своих мундиров.

Ксения молча взглянула на него. Они вышли из переулка и оказались почти напротив здания редакции. Миновали сквер, и Ксения сказала:

— Ну, я пришла.

— Вы здесь остановились?

— Нет, у меня здесь дела.

— Может быть, разрешите подождать вас?

— Боюсь, что я задержусь...

— Ничего. Если не возражаете, я побуду с Оленкой.

Ксения сама не понимала, как разрешила ему это. Но отказать почему-то не смогла. Вошла в вестибюль редакции и, поднимаясь по лестнице, все время чуть слышно повторяла:

— Боже, что же это такое?

18

Этот вопрос не покидал Ксению ни на минуту, волновал и тревожил. «Как же так случилось,— в отчаянии думала она,— что я хожу по Москве рядом с немцем, терпеливо слушаю его рассказы о душевных переживаниях, сомнениях и огорчениях?» Там, в Калитве, это казалось ей естественным — немец, белая ворона, вел себя не так, как все... В море звериной ненависти островок человечности... Не удивительно, что там Ксения относилась к Шольцу не так, как к другим оккупантам. Там сами жизненные условия заставляли различать, обходить как можно дальше изувера и держаться ближе, искать защиты у того, кто был добрее, кто мог выручить, а подчас и спасти. Да и самые масштабы совершенных ими злодеяний не выглядели в Калитве такими всемирными, такими необъятными, как в Москве, где Ксения стояла как бы на самой вершине, откуда видно было далеко во все стороны. Там она могла позволить себе это, хоть и считала, что поступает против совести. Но здесь!.. Здесь!..

Они шли вниз по улице Горького, Шольц нес девочку, сонно прижавшуюся головкой к его плечу, и рассказывал о последней ночи, когда сидел в скирде за Калитвой; о том, как на рассвете наблюдал из своего соломенного укрытия за советскими войсками и, когда на дороге появилась группа офицеров верхами, а среди них один пожилой, как потом выяснилось, полковник,— решил, вылез из скирды и пошел навстречу, подняв руки.

Он все рассказывал, пока они не дошли до гостиницы. В вестибюле сел в кресло, и Оленка заснула у него на руках. Ксения не долго ждала очереди к администратору: майор заходил утром, все уладил и оставил на ее имя конверт — деньги и записку в железнодорожную кассу.

Ксения раздела и уложила Оленку, опустилась рядом с ней на кровать и задумалась. Без шинели Шольц снова выглядел ее жильцом в зеленом кителе — только без погон. Он сидел напротив и тоже молчал, от нее самой и от ее усталого молчания веяло недоброжелательностью.

— Что ж,— сказала она в конце концов. — Плен — гарантия, что не убьют. Вы правильно поступили.

— Я не просто пленный. — Шольц впервые дал понять, что недоверие Ксени обижает его. — Я работаю в комитете, который борется за новую Германию.

— Это даст вам некоторые преимущества,— продолжала Ксения в том же тоне.

— Вы считаете, что, если в Гамбурге убьют моих родителей, это будет для меня преимуществом?

Ксения удивленно поглядела на него и только теперь заметила, что губы у него дрожат.

— Вы узнали меня по фотографии в московской газете. Я очень рад: это помогло вам найти меня,— сказал он, и лицо его залилось краской. — А вот когда гестаповцы увидят эту фотографию... Не сомневаюсь, что газета до них дойдет. Меня они не достанут, но родители мои — там!

Ксения ужаснулась: ведь это правда! Она не раз еще в Калитве слышала его рассказы о родителях: знала, что они в Гамбурге, и, несомненно, то, что он пошел на смертельный риск, опрокидывало ее предубеждение. Ей стало неловко, даже стыдно. Невольно вспомнился один из первых разговоров с Голубничим — когда Ксения согласилась помогать ему, — как она сама тоже боялась за родителей. Гнат сказал: «При чем тут ваши старики? Портрет ваш в газете не напечатает, коли с вами что и случится, никто не узнает, что вы их дочь!» Выходит, она струсилась, а этот немец пошел на риск сознательно.

Но что-то мешало Ксене вслух признать свою неправоту, которую она уже болезненно ощущала. Она молча уставилась на Шольца, словно видела его впервые, не думая даже, что столь подчеркнутое любопытство бросится ему в глаза, особенно после недавней столь же подчеркнутой враждебности.

Шольц продолжал говорить, как бы отвечая на ее пристальный взгляд.

— Нет, нет, вы не думайте, я не из тех, кто разрушал фашизм изнутри или даже хоть в чем-то сомневался! Рядовой немецкий солдат, только не такой самоуверенный и жестокий, как другие. Честно говоря, страшновато стало мне еще вначале. Наша дивизия форсировала Березину и напоролась на ураганный огонь с восточного берега. Совершенно случайно я узнал, что именно в этом месте когда-то переправлялся Наполеон, и меня охватил панический страх и почти твердая уверенность, что то, что постигло его армию, уготовано и нашей. Страх этот быстро прошел, и эпизод на Березине на некоторое время забылся. Но дальнейшие события заставили меня вскоре вспомнить о нем.

Ксения все еще смотрела на Шольца во все глаза, но взгляд ее уже смягчился.

— Вы разрешите мне закурить?

Она кивнула. Шольц достал из кармана коробку «Казбека» и, как видно не привыкнув еще к папиросам, оторвал мундштук и закурил оставшееся как сигарету.

— Вы, верно, догадываетесь, что вспомнил я Березину во время сталинградских событий. — Он глубоко затянулся. — Когда все это случилось, мною снова овладел страх. Но я еще не сомневался в могуществе немецкой армии. Только с мистическим ужасом думал о неминуемом возмездии за преступления, совершенные дома и на вашей земле. Клянусь, лично я ни в одном из них не повинен. — Голос его задрожал. — Но разве молчаливое присутствие не есть соучастие

в том, что творят другие? Поверьте, я никогда не снимал с себя ответственности и сейчас уверен, что, когда будут судить только тех, у кого руки в крови, это будет милостью по отношению ко мне. Здесь, в этой комнате, легко рассуждать, но там-то я молчал!

Шольц поднялся и несколько раз нервно пробежался по паркету, потом снова некоторое время сидел молча, стараясь взять себя в руки и успокоиться, а Ксения отвела от него взгляд, пораженная страстью, с которой он говорил.

— Вы были уверены, что я спокойно сплю в вашей комнате. — Шольц горько улыбнулся. — Вернулся с очередного дежурства в комендатуре или из поездки по ближайшим селам, где отбирал у людей хлеб, и сплю сном праведника с нечистой совестью... Если бы так! — Он вздохнул. — О, нет! Каждую ночь я задавал себе все новые и новые вопросы. Не слишком ли мы легко закрывали глаза на все окружающее? Не свидетельствует ли это удивительное безразличие об отсутствии моральных основ в сознании многих моих соотечественников? А если так, то не слишком ли наивны те, кто возлагает все надежды на слепую силу оружия, забывая о неминуемых фатальных последствиях, которые любой аморализм всегда таит в себе? — Он вдруг замолчал, а потом тихо сказал: — Я понимаю, все это вам неинтересно. Но поверьте, мне надо вслух это высказать хотя бы самому себе... Простите — хотя бы себе!..

Ксения подняла голову, посмотрела на Шольца и улыбнулась. Он легонько махнул руками, как бы прося у нее прощения этим беспомощным жестом.

— Я знаю, у вас не верят в психологическую однозначность людей. Может, это и верно, не знаю. Право же, и среди немцев были такие, кто не соглашался. Наверняка были. И тем не менее я утверждаю, что Гитлеру и его сообщникам удалось развратить почти всю нацию. Иначе они не смогли бы за такое короткое время создать эту гигантскую машину порабощения, в которой каждый немец сыграл роль хоть и маленького, но важного винтика, крепившего весь адский механизм! О каких моральных устоях можно говорить, раз достаточно было пообещать нам легкие победы, убажжить самолюбие сказочкой о некоей биологической исключительности немецкой нации, вбить в голову, что мы обладаем особыми историческими правами, для того чтобы одни стали приказывать, а все остальные слепо выполнять! Может быть, и не соглашались, но выполняли, ссылаясь на военную дисциплину, патриотический долг. Вы знаете — я в Калитве никого не убил. Однако не знаю, если бы приказали, осмелился бы я не стрелять? Мне просто повезло, но это никак не освобождает от ответственности: тот, кто не стал убийцей случайно, — все равно преступник.

Ксения сидела, упершись локтями в колени, и словно разглядывала паркет. Что-то неприятное было все же в этом добровольном самораскрытии Шольца, в его беспощадности, похожей на самобичевание. Она уже почти не сомневалась в его искренности, верила, что он думает именно так, как говорит, но все это походило на любование сво-

ими ранами, которые, как ей казалось, лучше лечить молча. Но предубеждения уже не было, и это ее удивляло.

— Конечно,— продолжал Шольц,— я мог просто отдаться в руки тем, перед кем я тяжело провинился. Дождаться в лагере военнопленных конца войны и вернуться домой. Не знаю, может, мне и было бы спокойнее, а главное, я бы не подставил под удар моих родителей. Но, к сожалению, я слишком хорошо знаю свой народ — говорить ему о его ужасающих ошибках надо сейчас, пока не поздно. Придя в себя после пережитого, он не способен будет осмыслить свое прошлое. Сытость и спокойствие быстро заглушат голос совести, и он не захочет выслушивать напоминания о своем позорном прошлом. А это не приведет к духовному выздоровлению. О, я знаю наших людей! Они талантливы, дисциплинированы, трудолюбивы, они быстро поднимаются на ноги после всего пережитого. Но тогда будет поздно. Значит, времени в обрез, ждать некогда.

Зазвонил телефон. Шольц замолчал, а Ксения удивленно поднялась и взяла трубку. Она сразу же узнала голос Ани Хохол.

— Ну, наконец-то разыскала,— радостно и тоненько пело в трубке. — Звонила утром, но никто не отвечал.

— А я думала — вы забыли меня,— улыбнулась Ксения, еще не совсем освободившись от мыслей, одолевавших ее до звонка.

— Не хотите ли пойти в театр? — спросила Аня.

— В театр?! — удивилась Ксения. Третий год она не думала о театре и за это время совсем забыла о его существовании. — В чем же я пойду? На мне залатанное ситцевое платье!

— Я принесу вам свое,— не отступала Аня. Голос ее звучал весело, счастливо.

— Да разве я влезу в ваше?

— У меня есть одно довоенное — я была тогда полнее.

Только теперь Ксения вспомнила об Оленке. Посмотрела на кровать, увидела, что девочка сладко спит, и невольно заговорила тише.

— А куда же я дену Оленку?

— Да, да, я совсем забыла... — разочарованно протянула Аня. — У меня уже есть билеты. Шумаков взял, но вечером занят и не сможет пойти.

— Может, лучше заглянете ко мне? — предложила Ксения.

Аня с минуту помолчала.

— Хорошо, я приду.

Ксения положила трубку, снова увидела Шольца и чуть не удивилась, что он здесь. Веселый Анин голос и то, о чем она говорила, были так далеко от печалей и забот, которые поверял ей немец, что она не могла сразу вновь настроиться на них.

— К вам сейчас придут? — спросил он.

— Да.

Шольц поднялся, не желая мешать. Спросил, когда она собирается ехать в Киев, и попросил разрешения прийти на вокзал. Смущенный, попрощался, пошел к двери. И, уже открыв ее, улыбнулся:

— Привет Оленке!

Аня порадовала и даже удивила Ксению — и своим праздничным видом, и беззаботной веселостью, и тем, что болтала без умолку. Она не вошла, а влетела в комнату, бросилась Ксении на шею, как близкой подруге, с которой бог весть сколько лет не виделась, поцеловала в одну щеку, потом в другую и засыпала вопросами, на которые Ксения не знала, что отвечать.

— Ну, как вы провели первый день в Москве? Что видели, кого навестили? — И вдруг, заметив на кровати Оленку, которая, повернувшись личиком к стене, тихонько посапывала, спохватилась: — Ой, маленькая спит, а я расшумелась!

Когда Аня сняла шинель и с комичной осторожностью положила на кресло, выяснилось, что она уже успела выгладить гимнастерку, надеть новую синюю юбку и даже причесаться у хорошего парикмахера. Начищенные сапоги сняли, как и вся она: маленькая, тоненькая фигурка казалась еще стройнее, чем всегда.

— Чуть не забыла! — всплеснула она руками с ярко накрашенными ноготками, снова бросилась к своей шинели и достала из кармана небольшой сверточек. В нем оказалось крепдешинное платье — голубое, в темных цветах. Аня приложила его к себе и торжественно провозгласила: — Это вам.

— Что вы! — воскликнула Ксения. — Я же все равно не смогу пойти в театр!

— Знаю, знаю. Это просто подарок. Здесь у подруги оказался целый чемодан с моими тряпками, а у вас ведь ничего нет. — Она приложила платье к Ксении, заметила, что оно ей коротко, и добавила: — Чем-нибудь подошьете и сможете носить. Да сейчас и носят значительно короче, а голубой цвет вам идет больше, чем мне.

Ксения была ошеломлена. Хотела что-то возразить, но Аня опередила ее:

— Берите, берите!

— Спасибо вам, — только и пролепетала Ксения. Она взяла платье, уже сама приложила его к себе, полюбовалась перед зеркалом, обняла Аню и поцеловала в щеку: — Спасибо, спасибо! Чудесно...

Ксения сложила платье и вдруг нащупала в середине что-то твердое. Развернула и достала из маленького кармашка пакетик, завернутый в клочок газеты.

— Это вам на дорогу. Когда-нибудь отдадите, — предупредила Аня ее вопрос. — Там всего двести рублей.

— Но у меня уже есть! Мне дал редакционный майор!

— Сколько?

— Вполне достаточно! — уверяла Ксения.

— Сколько? — настаивала Аня.

— Сто пятьдесят.

— Их хватит на один билет, — Аня мягко отстранила Ксенину руку. — А вы с ребенком. Мало ли что может случиться в дороге, а у

вас ни гроша. Спрячьте! — строго приказала она и силой намотала платье на руку, в которой Ксения держала две купюры по сто рублей.

— Не знаю, как и благодарить...

— Пустяки, — заверила Аня. И чтобы поскорее покончить с этим, спросила: — Вы уже обедали?

— Жду, когда проснется Оленка. У меня еще есть запасы из Калитвы.

— Глупости. Вот талоны. Генеральские! — провозгласила Аня с комической торжественностью и потрясла в воздухе магическими бумажками. — Сейчас у нас будет королевский обед. — Она подошла к двери, нашла нужную кнопку и нажала.

Генеральские талоны кое-что объясняли в приподнятом настроении Ани. Ксения догадывалась, почему ее новая подруга так весела и возбуждена, и окончательно убедилась в своей правоте, когда пожилая официантка, нехотно взяв генеральские талоны, спросила, где же сам генерал, и Аня с озорным задором ответила, что генерал только что вышел из комнаты и скоро вернется. Официантка довольно кисло согласилась подать три обеда. Когда она вышла, Ксения спросила, что все это значит. Аня вместо ответа хлопнула в ладоши, закрыла ими лицо и воскликнула:

— У меня сегодня такой день! Я такая счастливая!

— Что случилось? — спросила Ксения, уже не сомневаясь, что догадки ее верны.

— Я выхожу замуж. — Аня отняла руки от лица и уже открыто счастливо улыбнулась.

— Замуж? За кого?

— За Шумакова, — тихо и почему-то виновато проговорила Аня.

— В самом деле?! — обрадовалась Ксения. — И он сейчас придет сюда?

— Нет, он занят.

— Поздравляю от всей души! — Ксения обняла ее. — Живите счастливо!

Она видела Шумакова в самолете, слышала о нем от Сиволапа еще в Калитве, но знала лишь, что он командовал дивизией. Впрочем, об Ане она тоже почти ничего не знала, только сейчас услышала об их отношениях, но то, что Аня поделилась радостью именно с нею, не удивляло. Как-то само собой получилось, что, встретившись всего три раза, они сблизились и их потянуло друг к дружке. Вот и теперь Аня со своей радостью пришла к ней, как будто во всей Москве ей не с кем было поделиться. «Верно, такая же одинокая и неприкаянная, как я», — подумала Ксения. И сердце ее прониклось нежностью к этой маленькой женщине.

— Садитесь, рассказывайте, — не выпуская Аню из объятий, она подвела ее к креслу. Усадила, пододвинула ближе стул и села напротив.

— Не знаю, что и говорить, — улыбнулась Аня. — Это произошло так неожиданно, так быстро... Даже не верится. Как во сне.

Она начала рассказывать издалека: с того времени, как жила в Ленинграде. Рассказала о гибели своего сыночка, о разрыве с мужем, которого считала виновником этой гибели. Вспоминая весь этот ужас, Аня помрачнела — лицо побледнело, вытянулось, глаза наполнились слезами.

Ксения слушала и улавливала нечто общее между переживаниями Ани и тем, что перед войной пережила сама. Внешне, казалось, ничего похожего, и все же что-то было, быть может, сама неотвратимость происшедшего. У Ксении сжалось сердце, вздрагивали и нервно подергивались ресницы, по щекам побежали слезы.

— О чем вы плачете? — тоже сквозь слезы улыбнулась Аня. — Все это случилось так давно, я столько пережила тогда... Думала — никогда больше не смогу плакать. — Ей даже и в голову не пришло, что ее новая подруга грустила о своем, думала, что это она так растрожила ее. И Аня с благодарностью коснулась Ксениной руки. — После этого я окостенела, душа во мне словно умерла... Никогда бы не поверила, что смогу снова полюбить... Но, как видите... — Аня беспомощно развела руками и улыбнулась сквозь слезы.

Ксению не обидело, что Аня говорила сейчас только о себе. Свою чуткость она проявила раньше — там, в Калитве, когда так заботливо отнеслась к ней. Сейчас Аня была счастлива, а счастливые думают только о своем.

Аня стала рассказывать о том, как решила разыскать Хохла, чтобы снять с него вину, о приезде в Запорожье, о гибели бывшего мужа, когда тот спасал плотину. Это взволновало и заинтересовало Ксению: ДнепрогЭС был для нее святыней. Но тут как раз вошла официантка с большим подносом, на котором кроме обеда высилась еще бутылка вина.

— А вино зачем? — удивилась Ксения.

— По генеральским талонам подаем генеральский обед, — торжественно ответила официантка. — Только что-то я не вижу самого генерала, — произнесла она с веселой укоризной, окончательно убедившись, что ее провели.

— Он вот-вот должен подойти, — сказала Аня, незаметно подмигнув Ксене.

— Да ладно уж, ладно, — буркнула пожилая женщина.

Когда она вышла, Аня плотно прикрыла дверь и лукаво улыбнулась:

— В такую минуту вино — подарок богов!

Обе засуетились вокруг стола, расставили тарелки и сель.

— А кому все же третий обед? — поинтересовалась Ксения.

— Оленка проснется, поест, — улыбнулась Аня. — Я сказала про генерала, потому что без него нам бы по этим талонам не подали. Итак, считаем, что Шумаков с нами.

Они молча чокнулись и выпили. Вино было красное — терпкое и чуть кисловатое. Яркая этикетка на бутылке напомнила Ксене, как Шольц составлял себе азбуку.

Аня перехватила ее едва уловимую улыбку.

— Вы что-то вспомнили?

— О боже, что только не приходит в голову! — вздохнула Ксения, но без особой печали.

— Я так мало знаю о вас, — смутилась вдруг Аня. — Вы мне о себе почти ничего не рассказали.

— А что рассказывать! Давайте лучше обедать!

Аня не настаивала. Она покорно протянула тарелку, и Ксения налила в нее два половника горячего, сверкающего золотыми блестками украинского борща.

Ксения давно не ела ничего подобного. Оказавшись далеко от дома в самом начале войны, она долго не могла привыкнуть к черствым краюшкам и холодной картошке, что перепали ей в чужих жилищах. Даже в Калитве, когда уже хозяйничала сама, приходилось довольствоваться постным борщом и сухой кашей. Но постепенно она привыкла, забыла домашние мамнины обеды и уже не представляла, что на свете бывают блюда вкуснее пшенной каши или печеной картошки. То, что она ела сейчас, было всего лишь скромным обедом военного времени, и все же возобновляло в памяти давно забытые вкусы и запахи. Ксения ела медленно и сосредоточенно, поглощенная не столько вкусом и запахами, сколько тем, что они пробуждали в памяти, — нахлынувшими воспоминаниями об их просторной столовой в Киеве, на Кузнечной, и еще о другой столовой, уже на центральной улице Нового Запорожья, где она обедала со своими сотрудниками из планового отдела и часто встречала двух неразлучных друзей — Харкевича и Славчука.

Аня заметила, как опечаленно примолкла Ксения. С минуту смотрела на ее красивое, но измученное лицо, склонившееся над тарелкой, а потом спросила:

— Где ваш муж?

— У меня нет мужа, — не сразу ответила Ксения.

— Но ведь.. был.. или?.. — То, как Ксения ответила на первый вопрос — с болью и почти шепотом, — подсказало Ане, что расспрашивать не надо.

— Был. — Ксения подняла голову и посмотрела на свою новую подругу ясными, широко открытыми глазами... — Был... А впрочем, может, и есть. Он повез на восток заводское оборудование, — верно, там и остался.

— Здесь, в Москве, вы могли б... — Аня хотела сказать, что в Москве можно попробовать узнать, где он, но не договорила.

— Да, в наркомате, наверно, знают...

Аня помолчала.

— Я вижу, вам неприятно говорить. Не надо, не заставляйте себя. Ксения горько улыбнулась.

— Не в том дело. Просто — это слишком сложно. — И, помолчав, посмотрела на Аню: — Коротко не объяснить. Я не могу к нему вернуться. Слишком многое встало между нами за это время.

Аня сама убрала глубокие тарелки, сама положила на мелкие жареное мясо и картошку. Она хлопотала не спеша, словно была

хозяйкой этой комнаты. Ксения сидела удрученная. Только рука ее механически переключала вилку с места на место.

— Надо все прощать,— сказала Аня, разложив еду.— Все надо забыть— что бы ни угнетало раньше. Я и сама поздно поняла это, но все же поняла.

— А мне нечего прощать, я сама виновата.

— Я имею в виду не вас лично. Может, прощать должен он— какая разница?

— Он простил.

— Так в чем же дело?

— Я сама себе не могу простить— вот что хуже всего.

Ане хотелось сказать что-нибудь утешительное, но в ушах звучал глухой отчаянный голос Ксении, и язык прилипал к гортани. Она ничего не знала о том ужасном, чего Ксения не могла себе простить, и понимала— что бы она ни сказала, все это будет походить на попытку отделаться от чужой боли.

— Мне стыдно, что я счастлива,— тихо проговорила она.

— Что вы, голубушка?— Ксения вскочила.— Разве так можно говорить?! Да и не считаю я себя несчастной, поверьте— не считаю! Ну что поделаешь, если моя жизнь сложилась так, а не иначе? Значит, надо принимать ее такой, как она есть, и стараться быть достойной того, что называют счастьем. У меня теперь есть ребенок, есть родители... И если они живы, я буду счастлива...

— Все будет хорошо. Давайте выпьем за то, чтобы все было хорошо.— Аня тоже встала и протянула к Ксении свой недопитый бокал.

Но тут зазвонил телефон.

Ксения невольно оглянулась— Оленка шевельнулась на кровати и открыла заспанные глазенки.

— Вам кто-нибудь должен звонить?— спросила Аня.

— Нет.

— Значит, он! Я дала ему ваш телефон.— Аня выскочила из-за стола и схватила трубку.

Ксения сидела на кровати. Оленка зябко прижималась к ней, поглядывая на Аню, а в комнате звенела мембрана, словно старалась повторить мужской голос, который долетал с другого конца Москвы.

— Это я,— возбужденно повторяла Аня. И, с минуту послушав то, что ей говорил Шумаков, громко сказала:— Значит, решили— на Никитском, у памятника Тимирязеву. Ровно в семь.

Синий квадрат предрассветного тумана еще чуть заметно дрожал в окне, когда раздался резкий звонок. Испуганная, будто насквозь пронизанная металлическим звуком, Ксения вскочила с кровати.

С минуту она постояла, опираясь рукой о стену, бессмысленно всматриваясь в полумрак комнаты, и только после второго звонка осторожно подошла к столу и сняла трубку.

— Это вы, Ксения? — услышала она женский голос, но спросонья не разобрала чей.

— Кто это?

— Я, я, Аня! Простите, что так рано, иначе я не могла.

— Что случилось? — встревожилась Ксения.

— Дело в том, что я сейчас уезжаю из Москвы. Вернусь только завтра ночью и, наверно, вас уже не застану.

— Уезжаете из Москвы? — удивилась Ксения. — Вы же как будто не собирались?

— Понимаете, я поздно узнала и не могла уже сообщить.

— А когда вы уезжаете?

— Сейчас. Сию минуту. Шумаков уже в машине.

— Вы едете с ним?

— Представьте себе. — Аня заговорила тише, словно боялась, что Шумаков услышит. — Везет меня на Смоленщину, хочет показать своим родителям! — Она говорила так, будто открывала тайну, но не могла скрыть своей радости, и Ксения почувствовала это.

— Ах, так! Ну, поздравляю.

— Мне тоже приятно, — тихо ответила Аня.

— Выходит, мы уже не увидимся...

— К сожалению.

— Что же, желаю вам счастья.

— Спасибо, милая. Я вам тоже.

— Ну бегите, не заставляйте ждать.

— До свидания, Ксения.

— До свидания.

Ксения уже отняла трубку от уха, хотела опустить, как вдруг спохватилась:

— Алло, алло!

— Да, да. Я слушаю, — откликнулась Аня.

— Я ведь не знаю, куда вам выслать долг, — озабоченно крикнула Ксения.

— Господи, какие глупости... — рассмеялась Аня. — Лучше спросите, куда мне написать.

— Конечно, и это тоже... — смутилась Ксения.

— Но ведь я сама еще не знаю своего адреса. Напишу вам в Киев, заглядывайте на Центральный почтамт.

— Только не забудьте! До встречи на киевском почтамте.

Аня первая повесила трубку. Ксения еще некоторое время слушала сердитые, отрывистые гудки. Положила трубку на рычаг и опустилась на стул, тут же возле стола. Грустно все это: только сблизилась с человеком и уже — прощай...

Ксения посидела задумавшись, потом решила: нет, Аня будет счастлива! За Аню она спокойна. Шумакова она, правда, видела один раз, но почему-то верила, что Аня будет с ним счастлива. Вот и с родителями захотел познакомиться... Война, а он день-два выкроил на это — повез на Смоленщину.

Ксения одевалась, когда позвонил Шольц. «Господи,— подумала она раздраженно,— который же час?» Она мысленно была слишком далека от немца и сперва отвечала сухо. Но только сперва: в конце концов, Шольц проявляет внимание, предлагает свои услуги. И она заставила себя позволить ему прийти.

А когда положила трубку, раздражение и вовсе улеглось. В большом доме напротив гостиницы все чаще хлопали тяжелые двери — начинался рабочий день. Пора было собираться на вокзал, скоро восемь. Ксения выглянула в окно — там рождался синий морозный день. На тротуарах царило утреннее оживление, люди почти бежали, их деловая поспешность передалась и ей. Ксения отпрянула от окна, суетливо забегала по комнате и через минуту, уже одетая, разбудила Оленку. Девочка стояла на кровати, едва держась на ножках, пока Ксения натягивала на нее платье.

— Пора ехать на вокзал, а оттуда в Киев, к дедушке и бабушке.

— А у меня бабушки нет,— пробормотала Оленка, зевнув.

— Как это — нет? Есть.

— Бабушка умерла.

— Так есть другая. Ее зовут Люба. Баба Люба.

Девочка удивленно посмотрела на Ксению, словно только теперь окончательно проснулась.

— Люба? — переспросила она.

— Баба Люба и дед Кузьма.

Оленка хмыкнула и улыбнулась. Как звали бабушку, она забыла, потому что старуха Непорожняя умерла, когда девочки еще не было на свете. А вот как зовут дедушку, знала точно.

— Кузьма... Что это за Кузьма?! Дедушку зовут Тымиш. Он мне санки сделал. Что я, не знаю?!

Ксения не ответила и надолго замолчала. Перед глазами возник старик Непорожний — такой, каким она видела его в последний раз возле палатки Сиволапа. Расстроенная, она опустилась на кровать и стала натягивать на Оленку толстые шерстяные носки. Девочка тоже молчала, как видно сбитая с толку. Нет, не скоро выветрится из детской памяти дед Тымиш! Даже отца, бедняжка, не так часто вспоминала, как деда. И не удивительно — пока Федор воевал, она жила у старого Тымиша, а когда отец вернулся в Калитву и забрал ее к себе, дед Тымиш все равно был близости.

Одетая, обутая в валенки, которые тоже сваял дед, Оленка стояла накупившись и мрачно глядела в пол.

Ксения сидела на кровати, боясь пошевеливаться.

— А дед Кузьма сделает санки? — еще сердито, но уже примирительно спросила девочка.

Ксения так и охнула от радости, услышав это:

— Сделает, конечно, сделает! В этом году снег скоро растает, санки уже не нужны. А на будущий год — обязательно!

Когда вошел Шольц, Оленка с радостным воплем бросилась к нему и обняла, как родного. Он, как всегда, достал из кармана конфету, на этот раз выданную ему в буфете вместо сахара, и тор-

жественно протянул ее девочке. Оленка, радостно взглянув на Ксению, стала разворачивать бумажку. Но сейчас Ксении это почему-то было неприятно: она подумала, что когда-нибудь Оленка будет вспоминать конфеты Курта как одну из немногих детских радостей, а хорошо ли, что именно это сохранится как воспоминание о самом тяжелом для нее времени? Но отобрать у девочки конфету в присутствии немца не посмела. Да и как объяснить малышке, что она должна помнить другое? Вышло, что и с этим ничего не поделаешь.

Оленка засунула конфетку в рот, и только теперь Ксения спохватилась:

— Что ж ты делаешь? Надо съесть яичко. Кто же лакомится натошак?!
Она бросила немцу: «Садитесь, Курт», а сама пошла к шкафу, взяла маленький узелок с хлебом и крутыми яйцами и стала кормить девочку.

— Который час? — повернулась она к немцу.
— На уличных — около девяти. Не знаю, точно ли.
— Ешь, маленькая, ешь, — подгоняла Ксения девочку. — У нас еще нет билета. — И, снова оглянувшись на Шольца, заметила: — А вы и не разделитесь? Хотя уже пора бежать.

— А где ваш чемодан?

— Чемодан? — рассмеялась Ксения. — У меня нет вещей.

— Совсем?

— Чудак вы, Курт. Какие у меня могут быть чемоданы?

Шольц и без того был молчаливее, чем накануне, а теперь совсем затих. То, что у Ксении не было вещей, он воспринял тоже как укор себе. Сегодня он с особой остротой ощущал сдержанную недоброежелательность Ксении, ее оскорбительную терпимость, и это его угнетало, но он понимал, что должен вынести всё до конца. Другая могла и руки не подать. Ведь правда на ее стороне, значит, так и должно быть...

Но как долго это продлится? Сначала ненависть к убийцам, потом настороженность и недоверие к их потомкам... Сколько долгих лет утечет, пока все забудется? Конечно, придет и такое время, всему бывает конец... Наполеон тоже когда-то приходил сюда с огнем и мечом, а теперь никто не напоминает об этом его правнукам. Но разве можно сравнивать? Нет, уж лучше бы люди остановились в своем развитии на копьях и аркебузах и не дошло бы до пулеметов и газовых камер!

Ксения стояла возле Оленки и давала ей по очереди то хлеб, то яйцо, а мысли ее были далеко. Только бы знать, что в Киеве все в порядке, что родители живы, что она их найдет... Шольц посмотрел на нее и вдруг очень тихо, будто угадав, о чем она думает, сказал:

— Все будет хорошо, фрау Ксения, все будет хорошо. Сколько ехать до Киева?

— Кто знает! — ответила она. — Разве теперь известно, сколько идет поезд? — И снова засуетилась: — Ну, малышка, давай надевать пальто, пора уже.

Они доехали до Киевского вокзала на автобусе, которого, к счастью, недолго ждали. Вышли на площадь вместе с толпой. Вокруг все тащили узлы и фанерные баулы. У касс, где продавали билеты, стояли огромные очереди. Ксения оставила Оленку с Куртом, а сама встала в конец одной из них. Она с беспокойством поглядывала то на Оленку, то на окошечко кассы, то на часы. Времени было еще много, но сердце тревожно билось от страха; что она не успеет получить билет до отхода поезда.

Но волновалась она напрасно. Когда получила билет, у нее осталось еще полчаса свободного времени.

21

Перед рассветом вагон резко тряхнуло, и Харкевич проснулся. Снаружи послышался глухой удар, будто упало что-то тяжелое, потом колеса легко застучали по рельсам, словно избавились от груза и покатались каждое само по себе. Снова раздался глухой удар, и вагон остановился.

Выяснилось, что эшелон в Сухиничах, что офицерский вагон от него отцепили и прицепили к пассажирскому поезду, который идет в Москву и часа через три прибудет в столицу.

Как только тронулись, дежурный по вагону, пожилой капитан инженерных войск, заглядывая в каждое купе, объявил, что в одиннадцать ноль-ноль все должны явиться в соответствующие их профессиям управления Наркомата обороны, там получают назначение и все документы для дальнейшего прохождения службы.

Услышав это, Олег взволнованно поднялся — он никак не ожидал, что попадет в Москву. После целого дня беготни по Киеву и угнетающих раздумий здесь, в вагоне, он всю ночь проспал мертвым сном; ни разу не выглянул в окно, не поинтересовался, куда идет эшелон, — ему все было безразлично.

Тех, кто спал внизу, известие о Москве взволновало меньше, чем Харкевича. Круглолицый врач повернулся к соседу с пробором и равнодушно произнес: «Москва — это кстати, в Москве можно приобрести зубную щетку, а то в Киев еще не завезли», громко зевнул и повернулся к стенке. Инженер не ответил, а тот, кто лежал напротив Олега, вообще еще не проснулся, и в вагоне снова воцарилась тишина.

Харкевичу не нужно было ни зубной щетки, ни чего-либо другого, но сердце его колотилось. Он не знал, что его ожидает в Москве, — может быть, он побывает в полутемной комнате Наркомата электростанций, где на протяжении двух с половиной лет просиживал дни и ночи, узнает, как идут дела и какое место в планах на будущее занимает ДнепрогЭС. Близких друзей среди сослуживцев он не завел — такой уж характер, но повидаться не мешает, люди неплохие, обидно было бы не попрощаться, уезжая на фронт.

Сейчас Олег чувствовал себя отдохнувшим. Сидя в темноте на верхней полке, он думал о приближающейся встрече с Москвой — горьких раздумий, угнетавших накануне, как не бывало.

Он осторожно спустился вниз, ощупью оделся и вышел, тихонько прикрыв дверь, чтобы не разбудить спутников. В коридоре было пусто, за окнами только начинало сереть. Олег прижался лбом к холодному стеклу и задумался.

Из Москвы он поедет уже в другом вагоне. Все эти пассажиры разбредутся кто куда, разъедутся по назначениям. В Москве удастся пробыть только до отхода поезда, на котором надо уезжать, получив назначение. А что, если ехать не сегодня? Ведь подготовка соответствующих документов займет много времени. Да и на улаживание личных дел дадут несколько часов. Он подумал: «У меня лично нет личных дел» — и улыбнулся: личность без личного — парадоксально!

Все, впрочем, сложилось иначе, чем он предполагал. Когда поезд только входил под огромный дебаркадер Киевского вокзала и вагоны медленно двигались вдоль платформы, Харкевич успел заметить на запруженном людьми перроне несколько знакомых лиц. Все эти встречающие озабоченно пробегали глазами по окнам вагонов. Это были сотрудники административного отдела наркомата и среди них один из секретарей заместителя наркома, хорошо знакомый Олегу. Присутствие на перроне этого секретаря говорило о том, что встречают не кого-нибудь, а именно Одинцова.

Харкевич смутился. Выходит, Одинцов ехал совсем рядом, может даже в соседнем вагоне! Как видно, завернул в Киев, после того как побывал на Днепрогэсе... Конечно, Олег не пошел бы его искать, даже если бы знал, что тот где-то рядом, но сама мысль, что человек, который посылал его спасать Днепровскую плотину, где-то здесь, с новой силой всколыхнула вчерашние волнения.

Харкевич не знал, как вести себя в случае, если его заметит Одинцов или кто-нибудь из сослуживцев. Решил, что сейчас лучше вообще избежать встречи. Не имея почти никаких вещей, он сумел протолкаться вперед и выйти из вагона первым, в надежде, что, пока заместитель наркома появится на перроне, удастся проскользнуть на вокзал. Но как только он спустился по лесенке, на него почти налетел помощник Одинцова — Безручко, который бежал с группой сотрудников туда, где был нужный им вагон.

— Харкевич! — не останавливаясь, крикнул Безручко. — Машины за углом, идите туда! — Он был уверен, что Олег Иванович прибыл вместе с Одинцовым.

Деваться было некуда. Скрыться в толпе, сделать вид, что не слышал, означало бы просто бежать. А с какой стати? Ведь Одинцов может узнать от Безручко, что Харкевич где-то здесь, чего доброго, станут и ждать, думая, что он где-то задержался. Ни удирать, ни заставлять себя ждать Харкевич не привык, да и прятаться не было причин. Он медленно пошел к подъезду и еще издали заметил небольшую группу людей, в центре которой стоял Одинцов.

— А вы зачем здесь? — басовито крикнул заместитель наркома, как-только Харкевич приблизился. Одинцов был на голову выше всех. Тучный, в полувоенном белом полубубке, он еще больше, чем обычно, походил на Котовского. Он смотрел на Олега с суровой благосклонностью начальника, который одновременно и удивлялся и упрекал. — На Днепрогэсе мне сказали, что вы в больнице.

— Только что выписался, — ответил Харкевич.

— Почему вы не в Запорожье, а в Москве?

— Прибыл по назначению.

— Сегодня же явитесь ко мне! — приказал Одинцов. И обратился уже ко всем: — Ну, пошли!

Харкевич пошел следом. Он успел заметить, с каким недоумением глядел на него Безручко, удивленный всем, что услышал, но объясняться сейчас не было времени.

Олег Иванович вышел на площадь. Люди двинулись с платформы и толпились теперь у трамвайных и автобусных остановок. Спешить в наркомат было нечего — Одинцов, конечно, заглянет домой, прежде чем появится на службе. А за назначением в Наркомат обороны все-таки лучше ехать после того, как станет ясно, что скажет Одинцов... Взвесив все это, Харкевич решил прежде всего пойти в гостиницу «Балчуг», где прожил столько времени и где оставил свое скромное имущество, когда неожиданно уехал спасать Днепровскую плотину. Комнату, разумеется, давно передали другому жильцу, но администраторы его знают и наверняка как-нибудь устроят.

Харкевич шел, проталкиваясь сквозь очереди у пригородных касс. И вдруг услышал приглушенный крик:

— Олег!

Он удивленно остановился, ощутив в сердце внезапный толчок: голос показался знакомым. На миг он замер, не понимая, что с ним, потом огляделся — знакомых вокруг не было. Он не двигался, надеясь, что снова позовут. Но никто не подавал голоса. Немного успокоившись, он решил, что это ему померещилось — просто послышалось. Смущенный, он медленно пошел дальше и тотчас услышал детский плач. Оглянулся и резко остановился: у самой стены, немного левее окошечка, к которому тянулась длинная очередь, стояла Ксения. Она широко раскрытыми глазами смотрела в пространство и ловила ртом воздух, беззвучно крича.

У Харкевича все поплыло перед глазами, он пошатнулся, но сразу овладел собой и, расталкивая людей, бросился к ней.

— Ксения... — шептал он, — Ксения...

Она стояла ошеломленная, полуживая и, когда Харкевич дотронулся до нее, не пошевелилась. Но он этого даже не заметил — прижался небритой щекой к ее исхудавшему лицу, которое дрожало, сведенное нервной судорогой. Потом отстранился и чуть слышно прошептал:

— Ксения, милая...

Она беспомощно шевельнула губами, но голос все еще не слу-

шался ее. Только слезы стояли в глазах, постепенно заполняли их и наконец медленными струйками побежали по щекам.

Оленка вцепилась в Ксенино пальто и заняла, но Харкевич и теперь не обратил на нее внимания.

— Откуда ты? Почему ты здесь? — спрашивал он одними только губами, а сам все смотрел на Ксеню и не верил своим глазам.

Она все еще молчала, губы судорожно дергались, а правая рука непроизвольно нащупывала головку Оленки.

— Какое счастье! — улыбнулся Олег, улыбка была одновременно и восторженная и беспомощная. — Подумать только, ты ведь могла и не заметить меня, а я прошел бы и не знал, что ты здесь.

— Я тебя сразу узнала... — сквозь слезы прошептала Ксения, и это были первые слова, которые она смогла произнести.

— Просто счастье. — Олег все еще не верил, что действительно видит Ксеню. — А мы... — Он хотел сказать, что он и ее родители только о ней и думали, только и мечтали о встрече. Но спохватился: — Я тебе все расскажу, пойдем.

— Куда?

— Как куда? Ко мне! — Он поискал ее вещи, ничего не нашел и схватил Ксеню за рукав. — Не стоять же нам тут.

Ксения мягко высвободила руку.

— Я не одна, Олег. Я не могу.

— Не одна?.. — Он недоуменно улыбнулся. — Кто ж еще?

— Со мной ребенок.

Только теперь Олег посмотрел на Оленку, которую до сих пор не замечал.

— Чей это ребенок? — спросил он растерянно.

— Мой, Олег. Теперь — мой.

Совершенно сбитый с толку, он взглянул на девочку, будто она и впрямь могла быть Ксениной дочкой, он даже не подумал, что Оленке не меньше шести лет, а расстался он с Ксеньей только два года назад. Почувствовал только, что за это время произошло нечто, чего изменить нельзя, — это причинило такую боль, что с ней трудно было справиться.

— Ксения, дорогая, все это ничего... — говорил он. — Все это не важно... Главное, что ты жива, что ты здесь!

Только теперь она коснулась его лица и стала нервно и быстро гладить небритую щеку, а губы шептали одно только слово:

— Олег... Олег...

И вдруг отшатнулась.

— Только одно слово... Родители...

— Все хорошо! — радостно воскликнул он. — Я только вчера видел их, все хорошо!

Ксения закрыла лицо руками, будто услышала не радостную, а печальную весть. Потом прижалась к Олегу и неслышно заплакала.

Вокруг бурлила толпа, люди проталкивались — кто в вокзал, кто из вокзала, — задевали их своими узлами и чемоданами, но никто

не обращал на них внимания. Прошла минута, а может, больше, первым опомнился Олег.

— Хватит, Ксения, пошли.

— У меня билет, — беспомощно возразила она, тоже постепенно приходя в себя. — Через полчаса поезд...

— Какой поезд? Куда? — ничего не мог понять Харкевич.

— В Киев... Я еду домой...

— Никуда я тебя не отпущу! — крикнул он. — Мы так долго не виделись... — Он снова взял ее за руку и чуть ли не силой потянул за собой.

— Нет, нет... — тревожно сказала Ксения, прижимаясь спиной к стене, словно ища у нее защиты.

Олег посмотрел на нее почти с испугом. В ее тоне — одновременно взволнованном и угрожающем — слышались те же нотки, что и тогда, когда он хотел простить ее, неожиданно вернувшись с финской, и в его комнате покончил с собой Славчук. То же самое «нет-нет», тот же отчаянно-бессмысленный крик!

— Я не отпущу тебя! Не отпущу, слышишь?! — говорил Олег тихо, но властно и снова легонько потянул ее от стены.

Оленка все время внимательно следила за Ксенией, ей, верно, показалось, что ее новая мама послушается незнакомого человека и уйдет, и она простодушно спросила:

— А дядя Курт?

Только теперь Ксения вспомнила о Шольце. Она невольно оглянулась — его не было: в первую же минуту встречи Ксени и Олега он понял, что лишний, и незаметно исчез.

Но само упоминание о немце отрезвило Ксению. Она не хотела, чтобы Олег истолковал это упоминание бог весть как.

— Он, наверно, ушел, маленькая, — объяснила она девочке. — Ему некогда, он на работе, — сказала она скорее Олегу, чем Оленке.

Помолчала, улыбнулась и взяла его за руку:

— Хорошо, Олег. Пойдем.

22

— Боже мой! Товарищ Харкевич, где вы так долго были?! — воскликнула, всплеснув руками, дежурная администраторша гостиницы «Балчуг», когда они вошли в полутемный вестибюль. Густо накрашенное, плоское, как тарелка, лицо ее выразило радостное удивление, но тут же болезненно скривилось в сочувственной гримасе. — А мы вашу комнату сдали!..

— Здравствуйте, Лариса Петровна! — Олег протянул руку через обитую цинком стойку, похожую на трактирную. — Я и не рассчитывал, что вы будете так долго держать ее для меня. Но ведь не прогоните же?

Администраторша поглядела на Ксению с девочкой.

— Вы со всей семьей?

Харкевич тоже посмотрел на них и мрачно ответил:

— Да.

Лицо Ларисы Петровны снова расплылось в радостной улыбке, которая, впрочем, скорее свидетельствовала о ее административной озабоченности. Она выбежала из-за стойки, вежливо поздоровалась с Ксней и наклонилась к девочке.

— Вылитый отец! — воскликнула она и посмотрела на Харкевича. — А как ее зовут?

Олег не знал, как зовут девочку, и, чтобы не показать этого, быстро сказал:

— Приютите, Лариса Петровна. Нам ненадолго, денька на два.

— Что ж мне с вами делать?! — Администраторша снова всплеснула руками. — Сами знаете, как у нас...

Харкевич знал. За время войны эта гостиница превратилась в обычный дом, где жильцы годами не менялись. Он и сам пробыл здесь почти полтора года. Его здесь знали все — от директора до уборщиц.

Через несколько минут они вошли в малюсенькую каморку под лестницей, где теперь по ночам отдыхали дежурные администраторы, а раньше хозяйничал швейцар. Потолок нависал над самой головой, а над кроватью круто спускался вниз почти до пола. Оставшись с Олегом за закрытой дверью, Ксения растерялась еще больше, чем на вокзале в первую минуту встречи. Она не была готова к разговору, она вообще не знала, что и как скажет ему, да и не думала, что первым встретит того, перед кем считала себя виноватой и кому была так благодарна за доброту и верность. Олег ведь, как предполагала Ксения, где-то на востоке, и, пока он вернется, она успеет прийти в себя. И вот он здесь — милый, родной Олег, который столько прощал ей! Она смотрела на него и понимала, как он ждал этой минуты, как верил, что после резкого и непонятного «нет», которое она тогда испуганно выкрикнула, прощаясь в сорок первом, придет время для желанного «да», которое она скажет, когда они встретятся снова. И вот они встретились, а вернуться Ксения не может и оттолкнуть тоже не может, не имеет права лишить его хотя бы надежды. Олег стоял и вяло улыбался, он чувствовал смятение, охватившее Ксению, видел ее растерянность, но ничего не понимал — не понимал причины этой странной скованности. И так же, как она, боялся чего-то неожиданного, но чего именно, не знал.

— Ксения, дорогая, мы снова вместе, — шептали его губы. — Слышишь, Ксения?..

Она прижалась к его груди, спрятала лицо в жестком сукне расстегнутой шинели и затихла, словно прислушиваясь. Так было легче — не надо было смотреть в глаза, которые беспомощно улыбались, покорно ожидая ответа. А он, все крепче обнимая ее, горячо и нежно целовал белокурую голову.

— Радоваться же надо — живы и наконец вместе!..

Ксения подняла лицо, долго и внимательно смотрела на Олега, потом нежно погладила его по небритой щеке.

— Да,— проговорила она хрипло.— Это большая радость.— Осторожно высвободилась из его объятий, отошла, сняла пальто и стала раздевать Оленку.

Харкевич молча смотрел на них обеих. Ксения раздевала девочку медленно, как будто нарочно старалась делать это как можно дольше, чтобы отдалить неизбежное. Наконец она села рядом с Оленкой на кровать, спокойно посмотрела на Олега и улыбнулась:

— Ну, а дальше что?

Он ответил растерянным взглядом, не понимая, что она имеет в виду, но Ксения опередила его:

— У тебя, верно, есть дела?

— Мне нужно в наркомат,— виновато признался он, как бы оправдываясь.— Потом еще в другие места. Понимаешь, это нельзя откладывать.

— Зачем же откладывать?

— Я постараюсь вернуться как можно скорее.

— Ничего, мы подождем.

Но Олег вдруг нахмурился:

— Как же я тебя оставлю?

— Здесь не страшно. Иди.— Ксения смотрела на него с улыбкой, и голос ее звучал ласково, как когда-то.

— А ты ела что-нибудь? Здесь есть буфет.— Харкевич достал кошелек.

— Глупенький ты,— громко рассмеялась Ксения.— Мы завтракали, и у меня есть еще еда и деньги.

— Тогда я побежал.

Ксения кивнула, все еще ласково улыбаясь.

У Одинцова шло какое-то совещание, и, ожидая в приемной, Олег нервничал. Пробило одиннадцать, давно уже пора было явиться в инженерное управление Наркомата обороны, а Олег даже не знал, долго ли ему придется здесь ждать. Он все еще не представлял, о чем будет говорить с Одинцовым, но уже понял, что должен поговорить, обязан дожидаться, не имеет права встать и уйти.

Харкевич с нетерпением поглядывал на большую, массивную дверь, выходил в коридор покурить, снова возвращался, тайком радуясь, что совещание затягивается, решающая минута откладывается. Да, теперь он хотел, чтобы заместитель наркома добился его освобождения от мобилизации, хотя и стыдно было в этом признаться. Его удовлетворила бы и отсрочка—хоть на неделю или даже на несколько дней. Но как сказать об этом, чем мотивировать? И не возмутится ли Одинцов, не подумает ли, что Харкевич уклоняется от военной обязанности в то время, когда льется кровь и люди жертвуют всем? Впервые в жизни его личные интересы вошли в противоречие с тем, чего желали все, и он не знал, как быть.

Дверь открылась, из кабинета выходили участники совещания, а Олег еще ничего не решил.

— Проходите,— пригласила секретарь. — Павел Иванович должен сейчас уехать.

Олег вошел. У стола Одинцова еще толпилось несколько человек — протягивали какие-то бумаги, он их подписывал.

— Ага, вы тут! — бросил заместитель наркома, заметив Харкевича. — Подождите.

Как только вышел последний сотрудник, Одинцов строго спросил:

— Что вы делаете в Москве? Кто разрешил? Вас ждут на Днепрогэсе.

У Харкевича отлегло от сердца. Он уже слышал этот упрек на перроне, но не придавал ему тогда значения. Теперь было ясно, просить ни о чем не придется. Одинцов сам заинтересован в том, в чем заинтересован Олег.

— Я приехал за назначением на фронт, Павел Иванович.

— Вот чего захотели! — сказал Одинцов. — Вероятно, считаете, что мне спокойнее сидеть в тылу, и преподаете урок неслыханного героизма!.. А я, разрешите доложить, рвусь на фронт побольше вашего, хотя бы потому, что у меня генеральское звание и я могу быть полезен на войне не меньше остальных. А вот сижу в Москве, потому что обязан делать, что приказали. — Бритый череп Одинцова сверкал, а водянистые, почти прозрачные глаза пылали гневом, словно он старался прочесть Харкевича насквозь.

— Меня мобилизовали, и я тоже обязан... — начал было Олег с возмущением, но умолк. Он внутренне краснел, понимал, что кривит душой, ведь хотел он того же, что Одинцов, и, по сути, протестовал только для видимости, заставляя этого высоченного человека, похожего на Котовского, оправдываться, когда оправдываться должен был он, Олег.

Услышав, что Харкевич мобилизован, Одинцов сердито замолчал, недовольный собою: разболтался, душу вывернул наизнанку, а выходит — напрасно. Он с минуту помолчал, потом снял трубку и набрал номер. Тяжело опустился в кресло и повернулся к Харкевичу боком, словно того и не было в кабинете.

— Опять я, товарищ генерал,— виновато сказал он в трубку. — Спасайте еще раз. На этот раз у нас забирают уже Харкевича. Да, да, того самого. Понимаете, лучше его никто Днепровской плотины не знает. И именно теперь, когда мы приступаем к восстановлению.— Он с минуту слушал и весело проговорил: — Рад, что вы это понимаете. Переправу через лужу построит каждый, а Днепровская плотина — не то! — Одинцов поблагодарил и распрощался. Потом приказал Харкевичу: — Отправляйтесь в инженерное управление, получайте документы об освобождении и — немедленно на Днепрогэс. Ясно?

— Ясно. — Харкевич поклонился.

— Так-то. — Одинцов впервые улыбнулся и протянул руку.

Олег вышел на улицу и почувствовал, что страшно устал. Ничего не делал, а как будто таскал тяжелые мешки. Ноги дрожали и подкашивались, ему казалось, что он вот-вот свалится.

Стрелки часов на фасаде Наркомата электростанций уже подбились к половине первого. Но теперь Харкевич не спешил. Он представлял себе иронический взгляд лейтенанта или майора из инженерного управления, который вместо назначения на фронт выпишет ему документ об освобождении и хоть не подаст виду, а подумает плохо. Впрочем, Одинцов прав: мостик через лужу действительно построит кто угодно, а Днепровская плотина... И неужто так плохо, что это совпадает и с его личными интересами?

Харкевич шел по улице, с трудом переставляя ноги. «Значит, Ксения жива. Нет, полужива,— поправил он себя и содрогнулся от такого определения. — Что с ней случилось, почему она такая? А разве сам я такой, каким был когда-то? — подумал он. — Все мы теперь другие, все... Каждому прожог душу адский огонь войны...»

Проходя мимо Центрального телеграфа, Харкевич остановился. Не дать ли телеграмму Стороженко? Если они неожиданно появятся вместе с Ксеньей, такое потрясение может доконать стариков. К большой радости человека лучше подготовить, так же как и к большому горю. Он вошел в здание почтамта, взял телеграфный бланк и написал на нем своим четким, почти ученическим почерком: «Ксения со мной Москве. На днях сообщу подробности. Ваш Олег».

23

Ксения рвалась выехать в тот же день вечерним поездом. Ей не терпелось увидеть родителей, но более всего она не хотела оставаться еще на один день в каморке под лестницей — ведь тогда решающий разговор с Олегом неизбежен, а она, проведя полдня в одиночестве и непрерывных лихорадочных размышлениях о будущем, убедилась, что для такого разговора у нее еще нет сил. И когда в четыре часа Олег вернулся с приказом выезжать в Запорожье, Ксения засуетилась и воскликнула:

— Поехали!

— Но почему непременно сегодня? Я еще должен сориентироваться, получить инструкции,— возразил Харкевич, понимая уже, что Ксения не отступится.

— Нет, нет, я поеду сегодня!

— Поедешь одна?

Это тронуло Ксению, ей стало жаль Олега. Она посмотрела на него большими голубыми глазами и ласково улыбнулась.

— Разве ты не понимаешь, как мне после всего хочется домой?

— Понимаю... Но... — Он хотел сказать что-то о себе, но промолчал.

— А ты выедешь завтра, заедешь к нам...

— Я не отпущу тебя одну,— решительно заявил Олег.

— Ну не сердись, прошу тебя. — Ксения положила руку ему на плечо. И вдруг нахмурилась: — Я не могу иначе.

Харкевич помолчал.

— Хорошо. Я попробую уладить все сегодня. Может быть, мне удастся.

Он вышел с тяжелым сердцем. Ксения столько времени не видела родителей, что один лишний день уже ничего не решает. Почему же она так настаивает? Где, если не здесь, лучше всего побыть вдвоем, рассказать друг другу, как мучились, что пережили за два года разлуки! Значит, все-таки что-то случилось, что-то есть у нее на душе...

Но он старался не думать об этом. Очень уж было больно. Да и стоит ли терзать себя догадками, если они могут оказаться лишь плодом болезненного воображения и приведут к ошибочным выводам? Но совсем отрешиться от этих мыслей Харкевич не мог; и на автобусной остановке, и потом в автобусе перед ним все время вставала та тяжелая сцена их прощания в начале войны, то утренняя встреча на вокзале...

В шесть, как условились, Харкевич уже был в гостинице, а через полтора часа подошла его очередь брать билет. Выяснилось, что с командировкой в Запорожье не дают билетов на Киев. Кассирша возмущенно крикнула, что с Киевского вокзала поезда в Запорожье вообще не ходят и, прежде чем становиться в очередь, надо хорошенько разузнать, где находится нужный вокзал. Ошеломленный Харкевич отошел в сторону под недовольные восклицания людей, которых, как они твердили, он только задерживает.

Но выручила Ксения:

— Не волнуйся, Олег. С моим удостоверением будет легче.

Она достала бумажку с подписью Сиволапа и довоенной печатью Калитвинского сельсовета, и, пока считала деньги, которые Олег ей передал, он успел прочитать, что там написано. Значит, партизанила. Это было первое, что он узнал и чего сама Ксения не рассказала. Почему? Этого он не мог понять.

Два места в один вагон получить не удалось. Когда поезд подали, Олег бросился вперед, чтобы занять место для Ксении с ребенком. Пока пассажиры заполняли вагон, он сидел на нижней полке крайнего купе, боясь встать, чтоб не потерять место, и, только когда Ксения наконец пробилась и нашла его, Олег побежал к своему вагону, но свободной полки уже не нашел. Пришлось стоять в коридоре. Он смотрел в окно, мимо которого медленно проплывала снежная равнина, и ждал первой остановки, чтобы снова пройти к Ксении. Поезд остановился только в Подольске, было уже совсем темно, и Олег с трудом нашел нужный вагон.

Ксения лежала на голой полке, подложив кулак под голову, а в погах у нее, закутанная в пальто, спала Оленка. Присесть было негде, и, раздвинув сапоги и валенки людей, храпевших на верхних полках, Олег опустился на пол возле Ксении.

Некоторое время оба молчали. Лица едва-едва виднелись в темноте.

— Ксения... — прошептал Олег. — Ну скажи... почему ты такая?

— Какая? — так же шепотом спросила Ксения.

Он не ответил, потому что одним словом определить не мог, а углубляться боялся.

— Ты же понимаешь, как я ждал этой минуты,— шептал Олег. — Я представляю, сколько ты пережила...

— Это нельзя представить...

— Но ведь не ты одна... Все, все... — заговорил он горячо, словно она этого не понимала.

— Разве от этого легче?

— Конечно, нет. Но не всем так повезло, как нам. Мы живы и вдвоем...

— Втроем... — поправила Ксения.

Харкевич на миг растерялся, но, вспомнив о девочке, успокоился.

— Ну, хорошо, втроем. Что же это меняет?

Ксения нащупала лицо Олега одними только кончиками пальцев и погладила его по щеке.

— Кто знает... Трудно сказать... — вздохнула она и отняла руку.

Наступила долгая тишина. В густом мраке Олег едва различил Ксенино лицо и белую руку, поднятую высоко над головой, белевшую на фоне стенки.

Он заговорил, словно рассуждая сам с собой:

— В Киеве я задержаться не смогу, завтра вечером придется выезжать. Ты останешься, я понимаю, тебе надо отдохнуть. Но я скоро вернусь и заберу тебя...

— Я не одна,— донеслось до него чуть слышно.

Ну почему она все время напоминает об этом? Почему говорит только о себе и девочке, словно его нет вовсе?

— Я понимаю,— сказал Олег.— Это ничего не меняет. Мы будем счастливы втроем.

В темноте мелькнула ее рука, Ксения снова дотронулась до его лица и нервно погладила худую щеку.

— Ах, Олег, Олег! — прошептала она, и он расслышал в ее шепоте сдавленные рыдания. — За что все это?

Он молчал.

— Кто на это ответит? — тихо сказал он. — Наша судьба не тяжелее судьбы других...

Снова настала тишина. Потом Ксения спросила совсем другим тоном, словно с удивительной легкостью отогнала горестные мысли:

— Как ты устроился?

— Хорошо,— механически ответил Харкевич. — Все хорошо.

— Иди, милый, отдохни. Ты же набегался. — Голос ее звучал заботливо и нежно. — У нас впереди еще много времени.

Он с минуту помолчал, наклонился и бережно коснулся губами ее щеки. Так же осторожно поднялся и неслышно вышел.

В другом конце вагона, прямо в проходе на полу, сидели две женщины с детьми на руках. Одна убаюкивала своего, а может, просто качивалась, потому что вагон все время кидало из стороны в сторону. Олег шел к себе в вагон, но не захотел беспокоить женщин. Вспомнил, что дверь все равно еще заперта и надо ждать, пока поезд остановится на станции. Он встал у окна и уперся лбом в холодное

стекло, за которым проплывала ночь, устремил взгляд на мглнстую степь, которой в ночи почти не было видно, «Что же это за мир,— молча спрашивал он себя,— и неужто это неизбежно — всякий раз начинать сначала? Жечь, разрушать, чтобы затем восстанавливать заново все — души, тела, плотины? Что это за мир, неужто ему надлежит быть таким?» — пульсировало в мозгу.

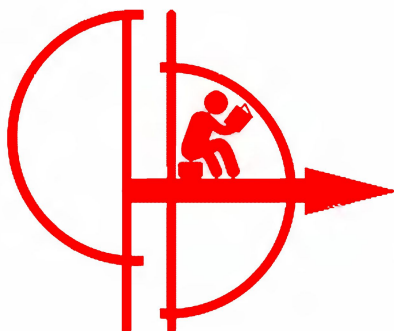
Он молча спрашивал себя об этом и ответить не мог, и молчание его походило на крик, обращенный к равнодушию ночи.

1968—1971

Конча — Озерна

СОДЕРЖАНИЕ

ДОРОГА НАД БЕЗДНОЙ. Книга первая. <i>Перевод</i> <i>В. Дудинцева</i>	5
КОРСУНЬ. Книга вторая. <i>Перевод</i> <i>Вл. Россельса</i> . . .	309



Савва Евсеевич Головановский

ТОПОЛЬ НА ТОМ БЕРЕГУ

М., «Советский писатель», 1980, 624 стр. План выпуска 1980 г. № 316. Редактор И. В. Кириенко. Художник И. А. Гусева. Худож. редактор Е. Ф. Капустин. Техн. редактор В. Г. Комм. Корректоры В. Е. Бораненкова и Т. Н. Гуляева. ИБ № 2186.

Сдано в набор 28.11.79. Подписано к печати 18.04.80. Формат 60×90^{1/16}. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 39,0. Уч.-изд. л. 46,3. Доп. тираж 100 000 экз. Заказ № 1625. Цена 3 р. 10 к.

Издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.